




Сказки
и
истории
немецких
романти-
ков

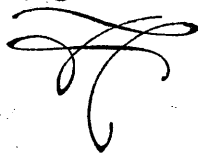


Жизнь льётся
через край



Любови Тук
Ахил фон Арним
Клеменс Брендано
Адельберт Шамиссо
Вильгельм Генрих Вакенродер
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Фридрих де ля Мотт Фуке
Генрих фон Клейст
Иозеф Фихендорф
Вильгельм Гауф

Жизнь лвется
через край



ЛЮДВИГ ТИК

ЭРНСТ ТЕОДОР
АМАДЕЙ ГОФМАН

АХИМ ФОН АРНИМ

КЛЕМЕНС БРЕНТАНО

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

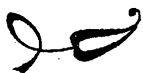
ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНРИХ
ВАКЕНРОДЕР

ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

ФРИДРИХ
ДЕ ЛА МОТТ ФУКЕ

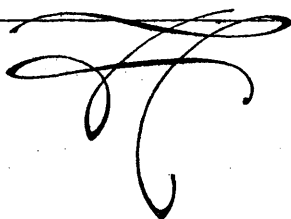
Жизнь лвется
через край



СКАЗКИ И ИСТОРИИ

немецких

романтиков



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

84.4 Г
Ж 71

Переводы с немецкого

Составление
И. Солодуниной

Вступительная статья
Г. Ратгауза

Комментарии
М. Рудницкого, А. Левинтона,
И. Миримского

Ж $\frac{4703000000 - 2151}{080(02) - 91}$ 2151-91

ISBN 5-253-00379-7

Составление. Вступительная статья.
© Издательство «Правда», 1991.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

Романтики были детьми бурной эпохи, во многом определившей будущее человечества. В свою очередь, всю литературу XIX века трудно себе представить без ярких и красочных творений романтиков, которые создали основу или заложили предпосылки всего дальнейшего литературного развития.

Французская революция, грозные походы Наполеона, перекраивавшие карту Европы, дыхание вольности и небывалые дотоле жестокие войны, ломка прежнего уклада жизни и вековых человеческих отношений — таково было то время, которое застали первые романтики. На рубеже нового столетия их великий современник Ф. Шиллер писал:

Где приют для мира уготован?
Где найдет свободу человек?
Старый век грозой ознаменован
И в крови родился новый век.

(Перевод В. Курочкина)

Романтизм был одной из великих литературных революций нового времени: ему предназначалось художественно выразить новый тип сознания, в корне отличный от мирозерцания людей XVIII столетия, которые жили в мире ясных, однозначных категорий: добро и зло были четко разграничены. Казалось, что силы угнетения воплощены в монархии, в рабстве крестьян, в невежестве и в подавлении свободной мысли, что близок час человеческой свободы, что он наступит, как только рухнут Бастилии.

Действительность лишь посмеялась над этими ожиданиями. Трагический исход Французской революции явил миру разгул низких страстей, властолюбия, диктатуры, презрения к людям. Рождались новые формы угнетения человека, природа которых для романтиков была непостижима.

Отсюда возник влекущий, неустанный интерес к тайне, ко всему загадочному, «ночному», непредсказуемому, отличавший почти всех романтиков (от Жуковского и Новалиса до Байрона и Лермонтова). Это была не только эстетическая новизна, резко отличавшая мир романтизма от упорядоченной ясности Просвещения. Романтики выразили свою эпоху глубоко, но не адекватно: больше чувством, чем разумом. Они видели, что «в крови родился новый век», что «Век шествует путем своим железным, // В сердцах — корысть...» (Е. Баратынский). Это поражало их воображение, нередко внушало ужас. Но причины и характер происшедшего на их глазах исторического движения, резкой перемены всего жизненного и нравственного уклада были окутаны для них покровом тайны. Зорко вглядываясь в эту тайну, они пытались ее разгадать, поднять «покрова, накинутый над бездной» (Ф. Тютчев).

Просвещение апеллировало к всеобщим законам, романтики обращались к личности человека. Не случайно романтизм стал эпохой небывалого расцвета поэзии, наступала, по словам Стефана Цвейга, «лирическая весна Европы», время Байрона и Жуковского, Пушкина и Мицкевича, Брентано и Гейне. Но мы подчас забываем о дру-

гих гранях того же художественного процесса. В эпоху романтизма поэзия не замыкалась в сфере лирического творчества. Она пронизывала собой все области литературы и искусства. И прежде всего она вторгалась в прозу. Проза эпохи романтизма совершенно обновилась: в ней преобладают поэтические формы (сказка, лирическая новелла), иногда же в самую ткань прозы смело входят философско-эстетические размышления.

Апелляция романтиков к личности была стихийным откликом на новые исторические условия: в передовых странах Европы, в Англии и Франции старый сословный, корпоративный порядок уже рухнул. В остальной Европе все более осознавалась его обреченность. Однако личность в произведениях романтиков представляла двояко: то это титан с могучими страстями (как многие герои Байрона, Лермонтова, Клейста), то «человек, как сирота бездомный» (Ф. Тютчев), «игралыще таинственной игры» (А. Пушкин). Нарастало ощущение, что личность и в новых условиях не обрела свободы. В поисках духовной опоры романтики чаще всего обращались к прошлому (в большинстве своем, в отличие от просветителей, они уже не верили в будущее). Личность чувствовала себя увереннее, если могла ощутить себя звеном длительного исторического процесса или частью народного целого. В первые два десятилетия XIX века почти во всех странах совершается новое открытие своей национальной истории, старины, народных обычаев, песен, сказок, обрядов. Здесь Германия, как и во многом другом, спережала своих соседей, указывая им дорогу.

Германия стала, по существу, родиной романтизма, здесь возник и сам этот термин. Черты романтической эпохи очевидны уже в позднем творчестве Гёте и Шиллера. Недаром романтики вначале так восторженно приветствовали появление «Вильгельма Мейстера» Гёте с глубоко впечатляющими, предромантическими образами Миньоны и арфиста; Фридрих Шлегель даже сравнивал «Мейстера» по значению с Французской революцией. Однако сложное, подчас полемичное отношение самого Гёте к романтизму вскоре сделало даже временный союз невозможным.

Ранний романтизм рождался в атмосфере особого духовного подъема. Глубочайшая политическая отсталость Германии, преграждая пути к прямому действию, издавна парадоксально способствовала высокой концентрации духовной энергии нации, возбуждаемой теперь и великими мировыми событиями. Могучий взрыв этой энергии обусловил расцвет романтической литературы, философии и эстетики, длившийся более четверти века.

1

Немецкий романтизм в своем развитии прошел качественно различные этапы, которые необходимо ясно себе представить. Мы проследим их здесь в общих чертах, отсылая заинтересованного читателя к специальным исследованиям на эту тему¹.

Признанным центром раннего романтизма стала Иена и не в последнюю очередь Иенский университет, где еще недавно читал свои знаменитые лекции по истории Шиллер. На исходе XVIII столетия здесь выступают великие романтические мыслители—братья Фридрих и Август Вильгельм Шлегели. Вокруг них складывается кружок романтиков, вначале поддерживающий дружеские отноше-

¹ История немецкой литературы. Т. 3. М., 1966; Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

ния с Гёте. Расцвет деятельности этого кружка можно датировать примерно 1795—1801 годами. Историки литературы, изучающие этот период, традиционно определяют его как «ненский романтизм»¹. Важным органом нового движения становится журнал братьев Шлегелей «Атеней». В кружок вошли одаренные молодые поэты Новалис и Людвиг Тик. «Душой Иены» в эти годы современники называли философа И. Г. Фихте, приверженца активного действия, сторонника свободы слова и мысли, проповедовавшего близкие ранним романтикам идеи о всемогуществе человеческого «Я». Совершенно иная (во многом противоположная) грань сложного комплекса романтических идей была выражена в «философии тождества» Ф. Шеллинга. Шеллинг (как и Фихте, тесно связанный с ранними романтиками) проповедовал культ природы и поэтического созерцания. В своей «Системе трансцендентального идеализма» (1801) он провозгласил искусство высшим «органом природы», ее «святая святых», что не могло не imponировать романтикам, многое почерпнувшим из его эстетики.

Вначале будущие романтики — Людвиг Тик, Фридрих Шлегель, даже Новалис — выступали как убежденные приверженцы Французской революции, как республиканцы. Однако вскоре их радикализм принял сугубо эстетический характер.

Фридрих Шлегель в своих «Фрагментах», напечатанных в «Атенее» (1798), проповедует полную свободу художника, освобождение от грубой материи. Он гордо заявляет, что вся прежняя поэзия уже «завершена». На смену ей пришла «романтическая поэзия», и она есть «как бы само искусство поэзии, ибо в известном смысле всякая поэзия есть или должна быть романтической», поскольку она охватывает все виды искусства, философию и науку.

Творчество Новалиса (псевдоним Фридриха фон Гарденберга) знаменует уже некий переход к позднейшим идеям романтиков. Новалис был высокоодаренным поэтом-философом, в русской поэзии подобный тип ярко представляли Тютчев, Веневитинов и столетием позже — символист Иван Коневской, один из первых русских переводчиков Новалиса. Раньше других романтиков Новалис встал на путь решительной оппозиции к Просвещению и к творчеству Гёте, чей роман «Вильгельм Мейстер» он называл «Кандидом, направленным против поэзии». Он развивал мысль о том, что тайны природы превосходят все завоевания человеческого ума, их стихийное пророческое постижение выше любого знания; именно в этом и состоит задача поэзии. Одной из высших форм поэзии для Новалиса является сказка. Его незавершенный роман «Генрих фон Офтердинген», изданный после его смерти Тиком (1802), называли энциклопедией романтизма. Роман Новалиса написан очень музыкальной лирической прозой, окутан атмосферой сказки. Это апофеоз таинственной поэтической мудрости, воплощенной в голубом цветке, который ищет юный герой. Голубой цветок стал символом романтизма и для последующих поколений. Утверждавшееся Новалисом превосходство девственной природы над человеком, интуиции — над знанием стало основой романтической философии, литературы и всего мирозерцания романтиков. Новалис оказал, в частности, мощное влияние на творчество Л. Тика и В. Г. Вакенродера. Он был и выдающимся лириком: в «Гимнах к ночи» (1800) Новалис как бы впервые открывает «ночную сторону» бытия, воспевает мрак и смерть, пролагая дорогу новому романтическому мироощущению.

¹ Дмитриев А. С. Проблемы ненского романтизма. М., 1975.

В нашем издании ранний романтизм представлен творчеством Тика и Вакенродера. Этот выбор оправдан. Братья Шлегели были прежде всего теоретиками романтизма. Новалис умер слишком рано. Именно деятельный и плодовитый Тик (наряду с немногими, но значительными сочинениями Новалиса) определил художественный вклад иенского кружка в немецкую прозу.

Разносторонне одаренный Тик был мастером малой прозы. Г. Гейне не без оснований называл его лучшим новеллистом Германии (надо иметь в виду, что Клейст к этому времени был очень мало известен). Один из шедевров Тика — новелла «Белокурый Экберт» (1797). С большой поэтической силой, в предельно сжатой и энергичной форме здесь выражены ключевые для раннего романтизма образные представления о мире и человеке. Человек затерян в мире могучих зловещих сил, он — часто без вины — становится их игрушкой. Эти силы каким-то таинственным образом (как именно — Тик не знает) связаны с богатством, с корыстолюбием. Их демоническая суть воплощается и в первозданной, дикой природе, среди которой живут белокурый Экберт и Берта.

Экберт виновен без вины: он, подобно Эдипу, сам того не зная, женился на своей сестре Берте, разлученной с ним с детства. На охоте, сам не зная почему, он убивает своего друга Филиппа Вальтера. Эта цепь преступлений усугубляет и без того чрезвычайно мрачный колорит новеллы. Вина Берты более очевидна: она похитила самоцветы у приютившей ее лесной старухи-волшебницы. Она принесла достаток в семью, но счастье оказалось призрачным. Похищенные самоцветы обрекают ее на раннюю гибель. Экберт, совершив преступление, сходит с ума и тоже умирает.

Представление о демонической власти богатства, с такой силой выраженное здесь, пройдет затем через всю немецкую — и не только немецкую — романтическую прозу. Герон Тика безвольны, они лишь «знаки» неизбывной человеческой судьбы. Сказочный поэтический колорит усиливают фантастические образы — лесная старуха-волшебница, птица, поющая на человеческом языке. Тик с необычайной силой запечатлел здесь грозную и устрашающую природу: глухие лесные дебри, утесы, опасные тропы и кручи, пугающие голоса зверей и птиц. По своей мощи и эмоциональному строю картины природы в этой новелле могут быть сопоставлены с творчеством современного ему великого романтического живописца Каспара Давида Фридриха (1775—1840). Его главная тема — мощь природных стихий, подавляющих человека («Могила витязя в снегу», 1807; «Охотник в лесу», 1814).

Такой же поэтической силой и трагизмом отличается сказка Тика «Руненберг» (1803). Разумеется, ранний Тик не всегда так мрачен. Искрометный юмор отличает, например, его необычайно изобретательную комедию «Кот в сапогах» (1797) — один из немногих удачных образцов ранней романтической драмы.

Творческая деятельность Тика продолжалась еще несколько десятилетий. В 1820—1830-е годы он выступал как поэт, как драматург и как переводчик Шекспира, и эти переводы оказались очень долговечными. Существенное значение имели его обработки средневековых народных книг. Однако новелла по-прежнему остается самым привлекательным для него жанром. Из поздних новелл Тика наиболее значительны «Восстание в Севеннах» (1826) и «Жизнь поэта» (1825) — о Марло, Грине и Шекспире. Не менее известна вошедшая в наше издание новелла «Жизнь льется через край» (1837). Прежняя поэтическая сила Тика ощутима в фантастических эпизодах и снах, в них выражено негодование против обезличивания че-

ловека в обществе. Вместе с тем позднему Тику свойственна некоторая рассудочность и затянутасть повествования, сказавшаяся, на наш взгляд, и в этой новелле.

Близкий друг Тика, рано умерший Вильгельм Генрих Вакенродер, воплощает в своем творчестве иные стороны романтического сознания. Его стихия — тихая созерцательность. При безусловной талантливости ему не было дано того богатства и разнообразия художественной выдумки, которым обладал Тик. Главная его тема — власть искусства, он тонко чувствовал творчество старых мастеров эпохи Возрождения и стремился продолжить их заветы. Новелла о жизни музыканта Иозефа Берглингера входит в книгу Вакенродера под характерным романтическим заглавием «Сердечные излияния монаха, любителя искусств» (1796). Намеченная здесь еще робко тема преданного своему искусству музыканта, который истощает силы в борьбе с косностью и творит самозабвенно, будет продолжена поздними романтиками, в первую очередь Гофманом. Слова Вакенродера о «борьбе между небесным энтузиазмом и земными страданиями» в жизни Иозефа как бы предсказывают одну из ключевых тем Гофмана. Конец повести печален: Иозеф умирает вскоре после исполнения своей вдохновенной оратории. Культ художества, присущий Вакенродеру, его несколько «идеальный», отвлеченный подход к жизни и к искусству были близки русским «любомудрам», охотно переводившим его сочинения. Вакенродера в России читали внимательно; его идеи, как полагают исследователи, оказали влияние на юношескую лирику Лермонтова¹.

Иенский романтизм был первым выражением художественных и философских принципов нового движения. Его идеи и образы долго сохраняли свое влияние и после распада иенского кружка. Сокрушительное поражение Пруссии в войне с Наполеоном в 1806 году, в сражениях при Иене и Ауэрштедте, оккупация французами большей части Германии — все это с необходимостью вело к изменениям в духовном климате. Раздробленная на множество государств, униженная нация медленно начинала пробуждаться. Эйфория, которой был отмечен ранний период романтизма, теперь изжила себя.

2

Гейдельбергский кружок романтиков сложился значительно позже иенского (в 1805—1808 годах) и в известной оппозиции к нему. Иенские романтики при всем своем глубокомыслии, всей значительности художественных достижений нередко тяготели к сфере автономного искусства — насыщенного философскими идеями, но несколько отдаленного от жизни; они склонялись к поэтизации отдельной, замкнутой души. Гейдельбержцы, напротив, считали, что цель искусства — как можно глубже понять и выразить душу народа, сказавшуюся в народном сознании и образе мыслей, в его поверьях, обычаях, сказках и песнях. Они ясно поставили эту непомерно трудную и важную для искусства задачу, хотя, может быть, и не разрешили ее в полной мере. К кружку, образовавшемуся в Гейдельберге, принадлежали Ахим фон Арним и Клеменс Brentано, знаток немецкой старины Иозеф Геррес, Иозеф Эйхендорф, позднее братья Якоб и Вильгельм Гримм.

¹ Ботникова А. Б. Страницы русской гофманианы. (Э. Т. А. Гофман и М. Ю. Лермонтов.) — В кн.: Художественный мир Гофмана. М., 1982. С. 151.

Имена Ахима фон Арнима и Клеменса Брентано почти всегда называют вместе; изданное ими трехтомное собрание народных песен «Волшебный рог мальчика» (1806—1808) не только обессмертило, но и как бы спаяло воедино их имена. Идея, вдохновлявшие их в эту пору, ярко раскрыты в письме Арнима Якобу Гримму (1811). Арним полагает, что «каждый поэт... — если уж признается таковым — народный поэт, а все вместе они (поэты — Г. Р.) смогут создать нечто общенародное, если будут следовать духу и настроению народа и духу его истории». Подобная поэзия, по его мысли, превзойдет «усилия отдельных людей» в образованном обществе. Гёте, не сочувствовавший очень многому в романтизме, отозвался о «Волшебном роге» в печати с самой высокой похвалой. Но два друга, связанные к тому же и близким родством¹, и в жизни и в творчестве шли разными путями. Арним был более уравновешен и практичен. Брентано — несравненно более импульсивен, склонен к восторгу и глубочайшему отчаянию; его жизнь отмечена вечными метаниями. Арним обладал некоторым поэтическим даром, но в историю литературы все же вошел как прозаик. Буйное и стихийное дарование Брентано — то бывшее ключом, то иссякавшее на долгие годы — ярко проявилось во многих областях: он писал стихи, прозу, драмы, был хорошим рисовальщиком.

«Волшебный рог» — чисто романтическое предприятие: тексты народных песен (без каких-либо оговорок) подвергались некоторой поэтической обработке. Под видом народных песен туда вошли и стихи поэтов XVII века, и собственные стихи Арнима и Брентано. И все же значение этой книги, собравшей целый свод образов народной поэзии за несколько столетий, было огромно. Брентано побудил к собирательской деятельности и братьев Гримм; они занялись сказочным фольклором и издали свои «Детские и семейные сказки» (1812—1814).

Полный русский перевод «Волшебного рога мальчика» — дело будущего, но яркое представление об этой книге дают замечательные переводы поэта Александра Кочеткова (1900—1953), которые составили значительную часть сборника. В переводах А. С. Кочеткова, обладавшего редким музыкальным слухом, точно передана чистота мелодического звучания народной поэзии:

С весельем поскакал я
По вешним по лесам.
Три птички, милых взору,
Я слышал, пели там.
Нет, то не птички пели —
Три девушки в лесу.
Одна мою будет
Иль горя не снесу.

Ранняя лирика Брентано (включая и его знаменитую балладу о Лорелее, 1801) тесно связана с фольклором. Но, разумеется, она богаче, разнообразнее, утонченнее, так же как народная песня в обработке даровитого композитора — богаче своего первоисточника.

¹ Арним был женат на младшей сестре Брентано Элизабет (Беттине, 1785—1859), также разделявшей идеи романтизма. В поздние годы жизни, уже овдовев, Беттина фон Арним и сама прославилась как писательница и публицистка ярко выраженного демократического направления.

Небо в небе, небо в водах,
Волны, звезды и луна
И в любовных хороводах
Ночь небес отражена.

(Перевод В. Топорова)

Виртуозность Брентано особенно проявляется в его беспримерной звуковой игре и музыкальности, в «соловином щелканье согласных и завораживающем пении гласных», которое, по словам советского исследователя С. Аверинцева, «не с чем сравнить в немецкой поэзии той поры». Наряду с Новалисом Брентано был единственным великим поэтом среди романтиков, хотя почти все они писали стихи.

Первые прозаические опыты Брентано (роман «Годви», 1801), как и его юношеские драмы, были малоудачны. Лишь полтора десятилетия спустя он создает свою «Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» (1817) — один из высоких образцов немецкой романтической прозы. Современному читателю, впрочем, художественные достоинства этой новеллы раскрываются не сразу. Большая часть новеллы (рассказ дряхлой крестьянки, которая пришла издалека с просьбой к герцогу) воспринимается как замедленный пролог к основному действию. Правда, и в этом прологе выделяется история гибели молодого улана Каспара, внука старухи. Но общий спокойный эпический тон повествования (в котором, кстати сказать, мастерски передана устная крестьянская речь с диалектной окраской) несколько нейтрализует ее восприятие. Лишь прочитав рассказ до конца, мы понимаем, что эта неспешность была обманчивой. С точно рассчитанным стратегическим мастерством Брентано создает небывалый драматизм, бешеную скорость действия к концу повествования. И только в финале трагические герои Брентано предстают перед нами в истинном свете.

Как идейно-философский смысл этой замечательной новеллы, так и ее художественное новаторство часто недооцениваются даже видными историками романтизма. Начиная с Н. Я. Берковского (1935) и поныне считается бесспорным, что новелла представляет собой апологию христианского смирения. Она воплощена в образе кроткой верующей старухи, бабушки Аннерль. Полагают, что Брентано именно в этом и видел сущность народной морали. (При этом консервативное, патриархальное начало в мировоззрении Брентано явно и чрезмерно акцентируется.)

Не отрицая подобных мотивов, мы убеждены, что они далеко не исчерпывают собой истинного смысла новеллы. Во-первых, при этом как-то забывается, что до романтиков немецкая проза XVIII века вообще крайне редко изображала крестьян. Брентано одним из первых создал яркие народные характеры, по своей самобытности и силе живо напоминающие творчество его прославленного современника, романтического живописца Филиппа Отто Рунге. Таков его знаменитый двойной портрет «Родители художника» (1809). Такова в повести и старуха-крестьянка, и Аннерль, и ее храбрый жених. Во-вторых, изображение народа в новелле далеко не однозначно. Брентано вопреки всякому сословному чванству изображает крестьян гордыми и сильными людьми с высоким понятием о чести. Таков Каспар, который добровольно уходит из жизни, узнав о воровстве своего отца и брата. Такова и Аннерль: она в отчаянии убивает незаконного ребенка, прижитого ею от бесчестного соблазителя; но она как нельзя более далека от кротких, соблазненных страдалиц, каких немало знала немецкая литература (начиная

с известной драмы «штюрмера» Г. Л. Вагнера «Детоубийца» и кончая Гретхен в «Фаусте» Гёте). В повести подчеркнут гордый, независимый нрав девушки — она сжигает письменное обещание Гроссингера жениться на ней. Наконец, в финале повести мы находим лаконичную, но вполне явную картину яростного народного возмущения деяниями графа Гроссингера (даже встревожившую герцога). Все это, конечно, далеко от непротивления злу.

Герцог изображен в повести в соответствии с наивными народными представлениями как справедливый правитель. При этом Брентано не скрывает и известных человеческих слабостей герцога, что делает этот характер более убедительным. Следует отметить исключительную жанровую цельность новеллы, ее строгий стиль. В отличие от многих романтиков Брентано избегает подробных психологических экскурсов или лирических излияний, которые могли бы ослабить действие. Сюжет, характеры, классически ясный и строгий язык новеллы — все подчинено четкой и убедительной логике.

Глубоко сочувствуя простым людям, рассказчик, в котором легко узнать самого Брентано, как бы стыдится своего писательского ремесла. В глубоких суждениях на эту тему автор явно отдает предпочтение жизни, а не слову, вечному и нравственному — перед преходящим. Мы видим, как далеко ушел Брентано от эстетизма иенцев, видевших в искусстве наивысшую ценность.

Дальнейшая судьба Брентано крайне противоречива; в ней есть и взлеты, и падения. «Повесть с славном Касперле» венчает собой четко определенный период его творчества. Незадолго до завершения повести несчастливая любовь к Луизе Гензель вызвала у Брентано жесточайший душевный кризис, с которым он, как выяснилось, не смог совладать. В поисках опоры в 1817 году он обратился в католическую веру. Религиозное обращение Брентано было окрашено свойственной ему эмоциональной безудержностью, подчас доходившей до иступления. Некоторые видные историки романтизма (и среди них Н. Я. Берковский) полагают, что на этом он и кончился как художник. Но это явное упрощение облика Брентано. В тридцатые годы он вернулся к творчеству. Реалистические веяния не затронули Брентано: до конца жизни он был и остался романтиком. Встреча с мюнхенской художницей Эмилией Линднер (1833) вызвала к жизни «поздний взлет лирики Брентано» (С. Аверинцев). Создается поразительный цикл любовной лирики, который можно сопоставить со знаменитым «денисьевским» циклом позднего Тютчева.

Правда, с тем существенным отличием, что у Брентано воспета чисто духовная любовь, и тютчевский «угрюмый, тусклый огонь желанья» «меж потупленных ресниц» здесь едва ли мыслим. Брентано создает значительные произведения и в прозе, нередко перерабатывая свои юношеские сочинения. Его сатирическая «Сказка о Гинкеле и Гоккель» (1838) вызвала гнев прусских властей, распорядившихся выслать поэта из Берлина.

Жизненная и творческая судьба Арнима не столь драматична. В отличие от Брентано он был человеком практического склада и после «освободительных войн» усердно занимался хозяйственными делами в своем поместье, все более отходя от литературы. Из его произведений в памяти потомства сохранилось немного. Это новелла «Изабелла Египетская» (1812), богатая мрачной фантастикой, но привлекающая явным сочувствием к гонимому племени цыган. Это двухтомный роман «Стражи короны» (1817, второй том был издан посмертно, 1854), один из ранних исторических романов в Германии. Арним, дворянин по духу и воспитанию, идеализирует здесь власть императора как символ единства страны. Особое место в его твор-

честве занимает рассказ об «Одержимом инвалиде в форте Ратон»: редкий у Арнима юмор смягчает здесь невероятность сюжета.

Арним и Brentано не стремились к литературной славе. Исключительный успех, выпавший на долю «Волшебного рога мальчика», в их жизни больше не повторился. Эта книга, открывшая мир народной жизни и народной песенной мелодики, стала своего рода краеугольным камнем для всей немецкой поэзии XIX века. Без нее немислимы ни «Зимний путь» Вильгельма Мюллера (1821), вдохновлявший Шуберта, ни «Книга песен» (1827) Генриха Гейне.

Потомство неодинаково оценило наследие Арнима и Brentано. Во второй половине XIX века, когда романтизм давно уже сошел со сцены, их творчество стало в основном достоянием историков литературы. В отношении Арнима этот приговор существенно уже не менялся. К посмертной судьбе Brentано можно поставить эпиграфом юношеские гордые строки Маринны Цветаевой:

Мои стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

XX век, пересмотревший многие литературные репутации, без колебаний признал Brentано одним из великих творцов немецкой поэзии и прозы. Новые издания его сочинений и исследования о нем постоянно множатся, и не только в Германии. Можно лишь пожалеть о том, что русский читатель и поныне имеет о творчестве Brentано самое туманное представление, а русские издания его сочинений почти отсутствуют.

В наши дни ни одна антология немецкой прозы XIX века не обходится без истории о Касперле и Аннерль или без поздних сатир Brentано. «Лучшей прозы, чем «Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» Brentано я не читал никогда», — писал выдающийся немецкий поэт и прозаик Иоганнес Бобровский (1917—1965), создавший, кстати сказать, и выразительный поэтический портрет Brentано на склоне его жизни (в известном стихотворении «Brentано в Ашаффенбурге», 1962). И подобных признаний можно привести множество. Не забыт и «Волшебный рог мальчика».

3

Связующим звеном между ранним и поздним романтизмом стала деятельность берлинских романтиков, вначале объединившихся в «Союз полярной звезды» (1804—1806). Их печатный орган именовался «Зеленый альманах муз».

Главными участниками этого союза были Адельберт Шамиссо, сын французских аристократов, бежавших в Германию от революции, отнюдь не разделявший роялистских взглядов своей семьи, Фридрих де ла Мотт Фуке и Фарнгаген фон Энзе. Все они рано увлеклись романтическими идеями и творчеством Людвиг Тика. Политические симпатии их были различны: Фуке был убежденным монархистом, а Фарнгаген фон Энзе — либералом. Фарнгаген (как его обычно называют) писал стихи и рассказы, но выдвинулся прежде всего как влиятельный литературный критик, впоследствии много сделавший для пропаганды русской литературы в Германии (одним из первых он оценил творчество Пушкина).

Более одарен поэтически был Фуке. Но он был чрезмерно плодовит, подвержен влияниям моды, легко менял жанры, писал то стихи, то эффектные рыцарские романы, имевшие шумный, но не-

долгий успех («Волшебное кольцо», 1812), и подобные же драмы. Под конец жизни он издал двенадцать томов своих «Избранных сочинений» (1841). Как подлинный художник, Фуке проявил себя, в сущности, лишь в волшебной сказке «Ундины»¹ (1811) и в небольшой повести «Адский житель» (1810). Любопытно, что именно эта повесть была найдена и впервые напечатана лишь в наши дни (в 1961 году).

«Адский житель» привлекает не только богатством фантазии и щедростью сюжетной выдумки. Традиционная для романтиков идея коварной власти золота воплощена в неожиданном образе черного чертика, который «вьется вьюном» в стеклянной колбочке. Он очень прилипчив и зол. Но не менее существенно, что молодой купец, герой сказки, всеми силами стремится избавиться от «чертика в колбе» и с великим трудом ему это удается. Человек здесь — уже не пленник судьбы (как это было у Тика), он деятельно борется с ней.

Дальнейший шаг в этом направлении сделал Адельберт Шамиссо в своей знаменитой «Удивительной истории Петера Шлеммиля» (1814). Герой этой повести, прочно вошедшей в мировую литературу, на редкость деятелен и стойко противостоит силам зла и корысти, пытающимся овладеть его душой. Множество фольклорных волшебных мотивов (да и сама тема корысти и золота) связывают повесть с творчеством Тика, кумира юности Шамиссо. Автор не преминул намекнуть на это в самой повести, сославшись на труд некоего «ученого Тикнуса» с солидным латинским названием. Но Шамиссо гораздо реалистичнее Тика. Истоки зла названы им прямо по имени: дьявол искушает героя «волшебным кошельком», который никогда не скудеет (этот мотив есть и у Фуке). Замечательно умение Шамиссо описать фантастику бытовыми деталями, как бы придающими ей достоверность. Так, дьявол предстает герою в облике «человека в сером». Фантастический мотив утраты тени, который символизирует уступку героя дьяволу, обрастает множеством реалистических подробностей. Расстраивается брак «отщепенца» Шлеммиля с дочерью лесничего, его нагло шантажирует негодяй и вымогатель Раскал, поступивший к нему в лакеи. Томас Манн в превосходном критическом этюде о Шамиссо убедительно показал, что утрата тени для Шлеммиля воплощает угрозу его человеческому достоинству, с которой нельзя мириться.

Неожидан финал повести: Шлеммиль, надев семимильные сапоги, исследует фауну и флору отдаленных местностей земного шара. В свое время Новалис опасался, что наука умертвит поэзию; Шамиссо (который был и выдающимся естествоиспытателем, и ботаником своего времени), напротив, славит открытия науки с необычным для романтиков пафосом.

Годы зрелости в творчестве берлинских романтиков отмечены их дружбой с Гофманом (после его переезда в Берлин в 1814 году). Фуке, Шамиссо (как и Брентано) входят в круг «Серапионовых братьев», как именовались участники шумных артистических собраний друзей Гофмана в кабачке Люттера. Это факт не только личной, но и литературной их биографии. Название «Серапионовы братья» было увековечено в одноименном четырехтомном собрании

¹ «Ундины» — одна из самых поэтичных сказок немецких романтиков; у нас она стала известна благодаря вольной стихотворной обработке В. А. Жуковского (1837), который переложил прозу Фуке в эпические гекзаметры. В Германии на сюжет «Ундины» вскоре была написана опера Э. Т. А. Гофмана.

новелл Гофмана (1819—1821), а столетие спустя так стал именоваться кружок молодых русских писателей в революционном Петрограде — в знак почитания Гофмана.

4

Клейст и Гофман — два великих немецких художника слова, представленные в нашем издании высокими образцами своей прозы, — обычно именуются «поздними романтиками». И это справедливо. Дело здесь не в хронологии¹, а в самом типе художественного мышления. Ранний романтизм подчас соприкасался с любительством, с беззаботным вольным дилетантством. Таков написанный с большими претензиями, но художественно слабый роман Фридриха Шлегеля «Люцинда», таковы и некоторые юношеские, еще аморфные произведения Тика и Brentано. Клейст и Гофман — два очень разных писателя, по своему художественному стилю это почти антиподы. Но их роднит безусловное отвращение к дилетантству, к «домашнему рукоделию», нравственная и художническая зоркость, одержимость творчеством, стремление обратиться к самым глубоким вопросам о месте человека в мире и в обществе. (Для Гофмана столь же принципиальной является и тема искусства.) Трагическое ощущение мира, свойственное многим романтикам, у Клейста и Гофмана явно углубляется.

Яркая индивидуальность Клейста — этой «беззаконной кометы» — иногда побуждала выводить его за пределы романтизма. Б. Пастернак, переведивший его драмы и создавший в этюде «Генрих Клейст» (1940) его яркий поэтический портрет, пишет о том, что все творчество Клейста «проникнуто угрюмой нешуточностью гения, не знавшего покоя и удовлетворения». «Клейста напрасно причисляют к романтикам», ибо (по мнению Б. Пастернака) «их разделяет пропасть». Современный исследователь А. Карельский, напротив, хотя и с существенными оговорками, полагает, что «Клейст — законный, кровный сын своей романтической эпохи». Эта точка зрения, на наш взгляд, ближе соответствует историческим фактам.

Клейст прожил мало. Как писал один из ранних его советских исследователей, близкий друг А. Блска, поэт В. А. Зоргенфрей: «Генрих фон Клейст прожил короткую и тревожную жизнь, завершившуюся самоубийством». Но его литературное наследие богато и разнообразно по жанрам. Оно включает малую прозу (блистательные клейстовские «анекдоты»), философские и эстетические сочинения, политические воззвания («Катехизис немца»). Клейст был страстным противником Наполеона. Ему не дано было возвыситься до пушкинской глубоко диалектической оценки этого гения («мятежной вольности наследник и убийца», «сей дивный муж...»); Клейст видел в нем лишь поработителя своей страны. Мир мучащих страстей и великих решений предстает в драмах Клейста («Пентесilea», 1808, «Принц Фридрих Гамбургский», 1811); он по праву считается одним из величайших после Шиллера драматургов Германии. Однако драмы Клейста при его жизни не имели успеха. Тяжким ударом для Клейста была явно неудачная постановка в Веймаре его искрометной комедии «Разбитый кувшин». Наконец, свой-

¹ Напомним, что основные произведения Клейста были созданы в пору расцвета деятельности Арнима и Brentано, а его жизненный путь трагически завершился в 1811 году, еще до начала освободительных войн против Наполеона.

ственное Клейсту мастерство чеканной речи с особой силой проявилось в его новеллах («Землетрясение в Чили», «Обручение на Сан-Доминго», «Михаэль Кольхаас»).

Не имея возможности говорить здесь о его творчестве в целом, попытаемся на примере тех замечательных образцов прозы Клейста, которые вошли в эту книгу, выявить некоторые существенные черты его проблематики и стиля. Читателя «Нищенки из Локарно» и «Михаэля Кольхааса» сразу поражает мощный словесный монолит каждой страницы, каждой строки, античная соразмерность и строгость словесного ритма, напряженность действия. И еще одно сразу захватывает и глубоко волнует читателя и в этих двух рассказах, и во всем наследии Клейста: это величайшая нетерпимость к любому умалению, и тем более оскорблению, человеческого достоинства и почти нечеловеческая жажда справедливости, страстная уверенность в том, что возмездие свершится и торжествующее зло будет наказано. Эта нетерпимость выражена с фанатической силой, ярко напоминающей Достоевского. Подобные черты были и в самом облике Клейста; ему как нельзя более чужда мораль непротivления. Не случайно, когда в XX веке ярко возшла звезда Клейста, «литературные бунтари» — и в первую очередь экспрессионисты — в Германии постоянно объединяли имена Достоевского и Клейста.

В самом деле, каков смысл истории о локарнской нищенке, о галлюцинациях некоего маркиза в его собственном замке? Обычно говорят о впечатляющей силе, с которой изображены эти грозные видения (на грани реальности и бреда). Между тем суть дела вовсе не в том, верить ли этим видениям, доводящим маркиза до гибели, или считать их лишь неким маревом. Для Клейста суть дела в том, что маркиз должен быть осужден на «жалкую смерть». Ибо он не возвысился до милосердия своей жены и обидел беззащитную старость.

Признанный шедевр Клейста — новелла «Михаэль Кольхаас». Его сюжет — с изменениями — взят из старой бранденбургской хроники. Барышник Кольхаас восстает в защиту своих прав, попранных знатным господином. Поскольку Клейст не скрывает и беззаконий своего героя, у некоторых исследователей и поныне возникает сомнение: оправдывает ли Клейст этот мятеж? Повествование на наш взгляд, дает на это ясный ответ. Кольхаас прибегает к мятежу, лишь исчерпав все законные средства защиты своих попранных прав и видя наглое издевательство над законом тех, кто обязан его блюсти. Родственники и свояки его знатного обидчика, юнкера фон Тронка, не дают ходу жалобе; в одном из канцелярских ответов его именуют пустым сутягой. Наконец, его верная жена Лизбет, умирает от тяжких ран, нанесенных ей стражами курфюрста, на чью милость она уповала. Лишь тогда Кольхаас, доведенный до отчаяния, бунтует. И узнав об этом решении, мы испытываем большое нравственное облегчение, ибо Клейст — потомок одного из старейших дворянских родов Пруссии, возвысился здесь над предассудками своего класса, выступил как глашатай человеческого достоинства. Его герой, как писал один из канцелярских исследователей, восстал против закона во имя закона. Сохранило свою значимость и давнее суждение советского ученого В. М. Жирмунского, который по справедливости видел в Кольхаасе бунтаря такого же склада, какими были Гец Иоганна Вольфганга Гёте и Карл Моор Фридриха Шиллера.

Новелла является одной из вершин немецкого повествовательного искусства. Здесь с безупречным мастерством воплощены те принципы клейстовского художественного стиля, которые точно

сформулировал В. М. Жирмунский: «...Он (Клейст — Г. Р.) ищет в искусстве композиционной строгости и законченности, не музыкальных, а прежде всего, — архитектурных эффектов»¹.

В эпоху Клейста братья Шлегели (особенно Август Шлегель) привлекли всеобщий интерес к литературе эпохи Возрождения. Известно, что воздействие Шекспира на немецкую драму началось задолго до романтизма, но в эту эпоху получило новый импульс благодаря переводам А.-В. Шлегеля и Тика из Шекспира, непревзойденным до конца столетия. Клейст же был одним из немногих, кто смог усвоить творческие уроки великих новеллистов Возрождения, в первую очередь Сервантеса.

Темы насилия над человеческой личностью и несправедливой власти возникают — хотя и в совершенно ином, фантастическом и сказочном ключе — и в знаменитой повести Гофмана «Крошка Цахес» (1819). Здесь в полной мере проявились трагические прозрения поздних романтиков. «Крошка Цахес» — может быть, самая увлекательная из сказок Гофмана, где по щедрости фантазии он как бы превзошел сам себя. Здесь действуют добрая фея Розабельверде (она же — девица Розеншен), волшебник Проспер Альпанус (его имя взято у Шекспира). Мы встречаем здесь карету, запряженную единорогами, старушек, обернувшихся лягушками. Но в этой сугубо фантастической и причудливой сказке гениально предвосхищены многие темы и идеи позднейшей реалистической прозы XIX века. Гофман показывает, как золото извращает человеческие отношения и в каком карикатурном облики выступает деспотизм в условиях карликовых немецких княжеств.

Пушкинский «Скупой рыцарь», гордясь своей казной, вещает:

Что не подвластно мне? Как некий демон,
Откуда миром править захочу...
...И вольный гений мне поработится,
И добродетель, и бессонный труд
...Мне все подвластно, я же — ничему.

Уродец Цахес обладает в повести Гофмана такой же властью: у него есть три магических золотых волоска. Этот босховский тип может нагло присваивать все, что создали «добродетель и бессонный труд». Именно поэтому все окружающие непостижимым образом приписывают ему и чудесные стихи, которые сочинил студент Балтазар, и дивную игру виртуоза — скрипача Сбьокки. Более того: его уже готова полюбить чужая невеста, прекрасная Кандида. Власть золота извращает все и, даже затмевая ум людей, заставляет искренне считать жалкого Цахеса красавцем.

Золото и несправедливая власть у Гофмана поддерживают друг друга. Князь Барзануф возвышает Цахеса за его «службу отечеству». Это не удивляет, если вспомнить, что предшественник Барзануфа, Пафнутий, «поставил первым министром государства своего камердинера Андреса», некогда одолжившего ему шесть дукатов. Прусский чиновник Гофман имел возможность хорошо изучить, как и какими средствами можно возвыситься.

На яркой палитре Гофмана темные краски контрастируют со светлыми. Темному миру Цахеса и двора противопоставлен влюбленный юный студент Балтазар, его невеста Кандида, добрый волшебник, помогающий одолеть Цахеса.

¹ Жирмунский В. М. Предисловие. — В кн. Клейст Г. Михаэль Кольгаас. Л.: Academia, 1928. С. 6.

Правда, для победы над Цахесом необходимо прибегнуть к волшебству. Трезвая прозорливость Гофмана заставляет его окутать торжество добра условной сказочной дымкой. Своеобразен жанр этой сказки: атрибуты волшебства и магии имеют здесь иной смысл, чем у большинства романтиков. У Арнима («Изабелла Египетская») и у некоторых других романтиков увлечение магией отражает ужас перед стихийными и мрачными силами мира. Гофман, также в целом воспринимавший мир трагедийно, в этой сказке сам нередко выступает как двойник веселого волшебника Проспера Альпануса. Романтическая волшебная сказка неожиданно обретает черты вольтеровской философско-просветительской притчи, где зло в конце концов наказано, а добро торжествует. Сам Гофман намекает на это, давая возлюбленной Балтазара вольтеровское имя Кандиды. Зоркие суждения о близости Гофмана к Вольтеру были высказаны еще Бальзаком.

В сказке Гофмана князь Пафнутий по наущению бывшего своего камердинера, а ныне министра Андреса с помощью полиции изгоняет из своих владений фей и волшебников, будто бы «смущающих умы» народа. Волшебник Гофман был действительно опасен для власти: он неприметно разрушал ее авторитет. Если Клейст прямо и недвусмысленно, хотя и на историческом примере, изображает губительность феодальной иерархии, то прусский чиновник Гофман смеется над ней исподтишка. Мы не намерены сближать этих двух непохожих писателей, но считаем уместным напомнить забытое суждение В. М. Жирмунского о том, что Гофман «многому научился у Клейста»¹.

Как в сказке «Крошка Цахес», так и во всем творчестве Гофмана, фантазия и реальность, материя и дух то противостоят друг другу, то как бы сливаются воедино. С одной стороны, эта сказка знаменует собой явное влечение позднего Гофмана к злой и меткой сатире, резко проявившееся и в его последующих творениях («Житейские воззрения Кота Мура», 1822; «Повелитель блох», 1822). С другой стороны, студент Балтазар, юный влюбленный поэт, воплощает ту стихию искусства, без которой невозможно себе представить ни жизнь, ни творчество Гофмана. Гофман был и художником, и выдающимся композитором, автором опер, сонат, симфоний. Музыка является одной из ключевых тем его литературного творчества² (его любимый герой, композитор Крейслер, фигурирует во множестве произведений, в том числе и в «Крейслериане», и в «Коте Муре»). Пламенной любовью к музыке проникнута новелла Гофмана «Кавалер Глюк», где описана воображаемая встреча героя с этим гениальным композитором. Такая встреча могла быть, конечно, лишь видением героя, но он так верит в нее, что рассказ как бы колеблется на грани сна и яви. И эта недосказанность придает новелле особую глубину.

5

В двадцатые годы романтизм в Германии еще полон сил, и в его ряды вступают новые молодые добровольцы: Гейне и Гауф. После безвременной кончины Гофмана в 1822 году романтическое течение вступает в свой заключительный этап. В тридцатые годы

¹ Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 11.

² В свою очередь, образы Гофмана вдохновляли многих композиторов (Р. Шумана, Р. Вагнера, П. И. Чайковского, П. Хиндемита и других).

начинается его постепенное творческое угасание: из романтиков прежнего призыва только Шамиссо и Эйхендорфу удалось еще долго сохранять былую творческую свежесть.

Могучая, подчас трагически-зловещая фантастика Гофмана, его непревзойденная социальная зоркость не нашли себе в Германии достойных продолжателей. Зато народное творчество, как бы заново открытое гейдельбержцами и братьями Гримм, продолжает питать романтизм своими родниками. Яркое свидетельство тому — повесть Иозефа фон Эйхендорфа «Из жизни одного бездельника» и сказки Вильгельма Гауфа.

Иозеф фон Эйхендорф — одна из самых ярких и своеобразных фигур в истории немецкого романтизма. В отличие от горожан — Шлегелей и Тика, он вырос на приволье, в Силезии, среди лугов, лесов и рек, в благодатной провинциальной глуши, в отцовском поместье. (Впрочем отец его хозяйствовал плохо, и сам Эйхендорф уже не был богат.) Храбро воевавший во время «освободительных войн» в рядах знаменитого добровольческого корпуса Лютцова¹, Эйхендорф был человеком чрезвычайно деятельным и цельным по натуре. Будучи консерватором по убеждениям и состоя на прусской государственной службе, Эйхендорф осуждал некоторые проявления бюрократического произвола и пытался противостоять им. Такая же цельность отличает и его творчество, не знавшее сколько-нибудь значительной эволюции. Эйхендорф упорно возвращается к нескольким основным мотивам, но все его темы звучат на редкость естественно и сильно. В отличие от многих романтиков Эйхендорф совершенно чужд напряженного пафоса или трагического надрыва. Его глубочайшая, впитанная с детства религиозность также лишена фанатизма.

Проза Эйхендорфа выростала из его поэзии, которая и доньше любима в народе. Мелодичные, легко льющиеся строфы как бы сами собой врезаются в память:

В повозке тихо еду,
Ты далека, мой свет.
Куда б ни виться следу,
С тобой разлуки нет.
Пронесется ущелья,
Леса шумят листвою,
И в чистой птичьей трели
Я слышу голос твой.

*(«Влюбленный путник»,
перевод А. Парина)*

Поэт неизменно обращается к самым простым и вечным мотивам. Лесная свежесть, ночной покой, горная дорога, ласточки на закате, звездное небо, любовь, разлука, юность и старость, — обо всем этом Эйхендорф говорит простыми, но безупречно точными словами. По своей известности на родине лирика Эйхендорфа едва

¹ Фридрих Адольф Вильгельм фон Лютцов (1772—1834) руководил созданным в феврале 1813 г. добровольческим корпусом, снискавшим необычайную славу в годы войны против Наполеона. Лютцов был столь же популярен в Пруссии, как Денис Давыдов среди русских партизан; опасаясь такой популярности, власти очень скоро расформировали его отряд.

ли не превзошла «Книгу песен» Гейне; многие десятки его стихотворений положены на музыку или стали народной песней.

Легкий, чистый, прозрачный язык лирики Эйхендорфа как бы сам собой перешел в его прозу, в повесть «Из жизни одного бездельника» (1826). Эта повесть, воспевающая вольный «дух бродяжий» (мы сознательно употребляем здесь выражение Сергея Есенина, который, как и Эйхендорф, был поэтом от природы), пережил множество произведений немецкой прозы XIX века. За что ее так любят? Вероятно, за необычайную жизнерадостность (редкую в немецкой литературе), дух беззаботной юности, в котором каждый узнает частицу своей молодости. Повесть вся пронизана стихами, песнями, вся она — в непрерывной чередой залитых солнцем летних пейзажей: высоко в небе «заливаются бесчисленные жаворонки», широко расстилаются поля, зеленеют долины...

Вместе с тем в легкой, непритязательной форме здесь поставлена традиционная для немецкой литературы тема воспитания личности. Герой, сын мельника, бродит по свету со своей скрипкой, без ясной цели. Он как бы плывет по течению жизни, а счастье само плывет ему в руки (повесть окрашена в сказочные тона). Эйхендорф как бы намечает две возможности — и отвергает их обе. Одна — это постылый, нелюбимый труд, вечная забота о куске хлеба, от которой и бежит герой. Другая — это соблазн продолжать такую вольную беспечную жизнь дальше ее разумного и законного предела. В скрытой, незаметной форме Эйхендорф к концу повести как бы намекает на то, что истинное призвание человека — деятельность, и притом среди других людей. (Это была идея «Вильгельма Мейстера» Гёте, которую ранний романтизм решительно отклонял.) Финал повести окрашен легкой иронией: графиня, о которой мечтал герой, оказывается воспитанницей графини, и к тому же племянницей швейцара. Здесь предметом иронии в равной мере является и скучный обыватель, тянувший извечную ляжку, и беспечный мечтатель. Такая «двойная ирония» была первым предвестием близкого ущерба романтизма; мы знаем ее и у Гейне (но в более контрастной и резкой форме).

Повесть Эйхендорфа была прощальной улыбкой молодости и для самого автора, уже приближавшегося к своему сорокалетию, и для всего романтизма.

Таким же подарком, как и повесть Эйхендорфа, стали для немецкой литературы сказки Гауфа, подобно этой повести, надолго пережившие свое время и поныне радующие все новые поколения читателей. Вильгельм Гауф прожил очень короткую жизнь (он умер в 1827 году, двадцати пяти лет от роду), но эта жизнь была творчески насыщенной. Подобно Эйхендорфу, Гауф тоже дорожил своей «малой Родиной» и ее простыми людьми. Родиной Гауфа была южная Германия, Швабия, где возникла так называемая «швабская школа», признанным главой которой был знаменитый поэт Людвиг Уланд, автор баллад, хорошо известных и у нас в переводах Жуковского. Гауфа, как и всех швабских поэтов, отличал интерес к прошлому своего народа, к его нравам и обычаям.

Творчество Гауфа многогранно: он автор остроумных литературных сатир, увлекательного исторического романа «Лихтенштейн» (1826), сказок. Используя старинный прием повествовательного обрамления, Гауф издавал свои сказки под причудливым названием «Сказочный альманах для сыновей и дочек образованных сословий» (1826—1828). Были изданы три таких альманаха, последний из них — уже после смерти сказочника.

Памятные всем с детства необычайные по красочности сказки Гауфа («Рассказ о калифе-аисте», «Рассказ о Маленьком Муке») являются свободной обработкой восточных преданий. Но еще более глубокие и значительные по смыслу сказки Гауфа черпают свои идеи и образы в преданиях южных областей Германии (Швабии и Баварии). Недаром шедевр Гауфа — сказка «Холодное сердце» — открывается описанием горного Шварцвальда, его «рослых могучих елей» и «тамошних» жителей, которые «широки в плечах и обладают недюжинной силой», как будто впитали с детства «живительный аромат, по утрам источаемый елями...». Вводя сказочный мотив продажи живого сердца и замены его каменным, бесчувственным, Гауф сурово осуждает погоню за наживой, уже проникшую и в эти глухие места. Нравственный смысл сказки выражен языком богатой народной образности: крохотный Стекланный человек и великан Голландец Михель, два колдуна, воплощают несправедный и праведный путь к богатству. Обломок Михелева багра в руке угольщика вдруг оживает и превращается в чудовищную змею... Отчетливо звучат в сказке и сатирические ноты, напоминая о том, что сказочник Гауф был и одаренным сатириком.

6

Двадцатые годы были переломным временем в истории немецкого романтизма. Затем обозначился его спад, хотя и в последующие десятилетия продолжали творить Тик, Брентано, Уланд.

Однозначная оценка деятельности романтиков в тридцатые годы едва ли возможна. Как литературное движение романтизм в это время уже не существовал. Не было ни стремления к единству, ни новых идей, ни журналов, ни кружков (если не считать уже названной нами, в тридцатые годы также заметно потускневшей «швабской школы»). Гораздо прискорбнее другое. Религиозность романтиков и их утопические мечты о добром государе как благодетеле народа все более явно перерождаются в прямой союз с охранительными и клерикальными силами. Еще в 1815 году, во время знаменитого Венского конгресса, поставившего целью искоренение революционной крамолы, Фридрих Шлегель уже выступал как прямой литературный идеолог Меттерниха. Деятельность А.-В. Шлегеля, ставшего профессором Боннского университета, все более замыкается в узко академической сфере. Арним, уединившись в своем имении, давно перестал печататься.

Зато с прежней силой звучит голос Эйхендорфа; впервые выходят отдельной книгой его «Стихотворения» (1837), он продолжает писать и новую прозу (новелла «Замок Дюрланд», 1837). Поразительным феноменом является позднее лирическое творчество Шамиссо («Стихотворения», 1831). В нем все яснее звучат — вопреки удушливой атмосфере времени — вольнолюбивые призывы. В стихотворении «Бестужев» (из цикла «Изгнанники», 1831) Шамиссо славит ссыльного русского декабриста:

Я — каторжник, но и в плену цепей
До гроба буду волен я душою,
Полночных стран свободный соловей

Бестужев я, кого молва людская
Соратником Рылеева зовет.

(Перевод В. Левика)

Кральной связью с романтизмом отмечено и творчество Г. Гейне, невзирая на его ожесточенную полемику с «романтической школой». В прозе Гейне («Путевые картины», 1826—1830, фрагмент романа «Бахарахский равнин», 1824—1840) эта связь еще ощутимее, чем в его поэзии.

Романтизм оставил немецкой литературе богатое и яркое наследие. В середине и во второй половине XIX века романтическая традиция обрела немногих, но высоко одаренных продолжателей: Эдуарда Мерике, подобно романтикам черпавшего вдохновение в мире немецкой сказки и народной песни, поэтессу Аннетту Дросте, в юности помогавшую братьям Гримм собирать немецкие сказки, и Теодора Шторма. На рубеже XIX и особенно в первой четверти XX века высоко вздымается новая волна интереса к романтизму, прежде всего у неоромантиков (Рикарда Гух, Гофмансталь, ранний Томас Манн), а затем у экспрессионистов, создавших подлинный культ Клейста, как бунтаря и «еретика» (в противовес официальному возвышению «олимпийца» Гёте). Читатели Т. Манна и Г. Гессе ясно представляют себе, как разнообразно преломлялись и обновлялись в их творчестве мотивы и темы романтизма — от «Тонио Крёгера» (1903) и «Степного волка» (1927) до «Игры в бисер» (1943) и «Доктора Фаустуса» (1947)¹. Одновременно видные немецкие филологи ведут основательную работу по изданию всех сохранившихся текстов сколько-нибудь значительных писателей немецкого романтизма; эти издания неустанно совершенствуются.

Значение немецкого романтизма трудно переоценить: с первых же десятилетий XIX века он оказал сильное влияние на писателей других стран (особенно Франции и России, где романтизм как направление сложился значительно позже). Первые переводы сочинений братьев Шлегелей, прозы Тика и Вакенродера появляются у нас еще при жизни Пушкина (во всяком случае, не позднее 1825 года). Пушкин с уважением отзывался в печати о деятельности Шлегелей; при его самом горячем содействии были изданы переводы Тика, выполненные одним из его друзей, безвременно погибшим вольнолюбивым поэтом Александром Шишковым. Пропагандистами немецкой культуры этого времени были у нас Жуковский, Тютчев, В. Ф. Одоевский, Веневитинов, Шевырев. Особенно длительным и разнообразным (как убедительно показала в своем труде литературовед А. Б. Ботникова²) было воздействие Гофмана на русскую литературу. Оно далеко вышло за пределы романтизма и ясно ощущимо и в бурной исповеди «энтузиастов» в прозе Достоевского и — уже в наши дни — в «полночной гофманиане» «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

Немецкая классика, к сожалению, издавалась у нас с большими и трудно объяснимыми пробелами. Одни писатели не изданы вообще, другие — как Клейст и Гофман — в не столь давние годы с легким сердцем зачислялись в «предтечи декадентства» и надолго попадали в разряд запретных или полузапретных. Тем более своевременным мы считаем издание этой книги, которая обогатит читателя знакомством с целым созвездием талантов, вписавшим памятные страницы в историю европейской культуры.

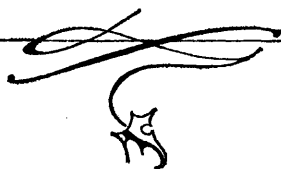
Г. Рагауз

¹ Бродяга Кнульп у Гессе явно напоминает уже знакомого нам юного странника из повести Эйхендорфа; дальним потомком романтических героев является и Андриан Леверкюн из «Доктора Фаустуса» Т. Манна с его трагической одержимостью музыкой.

² Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература. (Первая половина XIX века). Воронеж. 1977.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНРИХ
ВАКЕНРОДЕР

Достопримечательная
музыкальная жизнь
композитора
Мозефа
Берлинера



*Достопримечательная
музыкальная жизнь
композитора
Иозефа Берглингера*

В двух частях

Часть ПЕРВАЯ

Я неоднократно обращал мой взор к прошлому и с наслаждением собирал сокровища истории искусства былых столетий; но теперь дух мой влечет меня хоть раз остановиться на временах настоящих и испытать свои силы на истории одного художника, знакомого мне с ранней его юности и самого задушевного моего друга. Увы, ты, к сожалению, скоро покинул землю, мой Иозеф, и не легко мне будет снова отыскать тебе подобного! Но я найду отраду в том, что прослежу мысленно историю твоей души, с самого начала, как ты мне о том в незабвенные часы часто и подробно рассказывал и как я сам душевно понимал тебя, и перескажу твою историю тем, кому она доставит радость.

Иозеф Берглингер родился в маленьком городке южной Германии. Его матери суждено было, произведя его на свет, покинуть мир; отец, человек уже довольно пожилой, был доктором науки врачевания и обладал скудными средствами. Счастье повернулось к нему спиной, и ему стоило больших трудов прокормить себя и шестерых детей (ибо у Иозефа было пять сестер), тем более что ему не хватало разумной хозяйки.

Отец Иозефа был по природе мягким и очень добродушным человеком, который всегда охотно готов был, по мере сил и возможности, оказать помощь своим ближним, посоветовать и подать милостыню; после доброго дела он спал лучше обыкновенного; долго, с сердечным умилением и благодарностью Богу, мог он вкушать от благих плодов своего сердца и душу свою охотнее всего питал трогательными чувствами. В самом деле, глубокая грусть и сердечная любовь овладевает нами всегда, когда мы созерцаем завидную простоту этих душ, которые в обыкновенных проявлениях доброго сердца находят

столь неисчерпаемую бездну великолепия, что это дарует им блаженство на земле, примиряет их со всем миром и поддерживает в них чувство полной удовлетворенности. Подобное чувство испытывал и Иозеф, когда думал об отце, — но самого его небо создало таким, что он всегда стремился к чему-нибудь еще более высокому; его не удивляло одно лишь здоровье души и сознание, что она выполняет свои обычные дела, работая и творя добро, — ему хотелось, чтобы она плясала от полноты восторга и к небу, своей истинной родине, возносила ликованья.

В натуре его отца были, однако, и другие стороны. Он был трудолюбивый и добросовестный врач, в течение всей своей жизни не интересовавшийся ничем иным, кроме знания диковинных вещей, сокрытых в человеческом теле, и обстоятельного изучения всех плачевных человеческих недугов и болезней. Эти ревностные занятия сделались для него, как это часто бывает, тайным, притупляющим нервы ядом, который проник во все его жилы и источил в нем много звучащих струн человеческого сердца. К этому присоединялась раздраженность нуждою и бедностью и, наконец, старость. Все это разъедало его природную доброту; ибо у душ, не отличающихся силой, все, с чем человек имеет дело, переходит в кровь и изменяет, помимо его ведома, внутреннее его существо.

Дети старого врача выросли, как сорная трава в запущенном саду. Сестры Иозефа отличались отчасти болезненностью, отчасти слабоумием и вели жалкую, одинокую жизнь в своей темной маленькой комнате.

Никто не мог соответствовать этой семье менее, чем Иозеф, который постоянно жил в прекрасных мечтах и возвышенных грезах. Душа его походила на нежное деревце, семечко которого птица заронила на стену пустынной развалины, где оно девственно пробивается между жестких камней. Он всегда был одинок и молчалив и питался исключительно плодами своей фантазии; потому и отец считал его несколько странным и слабоумным. Отца своего и сестер он искренне любил, но внутренний мир свой ценил превыше всего и таил его от других. Так таят шкатулку с драгоценностями, ключа от которой никому не доверяют.

Высшую радость с самых ранних лет доставляла ему музыка. Ему приходилось слушать иногда, как кто-нибудь играет на клавире, и он сам мог немного играть.

Благодаря этому часто испытываемому наслаждению он постепенно развился так своеобразно, что музыка сделалась его внутренней сущностью и душа его, привлекаемая этим искусством, вечно витала в сумеречных лабиринтах поэтического чувства.

Замечательную эпоху в его жизни составило путешествие в епископскую резиденцию; один состоятельный родственник, тамошний житель, полюбил мальчика и взял его на несколько недель к себе. Здесь он уже зажил прямо как на небесах: его душа наслаждалась самой разнообразной и прекрасной музыкой и парила, подобно мотыльку, в теплых воздушных струях.

Преимущественно он посещал церкви и слушал священные оратории, кантилены и хоры с полнозвучным сопровождением тромбонов и труб под высокими сводами, причем зачастую из чувства благоговения он смиренно опускался на колена. Еще прежде чем раздавалась музыка, еще когда он стоял в тесно сгрудившейся, тихо перешептывающейся толпе, ему казалось, будто он слышит вокруг себя шум обыденной пошлой жизни, нечто вроде гудения большой ярмарки с ее немелодическим смешением звуков; голову его туманили разные пустые житейские мелочи. С нетерпением ожидал он первых звуков инструментов,— и когда они наконец прорывались из глухой тишины, мощно и протяжно, подобно веянию ветра с небес, и затем вся сила звуков проносилась над его головой,— ему чудилось, будто душа его вдруг расправляет крылья, он поднимается над бесплодной равниной, темная облачная завеса спадает с его смертных очей, и он возносится к светлому небу. Там он стоит тихо и неподвижно, а глаза его устремлены на землю. Настоящее перед ним исчезало; внутреннее существо его очищалось от всяких житейских мелочей, образующих некую пыль на блестящей поверхности души; музыка проникала легким трепетом в его нервы и пробуждала в нем целый рой разнообразных образов. Так, во время радостных и возвышающих душу песнопений во славу Господа ему совершенно ясно представлялось, будто он видит царя Давида в длинной царской мантии, с короной на голове, пляшущего перед ковчегом завета и распевającego гимны; он постигал весь его восторг и все его движение, и сердце бешено колотилось у него в груди. Тысячи дремлющих в его душе чувств освобождались и дивно перемешивались друг с другом. В некоторых местах музыки ему даже казалось, будто какой-то особенный луч света проникает ему прямо в душу, и при

этом он сразу делается гораздо умнее и более зоркими очами, с некоторой величавой и спокойной грустью взирает на весь этот кишачий перед ним мир.

Несомненно, по крайней мере, то, что по окончании музыки и по выходе из церкви он чувствовал себя много чище и благодороднее. Все существо его еще продолжало пылать от этого духовного вина, которое его опьянило, и он смотрел на всех проходящих иными глазами. Когда же ему при этом приходилось наблюдать, как люди, неторопливо прогуливаясь, останавливаются группками, смеются или сообщают друг другу разные новости, то это производило на него особенно отталкивающее впечатление. Он твердил себе: «Ты должен всю жизнь оставаться в этом прекрасном поэтическом опьянении, и вся твоя жизнь должна быть сплошной музыкой».

Когда он приходил после этого к своим родственникам и сидел за обедом, как обычно, в веселом, шутливо настроенном обществе, то бывал недоволен, что так скоро вновь опустился в обыденную прозу и опьянение его испарилось, как блестящее облако.

Это горькое противоречие между его природным энтузиазмом и неизбежным участием в жизни, сужденной каждому, насильственно вырывающей из мира мечтаний, мучило его в течение всей жизни.

Когда Иозеф бывал в каком-либо большом концерте, то обычно, не глядя на блестящее собрание слушателей, усаживался куда-нибудь в уголок и слушал с таким же благоговением, как если бы он был в церкви,— столь же безмолвно и неподвижно, с тем же устремленным в землю взором. От него не ускользал ни малейший звук, и от напряженного внимания он чувствовал себя под конец ослабевшим и утомленным. Его постоянно подвижная душа полностью предавалась игре звуков: точно она отделялась от тела и свободно трепетала и парила вокруг, или же точно само тело его тоже превращалось в душу,— так свободно и легко охватывалось все его существо прекрасными гармониями, и тончайшие оттенки и изгибы звуков запечатлевались в его восприимчивой душе. Слушая радостные, восхитительные, полногласные симфонии, особенно им любимые, он зачастую грезил, будто видит, как пляшет перед ним веселый хоровод юношей и девушек на светлом лугу, как они прыгают взад и вперед или как отдельные пары ведут между собой немой разговор, после чего снова смешиваются со всей веселой толпой. Многие места в музыке были ему настолько ясны и близки, что звуки казались слова-

ми. В другой же раз звуки вызывали в его сердце удивительное смешение радости и грусти, так что он бывал одинаково близок и к смеху и к плачу,— ощущение, которое часто встречается на нашем жизненном пути и не передается ни одним искусством так точно, как музыкой. С каким восхищением и удивлением слушал он музыкальную пнесу, которая начинается с бодрой веселой, как ручеек, мелодии, но постепенно, незаметным и удивительным образом, начинает ползти вперед извилами, все более омрачаясь, чтобы под конец разразиться особенно громким рыданием или же пронестись сквозь дикие скалы с устрашающим ревом. Все эти разнообразные ощущения пробуждали в его душе соответствующие чувственные образы и неожиданные мысли — чудесный дар музыки, искусства, которое вообще действует на нас тем могущественнее и тем сильнее возбуждает все силы нашего существа, чем темнее и таинственнее его язык.

Прекрасные дни, прожитые Иозефом в епископской резиденции, наконец миновали, и ему пришлось снова вернуться в свой родной город, в дом своего отца. Как грустен был обратный путь! Каким жалким и подавленным почувствовал он себя опять в семье, все житейское которой вертелось исключительно вокруг скудного удовлетворения самых насущных потребностей, и у отца, который так мало сочувствовал его склонностям! Последний относился с презрением и отвращением ко всем искусствам, которые, по его мнению, лишь служили разнузданной похоти и льстили знатным людям. Он давно уже с неудовольствием смотрел на то, что его Иозеф так сильно пристрастился к музыке; теперь же, когда эта любовь в мальчике все возрастала, он сделал серьезную попытку отвлечь его от пагубной склонности к искусству, занятие которым, по его мнению, было не многим лучше безделья и которое удовлетворяло исключительно вожделения чувств, и обратить его к медицине, как к наиболее благотворной и полезной для человечества науке. Он приложил немало труда, чтобы преподать ему первоначальные ее основы, и дал ему в руки учебники.

Такое положение вещей было весьма мучительно и тягостно для Иозефа. Он подавил, скрыл у себя в груди свой энтузиазм и намеревался, дабы не огорчать отца, заставить себя изучить, между прочим, и эту полезную науку. Но все обернулось постоянным душевным

разладом. Он прочитывал страницу из своего учебника по десяти раз, не будучи в состоянии понять, что читает,—душа его втайне продолжала непрестанно сочинять свои мелодические фантазии. Отец был им очень озабочен.

Горячая любовь Иозефа к музыке постепенно в тиши все более одерживала в нем верх. Если в течение нескольких недель ни один музыкальный звук не касался его слуха, он чувствовал себя совершенно не в себе; он замечал, что сердце его сжимается, в груди образуется какая-то пустота и появляется непреодолимое стремление снова воодушевить себя звуками. В этих случаях даже посредственные музыканты, играющие во время праздников и церковных торжеств на духовых инструментах, могли внушить ему такие чувства, о каких сами они не имели никакого понятия. И как только в соседних городах представлялся случай услышать прекрасную серьезную музыку, он немедленно устремлялся туда, полон горячей жажды — даже в сильнейший снег, дождь и бурю.

Почти ежедневно вспоминал он с тоской великолепное время своего пребывания в епископской резиденции и проигрывал в душе снова те чудные произведения, которые там слышал. Часто повторял он себе сохранившиеся у него в памяти такие милые и трогательные слова духовной оратории, которую ему первой пришлось услышать и которая произвела на него особенно глубокое впечатление:

Stabat Mater dolorosa,
Juxta crucem, lacrimosa,
Dum pendeat filius:
Cujus animam gementem
Contristatam et dolentem,
Petrasivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti:
Quae mocrebat et dolebat
Et temebat, cum videbat
Nati poenas incliti¹.

¹ Мать стояла в тяжкой муке,
С плачем воздевая руки,
У креста, где страждал сын.
В сердце, полное страданья,
Лютой скорби и терзанья,
Меч вонзился до глубин.

И как там следует дальше.

Но увы!.. Когда столь восхитительное пребывание в небесных грезах или опьянение чудной музыкой прерывались по его возвращению домой тем, что сестры ссорились между собой из-за нового платья, или отец не в состоянии был дать старшей достаточно денег на хозяйство, или отец рассказывал о каком-нибудь несчастном, жалком больном, или тем, что в дверях появлялась старая, вся скрюченная нищенка, которую лохмотья не в состоянии были защитить от зимней стужи,— увы! на свете нет более горького, более раздирающего сердце чувства, чем то, что в ту минуту терзало Иозефа. Он думал: «Милосердный Боже! Неужели мир таков на самом деле? И неужели такова воля твоя, что я обречен жить в сутолоке людской и участвовать в общем страдании? И все же это так, и отец мой постоянно проповедует, что долг и назначение человека в том, чтобы он вмешивался в людскую сутолоку, подавал там советы и милостыню, перевязывал отвратительные раны и исцелял ужасные болезни. А вместе с тем какой-то внутренний голос во мне громко взывает: «Нет! Нет! Ты родился для более высокой, более благородной цели!» Такими мыслями он мучился зачастую подолгу и не мог найти выхода; впрочем, не успевал он опомниться, как эти отвратительные картины, казалось, увлекавшие его насильно в житейскую грязь, исчезали бесследно из его души, и дух его снова беспрепятственно воспарял в небеса.

Постепенно он окончательно пришел к убеждению, что Господь послал его в мир для того, чтобы он сделался весьма отменным музыкантом; а иногда ему представлялось, что небо вознесет его когда-нибудь из унылой и скудной бедности, в которой он вынужден проводить свою юность, к тем вящей славе. Многие сочтут это за романтический и неестественный вымысел, но я рассказываю чистую правду: часто Иозеф, будучи один, опускался в горячем сердечном порыве на колени и молил Бога направить его таким образом, чтобы из него когда-

О, в какой немой кручине
По едиnorodном сыне
Пресвятая мать была!
Как болела и скорбела!
Все глядела то на тело,
То на смертный пот чела.

Перевод О. Румера

нибудь вышел пред лицом неба и земли художник, который будет с успехом трудиться на ниве искусства. В это время, когда кровь в нем бурлила, постоянно возбуждаемая все теми же фантазиями, он написал несколько маленьких стихотворений, которые передавали его настроение или восхваляли музыкальное искусство и которые он с большой радостью, в своей наивно-чувствительной манере положил на музыку, не зная толком ее правил. Образцом этих песенок является нижеследующая молитва, обращенная к святой, которая почитается покровительницей музыкального искусства:

О Цецилия святая!
Одинокий изнывая,
Плачу горькою слезой.
Глянь — от мира удаленный
И коленопреклоненный,
Я молюся пред тобой.

Звук от струн твоих чудесный
Окрыляет мир небесный.
Отрывает от земли:
Успокой смятенье крови,
Звуком песен и любви,
Жажду сердца утоли!

Силу дай руке бессильной
Вызвать смело звук обильный
И восторгом оживи!
Чтоб смягчали струн отзывы
Сердца гордые порывы
Сладкой грустию любви.

Окрылен тобой, воспряну
И под сводом храма гряну
Гимн тебе, тобой избран;
И, тобою вдохновенный,
Пусть ликует сонм смиренный
Умиленный христиан!

Оживленными струнами
Дай мне силу над сердцами,
С тайны их покров сорви:
Чтоб я мог всевластным духом
Целый мир наполнить звуком
Вдохновенья и любви¹.

Более года мучился бедный Иозеф и в одиночестве размышлял о шаге, который намеревался предпринять. Неудержимая сила влекла его в тот великолепный го-

¹ Перевод С. Шевырева.

род, на который он смотрел как на рай; ибо он сгорал от жажды основательно изучить там свое любимое искусство. Но сыновние обязанности, как камень, давили его сердце. Отец заметил, конечно, что Иозеф не желает более серьезно и ревностно заниматься его наукой, он уже почти махнул на него рукой и окончательно погрузился в свою меланхолию, которая с приближением старости все усиливалась. Он не стал больше тратить много времени на мальчика. Однако Иозеф не утратил из-за этого своей детской любви; он вечно боролся со своей склонностью и все не мог собраться с духом, чтобы высказать в присутствии отца то, в чем ему хотелось признаться. Целыми днями он мучился, взвешивая все обстоятельства, но так и не мог выбраться из ужасной бездны своих сомнений; все его горячие моления не приносили плодов: это почти сокрушило его сердце. О чрезвычайно унылом и мучительном состоянии, в котором он тогда находился, свидетельствуют нижеследующие строки, найденные мною среди его бумаг:

О, не знаю, что меня стесняет,
Что мой дух и давит и терзает.
Словно бы от казни иль от грома,
Рвусь, бегу из отческого дома.
Чем же я виновен, в чем я грешен
И за что страдаю безутешен?

Божий сын! ужель твоя отрада
Не смирит бунтующего ада?
Неужель не будет откровенья —
Разогнать души моей сомненья?
Не внушишь безумцу мысли здравой
И стези мне не укажешь правой?

О, спаси меня своею силой!
Иль вели земле, чтоб поглотила!
А не то я жертва чуждой власти:
Увлекут меня слепые страсти,
И, лишенный всякой благодати,
Убегу из отческих объятий¹.

Тоска его все усиливалась, искушение бежать в тот чудный город становилось все непреодолимее. «Но неужели,— думал он,— небеса тебе не помогут? Неужто не будет тебе никакого знамения?» Страсть достигла наконец высшего предела, когда отец однажды, во время какой-то домашней размолвки, набросился на него резко обыкновенного и с тех пор не переставал всячески

¹ Перевод С. Шевырева.

проявлять к нему свою неприязнь. Тогда он решился: отбросил всякие сомнения и колебания и ни о чем более не раздумывал. Приближалась Пасха; этот праздник он хотел провести еще дома, но как только он минует — пуститься по белу свету.

Праздник миновал. Он дождался первого погожего утра, когда яркий солнечный свет, казалось, очаровывал и манил его вдаль; он спозаранку выбежал из дома, что, в сущности, было для него обычно, но на сей раз он не вернулся домой. С восторгом и колотящимся сердцем спешил он по тесным переулкам маленького городка; у него было такое чувство, что ему хочется прыгнуть через все, что его окружало, прямо в открытое небо. На углу повстречалась ему одна старая родственница. «Куда спешишь, братец? — спросила она. — Не на рынок ли за овощами?» — «Да, да!» — рассеянно воскликнул Иозеф и выбежал, трепеща от радости, за городские ворота.

Но пройдя небольшое расстояние по полю, он обернулся, и обильные слезы потекли у него из глаз. «Не воротиться ли мне?» — подумал он. Но он пустился бежать дальше, словно у него пятки зудели, и все время плакал, не замедляя хода, точно хотел убежать от собственных слез. Много чужих деревень и чужих лиц промелькнуло мимо него; вид незнакомого мира снова придал ему мужество, он почувствовал себя свободным и сильным, — все ближе и ближе подходил он к цели, — и вот наконец — о, милосердное небо! какой восторг! — наконец он увидел перед собой башни того прекрасного города.

Часть ВТОРАЯ

Я возвращаюсь к моему Иозефу, уже когда он через несколько лет, после того как мы его покинули, сделался капельмейстером в епископской резиденции и пользовался большой славой. Родственник его, отлично его принявший, сделался творцом его счастья и доставил ему возможность основательнейшим образом изучить музыкальное искусство, а также постепенно примирил его отца со всем происшедшим. Неустанным усердием Иозеф пробил себе дорогу и достиг наконец высшей ступени счастья, какой только мог себе пожелать.

Однако все на свете меняется на наших глазах. Он написал мне однажды, после того как уже несколько лет был капельмейстером, следующее письмо:

«Милый патер!

Жизнь, которую я здесь веду, очень несчастна: чем больше вы меня утешаете, тем сильнее я это чувствую.

Я вспоминаю о годах моей юности,— как блаженно счастлив я был тогда в своих мечтах! Мне казалось, что я буду непрерывно предаваться фантазиям и изливать свое переполненное сердце в произведениях искусства,— но как чужды и суровы оказались для меня сразу же годы ученья! Как горько мне было, когда завеса предо мной приоткрылась! Я узнал, что все мелодии (хотя бы они возбуждали во мне самые разнородные и часто необыкновенные ощущения) основывались на одном-единственном, неумолимом математическом законе! Узнал, что, вместо того чтобы свободно парить, мне предстоит сперва научиться карабкаться по неуклюжим подмосткам в клетке грамматики искусства! Как пришлось мне мучиться, чтобы с помощью обычного механического разума сотворить наконец нечто соответствующее всем правилам науки, прежде чем я мог даже помыслить о том, чтобы выразить в звуках свое чувство!.. Это была тягостная механика! Но как бы то ни было, я обладал тогда упрямством юности и все еще надеялся на прекрасное будущее! А теперь?.. Роскошное будущее превратилось в жалкое настоящее.

Какие счастливые часы проводил я мальчиком в большом концертном зале! Когда я сидел безмолвно и неприметно в уголке, очарованный его роскошью и великолепием, и так страстно желал, чтобы все эти слушатели собрались когда-нибудь также и ради моих произведений, чтобы их чувство было пробуждено мною! Теперь я весьма часто сижу в том же зале и исполняю там также и мои произведения; но чувствую я себя при этом совсем иначе. Как только я мог себе вообразить, будто эта разодетая в золото и шелк публика собирается, чтобы насладиться произведениями искусства, согреть свое сердце и подарить свои чувства художнику! Ведь эти души не могут воспламениться даже в величественном соборе, в день самого святого праздника, когда на них мощно воздействует все великое и прекрасное, что только может дать искусство и религия! Чего же ждать от них в концертном зале? Чувство и вкус вышли из моды и считаются неприличными. Проявлять чувство к како-

му-нибудь художественному произведению было бы столь же странно и смешно, как если бы кто-нибудь в обществе вдруг заговорил стихами, в то время как вообще-то в жизни пользуются разумной и общепонятной прозой. И для этих-то людишек изнуряю я свою душу! Для них я стараюсь изо всех сил, пытаюсь пробудить в них какие-то чувства! И это высокое назначение, для которого я мыслил себя рожденным!

И когда кто-то, обладающий хоть каким-либо подобием чувств, вздумает меня похвалить, критически одобряет и задает мне критические вопросы, то мне всегда хочется попросить его, чтобы он не давал себе такого труда изучать чувство по книгам. Бог знает почему, но когда я испытываю наслаждение музыкой или каким-либо иным произведением искусства, меня восхищающим, и все существо мое полно этим, мне хочется передать то, что я чувствую, одним-единственным штрихом на доске; если бы только краска могла бы это выразить! Я не в состоянии хвалить искусственными словами, выжимать из себя нечто умное.

Меня, конечно, немного утешает мысль о том, что, может быть, где-нибудь в маленьком уголке Германии, куда попадет то или иное из написанного мною, хотя бы и спустя много лет после моей смерти, будет жить какой-нибудь человек, в которого небо вложит такую симпатию к моей душе, что он воспримет в моих мелодиях как раз то, что я чувствовал при их сочинении и что мне так хотелось в них выразить. Прекрасная мысль, которой можно некоторое время весьма приятно себя обманывать!

Еще более ужасными, однако, являются все остальные обстоятельства, стесняющие жизнь художника. О мерзостной зависти и вероломстве, обо всех отвратительно мелочных обычаях и столкновениях, о полном подчинении искусства воле двора я и словом не помяну; до того все это недостойно, до того унижает человеческую душу, что говорить об этом у меня, право, язык не поворачивается. Тройное несчастье для музыки, что в этом искусстве как раз необходимо участие такого множества рук, для того чтобы произведение всего только могло существовать! Я сосредоточиваю и возвышаю душу свою, чтобы произвести на свет по-настоящему большое произведение,— а сотни бесчувственных и пустых голов вмещиваются в это почем зря и требуют того или иного.

Я мечтал в юности бежать от нашей земной юдоли, а между тем теперь-то я и окунулся в самую грязь. К сожалению, несомненно одно: несмотря ни на какие усилия наших духовных крыл, оторваться от земли невозможно; она насильно притягивает нас к себе, и мы снова шлепаемся в самую пошлую гущу людскую.

Вокруг меня я вижу немало художников, поистине достойных сожаления. Даже самые благородные из них так мелочны, что не знают, куда деваться от чванства, ежели невзначай их творение приобретет широкую популярность. Боже милостивый! Да разве мы не обязаны половиной нашей заслуги божественности самого искусства, вечной гармонии природы, а другой половиной — всеблагому творцу, даровавшему нам способность применять это сокровище? Разве все эти бесчисленные прелестные мелодии, вызывающие в нас самые разнообразнейшие порывы, не возникли из единственного чудесного трезвучия, которое природа создала от века? Эти полные грусти, то приятные, то мучительные ощущения, неизвестно каким образом пробуждаемые в нас музыкой, что же они такое, как не таинственное воздействие сменяющихся мажора и минора? И разве мы не должны благодарить творца за то, что он как раз даровал нам умение так сочетать эти звуки, изначально нам близкие, что они трогают наше сердце? Поистине, надо почитать искусство, а не художника; он же сам не более, как слабое орудие.

Вы видите, что мое усердие и моя любовь к музыке не стали слабее, чем прежде. Потому-то я так несчастлив — впрочем, оставим это! Не хочу омрачать вас описанием всех гнусностей вокруг меня; достаточно сказать, что я живу в весьма нечистой атмосфере. Насколько идеальнее жилось мне в былое время, когда я, в простодушной юности и тихом уединении, еще только наслаждался искусством, чем теперь, когда я им занимаюсь в блестящем светском окружении, среди шелков, нарядов, орденских звезд и крестов, среди людей, наделенных культурой и вкусом! Чего бы мне хотелось? Мне хотелось бы оставить всю эту культуру и бежать в горы, к простым пастухам, и подыгрывать их альпийским песням, по которым они вечно тоскуют, где бы ни находились».

Из этого отрывочно написанного письма можно отчасти видеть то состояние, в котором находился Иозеф. Он чувствовал себя покинутым и одиноким среди суеты

и шума, производимого столькими негармоничными душами вокруг него. Искусство его было глубоко унижено тем, что не производило, как он считал, ни на кого живого впечатления, тогда как ему казалось, что оно создано было исключительно для того, чтобы трогать человеческие сердца. Зачастую в часы уныния он приходил в совершенное отчаяние и думал: «Как странно и необычайно искусство! Неужели оно только для меня одного обладает столь таинственной притягательной силой, а всем остальным людям служит лишь для развлечения и приятного проведения времени? Что же оно взаправду и на самом деле, если для всех людей оно — ничто и только для меня одного — нечто? Не несчастнейшая ли это мысль сделать искусство своей единственной целью в жизни и главным занятием, нашептать себе тысячу прекрасных сказок о его глубоком действии на человеческие души? И все это о том искусстве, которое в действительности играет не бóльшую роль, чем карточная игра или любое другое времяпрепровождение?»

Когда он размышлял подобным образом, то его стремление сделаться музыкантом с мировой славой представлялось ему бредовой фантазией. Он набрел на мысль, что художник должен творить лишь для себя одного, для подъема собственного духа, и для одного или нескольких друзей, которые его понимают. И я не могу отказать этой мысли в некоторой справедливости.

Но буду краток в дальнейшем рассказе о жизни моего Иозефа, ибо воспоминания об этом наводят на меня грусть.

Несколько лет прожил он таким образом капельмейстером, причем уныние и неприятное сознание того, что, несмотря на свои глубокие чувства и искреннее влечение к искусству, людям он не нужен и куда менее полезен, чем любой ремесленник, все более и более возрастали. Часто с грустью вспоминал он о чистом, идеальном энтузиазме своего детства, а вместе с тем и о своем отце, о том, как тот старался воспитать из него врача, чтобы он облегчал посылно человеческие страдания, исцелял несчастных и тем приносил пользу миру. «Может быть, так было бы лучше», — думал он в иные часы.

Между тем отец его, состарившись, стал очень слаб. Иозеф постоянно переписывался со своей старшей сестрой и посылал ей денег на содержание отца. Посетить его сам он не решался; он чувствовал, что это для него невозможно. Он пришел в еще большее уныние, жизнь его клонилась к упадку.

Однажды он исполнял в концертном зале прекрасную музыку собственного сочинения; впервые показалось ему, что он произвел некоторое впечатление на сердца слушателей. Всеобщее изумление, безмолвное одобрение, которое гораздо прекраснее громкого, пробудило в нем радостную мысль, что, может быть, на этот раз он достойным образом проявил свое искусство; это вдохновляло его на новые труды. Когда он вышел на улицу, к нему подобралась бедно одетая девушка, желая с ним поговорить. Он не знал, что ей сказать, посмотрел на нее внимательно. «Боже!» — воскликнул он, — это была его младшая сестра в самом жалком одеянии. Она пешком пришла из дому, чтобы принести ему известие, что отец его при смерти и хочет перед кончиной еще раз поговорить с ним. Радостное пение сразу умолкло в его груди; машинально, как оглушенный, он собрался и поспешно поехал в свой родной город.

Сцены, происшедшие у смертного одра его отца, я описывать не стану. Не следует думать, что дело дошло до пространных и горестных взаимных объяснений; они глубоко поняли друг друга без лишних слов; вообще природа словно издевается над нами, давая по-настоящему понять друг друга лишь в последние критические мгновения. Тем не менее Иозеф чувствовал себя потрясенным до глубины души. Сестры его пребывали в самом жалком состоянии; две из них сбежали и вели дурную жизнь; старшая, которой он всегда посылал деньги, легкомысленно их тратила, а отца оставляла впроголодь, и вот он в нужде умирает наконец на глазах сына; ах, как ужасно было изранено и истерзано его бедное сердце! Он позаботился, насколько мог, о своих сестрах и возвратился назад, так как дела и обязанности его призывали.

Он должен был написать к предстоящему празднику Пасхи новую музыку к «Страстям», чему сильно завидовали его соперники. Но потоки слез лились у него из глаз, как только он собирался сесть за работу; он не знал, что делать со своим истерзанным сердцем, он лежал, задавленный и засыпанный земным прахом. Наконец, собрав силы, он рванулся вверх и простер в горячем и страстном порыве руки свои к небу; дух его исполнился высочайшей поэзии, громогласных ликующих песнопений, и он написал с дивным вдохновеньем, при несмолкающем волнении души музыку к «Страстям», ко-

торая, со своими мелодиями, потрясающими и охватывающими все людские муки, навеки останется мастерским шедевром. Душа его была подобна больному, который в чудесном пароксизме проявляет большую силу, чем здоровый.

Но, исполнив эту ораторию в соборе в день святого праздника с величайшим напряжением и жаром, он почувствовал себя совершенно изнеможенным и обессиленным. Какая-то нервная слабость пала, подобно вредной росе, на все его члены; он проболел некоторое время и вскоре затем умер в расцвете лет.

Много слез я пролил по нем, и меня охватывает странное чувство, когда я обзираю его жизнь. Зачем угодно было небу, чтобы в течение всей его жизни борьба между его небесным энтузиазмом и земными страданиями делала его таким несчастным и чтобы наконец в его двойственном существе дух и тело совершенно оторвались друг от друга!

Пути господни неисповедимы. Но нельзя не удивляться разнообразию тех возвышенных душ, которых небо ниспослало в наш мир для служения искусству.

Рафаэль, при всей своей невинности и простодушии, написал гениальнейшие произведения, в которых созерцаем мы все небо; Гвидо Рени, который вел дикую жизнь игрока, создал картины самого нежного и святого содержания; Альбрехт Дюрер, простой нюрнбергский мещанин, в той же самой комнате, где злая жена ежедневно с ним ссорилась, с усердием, с механическим прилежанием создавал полные чувства произведения; а Иозеф, в гармонических творениях которого столько таинственной красоты, отличался от всех них!

Ах, почему именно высокая его фантазия погубила его? Должен ли я сказать, что он был, быть может, создан скорее для того, чтобы наслаждаться искусством, чем для того, чтобы им заниматься? Может быть, те натуры счастливее, в которых искусство проявляет себя тихо и украдкой, подобно скрытому гению, и не мешает им в их житейских делах? И не должен ли человек вечно вдохновенный все же дерзко и твердо вплетать свои высокие фантазии в эту земную жизнь, ежели он желает быть истинным художником? Да и не является ли непонятная эта творческая сила вообще чем-то совершенно иным и — как мне сейчас представляется — чем-то еще более чудесным, божественным, нежели фантазия?

Художественный гений есть и остается для человека вечной тайной, и у нас кружится голова при попытках исследовать ее глубины; но вместе с тем он вечно будет предметом высочайшего восхищения, что, впрочем, можно сказать и обо всем великом на свете.

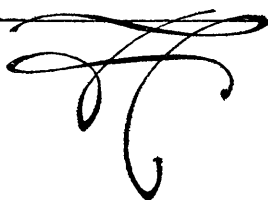
Но после этих воспоминаний о моем Иозефе я не могу ничего больше писать. Я заканчиваю свою книгу,— и мне остается только пожелать, чтобы она послужила тому или иному, пробуждая в каждом добрые мысли.

ЛЮДВИГ ТИК

Белокурый Экберт

и

Жизнь лвется
через край



Белокурый Экберт

В одном из уголков Гарца жил рыцарь, которого обыкновенно звали Белокурый Экбертом. Он был лет сорока или около того, невысокого роста, короткие светлые волосы, густые и гладкие, обрамляли его бледное лицо со впалыми щеками. Он жил очень тихо, никогда не вмешивался в распри соседей и редко появлялся за стенами своего небольшого замка. Жена его столь же любила уединение, оба были сердечно привязаны друг к другу и только о том горевали, что Бог не благословил их брака детьми.

Гости редко бывали у Экберта, а если и бывали, то ради них не делалось почти никаких изменений в обычном течении его жизни, умеренность господствовала в доме, где, казалось, сама бережливость правила всем. Экберт только тогда бывал весел и бодр, когда оставался один, в нем замечали какую-то замкнутость, какую-то тихую, сдержанную меланхолию.

Чаще всех приходил в замок Филипп Вальтер, человек, к которому Экберт был душевно привязан, находя образ мыслей его весьма сходным со своим. Вальтер жил по-настоящему во Франконии, но иногда по полугоду и более проводил в окрестностях замка Экберта, где собирал травы и камни и приводил их в порядок; у него было небольшое состояние, и он ни от кого не зависел. Экберт нередко сопровождал Вальтера в его уединенных прогулках, и взаимная дружба их крепла с каждым годом.

Бывают минуты, когда нам мучительно иметь тайну от друга, даже такую, которую прежде тщательно старались скрыть; душа чувствует тогда неодолимое влечение вполне открыться близкому человеку, посвятить его в свое самое сокровенное и тем сильнее привязать его. В такие мгновенья взаимно узнают друг друга чуткие души, и нередко случается, что один вдруг отступает в страхе перед приятелью другого.

Туманным осенним вечером Экберт сидел с женою и другом у пылающего камина. Пламя ярко освещало комнату, играя на потолке, сквозь окна глядела темная ночь. Деревья на дворе стряхивали с себя холодную влагу. Вальтер жаловался, что ему далеко возвращаться, и Экберт предложил ему остаться у него, чтобы прове-

сти часть ночи в откровенной беседе и отдохнуть затем до утра в одной из комнат замка. Вальтер согласился, подали вина, ужин, подложили дров, и разговор друзей стал живее и откровеннее.

После ужина, когда слуги убрали со стола и удалились, Экберт взял Вальтера за руку и сказал:

— Друг мой, не угодно ли вам выслушать рассказ моей жены о ее приключениях в молодости, которые довольно странны.

— Очень рад,— отвечал Вальтер, и все трое придвинулись к камину.

Это было ровно в полночь, месяц то прятался, то вновь выглядывал из-за бегущих облаков.

— Не сочтите меня навязчивой,— начала Берта,— муж мой говорит — ваш образ мыслей так благороден, что несправедливо было бы что-либо таить от вас. Только, как ни странен будет рассказ мой, не примите его за сказку.

Я родилась в деревне, отец мой был бедный пастух. Хозяйство родителей моих было незавидное, часто они не знали даже, где им достать хлеба. Но более всего меня огорчало то, что нужда вызывала частые раздоры между отцом и матерью и была причиной горьких взаимных упреков. Кроме того, они говорили беспрестанно, что я простоватое, глупое дитя, неспособное к самой пустячной работе, и точно, я была до крайности неловкой и беспомощной, все у меня валялось из рук, я не училась ни шить, ни прясть, ничем не могла помочь в хозяйстве, и только нужду моих родителей я понимала очень хорошо. Часто, сидя в углу, мечтала я о том, как бы я стала помогать им, если бы вдруг разбогатела, как бы осыпала их серебром и золотом и как наслаждалась бы их удивлением; вокруг меня носились духи, они показывали мне подземные сокровища или дарили мне булыжники, превращавшиеся затем в драгоценные камни; одним словом, меня занимали самые необыкновенные фантазии, и, когда мне приходилось встать, чтобы помочь матери или отнести что-нибудь, я становилась еще более неловкой, потому что голова моя кружилась от разных бредней.

Отец всегда был зол на меня за то, что я была в хозяйстве бесполезным бременем; иногда он даже обходился со мной жестоко, и редко удавалось мне слышать от него ласковое слово. Так мне исполнилось восемь лет, и тогда стали не на шутку думать, как бы научить меня чему-нибудь. Отец полагал, что я поступаю так из уп-

рямства и лени, из любви к праздности, короче говоря, он стал страшать меня угрозами; но так как они оказались бесплодными, то он наказал меня жесточайшим образом, приговаривая, что побои будут возобновляться каждый день, потому что я ни к чему не годная бездельница.

Всю ночь я горько проплакала, я чувствовала себя совершенную сиротой и сама к себе испытывала такую жалость, что хотела умереть. Я боялась наступления утра, я не знала, на что мне решиться, я хотела стать как можно ловчее и не могла понять, чем я глупее других детей. Я была близка к отчаянию.

Когда стало заниматься утро, я поднялась и почти безотчетно отворила дверь нашей хижины. Я очутилась в чистом поле и вскоре в лесу, куда едва еще проникали первые лучи солнца. Я все бежала и бежала без оглядки и не чувствовала усталости, мне все казалось, что отец нагонит меня и, раздраженный моим побегом, еще суровее накажет.

Когда я вышла из лесу, солнце стояло уже довольно высоко, я увидела впереди что-то темное, окутанное густым туманом. То мне приходилось карабкаться на кручи, то пробираться извилистой тропинкой между скал, и тут-то я поняла, что нахожусь в ближних горах, и в моем одиночестве меня стал разбирать страх. Я росла на равнине и еще не видала гор, и в самом слове «горы», когда о них заходила речь, было что-то страшное для моего детского слуха. У меня не хватало духу вернуться назад, страх гнал меня вперед; часто я робко озиралась кругом, когда ветер начинал свистеть в вершинах деревьев или когда в утреннем воздухе слышались отдаленные удары топора. А когда наконец мне встретились угольщики и рудокопы и я услышала незнакомый говор, то чуть в обморок не упала от ужаса.

Так я прошла несколько деревень и, томимая голодом и жаждой, просила милостыни; на вопросы же любопытных отвечала очень сбивчиво. Проблуждав около четырех дней, попала я на тропинку, которая все более уводила меня в сторону от большой дороги. Тут окрестные скалы приняли другой вид и стали еще страннее. Утесы так громоздились на утесы, что, казалось, они рухнут от малейшего порыва ветра. Я не знала, идти ли мне дальше. Было как раз самое лучшее время года, и ночи я проводила в лесу или в заброшенных пастушеских хижинах; тут же мне вовсе не попадалось человеческое жилье, и я не чаяла даже натолкнуться на него

в такой глуши; скалы с каждым часом становились страшнее, не раз я проходила по краю бездонных пропастей, наконец и дороги передо мной не стало. Я была безутешна, плакала и кричала, и голос мой отдавался в ущельях жутким эхом. Наступила ночь, и я, выбрав себе местечко, поросшее мхом, хотела отдохнуть. Но я не могла уснуть, слыша необычные ночные звуки и принимая их то за рев диких зверей, то за жалобы ветра между скал, то за крик незнакомых птиц. Я молилась и заснула только под утро.

Я проснулась, когда уже солнце светило мне в лицо. предо мной возвышалась крутая скала; я взобралась на нее в надежде увидеть выход из этой пустыни или, быть может, заметить где-нибудь человеческие жилища. Но, стоя наверху, я увидела, что все вокруг, куда только хватал глаз, было то же, что и возле меня, все было покрыто туманною мглой, день был серый, пасмурный, и ни деревца, ни лужка, ни кустарника не различал мой взор, если не считать отдельных кустов, одиноко и печально торчавших в узких расселинах скал. Не могу передать, с какою тоской желала я увидеть хоть одного человека, пусть даже он напугал бы меня. Нестерпимый голод меня томил; я села на землю и решила умереть. Но спустя немного привязанность к жизни превозмогла, я собралась с силами и целый день шла, тяжело вздыхая и обливаясь слезами; наконец я так устала и силы мои до того истощились, что я едва помнила себя; я не хотела жить и все-таки боялась смерти.

К вечеру окрестные места повеселели; мысли и желания мои оживали вместе с природой, жажда жизни охватила мою душу. Мне послышался вдали шум мельницы, я ускорила шаги, и как хорошо, как легко стало мне на сердце, когда я наконец действительно достигла конца голых скал; я снова увидела перед собой леса и луга с далекими приветливыми горами. У меня было такое чувство, словно я перешла из ада в рай; мое одиночество и моя беспомощность перестали казаться мне страшными.

Вместо ожидаемой мельницы нашла я водопад, и радость моя от того очень уменьшилась; я зачерпнула ладонью воды из ручья, и вдруг мне послышался в стороне тихий кашель. Никогда не бывала я так неожиданно обрадована, как в эту минуту; я пошла на звук и увидела на краю леса отдыхающую старуху. Она была почти вся одета в черное; черный капор закрывал ей голову и большую часть лица; в руке держала она клюку.

Я подошла ближе к ней и попросила о помощи; она посадила меня подле себя и дала мне хлеба и немножко вина; я ела, а она между тем пела пронзительным голосом духовную песнь. Когда же она кончила, то велела мне идти за собою.

Как ни странно казались мне и голос, и вся наружность старухи, однако ж я чрезвычайно обрадовалась ее предложению. Она шла при помощи своей клюки довольно проворно и на каждом шагу так дергала лицом, что я сначала не могла удержаться от смеха. Дикие скалы отходили все далее и далее, мы прошли через красивый луг, а потом через довольно большой лес. В ту самую минуту, как мы из него вышли, солнце садилось; никогда не забуду я впечатления, произведенного во мне этим вечером. Все кругом было облитое нежнейшим пурпуром и золотом, вершины деревьев пылали в вечернем зареве, и на полях лежало восхитительное сияние; леса и ветви деревьев не колыхались, ясное небо подобно было отверстому раю, и в ясной тиши нежно и печально звучали колокола далеких деревень.

В первый раз моя юная душа прониклась тогда предчувствием того, что такое мир и как в нем живут люди. Я забыла и себя, и свою спутницу, мысли и взоры мои мечтательно блуждали между золотыми облаками.

Мы взошли на холм, осененный березами; внизу расстилалась долина, тоже в зелени берез, и среди них маленькая хижина. Веселый лай раздался нам навстречу, и скоро маленькая собачонка, виляя хвостом, кинулась к старухе; потом она подбежала ко мне, осмотрела меня со всех сторон и снова возвратилась к старухе, радостно прыгая.

Спускаясь с пригорка, я услышала чудное пенье какой-то птицы в хижине; она пела:

Уединенье —
Мне наслажденье.
Сегодня, завтра,
Всегда одно
Мне наслажденье —
Уединенье.

Эти немногие слова повторялись все снова и снова; звуки этой песенки я бы сравнила разве только со сливающимися вдали звуками охотничьего рога и пастушеской свирели.

Любопытство мое было до крайности напряжено; не дожидаясь приказания старухи, я вошла вместе с ней в хижину. Несмотря на сумерки, я заметила, что комна-

та была чисто прибрана, на полках стояло несколько чаш, на столе какие-то невиданные сосуды, а у окна в блестящей клетке сидела птица, та самая, что пела песню. Старуха кряхтела, кашляла и, казалось, не могла найти себе покоя; то она гладила собачку, то разговаривала с птицей, которая на все ее вопросы отвечала все той же песенкой. Мне казалось, что старуха при этом меня вовсе не замечала. Рассматривая ее, я не раз приходила в ужас, потому что лицо ее было в беспрестанном движении и голова тряслась, вероятно, от старости, так что я решительно не могла уловить, каков ее вид на самом деле.

Отдохнувши немного, она засветила свечу, накрыла крохотный столик и принесла ужин. Тут только вспомнила она обо мне и велела мне взять один из плетеных стульев. Я уселась прямо против нее, между нами стояла свеча. Старушка сложила свои костлявые руки и, громко молясь, продолжала гримасничать, так что я чуть было не захохотала снова, но удержалась, боясь рассердить ее.

После ужина она опять стала молиться, а затем указала мне постель в низкой узенькой горнице; сама же легла в большой комнате. Я скоро заснула, почти оглушенная всем происшедшим со мной, но в продолжение ночи несколько раз просыпалась и слышала тогда, как старуха то кашляет, то разговаривает с собакой и птицей, которая, казалось, дремала и тем не менее по временам пела отдельные слова из своей песни. Все это вместе с шумом берез под окном и трелями дальнего соловья составляло такую странную смесь, что мне казалось, будто я еще не проснулась, а из одного сновиденья попадала в другое, еще более удивительное.

Поутру разбудила меня старуха и почти тотчас же посадила за работу. Мне велено было прясть, и я скоро выучилась этому; сверх того, я должна была ходить за птицей и за собачкой. Я скоро освоилась с хозяйством, и все предметы вокруг стали мне знакомы; мне уже казалось, что все так и должно быть, как оно есть, и я перестала думать о странностях старухи и о том, что жилище наше так необычайно и отдалено от людей и что птица — не простая птица. Правда, красота ее часто бросалась мне в глаза; ее оперенье сияло всевозможными цветами, шейка и спинка переливались тончайшей лазурью и ярчайшим пурпуром, а когда она начинала петь, то так гордо надувалась, что ее перья казались еще великолепнее.

Старуха часто уходила и возвращалась не раньше вечера; я выбегала с собачкой ей навстречу, и она называла меня своим дорогим дитячком и доченькой. Я любила ее наконец от чистого сердца; известно, как легко человек ко всему привыкает, особенно в детстве. По вечерам она учила меня читать; я скоро освоилась с этим искусством, и чтение стало для меня в моем уединении неисчерпаемым источником радости, потому что у старушки было несколько старинных рукописных книг с чудесными сказками.

До сих пор дивлюсь себе, припоминая тогдашний мой образ жизни: не посещаемая никем, я была замкнута в тесном семейном кругу, ведь собака и птица казались мне давно знакомыми, друзьями, членами семьи, но впоследствии я никак не могла вспомнить странной клички собаки, как ни часто я называла ее тогда по имени.

Так я прожила у старушки четыре года, и мне было уже около двенадцати лет, когда она стала ко мне доверчивее и наконец открыла мне тайну. Оказалось, что птица каждый день кладет по яйцу, в котором находится или жемчужина, или драгоценный камень. Я и прежде замечала, что старуха потихоньку шарит в клетке, только я никогда не обращала на это особенного внимания. Теперь она поручила мне собирать в ее отсутствие эти яйца и бережно складывать в те необыкновенные сосуды. Она оставляла мне пищи и долго, несколько недель, месяцев, не возвращалась домой; прятка моя жужжала, собака лаяла, чудесная птица пела, а в окрестностях было так тихо, что я во все это время не помню ни одной бури, ни одного ненастного дня. К нам не забредал странник, сбившийся с пути в лесу, дикий зверь не приближался к нашему жилищу; я была весела и работала изо дня в день. Быть может, человека следовало бы считать истинно счастливым, если бы он мог так спокойно прожить до самой смерти.

Из этого немногого, что я прочла, я составила себе удивительное понятие о людях и обо всем судила по себе и своему окружению; когда дело шло о веселых людях, то я не могла иначе вообразить их, как маленькими собачками, пышные дамы казались мне такими, как моя птица, а старые женщины — похожими на мою удивительную старушку. Я читала также о любви и воображала себя героиней странных историй. Мое воображение создало прекраснейшего в мире рыцаря, я наделила его всеми совершенствами, хотя и не знала, собственно, каким он должен казаться после всех моих усилий; но я

душевно сокрушалась, думая, что, может быть, он не станет отвечать мне взаимностью; тогда, чтоб расположить его к себе, я мысленно, а иногда и вслух, произносила трогательные речи. Вы посмеиваетесь. Для всех нас, конечно, минуло теперь время юности.

С тех пор мне приятнее оставаться одной, я становилась тогда полной госпожой в доме. Собака очень любила меня и во всем исполняла мою волю; птица на все вопросы мои отвечала песней, прятка весело вертелась, и я в глубине души не хотела никакой перемены в моем состоянии. Старушка, возвращаясь из дальних странствий, хвалила меня за прилежание, она говорила, что с тех пор как я занимаюсь ее хозяйством, оно идет гораздо лучше; она любовалась моим ростом и здоровым видом, одним словом, обходилась со мной как с родной дочерью.

— Ты молодец, дитя,— сказала она мне однажды хриплым голосом,— если и впредь будешь так себя вести, тебе всегда будет хорошо; но худо бывает тем, которые уклоняются от прямого пути, не избежать им наказания, хотя, быть может, и позднего.

Покуда она говорила, я, будучи от природы жива и проворна, не обращала вниманья на ее слова; и только ночью я припомнила их и не могла понять, что же разумела под этим старушка. Я взвешивала каждое слово, я не раз читала о сокровищах, и наконец мне пришло в голову, что, может быть, ее перлы и самоцветы вещи драгоценные. Скоро мысль эта стала мне еще яснее. Но что разумела она под прямым путем? Я никак не могла понять полного смысла этих слов.

Мне минуло четырнадцать лет, и какое это несчастье для человека, что он, приобретаая рассудок, теряет вместе с тем невинность души. Мне стало ясно, что только от меня зависит в отсутствие старухи унести и птицу ее, и драгоценности и отправиться на поиски того мира, о котором я читала. И тогда я, быть может, смогу найти того прекрасного рыцаря, который не выходил у меня из головы.

Сначала мысль эта не особенно меня взволновала, но однажды, когда я сидела за прялкой, она невольно владела мной, и я так углубилась в нее, что уже видела себя в богатом уборе, окруженной рыцарями и принцами. После таких мечтаний я чрезвычайно огорчалась, когда, оглядевшись кругом, видела себя снова в тесной хижинке. Впрочем, старушке не было до меня дела, лишь бы я только исполняла свои обязанности.

Однажды хозяйка моя опять собралась из дому, сказав, что на этот раз она будет в отлучке долее обыкновенного и что без нее я должна смотреть за всем и не скучать. Я простилась с нею с каким-то страхом, мне казалось, что никогда я уже не увижу ее. Долго смотрела я ей вслед и сама не понимала причины своей тревоги; у меня было такое чувство, словно я вот-вот приму решение, хотя я еще не сознавала отчетливо какое.

Никогда не заботилась я так прилежно о собачке и птице; он стали милее моему сердцу, чем когда-либо. Спустя несколько дней после ухода старухи я проснулась с твердым решением бросить хижину и, унеся с собой птицу, поглядеть так называемый свет. Сердце во мне болезненно сжималось, то я думала остаться, то эта мысль становилась мне противной; в душе моей происходила непонятная борьба, словно там состязались два враждебных духа. Мгновеньями мое тихое уединенье представлялось мне прекрасным, но затем меня снова захватывала мысль о незнакомом мире с его удивительным разнообразием.

Я сама не знала, на что решиться, собака беспрестанно прыгала вокруг меня, солнечные лучи весело бросали свет на поля, зелень березок сверкала и переливалась. У меня было такое чувство, словно я должна сделать что-то очень спешное, и я вдруг схватила собачку, крепко привязала ее в комнате и взяла под мышку клетку с птицей. Собака, удивленная таким необыкновенным поступком, рвалась и визжала, она смотрела на меня умоляющим взглядом, но я боялась взять ее с собою. Затем я взяла один из сосудов с самоцветами и спрятала его, а остальные оставила.

Птица как-то чудно вертела головой, когда я вышла с ней за двери; собака силилась сорваться с привязи и побежать за мной, но поневоле должна была остаться.

Избегая диких скал, я пошла в противоположную сторону. Собака продолжала лаять и визжать, и это глубоко меня трогало; птица не раз собиралась запеть, но, оттого что ее несли, ей, верно, было неловко.

Чем далее я шла, тем слабее становился лай собаки, и наконец он совсем замолк. Я плакала и чуть было не возвратилась, но жажда новизны влекла меня вперед.

Я миновала горы и прошла лес, когда же смерклось, принуждена была зайти в деревню. Я страшно робела, входя на постоялый двор, мне отвели горницу и дали постель, я спала довольно спокойно, только старуха приснилась мне и грозила.

Путь мой был довольно однообразен, но чем дальше я уходила, тем тревожнее становилось воспоминание о старухе и о собаке; я думала, что, вероятно, собака без моей помощи умрет от голоду; а идя лесом, я ждала, что старуха вдруг выйдет мне навстречу из-за деревьев. Так шла я, вздыхая и плача, когда же во время отдыха я ставила клетку на землю, птица начинала петь свою чудную песню и живо напоминала мне покинутое мною прекрасное уединение. А так как человек от природы забывчив, то мне казалось, что прежнее детское мое путешествие было не так печально, как это; я желала даже снова оказаться в прежнем положении.

Я продала несколько самоцветов и после долгого пути пришла в какую-то деревню. Уже при самом входе в нее мне стало как-то странно на душе, я испугалась, сама не зная отчего; но скоро я поняла, в чем дело: это была та самая деревня, где я родилась. Как я была поражена! Тысячи воспоминаний ожили во мне, и радостные слезы ручьями полились из глаз. Многие в деревне переменялись, появились новые дома, другие, из тех, что строились на моих глазах, обветшали, кое-где видны были следы пожара, все казалось гораздо теснее и меньше, нежели я ожидала. Я бесконечно радовалась, что после стольких лет увижу родителей; я нашла наш домик, увидела знакомый порог, ручка у двери была прежняя, а дверь — как будто я только вчера ее притворила; сердце мое неистово билось, я поспешно отворила дверь — но в горнице сидели люди с чужими лицами, они пристально посмотрели на меня. Я спросила о Мартине-пастухе; мне ответили, что уже три года, как он и жена его умерли. Я бросилась назад и, громко рыдая, ушла из деревни.

А я было так тешилась мыслью поразить их своим богатством; мечты моего детства сбылись самым удивительным образом — и все напрасно, они не могут порадоваться со мной, и то, что я лелеяла как лучшую надежду в жизни, навсегда погибло.

В красивом городке я наняла себе небольшой домик с садом и взяла служанку. Хотя свет и не казался мне так чудесен, как я некогда воображала, но я понемногу забывала старушку и свое прежнее местопребывание и жила довольно счастливо.

Птица давно уже перестала петь; и я немало была напугана, когда однажды ночью она вдруг снова запела свою песенку, хотя и не совсем ту, что прежде. Она пела:

Уединенье,
Ты в отдаленье.
Жди сожаленья,
О преступленья!
Ах, наслажденье —
В уединенье.

Всю ночь напролет я не могла сомкнуть глаз, в памяти моей встало все минувшее, и я сильнее, нежели когда-либо, чувствовала всю неправоту моего поступка. Когда я проснулась, вид птицы стал мне противен, она не сводила с меня глаз, и ее присутствие беспокоило меня. Она не умолкая пела свою песню, звеневшую громче и сильнее, чем в былое время. Чем больше я смотрела на нее, тем страшнее мне становилось; наконец я отперла клетку, всунула руку и, схватив ее за шейку, сильно сдавила, она жалостно взглянула на меня, я выпустила ее, но она была уже мертва. Я похоронила ее в саду.

С этого времени я начала бояться своей служанки; думая о совершенных мной самой проступках, я воображала, что она, в свою очередь, когда-нибудь обокрадет меня или даже убьет. Давно уже знала я молодого рыцаря, который мне чрезвычайно нравился, я отдала ему руку — и тут, господин Вальтер, конец моей истории.

— Если б вы видели ее тогда, — горячо подхватил Экберт, — видели ее красоту, молодость и непостижимую прелесть, сообщенную ей странным ее воспитанием. Она казалась мне каким-то чудом, и я любил ее сверх всякой меры. У меня не было никакого состояния, и если я живу теперь в достатке, то всем обязан ее любви; мы здесь поселились и никогда еще не раскаивались в нашем браке.

— Однако же мы заговорились, — сказала Берта, — на дворе глухая ночь — пора спать.

Она встала и направилась в свою комнату, Вальтер, поцеловав у нее руку, пожелал ей доброй ночи и сказал:

— Благодарю вас, сударыня, я живо представляю вас со странной птицей и как вы кормите маленького Штромиана.

Вальтер тоже лег спать; один Экберт беспокойно ходил взад и вперед по комнате. «Что за глупое создание человек, — рассуждал он, — я сам настоял, чтобы жена рассказала свою историю, а теперь раскаиваюсь в этой откровенности. Что, если он употребит ее во зло? Или сообщит услышанное другим? А не то, ведь такова природа человека, его охватит непреодолимое желание завладеть нашими камнями, и он станет притворяться, обдумывая тем временем свои планы».

Ему пришло на ум, что Вальтер не так сердечно простился с ним, как следовало ожидать после такого острого разговора. Раз уж в душу запало подзреньё, то каждая безделица укрепляет ее в нем. Затем Экберт начал упрекать себя в низкой недоверчивости к славному своему другу, но не мог все же от нее отделаться. Всю ночь напролет провел он в таком состоянии и спал очень мало.

Берта занемогла и не вышла к завтраку; Вальтер, которого это, по-видимому, не слишком беспокоило, расстался с рыцарем довольно равнодушно. Экберт не мог понять его поведения; он пошел к жене, она лежала в горячке и говорила, что, верно, ночной рассказ довел ее до такого состояния.

С этого вечера Вальтер редко посещал замок своего друга, он приходил ненадолго и говорил о самых незначущих предметах. Такое поведение как нельзя более мучило Экберта, и хотя он старался скрыть это от Берты и Вальтера, но всякий легко мог заметить его душевное беспокойство.

Болезнь Берты усиливалась; врач был встревожен, у нее пропал румянец, а глаза час от часу становились лихорадочнее. Однажды утром она позвала к себе мужа и выслала служанок.

— Мой друг,— сказала она,— я должна открыть тебе то, что едва не лишает меня рассудка и разрушает мое здоровье, хотя это может показаться совершенным пустяком. Ты знаешь, что, когда заходила речь о моем детстве, я, как ни старалась, не могла припомнить имени собачки, за которой я так долго ухаживала. Вальтер же в тот вечер, прощаясь со мною, сказал вдруг: «Я живо представляю себе, как вы кормите маленького Штрюмиана». Случайно ли это? Угадал ли он имя или знал его прежде и произнес с умыслом? А если так, то какую связь имеет этот человек с моей судьбой? Я много раз хотела уверить себя, что мне это только почудилось, но нет, это так, это наверное так. Невероятный ужас овладел мною, когда посторонний человек таким образом восполнил пробел в моей памяти. Что ты на это скажешь, Экберт?

Экберт взволнованно глядел на страждущую жену; он молчал и думал о чем-то; потом произнес несколько утешительных слов и вышел. В неопикуемой тревоге ходил он взад и вперед в одной из дальних комнат. В продолжение многих лет Вальтер был его единственным собеседником, и, несмотря на это, теперь это был един-

ственный человек в мире, существование которого пугало и мучило его. Ему казалось, что на душе у него станет легче и веселее, когда он столкнет его со своей дороги. Он взял свой арбалет и пошел рассеяться на охоте.

Случилось это в суровый вьюжный зимний день, глубокий снег лежал на горах и пригибал к земле ветви деревьев. Экберт бродил по лесу, пот выступил у него на лбу, он не нашел дичи, и это еще больше его расстроило; вдруг что-то зашевелилось вдали, это был Вальтер, собиравший древесный мох. Экберт, сам не зная, что делает, прицелился, Вальтер оглянулся и молча погрозил ему, но стрела уже сорвалась, и Вальтер упал.

Экберт на миг почувствовал, что на сердце у него стало легко и покойно, но затем ужас погнал его к замку, который был не близко, потому что он, сбившись с дороги, далеко забрел в лес. Когда он вернулся, Берты уже не было на свете; перед смертью она много еще говорила о Вальтере и о старухе.

Долгое время Экберт жил в полном уединенье; он и прежде бывал всегда подавлен, потому что странная история жены тревожила его и он все боялся какого-нибудь несчастья; теперь же он вовсе потерялся. Тень убитого друга неотступно стояла перед его глазами, его вечно мучила совесть.

Иногда, чтобы развлечься, ездил он в соседний большой город, появляясь там в обществе и на празднествах. Ему хотелось какой-нибудь дружеской привязанностью заполнить пустоту в душе; вспоминая о Вальтере, он трепетал перед мыслью иметь друга, ибо был уверен, что с любым другом будет несчастлив. Он так долго и безмятежно спокойно жил с Бертой, дружба Вальтера в течение многих лет доставляла ему столько радости, и теперь оба были унесены смертью, и так внезапно, что бывали минуты, когда его жизнь казалась ему какой-то странной сказкой, а не чем-то достоверно существующим.

Молодой рыцарь Гуго фон Вольфсберг привязался к тихому, печальному Экберту и, видимо, питал к нему чувство непритворной дружбы. Обрадованный и удивленный Экберт тем охотнее готов был ответить на его чувства, что вовсе их не ожидал. Оба стали часто видеться, рыцарь старался оказывать Экберту всякого рода любезности, они не выезжали друг без друга, показывались в обществе всегда вместе, словом, стали неразлучны.

Но Экберт бывал весел только на короткое время, чувствуя, что Гуго любит его по неведению; тот ведь не

знал его, не знал его истории, и он испытывал снова непреодолимое желание открыться ему, чтобы увериться, подлинный ли это друг. Но сомнения и страх возбудить к себе презрение удерживали его. Иногда он был убежден в собственной низости и думал, что ни один человек, хоть немного знающий его, не смог бы его уважать. При всем том Экберт не в силах был превозмочь себя; однажды во время прогулки верхом вдвоем с другом он рассказал ему все и затем спросил его, может ли он любить убийцу. Гуго был растроган и пытался утешить его; Экберт вернулся с ним в город с облегченным сердцем.

Но казалось, над ним висит проклятие — как раз после порыва откровенности он начинал терзаться подозрениями, потому что, едва они вошли в ярко освещенную залу, как выражение лица его друга ему не понравилось. Ему почудилась злобная усмешка, ему показалось странным, что Гуго мало с ним разговаривает, много говорит с другими, а на него не обращает внимания. В зале находился один старый рыцарь, который был всегдашним недоброжелателем Экберта и часто выпытывал об его жене и богатстве; к нему-то и подошел Гуго и завел с ним тайный разговор, в продолжение которого оба поглядывали на Экберта. А тот увидел в этом подтверждение своих подозрений, решил, что его предали, и им овладела ужасная ярость. Пристально вглядываясь, он увидел вдруг Вальтерово лицо, знакомые, слишком знакомые черты его; продолжая смотреть, он окончательно уверился, что не кто иной, как Вальтер, разговаривает со старым рыцарем. Ужас его был неопишуем; он бросился вне себя из комнаты, в ту же ночь оставил город и, беспрестанно сбиваясь с пути, возвратился в замок.

Тут, как беспокойный дух, он метался по комнатам, не мог сосредоточиться ни на одной мысли, одно ужасное видение сменялось другим, еще более ужасным, и сон ни на миг не смыкал его глаз. Иногда казалось ему, что он обезумел и что все это плод его разыгравшегося воображения; затем он снова вспоминал черты Вальтера, и с каждым часом все казалось ему загадочнее. Он решил отправиться в путешествие, чтобы привести свои мысли в порядок; он решил навсегда отказаться от своей потребности в дружбе, в обществе людей.

Он ехал, не выбирая пути и даже не обращая внимания, какие места он проезжает. Проскакав таким образом, не останавливаясь, несколько дней, он вдруг заметил, что заблудился в лабиринте скал, откуда не было возможности выбраться. Наконец он повстречался с кре-

стьянином, который указал ему тропинку, пролежавшую мимо водопада; Экберт хотел из благодарности дать ему денег, но крестьянин отказался. «Ну, что же,— подумал Экберт,— уж не вообразу ли я сейчас опять, что это не кто иной, как Вальтер»,— и, оглянувшись назад, он увидел, что верно, это не кто иной, как Вальтер. Экберт пришпорил коня и погнал во весь дух через поля и леса и скакал до тех пор, пока лошадь не пала под ним. Не заботясь об этом, он продолжал свой путь пешком.

Погруженный в свои мысли, он взмошел на пригорок, ему почудился близкий веселый лай, шум берез, и он услышал чудесный звук песни:

В уединенье
Вновь наслажденье,
Здесь нет мученья,
Нет подозренья.
О наслажденье
В уединенье!

Тут рассудок и чувства Экберта помутились; он не мог разобраться в загадке, то ли он теперь грезит, то ли некогда его жена Берта только привиделась ему во сне; чудесное сливалось с реальным; окружавший его мир был зачарован, и он не мог овладеть ни одной своей мыслью, ни одним воспоминаньем.

Согнутая в три погибели старуха, кашляя, поднималась на холм, подпираясь клюкой.

— Принес ли ты мою птицу? Мой жемчуг? Мою собаку? — закричала она ему навстречу.— Смотри же, как преступление влечет за собой наказание: это я, а не кто другой, была твоим другом Вальтером, твоим Гуго.

— Боже,— прошептал Экберт,— в каком страшном уединенье прожил я всю свою жизнь!

— А Берта была сестра твоя.

Экберт упал на землю.

— А зачем она так вероломно покинула меня? Все кончилось бы хорошо; конец ее испытаниям приближался. Она была дочерью рыцаря, отдавшего ее на воспитание пастуху, дочерью твоего отца.

— Почему эта ужасная мысль всегда мучила меня, почему я это предчувствовал? — вскричал Экберт.

— Потому что однажды в раннем детстве ты слышал, как об этом рассказывал твой отец; в угоду своей жене он не воспитывал при себе дочери от первого брака.

Лежа на земле, обезумевший Экберт умирал; глухо, смутно слышалось ему, как старуха разговаривала, собака лаяла и птица повторяла свою песню.

Жизнь льется через край

Суровой зимою в конце февраля случилось странное происшествие, о причине которого, о том, как все было, и о наступившем затем успокоении в столице носились самые невероятные и противоречивые слухи. Естественно, что когда каждому хочется поговорить и рассказать, не зная, в чем собственно дело, то даже обыкновенный случай приукрашивается вымыслом.

Событие это произошло в предместье, довольно людном, на одной из самых узких его улиц. То говорили, что какой-то предатель и бунтовщик обнаружен кем-то и схвачен полицией, то, что какой-то безбожник, спешивший с другими атеистами, захотел вырвать с корнем религию, но после упорного сопротивления он сдался начальству и сидит теперь под замком, пока не наберется лучших убеждений и правил. Но перед тем он, еще у себя на квартире, защищался с помощью старой пищади и даже палил из пушки, и до тех пор, пока он не сдался, лилась кровь, так что консистория и уголовная палата будут, пожалуй, настаивать на его казни. Политиканствующий башмачник высказал предположение, что арестованный — это эмиссар, который, будучи главой многих тайных обществ, находится в теснейших отношениях со всеми революционерами Европы; в его руках сходятся нити из Парижа, Лондона, Испании, а также из восточных провинций, и дело уже дошло до того, что в далекой Индии готово разразиться чудовищное восстание, которое перекинется тотчас, подобно холере, в Европу, чтобы воспламенить весь горячий материал.

Достоверно известно было лишь то, что в одном маленьком домике произошел какой-то бунт, была вызвана полиция, народ зашумел, замечены были видные люди, которые вмешались в дело, и спустя некоторое время все опять утихло, причем никто не уловил действительной связи. Нельзя было отрицать некоторых разрушений в самом доме. Каждый представлял себе дело так, как подсказывали ему настроение или фантазия. Плотники и столяры исправили затем все повреждения.

В доме этом жил человек, которого не знал никто из окружающих. Был ли это ученый? Или он занимался политикой? Местный ли это житель? Или пришлый? На этот счет никто, даже самый большой умница, не мог дать удовлетворительного разъяснения.

Знали только, что этот неизвестный жил очень тихо и уединенно, его никогда не видели на прогулке и где-либо в общественных местах. Он был еще не стар, хорошо сложен, и его молодую жену, разделявшую с ним уединение, можно было назвать красавицей.

На святках молодежавый мужчина, о котором идет речь, сидя в своей комнатке и плотно прижавшись к печке, так говорил своей жене:

— Ты знаешь, милая Клара, как я люблю и почитаю господина Зибенкеза нашего Жан-Поля; но как этот юмористически настроенный герой вышел бы из положения, в котором мы с тобой оказались, остается для меня загадкой. Не правда ли, милочка, теперь, кажется, все средства исчерпаны?

— Конечно, Генрих,— ответила она с улыбкой и тут же вздохнула,— но если ты останешься веселым и жизнерадостным, мой любимый, то подле тебя и я не смогу себя чувствовать несчастной.

— Несчастье и счастье — это только пустые слова,— отвечал Генрих.— Когда ты покинула дом своих родителей и ушла со мной и когда ты с таким великодушием ради меня пренебрегла всеми предрассудками, тогда-то наша судьба и решилась на всю жизнь. Жить и любить стало нашим девизом; а то, как мы будем жить, казалось нам совершенно безразличным. И я хотел бы еще теперь спросить от полноты сердца: кто во всей Европе может считаться таким счастливецом, каким я по праву ощущаю себя всеми фибрами своей души?

— У нас во всем недостаток,— продолжала она,— все наше достояние друг в друге, и я ведь знала, когда мы с тобой соединились, что ты небогат; для тебя тоже не было тайной, что я ничего не могла взять с собой из родительского дома. Так нужда и любовь слились для нас воедино, и эта комнатка, наши беседы, наши взгляды в любимые очи — в этом вся наша жизнь.

— Верно! — воскликнул Генрих, вскакивая от радости, чтобы порывисто обнять красавицу.— Как стеснены, постоянно разлучаемы, одиноки и рассеянны были бы мы теперь в кругу знати, если бы все пошло своим заведенным порядком. Какие там взгляды, разговоры, рукопожатия, идеи! Животных, даже марионеток можно было

бы так выдрессировать и вышколить, что они произносили бы те же комплименты и прибегали бы к тем же оборотам речи. И, стало быть, мы, мое сокровище, живем в раю, подобно Адаму и Еве, и ни одному ангелу не приходит на ум такая ненужная мысль — выгнать нас отсюда.

— Но,— молвила она тихо,— дрова уже совсем подходят к концу, а эта зима самая суровая из всех пережитых мной.

Генрих засмеялся.

— Слушай,— воскликнул он,— я смеюсь от злости, но все-таки это еще не смех отчаяния, а всего лишь некоторого смущения, потому что я совершенно не представляю себе, где я мог бы достать денег. Но средство должно найтись; потому что немыслимо, чтобы мы замерзли при такой горячей любви, с такой горячей кровью! Просто-напросто немыслимо!

Она в ответ тоже весело рассмеялась и возразила:

— Если бы я, как Ленетта, набрала с собой платьев, которые можно было бы продать, или если бы в нашем хозяйстве водились лишние столовые приборы, медные ступки и кастрюли, то выход легко было бы найти.

— О да,— отвечал он задорно,— если бы мы были миллионерами, как тот Зибенкез, то было бы немудрено, что мы могли бы покупать дрова и даже лучшую пищу.

Она заглянула в печь, где варилась хлебная похлебка, составлявшая весь их скудный обед, за которым подавалось в виде десерта немного масла.

— Пока ты,— сказал Генрих,— займешься распоряжениями по кухне и отдашь повару необходимые приказания, я засяду за свои труды. С какой охотой я продолжал бы свои писания, если бы у меня не вышли все чернила, бумага и перья; я не прочь бы и почитать что-нибудь, если бы только в моем распоряжении была хоть какая-нибудь книга.

— Ты должен мыслить, мой дорогой,— сказала Клава и лукаво на него посмотрела.— Надеюсь, что мысли у тебя еще не совсем иссякли.

— Драгоценная супруга,— возразил он,— наше хозяйство так велико и обширно, что оно, вероятно, поглотит все твое внимание; не отвлекайся же, чтобы наше экономическое положение не пришло от этого в расстройство. А поскольку я отправляюсь сейчас в мою библиотеку, то оставь меня на время в покое; должен же я расширять свои познания и давать пищу уму.

— Он у меня совсем особенный,— сказала про себя жена и радостно засмеялась,— и до чего же хорош!

— Итак, я снова перечитываю в своем дневнике,— говорил Генрих,— мои прежние записи, и мне хочется изучать их в обратном порядке — начать с конца и постепенно подготавливаться к началу, чтобы лучше его понять. Всякое истинное знание, всякое произведение искусства и глубокое размышление всегда должны очерчивать круг, мысленно соединяя начало с концом, подобно змее, жалающей свой хвост,— образ вечности, как утверждают некоторые, символ разума и всякой истины, как утверждаю я.

Он прочел на последней странице, но уже вполголоса:

— «Существует сказка про то, как один отчаянный преступник, приговоренный к голодной смерти, постепенно съедал самого себя; в сущности, это басня о жизни и о каждом из нас. У того остались в конце концов только желудок и челюсть, у нас же остается душа, как принято называть непостижимое. Подобным же образом и я отбрасывал как отжившее все, что казалось мне относившимся к внешнему. Смешно ведь, что я еще имею фрак со всеми принадлежностями, никогда не бывая в обществе. В день рождения моей жены я представляюсь ей в сорочке и жилетке, так как неприлично ухаживать за людьми из высшего общества в довольно-таки поношенном сюртуке».

— На этом кончаются и страница и книга,— сказал Генрих.— Все согласны, что фрак глупая и безвкусная одежда, все находят его безобразным, но никто не решается всерьез, как я, от него отделаться. И я даже из газет никогда не узнаю, последуют ли другие здравомыслящие люди моему смелому и примерному начинанию.

Он перевернул лист и прочел на предшествующей странице:

— «Жить можно и без салфеток. Когда подумаешь, как наша жизнь все более и более заполняется суррогатами и всяческими заменами, то проникаешься подлинной ненавистью к нашему скупому и скаредному веку, и я прихожу к решению, поскольку я в этом властен, жить по образу наших несравненно более широких предков. Эти убогие салфетки — да сами англичане их знать не хотят и презирают — явно изобретены для того, чтобы щадить скатерть. А если, таким образом, считать за проявление широты натуры нежелание беречь скатерть, то я пойду еще дальше, объявляя ненужной самую лучшую скатерть с салфетками в придачу. Продадим и то и другое, чтобы обедать на чистом столе, по образу

патриархов, по обычаю — ну, каких же народов? Безразлично! Ведь столько людей на свете не пользуется вообще столом при еде. И, как уже сказано, я прибегаю к этому не из циничной скарденности, по образцу Диогена в бочке, но, напротив, в сознании моего благополучия, чтобы только не стать рсточителем из глупой безрежливости, как это принято в наше время.

— Вот это верно,— сказала, улыбаясь, супруга,— но тогда мы жили еще мотами благодаря продаже такого рода излишних вещей. Часто даже у нас бывало два блюда.

Но вот оба супруга уселись за скудный обед. Глядя на них, можно было им позавидовать, до того беспечно веселы были они за своей простой трапезой. Когда хлебная похлебка была уничтожена, Клара вынула из печки прикрытое блюдо и подала изумленному супругу несколько картофелин.

— Смотри,— воскликнул он,— это называется доставить человеку, пресытившемуся изучением стольких книг, нечаянную радость! Этот прекрасный корнеплод содействовал великому перевороту в Европе. Да здравствует герой этого переворота Вальтер Ралей!

Они чокнулись стаканами с водой, и Генрих посмотрел затем, не треснул ли его стакан от этой вспышки энтузиазма.

— Самые богатые государи древности,— сказал он,— позавидовали бы этому чуду искусства, нашим простым стаканам. Скучно, я думаю, пить из золотого кубка, особенно такую прекрасную, чистую, здоровую воду. Но в наших стаканах до того светла и прозрачна освежающая струя, до того сливается она с сосудом, что, кажется, впиваешь в себя эфир, ставший влагою. Наше пиршество окончено; обнимемся же.

— Мы можем теперь для разнообразия,— сказала она,— придвинуть наши стулья к окну.

— Места у нас довольно,— сказал муж,— настоящий ипподром, если вспомнить о клетках, которые Людовик XI приказывал строить для своих опальных. Невероятно, сколько счастья заключено уже в том, что можно поднять, как вздумается, руку или ногу. И все-таки мы еще скованы, если подумать о желаниях, которые охватывают нас и не позволяют нам взлететь; и силки, и мы до того связаны друг с другом, что часто наша тюрьма кажется нам нашим лучшим «я».

— Не будь так глубокомыслен,— сказала Клара, касаясь его красивой руки своими нежными и гибкими

пальцами,— лучше посмотри, какими причудливыми ледяными узорами мороз разукрасил наши окна. Моя тетка не раз утверждала, что благодаря этим затянутым толстым льдом окнам комната кажется теплее, чем когда стекла чисты.

— Это вполне возможно,— сказал Генрих,— но я не стал бы пренебрегать дровами, основываясь на этом мнении. В конце концов, лед на окнах может стать таким толстым, что загроздит всю комнату, и нам некуда будет двинуться, как в том доме в Петербурге. Лучше уж будем мы жить по-бюргерски, чем по-княжески.

— Как чудесен, как богат рисунок этих цветов! — воскликнула Клара.— Кажется, будто они уже встречались нам в жизни, хотя мы и не знаем их названий. Посмотри, то здесь, то там один ц еток покрывает другой, и мнится, эти великолепные листья растут на наших глазах.

— Интересно,— спросил Генрих — исследована ли вся эта флора ботаниками, срисована ли она и занесена ли в их ученые книги? Повторяются ли формы этих цветов и листьев по известным законам или они подвергаются все новым фантастическим изменениям? Твое дыхание, твой нежный вздох вызвали эти призраки, эти тени цветов давно угасшей эпохи, и подобно тому как ты нежно думаешь и гредишь, так некий остроумный гений передает твои причудливые мысли и чувства узорными фантомами или видениями, словно бледными письменами в каком-то изменчивом альбоме, и я читаю в нем, как ты мне верна и предана и как тебя не покидают мысли обо мне, хоть я и сижу возле.

— Очень любезно, мой уважаемый повелитель! — ответила она ласково.— Вы могли бы давать к этим ледяным узорам поучительные и содержательные пояснения, похожие на те изящные и ученые толкования, которые встречаются в очерках о шекспировских пьесах.

— Постой, дружок,— возразил супруг,— не будем забираться в эту область, и не обращай ко мне никогда, хотя бы и в шутку, на вы. Теперь, после нашего роскошного обеда, я снова примусь за изучение моего дневника. Эти монологи уже сейчас помогают мне разбираться в себе самом, насколько же большее значение они будут иметь для меня под старость. Разве может дневник не быть монологом? И все-таки подлинно гениальному художнику мыслимо представлять себе и вести его в виде диалога. Но мы редко прислушиваемся ко второму голосу внутри нас. Еще бы! Найдется ли хоть один че-

ловец из многих тысяч, который по-настоящему вникал бы в сказанное умным собеседником и воспринимал бы верно его ответы, если они не соответствуют привычкам и запросам говорящего.

— Это правда,— заметила Клара,— и потому-то создан брак в его высоком значении. В любви женщины всегда звучит этот второй голос, правдивый отклик ее души. И поверь мне, то, что вы так часто, по вашей мужской заносчивости, называете нашей глупостью или недалечностью, а не то так женской логикой, неспособностью проникнуть в сущность жизни и многим еще,— вот в этом-то именно и заключается сущность духовного диалога как дополнения и гармонического созвучия с вашими душевными тайнами. Однако же большинство мужчин довольствуется одним лишь бесцветным эхом, и они именуют это голосом природы, созвучием душ, а это, в сущности, только неосознанный и пустой отзвук плохо понятных фраз. Но большей частью это и есть их идеал женственного, в который они до смерти влюблены.

— Ангел небесный! — восторженно воскликнул молодой супруг.— Да, мы понимаем друг друга; наша любовь — это настоящий брак, и ты освещаешь и дополняешь во мне тот мир, где господствует сумрак и неполнота. Если существуют оракул, то не должно быть недостатка и в тех, кто слушает их и разумеет.

За этими словами, в подтверждение сказанного, последовало долгое объятие.

— Поцелуй,— сказал Генрих,— тот же оракул. Только есть ли на свете люди, способные подумать что-либо разумное, искренно сливаясь в поцелуе?

Клара громко рассмеялась, потом вдруг стала серьезной и сказала с какой-то робостью, в которой сквозило сожаление:

— Да, да, а как мы поступаем с нашими слугами, лакеями и конюшими, которым мы так часто столь многим обязаны? Если мы чем-либо возбуждены или капризно настроены, мы высказываем им наше презрение либо высмеиваем их. Мой отец перепрыгнул однажды на своем черном жеребце через широкую яму, и в то время как все кругом удивлялись ему, а дамы хлопали в ладоши, один только старый конюший, стоявший поблизости, неодобрительно качал головой. Этот человек был медлителен и неуклюж, он был смешон со своей длинной косицей и красным носом. «Ну, а вы,— обрушился на него мой вспыльчивый отец,— вы опять станете меня шко-

лить?» Но этот прямой и твердый человек не потерял самообладания и спокойно ответил: «Во-первых, ваше превосходительство недостаточно отпустили поводья, потому что вы оробели, прыжок не был в меру свободен и широк, и вы могли бы упасть; во-вторых, заслуга коня была не меньше вашей, а в-третьих, если бы я не дрессировал животное целыми часами и днями, не боясь сукки и не теряя терпения, то и ваше удалство и добрая воля жеребца оказались бы бесплодны». — «Да, это правда, старик», — сказал мой отец и велел щедро его одарить. Так и мы, мы смеем только тогда фантазировать, отдаваться своим ощущениям и предчувствиям, грезить и сыпать острыми словечками, когда сухой рассудок уже вышколил всех этих коней. Но осмелюсь всадник или лошадь на такой отважный прыжок, будучи только дилетантами, они сорвались бы, к общему ужасу или веселью, в канаву.

— Да, это верно, — заметил Генрих, — наша современность подтверждает это на примерах стольких мечтателей или поэтов. Находятся писатели, которые, попав на ложный путь, все же простодушно решаются на требующий такого умения прыжок. О твой отец!

Клара посмотрела на его полными жалости глазами, и он не смог вынести ее взгляда.

— Да, отец, — сказал он, несколько удрученный — в этом слове так много слилось. И чего мне еще надо? Ты оказалась в состоянии покинуть его, хоть ты и очень его любишь.

Оба задумались.

— Мне хочется почитать дальше, — сказал молодой человек.

Он раскрыл дневник и перевернул с конца еще один лист. Затем громко прочитал:

— «Сегодня я продал жадному букинисту редкий экземпляр Чосера, в старом драгоценном издании Кекстона. Мой друг, милый, благородный Андреас Вандельмеер, подарил мне его в день моего рождения, отпразднованный в юности в университете. Он сам выписал его из Лондона за большую цену и отдал переплести по собственному вкусу в великолепный богатый переплет со множеством готических украшений. Старый скряга, заплатив мне так мало, сейчас же, должно быть, послал его в Лондон, и получит, конечно, вдесятеро. Надо было мне, по крайней мере, вырезать хоть тот лист, на котором я рассказывал историю этого подарка и одновременно пометил наш теперешний адрес. Все это попадет в Лон-

дон или в библиотеку какого-либо богача. Досада берет меня. И то, что я должен был расстаться с этим дорогим мне экземплярюм и продать его за бесценок, почти натолкнуло меня на мысль, что я действительно обнищал и терплю нужду; ведь эта книга была моим самым драгоценным достоянием, каким я когда-либо обладал, памятью о нем, моем единственном друге! О Андреас Вандельмеер! Жив ли ты еще? Где ты? Помнишь ли ты меня?»

— Я видела, как больно было тебе продавать книгу,— сказала Клара,— но ты ни разу не рассказывал мне подробно об этом друге твоей юности.

— Это был юноша,— сказал Генрих,— подобный мне, но несколько старше и гораздо степеннее. Мы были знакомы со школьной скамьи, и он, можно сказать, преследовал меня своей любовью и страстно навязывал мне ее. Он был богат, но при всем своем большом богатстве и изнеживающем воспитании приветлив и далек от всякого эгоизма. Он жаловался, что я не разделяю его страсти, что моя дружба чересчур холодна и не удовлетворяет его. Мы вместе учились и жили в одной комнате. Он хотел, чтобы я требовал от него жертв, потому что у него во всем был избыток, а мой отец мог оказывать мне лишь скромную поддержку. Когда мы возвратились в столицу, он задумал отправиться в Ост-Индию; ведь он был совершенно независим. Сердце влекло его к чудесам этих стран; там он хотел изучать и созерцать, утоляя свою горячую жажду познания, тоску по далекому. Пошли непрестанные уговоры, просьбы, мольбы сопровождать его; он уверял меня, что я найду там свое счастье, должен найти, так как он, конечно, поддержит меня; ведь его предки оставили ему там огромные имения. Но умерла моя мать, и в последние дни ее жизни я хоть немного смог воздать за ее любовь, был болен отец, и мне нельзя было разделить увлечение моего друга; притом я не обладал необходимыми познаниями, не изучил языков, а всем этим он свободно владел из любви к Востоку. Там еще жили его родственники, которых он хотел разыскать. Мои друзья и покровители, идя навстречу моему давнишнему желанию, доставили мне место в дипломатическом корпусе. Состояние, оставшееся после матери, позволило мне приличным образом подготовиться к поступлению на службу, мне предназначенную, и я покинул отца, на выздоровление которого почти не было надежды. Мой друг настаивал, что я должен дать ему часть моего капитала, с тем чтобы он пу-

стил его там в оборот, а в будущем поделился бы со мной прибылями. Но я думаю, что таким способом он хотел получить предлог когда-нибудь преподнести мне значительный подарок. После того я прибыл в составе посольства в твой родной город, и ты знаешь сама, как сложилась там моя судьба.

— И ты ничего больше не слышал об этом чудесном Андреасе? — спросила Клара.

— Два письма получил я от него из тех дальних стран, — ответил Генрих, — затем до меня дошли непроверенные слухи, что он умер там от холеры. Так я его потерял, отца уже не было в живых, и я был целиком предоставлен самому себе, в денежных делах также. Но я пользовался расположением посла, при дворе ко мне относились благосклонно, я мог рассчитывать на могущественных покровителей — и все это пошло прахом.

— Конечно, — сказала Клара, — ты всем для меня пожертвовал, но и мои родные навсегда оттолкнули меня от себя.

— Тем более любовь должна заменить нам все, — сказал супруг, — и так оно и есть; потому что наш медовый месяц, как называют его прозаические люди, далеко уже вышел за пределы года.

— Но твоя прекрасная книга, — воскликнула Клара, — твои великолепные стихи! Если б у нас осталась хоть копия их. Какое наслаждение доставляли бы они нам этими длинными зимними вечерами! Правда, — добавила она, вздохнув, — для этого мы должны были бы иметь в нашем распоряжении свечи.

— Ничего, Клерхен, — утешал ее муж, — мы болтаем, а это еще лучше; я слышу твой голос, ты поешь мне песни или смеешься своим божественным смехом. Никогда в жизни я не слышал такого смеха, как у тебя. В этом шаловливом веселье, в этой радости звучит такое чистое торжество, такое неземное ликование, притом до того благородное и так глубоко проникающее в душу, что я в восхищении прислушиваюсь и в то же время размышляю и пытаюсь разобраться в этом. Потому что, моя дорогая, бывают такие случаи, когда человек, которого давным-давно знаешь, пугает, а иногда приводит в ужас, раздражаясь смехом, идущим из глубины души, какого до тех пор никогда от него не слышали. Это мне случалось наблюдать даже у нежных девушек, которые до тех пор мне нравились. Подобно тому, как в некоторых сердцах дремлет неведомый нежный ангел, который только ждет некоего гения, чтобы тот его разбудил, так нередко

в изящном и любезном человеке скрывается где-то глубоко в подсознании совершенно плоский заурядный дух, который выходит из оцепенения, когда нечто комическое властно проникает в самую отдаленную область души. Наш инстинкт подсказывает нам тогда, что в этом существе есть что-то, чего мы должны остерегаться. О, как полон значения и характерен смех человека! А твой, моя радость, я хотел бы когда-нибудь изобразить поэтически.

— Но поостережемся,— напомнила она,— несправедливости. Чересчур пристальное наблюдение может легко привести к человеконенавистничеству.

— То, что тот молодой, легкомысленный издатель,— продолжал Генрих,— обанкротился и бежал с моим замечательным манускриптом куда-то на край света, без сомнения, тоже способствует нашему счастью. Легко могло стать, что отношения с ним, вышедшая в свет книга, болтовня об этом в городе привлекли бы к нам внимание любопытных. Твой отец и твои родные, конечно, продолжают нас разыскивать; мой паспорт мог бы быть еще раз и более тщательно проверен, могло бы возникнуть подозрение, что я живу под чужим именем, мы беспомощны, так как мое бегство навлекло на меня гнев моего правительства, мы могли бы быть задержаны и даже разлучены; тебя послали бы к твоим родственникам, а меня впутали бы в сложный процесс. А в нашем открытии, любимая, мы счастливы, сверхсчастливы.

Тем временем стемнело, огонь в печке погас, и оба счастливец отправились в маленькую узенькую каморку на свое общее ложе. Здесь они не чувствовали возрастающего леденящего мороза, не слышали метели, стучавшей в окошко. Светлые сны убаюкивали их, счастье, довольство и радость ублажали их среди прекрасной природы, и, когда они проснулись после этих приятных сновидений, действительность еще глубже обрадовала их. Они долго еще болтали в темноте и не спешили вставать и одеваться; мороз и нужда поджидали их. Но вот забрезжил день, и Клара поторопилась в соседнюю комнату, чтобы извлечь из пепла искру и развести в печи огонек. Генрих помогал ей, и они смеялись, как дети, над тем, что у них ничего не выходит. Наконец, после того как они долго и напряженно дули и раздували, так что лица у обоих покраснелись, щепка вспыхнула, и небольшое количество умело наколотых дров было заботливо разложено, чтобы экономно нагреть и печь, и маленькую комнату.

— Вот видишь, милый муженек,— сказала Клара,— наших припасов нам едва хватит на завтра: что же потом?

— Как-нибудь образуется,— ответил Генрих с таким взглядом, словно она сказала что-то совершенно ненужное.

Стало уже совсем светло, жиденькая похлебка, приправленная веселой болтовней и поцелуями, сошла за отличный завтрак, и Генрих растолковал попутно супруге, до чего ложно латинское изречение: *Sine Baccho et Cerere friget Venus*¹. Так проходил час за часом.

— Заранее радуюсь,— сказал Генрих,— что скоро дойду до того места в моем дневнике, где я рассказываю, любимая, как я вдруг вынужден был тебя похитить.

— О небо! — воскликнула она.— Как странно и неожиданно были застигнуты мы этим чудесным мгновением! Уже за несколько дней до того я заметила, что отец находится в каком-то раздражении; он резко переменял со мною тон. Он не раз удивлялся и прежде твоим частым посещениям; но теперь он, не называя тебя, заговорил о мещанах, которые не знают своего места и навязываются в ровни к людям высшего света. Так как я не отвечала, он стал сердиться, а когда я наконец заговорила, его раздражение перешло в неистовый гнев. Сначала я почувствовала, что он ищет со мной ссоры, а потом заметила, что он и сам наблюдает за мной, и заставляет следить других. Спустя неделю, когда я выходила из дому, моя преданная камеристка нагнала меня на лестнице под предлогом, что ей надо что-то поправить в моем туалете,— лакей был впереди,— и сказала мне шепотом, что все открыто, что мой шкаф взломан и найдены все твои письма и что через несколько часов я должна уже быть на пути к моей тетке, жившей в глухой стороне. Мое решение было молниеносным. Я вышла из кареты у одной галантерейной лавки и отослала кучера и слугу, с тем чтобы они приехали за мной через час.

— А как я был удивлен, испуган, восхищен,— воскликнул супруг,— когда ты так неожиданно вошла в мою комнату! Я только что вернулся от посланника и был в визитном платье; он вел какие-то странные речи, в совершенно необычном тоне, то угрожая, то предостерегая, но все еще по-дружески. К счастью, при мне оказались различные паспорта, и мы не медля ни минуты,

¹ Без Вакха и Цереры мерзнет Венера, то есть: без вина и хлеба стынет любовь (лат.).

без всяких приготовлений взяли до первой деревни извозчика, а там телегу и, перейдя границу, обвенчались и сделались счастливы.

— Но,— продолжала она,— дорогой нас поджидали тысячи досадных мелочей, скверные гостиницы, недостаток в одежде, отсутствие слуг, мы были лишены стольких удобств, вошедших в привычку, а какой мы испытали страх, когда случайно от одного из приезжих узнали, что нас ищут, что все предано огласке и решено действовать с нами без стеснения.

— Да, да, моя милая,— согласился Генрих,— за всю дорогу это был самый неприятный день. Вспомни, как мы, дабы не возбуждать подозрений, должны были вторить смеху этого болтливому чужеземцу, когда он стал характеризовать похитителя, который, на его взгляд, был жалким дипломатом, так как не смог надлежащим образом подготовиться и принять свои меры; как он не уставал называть твоего возлюбленного глупцом, простофилей, как ты готова была разразиться гневом, но по моему знаку овладела собой и начала смеяться, и даже старалась сама бранить нас, изображать меня и себя ветрениками, недоумками, и, наконец, когда болтун, которому мы как-никак были обязаны за его невольное предостережение, удалился, ты разразилась громким плачем.

— Да,— воскликнула она,— да, Генрих, это был печальный, но забавный денек. Наши кольца и некоторые ценные вещи, которые случайно оказались при нас, очень содействовали нашему бегству. Но то, что мы не смогли спасти твоих писем,— невосполнимая утрата. И меня бросает в жар при мысли, что не только мои, но и чужие глаза пробегали эти небесные строки, эти пламенные признания в любви, и при звуках, которые были блаженством для меня, читавший испытывал одно озлобление.

— Хуже того,— продолжал супруг,— по глупости и чрезмерной поспешности я оставил там все письма, которые ты в самых различных настроениях посылала мне или тайком совала мне в руку. Сплошь да рядом, не только в делах любви, письма, черным по белому, лишь вредят, ухудшают положение, открывая все тайны. И все-таки невозможно удержаться от того, чтобы с пером в руках не наносить на бумагу этих черточек, которые должны символизировать душу. О дорогая, в этих письмах звучали иногда такие слова, что, ощутив благодаря им твою духовную близость, веяние, исходящее

от тебя, мое сердце так внезапно расцвело, что, казалось, готово было разорваться от чрезмерно быстрого развертывания лепестков.

Они обнялись, и наступила почти торжественная пауза.

— Милая,— сказал затем Генрих,— какая библиотека составила бы у нас вместе с моим дневником, если бы наши письма не подверглись жестокой участи, вызывающей в памяти калифа Омара.

Тут он взял дневник и прочел, перевернув назад страницу:

— *«Верность!»* — это поразительное явление, которым человек так часто восхищается в собаке, сплошь да рядом недостаточно ценится в представителях рода человеческого. Просто невероятно, и все же так обыденно, до чего странные и путаные понятия многие составляют себе из пресловутого долга. Когда слуга делает что-либо свыше человеческих сил, то оказывается, он только исполнил свой долг, и вокруг этого долга высшие сословия так долго мудрили, что они научились поворачивать его и так и сяк в угоду собственному эгоизму. Не будь жестоких работ на галерах, железной силы административного и правового принуждения, нам, вероятно, пришлось бы наблюдать самые страшные явления. Бесспорно, что рабский труд великого множества наших канцелярий большей частью бесполезен в нынешнее время, а иногда даже прямо вреден. Но если представить себе только, что в наш эгоистический век, при таком чувственном поколении, вдруг снесена эта плотина,— что произойдет тогда, какое это вызовет смятение?

Освободиться от долга — это цель, к которой стремятся так называемые образованные всех слоев; они называют это независимостью, самостоятельностью, свободой. Им невдомек, что чем ближе они к этой цели, тем более возрастают обязанности, которые до тех пор, пусть механически слепо, выполняло государство либо громадная, несказанно сложная, чудовищная машина общественного устройства. Все жалуется на тиранию, а между тем каждый стремится стать тираном. Богатый не признает никакого долга по отношению к бедняку, помещику — к своим крестьянам, князь — к своему народу, но каждый из них выходит из себя, когда подчиненные не выполняют своего долга по отношению к ним. Потому-то и нижние слои общества заявляют, что прошло время для подобных требований — они-де давно отжили свой век, и эти слои с помощью риторики и софистики готовы

все отвергнуть и уничтожить все узы, при которых только и возможно существование государства и развитие человечества.

Но верность, подлинная верность — как она непохожа, насколько она выше всеми признанных договоров и установленных отношений и обязанностей. И до чего красиво проявляется эта верность у старых слуг в их готовности к самопожертвованию, когда они с непритворной любовью, как бывало в стародавние поэтические времена, всей душой преданы своим господам.

В самом деле, я считаю большим счастьем, когда слуга не знает ничего более высокого, более благородного, чем служение своему повелителю. Для него не существует ни сомнений, ни долгих размышлений, ни колебаний. Подобно смене дня и ночи, зимы и лета, подобно неизменным законам природы, протекает его жизнь; превыше всего для него любовь к господину.

И что же, по отношению к таким слугам у власть имущих нет никаких обязанностей? Они имеют их по отношению ко всем своим слугам, помимо положенной платы, но к таким, как эти, они должны проявлять нечто совершенно иное и несравненно более высокое, а именно, сердечную, истинную любовь, идущую навстречу этой безусловной преданности.

Чем же нам отблагодарить, чем воздать (об оплате тут не может быть и речи) за то, что делает для нас наша старая Христина? Она кормилица моей жены; мы нашли ее на первой же станции, и она почти силой заставила нас взять ее с собой. Ей можно было все сказать — она воплощенное молчание; она тотчас вошла в роль, которую ей пришлось играть и дордою и здесь. И как она нам, особенно моей Кларе, предана! Она живет в крохотном темном чуланчике и существует единственно тем, что исполняет всякую случайную работу в нескольких соседних домах. Мы не могли понять, как она ухитряется при наших скудных средствах поддерживать в порядке наше белье, какой удается всегда так дешево покупать продукты, пока мы не догадались, что она жертвует нам всем, чем только может. Теперь она много работает на стороне, чтобы помочь нам, чтобы только не расставаться с нами.

Поэтому-то я и вынужден буду отречься от моего Чосера в издании Кекстона и принять позорное предложение скаредного букиниста. Слово «отречься» всегда особенно волновало меня, когда его произносили женщины из низших слоев, которых нужда заставляла заклады-

вать или продавать хорошее или любимое платье. Это звучит почти по-детски. Отречься! Лир — от Корделии, я — от моего Чосера. А разве Клара не продала еще дорогой своего единственного хорошего платья, того самого, в котором она бежала? Да, Христина дороже Чосера, и надо же ей дать кое-что из выручки. Правда, она ничего не захочет взять.

Калибан, удивляющийся пьяному Стефану, а еще более его вкусному вину, становится на колени перед пьяницей и молит, воздев руки: «Прошу, будь моим богом!»

Мы смеемся над этим; и стольким чиновникам, стольким высокопоставленным звездоносцам тоже смешно, хотя они обращаются порой столь же жалко к какому-нибудь ничтожному министру, или пьяному князю, или к отвратительной метрессе, говоря: «Прошу, будь моим богом! Я не знаю, на что мне обратиться мою веру, чувство преклонения, потребность обожать кого-либо: я не знаю бога, в которого я мог бы верить, которому я мог бы поклоняться, посвятить ему свое сердце, совсем не знаю; будь же им ты — у тебя ведь прекрасное вино».

Мы смеемся над Калибаном и его рабским сознанием, потому что здесь, как всегда у Шекспира, в комической форме скрывается бесконечная и поразительная истина; и мы тотчас же постигаем ее, как обобщение в этом образе Калибана стольких тысяч живых прототипов, и потому-то мы смеемся над этими многозначительными словами.

«Прошу, будь моим богом!» — сказала Христина Кларе, не выражая этого словами, но в глубине своего честного сердца; и не так, как Калибан или иные светские люди, не ради вина и чинов, но только для того, чтобы Клара позволила ей терпеть лишения, переносить голод и холод и работать на нее до глубокой ночи.

И нечего растолковывать читателю вроде меня, что тут есть некоторая разница».

Умиление помешало им в тот день читать дальше, умиление, которое стало еще глубже, когда вошла старая, морщинистая, полубольная, убого одетая кормилица и объявила, что этой ночью ей не придется спать внизу в своем чуланчике, но что все-таки рано утром она делает необходимые закупки. Клара вышла с нею, и они о чем-то еще говорили между собой, а Генрих ударил кулаком по столу и закричал в слезах:

— Почему это я не начну работать как поденщик? Я здоров, и сил у меня достаточно. Но нет, я не посмею;

ведь это дало бы ей почувствовать всю глубину нашей нужды; она тоже старалась бы заработать что-либо, повсюду искала бы помощи, и мы оба сочли бы себя несчастными. Притом тогда уж наверное откроется наше местопребывание. Пусть же все остается по-прежнему, раз мы счастливы!

Клара вернулась с веселым видом, и скверный обед, как всегда, был уничтожен нашими счастливыми, словно перед ними были дорогие блюда.

— Мы могли бы не чувствовать никакой нужды,— сказала Клара, когда еда была окончена,—если б у нас вовсе не вышли дрова, и сама Христина не знает, как тут быть.

— Милая жена,—сказал Генрих совершенно серьезно,—мы живем в век цивилизации, в благоустроенном государстве, а не среди язычников и людоедов; значит, пути и средства могут быть найдены. Окажись я где-нибудь в необитаемом краю, я срубил бы несколько деревьев, подобно Робинзону Крузо. Но кто знает, не встретишь ли леса там, где менее всего ожидаешь; ведь пришел же к Макбету Бирнамский лес, правда, на его погибель. Случается, целые острова вдруг подымаются из глубин океана; среди ущелий и диких скал возносятся вершины пальмы, шиповник вырывает клочья шерсти у овец и ягнят, когда они пробегают слишком близко, и коноплянка уносит эти клочья в гнездышко, чтобы приготовить теплую постель своим нежным птенчикам.

Клара на этот раз спала дольше обыкновенного и, проснувшись, очень удивилась, что на дворе уже белый день, а еще больше тому, что ее мужа не было рядом. Но до чего же она была поражена, когда отчетливо услышала какой-то громкий равномерный шум, напоминавший скрежет пилы по твердому, неподатливому дереву. Она быстро оделась, чтобы доискаться причины этого странного явления.

— Генрих,—воскликнула она, подбегая к нему,—что это ты там делаешь?

— Я? Пилю дрова для нашей печки,—отвечал он отдуваясь и, оторвавшись от работы, обратил к жене свое сильно покрасневшее лицо.

— Говори же скорей, каким чудом попала тебе в руки пила и где ты достал этот чудовищный брус из такого прекрасного дерева.

— Ты ведь знаешь,—сказал Генрих,—те несколько ступенек, что ведут отсюда на заброшенный чердак. Так вот там, в небольшом чуланчике, я обнаружил сквозь

замочную скважину пилу и колун, которые, должно быть, принадлежат хозяину дома либо еще кому-нибудь. Пусть другие наблюдают за движением всемирной истории, я же стал внимательно приглядываться к этим полезным инструментам. Под утро, когда ты еще сладко спала, я в кромешной тьме пробрался наверх, высадил ничтожную дверцу, которая едва держалась на слабом, жалком засове, и вернулся назад с этими орудиями убийства. И так как мне хорошо ведомо устройство нашего дома, то я с немалым напряжением топором вышиб из пазов длинные, толстые, увесистые перила нашей лестницы и приволок сюда вот эту балку, которая загромождаст всю нашу комнату. Ты только погляди, Клара, какими чудесными основательными людьми были наши предки. Полюбуйся на этот прекрасный ядреный дуб, так гладко отполированный и покрытый лаком. Он даст нам совсем не тот огонь, что прежние наши жалкие дровишки из сосновых и ивовых веток.

— Но, Генрих, Генрих,— воскликнула Клара, всплеснув руками,— ты же разрушаешь дом!

— Никто к нам не заглянет,— сказал Генрих,— а мы нашу лестницу знаем наизусть, да и вовсе ею не пользуемся, так что она, самое большее, служит лишь нашей Христине, которая несказанно удивилась бы, если бы ей сказали: «Погляди, старушка, вот сейчас срубят прекраснейший во всем лесу дуб, в обхват толщиной, плотники и столяры искусно обработают его для того, чтобы ты, старая, подымаясь по ступенькам, могла опереться на этот прекрасный дубовый ствол». Она громко рассмеялась бы, наша старая Христина. Нет, подобные перила опять-таки принадлежат к совершенно ненужным в жизни излишества; лес сам пришел к нам, так как он заметил, что мы крайне в нем нуждаемся. Я — волшебник: всего несколько ударов волшебным топором — и этот великолепный ствол покорится моей воле. Это явная заслуга цивилизации; если бы здесь, как во многих старых хибарах, вместо перил пользовались веревкой или же, как во дворцах, опирались бы на железные палки, то из моей выдумки ничего бы не вышло, и мне пришлось бы искать и изобретать другие способы выйти из положения.

Справившись с изумлением, Клара залилась громким безудержным смехом; затем она сказала:

— Раз уж так вышло, то я помогу тебе в этой работе дровосека; я не раз видела на улице, как это делается.

Они положили балку на два стула, поставив их в разных концах комнаты, как того требовала длина. Затем они начали распиливать ее посередине, чтобы она не загромождала их жилища. Это была нелегкая задача, потому что оба были непривычны к такому труду, да и крепкий дуб с трудом поддавался пилке. Было много смеха, много было пролито пота, но дело с трудом двигалось вперед. Наконец последние усилия — и балка переломилась. Тут они сделали передышку, отирая лившийся с них ручьем пот.

— В этом есть то преимущество, — сказала Клара, — что на первый раз мы вполне можем обойтись без топки.

Позабыв о завтраке, они проработали все утро до тех пор, пока дерево не было распилено на такие куски, что их можно было колоть.

— Посмотри, как наша одинокая каморка вдруг преобразилась в мастерскую художника, — сказал между тем Генрих. — Чурбан, лежавший в темноте, никем не замечаемый, превратился теперь в эти изящные кубики, которые после некоторого улещивания и искусных уловок со стороны топора будут отправлены в огонь, и их охватит пламя вдохновения.

Он взял в руки первый попавшийся кусок, но задача расколоть его на части была, разумеется, еще тяжелее распиливания. Тем временем Клара отдыхала, с удивлением и радостью глядя на мужа, который, побившись немного и тщетно пытаясь применить к делу, приобрел в конце концов необходимую сноровку и даже в этом простом труде представал перед ней красавцем.

На их счастье, пока они были заняты работой, от которой сотрясались стены, хозяин маленького домика, обычно занимавший помещение внизу, находился в отъезде. И вышло так, что весь этот шум не привлек ничьего внимания. Соседи тоже не очень прислушивались, так как в этом предместье, и особенно на этой улице, было много всяких ремесленных заведений, производивших сильный шум.

Наконец, когда перед ними оказалась куча мелко наколотых дров, они попробовали истопить ими печь. В этот примечательный день у них совпали обед с ужином, и обед на этот раз был совсем не тот, что вчера или третьего дня.

— Ты не удивляйся, муженек, — сказала Клара, накрывая на стол, — наша Христина принесла домой всякой всячины с большой ночной стирки и она счастлива

поделиться с нами. У меня не хватило духу отказаться, и ты тоже отнесись поблагосклоннее к этим дарам.

Генрих рассмеялся и сказал:

— Старуха уже давно стала нашей благодетельницей, она работает ночами, чтобы нам помочь, и охотно лишает себя лакомого кусочка, чтобы только нас побаловать. Так давай же попируем ей на радость, и если ей суждено умереть прежде, чем мы сможем отблагодарить ее на деле, или если мы никогда не дождемся этой возможности, оплатим ей хотя бы нашей любовью.

Стол был действительно роскошный. Старуха принесла яиц, немного овощей и мяса и даже заварила в маленьком кофейнике кофе. За обедом Клара рассказывала, что подобные ночные стирки превращаются этими бедными людьми в настоящий праздник, там рассказывают всякие истории, шутят, веселятся, так что эти бдения привлекают многих, и ночные часы протекают очень живо и весело.

— Какое счастье,— продолжала она,— что эти люди порой обращают в радость то, что нам кажется мучительным и грубым рабским трудом. Таким образом в жизни многое смягчается, что, не будь этого отношения, казалось бы отвратительным или даже ужасным. А разве мы сами не испытали того, что нужда имеет свою прелесть?

— Разумеется,— ввернул Генрих, смакуя каждый кусочек мяса, которого он давно уже был лишен,— если бы кутилы и люди пресыщенные знали, что за приятный вкус, что за нежнейший букет у сухой корки хлеба — что способен оценить лишь голодный бедняк,— они, быть может, позавидовали бы ему и задумались над искусственными средствами, которые могли бы доставить им то же наслаждение. Но какая удача, что после тяжелого труда нас ждал этот Сарданапалов пир; мы восстановим наши силы для новых подвигов. А теперь давай же повеселимся, и ты мне спой что-нибудь из тех милых песенок, которые прежде так очаровывали меня.

Она охотно исполнила его просьбу, и, сидя у окна, рука в руке, со взглядами, устремленными друг на друга, они заметили, что ледяные узоры на стеклах начали таять, оттого ли, что стужа ослабела, или оттого, что тепло, распространяемое крепким дубом, оказывало свое действие на эти морозные цветы.

— Взгляни, любимая,— воскликнул Генрих,— как это холодное, обледеневшее окно плачет, тронутое твоим

прекрасным голосом. Все снова и снова повторяется миф об Орфее.

День был ясный, и они, наконец, увидели голубое небо; правда, только маленький клочок его, но они радовались его кристальной прозрачности и тоненьким изящным белоснежным тучкам, проплывавшим по лазурно-синему морю и обхватывавшим друг дружку своими прозрачными руками, словно им было там весело и уютно.

Древняя их лачуга, или, если угодно, небольшой домик, имела вид очень странный на этой густо заселенной улице. Всего в нем было комната в два окна и каморка в одно окно; впрочем, внизу жил еще старый, угрюмый хозяин, но, обладая некоторыми средствами, он переселялся на зиму в другой город; его мучила подагра, и он лечился там у своего излюбленного врача. Тот, кто строил эту лачугу, по-видимому, был странно, почти непостижимо прихотлив; почему-то под окнами второго этажа, где жили наши друзья, протянулась довольно широкая черепичная крыша, которая совершенно заслоняла от них улицу. И если они таким образом, даже открывая в летнее время окна, были совершенно отрезаны от людей на улице, то не менее основательно они были отделены и от обитателей еще меньшего домика, что стоял напротив. Домик был одноэтажный; поэтому они никогда не видали окон и людей в них, но неизменно одну лишь совсем близкую, протянувшуюся глубоко книзу, темную, закоптелую крышу, а справа и слева от нее две голые стены двух домов повыше, обнимавшие с двух сторон это низенькое строение. Еще в первые летние дни, только-только поселившись здесь, они распахнули окна, как это сделали бы всякие люди, которые, живя на узенькой улице, вдруг услышали бы внизу крики или брань, но увидели они перед собой только красную черепичную крышу у своих окон и чуть пониже крышу домика напротив. Они часто смеялись над этим, а Генрих как-то сказал, что, если сущность эпиграммы (согласно одной старой теории) состоит в обманутом ожидании, то им суждено постоянно наслаждаться тут эпиграммой.

Не так-то легко очутиться людям в таком глубоком уединении, как это удалось нашей парочке здесь, на оживленной, полной сутолоки окраине в не утихающем от шума столичном городе: они были до того изолированы от всего окружающего мира, что для них было уже событием, когда по чужой кровле осторожно прогуливался

кот, пробираясь по острому коньку к слуховому окну и высматривая там своего кума или кумушку. А то, как ласточки летом вылетали из своего гнезда в щели стены и с чиликаньем возвращались назад, то, как они щебетали со своим выводком, становилось для наших зрителей, сидевших у окна, целым спектаклем. И они были однажды почти напуганы замечательным происшествием, когда какой-то мальчишка, оказавшийся трубочником, вылез с метлой из узкой четырехугольной трубы дома напротив и стал издавать нечто, напоминающее песню.

Но это одиночество для наших влюбленных было желанным; они могли свободно стоять у окна, целуясь и обнимаясь, не боясь, что какой-нибудь любопытный сосед подглядывает за ними. И они часто воображали себе, будто перед ними не унылые стены, а чудесные скалы в горах Швейцарии, и мечтательно следили за игрой вечерней зари, яркий отблеск которой пламенел на трещинах в штукатурке или в грубом камне. Впоследствии они с умилением вспоминали подобные вечера, возвращаясь к разговорам, которые они тогда вели, к пережитым ощущениям, к шуткам, которыми они обменивались.

Так они хоть на время обрели оружие против жестоких морозов, и пусть себе холода продолжают или даже усиливаются. Не имея недостатка во времени, муж занимался тем, что для облегчения колки дров вытесывал клинья и, загоня их в дерево, заставлял тяжелые колоды легко и быстро сдаваться.

Спустя несколько дней жена, внимательно глядя на то, как он вытесывает клинья, спросила:

— Генрих, когда эта куча дров, которую ты тут нагромоздил, исчезнет, — что тогда?

— Милая, — ответил он, — добрый Гораций (если не ошибаюсь) говорит, между другими мудрыми изречениями, коротко и ясно: «*Care diem!*»¹ Наслаждайся сегодняшним днем, именно им, отдайся ему всецело, пользуйся им, как чем-то единственным и неповторимым; но твое наслаждение будет неполным, стоит тебе хоть на минуту подумать, что возможен и завтрашний день; и если эта мысль вызовет в тебе заботы и сомнения, то сегодняшний день, эти мгновения радости потеряны, омрачены тревожными вопросами. Мы только тогда счастливы, только тогда ощущаем как следует настоящее,

¹ «Лови мгновенье!» (лат.)

когда целиком погружаемся в него. Смотри, как много смысла заключено в этих двух словах латинского языка, который справедливо считается самым сжатым и энергичным, потому что он в немногих звуках так много может выразить. Помнишь слова из песенки:

И заботы —
Все, без счета,—
Ты на завтра отложи!

— Верно! — воскликнула она. — И разве мы не следуем этой философии вот уже целый год, чувствуя себя превосходно?

Так проходили дни за днями, и молодые супруги наслаждались всей полнотой счастья, хоть и жили повишенски. Однажды утром муж сказал:

— Нынче ночью я видел странный сон.

— Расскажи-ка мне его, милый! — воскликнула Кла-ра. — Как мало обращаем мы внимания на сновидения, которые составляют такую важную часть нашей жизни. Я убеждена, что если бы люди в своей дневной жизни давали больше места тому, что пережито ими во сне, то от этого их так называемая действительная жизнь была бы менее дремотной и призрачной. А кроме того, разве твои сны не принадлежат мне; ведь они исходят из твоего сердца, они порождение твоей фантазии, и я могла бы почувствовать к ним ревность при мысли, что иное сновидение разлучает меня с тобой, что ты, опутанный им, часами забываешь про меня или, пусть даже в воображении, влюбляешься в другое существо. И если чувство и воображение являются причиной подобных видений, то разве это не напоминает действительной измены?

— Все дело в том, — возразил Генрих, — принадлежат ли нам наши сны и насколько. Кто знает, как глубоко проникают они в таинственные недра нашего внутреннего «я»? Часто мы жестоки, вероломны, трусливы во сне, даже невероятно низки, мы с радостью убиваем невинное дитя, и все же мы убеждены, что подобные качества глубоко чужды нам и противны. При этом сны бывают разного рода. Тогда как одни своей чистотой граничат с откровением, другие зависят от капризов желудка или иных органов. Ведь это необыкновенно сложное переплетение в нашем существе материи и духа, зверя и ангела допускает во всех его функциях такое бесконечное число переходов, что обо всем этом можно

сказать очень мало такого, что имело бы всеобщее значение.

— О это *всеобщее!* — воскликнула она. — Максимы, принципы и тому подобные словечки. Не могу выразить, до чего мне это всегда было противно и чуждо. В любви нам открывается с полной ясностью значение того неосознанного предчувствия, знакомого уже в детстве, что как раз в индивидуальном, в единичном состоит сущность вещей, заключается истина, поэзия, правда. Философ, рассматривающий все и вся под углом зрения всеобщего, выводит для всего какое-нибудь правило, он все что угодно может приладить к своей так называемой системе, он не подвержен никаким сомнениям, а его неспособность что-либо истинно переживать создает в нем ту убежденность, которой он так кичится, ту неспособность к сомнению, которая вызывает в нем такую гордость. Настоящая мысль тоже должна быть переживанием, настоящая идея — живым развитием многих мыслей, должна вдруг получить бытие и освещать, одушевлять тысячи новых, едва проступивших мыслей. Но это уже из области моих грез, а ты Расскажи мне лучше о своих, они интереснее и поэтичнее.

— Ты, право, смущаешь меня, — сказал, краснея, Генрих, — потому что на этот раз ты сильно переоцениваешь мой талант сновидца. Убедись же сама.

Я находился еще при моем посланнике, там, в большом городе, среди избранного круга. За столом говорили об одном аукционе, который должен был вскоре состояться. Всякий раз, как произносилось слово «аукцион», меня охватывал неопишуемый ужас, но я не понимал почему. В юношеские годы моей страстью было ходить на книжные аукционы, и хотя мне редко когда удавалось приобретать те книги, которые мне нравились, но я испытывал радость, слыша, как выкрикивают их название, и мечтал о возможности обладания ими. Каталоги таких аукционов я читал, как читают любимых поэтов, и эта нелепая мечтательность была лишь одним из многих недостатков, от которых я тогда страдал; ведь я ничем не напоминал тех юношей, которых называют солидными и рассудительными, и я не раз сомневался в часы одиночества, получится ли из меня когда-либо так называемый дельный и благоразумный человек.

Клара громко расхохоталась, затем обняла его и горячо поцеловала.

— Нет, — воскликнула она, — до сих пор этого, слава Богу, не случилось. И я думаю держать тебя в такой

строгости, что ты никогда этим грешить не будешь. Но рассказывай дальше о своем сне.

— Оказывается,— продолжал Генрих,— я не напрасно боялся этого аукциона, потому что, как это часто бывает во сне, я вдруг очутился в аукционном зале и с ужасом увидел, что я сам принадлежу к вещам, которые подлежат продаже с молотка.

Клара опять расхохоталась.

— Как это мило,— воскликнула она,— вот совершенно новый способ стать знаменитостью.

— А я так вовсе этому не радовался,— ответил муж.— Кругом стояло и лежало много всякого рода старых вещей и мебели, и тут же сидели старухи, бездельники, жалкие писаки, пасквилянты, недоучившиеся студенты и комедианты: все это должно было сегодня попасть в руки того, кто больше даст, и я тоже очутился среди этого пыльного старья. В зале сидели некоторые из моих знакомых, и кое-кто из них с видом знатока рассматривал выставленных людей и вещи. Я испытывал невероятный стыд. Наконец явился аукционист, и я испугался, словно меня вот-вот поведут на казнь.

Он уселся с серьезным видом, откашлялся и сразу начал с того, что схватил меня, чтобы поскорее сбыть с рук. Он поставил меня перед собой и сказал: «Посмотрите, милостивые государи и государыни, на этого еще недурно сохранившегося дипломата, хотя и порядком потертого и поизносившегося, изъеденного кое-где червями и молью, но, пожалуй, годного еще служить экраном для камина, чтобы умерять сильный жар; а не то так можно использовать его в виде кариатиды либо укрепить на его голове часы. Или взять его и поместить перед окном в качестве флюгера. А так как у него осталась еще одна маленькая толика разума, то он может разговаривать об обыденных вещах и довольно сносно отвечать на вопросы, если они не очень глубоки. Кто сколько даст за него?»

В зале никакого ответа. Аукционист крикнул: «Ну, господа? Он мог бы стать швейцаром в каком-либо посольстве; его можно было бы подвесить в виде люстры в передней — со свечами на руках, на ногах и на голове. Ведь это приятный, на многое еще годный человек. Если у кого-нибудь из присутствующих господ есть домашний орган, то он мог бы нажимать на педали: его ноги, посмотрите, имеют еще сносный вид». Но и на этот раз никакого ответа. Я чувствовал себя глубоко униженным, и моему стыду не было границ, потому что иные из мо-

их знакомых глядели на меня с ухмылкой и явно злорадствовали над моим положением, иные смеялись, другие пожимали плечами, словно проникшись жалостью, полной глубокого презрения. В это время вошел мой слуга, и я направился было к нему, чтобы дать ему поручение, но аукционист оттолкнул меня назад со словами: «Потише ты, старая рухлядь! Так-то ты знаешь свои обязанности? Твое назначение здесь в том, чтобы держаться в тени. Что бы это было, если бы предметам, выставленным на продажу, вздумалось стать самостоятельными?» И снова на его вопрос не последовало никакого ответа. «Эта дрянь ничего не стоит», — донеслось из одного угла. «Кто решится дать что-нибудь за такого бездельника?» — сказал другой. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я кивнул моему человеку, чтобы он предложил за меня какую-нибудь малость; а тогда, рассуждал я вполне логично, когда он меня приобретет и я уйду из этого проклятого зала, я уж столкнусь с моим слугой, мы люди свои; я покрою его издержки и дам ему еще на чай. Но тот, вероятно, не имел с собой денег или не понял моего кивка, может быть, оттого, что вся эта процедура была ему неизвестна и непонятна; словом, он не двинулся с места. Аукционист был в досаде; он сделал знак своему помощнику и сказал ему: «Приведите мне из камеры номера второй, третий и четвертый». Здоровенный детина вернулся с тремя оборванцами, и аукционист сказал: «Раз этот дипломат никому не нужен, то мы дадим его в придачу к этим трем журналистам — отставному редактору воскресного листка, репортеру и вот этому театральному критику, — сколько же будет предложено за всю шайку?»

Старый ветошник поразмышлял некоторое время, приложив руку ко лбу, и крикнул: «Один грош!» Аукционист спросил: «Итак, один грош? Кто больше? Один грош раз!» — он поднял молоток. Тогда тщедушный молодой еврей воскликнул: «Один грош и шесть пфеннигов». Аукционист повторил предложенную цену один раз, потом другой и уже замахнулся молотком, чтобы по третьему возгласу присудить меня со всей компанией маленькому израильянину, когда открылась дверь, и ты, Клара, вошла во всем своем великолепии с большой свитой знатных дам и властно, надменно, с горделивой осанкой воскликнула: «Стойте!» Все были испуганы и поражены, а мое сердце подпрыгнуло от радости. «Как, продавать с молотка моего собственного мужа? — сказала ты с гневом. — Сколько было предложено до на-

стоящей минуты?» Старый аукционист поклонился низко-низко, предложил тебе стул и пролепетал, весь красный от смущения: «За господина вашего супруга пока предложено полтора гроша».

Ты сказала: «Но я притязаю только на моего мужа и требую, чтобы те лица были снова удалены. Восемнадцать пфеннигов за этого несравненного человека! Для начала даю тысячу талеров». Меня это обрадовало, но одновременно испугало, потому что я не представлял себе, где ты возьмешь такую сумму. Но я тут же избавился от этого страха, когда другая красивая дама тотчас же предложила две тысячи. И вот, богатые и знатные женщины начали соревноваться и усердствовать, чтобы завладеть мной. Ставки все быстрее следовали одна за другой, и скоро я поднялся в цене до десяти, а спустя немного — и до двадцати тысяч. С каждой тысячью я словно делался выше ростом, я держался теперь гордо и прямо и расхаживал большими шагами за столом аукциониста, который уже больше не осмеливался призывать меня к порядку. Я бросал теперь презрительные взгляды на тех моих знакомых, что незадолго перед тем бормотали о бездельнике и шалопае. Все глядели теперь на меня с почтением, в особенности потому, что неистовое соперничество дам все усиливалось, вместо того чтобы утихнуть. Одна старая, безобразная женщина, по-видимому, твердо вознамерилась заполучить меня: ее красный нос пламенел все сильнее, и она-то взвинтила на меня цену до ста тысяч талеров. Кругом царил мертвая тишина, и среди нее патетически прозвучал чей-то голос: «Так высоко в нашем столетии еще не оценивали человека! Я вижу теперь, что он мне не по карману!» Оглядевшись вокруг, я заметил, что это замечание исходило от моего посланника. Я снисходительно поздоровался с ним. Короче говоря, цена на меня поднялась до двухсот тысяч талеров с чем-то, и за эту сумму меня отдали наконец той красноносой, старой, безобразной даме.

Когда дело наконец было решено, поднялся страшный шум, потому что каждому хотелось взглянуть на этот необыкновенный экземпляр. Не знаю, как это случилось, но огромная сумма, за которую я был продан, против всех правил аукциона, была вручена мне лично.

Когда меня уже собирались увести, ты выступила вперед и крикнула: «Это еще не все! Раз моего супруга, противно всем христианским обычаям, публично выставили на аукционе и продали, то я хочу подвергнуться

той же тяжелой участи. Я добровольно подчиняюсь молотку господина аукциониста». Старик сгибался и корчился, ты стала за длинный стол, и все были в восхищении от твоей красоты. Аукцион возобновился, и вскоре молодые люди очень высоко подняли на тебя цену. Сначала я ничем не заявлял о себе, отчасти от удивления, отчасти из любопытства. Но когда счет пошел на тысячи, стал слышен и мой голос. Мы забирались все выше и выше, и мой посланник до того горячился, что я еле сдерживал себя; мне казалось низостью то, что этот пожилой человек хотел таким способом похитить данную мне перед алтарем супругу. Он тоже заметил мое недовольство, потому что все чаще косился на меня со злобной усмешкой. В зале набиралось все больше молодых людей, и, не будь в моем кармане чудовищной суммы, я потерял бы тебя. Моему самолюбию льстило, что я мог выказать свою любовь к тебе в большей мере, чем ты, потому что скоро после предложенной тобой тысячи талеров ты молчаливо предоставила меня случайностям аукциона и той красноносой даме, которая теперь как будто исчезла, по крайней мере, я нигде ее больше не видел. Ставки перевалили уже далеко за сто тысяч талеров, ты благосклонно кивала мне через стол и, обладая огромным капиталом, я все увеличивал их, доводя до отчаяния всех моих соперников. Так я продолжал ставить и ставить, победоносно усмехаясь. Наконец все в досаде замолкли, и ты была мне присуждена. Я торжествовал. Я стал отсчитывать требуемую сумму, но — увы! — в суматохе я не заметил сколько, собственно, я выручил за самого себя, и теперь при выплате недоставало еще многих тысяч. Мое отчаяние вызывало только насмешки. Ты ломала руки. Нас потащили в темницу и заковали в тяжелые цепи. Мы были посажены на хлеб и на воду, и я смеялся, что наказанием нам служит то, в чем мы здесь, наверху, испытывали лишения и что считали за пиршество. Так перепутывается во сне прошедшее и настоящее, близь и даль. Смотритель тюрьмы рассказал нам, что судьи приговорили нас к смерти; оказывается, мы коварно действовали в ущерб королевской казне и общественному достоянию, мы обманули доверие публики и подорвали государственный кредит, это-де ужасный обман так высоко себя оценивать и заставлять оплачивать себя такими большими суммами, которые таким образом изымаются из конкуренции и наносят ущерб общему благу. Это-де прямая противоположность патриотизму, требующему, чтобы каждый ин-

дивид жертвовал собой во имя целого, и наше покушение следует рассматривать как явную государственную измену. Старый аукционист был вместе с нами осужден на смерть, потому что он якобы состоял в заговоре и, расточая нам обоим непомерные похвалы и выставляя нас перед покупателями как чудо природы, содействовал тому, что ставки поднялись так высоко. Теперь, мол, раскрыто, что мы, будучи связаны с иностранными державами и с врагами отечества, имели целью вызвать всеобщее государственное банкротство. Ведь очевидно, что если за отдельную личность, притом не заявившую о себе никакими заслугами, выкладываются такие чудовищные суммы, то ничего не останется на долю министерств, школ, университетов, не говоря уже о воспитательных домах и богадельнях. Мы узнали, будто сейчас же после нашего ухода десять дворян и пятнадцать знатных девиц добровольно пошли с молотка, и в этом случае деньги тоже были отвлечены от доходных статей и от государственной казны. Всякие моральные ценности погибнут от таких пагубных, растлевающих примеров, и уважение к добродетели исчезнет, если за индивидуумов будут назначаться такие суммы и они будут так непомерно высоко оцениваться. Мне представлялось все это вполне разумным, и я уже раскаивался, что по моей вине могло произойти такое смятение.

Когда же нас повели на казнь — я проснулся и оказался в твоих объятиях.

— Над этой историей в самом деле стоит призадуматься, — отозвалась Клара, — это история очень многих людей, продающих себя как можно дороже, только, пожалуй, чересчур заостренная. Этот забавный аукцион — неотъемлемая черта государственного устройства всех стран.

— Нелепый сон заставляет призадуматься и меня самого, — сказал Генрих, — потому что мое отчуждение от света и света от меня дошло до такой степени, что ни один человек не оценил бы меня сколько-нибудь значительной суммой. Во всем этом огромном городе мне не поверят в кредит и гроша; я стал именно тем, что люди зовут голью. И все же ты любишь меня, ты, моя дорогая, мое чудесное создание! Но стоит мне подумать, до чего грубо и примитивно устроена самая новая и совершенная прядильная машина в сравнении с таким чудом, как мое кровообращение, моя нервная система и мозг, и что вот этот череп, который, как иные полагают, не заслуживает даже пропитания, способен постигать высо-

кие, благородные мысли и способен, быть может, натолкнуться на какое-нибудь новое открытие,— как мне становится смешно, что миллионы не могут окупить эту организацию, которую не в силах создать даже самый гордый разум. Когда наши головы сближаются, касаясь друг друга, и уста сливаются в поцелуе, то почти непостижимо, какой тонко переплетающийся механизм нужен для этого, какие препятствия должны быть преодолены и каким образом приходит во взаимодействие все это соединение мускулов и костей, кожи и лимфы, крови и влаги, чтобы игрой нервов, тончайших ощущений и еще более непонятных сил вызвать эту радость поцелуя. А если взять анатомическое устройство глаза, то сколько странного, удивительного и противоречивого предстанет перед наблюдателем, если он захочет вывести божественность взгляда из этого соединения роговой оболочки и глазной жидкости.

— Перестань,— сказала она,— все это безбожные речи.

— Безбожные? — с удивлением спросил Генрих.

— Да, другого названия у меня для них нет. Пусть врач, следуя своему долгу, ради науки расстается с иллюзией, внушаемой нам внешним явлением и скрытой за ним сущностью. Ведь даже исследователь от иллюзии красоты всего лишь перейдет к другой иллюзии, которую он, может быть, станет именовать наукой, знанием, природой. Но когда нескромность, дерзкое любопытство или презрительная насмешка разрушают все эти сплетения и овеществленные грезы, в которых заключены красота и прелесть, то я называю это безбожной шуткой, если здесь вообще можно говорить о шутке.

Генрих сосредоточенно молчал.

— Ты, пожалуй, права,— сказал он спустя некоторое время.— Все, что делает нашу жизнь прекрасной, зависит от чуткости, которая призывает нас щадить и оберегать от чересчур резкого света тот милый сумрак, в котором благостно покоится высокое. Смерть и тление, уничтожение и исчезновение не более истинны, чем эта одухотворенная и полная тайн жизнь. Раздави сияющий благоуханный цветок — и оставшаяся в руке кашка уже не будет цветком и живой природой. Убаюкиваемые природой и внешними условиями нашего существования, мы не должны стремиться к пробуждению от этой божественной дремоты, от этого поэтического сна.

— Помнишь великолепные стихи? — спросила она:

Как может человек сказать: «Я здесь»,
Чтоб радовался друг, его шадящий!

— Вот это верно! — воскликнул Генрих. — Даже самый задушевный друг должен быть другом *шадящим*, должен *шадя* вникать вместе с другом в заветные тайны жизни и остерегаться разрушить некоторые иллюзии существования. Бывают, однако, толстокожие, которые под тем предлогом, что они живут ради истины и только ее боготворят, заводят друзей, чтобы иметь кого-нибудь, с кем можно обходиться не церемонясь. Мало того, что эта публика старается влезть вам в душу с помощью банальных остроумий и дешевеньких уловок: они злорадно высматривают все ваши слабости и противоречия. Основы человеческого поведения, самые предпосылки нашего существования подвержены тонким и подчас неуловимым колебаниям, и как раз эти-то колебания, при резком столкновении с подобными толстокожими, принимаются ими за слабости. Очень скоро оказывается, что все те добродетели и таланты, которые сначала было вызывали почтительное восхищение подобного друга, превращаются будто бы в слабости, ошибки и глупости, и если, наконец, более высокий ум восстает, не желая дольше сносить такое обращение, то он в глазах другого становится тщеславным, упрямым и высокомерным; он, мол, так мелочен, что ему правда не по плечу; и вот приходит конец дружбе, которой не надо было и начинаться. Но если так обстоит дело с природой, любовью и дружбой, то иначе не может быть и с такими мистическими предметами, как государство, религия и откровение. Тот взгляд, что существуют недостатки, которые требуют исправления, еще не дает права посягать на таинственную сущность государства. Если религиозное благоговение перед этими могучими, сверхчеловеческими связями и задачами, благодаря которому человек в сложно организованном обществе только и может стать настоящим человеком, если этот священный трепет перед законами и властью, перед королевским величием резко осветить светом скороспелых и часто только предположительных суждений, то таинственные откровения, скрытые в государстве, превращаются в ничто, становятся произволом. Не так ли дело обстоит и с церковью, религией, откровением, этими священными тайнами? И здесь святиня должна быть овеяна тихим сумраком, бережно-чутким благоговением. Так как она таинственна и божественна,

то ничего нет легче, как сделать ее предметом острой и дерзкой насмешки, чтобы представить ее священную ткань неодаренным людям, неспособным к вере, как чистейший обман, или поколебать слабого в его самых сокровенных чувствах. Кажется почти непостижимым, до чего в наши дни повсюду утрачено понимание того великого и неразделимого целого, что могло возникнуть только силою божества. Всегда и всюду, в стихах, в произведениях искусства, в истории, в природе и в откровении отныне славится и восхваляется только частное, только единичное; но еще сильнее порицается то единичное, которое в великом целом, предположим — в произведении искусства, может быть только таким, как оно есть, если только то, что восхваляется, вообще мыслимо. Постоянная жажда отрицания составляет прямую противоположность всего истинно талантливого, превращаясь наконец в неспособность понять явление во всей его полноте. Всегда говорить: «Нет» — значит не говорить ничего.

Так у этой одинокой, обедневшей и все же счастливой пары проходили дни за днями, недели за неделями. Их существование поддерживалось скудной пищей, но в полноте любви никакие лишения, даже самая острая нужда не в состоянии были сломить их тихого довольства. Чтобы продолжать так жить, нужно было обладать удивительным легкомыслием этих двух существ, которые могли все позабыть ради настоящего мгновения. Муж поднимался теперь раньше Клары; она слышала, как он стучит и пилит, и находила возле печки приготовленные дрова, которыми она и затапливала ее. Она удивлялась, что эти мелко наколотые дрова с некоторого времени имели совсем другую форму и окраску и были совсем в другом роде, чем она привыкла видеть. Но так как она всегда находила нужный запас, то она перестала об этом думать, тем более, что обычные их разговоры, шутки и рассказы во время так называемого завтрака были для нее гораздо важнее.

— Дни становятся длиннее, — начал он. — Скоро весеннее солнце заиграет на крыше напротив.

— Конечно, — сказала она, — и недалеко уже время, когда мы снова откроем окно, усядемся возле него и будем вдыхать свежий весенний воздух. До чего хорошо было прошлым летом, когда даже к нам сюда доносился из парка запах лип.

Она принесла два маленьких горшочка, наполненных землей; она растила в них цветы.

— Посмотри,— продолжала она,— гиацинт и тюльпан, которые нам казались погибшими, вновь оживают. Если они расцветут, то для меня это будет предзнаменованием, что и наша судьба скоро переменится к лучшему.

— Но, милая,— сказал он, немного задетый,— чего же нам недостает? Разве до сих пор у нас нет в изобилии хлеба, воды и огня? Погода, как видишь, становится мягче, потребность в дровах уменьшается, а там придет теплое лето. Правда, у нас ничего нет для продажи, но найдется же, должен же найтись путь, который приведет меня хоть к какому-нибудь заработку. Подумай только, какое счастье, что никто из нас не заболел, даже старая Христина.

— Но кто поручится за нее, нашу верную служанку? — возразила Клара.— Я давно уже не видела ее. Ты все улаживаешь с ней рано утром, когда я еще сплю; ты принимаешь от нее купленный хлеб и кувшин с водой. Я знаю, что она часто работает в чужих домах; она стара, питание у нее скудное, и если к ней подберется хворь, то она легко может слечь. Почему это она так давно не появляется у нас наверху?

— Подожди,— сказал Генрих не без некоторого смущения, которое не ускользнуло от Клары и не могло ее не удивить,— для этого, вероятно, скоро представится случай. Подожди еще немного.

— Нет, милый,— воскликнула она с привычной живостью,— ты что-то скрываешь от меня, что-то случилось. И ты не удерживай меня, я сама спущусь вниз посмотреть, у себя ли она в своем чуланчике, не больна ли она, или, быть может, она недовольна мною.

— Ты давно уже не ходила по этой роковой лестнице,— сказал Генрих.— Там темно, ты можешь упасть.

— Нет,— воскликнула она,— не удерживай меня, лестница мне знакома, я легко сумею найти путь в темноте.

— Но поскольку мы сожгли перила,— сказал Генрих,— которые показались мне тогда лишними, то я боюсь, что ты, не опираясь на них, споткнешься и упадешь.

— Ступени,— ответила она,— мне достаточно хорошо известны, они удобны, и я еще часто буду по ним ходить.

— По этим ступеням,— сказал он не без некоторой торжественности,— ты никогда больше не будешь ходить!

— Послушай,— воскликнула она и стала прямо против него, чтобы заглянуть ему в глаза,— в доме у нас что-то неладно; говори, что хочешь, но я побегу сейчас вниз, чтобы самой взглянуть на Христину.

С этими словами она повернулась, чтобы отворить дверь, но он быстро вскочил и, обняв ее, закричал:

— Дитя, ты что, хочешь ни с того ни с сего сломать себе шею?

И так как дольше нельзя было скрывать, он сам отворил дверь; они вышли на площадку, и, идя вперед, все еще поддерживаемая мужем, Клара увидела, что там уже больше нет никакой лестницы. Она всплеснула от удивления руками и, наклонясь, посмотрела вниз; потом повернула обратно и, когда они снова оказались в своей комнате, уселась, чтобы как следует взглянуть в супруга. Но ее испытующий взгляд встретил такую комическую гримасу, что она разразилась громким хохотом. Затем она подошла к печке, взяла в руки одно полено, внимательно разглядела его со всех сторон и сказала:

— Да, теперь я, разумеется, понимаю, почему эти поленья совсем другого вида, чем прежние. Значит, мы сожгли и лестницу!

— Конечно,— ответил Генрих, на этот раз спокойно, овладев собой,— а теперь, раз тебе все известно, ты найдешь это вполне разумным. Я даже не понимаю, почему до сих пор ничего не решился сказать тебе об этом. Как бы мы ни были свободны от предрассудков, что-нибудь да остается, вызывая ложный и, в сущности, ребяческий стыд. Ведь ты была для меня, во-первых, существом, которое мне всех ближе; во-вторых, единственным близким человеком, потому что мои краткие встречи с Христиной в счет не идут; в-третьих, зима все еще не ослабела, а в другом месте дров достать было нельзя; в-четвертых, отказ тут показался бы смешным, потому что дрова были у нас буквально под ногами, превосходные, плотные, сухие, годные в дело; в-пятых, мы ведь все равно почти не пользовались лестницей, в-шестых, она уже вся сожжена, если не считать немногих реликвий. Ты не поверишь, с каким трудом поддаются пиле и топору эти покоробившиеся, старые, строптивные ступени. Я так упорно трудился над ними, что мне казалось не раз, будто в нашей комнате даже чересчур жарко.

— Но Христина? — спросила она.

— О, она совершенно здорова,— отвечал муж.— Каждое утро я спускаю ей вниз веревку, к которой она привязывает корзиночку; я подымаю корзинку наверх, а вслед за ней кувшин с водой, и таким образом наше хозяйство мирно идет своим чередом. Когда наши чудесные перила были на исходе, а теплая погода все не настаивала, я крепко задумался, и мне пришло на ум, что наша лестница вполне могла бы расстаться с половиной своих ступеней, ведь это же излишняя роскошь, это от избытка,— так же как и те толстые перила,— этих ступеней было такое множество только ради одного удобства. Если подниматься большими шагами, как это приходится делать в некоторых домах, то за глаза достаточно было половины. С помощью Христины, которая при ее философских склонностях сразу оценила правильность моей идеи, я выломал нижнюю ступень, затем при ее же участии третью, пятую и т. д. Ну, и хорош был наш грабштихель по окончании этой филигранной работы! Я пилил, колол, а ты, как ни в чем не бывало, топила ступеньками так же ловко и споро, как до того перилами. Но нашей ажурной работе грозила новая опасность со стороны неутомимой стужи. Разве эта бывшая лестница не представляла собой своего рода каменноугольной шахты и не лучше ли было сразу извлечь на поверхность весь ее запас? Оттого-то я спустился в шахту и позвал старую сообразительную Христину. Без долгих разговоров она присоединилась к моему взгляду; она стала внизу, я же с огромным напряжением, так как она не могла мне помочь, выломал вторую ступень. Положив ее с полным доверием на четвертую, я подал над бездной доброй старушке руку на вечное расставанье; ведь то, что называлось прежде лестницей, никогда уже больше не будет нас связывать и сближать. Так, не без тяжких усилий, я ее совершенно разрушил в конце концов, всякий раз перекалывая добытые поперечины на остальные, еще уцелевшие верхние ступеньки. А теперь, моя радость, ты с изумлением смотришь на уже свершившееся дело, и тебе ясно, что мы сейчас должны еще больше, чем прежде, довольствоваться друг другом. Ты только подумай, каким образом общество светских болтунов могло бы проникнуть к тебе сюда со своими новостями. Нет, мне достаточно тебя, а тебе меня; приближается весна, ты поставишь тюльпан и гиацинт на подоконник, и мы усядемся тут,

Где нам смеется сад Семирамиды
На уходящих в облака террасах,

В пестреющем великолепье лета,
Сияя всплесками игры фонтанов!
Все лето будет источать на нас
Росу блаженства райская любовь!
Там на террасе, что превыше всех,
Я буду в темной сени рдяных роз
Сидеть с тобою, а у наших ног —
В горячем солнце крыши Вавилона.

Я полагаю, наш друг Юхтриц сложил этихи стихи, имея в виду наше положение. Видишь вот там залитые солнцем крыши, пускай только июльское солнце засветит снова, как мы смеем надеяться. И если тюльпан и гиацинт расцветут, то здесь у нас действительно будут во всей их живой красе сказочные висячие сады Семирамиды, и даже гораздо чудеснее их, потому что у кого нет крыльев, тому ни за что не добраться до нас, если только мы не протянем ему руку помощи или не приготовим, скажем, веревочной лестницы.

— Действительно, мы живем,— сказала она,— как в сказке, живем так чудесно, как только можно описать в «Тысяче и одной ночи». Но что нас ждет в будущем? Ведь так называемое будущее когда-нибудь да обернется настоящим.

— Вот видишь, мое сердечко,— сказал муж,— из нас двоих прозаичнее оказываешься снова ты. Перед михайловым днем наш старый ворчливый домохозяин уехал в тот далекий город, надеясь найти у своего приятеля-врача помощь против подагры или облегчение страданиям. Мы были тогда так невероятно богаты, что могли ему заплатить не только за квартал, но и отдать квартирную плату вперед до самой Пасхи, и он, ухмыльнувшись, принял ее и поблагодарил. Следовательно, о нем мы можем не беспокоиться—по крайней мере до Пасхи. Самая суровая полоса зимы уже позади, дров нам понадобится теперь не так уж много, а на худой конец у нас еще висят четыре нетронутых ступени, и, кроме того, наше будущее надежно обеспечено кое-какими старыми дверями, половицами, оконными рамами и прочими деталями. Поэтому утешься, любимая, и будем наслаждаться тем счастьем, что мы здесь совершенно отрезаны от всего мира, ни от кого не зависим и ни в ком не нуждаемся. Это как раз то положение, к какому мудрец всегда стремился и какого мало кто имеет счастье достигнуть.

Но вышло иначе, чем он предполагал. В тот же самый день, едва только они окончили скудный обед, к домику кто-то подъехал. Слышно было, как замерли колеса останавливающегося экипажа и из него кто-то вы-

шел. Необычно выступавшая крыша мешала супругам разглядеть, кто это был такой. Им послышалось, что что-то выгружали, и в душу мужа закралась мучительная догадка, уж не сам ли это брюзга-хозяин, который раньше, чем можно было рассчитывать, оправился от приступа подагры.

Было явственно слышно, как новоприбывший расплагался в доме, и, следовательно, не могло быть сомнения в том, кто это такой. Сундуки были сняты и снесены в дом, несколько голосов говорили наперебой, слышались приветствия соседей. Он недоверчиво прислушивался к тому, что делалось внизу, и стоял на посту у слегка приотворенной двери. Клара вопросительно смотрела на него, но он, улыбаясь, качал головой и не говорил ни слова. Скоро все затихло: старик убрался в свою комнату.

Генрих сел подле Клары и сказал несколько подавленным голосом:

— До чего досадно, что только немногие люди обладают фантазией великого Дон-Кихота. Когда у него замуровали библиотеку и объявили ему, что некий волшебник унес не только его книги, но и всю его комнату, он тотчас же, не проявляя и тени сомнения, представил себе, как это могло произойти. Он был не так прозаичен, чтобы доискиваться, куда девалась столь абстрактная вещь, как пространство. Да и что такое пространство? Нечто безусловное, ничто, форма созерцания. А что такое лестница? Нечто обусловленное, но тоже далекое от безусловного самостоятельного существования, некая возможность, средство попасть снизу наверх, а ведь как относительны эти понятия — верх и низ! И старика ни за что не разуверишь в том, что там, где теперь зияющая дыра, прежде не стояла лестница; он, разумеется, чересчур эмпирик и рационалист, чтобы понять, что настоящий человек, одаренный глубокой интуицией, не нуждается в этом традиционном переходе, в этом убогом прозаическом средстве приближения, в общепризнанной лестнице представлений. Как же мне, стоящему на более возвышенной точке зрения, втолковать это ему, стоящему несравненно ниже? Он хочет опереться на перила, эту испытанную опытом опору, и покойно переступить одну ступеньку за другой до вершины разума, и он ни за что не сможет проникнуться чистотой нашего непосредственного созерцания, так как мы уничтожили находящиеся ниже нас банальные ступени опыта и этапы восхождения и, следуя древнему учению парсов-огнепо-

клонников, принесли их в жертву чистому разуму в очистительном и согревающим пламени.

— Да, да,— сказала Клара, посмеиваясь,— фантазируй и остро; это настоящий юмор трусости.

— Никогда,— продолжал он,— наш идеал созерцания не уживется с тусклой действительностью. Обычен взгляд, что земное непременно хочет поработить духовный мир и властвовать над ним.

— Тише! — произнесла Клара.— Внизу опять завозились.

Генрих снова стал у двери и еще немного приотворил ее:

— Надо же мне навестить моих милых квартирантов,— отчетливо слышалось снизу.— Надеюсь, жена все так же хороша и эта парочка все так же весела и разумна, как прежде.

— Теперь-то он,— тихо сказал Генрих,— и натолкнется на проблему.

Пауза. Старик ошупью ходил внизу в полутьме.

— Что такое? — слышалось оттуда.— Как я мог до такой степени отвыкнуть от собственного дома? Здесь — нет, там — нет, что же это такое? Ульрих! Ульрих, помоги мне тут разобраться!

Старый слуга, который в его маленьком хозяйстве все совмещал в своей особе, вышел из своей каморки.

— Помогите же мне подняться по лестнице,— сказал хозяин,— я словно околдован и ослеплен, никак не найду наших больших, широких ступеней. Что тут такое?

— Ну, идите же, господин Эммерих,— сказал ворчливый слуга,— у вас просто в голове затуманилось после дороги.

— Этот человек,— заметил Генрих сверху,— прибегает к гипотезе, явно несостоятельной.

— Чертова напасть! — закричал Ульрих.— Я разбил себе тут голову; я тоже словно одурел; похоже, что этот дом нас не терпит.

— Он хочет,— сказал Генрих,— найти объяснение в сверхъестественном: столь глубоко заложена в нас наклонность к суеверию.

— Ищу направо, ищу налево,— говорил хозяин,— ищу вверху — и готов поверить, что черт унес всю лестницу целиком.

— Это почти повторение сцены из «Дон-Кихота»,— сказал Генрих,— но его ищущий дух этим не удовлетворится; в сущности, это тоже несостоятельная гипотеза.

ведь так называемый черт упоминается нередко только потому, что мы не можем понять, в чем дело, или если то, что нами понято, вызывает наш гнев.

Снизу доносилась только воркотня, негромкие проклятия, и сметливый Ульрих потихоньку сходил за свечой. Он высоко поднял ее и осветил кругом пустое пространство. Эммерих с изумлением посмотрел наверх, постоял некоторое время с разинутым ртом, застыв от ужаса и удивления, и закричал во всю силу своих легких:

— Гром и молния! Вот это гостинец! Господин Бранд! Эй, вы там, наверху, господин Бранд!

Теперь уж отпираться было немислимо; Генрих вышел, наклонился над пропастью и увидел в сумраке сени освещенные колеблющимся светом две демонические фигуры.

— Ах, достопочтенный господин Эммерих,— приветливо воскликнул он,— добро пожаловать! Как видно, вы чувствуете себя превосходно, раз вы прибыли раньше, чем предполагали. Рад вас видеть таким здоровым...

— Слуга покорный! — ответил тот.— Но не об этом сейчас речь. Сударь! Куда девалась моя лестница?

— Ваша лестница, почтеннейший? — спросил Генрих.— Что мне до ваших вещей? Разве, уезжая, вы оставили мне их на хранение?

— Не притворяйтесь простачком,— закричал тот.— Куда девалась лестница? Моя большая, красивая, прочная лестница?

— А разве здесь была лестница? — спросил Генрих.— Видите ли, мой друг, я так редко теперь выхожу, да, в сущности, и совсем не бываю на улице, что не обращаю внимания, что происходит вне моей комнаты. Я занимаюсь науками, работаю, а до всего остального мне нет дела.

— Мы поговорим еще с вами, господин Бранд,— воскликнул тот.— Злоба душит меня; но мы поговорим с вами по-другому! Вы тут единственный жилец; и вы ответите перед судом за ваш поступок.

— Не сердитесь же так,— сказал Генрих.— Если вас заинтересует история происшествия, то я готов служить вам хоть сейчас; в самом деле, я припоминаю теперь, что прежде здесь была лестница, и должен сознаться, что она мною использована.

— Использована? — закричал старик, топая ногами.— Моя лестница? Стало быть, вы растаскиваете мой дом по частям?

— Сохрани Бог,— сказал Генрих,— под влиянием гнева вы преувеличиваете; ваша комната внизу осталась неповрежденной, наша здесь наверху в блестящем состоянии и совсем нетронута, и только эта жалкая лестница для лезущих вверх выскочек, эта богадельня для слабых ног, это дурацкое приспособление для скучных посетителей и подозрительных личностей, этот способ связи с надоедливymi втирушами, одним словом, эта лестница, она действительно благодаря моим усилиям и даже тяжелому напряжению исчезла.

— Но эта лестница,— закричал Эммерих,— с ее драгоценными, нерушимыми дубовыми перилами, эти двадцать две крепких ступени были неотъемлемой частью моего дома. Я никогда не слышал на своем веку о жильцах, которые жгут лестницы, словно это стружки или раскученная бумага.

— Быть может, вы присядете,— сказал Генрих,— и выслушаете меня спокойно. По этим вашим двадцати двум ступеням часто подымался один бессовестный человек, который выудил у меня ценнейшую рукопись с тем, чтобы ее напечатать, а потом объявил себя банкротом и, наконец, бесследно исчез. Другой книгопродавец, не зная устали, поднимался по этим вашим дубовым ступеням, постоянно опираясь на те крепкие перила, чтобы облегчить себе восхождение; он все ходил и ходил, пока наконец, бесстыдно пользуясь моим затруднительным положением, не заграбастал драгоценный экземпляр Чосера в первом издании и не унес его за смехотворную, за поистине грабительскую цену. О сударь, имея столь горький опыт, как полюбить такую лестницу, которая невероятно облегчает подобным субъектам проникновение в верхние этажи?

— Черт бы побрал все эти проклятые доводы! — воскликнул Эммерих.

— Успокойтесь,— сказал Генрих чуть погромче.— Вы ведь хотели постигнуть вещи в их связи. Меня обманули и обошли; как ни велика наша Европа,— Азия и Америка не в счет,— но мне неоткуда было получить ссуду, словно весь кредит в стране был исчерпан и все банки опустели. Лютая, безжалостная зима требовала дров для отопления; а у меня не было денег, чтобы заpastись ими обычным путем. Таким-то образом я напал на мысль об этом займе, который даже нельзя назвать принудительным. При этом я не предполагал, что вы, милостивый государь, вернетесь еще до наступления теплых летних дней.

— Какой вздор! — сказал тот. — Что же вы, несчастный, думали, будто моя лестница с наступлением теплых дней вырастет сама собой, словно спаржа?

— В том, как растут лестницы, я разбираюсь так же плохо, как в тропической флоре, поэтому не берусь утверждать это, — ответил Генрих. — Между тем дрова мне были крайне необходимы, и раз я совсем не выходил из дому, как и моя жена, и никто ко мне не приходил, потому что у меня нечем было пожить, то эта лестница, следовательно, принадлежала к прямым излишествам, к пустой роскоши, к ненужным изобретениям. И если стремление к ограничению своих потребностей и довольству собственным обществом считать, как утверждают познавшие мир мудрецы, признаком душевного величия, то, как видите, благодаря этой совершенно ненужной мне пристройке мы не замерзли. Разве вам не случалось читать о том, как Диоген забросил свой деревянный кубок, увидев одного крестьянина, который пил, черпая воду ладонями?

— Как вы остроумны! — возразил Эммерих. — Я же видел раз парня, который пил, присосавшись рылом, прямехонько из трубы; стало быть, ваш мусье Диоген мог бы отрубить себе руку в придачу. Эй, Ульрих, сбегай-ка в полицию; дело должно принять другой оборот.

— Не торопитесь, — закричал Генрих, — вы должны понять, что ваш дом значительно выиграл без этой лестницы!

Эммерих, уже повернувшийся было к выходу, возвратился обратно.

— Выиграл! — яростно закричал он. — Вот так новость!

— А дело между тем совсем просто, — ответил ему Генрих, — и понять его не составит труда. Не правда ли, дом ваш не застрахован? С некоторого времени я стал видеть дурные сны, мне снились пожары, притом по соседству действительно горели дома; у меня было определенно какое-то предчувствие, я назвал бы это даже предвидением, что наш дом постигнет та же участь. И разве может быть что-нибудь нелепее (готов я спросить всякого, кто разбирается в постройках) деревянной лестницы? Полиция должна бы категорически запретить такие огнеопасные устройства. В тех городах, где этот дурной обычай существует, деревянная лестница, случись пожар, всегда оказывается самым пагубным злом. По ней не только распространяется огонь на все этажи, но она часто делает невозможным спасение людей. А так как

я наверное знал, что вскоре здесь или по соседству должен вспыхнуть пожар, то я собственными руками, с превеликим трудом, обливаясь потом, сломал эту ненужную, грозившую бедой лестницу, чтобы по возможности уменьшить зло и пагубу. И я даже рассчитывал на вашу признательность.

— Ах, так? — закричал Эммерих. — Оставайся я дольше в отъезде, этот чистоплотный господин по тем же хитроумным соображениям использовал бы по частям весь мой дом. Использовал! Словно дома можно использовать таким порядком! Но подожди, благодетель! Полиция тут? — спросил он вернувшегося Ульриха.

— Мы воздвигнем, — закричал Генрих, — большую каменную лестницу, и ваш палаццо, милостивый государь, выиграет от этого столько же, сколько и город и государство.

— Ну, с этим хвастовством мы сейчас покончим, — ответил Эммерих и тут же обратился к приставу, явившемуся с несколькими полицейскими.

— Господин инспектор, — сказал он, обращаясь к нему, — слышали ли вы о таком бесчинстве? Сломать в моем доме большую, прекрасную лестницу и сжечь ее в мое отсутствие, как простые дрова!

— Это войдет в хронику городских происшествий, — веско заявило начальство, — а этого субъекта, похитителя лестниц, — в исправительный дом или в крепость! Это похуже кражи со взломом! Кроме того, он обязан будет возместить убытки. Спускайтесь-ка вниз, господин злоумышленник!

— Как бы не так! — сказал Генрих. — Англичанин по праву называет свой дом крепостью, а что до моего, то он совершенно неприступен и неодолим; я ведь поднял подъемный мост.

— Ну, этой беде легко помочь, — закричал полицейский начальник. — Ну-ка, братцы, несите сюда большую пожарную лестницу; вы подниметесь наверх, и если преступник вздумает оказать сопротивление, то вяжите его и тащите вниз, чтобы наказать его по заслугам.

Между тем дом наполнился людьми, жившими по соседству; тут были и мужчины, и женщины, и дети, привлеченные шумом, и много любопытных стояло на улице, чтобы узнать, что происходит, и посмотреть, к чему все это приведет. Клара, смутившись, села возле окна, но не теряла самообладания, видя, что ее супруг все так же весел и не принимает дела близко к сердцу. Но она не представляла себе, чем все это закончится. Ген-

рих подошел к ней на минуту, чтобы утешить ее и что-то взять из комнаты. Он сказал:

— Послушай, Клара, мы так же осаждены, как в былое время наш Гёц в своем Якстхаузене; отвратительный герольд уже предложил мне сдаться на милость победителя, и я ему сейчас отвечу, но скромно, не так, как мой великий прототип.

Клара дружески улыбнулась ему и сказала только:

— Твоя судьба — моя судьба; но я думаю, что если бы мой отец увидел меня сейчас, он простил бы меня.

Генрих снова вышел, и когда он увидел, что лестницу действительно хотят притащить, то произнес торжественным тоном:

— Господа, подумайте, что вы делаете, я давно уже решил на все, на любую крайность, я добровольно не отдамся в ваши руки, но буду защищаться до последней капли крови. Вот у меня под рукой две дустволки с добрыми зарядами, и более того, вот старая пушка, опаснейшее полевое оружие, полное картечи и дробы, толченого стекла и других ингредиентов. Порох, пули, картечь, свинец, все что только понадобится, найдется в комнате в изобилии; а пока я буду стрелять, моя храбрая жена, которая как истинная охотница отлично умеет обращаться с оружием, будет перезаряжать. Ну, нападите же, раз вы хотите пролития крови.

— Да это настоящий сатана, — сказал полицейский начальник, — такого отчаянного злодея мне давно уж не доводилось видеть. Каков он собой? Ведь в этой темной дыре ни зги не видать.

Генрих положил на пол две палки и старый сапог, и это должно было сойти за пушку и дустволки. Полицейский сделал знак убрать лестницу.

— Лучше всего, господин Эммерих, — присовокупил он затем, — взять этого беспутного Абеллино измором; он должен будет сдаться.

— Ну и промахнетесь! — весело закричал Генрих. — У нас многомесячный запас сушеных фруктов, слив, груш, яблок и сухарей; зима уж на исходе, но если нам неостанет дров, то тут наверху есть чулан; в нем найдутся старые двери, ненужные половицы, и даже на чердаке можно будет кое-что выломать как лишнее.

— Послушайте только этого безбожника! — воскликнул Эммерих. — Сперва он разоряет мой дом снизу, а теперь он готов приняться за крышу!

— Это неслыханно! — сказал полицейский. Многие из теснившихся ротозеев восхищались решимостью Ген-

риха, радуясь беде, случившейся со скупым хозяином.— Не вызвать ли нам отряд солдат тоже с огнестрельным оружием?

— Нет, господин инспектор. Ради всего святого, нет! Эдак, в конце концов, мой домик будет стерт с лица земли, и я останусь с пустыми руками; даже если мы и захватим бунтовщика.

— Правильно,— сказал Генрих.— А вы, быть может, кстати и позабыли, о чем уже многие годы пишут в газетах? Первый же пушечный выстрел, откуда бы он ни раздался, будет сигналом к возмущению по всей Европе. Что же, господин полицейский, вы хотите взять на себя неслыханную ответственность за то, что из этой лачуги, на самой узкой и темной улице маленького предместья выйдет чудовищная европейская революция? Что подумает о вас потомство? Какой отчет дадите вы Богу и королю в своем легкомысленном поведении? Посмотрите, вот стоит заряженная пушка, которая вызовет величайший переворот во всем столетии.

— Он демагог и карбонарий,— сказал полицейский начальник,— это сразу видно по его речам. Он член тайных обществ и ведет себя так дерзко в надежде на постороннюю помощь. Возможно, что среди этих шумных зевак у него найдется много переодетых пособников, которые только ждут нашего нападения, чтобы броситься на нас с тылу с орудиями убийства.

Когда эти бездельники услышали, что полиция их побивается, то со злорадством подняли громкий крик, смятение усилилось, и Генрих воскликнул, обращаясь к супруге:

— Будь веселей, мы выиграем время и, наверное, сможем капитулировать, а не то на выручку подоспеет какой-нибудь Зикинген.

— Король, король! — послышался с улицы громкий крик. Все бросились вперемешку назад; блестящий экипаж пытался проложить себе путь по узкой улице. Лакеи в ливреях, обшитых галунами, стояли позади, осанистый, ловкий кучер правил лошадьми, и из кареты вышел великолепно одетый господин с орденом и звездой.

— Не здесь ли живет некий господин Бранд? — спросила важная особа.— И что означает это сборище?

— Они хотят там, ваша светлость,— сказал мелкий лавочник,— начать новую революцию, а полиция пронюхала об этом; сейчас сюда прибудет гвардейский полк, если мятежники не сдадутся.

— Это вроде секты, ваше превосходительство,— крикнул фруктовщик-лоточник.— Они хотят уничтожить все лестницы, считая их лишними и безбожными.

— Нет, нет,— вмешалась какая-то женщина,— бунтовщик, верно, из породы святого Сен-Симона; все дрова, говорит он, и вся частная собственность должны стать общим достоянием, и они приволокли уже пожарную лестницу, чтобы его поймать.

Незнакомцу стоило большого труда протиснуться к дверям, хотя все старались дать ему дорогу. Старый Эммерих выступил ему навстречу и на предложенный вопрос очень вежливо объяснил положение дела, сказав, что еще не достигнуто соглашение, каким способом захватить этого ужасного преступника. Тогда неизвестный прошел в глубину темных сеней и громко крикнул:

— Что, тут действительно живет господин Бранд?

— Конечно,— ответил Генрих.— Кто еще там спрашивает обо мне?

— Лестницу сюда!— сказал неизвестный.— Мне надо подняться наверх.

— Ну, этому я сумею воспрепятствовать!— крикнул Генрих.— Посторонним у меня наверху делать нечего, и пусть меня никто не беспокоит.

— А если я верну Чосера?— крикнул незнакомец.— В издании Кекстона, с листом, исписанным господином Брандом.

— Боже!— воскликнул тот.— Дорогу, дорогу этому доброму ангелу незнакомцу! Клара!— крикнул он жене со слезами радости на глазах.— Наш Зикинген в самом деле подоспел!

Неизвестный поговорил с хозяином и совершенно его успокоил; полиция была отпущена и вознаграждена, труднее всего было заставить разойтись взволнованную толпу; но когда наконец и этого удалось добиться, старый Ульрих приволок лестницу, и знатный незнакомец один поднялся наверх в жилище друга.

Пришелец с улыбкой окинул взглядом маленькую комнату, вежливо поклонился жене и бросился затем в объятия необычайно взволнованного Генриха. Последний мог только произнести: «Мой Андреас!» И тут Клара поняла, что этот ангел-избавитель был тем другом юности, тем Вандельмеером, о котором они так часто вспоминали.

Они пришли в себя после радостного изумления. Судьба Генриха глубоко растрогала Андреаса; он то смеялся над его затруднительным положением и неожиданно подоспевшей выручкой, то восхищался красотой Клары, и оба друга, не зная устали, перебирали в памяти события их юных дней, с наслаждением предаваясь возбуждаемым ими трогательным чувствам.

— Ну, а теперь давай поговорим серьезно,— сказал Андреас.— Твой капитал, который ты мне доверил при моем отъезде, настолько возрос в Индии, что ты можешь считать себя теперь богатым человеком; ты можешь, следовательно, жить независимо в том месте, где тебе вздумается. Радуюсь предстоящему с тобой свиданию, я высадился в Лондоне, у меня были там кое-какие денежные дела. Я снова зашел к моему букинисту, чтобы, зная твою любовь к старине, выбрать тебе хорошенький подарок. «Смотри-ка,— сказал я себе самому,— вот кто-то переплел Чосера в том же своеобразном вкусе, в каком я это сделал когда-то для Генриха». Беру книгу в руки и со страхом вижу, что это твоя. Так я сразу узнал о тебе более, чем достаточно; ведь только нужда могла заставить тебя продать книгу, если только она не была у тебя украдена. И тут же я нахожу, к нашему общему счастью, исписанный тобою первый лист, в котором ты зовешь себя бедным и несчастным, подписываешься именем Бранда и указываешь город, улицу и дом. Как иначе мог бы я найти тебя, под чужой фамилией, спрятавшегося в неизвестности, если бы эта дорогая, чудесная книга не выдала тебя? Итак, я вручаю ее тебе вторично, и относись к ней с уважением, потому что эта книга — лестница, которая вновь свела нас обоих. Я немедленно сокращаю свое пребывание в Лондоне, тороплюсь сюда и узнаю от посла, который месяца два назад был сюда назначен, что ты похитил его дочь.

— Отец мой здесь? — воскликнула Клара, бледнея.

— Да, милостивая государыня,— продолжал Вандельмеер,— но не пугайтесь, он еще не знает, что вы находитесь в этом городе. Старик рассказывает теперь в своей суровости, он упрекает себя и безутешен, что его дочь бесследно исчезла. Он давно все ей простил, и он трогательно мне жаловался, что ты пропал без вести, что, несмотря на самые усердные поиски, нигде не обнаружено твоего следа. Теперь становится понятным, мой друг,— когда видишь, как ты уединенно жил, наподобие фивайдского пустытника или пресловутого Симеона Столпника,— что к тебе не проникала ни одна газе-

га, не залетало ни одно известие, благодаря которым ты мог бы узнать, что тесть живет рядышком, и, как я могу тебе с радостью сообщить, он давно примирился с тобой. Я пришел прямо от него, но не сказал ему ни слова о том, что у меня есть почти твердая надежда увидеть тебя еще сегодня. Он хочет, если вы с дочерью объявитесь, чтобы ты поселился где-нибудь в его поместьях, так как ты, очевидно, не пожелаешь вернуться к твоей прежней службе.

Все ликовали. Перспектива жить снова надлежащим образом и в приятном довольстве радовала супругов, как рождественский подарок детей. Они охотно расстались с вынужденной философией нищеты, утешение и горечь которой извели до последней капли.

Вандельмеер отвез их сначала в карете на свою квартиру, где тотчас позаботились о надлежащей одежде, чтобы они затем могли явиться к жаждавшему примирения отцу. Нечего и говорить, что старая верная Христина не была позабыта. В своем роде она была так же счастлива, как и ее господа.

А на маленькой улице усердно работали каменщики, плотники и столяры. Старый Эммерих, улыбаясь, вел наблюдение над реставрацией дома и постройкой новой лестницы, которая, невзирая на уговоры Генриха, была опять деревянная. Ущерб, нанесенный ему, был так щедро и великодушно оплачен, что старый скопидом частенько с радостью потирал руки и снова охотно пустил бы в свой дом какого-нибудь проказливого жильца с подобными же идеями.

Спустя три года скрюченный старик принимал у себя, застенчиво пошаркивая и отвешивая низкие поклоны, прибывших в дорогом экипаже видных господ, которых он лично проводил по новой лестнице в маленькую квартиру — в ней жил теперь бедный переплетчик. Умер отец Клары, и она прибыла со своим супругом из далекого поместья, чтобы в последний раз взглянуть на умирающего и принять его благословение. Они стояли теперь рука об руку возле маленького окошка, снова смотрели на красную черепичную крышу и на темную крышу напротив и снова видели мрачные стены, на которых, как прежде, играли солнечные лучи. Эта сцена их былой нужды и вместе с тем их нескончаемого счастья глубоко их растрогала. Мастер как раз переплетал для публич-

ной библиотеки ту книгу во втором издании, которая когда-то столь бессовестно была похищена у попавшего в беду автора.

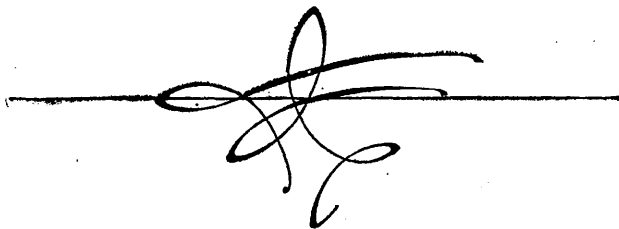
— Эта книга пользуется любовью,— сказал он за работой,— и выдержит еще много изданий.

— Наш друг Вандельмеер ждет нас,— сказал Генрих и, одарив переплетчика, сел со своей супругой в экипаж. Оба задумались над смыслом человеческой жизни, льющейся через край,— с ее избыточностью, с ее щедростью, с ее запросами и тайнами.

АХИМ ФОН АРНИМ



Одержимый инбалд
в форте
Рамоно



*Одержимый
инвалид
в форте Ратоно*

Граф Дюранд, добрый старый Марсельский комендант, в одиночестве мерз холодным ветреным октябрьским днем у плохо греющего камина в своих роскошных комендантских апартаментах и все ближе и ближе подвигался к огню, меж тем как его камердинер и одновременно любимый собеседник Бассе громко храпел в передней, а на улице мимо дома катились кареты, спеша на светский бал. «И на юге Франции не всегда тепло,— думал старик, покачивая головой,— люди и там не остаются всегда молодыми, но движение на оживленных веселых улицах столь же мало считается со старостью, как архитектурское искусство — с зимой». Что делать ему, начальнику инвалидов, выдержавших тогда, в Семилетнюю войну, осаду Марселя и его фортов, что делать ему с его деревянной ногой на балу, даже лейтенанты его полка не пригодны для танцев. А вот здесь, у камина, его деревяшка как раз очень пригодна; не будить же Бассе ради того, чтобы он понемногу подкладывал в камин запас зеленых оливковых ветвей, которые комендант приказал положить рядом со своим креслом. В таком огне есть особая прелесть. Огненные языки в потрескивающих ветвях переплетаются с зеленью листвы, и то загорающиеся, то зеленеющие листья напоминают сердца влюбленных. Глядя на пламя, старик комендант думал о блеске юности, вспоминал, как занимался пиротехникой и услаждал двор потешными огнями. Он размышлял о новых, еще более разнообразных вертящихся колесах и бенгальских огнях, коими хотел удивить марсельцев в день рождения короля. В голове его было пусто. Но, предвкушая удачу, представляя себе, как все сверкает, свистит, шипит, а потом замолкает и сияет в торжественной тишине, он все снова и снова совал в камин оливковые ветви и не заметил, как огонь перекинулся на его деревянную ногу и уже на треть спалил ее. Только когда он захотел вскочить, окрыленный силой своей пламенной фантазии, мы-

сленно видя уже финал — тысячу ракет, взлетевших в небо, только тогда, упав обратно в кресло, он заметил, что его деревяшка значительно укоротилась и что оставшаяся часть тоже тлеет. Он понял, что сразу ему не встать, и, отталкиваясь горячей ногой, как на санях, доехал до середины комнаты и стал звать своего камердинера, чтобы тот принес воды. В эту минуту на помощь коменданту поспешила женщина, допущенная в его покои и уже давно старавшаяся скромным покашливанием привлечь его внимание. В ревностном усердии она попыталась затушить огонь своим фартуком, но от раскаленных углей занялся и фартук; теперь, когда уже действительно грозила беда, комендант начал громко звать на помощь. Тут же с улицы набежал народ, проснулся Бассе. Горящая нога, горящий фартук насмешили всех, но когда Бассе затушил огонь первым же ведром воды, принесенным из кухни, посторонние ушли. С бедной женщины струилась вода, она не могла прийти в себя от испуга. Комендант приказал налить ей рюмку крепкого вина, а на плечи накинуть его теплый дорожный плащ. Но она отказалась от всего и, рыдая, просила коменданта уделить ей несколько минут для разговора наедине. Он отослал нерачительного камердинера и заботливо подвинулся к ней поближе.

— Ах, господин комендант, мой муж совсем, совсем сойдет с ума, — сказала она, на чужой, немецкий лад выговаривая французские слова, — если услышит эту историю. Ах, бедный, бедный мой муж, уж конечно, это опять козни дьявола!

Комендант спросил, кто ее муж, она сказала, что именно по делу своего любимого мужа она и пришла и принесла господину коменданту письмо от полковника Пикардийского полка. Комендант надел очки, узнал герб своего друга и прочитал письмо.

— Так, значит, вы та самая Розалия из Лейпцига, в девичестве звавшаяся Лилия, что вышла замуж за сержанта Франкёра, когда раненный в голову он лежал пленным в Лейпциге? Расскажите, расскажите, это редкая любовь! А ваши родители не пытались воспрепятствовать? И из-за каких таких причуд, вследствие головного ранения, он непригоден для строевой службы в военное время, раз он всегда выделялся среди прочих сержантов смелостью и исполнительностью и все почитали его душой полка?

— Господин, комендант, в нашей беде виновата моя любовь, — ответила женщина с еще большей печалью. —

Я, а не рана, принесла мужу несчастье. Моя любовь отдала его во власть дьяволу, и дьявол мучает его и сбивает с толку. Вместо того чтобы обучать солдат строю, он то проделывает перед ними внушенные ему дьяволом невероятные прыжки и требует того же от них, то строит такие страшные рожи, что у них трясутся поджилки, и требует, чтобы они не смели ни шелохнуться, ни шевельнуться; а недавно — и это уже переполнило чашу — он стащил с седла генерала, который командовал боем и дал приказ отступить, и вместо него сам вскочил на его коня, сам повел полк и взял батарею.

— Вот это молодец, сущий дьявол! — воскликнул комендант. — Вселился бы такой дьявол во всех наших командующих генералов, нам тогда нечего было бы бояться второго Росбаха. Ежели ваша любовь поставляет таких дьяволов, я был бы рад, чтобы вы подарили свою любовь всей нашей армии.

— К несчастью, всему причиной материнское проклятие, — тяжело вздохнула женщина. — Отца я не знала, Мать часто посещали мужчины, я должна была им прислуживать, другой работы у меня не было. Я была мечтательницей и не замечала фамильярностей гостей, а мать охраняла меня от их домогательств. Война разбросала в разные стороны большинство тех господ, что посещали мою мать и втайне играли у нее в азартные игры. Мы вели теперь очень уединенный образ жизни, мать всегда была недовольна. Поэтому она с одинаковым озлоблением относилась и к другу и к недругу; я не смела ничего подать раненому или голодному, проходившему мимо нашего дома. Мне это было очень тяжело; и вот как-то, когда я была совсем одна и готовила обед, мимо нашего дома потянулись повозки, на которых везли раненых; по их говору я поняла, что это французы, взятые в плен пруссаками. Меня так и влекло выйти на улицу с готовой едой и покормить их, но я боялась матери. Когда же на последней повозке я увидела Франкёра с забинтованной головой, сама не знаю, что со мной случилось: мать была позабита, я взяла суп и ложку и, не запирая квартиры, поспешила вслед за обозом в Плейсенбург. Я нашла его, он был уже на месте; я не побоялась подойти к охране и добилась, чтобы его устроили поудобнее. И какое же это было блаженство накормить страдальца, лежащего на соломе, горячим супом! Взгляд его повеселел — он клялся, что у меня вокруг головы сияющий нимб, как у святых. Я ответила, что это чепец, который я впопыхах позабыла завязать.

Он сказал, что сияние исходит из моих глаз! Ах, эти слова я не могла забыть, и если бы мое сердце не принадлежало бы уже Франкёру, за эти слова я подарила бы ему свое сердце.

— Поистине прекрасные слова! — сказал комендант, а женщина продолжала свой рассказ.

— Это был лучший час в моей жизни, я не спускала с него глаз, ведь он говорил, что от моего взгляда ему легче, а когда он надел мне на палец колечко, я почувствовала себя бесконечно богатой. И эту блаженную минуту нарушила брань и поношения моя мать; не решаюсь повторить, как она меня обзывала, но пристыдить не могла, я ведь знала, что за мной нет никакой вины и он не поверит никаким наветам. Она хотела увести меня, но он крепко держал меня за руку и сказал, что мы обручены, что на пальце у меня подаренное им кольцо. Как изменилась в лице моя мать! Мне почудилось, словно у нее изо рта вырывается пламя; она закатила глаза, видны были только белки; призывая на мою голову дьявола, она торжественно предала меня анафеме. И подобно тому, как утром, когда я увидела Франкёра, мне показалось, будто глаза мои озарил светлый луч, так теперь мне почудилось, будто черная летучая мышь прикрыла мне глаза своими прозрачными крыльями; мир был полузакрыт от меня, мною владела уже не только я одна. Я почувствовала отчаяние в сердце, но что-то принудило меня засмеяться. «Слышишь, в тебе уже смеется дьявол!» — сказала мать и с победоносным видом ушла, а я потеряла сознание. Придя в себя, я не решалась вернуться к матери и покинуть раненого, на которого эта сцена произвела тяжелое впечатление. Да, кроме того, в душе я сердилась на мать за тот вред, который она причинила несчастному. Только на третий день, вечером, я, не обмолвившись ни словом, тайком убежала домой, но постучаться не посмела. Наконец из дому вышла женщина, которая прислуживала нам, и сообщила, что мать наспех распродала вещи и уехала неизвестно куда с чужим господином, вероятнее всего, игроком. Итак, я оказалась отринутой всеми и почувствовала облегчение: я уже ничем не была связана и могла, не считаясь ни с кем, упасть в объятия Франкёра. Мои городские подружки тоже отвернулись от меня, теперь я могла всецело посвятить себя уходу и заботам о нем. Ради него я стала работать. Раньше я перебирала коклюшки только для украшения своих нарядов, теперь я не стеснялась продавать свое рукоделие и на выручен-

ные деньги улучшала ему питание и условия жизни. Но если только его живые рассказы не рассеивали моих дум, я непрестанно вспоминала мать. Мысленным моим взорам она являлась вся в черном, с горящими огнем глазами, и я не могла отделаться от этого видения. Любимого моего Франкёра я не хотела огорчать и ничего ему не говорила. Чтобы дать волю слезам,— а не плакать я не могла,— я жаловалась на головную, на зубную боль, хотя ни голова, ни зубы у меня не болели. Ах, будь тогда у меня больше к нему доверия, я не ввергла бы его в несчастье, но каждый раз, как я хотела сказать, что проклятие матери, верно, отдало меня во власть дьяволу, дьявол зажимал мне уста, да я и сама боялась, что тогда Франкёр разлюбит, покинет меня,— даже мысль об этом повергала меня в смертельную тоску. От такой душевной муки, а, может, также и от непосильной работы мое здоровье в конце концов пошатнулось, я задыхалась в страшных конвульсиях, всякие снадобья, казалось, только усугубляют страдания. Оправившись после ранения, Франкёр тут же повел меня к венцу. Старик патер прочувственным словом пронял моего Франкёра до самого сердца, сказав ему, что ради него я пожертвовала всем: родиной, благополучием, друзьями, и даже навлекла на себя материнское проклятье; отныне муж обязан разделить со мной все эти беды, вместе со мной нести наше общее бремя. При этих словах моему мужу стало страшно, но все же он явственно сказал «да», и нас обвенчали. Первые недели были исполнены блаженства, мои хвори полегчали наполовину. Я и не подозревала, что проклятье легло наполовину на моего мужа. Но скоро он стал жаловаться, что тот патер в черном одеянии стоит у него перед глазами и угрожает ему, что поэтому он питает теперь ненависть и отвращение к духовенству, церкви и образам; что он все время испытывает непреодолимую потребность проклинать их, сам не зная почему, и, желая избавиться от таких мыслей, хватается за все, что взбредет ему в голову, пускается в пляс, пьет и от такого возбуждения ему становится легче. Я отнесла все это за счет того, что он в плену, хотя и подозревала, что это козни нечистого. Франкёр был образцовым солдатом, в полку его, верно, недоставало, и стараниями его полковника он был обменен. С легким сердцем покинули мы Лейпциг и в разговорах рисовали себе светлое будущее. Но не успели мы покончить с заботами о хлебе насущном и насладиться на зимних квартирах благополучным житьем хорошо

обеспеченной армии, как муж начал с каждым днем все больше буйнить. Чтобы отвлечься, он целыми днями выбивал дробь на барабанах, бранился, затевал ссоры; полковник ничего не понимал. Только со мной он был ласков, как ребенок. Как раз когда снова началась кампания, я разрешилась от бремени мальчиком, и вместе с родовыми муками, казалось, исчез и донимавший меня дьявол. А Франкёр день ото дня все больше озорничал и неистовствовал. Полковник написал мне, что он безумно, отчаянно смел, но пока ему везет; товарищи по полку полагают, что временами он теряет рассудок, и полковник опасается, как бы не пришлось положить его в лазарет или отдать в инвалидную команду. Полковник был добр ко мне, он уважил мое ходатайство, но, наконец, после дикой выходки мужа против генерала, о которой я вам уже рассказала, его взяли под стражу, и после осмотра хирург заявил, что головная рана, недостаточно хорошо залеченная в плену, вызывает приступы безумия, его надо хотя бы на два-три года отправить на юг в инвалидную команду, возможно, что теплый климат ему поможет. Мужу сказали, что в наказание за его проступок его перевели в инвалидную команду, и он, проклиная и ругаясь, расстался с полком. Я попросила у полковника письмо к вам, решив все чистосердечно вам рассказать, чтобы вы судили о муже не по всей строгости закона, а приняли бы во внимание постигшее его несчастье, единственной причиной которого была моя любовь, и для его же пользы назначили бы его куда-нибудь в отдаленный, малонаселенный форт, дабы здесь, в большом городе, он не стал притчей во языцех. Но, господин комендант, оказав вам сегодня маленькую услугу, осмелюсь просить вас дать мне слово не наносить удара гордости моего мужа и сохранить в тайне его недуг, о котором он не подозревает.

— Вот вам моя рука! — воскликнул комендант, доброжелательно выслушав просительницу. — Больше того, я трижды уважу ваше ходатайство, если Франкёр будет дурить и озорничать. Но лучше избежать этого, и посему я сей же час отправлю его на смену в форт, весь гарнизон которого три человека, там будет удобно и вам с ребенком, и у вашего мужа будет мало поводов для сумасбродных выходок, а в случае, если он что и выкинет, это не получит огласки.

Женщина поблагодарила коменданта за доброту и заботливость и поцеловала ему руку, а он в ответ осветил ей, пока она, приседая и кланяясь, спускалась по

лестнице. Это удивило старого камердинера, он тут же подумал: что это вдруг нашло на его старика, уж не затеял ли он любовных шашней с загоревшейся женщиной; Бассе боялся, как бы это не повредило его влиянию на барина. У старого графа вошло в привычку вечером, лежа без сна в постели, вслух обдумывать все, что случилось за день, словно ему хочется, как на исповеди, покаяться этой самой постели во всех своих прегрешениях. Сейчас, когда экипажи, возвращаясь с бала, грохотали по мостовой и не давали ему заснуть, камердинер, притаившись в соседней комнате, подслушал весь разговор, который показался ему тем значительнее, что Франкёр был его земляком и однополчанином, хотя Бассе и был гораздо старше. И он тут же вспомнил о некоем монахе, уже не раз изгонявшем бесов, и задумал свести к нему Франкёра. Бассе почитал всяких лекарей и знахарей и наперед радовался, что опять увидит, как изгоняют бесов. Розалия, успокоенная своим удачным посещением, хорошо проспала ночь; утром она купила новый фартук и, повязав его, вышла навстречу мужу, который, распевая во всю глотку, вел в город команду усталых инвалидов. Он поцеловал жену, приподняв ее в своих объятиях.

— Ты пахнешь пожаром Трои,— сказал он.— Теперь ты опять со мной, прекрасная Елена!

Розалия побледнела и сочла нужным рассказать на его расспросы, что была у коменданта по поводу жилья, что у него загорелась его деревянная нога, а затем огонь перекинулся и на ее фартук. Мужу не понравилось, что она не дождалась его, но он отвлекся, потешаясь и всячески подшучивая над ее сгоревшим фартуком. Затем он представил коменданту своих инвалидов, отдав должное как понесенным ими телесным увечьям, так и душевным их качествам, чем снискал благосклонность старого графа, который подумал: «Жена любит его, но она немка и не понимает француза, у каждого француза в крови живет дьявол!» Желая поближе познакомиться с Франкёром, он позвал его к себе и убедился, что в фортификации тот достаточно сведущ, но больше всего обрадовался, обретя в нем страстного пиротехника, который не раз пускал в полку всякого рода фейерверки. Комендант поведал ему, что сжег ногу, как раз когда обдумывал новые фейерверки ко дню рождения короля, и Франкёр воодушевился. Затем комендант объявил Франкёру, что гот еще с двумя инвалидами сменит маленький гарнизон

форта Ратоно; там имеется большой запас пороха, и там Франкёр вместе с двумя подчиненными ему солдатами усердно займется изготовлением ракет, огненных колес и шутих. Затем он протянул ему ключи от пороховой башни и опись инвентаря, но тут вспомнил разговор с Розалией и задержал его еще на минуту:

— Но, надеюсь, козней дьявола вам опасаться нечего, и вы не наделаете бед? — сказал он.

— Не надо рисовать дьявола на стене, не то он явится тебе в зеркале, — простодушно ответил Франкёр.

Комендант подумал, что на него можно положиться, и тогда вручил ему ключи и опись и отпустил, приказав отправляться в гарнизон. А в сенях к Франкёру на шею бросился Бассе; они тут же узнали друг друга и вкратце рассказали, что за это время с ними произошло. Но Франкёр, привыкший к строгому исполнению приказаний военного начальства, расстался со своим земляком и пригласил его в ближайшее воскресенье, ежели он будет свободен, в форт Ратоно, в гости к тамошнему коменданту, коим он сам имеет честь быть.

Смена гарнизона обрадовала в равной мере всех: сменяемым инвалидам до смерти надоело любоваться прекрасным видом на Марсель, а сменяющие восторгались и видом, и красотой форта, и удобным помещением, и кроватями. Они купили у покидающих форт солдат двух коз, голубка и голубку, с десятка кур и всякие искусные приспособления, чтобы, притаившись, подпустить близко к себе дичь, ведь солдаты на досуге по самой природе своей охотники.

Вступив в должность начальника, Франкёр приказал обоим подчиненным ему солдатам — Бруне и Тесье — в его присутствии отпереть пороховую башню, проверить опись, а затем перенести в лабораторию некоторый запас пороха, нужный для пиротехнических работ. По описи все сошлось, и Франкёр без отлагательства засадил одного из солдат за пиротехнику, с другим он обошел все пушки и мортиры, чтобы навести глянец на медные и подкрасить чугунные. Вскоре он начинил достаточное количество бомб и гранат, поставил все орудия так, как им надлежит стоять, чтобы держать под обстрелом единственный подъем, ведущий в форт.

— Форт неприступен! — радостно возгласил он несколько раз. — Я удержу его, даже если англичане высадят на берег стотысячное войско и будут штурмовать форт! Но порядка здесь не было никакого!

— Так же, как и во всех фортах и батареях,— сказал Тесье.— Старику коменданту с его деревяшкой не подняться так высоко, а англичанам, слава богу, еще не приходило в голову высадиться тут.

— Теперь все будет по-иному,— воскликнул Франкёр,— я лучше сожгу собственный язык, но не допущу, чтобы враги сожгли Марсель или чтобы мы перед ними струсили.

Жена помогала ему очищать от травы и мха и белить каменные стены, проветривать казематы с провиантом. Первое время никто почти не ложился спать,— не знающий устали Франкёр всех подгонял, и с работой, на которую другому понадобился бы месяц, он при своей сноровке справился за несколько дней. Такая напряженная деятельность не оставляла времени для всяких озорных выходок. Поставив перед собой твердую цель, он не давал себе покоя, и жена благословляла тот день, когда они попали сюда, в горную местность, где воздух чище и где дьявол как будто оставил ее мужа в покое. Ветер переменялся, непогода улеглась, потеплело, посветлело, будто снова настало лето; в гавани всегда царило оживление, одни корабли приходили, другие уходили, все подавали приветственные сигналы; и с береговых фортов им тоже отвечали сигналами. Розалии, не видевшей моря, казалось, что она перенеслась в другой мир, а ее сыночек после стольких дней, проведенных в кибитке или в номере гостиницы, наслаждался полной свободой во внутреннем садике, который прежние обитатели форта украсили искусно подстриженными буксовыми деревцами, придав им, со свойственной солдатам вообще, а артиллеристам особенно, точностью, форму различных геометрических фигур. Над садиком развевался флаг с лилиями — гордость Франкёра, символ его жены, в девичестве звавшейся Лилией, любимое развлечение их ребенка. И вот наступило благословенное воскресенье. Франкёр приказал жене приготовить к обеду что-нибудь повкуснее, потому что он ждет своего друга Бассе. Франкёр особенно настаивал на хорошей драчене; куры в форте неслись неплохо; он отдал также на кухню дичь, настрелянную Бруне.

Во время этих приготовлений Бассе, пыхтя, поднялся в форт и пришел в восторг от тамошних перемен. От имени коменданта он спросил о фейерверке и подивился количеству уже готовых ракет и римских свечей. Жена Франкёра принялась на кухне за стряпню, оба солдата ушли за фруктами к обеду; всем хотелось покушать

в этот день в свое удовольствие, почитать вслух газету, принесенную Бассе. Бассе сел в саду напротив Франкёра и молча на него уставился; тот спросил, почему он не спускает с него глаз.

— По-моему, вы такой же здоровый, как и прежде, и все, что вы делаете,— разумно.

— Хотел бы я знать, кто в этом сомневается? — вскипел Франкёр.

Бассе постарался уклониться от объяснений, но во всем облике Франкёра появилось что-то страшное: его темные глаза загорелись огнем, он поднял голову, выпятил губы. Сердце у бедняги Бассе, сболтнувшего лишнее, ушло в пятки. Нежным, как у скрипки, голосом он поведал ему о слухах, дошедших до коменданта, будто Франкёр одержим дьяволом, и сказал, что с добрым намерением изгнать из Франкёра беса пригласил сюда к обеду монаха, патера Филиппа, сославшись на необходимость отслужить в здешней часовенке мессу для гарнизона, не имеющего возможности слушать богослужение из-за дальности форта от города. Его слова привели Франкёра в исступление, он поклялся, что тот, кто возвел на него такой поклеп, заплатит за это жизнью. Ни о каком дьяволе ему ничего не известно, он не будет в претензии, если такового и вовсе нет, потому что не имеет чести быть с ним знакомым. Бассе оправдывался, он-де тут ни при чем, он узнал об этом, когда комендант по свойственной ему привычке рассуждал вслух и сказал, что как раз по причине этого самого дьявола Франкёра и отправили из полка.

— А кто сообщил эту новость коменданту? — весь дрожа от ярости, спросил Франкёр.

— Ваша жена,— ответил Бассе,— но с самым лучшим намерением, желая извинить вас за дикие выходки, буде вы их выкинете.

— Между нами все кончено! — крикнул Франкёр и ударил себя по голове.— Она меня предала, уничтожила, она секретничает с комендантом. Она бесконечно много для меня сделала, много из-за меня вытерпела, мне ее бесконечно жаль, но теперь мы с ней в расчете, между нами все кончено!

С виду он несколько успокоился, но внутри у него все кипело. Перед глазами опять стоял патер в черном одеянии,— так укушенной бешеной собакой все время мерещится собака. Тут в садик вошел патер Филипп, и Франкёр запальчиво спросил, что ему здесь надобно.

Патер решил сразу же приступить к делу и, обеими руками осеня Франкёра крестным знамением, громко заклинал беса выйти вон. Франкёр был возмущен и в качестве здешнего коменданта приказал монаху немедленно покинуть форт. Но струсивший патер Филипп тем ретивее принялся за изгнание беса и даже поднял на него посох; чувство военного достоинства не позволило Франкёру это стерпеть. В ярости схватил он тщедушного монашка и выбросил его вон, и, не зацепив тот сутаной за железный прут в калитке и не повисни на нем, он пересчитал бы все ступеньки каменной лестницы. Стол был накрыт недалеко от калитки, и это напомнило Франкёру, что пора обедать. Он крикнул, чтобы жена подавала обед; раскрасневшаяся от огня, но веселая Розалия принесла суп; она не заметила монаха за решеткой, который, едва оправившись от первого испуга, шепотом читал молитвы, дабы отвратить от себя дальнейшие беды; она не обратила внимания и на то, что муж и Бассе сидят за столом — один мрачный, другой смущенный, и спросила, где оба солдата.

— Поедят потом, — ответил Франкёр, — я так голоден, что готов растерзать весь мир.

Она поставила на стол суп, из учтивости налив гостю побольше и погуще, потом пошла на кухню приготовить драчену.

— Что же, понравилась моя жена коменданту? — спросил Франкёр.

— Очень понравилась, — ответил Бассе. — Будь он в плену, он пожелал бы, чтобы ему так же повезло, как вам!

— Пусть берет ее себе! — воскликнул Франкёр. — Она беспокоится, что проголодаются подчиненные мне солдаты, а что я проголодался, она не беспокоится. Вы служите у коменданта, вот она и решила к вам подольститься, потому и налила вам тарелку до самых краев, поставила самый большой стакан вина, увидите — самый большой кусок драчены она тоже положит вам. Если так будет, я встану из-за стола, а вы уведите ее и оставьте меня здесь одного.

Бассе хотел возразить, но тут вошла Розалия с драченой, уже разрезанной на куски. Она подошла к гостю и положила ему на тарелку кусок.

— Лучше драчены вы и у коменданта не едали, — сказала она. — Похвалите меня!

Франкёр с мрачным видом поглядел на блюдо,— пустое место почти равнялось обоим оставшимся кускам. Он встал.

— Да, между нами все кончено! — сказал он.

С этими словами он пошел к пороховой башне, отпер дверь, вошел в башню и запер за собой дверь. Жена в испуге посмотрела ему вслед и выронила из рук блюдо.

— Господи боже, ему не дает покоя дьявол, только бы он не натворил беды в пороховой башне!

— Это пороховая башня? — воскликнул Бассе.— Он взорвет себя, спасайтесь сами и спасайте ребенка!

С этими словами он кинулся вон из форта. И монах, не решаясь вернуться в форт, кинулся за ним следом. Розалия побежала за ребенком, разбудила его, выхватила из колыбельки; она уже ничего не сознавала, бессознательно, как когда-то последовала за Франкёром, убежала она теперь вместе с ребенком от него.

— Дитя мое,— твердила она про себя,— я делаю это только ради тебя, мне было бы легче умереть вместе с ним. Агарь, ты страдала меньше моего, ведь я выгоняю себя сама!

Поглощенная своими мыслями, она ошиблась дорогой и стояла теперь на болотистом берегу реки. У берега слегка покачивалась лодка. Розалия, изнемогавшая от усталости, не могла идти и села в лодку; от легкого толчка лодка качнулась и поплыла по течению. Розалия не решалась оглянуться; когда в гавани раздался звук выстрела, она думала, что форт уже взлетел на воздух и ее жизнь оборвалась на половине. Постепенно она впала в какое-то смутное лихорадочное состояние.

Тем временем оба солдата, нагруженные пакетами с яблоками и виноградом, подошли к форту, но Франкёр выстрелил в воздух и громко крикнул:

— Назад! — а потом сказал в рупор: — Ступайте к высокой стене, когда будете там, я поговорю с вами; здесь я один хозяин и жить буду здесь один, пока это не надоест дьяволу.

Они не поняли, что это значит, но, делать нечего, пришлось подчиниться воле сержанта. Не успели они дойти до отвесной скалы — она-то и называлась высокой стеной,— как увидели, что на канате ползут вниз постель Розалии и люлька ребенка, затем их постели и прочий скарб. Франкёр крикнул в рупор:

— Свое добро забирайте, люльку и пожитки жены отнесите к коменданту, там вы ее найдете, скажите: все это посылает ей сатана, а также это старое знамя, пусть прикроет им свои позорные шашни с комендантом! — С этими словами он сбросил французское знамя, развевавшееся над фортом.

— Тем самым я объявляю войну коменданту, — продолжал он. — Пусть вооружается, даю ему срок до вечера, затем я открою огонь. Пощады мне от него не надо, но, клянусь дьяволом, и от меня ему пощады не будет. Ему не поймать меня, будь у него хоть тысяча рук; он дал мне ключ от пороховой башни, я воспользуюсь этим ключом, и пусть только комендант попробует захватить меня, мы вместе с ним взлетим в небо, а с неба грохнемся в преисподнюю, только пыль пойдет!

Бруне обрел наконец дар речи и крикнул наверх:

— Подумайте о нашем всемилостивейшем короле и повелителе, не пойдете же вы против него!

На что Франкёр ответил:

— Во мне живет король всех королей, во мне живет дьявол, и именем дьявола заявляю: ни слова больше, не то я вас в порошок сотру!

После этой угрозы оба солдата молча собрали свои пожитки, оставив все прочее там, где оно лежало. Они знали, что наверху сложены в кучи огромные камни, которые могут стереть в порошок все, что находится под этой отвесной скалой. Когда они пришли в Марсель к коменданту, там уже все были поставлены на ноги, потому что Бассе сообщил о случившемся; комендант отправил обоих пришедших солдат с повозкой к форту, чтобы спасти вещи Розалии от угрожающего им дождя; других солдат он послал на поиски жены и ребенка Франкёра, а у себя собрал офицеров, чтобы сообща обсудить положение. Этот военный совет был особенно обеспокоен возможной потерей прекрасного форта, которому грозило быть взорванным. Однако вскоре пришел посланец из магистрата, где уже распространился слух о событии в форте, и заявил, что гибель прекраснейшей части города неизбежна. Все признали, что применять силу тут не следует, не велика честь воевать против одного-единственного человека, а уступчивостью можно предотвратить огромное несчастье; неистового Франкёра в конце концов одолеет сон, и тогда несколько храбрецов взберутся наверх и свяжут его. Только-только было принято такое решение, как ввели обоих солдат, ко-

торые привезли постель и остальное добро Розалии. Они должны были передать коменданту поручение от Франкёра: дьявол открыл ему, что его хотят взять во сне, но из любви к тем дьявольским смельчакам, которых собираются послать на такой подвиг, он не советует это делать. Он спокойно будет спать, запершись в пороховой башне и положив рядом заряженные ружья, и не успеют взломать дверь, как он проснется и выстрелами в пороховые бочки взорвет башню.

— Он прав,— сказал комендант.— Иначе он поступить не может, надо взять его голодом.

— Он запаса провиантом для гарнизона на всю зиму,— заметил Бруне.— Придется ждать самое меньшее полгода, а еще он сказал, что потребует от кораблей, которые снабжают город и проходят мимо форта, немалую дань, не то он потопит их; а чтобы все знали, что без его согласия ни один корабль не может пройти ночью, он выпустит вечером несколько ядер над рекой.

— Так и есть, он стреляет! — воскликнул один из офицеров, и все бросились к окну в верхнем этаже.

Какое зрелище! На всех углах форта пушки разинули свои огненные пасти, ядра свистели в воздухе, в городе люди в смятении спешили куда-нибудь укрыться, и только немногие в доказательство своего мужества смело глядели в глаза опасности, за что и были щедро вознаграждены: Франкёр выстрелил в воздух из гаубицы снопом ракет, а из мортиры снопом римских свечей, озарив все небо; а затем послал им вслед еще и другие фейерверки. Комендант был в восторге от полученного эффекта и уверял, что сам никогда бы не решился стрелять фейерверками из катапульты, но что это в какой-то мере уподобляет искусство пиротехники атмосферному явлению, уже по одному этому Франкёр заслужил помилование.

Это ночное освещение имело еще и другое действие, надо сказать, абсолютно непреднамеренное: оно спасло жизнь Розалии и ее ребенку. Спокойное покачивание лодки усыпило их, и Розалия увидела во сне мать, снедаемую всепожирающим внутренним огнем, и тут ей почудилось, будто у самого ее уха прозвучал громкий голос:

Мое проклятье жжет сильнее огня
Не только тебя, но и меня.
Коли не сможешь его разрешить,
Буду я вечно зло вершить.

Мать хотела еще что-то сказать, но Розалия в страхе проснулась, увидела над головой ярко сияющий снопримских свечей и услышала рядом голос шкипера: «Держи левой, а то мы пустим ко дну лодку, в ней женщина с ребенком». И за кормой лодки уже рассекал с шумом воду нос большого речного парохода, похожий на разинутую пасть кита; пароход взял влево, но все же задел лодку. «Помогите моему ребенку!» — крикнула Розалия. Тут один из корабельщиков притянул лодку багром к судну, вскоре бросившему якорь.

— Если бы не потешные огни в форте Ратоно, я не заметил бы вас,— сказал шкипер,— и мы без злого умысла пустили бы вас ко дну. Как это вы так поздно очутились одна на реке, почему вы не крикнули нам?

Розалия поспешила ответить на все вопросы, умоляя только доставить ее в комендантский дом. Шкипер пожалел ее и дал ей в проводники юнгу.

У коменданта все были на ногах. Розалия напомнила ему о его обещании простить ее мужу три проступка. Он возразил, что разговор шел не о таких проступках: в тот раз она жаловалась на всякие глупые выходки и капризы, теперь же положение дьявольски серьезно.

— С вашей стороны это несправедливо,— решительно сказала она, уже не чувствуя себя беспомощной,— я не скрыла от вас, в каком состоянии мой муж, однако вы доверили ему такой опасный пост, вы обещали мне сохранить наш разговор в тайне, однако рассказали все Бассе, вашему излишне любопытному камердинеру, а он с большого ума вверх нас в это несчастье; не мой бедный муж, а вы виноваты в том, вы, только вы должны будете дать ответ королю.

Комендант оправдывался от последнего упрека, он-де ничего не рассказывал своему камердинеру; тот же признался, что подслушал разговор коменданта с самим собой, таким образом всю вину свалили на него. Комендант сказал, что собственной жизнью должен искупить свою вину перед королем и посему наутро пойдет к стенам форта, чтобы сложить там голову; Розалия просила его не спешить раньше времени, пусть вспомнит, что она раз уже спасла его от огня. Ей была отведена комната в доме коменданта; она убаякала ребенка, а сама меж тем предалась размышлениям и, преклонив колени, молила Господа указать ей, как спасти мать от снедающего ее пламени, а мужа от проклятья. Так, не вставая с колен, она и заснула глубоким сном, а наутро не могла

вспомнить ни сна, ни указаний свыше. Комендант уже ранним утром подступил к форту, он вернулся домой мрачным. Правда, он не потерял ни одного человека, но ядра, умело пущенные Франкёром, ложились то справа, то слева, то с визгом проносились над головой, и только пощаде неостового инвалида они были обязаны жизнью. Путь по реке от преградил сигнальными выстрелами, по проезжей дороге езда тоже была всем заказана, словом, всякое сообщение с городом на этот день приостановилось, и члены магистрата грозились, что созовут граждан и сами справятся с инвалидом, ежели комендант не будет действовать осторожно и вздумает осадить форт Ратона, словно вражеский.

Три дня комендант медлил, каждый вечер город празднично освещали потешные огни, каждый вечер Розалия напоминала коменданту его обещание быть снисходительным. На третий вечер он сказал, что штурм форта твердо решен и назначен на следующий день в двенадцать часов; магистрат уступил, ибо всякое сообщение с городом прервано, в конце концов может наступить голод. Он будет штурмовать вход в форт, меж тем как другой отряд попытается незаметно вскарабкаться с противоположной стороны, возможно, они успеют схватить ее мужа раньше, чем тот скроется в пороховой башне. Потери людьми несомненно будут, в исходе дела нельзя быть уверенным, но ему надо снять с себя поношение, будто из-за его, коменданта, трусости сумасшедший сержант зазнался и возомнил, что может противиться всему городу; легче снести любое несчастье, чем такое подозрение, он постарается оправдать себя перед Богом и людьми, а в своем завещании не забудет Розалии и ее ребенка. Розалия упала к его ногам и спросила, что ждет ее мужа, если его захватят во время штурма. Комендант, не глядя на нее, тихо сказал:

— Казнь неминуема, никакой военный суд не признает его сумасшедшим,— все его поведение слишком обдуманно, слишком осторожно, он понимающе взялся за дело; дьявола к суду не привлечешь, придется Франкёру пострадать за него.

Справившись с потоком слез, Розалия спросила,— а если она, без кровопролития, без опасности для чьей-либо жизни отдаст форт во власть коменданта, объяснят ли тогда проступок мужа сумасшествием и помилуют ли его?

— Да, могу в этом поклясться! — воскликнул комендант.— Но ничего не выйдет, вы ему ненавистны, вчера он крикнул одному из наших форпостных, что сдаст форт, если мы пришлем ему голову его жены.

— Я знаю его,— сказала Розалия,— я заговорю дьявола и умиротворю мужа. С его смертью умерла бы и я, значит, для меня только лучше умереть от его руки, ведь я обвенчана с ним и дала ему клятву верности перед Господом Богом.

Комендант просил ее хорошенько подумать, выяснил, что она замышляет, и не стал противиться ее просьбе, не стал разубеждать ее в надежде так спастись от гибели.

Тем временем патер Филипп пришел к коменданту; он рассказал, что одержимый Франкёр вывесил большой белый флаг с изображением дьявола; но комендант не стал слушать принесенные им новости и приказал ему идти к Розалии, выразившей желание исповедаться. После исповеди, к которой Розалия приступила со смирением и страхом Божиим, она попросила патера Филиппа проводить ее до каменного вала, служившего надежной защитой от ядер, там она передаст ему ребенка и деньги на его воспитание; сразу расстаться со своим любимым сыночком она не в силах. Патер нерешительно дал согласие, после того как разузнал в комендантском доме, надежно ли этот вал защищает от выстрелов, ибо он окончательно потерял веру в свою способность изгонять бесов; он признался, что те бесы, которых он до сих пор изгонял, вероятно, были не настоящие бесы, а так, всякая мелкая бесовская нечисть.

Розалия, проливая слезы, одела ребенка в белое платьице с красными бантами, затем взяла его на руки и молча сошла с лестницы. Внизу старик комендант без слов пожал ей руку и отвернулся, стесняясь утирать слезы при посторонних. Розалия вышла на улицу, никому не было известно, что она задумала. Патер Филипп несколько поотстал, он был рад не идти рядом, а на улице следом за ними увязалась толпа досужих людей, любопытствующих, что все это означает. Многие ругали Розалию, жену Франкёра, но их ругань ее не трогала.

Комендант меж тем обходным путем направился к тем местам, откуда должен был начаться штурм форта, ежели жене не удастся умолить одержимого мужа.

Толпа не пошла за Розалией дальше городских ворот, потому что Франкёр время от времени обстреливал равнину между городом и фортом. Патер Филипп тоже начал жаловаться, что устал, что ему требуется посидеть. Розалию это огорчило, она показала патеру тот вал, за которым хотела, убаюкав и закутав ребенка своим салопом, уложить его спать,— там он будет укрыт от опасности и, если она не сможет к нему вернуться, пусть придут за ним туда. Патер Филипп, читая молитвы, приютился за скалой, а Розалия, не теряя решимости, направилась к каменному валу, там она покормила ребенка, перекрестила его, укутала своим салопом и укачала. С тяжелым вздохом оставила она сыночка, и от ее вдоха вдруг прорвались облака у нее над головой, и в голубой просвет ее осияло своими живительными лучами солнце. Теперь, выступив из-за каменного вала, она была на виду у своего жестокого мужа; вдруг у ворот форта вспыхнул свет, она ощутила толчок, от которого чуть не упала, что-то со свистом прокатилось в воздухе. Розалия поняла, что была на волосок от смерти. Но она уже не боялась, внутренний голос говорил ей, что не может погибнуть то, что преодолело тяготы этого дня, а сердце ее еще и сейчас, когда она видела перед собой на крепостной стене мужа, заряжавшего пушку, когда слышала за собой плач ребенка,— сердце ее еще и сейчас билось любовью к мужу, к ребенку; их обоих она жалела больше, чем себя, и ее тягостный путь был менее тягостен, чем думы ее сердца. Новый снаряд оглушил ее и кинул ей в лицо дорожную пыль; она молилась, обратив взоры к небу. Так она и вступила в узкий проход, не шире удлиненного ствола двух пушек, как бы намеренно со злобной скупостью проложенный в скале, чтобы донести и обрушить на осаждающих весь смертоносный заряд картечи.

— Куда ты смотришь, жена?! — рявкнул Франкёр.— Не смотри на небо, твои ангелы-хранители не появятся, здесь тебя ожидает твой дьявол и твоя смерть!

— Ни смерть, ни дьявол не разлучат меня больше с тобой,— спокойно сказала она, продолжая подниматься по каменным ступеням.

— Жена,— крикнул он,— ты храбрее дьявола, но все равно это тебе не поможет!

Франкёр раздул уже затухавший фитиль, на лбу и щеках у него выступили блестящие капельки пота, казалось, в нем борются два начала. И Розалия, положив-

шись на время, не хотела мешать этой борьбе и опережать события; она не спешила. Когда она была за три ступени от того места, где скрещивался огонь, она опустилась на колени. Франкёр расстегнул на груди мундир и жилет, чтобы легче было дышать, сунул руку в свои черные спутанные кудри и стал яростно рвать их. И тут, когда он в иступлении наносил себе ожесточенные удары в лоб, у него открылась его рана. Слезы и кровь загасили тлеющий фитиль, порыв ветра сдул с запальников пушек порох, а с башни — флаг с изображением дьявола.

— Трубочист рвется наружу, кричит из дымовой трубы! — воскликнул Франкёр и прикрыл рукою глаза.

Потом он опомнился, отпер решетчатые ворота, бросился к жене, поднял ее с колен, поцеловал и только тогда заговорил:

— Черный хозяин гор выбрался наружу, в голове у меня опять светло и веет свежий воздух, любовь опять зажжет огонь, чтобы мы никогда больше не мерзли. О господи, что я натворил! Нам нельзя мешкать, мне будет подарено всего несколько часов. Где мой сын? Я должен поцеловать его, пока я еще на свободе. Что значит умереть? Разве я не умер уже в тот раз, когда ты оставила меня, а теперь ты вернулась, и твоё возвращение дало мне больше, чем мог взять у меня твой уход: оно дало мне беспредельное ощущение жизни; мне достаточно нескольких мгновений. Теперь бы я с радостью зажил с тобой, даже если бы твоя вина была больше, чем мое отчаяние; но я знаю военный закон, и теперь, благодарение Богу, могу умереть в полном сознании, как раскаявшийся христианин.

Розалия, задыхаясь от радостных слез, едва смогла выговорить, что он прощен, что она не виновата, а их дитя тут, неподалеку. Она поспешила перевязать ему рану, затем повлекла его вниз по лестнице и дальше, к каменному валу, где она оставила сына. Там уже сидел добренький патер Филипп, который, прячась за выступами скалы, пробрался к их сыну. Ребенок протянул ручонки навстречу отцу, и что-то вылетело из его рук и поднялось в небо. Теперь все трое сидели, тесно прижавшись друг к другу; патер Филипп поведал им, что с крепостной башни слетели голубок и голубка, они утешали ребенка в его одиночестве, ласково с ним играли, послушно шли к нему в руки. Увидя такое, патер поборол свой страх и приблизился к ребенку.

— В форте они были добрыми ангелами, верными друзьями нашего сыночка и, конечно, опять прилетят и никогда не оставят его.

И вправду, голубочки кружили над ними, а в клювах держали зеленые листья.

— Грех оставил нас,— сказал Франкёр,— теперь я никогда не буду проклинать наступивший в нашей жизни мир, мир принес мне такое блаженство.

Тем временем подошел комендант со своими офицерами — он наблюдал за ними в подзорную трубу и понял, что все счастливо завершилось примирением. Франкёр отдал коменданту свою шпагу, тот объявил ему, что рассудка его лишило ранение, и приказал хирургу обследовать рану и получить забинтовать голову. Франкёр сел, спокойно предоставив хирургу делать то, что приказано; он видел только жену и сына. Хирург удивлялся, что Франкёр будто и не чувствует боли, он извлек из раны осколок кости, который вызвал нагноение; казалось, сильная природа Франкёра медленно, но непрерывно работала над удалением гноя и, наконец, когда он в неистовстве собственной рукой нанес себе удар извне, удар этот прорвал рубец раны. Хирург уверял, что, не случись такого счастливого стечения обстоятельств, несчастного Франкёра ждало бы неизлечимое сумасшествие. Франкёра положили в возок, опасаясь для него любого напряжения, и его прибытие в Марсель было похоже на триумфальное шествие, ибо французский народ больше ценит смелость, нежели доброту. Женщины бросали в повозку лавровые венки, все протискивались к повозке, все хотели взглянуть на гордого злодея, который в течение трех дней держал в своей власти многотысячное население города. А мужчины дарили венки и цветы Розалии и ребенку, славили ее как их освободительницу и клялись щедро вознаградить ее и ребенка за спасение города.

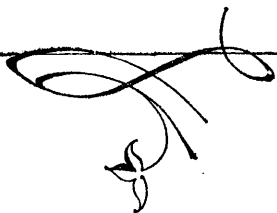
После такого дня вряд ли можно пережить за одну человеческую жизнь что-либо, о чем стоило бы рассказывать, хотя только в последующие спокойные годы Розалия и Франкёр, свободные от тяготевшего над ними проклятия и упоенные возвратом счастья, познали это вновь обретенное счастье во всей его полноте. Добрый старик комендант взял Франкёра в сыновья, правда, он не мог дать ему свое имя, но оставил часть состояния и благословил его. Но Розалию еще большее тронуло письмо,

полученное много лет спустя из Праги; в нем друг ее матери сообщал, как та целый год в смертельных муках каялась в том, что прокляла дочь и, страстно моля освободить от страданий ее плоть и душу, жила себе и другим на горе до того дня, который увенчал преданность и покорность воле божьей, проявленные Розалией: в этот день, успокоенная и осиянная внутренним светом, с верой в Спасителя она мирно скончалась.

Ах, благодать сильнее проклятья,
сильнее дьявола любовь.

КЛЕМЕНС БРЕНТАНО

Побесѣ
о славнои Часперле
и приноусей
Аннерль



Повесть
о славном Касперле
и пригожей
Аннерль

Было самое начало лета, всего несколько дней, как на улице пели соловьи, а сегодняшней ночью, с ее прохладой, наваянной дальними грозами, они молчали. Ночной сторож выкрикнул одиннадцать часов. Я возвращался домой и тут увидел у большого дома компанию приятелей, шедших, видимо, из пивной; они обступили кого-то, сидевшего на ступенях крыльца, и, как мне показалось, были чем-то встревожены. Это внушило мне опасение, что случилось какое-то несчастье, и я подошел ближе.

На крыльце сидела старуха крестьянка и никак не отзывалась на живое участие окружающих, на любопытствующие расспросы и добросердечные предложения. Было что-то поистине удивительное, я бы даже сказал, торжественное в той невозмутимости, с какой эта старая женщина делала то, что считала нужным, в том, как она спокойно, словно у себя в спальне, устраивалась у всех на глазах переночевать здесь, под открытым небом. Она укрылась передником, надвинула на глаза большую черную клеенчатую шляпу, положила поудобнее под голову узелок и на все вопросы отвечала молчанием.

— Что случилось с этой старушкой? — спросил я одного из присутствующих.

Ответы посыпались со всех сторон:

— Она из деревни, что за шесть миль отсюда, идти дальше сил нет, с городом незнакома, у нее здесь на другом конце родня, но она не найдет дороги.

— Я хотел ее проводить, — сказал один из толпы, — да только туда далеко, а я не взял с собой ключа от дома. Да и дома-то, куда ей надо, она толком не знает.

— Но спать здесь ей нельзя, — сказал вновь подошедший.

— Я ей уже давно толкую, хотел к себе отвести, да она упирается, — возразил ему кто-то, — несет какую-то чушь, должно, пьяная.

— А по-моему, слабоумная, но оставаться здесь ей никак нельзя,—повторил первый.—Ночь холодная и долгая.

За время этого разговора старуха, словно ничего не видя и не слыша, спокойно закончила свои приготовления, а когда последний из говоривших еще раз сказал:

— Здесь ей оставаться нельзя,—она ответила:

— Почему мне нельзя переночевать здесь?—И ее удивительно низкий грудной голос звучал серьезно.—Ведь этот дом тоже принадлежит нашему герцогу. Мне восемьдесят восемь лет, и герцог не прогонит меня от порога своего дома. Три мои сына умерли на его службе, а мой единственный внук сам себя порешил. Господь Бог простит его, я верно говорю, а я не хочу помереть, пока его не схоронят, как положено по божескому закону.

— Восемьдесят восемь лет и прошла шесть миль! Устала и в детство впала, в таких-то летах немудрено и ослабеть,—заговорили вокруг.

— Матушка, как бы вам не простудиться, не заболеть, да и скучно вам здесь будет,—сказал один из толпы и нагнулся к ней.

Старуха опять заговорила, и ее низкий грудной голос звучал и просительно и властно:

— Ох, оставьте меня в покое! Глупость это одна. Ну с чего мне простужаться, с чего скучать? Время уже позднее, мне восемьдесят восемь, скоро рассветет, и я пойду к своей родне. Ежели ты человек набожный и всего за свою жизнь перевидал и молиться умеешь, так какие-то жалкие часы уж как-нибудь перебудешь.

Окружающие стали расходиться. Последние, что еще стояли около старухи, тоже поспешили уйти: по улице шел ночной сторож, и они хотели, чтобы он открыл им двери их жилья. Я остался один. Улица затихла. Погруженный в думы, я прохаживался под деревьями на площади. Я был потрясен поведением старой крестьянки, ее твердым, серьезным тоном, ее уверенностью в жизни, за которую она восемьдесят восемь раз видела, как сменяются времена года, и которая представлялась ей всего лишь преддверием божьего храма. Какое значение имеют все муки, все желания моего сердца? Звезды равнодушно свершают свой вечный путь—зачем же я ищу утех и услад? От кого, для кого я их жду? Даст ли мне все, что я здесь ищу, что люблю, чего добиваюсь, ту спокойную уверенность, с которой эта добрая набожная женщина собирается проспять до утра на пороге дома, и найду ли я потом, как она, своего друга? Ах, мне было бы не дойти до города, утомленный долгой дорогой,

я свалился бы наземь у городских ворот, возможно, даже попал бы в руки разбойников. Так рассуждал я сам с собой, а когда липовая аллея опять привела меня к старухе, я услышал, как она, склонив голову, шепчет молитву. Это меня удивительно тронуло.

— Господи помилуй вас, матушка, помяните и меня в своих молитвах,— молвил я, подойдя ближе, и с этими словами положил ей в передник талер. На что старуха спокойно сказала:

— Тысячу раз спасибо, Господи милостивый, что услышал мою просьбу.

Я подумал, что это сказано мне, и спросил:

— Матушка, разве вы меня о чем просили? Я этого не знал.

Старуха в удивлении приподнялась и сказала:

— Милостивец мой, шли бы вы лучше к себе, помолились бы хорошенько и легли спать. Чего вы так поздно по улице взад-вперед ходите? Молодым людям это совсем ни к чему, враг-то не дремлет, ходит да выискивает, кого бы ему залучить. Многих сгубили такие вот ночные прогулки. Кого вы ищете? Господа Бога? Он не на улице, а в сердце у хорошего человека. А ежели вы врага ищете, так он уж сам вас нашел. Ступайте-ка по хорошему домой и помолитесь, чтобы от него избавиться. Спокойной ночи!

После этих слов она с невозмутимым спокойствием повернулась на другой бок и сунула талер в свою кошелку. Все действия старой крестьянки производили на меня необычайно серьезное впечатление. Я заговорил с ней.

— Милая матушка, вы, верно, правы, но задержали меня здесь вы: я слышал, как вы молились, и хотел попросить вас помолиться и за меня.

— Уже помолилась,— сказала она,— увидала, что вы под липами взад-назад ходите, вот и попросила Господа Бога, чтобы наставил он вас на добрые мысли, мысли у вас сейчас добрые. А теперь ступайте-ка спать!

Но я не ушел, я сел на ступеньку, взял ее худую руку и сказал:

— Позвольте мне просидеть эту ночь тут, около вас, расскажите, откуда вы идете и что привело вас сюда, в город. Здесь вам неоткуда ждать помощи, в ваших летах человек ближе к Богу, чем к людям. Мир изменился с тех пор, как вы были молоды.

— А по мне, нет,— возразила старуха,— по мне, сколько я живу, он все тот же. Вы еще молоды, в молодости все-то в диковинку, а за мою жизнь все много раз

повторялось, и я только потому смотрю на все радостно, что Господь Бог еще не отвернулся от нас. Но ежели кто с открытой душой, так отказывать нехорошо, хоть у тебя ни в чем и нет нужды, а то в другой раз хороший человек к тебе и не придет, а может, тут-то в нем и будет нужда. Не уходите и подумайте, чем мне помочь. Я вам расскажу, что привело меня из далекой деревни в город. Не думала я, не гадала, что опять приду сюда. Тому семьдесят лет, как я жила в прислугах вот в этом самом доме, у дверей которого сейчас сижу. С тех пор я в городе больше не бывала. А время-то как летит! словно руку ладонью вверх да вниз поворачиваешь. Тому семьдесят лет часто сиживала я здесь вечерком, милого своего поджидала, а он нес караульную службу. Тут мы и дали друг другу слово. Когда он здесь... но тсс! Идет дозор.

И она запела вполголоса, вроде как поют молодые служанки и слуги, сидя в лунные ночи на крыльчке, и я с искренним удовольствием услышал из ее уст следующую прекрасную старую песню:

Когда настанет Страшный суд,
 Все звезды наземь упадут,
 Мертвым, мертвым придет пора
 пробудиться.
 Чтобы на Страшный суд торопиться.
 Тихонечко встанете вы на пороге:
 Сидят ангелочки в высоком чертоге.
 Господь там появится перед вами —
 Зажжется радуга над головами,
 Перед судом предстанут злодеи,
 Что распяли Иисуса Христа в Иудее.
 И вспыхнут повсюду свет и пламень,
 Деревья сгорят, и раскрошится камень.
 Кто эту молитву мою не забудет,
 Хоть раз на дню читать ее будет,
 Тот Господом Богом будет храним,
 Когда он взойдет на суд перед ним,
 Аминь!

Когда дозор приблизился, старуха растрогалась.

— Ах, сегодня шестнадцатое мая,— сказала она,— и все-то сейчас совсем как и тогда, только шапки на них другие да кос больше нет. Ничего, пускай! Только бы сердце было доброе!

Офицер, командир дозора, остановился возле нас и, видимо, хотел спросить, что мы здесь в такой поздний час делаем; тут я узнал в нем знакомого мне портупей-юнкера графа Гроссингера. Я вкратце поведал ему, в чем тут дело, а он сказал с волнением в голосе:

— Вот вам для старухи галер и роза,— роза была

у него в руке,— деревенских стариков цветы радуют. Попросите старуху утром пересказать вам эту песню, а вы запишете ее и принесете мне. Я уже давно хочу иметь эту песню, да все не удается.

С этими словами мы расстались, потому что часовой у караульной будки, до которой я проводил Гроссингера, окликнул нас: «Кто идет?» Гроссингер сказал, что несет караул у герцогского дворца, что там я его и найду. Я вернулся к старухе и отдал ей талер и розу.

Розу она схватила с трогательной поспешностью и прикрепила к шляпе, при этом произнесла помягчевшим голосом, чуть не плача, следующий стишок:

Ах розы, цветочки на шляпе моей!
Ах, были бы деньги, я б жил веселей.
С красною розой и с милой моей!

— Ах, матушка, да вы совсем повеселели,— заметил я.

А она в ответ пробормотала:

Удаль, удаль,
Был как кубарь,
Вился, как угорь,
Забился в угол.
Это чудо ль,
Что век на убыль? ¹

— Слышь, милый человек, разве не хорошо, что я здесь осталась? Верьте мне, все совсем по-прежнему; тому уже семьдесят лет, как я вот так же сидела здесь на пороге. Я тогда в служанках жила, была молодая, расторопная и песни петь любила. В тот вечер, когда дозор проходил мимо дома, я как и сегодня, пела песню про Страшный суд, и один гренадер бросил мне на колени розу,— лепестки и сейчас еще лежат у меня в Библии. Вот так я и познакомилась со своим покойным мужем. На следующее утро, как в церковь шла, приколола я эту розу, по ней он меня и признал, и вскоре все сладилось. Вот почему я так рада, что сегодня у меня опять роза. Это он меня к себе зовет, и я всей душой рада. Четыре сына и дочь у меня померли, третьего дня внук с жизнью распрощался,— да поможет ему Господь, да смилуется над ним! — а завтра еще одна добрая душа от меня уйдет. Да что это я сказала: завтра,— сейчас, верно, уже за полночь?

— Да, двенадцать уже есть,— ответил я, удивленный ее словами.

¹ Перевод стихов М. Рудницкого.

— Пошли ей Бог утешение, пошли ей покой на последние ее четыре часа! — сказала старуха и сложила молча руки.

Я не мог говорить, так я был потрясен ее словами и всем ее поведением. Она совсем затихла, и талер, данный офицером, все еще лежал у нее в переднике.

— Матушка, уберите талер в узелок, а то как бы вы его не потеряли, — сказал я.

— Нет, мы его не уберем, — возразила она. — Он моей родне в ее тяжелой доле утешением будет. Первый талер я завтра домой возьму, внуку. Талер его, он его и получит. Ах, какой это был прекрасный малый, и тело и душу в чистоте соблюдал. Ах, боже мой, и душу, да. Я всю дорогу молилась, нет, не может это так быть, Господь Бог не даст ему погибнуть. В школе он среди всех выделялся, самый что ни на есть опрятный, самый прилежный был, а уж что до чести, тут на него просто надивиться нельзя было. Его офицер всегда говорил: «Если в моем эскадроне живет чувство чести, то квартирует оно у Финкеля». Он в уланах служил. Когда его в первый раз на побывку домой отпустили, он всякие занимательные истории рассказывал и все честь хвалил. Его отец и сводный брат были в ополчении и часто с ним из-за этой самой чести спорили, у него-то ее было хоть отбавляй, а у них не хватало. Господи, прости меня, грешницу окаянную, не хочу я плохо о них говорить, у каждого своя ноша. Да только моя покойная дочь, его мать, доработалась до смерти из-за мужа, из-за лентяя, никак не могла с его долгами разделаться. Наш улан рассказывал о французах, а когда отец и сводный брат их всячески хаяли, он и скажи: «Отец, вы не понимаете, какое у них чувство чести!» Тут уж сводный брат разозлился и говорит: «Что ты отцу честью в нос тычешь? Он-то был унтером в Н-ском полку, а ты рядовой». Старый Финкель тоже озлился и говорит: «Да, я был унтером, и не одному дерзкому малому как следует всыпал. Были бы у меня во взводе французы, они бы почувствовали, где у них честь!» Улану такая речь показалась очень обидной. «Лучше я расскажу сейчас об одном французском унтер-офицере, — сказал он. — В последнее царствование приказано было ввести в армии телесное наказание. Приказ военного министра был объявлен на смотре в Страсбурге, и войска, стоя в строю, выслушали его в угрюмом молчании. Но в конце смотра один рядовой позволил себе какую-то выходку, и тогда его унтер-офицеру велено было дать ему двенадцать палок. Приказ

был строгий, послушаться такого нельзя. Но, покончив с наказанием, унтер взял ружье рядового, которому считал двенадцать ударов, поставил его перед собой на землю и нажал ногой на курок. Пуля прострелила ему голову, и он упал мертвым. О случившемся было доложено королю, и король тут же отменил приказ о телесном наказании. Вот это, отец, был человек с чувством чести». — «Дурак он был, вот кто», — сказал брат. «Подавись ты своей честью!» — проворчал отец. Тогда внук взял свою саблю и ушел из дому, он пришел ко мне, в мою лачугу и со слезами рассказал мне все. Я не могла ему не посочувствовать: история, которую он мне рассказал, меня проняла, но под конец я ему все же сказала: «Не чти честь людскую, чти Господа Бога, ему одному честь воздавай». Я еще благословила его, следующий день был последним днем его отпуска, а он хотел еще лишнюю милю крюка дать, заехать в имение, где в господском доме жила в служанках моя крестница, которую он очень любил. Он собирался ее в жены взять; если Господь Бог мою молитву услышит, они скоро будут вместе. Он уже покончил счеты с жизнью, скоро и она расчет получит. Я уж и приданое собрала, на свадьбе гостей не будет, только я одна.

Старуха опять замолчала и, казалось, молится. Я размышлял о чувстве чести и о самоубийстве унтер-офицера. Дозволено ли христианину почитать такую смерть праведной? Мне хотелось, чтобы кто-нибудь вразумил меня.

Когда сторож прокричал час ночи, старуха сказала:

— Теперь у меня два часа осталось. А вы еще тут? Чего вы спать не идете? Завтра плохо работать будете и поругаетесь с мастером. Вы, добрый человек, каким рукомерлом занимаетесь?

Я не знал, как ей объяснить, что я писатель. Сказать «я человек, получивший образование», — я не мог, это было бы ложью. Удивительно, почему это немец всегда стесняется сказать, что он писатель. Людям низших сословий всего неохотнее говоришь, что ты по книжной части, потому что им тут же приходят на ум библейские книжники и фарисеи. Слово «писатель» не вошло у нас так прочно в язык, как выражение «*homme de lettres*» у французов, где писатели составляют как бы особый цех и в своих работах больше следуют определенным законам. Их даже спрашивают: «*Où avez-vous fait votre philosophie?*» — «Где вы изучали философию?» — потому что француз сам по себе больше, чем немец, похож

на человека с образованием. Но не только потому, что это слово не стало для немцев обиходным, не поворачивается у нас язык назвать у городских ворот свой род занятий, нет, нас скорее удерживает какая-то внутренняя стыдливость, чувство, которое нападает на всякого, кто свободно вкушает духовные блага и непосредственно получает дары неба. Люди с образованием стесняются меньше писателей, ведь обычно они оплатили годы учения, по большей части находятся на государственной службе, разделяют тяжелые бревна или трудятся в шахтах, где в изобилии надо откачивать воду. А так называемому поэту приходится особенно трудно, ведь в большинстве случаев он прямо со школьной скамьи взбежал на Парнас, и, по правде говоря, поэт по призванию, не имеющий другой профессии, внушает подозрение. Ему можно очень легко сказать: «Милостивый государь, у каждого человека, кроме мозга, сердца, желудка, селезенки, печени, есть также и душа, в которой обитает поэзия: тот, кто откармливает, перекармливает, закармливает один из своих органов в ущерб другим и даже делает из него статью дохода, должен испытывать стыд перед всем своим остальным организмом. У того, кто живет за счет поэзии, потеряно чувство равновесия: чрезмерно большая гусиная печень, как бы вкусна она ни была, как-никак указывает, что гусь болен». Кто не зарабатывает свой хлеб насущный в поте лица, должен в какой-то мере испытывать стыд, и это чувствует всякий, кто еще не окончательно увяз в чернильнице, когда ему приходится сказать, что он писатель. Все это приходило мне в голову, и я обдумывал, что сказать старухе.

— Я спрашиваю, каким ремеслом вы занимаетесь,— сказала она, удивленная моим молчанием.— Почему вы не хотите сказать? Ежели вы не честным трудом занимаетесь, так еще не поздно взяться за честный, он всегда прокормит. Ведь не палач же вы и не доносчик, не затем здесь сидите, чтобы что-то у меня выведать? По мне, все одно, будьте кем хотите, скажите, кто вы? Ежели бы вы днем тут болтались, я подумала бы, что вы лентяй, этакий бездельник и дармоед, из тех, что подпирают стены, потому как их лень с ног валит.

Тут мне в голову пришло слово, которое, возможно, было более доступно ее пониманию.

— Матушка,— сказал я,— я пишу.

— Так бы сразу и сказали. Значит, пером на бумагу пишете. Так, так, при этом деле без хорошей головы и быстрых пальцев никак нельзя, да и без доброго серд-

ца тоже. А не то, как бы не попало. Так вы писарь? Тогда, значит, вы можете сочинить прошение к герцогу, да такое, чтобы оно его сразу проняло и не валялось зря среди других прошений.

— Прощение, матушка, я, конечно, составить могу,— сказал я,— и постараюсь, чтобы оно было убедительным.

— Ну, это с вашей стороны очень даже благородно,— обрадовалась она.— Да вознаградит вас Господь, да пошлет вам долгую жизнь, еще более долгую, чем моя, и до старости сохранит вам ту же добрую, спокойную душу, да пошлет он вам такую же хорошую ночь с розами и талерами, как послал мне, и доброго человека, чтобы сочинить прошение, ежели в том нужда будет. А теперь, милый человек, ступайте домой, купите лист бумаги и напишите прошение. Я еще час буду вас здесь дожидаться, а потом пойду к своей крестнице, вы тоже можете со мной пойти, она порадуется на прошение. У нее доброе сердце, да только пути Господни неисповедимы.

После этих слов старушка опять умолкла, склонила голову и как будто читала молитву. Талер все еще лежал у нее на коленях. Она плакала.

— Матушка, что с вами, какое горе у вас на сердце? Почему вы плачете? — спросил я.

— Ну, а почему мне не плакать? Я плачу о талере, плачу о прошении, обо всем плачу. Ничего не поделаешь, все на земле куда как хорошо, не по нашим заслугам, самые горькие слезы и те сладостны. Видите золотого верблюда вон там, на аптеке? Как хорошо Господь сотворил мир, так прекрасно, так чудесно! Да, только человек этого никак в разум не возьмет, а верблюду-то легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное. Но что же вы все еще здесь сидите? Ступайте, купите лист бумаги и принесите мне прошение.

— Матушка,— сказал я,— как могу я составить прошение, когда вы не сказали, о чем мне просить.

— Это я должна сказать? — удивилась она.— В чем же тогда ваше умение, ежели вам наперед все сказать надо? Тогда и удивляться нечему, что вам совестно назваться писарем. Ну, будь по-вашему. Сделаю, что могу. Напишите в прошении, что двое любящих должны упокоиться рядом и что не надо отправлять покойника в анатомию, где его тело разрежут на куски, ведь недаром поется:

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться.

и она снова залилась слезами.

Я догадывался, что ее гнетет горе, но в ее преклонных годах тяжесть его болезненно ощущается только временами. Она плакала, но на судьбу не роптала, слова говорила простые, не жалостливые. Я снова попросил ее рассказать мне, что привело ее в город, и она начала так:

— О моем внуке-улане я вам рассказывала, так вот, ему очень полюбилась моя крестница, это я вам тоже уже говорила, и он постоянно твердил пригожей Аннерль — так ее прозвали за красивую личность — о чести, чтобы она свою честь блюла и его честь тоже. Этой самой честью она среди всех деревенских девок выделялась и по лицу и по одеже. И одевалась-то она почище, и в обхождении куда больше вежливости требовала. Платье на ней как влитое сидело, а если ее какой парень за танцем чуть крепче прижмет или подымет повыше контрабасной кобылки, так она, бывало, придет ко мне и убивается, говорит, что это для ее чести обида. Ах, Аннерль всегда была не такой, как другие девушки. Иной раз неожиданно сорвет с себя обеими руками передник, словно он у нее горит, и тут же громко разрыдается. Но на то была своя причина, враг-то не дремлет, зубами в нее вцепился. Ах, надо было бы девочке не так за свою честь держаться, а больше о Господе Боге помышлять, не забывать его в нужде и, покорясь его воле, снести позор и от людей поношение, не думая о человеческой чести. Господь бы сжалился над ней и еще сжалится, увидите. Ах, они свидятся, ежели на то будет Божья воля.

Уланы опять стояли во Франции, внук долго не писал, мы его уже похоронили и часто о нем плакали. А он был тяжело ранен и лежал в лазарете. Когда он вернулся в полк и был произведен в унтер-офицеры, он вспомнил, как два года тому назад сводный брат заткнул ему рот: он-де всего рядовой, а отец капрал, а потом вспомнил про французского унтер-офицера, вспомнил, как на прощанье твердил своей Аннерль о чести. Вот он и потерял покой, затосковал по дому. Ротмистр спросил, чего он грустит, тут он и сказал: «Ах, господин ротмистр, меня словно что-то зубами домой тянет». Его отпустили на побывку, офицеры полагались на него, потому и разрешили ему ехать на его полковом коне. Отпуск он получил на три месяца и должен был вернуться обратно, когда закупят для полка лошадей. Он очень спешил, но доверенную ему лошадь жалел и берег пуще прежнего. Одним утром его словно что-то подгоняло поспешить домой: это было накануне годовщины смерти его матери.

ему все время чудилось, будто она бежит впереди и просит: «Каспер, окажи мне эту честь!» Я в этот день сидела у нее на могиле совсем одна и тоже думала: «Ох, был бы Каспер со мной!» Я сплела венок из цветов, из незабудок, повесила его на осевший крест, прикинула на глазок место возле могилы и подумала: вот тут я хочу лежать, а там пусть лежит Каспер, если Господь Бог приведет его умереть на родине, и все мы будем вместе, когда:

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться.

Но Каспер не пришел, я, правда, не знала, что он близко и мог бы прийти. А его так и гнало поспешать: во Франции он часто вспоминал об этом дне и привез оттуда веночек из красных золоченых цветов — матери на могилу, и для Аннерль тоже купил венок, чтобы она берегла его до свадебного дня.

Старуха замолкла и покачала головой. А когда я повторил ее последние слова: «Чтобы она берегла его до свадебного дня», она опять заговорила:

— Кто знает, может, я и умолю герцога. Ах, ежели бы только мне позволили его разбудить.

— Зачем? — спросил я. — Какая такая у вас просьба?

— Ох, о чем было бы просить, если бы жизнь не кончалась, о чем было бы просить, если бы жизнь не была вечной, — сказала она самым серьезным тоном, а потом повела свой рассказ дальше.

— Каспер запросто поспел бы в деревню уже к обеду, да утром в конюшне хозяин показал ему, что у лошади стерта холка, и при этом прибавил: «Слушай, друг, это кавалеристу чести не делает». Каспер принял его слова близко к сердцу, он облегчил седло, сделал все, что мог, и пошел пешком, ведя лошадь под уздцы. К вечеру он дошел до мельницы, он знал, что мельник старый приятель его отца, и попросился к нему переночевать. Мельник принял его как вернувшегося с чужбины дорогого гостя. Каспер поставил лошадь в конюшню, снял седло, положил его и ранец в угол и пошел в дом. Он расспросил мельника о своих семейных, узнал, что я, старая бабка, еще не померла, а отец и сводный брат здоровы и хорошо живут, вчера еще привозили на мельницу зерно; отец торгует лошадьми и рогатым скотом, торговля идет хорошо, и он теперь больше о своей чести заботится, уже не таким оборванцем ходит. Каспер порадовался от всего сердца, а потом спросил о пригожей Аннерль, мельник сказал, он-де ее не знает, но ежели это

та самая, что служила в имении Розенхоф, так она, говорят, нанялась работать в герцогскую столицу, потому как там она чему хорошему научиться может и ей будет больше чести. Так он слышал год тому назад от розенхофского работника. Это тоже порадовало Каспера, хотя его и огорчило, что он ее не сразу увидит; все же он надеялся вскорости свидеться с ней в городе, думал, что там его встретит чисто одетая, нарядная Аннерль, уж она не посрамит его унтер-офицерского чина, когда в воскресный день он поведет ее на прогулку. Потом он порассказал о Франции, они поели, попили, Каспер помог мельнику засыпать зерно, затем тот отвел его ночевать в чердачную комнату, а сам лег внизу на мешках. Хотя Каспер и очень устал, но шум мельницы и думы о родной деревне не дали ему заснуть крепким сном. Он никак не мог успокоиться, все думал о покойной матери да пригожей Аннерль, о чести предстать перед семейными в унтер-офицерском чине. Наконец он тихонько уснул, но все время его беспокоили страшные сны. То ему виделась покойная мать, будто она, ломая руки, просит его о помощи, то снилось, будто он умер и его хоронят, но он, уже покойник, сам идет к могиле, а рядом идет пригожая Аннерль. Во сне он плакал, что товарищи по полку не провожают его, а на кладбище он увидел вырытую ему могилу рядом с могилой матери, и тут же могилу Аннерль, видел, будто отдает Аннерль веночек, что привез ей, а на могильный крест матери вешает ее веночек, а потом будто он оглянулся, а вокруг никого, только я да Аннерль, и кто-то ее за передник в могилу стащил, тогда и Каспер сошел в могилу и спрашивает: «Неужто здесь нет никого, и мне, честно несшему службу солдату, не будут отданы последние воинские почести, не будет дан залп?» И будто тогда он вытащил пистолет и сам свалил себя выстрелом на дно могилы. Да тут же от выстрела и проснулся, ему показалось, что зазвенели стекла в окнах. Он огляделся и опять слышит выстрел, да еще сквозь стук жерновов слышит шум и крики внизу в мельнице. Он вскочил с кровати и схватил саблю. В тот же миг открылась к нему дверь, и при свете луны он увидел двух человек с вымазанными сажей лицами; они бросились к нему, размахивая дубинками; обороняясь, он хватил одного саблей по руке, тогда оба выскочили вон и заперли за собой на засов дверь. Каспер напрасно пытался погнаться за ними, наконец ему удалось выбить доску из двери. Он пролез в это отверстие на лестницу и поспешил вниз на стоны и крики

мельника; тот лежал связанный на мешках с зерном. Каспер развязал его и сразу бросился на конюшню за лошадью и ранцем, но ни лошади, ни ранца там не было. Вне себя от отчаяния поспешил он обратно и стал горько жаловаться на свое несчастье,— у него-де украли все его добро и вверенную ему лошадь, от ее пропажи он никак не мог утешиться. А мельник стоял перед ним с кошельем, полным денег, он достал его из шкафа, что был на чердаке. «Милый Каспер, успокойся,— сказал он,— я обязан тебе спасением моего достояния; разбойники покушались на мой кошель, что лежал наверху в чердачной комнате; благодаря тебе у меня все цело; твою лошадь, должно, угнали те, кто стоял на стреме, по седлу они поняли, что на мельнице ночует кавалерист, и выстрелами дали знать об опасности. Но не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня, никаких денег не пожалею, все сделаю, чтобы найти твоего коня, а не найду, куплю тебе другого, сколько бы это ни стоило». Каспер сказал: «Подарка я не приму, мне честь моя запрещает, одолжите мне на крайний случай семьдесят талеров, а я дам вам расписку, что в течение двух лет верну деньги». На том и порешили. Они попрощались, и внук поспешил в свою деревню; там у самой околицы живет человек, поставленный окрестными помещиками чинить суд и расправу. Ему Каспер хотел все рассказать. Мельник остался дожидаться жены и сына, уехавших на свадьбу в соседнюю деревню. Потом он собирался пойти вслед за Каспером и тоже дать показания.

Ах, господин писарь, милый вы мой, вы только подумайте, как грустно было бедняге Касперу идти домой пешком, обобранным, а он-то думал гордо въехать в деревню на коне. Все у него украли: заработанные деньги — пятьдесят один талер,— свидетельство о производстве в унтер-офицерский чин, увольнительную и оба венка — на могилу матери да для пригожей Аннерль. Тяжело было у него на душе, вот так и добрался он в час ночи до родной деревни и постучался к судье, дом которого первый у въезда в деревню. Ему открыли, он сообщил о грабителях и перечислил все, что у него украли. Судья приказал ему не мешкая идти к отцу, потому как во всей деревне только у него есть лошади, и вместе с отцом и братом изъездить всю окрестность, авось они нападут на след грабителей; судья хотел тем временем собрать крестьян и послать их на поиски пешими, а когда придет мельник, обстоятельно допросить его. От судьи Каспер пошел в отцовский дом; проходя мимо моей лачуги, он

услышал, что я пою церковные песнопения — думы о его покойной матери не давали мне спать,— он постучал и сказал: «Слава Иисусу Христу, милая бабушка, это я — Каспер». Ах, эти слова мне всю душу перевернули! Я бросилась к окошку, открыла его и со слезами обняла внука. Он рассказал о своей беде, но он очень торопился, ведь судьба послал его к отцу, чтобы он безотлагательно пустился вдогонку за ворами — его честь требует, чтобы он вернул коня.

Уж и не знаю, как вам сказать, но при слове честь я так вся и затряслась от страха, я-то знала, какое еще тяжкое испытание, ниспосланное Господом Богом, ожидает его. «Исполняй свой долг,— сказала я,— а честь людскую не чти, чти только Господа Бога, ему одному честь воздавай!» Он поспешил на другой конец деревни, к Финкелям. Когда он ушел, я упала на колени. «Боже, храни его!» — просила я. Никогда еще не молилась я с таким страхом и трепетом, но все время при этом повторяла: «Господи, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли».

Каспер в безумном страхе побежал задами к отцовскому дому. Он перелез через забор в огород, услышал, что бежит из колодца вода, услышал, что ржет в конюшне лошадь, и весь похолодел. Он остановился как вкопанный: при свете луны он увидел двух мужчин, они отмывали грязь с лица. У Каспера замерло сердце. «Чертова сажа, никак ее не смоешь», — выругался один. — «Пойдем сперва в конюшню,— сказал другой,— обкорнаем коню хвост и подрежем гриву. А ранец ты в навоз глубоко зарыл?» — «Да», — ответил первый. И они пошли в конюшню, а Каспер, обезумев от горя, кинулся вслед за ними, запер дверь конюшни на засов и крикнул: «Именем герцога! Сдавайтесь! Будете сопротивляться, пристрелю!» Ах, он задержал тех, кто угнал его лошадь — своего отца и сводного брата. «Я потерял честь, потерял честь! — убивался он. — Я сын бесчестного вора!» Услыхав эти слова, оба запертые в конюшне затряслись от страха. «Каспер, Каспер, голубчик, ради всего святого не губи нас! Каспер, мы тебе все вернем! Ради твоей покойной матери, ведь сегодня день ее смерти, смилуйся над отцом и братом!» Но Каспер не помнил себя от отчаяния и все время твердил: «Моя честь, мой долг!» А когда они хотели силой высадить дверь и выломать филенку из стены, Каспер выстрелил в воздух и завопил: «На помощь, на помощь! Воры, на помощь!» Услышав выстрелы и крики, во двор Финкеля бросились

крестьяне, разбуженные судьей и уже собравшиеся, чтобы договориться, куда кому идти для поисков грабителей, ворвавшихся к мельнику. Старик Финкель все еще молил Каспера открыть дверь, но тот сказал: «Я солдат и обязан стоять на страже законности». Тут подошли судья с крестьянами. Каспер сказал: «Да помилует меня Бог, господин судья, мой отец, мой брат — вот кто воры. Ох, лучше было бы мне не родиться, я держу их взаперти здесь в конюшне, мой ранец зарыт в навоз». Тут крестьяне бросились в конюшню, скрутили руки старику Финкелю и его сыну и потащили их в дом. А Каспер выкопал ранец, достал из него два веночка, но в дом не пошел, он пошел на кладбище, на могилу матери. Уже рассвело. Я была на лугу и сплела два веночка из незабудок — мне и Касперу, — думала, мы вместе уберем могилу его матери, когда он вернется после погони за ворами. Тут я услышала непривычный для деревни шум и галдеж, а я сутолоки не люблю, мне всего милей одной побыть, вот я и пошла на кладбище в обход, не деревней. Вдруг раздался выстрел, я увидела, как поднялся дымок, и заторопилась на кладбище, мой Каспер — ах, смилуйся над ним, Иисусе Христе! — мой Каспер лежал мертвый на могиле матери, он выстрелил себе в сердце, а веночек, что он припас для Аннерль, прикрепил к пуговице мундира на том месте, где сердце. Веночек для матери он уже повесил на крест. Увидя такое, я обомлела, думала, подо мной земля разверзнется, я упала на Каспера и запричитала: «Каспер, горемычный ты мой, что ты наделал? Кто рассказал тебе о твоей беде? Ох, почему я отпустила тебя, почему не рассказала всего сама! Господи боже, что скажет бедный отец, что скажет брат, когда найдут тебя здесь!» Я не знала, что из-за них-то он и наложил на себя руки; я думала, здесь совсем другая причина. А уж потом и того хуже стало: вижу, судья и крестьяне ведут связанными старика Финкеля с сыном. От горя у меня язык к гортани прилип, слова не могу вымолвить. Судья спросил, не видала ли я внука? Я указала туда, где он лежал. Судья подошел к нему, думал, что Каспер плачет на могиле матери, потряс его за плечо и вдруг увидел кровь. «Иисусе Христе! — воскликнул он. — Каспер наложил на себя руки!» Тут связанные Финкели с ужасом посмотрели друг на друга. Тело Каспера подняли и понесли рядом с ними в дом к судье. Женщины повели меня следом. Вся деревня по нем плакала. Ах, такого страшного пути у меня в жизни не было!

Старуха опять умолкла.

— Матушка,— сказал я,— тяжелое у вас горе, но Господь Бог возлюбил вас: сильнее всего он карает возлюбленных чад своих. А теперь скажите мне, матушка, что побудило вас пуститься в такой дальний путь и о чем вы хотите просить герцога?

— Ну, понятно о чем,— сказала она совершенно спокойно.— О христианской могиле для Каспера и пригожей Аннерль, я и веночек, что для его свадебного дня Каспер купил, взяла, вот, смотрите, весь в крови!

Она вытащила из своего узелка и показала веночек, свитый из мишуры. При свете зарождающегося дня я разглядел, что он почернел от пороха и забрызган кровью. Я был потрясен горем бедной старушки и преисполнен уважения к тому величию, к той стойкости, с какими она несла свою тяжкую долю.

— Ах, матушка,— сказал я,— как же вы сообщите несчастной Аннерль о постигшей ее беде? Ведь от такого горя она может тут же потерять сознание. И о каком свадебном дне, для которого несете ей этот горестный веночек, вы говорите?

— Милый человек,— сказала она,— идемте, проводите меня к ней, я ведь не могу идти быстро, мы поспеем как раз вовремя, а по дороге я вам все доскажу.

Она поднялась, спокойно прочитала утреннюю молитву, оправила платье, а свой узелок повесила мне на руку. Было два часа утра, светало, и мы двинулись в путь по тихим улицам.

— Ну, так вот,— повела свой рассказ старуха,— когда Финкеля с сыном заперли, меня позвали к судье. К нему в дом внесли тело Каспера, положили на стол и накрыли его уланской шинелью, а мне судья велел рассказать все, что я знала и что в тот день под утро рассказал мне Каспер. Он все записал на бумагу, что лежала перед ним. Потом посмотрел на аспидную доску и бумажник, найденные у Каспера, там были какие-то счета, несколько рассказов про честь, и тот про французского унтер-офицера тоже, а под ним было что-то написано карандашом.

Старуха дала мне бумажник, и я прочитал следующие предсмертные слова несчастного Каспера: «Я тоже не могу пережить свой позор. Отец и брат у меня воры, они даже меня обокрали; сердце мое обливалось кровью, но я обязан был задержать их и отдать под суд, потому что я солдат и служу своему государю. Моя честь не позволяет мне пощадить их. Пусть понесут заслуженное на-

казание, того требует моя честь. Ах, попросите за меня, попросите о разрешении похоронить меня на кладбище как доброго христианина, здесь, где я застрелился, у могилы матери. Веночек, через который я стрелял, пусть бабушка отошлет пригожей Аннерль и передаст ей мой поклон. Ах, у меня разрывается сердце, так мне ее жаль, но нельзя ей стать женой человека, отец которого вор, она всегда дорожила своей честью. Милая, пригожая Аннерль, примиришь, не горюй обо мне, и если ты меня хоть сколько-нибудь любила, не поминай меня лихом. Я же не виноват в моем позоре! Я так старался всю жизнь прожить, не поступаясь честью, я дослужился до унтер-офицерского чина и в эскадроне пользовался доброй славой. Я бы и до офицера дослужился, но тебя бы, Аннерль, не бросил, не посватался бы к благородной, — но сын вора, самолично задержавший и отдавший под суд отца, не может пережить свой позор. Аннерль, милая Аннерль, возьми веночек. Видит бог, я всегда был верен тебе! Возвращаю тебе твое слово, но прошу, не выходи замуж за такого, кто хуже меня, окажи мне эту честь. И, если можешь, походатайствуй, чтобы меня похоронили на кладбище как доброго христианина, и себя завещаю похоронить здесь, если судьба приведет тебе помереть в наших краях. Милая моя бабушка тоже придет к нам, вот мы и будем все вместе. У меня в ранце пятьдесят талеров, положи их в банк для твоего первенького. Мои серебряные часы пусть пойдут пастору, если меня похоронят, как велит церковь. Лошадь, мундир и оружие принадлежат герцогу, бумажник — тебе. Прощай, дорогая, прощай, сокровище мое, прощай, милая бабушка, молитесь за меня, прощайте! Да простит мне Бог — ах, я сделал это с отчаяния!»

Я не мог читать без горьких слез последние слова этого несчастного, несомненно благородного человека.

— Каспер, матушка, конечно, был очень хорошим человеком, — сказал я старухе, а она после этих моих слов остановилась, пожала мне руку и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Да, он был лучше всех на свете. Но последние слова про отчаяние не надо было писать, ах; погубят они его, не будет ему могилы на кладбище как доброму христианину, отнесут его в анатомию. Ах, разве что вы, писарь, миленький мой, сможете ему помочь.

— В чем дело, матушка? — спросил я. — Что могут изменить эти его последние слова?

— Могут,— возразила она.— Судья сам мне сказал. Всем судьям вышел приказ хоронить как добрых христиан только тех самоубийц, что лишили себя жизни с черной меланхолии, а тех, что наложили на себя руки с отчаяния, отправляют на вскрытие; и судья сказал, раз Каспер сам признался в отчаянии, он обязан отправить его на вскрытие.

— Удивительный закон,— сказал я.— Ведь тогда при всяком самоубийстве можно возбудить дело для выяснения, что было причиной — черная меланхолия или отчаяние, и выяснение может затянуться на такой длительный срок, что в конце концов судья и адвокаты сами либо заболеют черной меланхолией, либо впадут в отчаяние, и их отправят на вскрытие. Но успокойтесь, матушка, наш герцог добрый государь; когда он узнает все дело, он, конечно, разрешит похоронить бедного Каспера рядом с матерью.

— Дай-то Бог,— вздохнула старуха.— А теперь, писарь, миленький мой, слушайте дальше: когда судья все записал на бумагу, он отдал мне бумажник Каспера и веночек для пригожей Аннерль, вот я вчера и побежала сюда, чтобы в великий для нее день дать ей на дорогу это утешение. Каспер умер вовремя; знал бы он все, он бы с горя ума лишился.

— А что же случилось с пригожей Аннерль? — спросил я старуху.— То вы говорите, что ей осталось всего несколько часов жизни, то о великом для нее дне и об утешении, которое принесет ей ваша печальная весть. Объясните же мне, в чем тут дело — то ли она выходит замуж за другого, то ли она больна, умирает? Для прошения надо все знать.

— Ах, писарь, миленький мой,— ответила старуха.— Что тут поделаешь, на то воля божья! Понимаете, когда Каспер пришел, я ведь не умерла с радости, когда Каспер себя жизни решил, я ведь не умерла с горя. Я бы этого не пережила, да Господь Бог смилостивился, послал мне беду еще горше. Да, я вам верно говорю, сердце мое не выдержало бы, на меня камнем навалилось это несчастье, но еще пущая беда — сломила его, как ледорез ломает плавучую льдину, и погнала прочь уже остывшие обломки... Я вам сейчас что-то расскажу, что-то очень-очень печальное.

Мать моей крестницы, пригожей Аннерль, приходилась мне родней и жила в семи милях от нас; когда она умирала, я была при ней. Она была вдовой бедного крестьянина; в молодости полюбился ей один охотник,

но замуж за него она не пошла, потому как вел он распутную жизнь. В конце концов охотник докатился до того, что попал в тюрьму за убийство и ждал смертного приговора. Моя больная кума, уже не встававшая с постели, об этом прослышала и так убивалась, что с каждым днем ей становилось все хуже. Наконец, в свой смертный час, она поручила моим заботам миленькую мою крестницу, пригожую Аннерль, попрощалась со мной, а когда была уже при смерти, сказала: «Милая Анна-Мargarета, когда будешь в городе, где сидит в тюрьме бедняга Юрге, передай ему через тюремщика, что в мой смертный час я умоляю его обратиться к Богу и, расставаясь с жизнью, от всего сердца молюсь за него и передаю ему поклон». Вскоре добрая моя кума умерла; когда ее схоронили, я взяла маленькую Аннерль на руки, ей тогда три годика было, и пошла с ней домой.

В предместье того городка, через который лежал мой путь, жил палач, славившийся как скотский лекарь, а наш староста поручил мне зайти к нему за каким-то снадобьем. Я вошла в дом и сказала хозяину, зачем пришла; он провел меня на чердак, где лежали всякие травы, чтобы помочь ему выбрать нужные. Аннерль я оставила в комнате. Когда мы вернулись, девочка стояла перед шкафчиком, висевшим на стене. Она сказала: «Бабушка, там мышь, слышишь, как стучит? Там мышь!»

Хозяин выслушал слова ребенка с очень серьезным видом, он быстро отворил шкафчик. «Помилуй нас, Господи!» — воскликнул он, увидев, что его меч, висевший в пустом шкафу, раскачивается из стороны в сторону. Он снял его с гвоздя, я задрожала от страха. «Голубушка, прошу вас из любви к маленькой Аннерль возьмите себя в руки, не пугайтесь, — сказал он. — Дайте мне сделать ей мечом царапину вокруг шейки — меч закачался, он требует ее крови; если я не сделаю ей царапину, девочку ждет в жизни страшное испытание». Он взял на руки Аннерль, она подняла громкий крик, я тоже закричала и выхватила у него девочку. Тут в дверь вошел бургомистр, он ворочался с охоты и хотел привести на лечение больную собаку. Бургомистр спросил, почему поднялся такой крик. Аннерль плакала и кричала: «Он хочет меня зарезать!» Я со страха потеряла голову. Палач рассказал бургомистру, как было дело. Тот за такое, как он это назвал, суеверие строго выговорил и даже пригрозил палачу. Палач спокойно ответил: «Так думали мои деды и прадеды, так думаю и я». Тогда бургомистер сказал: «Франц, если бы вам почудилось, будто

меч качнулся потому, что завтра в шесть утра вам предстоит обезглавить охотника Юрге и я почти тут же пришел вас об этом уведомить, тогда бы я это еще мог простить, но придумывать какую-то нелепую чушь и пугать малого ребенка просто грешно и глупо. Ведь уже взрослого человека можно довести до отчаяния, ежели ему расскажут, что такое дело случилось с ним в детстве. Нельзя вводить человека в искушение». — «Но и меч палача тоже нельзя», — буркнул Франц себе под нос и повесил меч в шкаф. Бургомистр поцеловал Аннерль, вынул из ягдташа булочку и дал ей, а потом спросил меня, кто я, откуда и куда иду; я рассказала ему о смерти моей кумы и о данном мне ею поручении к охотнику Юрге, и тогда он сказал: «Вы должны выполнить ее волю, я самолично сведу вас к нему; он ожесточен, но, может статься, в последние часы жизни смягчится сердцем, узнав, что хорошая женщина вспомнила о нем на своем смертном одре». Добрый бургомистр взял нас с Аннерль к себе в повозку, которая стояла у дома, и мы поехали в город.

Он отправил нас на кухню, кухарка сытно нас накормила, а к вечеру вместе со мной пошел к несчастному грешнику. Тот горько заплакал, когда я передала ему предсмертные слова моей кумы. «Господи боже, — воскликнул он, — пошла бы она за меня, разве бы я тогда до такого дошел!» Потом сказал, что хотел бы еще раз попросить к себе пастора и вместе с ним помолиться. Бургомистр обещал выполнить просьбу и похвалил Юрге за наступившую в его душе перемену; потом спросил, нет ли у него перед смертью какого желанья, и пообещал, если сможет, его выполнить. «Ах, попросите добрую женщину, — сказал он, — вместе с дочуркой своей кумы прийти на мою казнь, это придаст мне силы в предсмертный мой час». Бургомистр стал просить меня, и я не могла отказать бедному, несчастному Юрге, хоть меня и брала жуть. Я подала ему руку и торжественно обещала выполнить его желание, и он, горько плача, упал на солому. Бургомистр пошел со мной к своему другу пастору, ему я сызнова все рассказала, и он отправился в тюрьму.

Ночевать меня с девочкой бургомистр оставил у себя, а утром я пошла в тяжкий путь к месту казни охотника Юрге. Я стояла впереди, рядом с бургомистром, и видела, как он переломил палку. Охотник Юрге произнес еще трогательное слово и так-то душевно посмотрел на меня и маленькую Аннерль, что стояла передо мной,

потом поцеловал палача и вместе с пастором прочитал молитву; ему завязали глаза, он опустился на колени, и палач снес ему голову. «Иисусе Христе, Матерь Божия, святой Иосиф!» — вскрикнула я. Голова Юрге откатилась к Аннерль и вцепилась зубами ей в юбочку, девочка громко заплакала. Я сорвала с себя передник и набросила его на страшную голову, тут к нам подбежал палач и с силой оторвал голову от девочкиной юбки. «Ах, матушка, матушка, что я вам вчера утром говорил? Я свой меч знаю, он живой!» Я со страха упала на землю. Аннерль громко плакала. Бургомистр был ошеломлен, он велел отвезти нас с Аннерль к нему домой; его жена одарила меня и мою крестницу платьями, а вечером бургомистр еще и денег дал, и многие жители городка, пожелавшие поглядеть на Аннерль, тоже, так что у меня двадцать талеров набралось и много всякой одежды для Аннерль. Вечером пришел пастор и долго мне толковал, чтобы я воспитала Аннерль в страхе божьем, а печальные предзнаменования пусть меня не тревожат, не надо обращать на них внимания, это козни нечистого. Потом он еще подарил мне для Аннерль красивую Библию, она и сейчас у нее, а на следующее утро добрый бургомистр велел отвезти нас за три мили домой. Ах, боже мой, боже мой! Ведь все сбылось!

Старуха умолкла.

Меня охватило страшное предчувствие. Я был потрясен ее рассказом.

— Бога ради, матушка,— воскликнул я,— что случилось с бедной Аннерль? Ей никак нельзя помочь?

— В нее как зубами что вцепилось,— сказала старушка,— сегодня ее должны казнить. Но она это с отчаяния, все о чести, о чести пеклась. Из-за этой самой чести и погибла: ее соблазнил знатный барин и бросил, она задушила своего ребенка тем самым передником, что я тот раз на голову охотника Юрге набросила, а она его потом тайком от меня взяла. Ах, в нее как зубами что вцепилось, как зубами, она это в беспамятстве сделала. Соблазнитель обещал жениться и сказал, что Каспер не вернется из Франции; она впала в отчаяние и сделала свое злое дело, а потом сама на себя заявила. В четыре утра ее казнят. Она написала, чтобы я пришла; я это и сделаю и принесу ей венок от бедного Каспера и розу, что получила сегодня вечером. Ей в утешение. Ах, писарь, миленький мой, если бы вы в прошении могли выхлопотать, чтобы ее и Каспера похоронили на нашем кладбище.

— Все, все, что в моих силах, сделаю! — воскликнул я.— Сию же минуту бегу во дворец, там сейчас начальником караула мой друг, тот, что дал вам розу; упрошу его разбудить герцога, упаду к его ногам и буду умолять простить Аннерль.

— Простить? — холодно сказала старуха.— В нее же как зубами что вцепилось. Послушайте, милый человек, справедливость лучше прощения. Чему поможет прощение здесь? Все мы предстанем пред Господом на Страшном суде.

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться.

Понимаете, она не хочет помилования, ее обещали помиловать, если она назовет отца ребенка. Аннерль сказала: «Я задушила его ребенка, я хочу умереть, а сделать его несчастным не хочу. Я должна понести наказание и пойти туда, где мой ребенок. Я не назову отца, это может его погубить». Тогда ее приговорили к смертной казни. Ступайте к герцогу и просите, чтобы Каспера и Аннерль схоронили как добрых христиан! Ступайте, ступайте! Смотрите, вон господин пастор идет в тюрьму! Я попрошу его взять меня с собой к пригожей Аннерль. Если вы поторопитесь и умолите герцога разрешить схоронить их обоих как добрых христиан, то, может, еще успеете принести нам на место казни последнее утешение.

Мы подошли к пастору. Старушка рассказала ему, что приходится крестной матерью заключенной, и он охотно взял ее с собой в тюрьму. А я со всех ног бросился к герцогскому дворцу и счел за вселяющее надежду доброе предзнаменование, когда, пробегая мимо дома графа Гроссингера, услышал, как в беседке кто-то пел нежным голосом под аккомпанемент лютни:

Любви хотела милость,
Честь встала на пути
И говорит с любовью,
Что надо жить в чести.

Шла милость с розой алой,
Любовь фату взяла —
И честь их повенчала,
Ведь милость ей мила¹.

¹ Перевод М. Рудницкого

Ах, были и другие хорошие приметы! В ста шагах дальше я наткнулся на белую фату, лежащую на земле. Я поднял ее, в ней были благоуханные розы. Я продолжал бежать, в голове была одна мысль: Господи, ее ждет помилование! Завернув за угол, я увидел человека, при моем приближении закрывшего лицо плащом и быстро повернувшегося ко мне спиной, чтобы я не разглядел его. Он мог бы этого не делать: я ничего не видел, ничего не слышал, внутри у меня звучало одно: помилование! Милость! Через решетчатые ворота я вбежал во двор герцогского дворца. Слава богу, портупей-юнкер граф Гроссингер, вышагивавший назад и вперед под цветущими каштанами перед кордегардией, уже шел мне навстречу.

— Дорогой граф, проводите меня к герцогу, — выпалил я, — сейчас же, безотлагательно, потом будет поздно, все будет потеряно!

Казалось, мое требование смутило его.

— Что вам вздумалось? В такой необычный час? — сказал он. — Невозможно. Приходите на смотр, тогда я вас представлю.

Земля горела у меня под ногами.

— Сейчас или никогда! — крикнул я. — Это необходимо, от этого зависит жизнь человека!

— Сейчас это невозможно, — резко оборвал он. — Для меня это дело чести: мне приказано сегодня ночью ни о ком не докладывать.

Услышав слово «честь», я пришел в отчаяние. Я вспомнил о чести Каспера, о чести Аннерль и воскликнул:

— Проклятая честь! Именно для того, чтобы не пренебречь последней возможностью, оставленной этой самой честью, я обязан прибегнуть сейчас к герцогу, вы обязаны доложить обо мне или я буду громко звать к герцогу.

— Только посмейте, я прикажу запереть вас в кордегардии, — гневно сказал Гроссингер. — Вы фантазер. Вам неизвестны все обстоятельства.

— Мне известны, известные ужасные обстоятельства, — возразил я. — Мне необходимо к герцогу, дорога каждая минута! Если вы сейчас же не доложите обо мне, я сам побегу к герцогу.

С этими словами я шагнул к лестнице, которая вела в покои герцога, но тут я заметил встреченного мною закутанного в плащ человека, который тоже спешил

к лестнице. Гроссингер силой повернул меня спиной к нему, чтобы я не мог его разглядеть.

— Безумец, что вы делаете! — шепнул он.— Замо­лчите, успокойтесь, вы погубите меня!

— Почему вы не задержали того человека, что под­нимается сейчас по лестнице? — спросил я.— У него не может быть более срочного, более безотлагательного де­ла, чем у меня. Ах, мне спешно, спешно нужно к герцо­гу. Речь идет о несчастной соблазненной, жалком соз­дании!

— Вы видели человека, который поднялся к герцо­гу,— сказал Гроссингер,— если вы упомянете о нем хоть словом, вам придется иметь дело с моей шпагой; именно потому, что он поднялся наверх, вам туда нельзя, у гер­цога с ним дела.

Тут в окне герцогского покоя появился свет.

— Боже мой, у него свет, он встал! — воскликнул я.— Мне необходимо к нему. Ради всего святого, пропу­стите меня, или я подыму крик, буду звать на помощь.

Гроссингер взял меня за локоть и сказал:

— Вы пьяны, идите в кордегардию. Я ваш друг, выпитесь и продиктуйте мне ту песню, что пела ночью старуха, которая сидела у порога дома, когда я шел ми­мо с дозором. Песня эта меня очень интересуется.

— Как раз об этой старухе и ее близких я и должен говорить с герцогом! — воскликнул я.

— О старухе? — переспросил Гроссингер.— О ней го­ворите со мной, сильные мира сего этим не интересуют­ся. Быстро идите в кордегардию.

Он хотел увести меня, но тут часы на башне дворца пробили половину четвертого. Звон отозвался у меня в сердце воплем о помощи, и я крикнул во всю силу свое­го голоса: «Помогите, ради всего святого, помогите нес­частлиному, соблазненному созданию!»

Гроссингер как обезумел. Он хотел зажать мне рот, но я сопротивлялся, боролся. Он ударил меня по голове, выругался; я ничего не чувствовал. Он крикнул кара­ульных; капрал и несколько солдат уже бежали из кор­дегардии, чтобы схватить меня, но тут окно в покое гер­цога отворилось:

— Портупей-юнкер Гроссингер, что там за шум? — слышался голос герцога.— Проводите его наверх, сей­час же!

Я не стал ждать Гроссингера, я устремился вверх по лестнице, пал к ногам смущенного герцога, который с не­довольным видом приказал мне встать. Он был в сапо-

гах со шпорами, но притом в шлафроке, который он старательно придерживал на груди.

Подгоняемый необходимостью спешить, я передал герцогу в самом сжатом виде все, что старая бабушка рассказала мне о самоубийстве улана, о несчастье пригожей Аннерль, и умолял его, если помиловать ее невозможно, хотя бы на несколько часов отложить казнь и пожелать похоронить обоих как добрых христиан. «Ах, помилуйте, помилуйте ее! — воскликнул я, вытаскивая из-за пазухи поднятую мной белую фату с розами. — Эту фату, которую я нашел по дороге сюда, я воспринял как предзнаменование помилования!»

Герцог с волнением выхватил у меня фату, он сжимал ее в руках, а когда я сказал: «Ваша светлость! Эта бедная девушка — жертва ложного понятия о чести. Ее соблазнил дворянин, он обещал ей жениться. Ах, она такая хорошая: она готова умереть, только бы не назвать его».

— Замолчите, ради бога, замолчите, — перебил меня прослезившийся герцог. Затем он повернулся к Гроссингеру, стоявшему в дверях:

— Быстрей, скачите с этим человеком верхом, загоните лошадей, только поспейте вовремя к месту казни, — сказал он, с нетерпением торопя Гроссингера, — прикрепите к шпаге эту фату, размахивайте ею и кричите: «Помилована, помилована!» Я еду следом.

Гроссингер взял фату, от страха и спешки он сильно изменился, казалось, передо мной не человек, а привидение. Мы бросились в конюшню, сели на лошадей и помчались галопом. Как безумный выскочил он из ворот дворца. Когда он привязывал фату к шпаге, у него вырвался крик: «Иисусе Христе, моя сестра!» Я не понял, в чем дело. Он поднялся на стременах, размахивая шпагой и крича: «Помилована, помилована!» Мы увидели на верху холма помост, а вокруг толпу народа. Развевающаяся фата пугала мою лошадь. Я плохой наездник и не поспевал за Гроссингером, он летел во весь опор. Я напрягал последние силы. Судьба была немилосердна: поблизости проводились артиллерийские учения, канонада заглушала наши крики. Гроссингер свалился, толпа раступилась, я увидел в просвет, как на утреннем солнце блеснула сталь — боже мой, это блеснул меч палача! Я подскочил ближе, услышал плач и причитание толпы. «Помилована, помилована!» — выкрикнул Гроссингер и, размахивая белой фатой, как безумный ринулся к помосту — палач поднял ему навстречу окровавленную го-

лову пригожей Аннерль, глядевшую на него со скорбной улыбкой. «Господи, помилуй меня! — воскликнул он и упал на тело Аннерль, распростертое на земле. — Люди, убейте меня, я ее соблазнитель, я ее убийца!»

Толпу охватила ярость мщения. Женщины и девушки пробились вперед, стащили его с мертвого тела, стали топтать ногами. Он не защищался, стража была бессильна сдержать рассвирепевшую толпу. Тут раздались крики: «Герцог, герцог!» Он ехал в коляске, рядом сидел, закутавшись в плащ, юноша в надвинутой на глаза шляпе. Народ приволок Гроссингера. «Господи Иисусе, мой брат!» — высоким женским голосом воскликнул молодой офицер в коляске. «Замолчите!» — приказал ему ошеломленный герцог. Он выпрыгнул из коляски, юноша хотел выскочить следом. Герцог весьма неделикатно впихнул его обратно, и тут обнаружилось, что молодой человек — переодетая офицером сестра Гроссингера. Герцог приказал положить истерзанного, окровавленного, лишившегося сознания Гроссингера в коляску, сестра, отбросив осторожность, накрыла его своим плащом, и все увидели, что на ней женское платье. Герцог был смущен, но собрался с мыслями и приказал отвезти графиню и ее брата к ним домой. Это происшествие в какой-то мере утихомирило яростную толпу.

Герцог громко сказал офицеру начальнику караула:

— Графиня Гроссингер увидела, как ее брат промчался мимо их дома с вестью о помиловании, и пожелала присутствовать при столь радостном событии; когда я для той же цели проезжал мимо, она стояла у окна и попросила меня взять ее с собой. Я не мог отказать. Чтобы не обращать на себя внимания, она надела плащ и шляпу брата, но, потрясенная ужасным случаем, не учла того, что именно этот ее костюм может вызвать всякие нежелательные толки. Но как могло случиться, господин лейтенант, что вы не охранили графа Гроссингера от черни? Это большое несчастье, что он, упав вместе с лошастью, не поспел вовремя, но он тут не виноват. Всех, кто причастен к столь жестокому обращению с графом, я приказываю арестовать и отдать под суд!

В ответ на речь герцога, толпа подняла крик: «Он негодяй, он ее соблазнил, он убийца пригожей Аннерль, он сам сознался, подлый человек, мерзавец!»

Герцог, бледный как полотно, подошел ближе к помосту: он хотел посмотреть на тело пригожей Аннерль. В черном платье с белыми бантами лежала она на зеленой лужайке. Старуха-бабушка, равнодушная ко всему,

что творится вокруг, приставила голову своей крестницы к ее телу и прикрыла передником страшное место на шее. Она сложила ей руки на Библии, на той, которую пастор соседнего городка подарил маленькой Аннерль, на голову ей надела золоченый веночек, а на грудь положила ту розу, что этой ночью получила в подарок от Гроссингера, не ведавшего, кому он ее дарит.

— Прекрасная несчастная Аннерль! — сказал герцог, увидев казненную. — Жалкий обольститель, ты опоздал! Ты одна, бедная бабушка, не оставила ее до последней минуты!

Увидев, что я поблизости, он обратился ко мне:

— Вы говорили мне о последней воле капрала Каспера, его письмо при вас?

Тогда я обратился к старухе:

— Матушка, дайте мне бумажник Каспера, — сказал я. — Его светлости угодно прочесть последнюю волю вашего внука.

— Вы опять тут, — проворчала старуха, равнодушная ко всему вокруг. — Сидели бы уж лучше дома. Прошение-то написали? Да теперь уж поздно, я не могла утешить бедняжку в последние ее минуты. Ах, я солгала ей, сказала, что ее и Каспера похоронят как добрых христиан, да она мне не поверила.

— Вы не солгали, матушка, — прервал ее герцог. — Этот человек сделал все, что было в его силах. Всею виной упавшая лошадь. Аннерль будет погребена как добрая христианка, возле матери славного Каспера. Пастор скажет над их могилой проповедь на слова: «Чти Господа Бога, ему одному честь воздавай!» Каспера погребут с воинскими почестями как портупей-прапорщика; его эскадрон даст над могилой три залпа, на гроб положат шпагу Гроссингера, погубителя Аннерль.

С этими словами герцог взял все еще лежавшую на земле шпагу Гроссингера в привязанной к ней белой фатой и, сняв фату, накрыл ею Аннерль.

— Пусть эта несчастливая фата, которая должна была принести ей помилование, вернет ей честь. Она умерла честной смертью и заслужила помилование, фата будет положена ей в гроб.

Он отдал шпагу офицеру, начальнику караула.

— Сегодня во время смотра вы получите мой приказ о погребении улана и этой несчастной девушки, — сказал он.

Затем он громко, растроганным голосом прочел последние слова Каспера. Старушка-бабушка со слезами

радости, словно счастливейшая из смертных, обняла его колени.

— Успокойтесь,— сказал он ей,— до последнего дня вашей жизни вы будете получать пенсию, а вашему внуку и Аннерль я повелю поставить памятник.

Затем он приказал отвезти старуху и гроб с телом казненной в дом к пастору, а оттуда к ним в родную деревню, где пастор должен будет позаботиться о погребении.

Тут подошли адъютанты с лошадьми, и герцог обратился ко мне:

— Сообщите моим адъютантам вашу фамилию, я вызову вас. Вы проявили человеколюбие и весьма похвальное рвение.

Адъютант записал мое имя и фамилию и сказал несколько любезных слов. Герцог вскочил в седло и, сопровождаемый благословениями и добрыми пожеланиями толпы, поскакал в город. Тело пригожей Аннерль и добрую старенькую бабушку отвезли в дом к пастору, и следующей ночью она вместе с пастором уехала обратно в родную деревню. К вечеру прибыл туда офицер со шпагой Гроссингера и эскадроном улан. Итак, на гроб славного Каспера положили шпагу Гроссингера и свидетельство о производстве в младший офицерский чин и похоронили рядом с пригожей Аннерль около могилы его матери. Я тоже поспешил туда и вел старушку-бабушку, радовавшуюся, как ребенок, но почти все время молчавшую. Когда же уланы дали третий залп над могилой Каспера, она упала мертвой. Она тоже легла в могилу рядом со своими. Да пошлет им всем Господь Бог радостное воскресенье из мертвых!

Тихонечко встанут они на пороге:
Сидят ангелочки в высоком чертоге,
Господь появится перед вами,
И вспыхнет радуга над головами.
Кто эту молитву мою не забудет,
Того господь никогда не осудит.
Аминь!

Вернувшись в столицу герцогства, я узнал, что граф Гроссингер умер, он, как мне сказали, отравился. Дома у себя я нашел письмо от него. Вот оно:

«Я очень многим Вам обязан. Благодаря Вам был обнаружен мой постыдный поступок, уже давно камнем лежавший у меня на сердце. Песню, что тогда пела старуха, я слышал от Аннерль, она не раз певала ее, Аннерль была на редкость благородная девушка. Я злой преступник, я дал ей письменное обещание жениться, она сожгла

его. Она служила в прислугах у моей старой тетушки и часто страдала припадками меланхолии. Я овладел ее сердцем с помощью лекарственных снадобий, содержащих некую магическую силу. Да простит мне Бог! Вы спасли также и честь моей сестры. Герцог любит ее, я был его фаворитом — ваш рассказ потряс его. Боже милосердный, помоги мне! Я выпил яд.

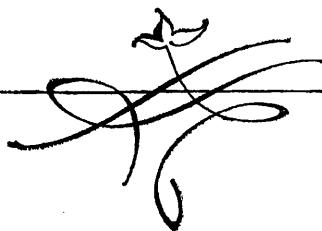
Иозеф граф Гроссингер».

Передник пригожей Аннерль, в который вцепилась зубами голова охотника Юрге, когда его обезглавили, хранится в герцогской кунсткамере. Сестру графа Гроссингера, как говорят, герцог возвел в княжеское достоинство, дав ей фамилию «Voile de grace», что значит «фата милосердия», и собирается вступить с нею в брак. По слухам, при следующем смотре войск в окрестностях Д... на деревенском кладбище на могилах обоих несчастных, павших жертвами чувства чести, будет поставлен и освящен в присутствии герцога и княгини памятник. Герцог очень им доволен; идея памятника, как говорят, принадлежит им обоим, и княгине, и герцогу. Памятник олицетворяет ложное и истинное понятие о чести — две фигуры по обе стороны креста склоняются к его подножию. Справедливость с поднятым мечом стоит по одну его сторону, милосердие — по другую — протягивает фату. По слухам, в голове справедливости находят сходство с герцогом, в голове милосердия — с княгиней.

ФРИДРИХ
ДЕ ЛА МОТТ ФУКЕ



Агский
житель



Адский житель

Однажды под вечер приехал в Венецию — всем известный итальянский торговый город — молодой немецкий купец по имени Рейхард, веселый, разбитной малый. На немецких землях в ту пору было беспокойно, ибо шла Тридцатилетняя война; поэтому молодой купец, любивший пожить в свое удовольствие, был очень рад, что дела привели его на время в Италию, где царил мир да благодать и где, как он слышал, было вдоволь редкостных вин, разнообразных сладчайших плодов, не говоря уже о прекрасных женщинах, до которых он был весьма охоч.

Он плыл, как это там принято, на небольшой лодке, что зовется гондолой, по каналам, заменяющим в Венеции обычные мощные улицы, любовался красивыми домами, а еще больше — красивыми женщинами, которые то тут, то там выглядывали из этих домов. Когда же гондола поравнялась с великолепным зданием и он увидел в его окнах не менее дюжины очаровательнейших женских головок, молодой купец сказал, обращаясь к одному из гондольеров: «Господи боже, вот выпало бы на мою долю такое счастье хоть словечком перемолвиться с одним из этих прелестных созданий!» — «Ба! — воскликнул гондольер, — за чем же дело стало! Выходите и смело поднимайтесь к ним. Там вы не соскучитесь». Но молодой Рейхард ответил: «Тебе, видать, охота дразнить чужестранцев, и ты полагаешь, я такой неотесанный, что последую твоему глупому совету, а во дворце надо мной всласть посмеются или даже, чего доброго, вовсе прогонят прочь». — «Сударь, не учите меня обычаям нашей страны, — сказал гондольер, — послушайте моего совета, поскольку этим интересуетесь, и, если вас там не встретят с распростертыми объятьями, я не возьму ни гроша за прогулку».

После этих слов молодой купец решил, что все же стоит попытать счастья, и оказалось, гондольер его не обманул. Мало того что стайка очаровательных девиц встретила чужестранца с неподдельным радушием, та, которую он счел самой прекрасной, увела его в свои покои и там потчевала такими дивными яствами, напитками и поцелуями, что в конце концов он почувствовал себя наверху блаженства. «Да я и впрямь попал в самую

расчудесную и восхитительную страну на свете,— неоднократно повторял он самому себе.— Но вместе с тем я должен без устали благодарить небо за те исключительные достоинства моего тела и души, которые оказались столь по сердцу здешним дамам».

Когда же он вознамерился покинуть этот весьма гостеприимный дом, девица потребовала у него пятьдесят дукатов и, так как он выразил свое удивление, сказала ему: «Эй, юный хлыщ, неужто вы полагали, что самая роскошная куртизанка Венеции будет радовать вас за здорово живешь? Заплатите как миленький, потому что тот, кто заранее не сторговался, должен выложить столько денег, сколько с него потребуют. Если же вы рассчитываете вскоре снова вернуться сюда, то ведите себя умнее и тогда вы сможете за ту сумму, с которой вам придется расстаться сегодня, наслаждаться хоть целую неделю».

Ах, какую досаду должен испытывать человек, который сначала вообразил, что покорила принцессу, а потом обнаружил, что всего лишь предавался с девкой гнусному разврату и притом изрядно опустошил свой кошелек! Однако молодой купец пришел в меньшую ярость, чем любой другой на его месте, поскольку радости тела занимали его в этой истории куда больше, нежели радости души, и, уплатив сколько требовалось, он велел гондольерам везти себя в винный погребок, чтобы залить вином остатки раздражения, которые в нем еще тлели.

Раз уж наш разбитной купец вступил на этот путь, он больше не испытывал недостатка в приятном обществе. День за днем проходили в попойках и кутежах в компании веселых собутыльников; исключение составлял, пожалуй, лишь армейский капитан, испанец; он хоть и участвовал во всех развлечениях этой бесшабашной братии, к которой прибился и молодой Рейхард, но обычно хранил молчание и поражал всех тревожным выражением своего мрачного лица. Но, несмотря на это, его охотно приглашали, потому что он пользовался уважением, владел, видно, большим состоянием и был готов поить своих друзей по нескольку вечеров кряду.

Конечно, молодой Рейхард больше не допускал, чтобы его так беспардонно обирали, как в день приезда в Венецию, но деньги у него все же заметно таяли, и он с большим огорчением думал, что вскоре ему придется положить конец такому немислимо сладостному существованию, если он не хочет ради ветреной жизни пустить по ветру все свое состояние.

Дружки подметили его озабоченность, тут же догадались о ее причине — такие истории частенько случались в их кругу — и взялись подтрунивать над бедолагой с пустым кошельком, который никак не мог заставить себя оторвать губы от чаши с пряным ядом. Как-то вечером испанец отвел его в сторону и с неожиданным участием увлек за собой в один из пустынных кварталов города. Молодой купец сперва было испугался, но потом рассудил: «Капитан знает, что деньгами у меня не разживешься, а вздумай он лишить меня жизни, ему сперва придется поплатиться своей, это же он сочтет, пожалуй, чересчур дорогой ценой».

Однако испанец, примостившись на фундаменте какого-то старого, обвалившегося строения, усадил рядом с собой молодого купца и завел с ним такой разговор:

— Сдается мне, мой дорогой и весьма юный друг, что вам для счастья недостает того, что меня лично стало тяготить сверх всякой меры, а именно — возможности в любое время раздобывать любую сумму денег и жить таким образом в свое удовольствие. Так вот, именно этот дар и еще многие подобные ему в придачу я готов уступить вам за небольшие деньги.

— Зачем же вам надобны эти небольшие деньги, если вы хотите избавиться от возможности получать их сколько вам заблагорассудится? — удивился Рейхард.

— Тому есть особая причина, — ответил капитан. — Не знаю, слышали ли вы о крошечных существах, называемых адскими жителями. Это черные чертики, заключенные в стеклянные колбочки. Тот, кто владеет таким чертиком, может с его помощью получить все жизненные улады и в первую очередь — деньги в любом количестве. За это адский житель приносит душу своего хозяина князю тьмы Люциферу, правда, лишь в том случае, если хозяин помрет, не успев передать колбочку в другие руки. А передать ее можно, только продав, причем за цену меньшую, чем сам за нее заплатил. Мой чертик стоил десять дукатов. Так что если вы дадите мне за него девять, он будет ваш.

Пока юный Рейхард соображал, что к чему, испанец снова заговорил:

— Я мог бы, конечно, обмануть кого-нибудь и всучить ему эту колбочку, скажем, как забавную игрушку. Ведь меня самого подобным образом провел один, бессовестный торговец. Но я озабочен тем, чтобы не отягощать еще больше свою совесть, и поэтому честно и открыто предлагаю вам эту сделку. Вы еще так молоды

и жизнелюбивы, и вам, несомненно, не раз представится случай освободиться от этого предмета, если он станет вам столь же в тягость, как мне теперь.

— Сударь, если вы не сочтете это за обиду,— ответил Рейхард,—я бы посетовал вам на то, как часто я в этом городе Венеции уже бывал обманут.

— Ах ты, глупый юнец! — сердито закричал испанец.— Вспомни-ка лучше пир, который я вам вчера закатил, и прикинь, есть ли мне резон обманывать тебя из-за каких-то девяти вонючих дукатов!

— Кто много тратит, тому много и надо,— не уступал молодой купец.— Ремесло, а не кошелек — вот золотое дно! Если бы вы вчера промотали последний дукат, то сегодня и мои жалкие девять пришлись бы вам как нельзя более кстати.

— Прости, что я тебя не заколол на месте,— сказал испанец.— Это объясняется лишь тем, что я надеюсь сплавить тебе моего адского жителя, а сам хочу принести покаяние, и мне незачем увеличивать тяжесть своих грехов.

— Могу ли я на деле испытать эту штучку? — спросил молодой купец, все еще боясь дать маху.

— Да как же это возможно! — воскликнул капитан.— Чертик служит только тому, кто купил его по всем правилам, за наличные деньги.

Молодому Рейхарду было как-то не по себе, уж очень зловеще выглядело это пустынное место, где они ночью сидели вдвоем на развалинах стены; правда; капитан заверял его, что не намерен ни к чему принуждать, ибо надеялся на отпущение грехов. А в голове Рейхарда между тем пронеслись заманчивые картины той веселой жизни, которая станет ему доступна, приобретя он адского жителя. В конце концов он решил выложить за него половину оставшихся денег, но перед этим попробовал поторговаться, чтобы выгадать хоть несколько дукатов.

— Дурак! — расхохотался капитан.— Ведь я запрошу такую высокую цену только ради твоего блага и блага того, кто купит у тебя этого чертика, иначе он очень скоро будет стоить самую мелкую монетку в мире, и тогда уже владелец колбочки никому не сможет ее продать, а значит, душа несчастного отправится прямехонько в лапы дьявола.

— Да будет вам! — приветливо воскликнул Рейхард.— Вряд ли я скоро захочу продать эту удивительную вещицу. Одним словом, не уступите ли вы мне ее за пять дукатов?

— Мне-то что! — ответил испанец. — Но учти, этим ты сильно сокращаешь срок службы чертика, а значит, приближаешь гибель чьей-то заблудшей души.

Затем, получив деньги, испанец передал молодому купцу маленькую стеклянную колбочку, и Рейхард при свете звезд разглядел, что внутри нее вьется вьюном какое-то черное существо.

Пожелав сразу же испытать свою покупку, он мысленно приказал, чтобы в его правой руке оказалась удвоенной только что потраченная им сумма, и тотчас почувствовал, что сжимает в ладони десять дукатов. Тогда он на радостях побежал назад в харчевню, где еще кутили его дружки. Все они были крайне удивлены тем, что молодой немец и испанский капитан, совсем недавно покинувшие их общество в весьма мрачном расположении духа, вернулись, да еще с сияющими лицами. Однако испанец вскорости распроштался, отказавшись от роскошного ужина, который тут же заказал, хотя было уже сильно за полночь, на всю братию молодой купец и рассчитался вперед с недоверчивым трактирщиком, а в карманах у него позвякивали золотые монеты, которые он вновь и вновь вытребывал у нечистой силы.

Тем, кто хотел бы сам обзавестись подобным чертиком, легче, чем кому бы то ни было представить себе, какой жизнью зажил с того дня наш веселый купец, потому что в душе они тоже безмерно алчны. Но и более скромные и набожные люди могут без труда вообразить, в каком вихре разгула закружился теперь бедняга Рейхард. Первым делом он позаботился о том, чтобы красавица Лукреция — этим именем, словно в насмешку, звали обольстительную куртизанку — отныне принадлежала бы за огромную мзду единолично ему; затем он купил замок и две виллы, в которых собрал предметы роскоши со всего света.

Как-то раз сидел он с прелестной греховодницей в саду одной из своих вилл, на берегу глубокого и быстрого ручья. Безрассудные молодые люди долго шалили и резвились, пока Лукреция случайно не заметила колбочку с адским жителем, которую Рейхард носил на золотой цепочке под рубашкой. Прежде чем он успел ей помешать, она в мгновение ока расстегнула цепочку и, балуясь, стала разглядывать колбу на свет. Сперва она смеялась над кувырканьем маленького черного существа, а потом вдруг завопив: «Ой, да ведь это же жаба!» — с отвращением швырнула и цепочку, и колбочку с чертиком прямо в ручей, где они тут же исчезли в бурлящей воде.

Бедняга Рейхард попытался скрыть свой ужас, чтобы любовница не принялась расспрашивать его и, чего доброго, не потащила бы еще в суд, обвинив в колдовстве. Он уверил ее, что это всего лишь иноземная диковинка, и постарался возможно скорее спровадить Лукрецию, чтобы в тишине поразмыслить о том, что теперь разумнее всего предпринять.

Так или иначе, он был владельцем замка, а также двух загородных домов, да и дукатов у него оставалось как будто немало. Чтобы это проверить, он сунул руку в карман, и как же он был радостно удивлен, когда его пальцы нащупали колбочку с адским жителем. Цепочка, видно, осталась на дне ручья, а чертик в колбочке вернул к своему хозяину.

«Эге! — воскликнул Рейхард, ликуя. — Выходит, я обладаю сокровищем, которое не может отнять у меня никакая земная сила». В порыве чувств он едва не расцеловал колбочку, но кувыркающееся там черное существо показалось ему все же чересчур омерзительным.

Если Рейхард и до этого вел веселую и беспутную жизнь, то теперь он уже не знал никакого удержа. На всех важных особ и лиц, власть предержавших, он смотрел свысока, со снисходительным пренебрежением, уверенный в том, что ни один из них не может позволить себе и половины его развлечений. В богатом торговом городе Венеции уже с трудом находили те изысканные деликатесы и редчайшие вина, которые могли бы украсить во время пиров его ломящиеся от роскошнейших яств столы. Когда какой-нибудь искренний доброжелатель бранил его, тшась образумить и наставить на путь истинный, он обычно отвечал: «Меня зовут Рейхард, и у меня столько рейхсгеллеров, что никакие траты для меня не чувствительны». Частенько он от души потешался над испанским капитаном за то, что тот добровольно выпустил из рук такое неоценимое сокровище, да к тому же, как говорили, ушел в монастырь.

Но ничто не вечно на нашей земле. Эту истину молодому купцу пришлось постичь, и весьма скоро, поскольку он чрезмерно усердствовал во всевозможных телесных насладах. Смертельная немочь сковала все его члены, несмотря на то что чертик по-прежнему был при нем. В течение первого дня своей болезни Рейхард раз десять молил его о помощи, но тщетно, исцеление не приходило. А ночью ему приснился удивительный сон.

Ему пригрезилось, что один из пузырьков с лекарствами, стоявших подле его кровати, вдруг пустился

в пляс и, подсакивая, со звоном ударял остальные пузырьки то по притертым пробкам, то по бокам. Приглядевшись попристальнее, Рейхард узнал в пляшущем пузырьке колбочку с адским жителем и тогда сказал: «Ах, чертик, чертик, на сей раз ты не только не хочешь мне помочь, но так и норовишь расколоть все мои лекарства». На что чертик хрипло запел ему из колбы:

О, милый Рейхард, слышишь ты,
Не миновать тебе беды,
Огня, углей, сковороды,
Для мертвых нет живой воды,
Ты мой навеки!..

При этом он вытягивался и уплощался и, как крепко ни стискивал Рейхард колбочку в кулаке, как ни придавливал пробку большим пальцем, все же умудрился выскользнуть наружу, превратившись в подобие большого черного человека, который уродливо, с ужимками, танцевал, поскрипывая нетопыринными крыльями, а под конец привалился своей волосатой грудью к груди Рейхарда, уткнулся гнусно ухмыляющейся рожей в его лицо, да так крепко, с такой нелюдской силой, что Рейхарду почудилось, будто он становится на него похожим, и он в отчаянии завопил благим матом: «Зеркало! Подайте зеркало!»

Он проснулся в холодном поту, и ему приметилось, что черная жаба весьма проворно проскакала по его груди и скрылась в кармане ночной сорочки. Он с ужасом сунул туда руку, но вытащил лишь колбочку, в которой дремало, притомившись, маленькое черное существо.

Ах, каким долгим показался больному остаток ночи! Он не решался довериться сну, боясь нового прихода черного гостя, но и открыть глаза он не решался из страха, что мерзкая нелюдь затаилась в углу спальни. Рейхард лежал с сомкнутыми веками и думал, что нечистая сила подкралась к нему вплотную. И он в ужасе вскакивал. Он звонил в колокольчик, вызывая слуг, но они, видно, спали как убитые, а красавица Лукреция с тех пор, как он занемог, не появлялась в его покоях. Так лежал он один со своими страхами, которые все возрастали от одной неотвязной мысли, вертевшейся у него в голове: «Боже, раз уж этой ночи нет конца, какой же долгой окажется вечная ночь ада!» И Рейхард решил, что, если Господь во благости своей даст ему дожить до утра, он во что бы то ни стало избавится от адского жителя.

Когда наконец рассвело, Рейхард, несколько окрепший и взбодренный утренним светом, задумался над тем, разумно ли он использовал адского жителя. Замок, виллы и всевозможные драгоценности показались ему недостаточным богатством, и он тут же потребовал себе мешок дукатов, и, обнаружив его у себя под подушкой, он успокоился и стал соображать, кому бы лучше всего продать колбочку с чертиком. Его врач, как он знал, был большим любителем разных заспиртованных уродцев, и он рассчитывал продать ему адского жителя под видом такого редкостного препарата, иначе доктор, человек набожный, и в руки бы не взял эту мерзопакость. Конечно, поступив таким образом, он сыграет с доктором злую шутку, но Рейхард рассуждал так: «Лучше я искуплю небольшой грех в чистилище, чем на веки вечные буду отдан во власть сатане. Кроме того, как говорится, своя рубашка ближе к телу, и то, что я смертельно болен, вынуждает меня действовать безотлагательно».

Что решено, то и сделано. Рейхард предложил лекарю купить у него пресловутую колбочку. Чертик, видно, отдохнул, снова ожил и так забавно вился вьюном, что ученый муж, желая всесторонне изучить этот уникальный феномен природы, каковым он почел адского жителя, согласился его приобрести, при условии, что цена не окажется слишком высокой. Чтобы хоть в какой-то мере успокоить свою совесть, Рейхард запросил как можно больше, а именно: четыре дуката, два талера и двадцать грошей в немецких деньгах. Доктор же не давал больше трех дукатов и в конце концов заявил, что должен несколько дней подумать. Тут бедного купца снова охватил смертельный страх; он отдал адского жителя за три дуката и велел слуге раздать эти деньги нищим. Однако те деньги, которые лежали у него под подушкой, он берег как зеницу ока, в заблуждении своем полагая, что на них зиждется все его дальнейшее благополучие.

Болезнь тем временем совсем его скрутила. Он лежал весь в жару и бредил, а если бы сердце его было еще угнетено мыслью об адском жителе, то приступы душевного страха несомненно свели бы его в могилу. А так он все же в конце концов стал кое-как выкарабкиваться из болезни, и окончательное его выздоровление задерживалось только из-за тревоги, с которой он думал о своих дукатах, ибо, как только к нему вернулось сознание, он обнаружил, что мешка под подушкой больше не было. Поначалу ему не хотелось никого о них расспрашивать, когда же он на это решился, все в ответ только возмути-

лись. Тогда он послал за красавицей Лукрецией, которая, по слухам, находилась при нем, когда он был при смерти и лежал без сознания, а теперь вернулась к своим подругам и предалась прежним занятиям. Однако она велела ему передать: пусть он оставит ее в покое. Говорил ли он ей или еще кому-либо о спрятанных дукатах? Этого никто не знал, скорее всего, эти дукаты привиделись ему в горячке.

Мрачно настроенный, встал Рейхард с одра болезни и принялся обдумывать, как ему поскорее продать замок и виллы, но тут вдруг к нему вошли какие-то люди и предъявили купчие на всю его недвижимость. Бумаги были им собственноручно подписаны и припечатаны его печатью, ибо в дни своего разгула он, желая потрафить Лукреции, подарил ей незаполненные купчие, на которых шутки ради поставил свои печать и подпись. И вот, еще не набравшись как следует сил, он вынужден был сложить то небольшое, что ему тут еще принадлежало, и чуть ли не нищим покинуть свой бывший дом.

В довершение всего появился доктор, и выражение лица его не предвещало ничего хорошего.

— Послушайте, господин доктор, — раздраженно сказал молодой купец. — Коль скоро вы, наподобие ваших коллег, принесли мне огромный счет за лечение, то дайте в придачу и порошок яда, потому что ежели я сегодня съем последний ломоть хлеба, завтра мне не на что будет купить другой.

— Не беспокойтесь, — серьезно сказал лекарь. — Я дарю вам всю стоимость вашего лечения. Только за одно лекарство, столь необходимое для вашего окончательного выздоровления — я уже поставил его в ваш шкаф, — уплатите мне два дуката. Согласны?

— Да, с полным удовольствием! — воскликнул Рейхард и отдал деньги доктору, который тут же отправился восвояси.

Когда Рейхард протянул руку, чтобы взять лекарство, его пальцы коснулись колбочки с адским жителем. К горлышку была прикреплена записка следующего содержания:

«Я исцелить тебя хотел,
Ты погубить меня решил,
Твою я подлость разглядел,
Обман обманом завершил.
Прими свой дьявольский флакон —
Залогом ада служит он.
За эту хитрость простака
Тебе мученья на века!»

Конечно, молодой Рейхард сильно испугался, что снова купил адского жителя, да еще за такую малую цену. Но и кое-какую радость это ему тоже доставило. Он определил заранее, что не будет шепетилен, изыскивая способ отделаться от злосчастной колбочки, и даже решил воспользоваться ею, дабы отомстить мошеннице Лукреции.

И вот как Рейхард начал осуществлять свое намерение: прежде всего он вытребовал себе в карманы в два раза больше дукатов, чем находилось в мешке под подушкой. Это оказалось такой тяжестью, что он еле волочил ноги и ходил, пригнувшись к земле. Тогда он сдал свой огромный капитал на хранение адвокату, жившему по соседству, и получил расписку по всей форме. Себе же он оставил только сто двадцать золотых монет, с которыми и отправился в веселый дом к распутной Лукреции. Там, как и положено, шла гульба, пили, играли, дурачились, кто во что горазд. В общем, все было, как и несколько месяцев тому назад, и Лукреция весьма приветливо приняла молодого купца, поняв, что он при деньгах. Рейхард с помощью адского жителя увеселял всех разнообразными фокусами, а потом показал своей удивленной любовнице колбочку, сказав, что это, конечно, не та, которую она кинула в бурный ручей, а другая, и что таких безделиц у него полным-полно. Так уж устроены женщины, Лукреции тут же захотелось занять такую игрушку, а когда хитрый купец как бы в шутку потребовал за нее деньги, она, не долго думая, дала ему дукат. Сделка состоялась, и Рейхард поспешил уйти, чтобы взять у адвоката часть оставленных на хранение денег. Однако получать там оказалось нечего. Адвокат при виде купца сделал большие глаза и изобразил крайнее изумление: он-де никогда не знал этого молодого человека. Когда же Рейхард извлек из кармана расписку, то оказалось, у него в руках чистый лист бумаги. Дело в том, что адвокат написал расписку хитрыми чернилами, которые по прошествии нескольких часов бесследно испаряются. Таким образом молодой Рейхард снова обеднел, и ему пришлось бы жить подаянием, не завались у него в кармане штук тридцать дукатов, которые он не успел растратить во время роскошного пира у Лукреции.

У кого короткая кровать — спит скрючившись; у кого вовсе нет кровати — спит на земле; кто не может содержать выезд — ездит верхом; у кого нет лошади — ходит пешком... После нескольких дней праздного шатанья

Рейхард смекнул, что таким образом он вскоре и вовсе порастрясет все свои деньги и что ему пора наконец решиться стать из купца коробейником.

Чтобы заняться этим делом, необходимо было приобрести короб с кое-каким товаром для продажи, на что он и потратил оставшиеся у него монеты, причем за каждую вещьцу платил на круг по четыре гроша в пересчете на немецкие деньги. Ох, как тошно было ему перекинуть через плечо ремень короба и предлагать свой товар на тех самых улицах, где он еще три недели назад так горделиво красовался! И все же, шагая по улицам целый день напролет, он не падал духом, потому что от покупателей отбою не было, и многие платили ему даже больше, чем он решался запросить. «Какой все-таки это хороший город,— думал он.— Если дело и дальше так пойдет, я смогу упорным трудом за короткий срок снова сколотить себе состояние. Тогда я вернусь в Германию и проживу вполне благоразумно, коль скоро уж я так обжегся и угодил прямо в лапы проклятого исчадия ада, но все же благодаря своему уму и находчивости сумел вырваться».

Подобными мыслями он тешил себя вечером на постоялом дворе, когда снял с плеча тяжелый короб. Его тут же обступили несколько любопытных постояльцев, и один из них спросил:

— Что это у вас там за странная зверушка, которая так потешно кувыркается в бутылочке?

Рейхард с ужасом поглядел в короб и только сейчас увидел, что среди всевозможных безделушек, которые он разом приобрел для торговли, была и ненавистная колбочка с адским жителем. Он тут же предложил любопытному купить ее за три гроша — ведь сам он отдал за нее всего четыре,— потом столь же поспешно стал предлагать ее и другим постояльцам за ту же цену. Однако все они испытывали отвращение к черному уродцу, а Рейхард не смел им объяснить, на что эта штука может сгодиться, и так как он продолжал всем упорно навязывать свой мерзкий товар, не давая никому и слова вымолвить, то надоедливый коробейник вместе с его коробом и черным гадом быстро выставили за дверь.

Со страхом в душе кинулся он к человеку, который продал ему короб с товаром, и потребовал, чтобы тот забрал назад чертика за более низкую цену. Но разбуженный им продавец никак не мог взять в толк, что именно от него хотят, и в конце концов сказал, что если эта поганая бутылочка должна непременно вернуться

к своему прежнему хозяину, то пусть отправится к девице Лукреции, поскольку она продала ему этот предмет вкупе с другими игрушками, а он просит дать ему возможность спокойно поспать.

«Боже праведный,— глубоко вздохнул Рейхард,— если бы я мог так спокойно спать!» Пока он бегом пересекал большую площадь, чтобы попасть в дом Лукреции, ему чудилось, что кто-то с легким шуршанием бежит за ним следом и то и дело хватает его за шиворот. Исполненный ужаса, вбежал он в дом известного ему по прежним временам черного хода. Подлая красotka еще сидела за веселым ужином с двумя новыми любовниками. Сперва они накинулись на бесцеремонного корабейника, затем разобрали почти весь его товар в подарок куртизанке, которая, узнав Рейхарда, принялась потешаться над ним. Однако адского жителя купить никто не желал. Когда же он настойчиво попытался его всучить, Лукреция сказала:

— Фу, убирайся отсюда с этой пакостью! У меня эта штучка уже была, и я испытывала к ней непрестанное отвращение. Поэтому я и продала ее за несколько грошей такому же оборванцу, как и этот мошенник, который недавно подсунил мне ее за дукат.

— погоди, заклинаю тебя твоим земным счастьем! Ты не ведаешь, от чего ты отказываешься, Лукреция, упрямая красotka!.. Разреши мне пять минут поговорить с тобой с глазу на глаз, и ты наверняка снова купишь у меня эту колбочку.

Она отошла с ним в сторонку, и он открыл ей невероятную тайну адского жителя. Но в ответ Лукреция стала вопить и ругаться пуще прежнего.

— Ты что, на смех меня выставляешь, жалкий нищий,— зашлась она в крике.— Будь это правдой, ты попросил бы у сатаны чего-нибудь получше, чем короб на ремне. Убирайся отсюда вон! А если будешь упираться, я донесу на тебя как на колдуна и черного мага. Пусть тебя живьем сожгут за твое дурацкое бахвальство!

И тут оба любовника, чтобы угодить своей страсти, набросились на молодого купца с кулаками и спустили его с лестницы. Рейхард вне себя от ярости из-за этой унижительной сцены, от страха, что его взаправду сожгут как черного мага, не чаял, как бы поскорее убраться из Венеции. На следующее утро он уже вышел за пределы венецианских земель и прямо от пограничного столба принялся кочить этот город на чем свет стоит, считая его повинным во всех своих злоключениях.

Адский житель по-прежнему валялся у него на дне короба, и когда Рейхард, гневно жестикулируя, случайно коснулся его рукой, тот воскликнул:

— Ну, ладно же, вредная тварь, мне ты все-таки принесешь пользу, а именно тем, что сам поможешь мне поскорее от тебя избавиться!

И тотчас он вытребовал себе немислимое количество денег, куда больше, чем в прошлый раз, и поплелся, еле неся на себе сюртук с отяжелевшими карманами, в ближайший город. Там он купил роскошную коляску, нанял кучера, лакеев и с шиком покотил в столицу Италии, город Рим, уверенный, что там-то, в столичной кутерьме, среди множества людей со столь различными желаниями и пристрастиями он с легкостью избавится от адского жителя. Как только Рейхард тратил дукаты, он тут же повелевал возмещать их ему с тем, чтобы к моменту продажи колбочки у него оставалась вся сумма сполна.

Ему казалось, что это лишь ничтожная награда за тот страх, который он терпел все последнее время. Ибо мало того, что теперь почти каждую ночь омерзительный черный человек, привидившийся ему в том первом страшном сне, вновь посещал его и приваливался к его груди. Рейхард с тревогой замечал, что дьявольское отродье день ото дня все озорнее кувыркается в своей колбе, словно добыча у него уже в руках и он ликует, предчувствуя скорое окончание своей службы.

Благодаря своему богатству и расточительности молодой купец был сразу принят высшим римским обществом, но он, охваченный все растущим ужасом, не мог дожидаться удобного случая, чтобы продать адского жителя. Всем без разбора, с кем только случайно заводил разговор, он пытался всучить его всего за три гроша немецкими деньгами, прослыл вскоре безумцем и стал всеобщим посмешищем. Однако деньги приносят уверенность и собирают вокруг тебя друзей. Богатого купца повсюду охотно принимали, но, как только он заводил речь о колбочке и трех грошах, его собеседник вежливо кивал и, посмеиваясь, норовил поскорее от него отделаться, поэтому Рейхард часто говаривал себе: «До того досадно, что хоть к черту в пекло лезь, но, увы, ты и так одной ногой уже там».

Наконец его охватило такое отчаяние, что дольше оставаться в городе Риме было ему уже невозможно, и он принял решение попытать счастья на войне, быть может, там ему удастся освободиться от адского жите-

ля. Он прослышал, что два маленьких итальянских княжества повздорили друг с другом, и всерьез стал готовиться к тому, чтобы примкнуть к одной из воюющих сторон. В нарядной, украшенной золотом кирасе, в великолепной шляпе с пером, с двумя отменными охотничьими ружьями, острым сверкающим мечом и двумя богато изукрашенными кинжалами он выехал из городских ворот на рослом испанском жеребце в сопровождении трех хорошо вооруженных слуг на добрых конях.

Какой кавалерийский капитан откажется принять в свой эскадрон такого вооруженного до зубов воина, который к тому же не требует жалованья? Бравый Рейхард был немедленно зачислен в бравый отряд и прожил некоторое время в военном лагере, предаваясь столь приятным выпивкам и игре в кости, что страх, леденивший его душу из-за адского жителя и кошмарных ночных видений, несколько поутих. Умудренный печальным опытом неудач в Риме, он поостерегся назойливо предлагать свой кромешный товар, даже словом об нем не обмолвился ни с одним из новых товарищей, чтобы легче было потом мимоходом, как бы в шутку заключить сделку.

И вот в одно прекрасное утро с ближних гор донесли звуки разрозненных выстрелов. Солдаты, игравшие с Рейхардом в кости, прислушались; тотчас трубачи проиграли боевую тревогу. Все быстро вскочили в седла и в боевом порядке на рысях помчались к подножью горы. Пехотинцы враждующих сторон, окутанные пороховым дымом, уже вступили в рукопашные схватки. На равнине показались первые вражеские всадники. У Рейхарда сердце радовалось, что его испанский жеребец громко ржал и так играл под ним, оружие весело позвякивало, ротные выкрикивали команды, трубы трубили. Вражеские конники ринулись наперерез, чтобы помешать продвижению отряда, но отступили, обнаружив явное превосходство противника, и Рейхард со своими тремя слугами был среди первых, кто устремился вслед за врагом, ликуя, что они преследуют отступающих, что враг их боится. И вдруг что-то засвистело над их головами, кони взвились на дыбы, засвистело вторично, и один из всадников, сраженный ядром мортиры, окровавленный, рухнул наземь вместе со своим конем. Тогда Рейхард решил: «В куче безопасней» — и хотел было поскакать назад, но с удивлением обнаружил, что весь отряд скачет почти рядом с ним, прямо под удары мортирных ядер. Некоторое время несся наш новоявленный воин вместе со всеми, но когда слева и справа по лугу

запрыгали тяжелые ядра, а вражеские всадники с пиками наперевес тучей помчались на них, он подумал: «Ах, сколь я был неразумен, отправившись сюда! Здесь я куда ближе к смерти, чем даже на одре болезни, вот пробьет меня насквозь одна из этих проклятых свистящих бестий, и я навеки стану добычей адского жителя и его хозяина сатаны». И не успел он додумать это до конца, как разом повернул вспять своего испанского скакуна и бешеным галопом понесся в сторону видневшегося неподалеку леса.

Он скрылся под сенью высоких деревьев и, не пытаясь найти ни дороги, ни тропинки, а лишь все время давая шпоры коню, так загнал его, что тот в конце концов остановился в изнеможении. Тогда Рейхард, тоже обессилевший, спешился, снял кирасу и оружие, расседлал взмыленного жеребца и, растянувшись на траве, сказал самому себе: «Да, не очень-то я гожусь в солдаты, во всяком случае, с адским жителем в кармане!» Он хотел было поразмыслить над тем, что ему дальше предпринять, но вместо этого погрузился в глубокий сон.

Прошло несколько часов, прежде чем до его слуха донеслись гул голосов и шорох приближающихся шагов, однако ему решительно не хотелось прерывать своего приятного забвения в прохладной лесной тени, он как бы отринул от себя эти звуки, как вдруг чей-то громовой голос загремел над самым его ухом:

— Ты уже околел, черт тебя возьми? Только сразу отвечай, чтобы зря не тратить пороха.

Открыв глаза, Рейхард, разбуженный столь грубым окриком, увидел, что в грудь его направлен ствол мушкета, который держал в руках пехотинец весьма мрачного вида. Вокруг стояли еще несколько вражеских солдат, уже разобравших все его имущество — оружие, коня и дорожный баул. Рейхард запросил пощады, а потом закричал дурным голосом, ибо душу его заледенил страх: если им уж так непременно надобно его пристрелить, то пусть они хоть купят у него колбочку, которая лежит в правом кармане куртки.

— Дурак, — расхохотался один из солдат. — На кой дьявол мне у тебя что-либо покупать, когда я могу просто отнять! — Сказав это, он тут же вытащил адского жителя и сунул его себе за пазуху.

— Да Бога ради! — воскликнул Рейхард. — Если бы только эта штукавина у тебя осталась! Но имей в виду, если ты ее не купишь, тебе ее не сохранить.

Солдаты рассмеялись и, прихватив все награбленное и коня, пошли своей дорогой, нимало не заботясь о Рейхарде, показавшемся им придурковатым малым. А он сунул руку в карман и, конечно, нащупал там проклятую колбочку. Тогда он окликнул ушедших и показал им издалека маленького уродца. Тот солдат, что отнял колбочку, удивленно сунул руку за пазуху и, ничего там не обнаружив, побежал назад, чтобы взять ее снова.

— Я же говорю,— огорченно вздохнул Рейхард,— что так тебе это не сохранить. Дай мне хоть несколько грошей...

— Ловкий же ты фокусник! — ухмыльнулся солдат.— Но тебе не удастся выманить ни монетки из заработанных мною денег.

И он побежал догонять товарищей, бережно сжимая колбочку в кулаке, но вдруг он остановился и воскликнул:

— Тысяча чертей, я все-таки ее обронил!

Пока он искал свою пропажу в траве, Рейхард крикнул ему:

— Эй ты, беги сюда, она опять у меня в кармане!

Убедившись, что колбочка каким-то непостижимым образом все время возвращается к своему владельцу, солдат загорелся желанием во что бы то ни стало заполучить этого забавного уродца, который — как обычно, когда его пытались продать,— весело и радостно кувыркался, потому что каждая новая сделка, естественно, приближала конец его службы. Однако три гроша солдат счел слишком высокой ценой, и тогда Рейхард, дрожа от нетерпения, сказал:

— Будь по-твоему, сквалыга, мне все едино, давай грош и бери свою покупку.

Сделка была заключена, деньги уплачены, чертик передан из рук в руки. Пока солдаты стояли, разглядывая забавную игрушку и потешаясь над ней, Рейхард стал размышлять о своем дальнейшем житье-бытье. Ни что больше не отягощало его душу, но и карман тоже, и он решительно не знал, куда теперь двинуться и чем заняться, потому что вернуться в эскадрон, где остались его слуги, лошади и сумка с деньгами, он не смел. Отчасти потому, что стыдился своего позорного бегства, отчасти из опасения, что его по праву военного времени пристрелят как дезертира. Тогда он подумал, не увязаться ли ему за обобрававшими его солдатами, чтобы поступить к ним в отряд. Из их разговоров он понял, что

они воюют на стороне противника, следовательно, там его никто не знает. Освободившись же от адского жителя, а тем самым и от денег, он теперь был вполне расположен, несмотря на не очень-то удачное начало своей военной карьеры, рисковать жизнью, уповая на богатые трофеи. Рейхард высказал вслух свое желание, солдаты согласились, и он отправился со своими новыми товарищами в их лагерь.

Капитана не пришлось долго уговаривать, чтобы он принял в отряд такого рослого и крепкого парня, и Рейхард на некоторое время стал наемным солдатом. Однако частенько ему бывало как-то муторно на душе. После того сражения наступило полное затишье, потому что между княжествами велись мирные переговоры. Смерть теперь никому не угрожала, но зато не было и возможности ни разжиться на грабежах, ни захватить богатые трофеи. Приходилось тихо и мирно пребывать в лагере, получая скудное солдатское жалованье и тощее довольствие. К этому надо еще добавить, что большинство наемников сумели в предыдущих боях нахватать изрядно всякого добра, и Рейхард, некогда столь избалованный молодой купец, был, пожалуй, единственным, кто влачил чуть ли не нищенское существование среди множества солдат, живущих прямо-таки по-царски. Неудивительно, что такая жизнь стала ему вскоре претить, и, когда он впервые получил свое ничтожное месячное жалованье, которого было слишком мало, чтобы жить в свое удовольствие, но все же слишком много, чтобы отказать от всякой надежды, он решил отправиться в шатер маркитанта, попытаться, не окажется ли он более везучим в игре в кости, нежели в торговле и военных делах.

Игра шла своим обычным причудливым манером: он то выигрывал, то проигрывал, и так до глубокой ночи, причем вино лилось рекой. Но в конце концов фортуна отвернулась от полупьяного Рейхарда; он проиграл все свое жалованье, и никто не захотел больше ссудить ему ни геллера. Он вывернул все свои карманы и, ничего там не найдя, полез в патронташ, где были только одни патроны. Он их вынул и предложил в виде ставки; игра продолжалась и, только когда кости были брошены, захмелевший Рейхард узнал в своем противнике того самого солдата, который купил у него адского жителя и теперь с его помощью все время выигрывал. Рейхард хотел было крикнуть: «Стоп!», но кости уже лежали на столе, и он опять проиграл. Бормоча проклятья, покинул

он общество игроков и побрел в темноте к своей палатке. Его приятель, который тоже проигрался в лоск, но был менее пьян, чем Рейхард, взял его под руку. Дорогой он спросил, есть ли у него в палатке запасные патроны?

— Нет! — воскликнул разъяренный Рейхард. — Будь они у меня в запасе, я бы сбегал за ними, чтобы продолжить игру!

— Тогда ты должен поскорее добыть себе новые патроны, ибо, если комиссар, приехав для проверки, обнаружит, что у наемного солдата пустой патронташ, он тут же прикажет его расстрелять.

— Проклятье!.. Какая глупость! — бранился Рейхард. — У меня нет ни патронов, ни денег!

— Не горюй, парень, — утешал его приятель. — Раньше начала будущего месяца комиссар вряд ли придет.

«Ну, тогда не беда, — думал Рейхард, — за это время я успею еще раз получить жалованье и куплю вдоволь патронов». На этом они пожелали друг другу доброй ночи, и пьяный Рейхард пошел отсыпаться в свою палатку.

Только он улегся на солому, как у палатки раздался голос капрала:

— Эй вы, завтра поутру проверка. На рассвете в лагерь прибывает господин комиссар!

Тут с Рейхарда слетел всякий сон. Мысль о патронах не выходила из его хмельной головы. Он принялся в панике опрашивать соседей по палатке, не согласится ли кто-нибудь ссудить ему несколько патронов или продать их в долг, но они обругали его ночным буяном и велели проспать. В жутком страхе от того, что утром ему не миновать расстрела, он стал судорожно искать, не завалилась ли какая-нибудь монетка в его вещах, спрятанных в походном мешке, но нашел всего пять геллеров. Зажав их в горсти, бегал он неверными шагами от палатки к палатке в надежде купить патроны. Одни встречали его смехом, другие бранью, но никто даже не ответил на его просьбу. Так метался он по лагерю, пока наконец не оказался вблизи палатки, откуда до него донесся голос того самого солдата, который выиграл патроны.

— Эй, приятель! — крикнул Рейхард с мольбою. — Если ты мне не поможешь, я пропал! Вчера я просадил тебе все, что имел, а до этого ты меня тоже ободрал как липку. Если завтра утром я не предъявлю комиссару патроны в патронташе, он велит меня расстрелять,

и ты один будешь виноват в моей смерти. Поэтому подари мне несколько патронов, или одолжи, или продай!..

— Я дал себе зарок никому ничего не дарить и не одалживать,—отвечал наемник,— но, чтобы ты отвязался от меня, я готов продать тебе патроны. Сколько у тебя осталось денег?

— Всего пять геллеров,— печально ответил Рейхард.

— Так вот,— сказал солдат,— можешь убедиться, что я добрый товарищ; я дам тебе за твои пять геллеров пять патронов, а сейчас тебе пора на боковую, и перестань будить лагерь.

Не выходя из палатки, наемник протянул Рейхарду пять патронов, тот сунул ему деньги, потом отправился восвояси и преспокойно проспал до утра, поскольку страх его больше не мучил.

Ожидаемый смотр состоялся, и Рейхард кое-как обошелся со своими пятью патронами; к полудню комиссар отбыл и солдаты вернулись в лагерь, но в палатках от палящего солнца было нестерпимо жарко, и все товарищи Рейхарда отправились убивать время в шатер маркиганта, а он остался в одиночестве у пустого стола с ломтем казенного хлеба в руках, недужный с похмелья и от волнений нынешнего утра. «Эх,— вздохнул он,— был бы у меня сейчас хоть один из тех дукатов, которые я в свое время так глупо растранижил». Едва он успел это пожелать, как на ладони его левой руки оказался новенький блестящий дукат. Мысль об адском жителе молнией пронзила его мозг, полностью омрачив радость обладания увесистой золотой монетой. Но тут в палатку вбежал встревоженный солдат, тот самый, что продал ему ночью патроны.

— Послушай, друг,— сказал он,— флакончик с черным акробатиком — ну, знаешь, который я купил у тебя в лесу,— исчез. Может, я тебе его случайно отдал вместо патрона? Я завернул его в бумагу и сунул в патронташ.

Рейхард в ужасе стал шарить в своем патронташе, и, когда он снял обертку с первого же патрона, в руках у него оказался адский слуга в своей узкой колбочке.

— Ну, слава Богу,— сказал солдат,— мне бы не хотелось лишаться этой штучки, как ни отвратительна она на вид; мне кажется, она приносит мне особое счастье в игре в кости. На, приятель, возьми свой геллер и верни мне эту черную тварь.

Рейхард поторопился выполнить его просьбу, и наемник с удовлетворенным видом направился прямехонько к маркитанту.

А бедный Рейхард просто места себе не находил с той самой минуты, как он вновь увидел адского жителя и даже держал его в руках; более того, ведь оказалось, что он, не ведая того, все утро носил его при себе. Ему чудилось, что из всех темных углов палатки глядит на него, ощерившись, сам сатана, и, возможно, он и сегодня душил его во сне. Полученный дукат Рейхард в испуге выбросил, хотя ему так нужно было бы чем-нибудь подкрепиться, и в конце концов боязнь, что адский житель, находясь столь близко от него, может снова к нему перекочевать, погнала его вон из лагеря, навстречу сгущающимся сумеркам, в густой лес, где он, истерзанный страхом и усталостью, рухнул как подкошенный на глухой поляне. «Ох,— вздохнул он, изнемогая от жажды,— мне бы хоть фляжку с водой, не то я умру». И в тот же миг рядом с ним оказалась желанная фляжка. Только жадно отпив залпом несколько глотков, он стал прикидывать, откуда же она тут взялась. И ему сразу пришел на ум адский житель. С трудом заставил он себя сунуть руку в карман и, нащупав там проклятую колбочку, впал, убитый отчаянием, в забытье.

И снова Рейхарду приснился его обычный омерзительный сон: адский житель начинает удлиняться, вылезает из колбочки и, гнусно ухмыляясь, притискивается к его груди. Рейхард хотел было запротестовать — ведь чертик ему уже не принадлежал, но адский житель, осклабясь, проговорил: «Ты купил меня за геллер и продал за геллер, а должен был продать дешевле, значит, сделка недействительна».

Обливаясь холодным потом, Рейхард вскочил на ноги, и ему показалось, что он видит какую-то черную тень, которая, стремительно уменьшившись, юркнула в тот его карман, где лежала колбочка. Он пришел в неистовство, схватил колбочку и, пробежав несколько шагов, швырнул ее вниз со скалистого обрыва, но она тут же снова оказалась у него в кармане.

— О, горе мне, горе! — кричал Рейхард в ночном лесу. — Отовсюду, даже со дна ручья, возвращался ко мне адский житель, я не мог его лишиться, он был для меня настоящим сокровищем; а теперь он стал моей бедой, и боюсь, на веки вечные!.. — И он очертя голову кинулся бежать, не разбирая дороги, продираясь в тем-

ноте сквозь густые заросли, спотыкаясь о камни, нале-
тая на стволы деревьев, и при каждом шаге в его кар-
мане позвякивала колбочка с адским жителем.

К рассвету он выбрался наконец на веселую светлую
поляну. Тоска сжимала его сердце, но вдруг в нем про-
будилась надежда, что вся эта чертовщина всего лишь
приснившийся кошмар, а колбочка в его кармане не
более чем обычная стеклянная бутылочка. Рейхард по-
спешно вытащил ее и принялся разглядывать в ярком
свете взошедшего солнца. Боже, как весело вился вью-
ном черный чертенок, освещенный такими приветливыми
солнечными лучами, как призывно протягивал он к не-
му свои уродливые, словно железные клещи, лапки!
Громко вскрикнув, уронил Рейхард колбочку наземь, но
она тут же снова зазвякала у него в кармане.

Прежде всего теперь надобно было найти у кого-ли-
бо монетку меньшего достоинства, нежели геллер; но
где в этих краях раздобудешь такую? И Рейхард поте-
рял всякую надежду продать омерзительную тварь, ко-
торая вскорости грозила стать его господином. Брать
деньги у нечистой силы он больше не желал, дикий
страх лишал его сил и разума заняться каким-нибудь
делом, и он бродил по Италии из конца в конец, прося ми-
лостыню. Поскольку вид у него был совсем потерянный и
к каждому встречному он приставал с вопросом, нет ли
у него монетки в полгеллера, его повсюду считали сумас-
шедшим и прозвали Полугеллером; под этой кличкой он
и стал вскоре широко известен по всей стране.

Говорят, что коршуны так упорно летят вслед за ко-
сулями или дикими козами, что в конце концов до смер-
ти загоняют несчастных животных, которые в панике
бегут по лесам и долам, все время чувствуя за собой
неотвязно преследующего их уродливого и злобного вра-
га. Нечто подобное переживал наш бедный Рейхард,
все время таская в кармане вредоносное сатанинское от-
родье. Я не стану рассказывать вам больше о его долгом
и бессмысленном бегстве, ибо это было бы слишком
жалостливо и печально, скажу только, что месяц за ме-
сяцем проходили для него в ужасных страданиях и мы-
тарствах. Однажды он заблудился в горах; обессилен-
ный, недвижимо сидел он подле родника, тоненькой
струйкой сбегаящего с мшистой скалы и, казалось,
с сочувствием дарящего ему свою прохладу. Вдруг Рей-
хард услышал звонкое цоканье подков по каменной
тропе и увидел, что к нему скачет на рослом гривастом
вороном жеребце могучий, с устрашающе уродливым ли-

цом всадник в роскошной одежде кроваво-алого цвета. Он осадил коня и спросил Рейхарда, который аж содрогнулся, почуяв недоброе:

— Чего пригорюнился, парень? Ты по виду купец и, может, заплатил за какой-нибудь товар слишком дорого?

— О нет, скорее слишком дешево,— ответил Рейхард тихим дрожащим голосом.

— И я так полагаю, любезный купец! — воскликнул всадник с омерзительным смехом.— Уж не продаешь ли ты часом одну безделку, которая зовется адским жителем? Надо думать, я не ошибусь, приняв тебя за безумного Полугеллера?

Бедный малый едва смог пролепетать «нет» побелевшими от страха губами, ожидая, что плащ всадника вот-вот превратится в перепончатые крылья с кровавыми прожилками, да и вороной жеребец станет вдруг крылатым, в его дьявольском оперении запылают адские угольки, и выходцы преисподней улетят, прихватив с собой его погибшую душу, обреченную отныне на вечные муки.

Однако всадник сказал более мягким голосом и с менее безобразными ужимками:

— Я догадываюсь, за кого ты меня принимаешь. Утешься, я не он. Более того, быть может, я смогу тебя от него уберечь, ведь я уже много дней разыскиваю тебя, чтобы купить адского жителя. Правда, ты чертовски мало за него заплатил и сам я не могу найти еще меньшую монетку. Но послушай меня и сделай все, как я велю. По ту сторону горы живет князь, беспутный молодой человек. Завтра, во время охоты, я заманю его в глубь леса, подальше от свиты и напущу на него чудовище. Оставайся здесь до полуночи, а потом, как только луна окажется над гребнем той высокой скалы, иди размеренным шагом по этому ущелью, придерживаясь левой стороны. Не спеши, но и не мешкай в пути, и ты придешь как раз к тому времени, когда князь окажется в лапах чудовища. Бесстрашно бросайся на помощь князю, чудовище отступит перед тобой и свалится с крутого берега в море. А затем проси у исполненного благодарности князя, чтобы он велел отчеканить несколько монет в полгеллера, потом разменяешь мне геллер, и за одну из них я куплю у тебя адского жителя.

Так сказал страшный всадник и не спеша отъехал, скрывшись в густых зарослях.

— А где я тебя найду, когда у меня будет полгеллера? — крикнул ему вслед Рейхард.

— У Черного колодца! — ответил ему издали всадник. — Тут каждая кумушка знает, где он находится. Медленной, размашистой рысью унес уродливый жеребец своего уродливого седока.

Человек, который, можно сказать, все проиграл, готов на любой риск; поэтому Рейхард, в своем безысходном отчаянии, решил последовать совету устрашающего всадника.

Наступила ночь, взошла красноватая луна и, медленно ползя по небосводу, добралась наконец до гребня той высокой скалы. И тогда наш бедный странник поднялся и, дрожа от страха, пустился в путь. Ущелье было мрачным и темным, редкий луч луны проникал сюда из-за островерхих утесов, громоздящихся с обеих сторон, из теснины поднимался тяжкий смрадный дух, словно из могилы, но помимо этого ничто не навевало жути. Желания задерживаться в пути у Рейхарда не было никакого, скорее хотелось спешить, но и этого он себе не позволял, точно выполняя все указания всадника, ибо был исполнен решимости не оборвать по своей вине ни одной из ниточек, связывающих его со светом и надеждой.

После нескольких часов ходьбы на темной дороге стал появляться розоватый отсвет загорающейся зари, и свежий, бодрящий ветерок подул ему в лицо. Когда он стал подниматься из глубокого ущелья и собрался было насладиться прохладой утреннего леса, куда его вывела тропа, да голубым мерцанием виднеющегося вдали моря, его всполошил чей-то испуганный крик. Он огляделся по сторонам и увидел, что некая мерзкая тварь прижала к земле молодого человека в богатой охотничьей одежде. Первым движением Рейхарда было поспешить на помощь; однако, когда он разглядел эту тварь как следует и обнаружил, что она подобна огромной, гнусного вида обезьяне, у которой к тому же на голове красовались могучие ветвистые оленьи рога, мужество покинуло его и он был готов пренебречь жалобными мольбами распростертого на земле юноши и уползти назад в ущелье. Но тут он снова вспомнил все, что ему сказал всадник. Гонимый страхом перед вечными муками, Рейхард замахнулся своей суковатой палкой и кинулся на чудовище-обезьяну, которая как раз в этот момент раскачивала охотника на своих передних лапах, видимо, для того, чтобы подбросить его в воздух и затем подцепить на рога. Но стоило Рейхарду приблизиться к ней, как она выпустила из лап свою добычу и с омерзительным свистом и криканьем помчалась

прочь; разом осмелевший Рейхард продолжал преследовать ее, пока чудовище-обезьяна не сверзилась с кручи в море, затем она вынырнула, показав напоследок свою отвратительную харю, и навсегда скрылась в пучине.

Торжествуя победу, вернулся молодой Рейхард к спасенному им охотнику, который, как и следовало ожидать, заявил, что он владетельный князь здешних мест и, прославляя своего избавителя как истинного героя, попросил, чтобы тот потребовал себе любую награду, будь только она во власти князя.

— В самом деле? — с надеждой спросил Рейхард. — Вы не шутите? Вы даете мне свое княжеское слово, что по возможности выполните то, о чем я вас попрошу?

Князь его снова заверил, что наверняка и с радостью все исполнит.

— Тогда, — с трепетной надеждой в голосе воскликнул Рейхард, — прикажите Бога ради отчеканить для меня несколько монет достоинством в полгеллера, ну, хотя бы две штуки.

Князь с изумлением взирал на него. Когда же подошли кое-кто из свиты, князь тут же поведал им о случившемся, и один придворный узнал в Рейхарде безумного Полугеллера, которого он раньше где-то видел.

Князь громко расхохотался, а бедный Рейхард в испуге обнял его колени и поклялся, что пропадет, если у него не будет этих мелких монет.

Тогда князь, продолжая смеяться, сказал ему:

— Встань, юноша, я же тебе обещал, и, если ты не изменишь своего желания, я прикажу начеканить тебе столько полугеллеров, сколько захочешь, но, может быть, тебе также по душе монеты в одну треть геллера, и тогда незачем идти в монетный двор, ибо мои соседи-князья утверждают, будто мой геллер такой легкий, что три монеты мои едва покрывают один их геллер.

— О, если бы в этом быть уверенным! — с сомнением воскликнул Рейхард.

— Поверь, ты, наверно, единственный человек на свете, кто такого лестного мнения о моих деньгах, но если ты повстречаешь кого-нибудь, кто согласится с тобой, то даю тебе торжественное слово, что прикажу отчеканить еще худшие деньги, если это только возможно!

Сказав так, князь велел слуге вручить Рейхарду целый мешочек своих геллеров, и наш молодой купец со всех ног кинулся бежать к ближайшей границе этого княжества. Когда же на первом постоялом дворе соседнего государства ему неохотно и после долгих колебаний

дали обычный геллер за три княжеских — он решил поменять их для проверки,—у него на душе стало так весело, как уже давно не бывало.

Рейхард тут же спросил, как пройти к Черному колодцу. Услышав этот вопрос, хозяйские дети, игравшие здесь, с ревом выбежали на улицу, а сам хозяин сказал не без дрожи в голосе, что место это пользуется дурной славой, там-де обитают злые духи и люди избегают туда ходить. Правда, он знает, что путь к Черному колодцу лежит через пещеру с двумя сухими кипарисами у входа, находится она неподалеку отсюда, пройдешь ее насквозь, дальше дорога одна, заблудиться трудно, только упаси его Бог, да и любого христианина, туда идти.

Разумеется, после таких речей Рейхарда снова ододел страх, но деваться ему было некуда, пришлось решиться, и он тут же отправился в путь. Пещеру он приметил издалека, она глядела на него черной разверстой дырой; кипарисы словно засохли от ужаса перед уродством этой страшной пасти, ибо в недрах ее каждый, кто подходил к ней вплотную, видел удивительную скалу. Казалось, на ней высечено множество отвратительных бородатых рож, некоторые из них имели сходство с чудовищем-обезьяной, свалившейся в море, но стоило присмотреться попристальнее, и становилось ясно, что это всего лишь пористая поверхность скалы, испещренная трещинами и расселинами. Бедного Рейхарда забил озноб, когда он вступил в это царство страшных рож. Адский житель у него в кармане стал вдруг таким тяжелым, словно хотел оттащить его назад. Но именно это придавало молодому купцу мужества. «Потому что,— рассуждал он,— все, что претит дьявольскому отродью, мне на пользу». Чем дальше он углублялся в пещеру, тем становилось все темней и темней, так что скоро и рожи перестали его пугать. Он шел очень осторожно, нащупывая палкой дорогу, чтобы ненароком не свалиться в какую-нибудь пропасть, но не обнаружил ничего, кроме мха под ногами, и если бы не жуткий свист и крикание, пещера перестала бы ему казаться зловещей.

Наконец он выбрался наружу и очутился в тесной котловине, окруженной со всех сторон горами. В стороне он увидел огромного уродливого черного жеребца, непривязанного, но и не пасущегося, который стоял неподвижно, с задранной вверх головой, словно бронзовое изваяние. Напротив выхода из пещеры бил родник, в котором огромный всадник мыл лицо и руки, но вода была чернильно-черная и окрашивала все, что в нее

попадало; поэтому, когда он обернулся к Рейхарду, его уродливое лицо было темным, как у мавра, и устрашающе подчеркивало кровавую красноту одежды.

— Не трясись так, малый,— сказал страшный всадник.— Это только один из обрядов, который я должен исполнять в угоду черту. Каждую пятницу я обязан вот так умываться назло тому, кого вы все зовете Творцом небесным. Я обязан также всякий раз, когда я крашу материю для своих одежд, добавлять в краску несколько капель собственной крови, оттого она такого роскошного цвета. И подобных обременительных обязательств у меня прорва. Я отдал ему в полное владение свое тело и душу, так что ни о каком освобождении и помышлять нечего. И знаешь, сколько мне платит за это аспид? Всего сто тысяч золотых в год. Вот попробуй проживи на эти деньги! Поэтому я и хочу купить у тебя адского жителя. К тому же я как следует насолю старому скраге: ведь мою душу он так и так получит, а чертик из колбочки после длительной службы вернется назад в преисподнюю с пустыми руками. Вот разъярится свирепый дракон!

И он так расхохотался, что скалы заходили ходуном, а неподвижный черный жеребец вздрогнул.

— Ну,— снова заговорил он, обращаясь к Рейхарду,— ты принес монету в полгеллера, приятель?

— Я вам не приятель,— осадил его Рейхард то ли с отчаяния, то ли из упрямства и стал развязывать свой мешок.

— Да ты особо не важничай! — крикнул огромный всадник.— Кто натравил чудовище на князя, чтобы ты мог спасти ему жизнь?

— Без толку вы все это затеяли,— ответил Рейхард и рассказал, что князь сам по себе уже давно чеканит монеты достоинством не только в полгеллера, но даже в одну треть.

Человек в красном был, казалось, сильно раздосадован тем, что зря утруждал себя, устраивая всю эту возню с чудовищем. Затем он разменял свой хороший геллер на три плохих, дал один из них Рейхарду и получил взамен адского жителя, которого с трудом удалось извлечь из кармана. Чертик лежал на дне колбочки скрючившись, злой и печальный. Тут покупатель зычно расхохотался и закричал:

— Никуда не денешься, сатана, подавай-ка мне золота, сколько сможет увезти мой вороной.

И тут же огромный жеребец прямо осел под тяжестью

мешка, наполненного золотом, потом на него все же взгромоздился и его господин, и тогда конь, подобный мухе, ползущей вверх по стене, зашагал по отвесным скалам, но расхлябанные движения его были столь отвратительны, что Рейхард поспешил скрыться в пещере, лишь бы не видеть этого богомерзкого зрелища.

Только когда он вышел из пещеры по ту сторону горы да еще пробежал единым духом изрядный кусок по тропе, все его существо охватила великая радость освобождения. Он сердцем чувствовал, что искупил свои прошлые тяжкие грехи и что адский житель отныне не мог бы ему больше принадлежать. В порыве радости он кинулся ничком в высокую траву, ласково касался пальцами цветов и посылал солнцу воздушные поцелуи. Сердце его ожило и снова, как прежде, весело колотилось в груди, но уже без дерзкого легкомыслия и кощунственных помыслов. Хотя у него были теперь весьма веские основания возгордиться, поскольку он обманул самого черта, он не предался бахвальству. Более того, он направил всю свою обновленную силу на то, чтобы с сей поры начать жить по-иному — богобоязненно, достойно и радостно. И он настолько в этом преуспел, что после нескольких лет усердного труда состоятельным купцом вернулся на милую немецкую землю, взял в дом жену и много лет спустя, будучи почтенным старцем, рассказывал своим внукам и правнукам сказку про адского жителя в наездание и для острастки.

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО

Удивительная
история
Нетера
Щешиа



*Удивительная
история
Петера Шлемиля*

ЮЛИУСУ ЭДУАРДУ ГИТЦИГУ
ОТ АДЕЛЬБЕРТА ФОН ШАМИССО

Ты, Эдуард, не забываешь никого; ты, конечно, еще помнишь некоего Петера Шлемиля, которого в прежние годы не раз встречал у меня,— такой долговязый малый, слышший растяпой, потому что был неповоротлив, и лентяем, потому что был нерасторопен. Мне он нравился. Ты, конечно, не забыл, как однажды в наш «зеленый» период он увильнул от бывших у нас в ходу стихотворных опытов: я взял его с собой на очередное поэтическое чаепитие, а он заснул, не дождавшись чтения, пока сонеты еще только сочинялись. Мне вспоминается также, как ты сострил на его счет. Ты уже раньше видел его, не знаю где и когда, в старой черной венгерке, в которой он был и на этот раз. И ты сказал: «Этот малый мог бы почесть себя счастливецом, будь его душа хоть наполовину такой же бессмертной, как его куртка». Вот ведь какого неважно-мнения все вы были о нем. Мне же он нравился.

От этого-то самого Шлемиля, которого я потерял из виду много лет назад, и досталась мне тетрадь, кою я доверяю теперь тебе. Лишь тебе, Эдуард, моему второму «я», от которого у меня нет секретов. Доверяю я ее лишь тебе и, само собой разумеется, нашему Фуке, также занявшему прочное место в моем сердце, но ему только как другу, не как поэту. Вы поймете, сколь неприятно мне было бы, если бы исповедь честного человека, положившегося на мою дружбу и порядочность, была высмеяна в литературном произведении и даже если бы вообще отнеслись без должного благоговения, как к неостроумной шутке, к тому, с чем нельзя и не должно шутить. Правда, надо сознаться, мне жаль, что эта история, вышедшая из-под пера доброго малого Шлемиля, звучит нелепо, что она не передана со всею силою заключенного в ней комизма умелым мастером. Что бы сделал из нее Жан-Поль! Кроме всего прочего, любезный друг, в ней, возможно, упоминаются и ныне здравствующие люди; это тоже надо принять во внимание.

Еще несколько слов о том, как попали ко мне эти листки. Я получил их вчера рано утром, только-только проснувшись,— странного вида человек с длинной седой бородой, одетый в изношенную черную венгерку, с ботанизированной через плечо и, несмотря на сырую дождливую погоду, в туфлях поверх сапог, справился обо мне и оставил эту тетрадь. Он сказал, что прибыл из Берлина.

Адальберт фон Шамиссо

*Кунерсдорф,
27 сентября 1813 г.*

Р. С. Прилагаю набросок, сделанный искусником Леопольдом, который как раз стоял у окна и был поражен необычайным явлением. Узнав, что я дорожку рисунком, он охотно подарил его мне.

МОЕМУ СТАРОМУ ДРУГУ
ПЕТЕРУ ШЛЕМИЛЮ¹

Твоя давно забытая тетрадь
Случайно в руки мне попала снова.
Я вспомнил дни минувшие опять,
Когда нас мир в ученье брал сурово.
Я стар и сед, мне нужды нет скрывать
От друга юности простое слово:
Я друг твой прежний перед целым светом,
Наперекор насмешкам и наветам.

Мой бедный друг, со мной тогда лукавый
Не так играл, как он играл с тобой.
И я в те дни искал напрасно славы,
Парил без пользы в выси голубой.
Но сатана похвастаться не вправе,
Что тень мою купил он той порой.
Со мною тень, мне данная с рожденья,
Я всюду и всегда с моею тенью.

И хоть я не был виноват ни в чем,
Да и лицом с тобою мы не схожи,
«Где тень твоя?» — кричали мне кругом,
Смеясь и корча шутовские рожи.
Я тень показывал. Что толку в том?
Они б смеялись и на смертном ложе.
Нам силы для терпения даны,
И благо, коль не чувствуем вины.

Но что такое тень? — спросить хочу я,
Хоть сам вопрос такой слышал не раз,
И злобный свет, придав цену большую,
Не слишком ли вознес ее сейчас?

¹ Перевод И. Елина.

Но годы миновавшие такую
Открыли мудрость высшую для нас:
Бывало, тень мы называли сутью,
А нынче суть и та покрыта мутью.

Итак, друг другу руки мы пожжем,
Вперед, и пусть все будет, как бывало.
Печалиться не станем о былом,
Когда теснее наша дружба стала.
Мы к цели приближаемся вдвоем,
И злобный мир нас не страшит нимало.
А стихнут бури, в гавани с тобой,
Уснув, найдем мы сладостный покой.

Адельберт фон Шамиссо

*Берлин,
август 1834 г.*

I

После благополучного, хотя и очень для меня тягостного плавания, корабль наш вошел наконец в гавань. Как только шлюпка доставила меня на берег, я забрал свои скудные пожитки и, протолкавшись сквозь суетливую толпу, направился к ближайшему, скромному с виду дому, на котором узрел вывеску гостиницы. Я спросил комнату. Слуга осмотрел меня с ног до головы и провел наверх, под крышу. Я приказал подать холодной воды и попросил толком объяснить, как найти господина Томаса Джона.

— Сейчас же за Северными воротами первая вилла по правую руку, большой новый дом с колоннами, отделанный белым и красным мрамором.

Так. Было еще раннее утро. Я развязал свои пожитки, достал перелицованный черный сюртук, тщательно оделся во все, что у меня было лучшего, сунул в карман рекомендательное письмо и отправился к человеку, с помощью которого надеялся осуществить свои скромные мечты.

Пройдя длинную Северную улицу до конца, я сейчас же за воротами увидел белевшие сквозь листву колонны. «Значит, здесь!» — подумал я. Смахнул носовым платком пыль с башмаков, поправил галстук и, благословясь, дернул за звонок. Дверь распахнулась. В прихожей мне был учинен настоящий допрос. Швейцар все же приказал доложить о моем приходе, и я удостоился чести быть проведенным в парк, где господин Джон гулял в обществе друзей. Я сейчас же признал хозяина по доро-

ству и сияющей самодовольством физиономии. Он принял меня очень хорошо — как богач нищего, даже повернул ко мне голову, правда, не отвернувшись от остального общества, и взял у меня из рук протянутое письмо.

— Так, так, так! От брата! Давненько не было от него вестей. Значит, здоров? Вон там,— продолжал он, обращаясь к гостям, не дожидаясь ответа, и указал письмом на пригорок,— вон там я построю новое здание.— Он разорвал конверт, но не прервал разговора, который перешел на богатство.— У кого нет хотя бы миллионного состояния,— заметил он,— тот, простите меня за грубое слово,— голодранец!

— Ах, как это верно! — воскликнул я с самым искренним чувством.

Должно быть, мои слова пришлись ему по вкусу. Он улыбнулся и сказал:

— Не уходите, голубчик, может статься, я найду потом время и потолку с вами насчет вот этого.

Он указал на письмо, которое тут же сунул в карман, а затем снова занялся гостями. Хозяин предложил руку приятной молодой особе, другие господа любезничали с другими красотками, каждый нашел себе даму по вкусу, и все общество направилось к поросшему розами пригорку.

Я поплелся сзади, никого собой не обременяя, так как никто уже мною не интересовался. Гости были очень веселы, дурачились и шутили, порой серьезно разговаривали о пустяках, часто пустословили о серьезном и охотно острили насчет отсутствующих друзей, я плохо понимал, о чем шла речь, потому что был слишком озабочен и занят своими мыслями и, будучи чужим в их компании, не вникал в эти загадки.

Мы дошли до зарослей роз. Очаровательной Фанни, которая казалась царицей праздника, заблагорассудилось самой сорвать цветущую ветку; она наколола шипом палец, и на ее нежную ручку упали алые капли, словно оброненные темными розами. Это происшествие взбудоражило все общество. Гости бросились искать английский пластырь. Молчаливый господин в летах, сухопарый, костлявый и длинный, которого я до тех пор не приметил, хотя он шел вместе со всеми, сейчас же сунул руку в плотно прилегающий задний карман своего старомодного серого шелкового редингота, достал маленький бумажник, открыл его и с почтительным поклоном подал даме желаемое. Она взяла пластырь, не взглянув на подателя и не поблагодарив его; царяпину

заклеили, и все общество двинулось дальше, чтобы насладиться открывавшимся с вершины холма видом на зеленый лабиринт парка и бесконечный простор океана.

Зрелище действительно было грандиозное и прекрасное. На горизонте, между темными волнами и небесной лазурью, появилась светлая точка.

— Подать сюда подзорную трубу! — крикнул господин Джон, и не успели прибежавшие на зов слуги выполнить приказание, как серый человек сунул руку в карман редингота, вытащил оттуда прекрасный доллонд и со смиренным поклоном подал господину Джону. Тот приставил тут же трубу к глазу и сообщил, что это корабль, вчера снявшийся с якоря, но из-за противного ветра до сих пор не вышедший в открытое море. Подзорная труба переходила из рук в руки и не возвращалась обратно к своему владельцу. Я же с удивлением смотрел на него и недоумевал, как мог уместиться такой большой предмет в таком маленьком кармане. Но все остальные, казалось, приняли это за должное, и человек в сером возбуждал в них не больше любопытства, чем я.

Подали прохладительные напитки и драгоценные вазы с фруктами — редчайшими плодами всех поясов земли. Господин Джон потчевал гостей более или менее любезно; тут он во второй раз обратился ко мне

— Кушайте на здоровье! Этого вам во время плаванья есть не довелось!

Я поклонился, но он даже не заметил; он уже разговаривал с кем-то другим.

Компания охотно расположилась бы на лужайке, на склоне холма, откуда открывался широкий вид, да только все боялись сидеть на сырой земле. Кто-то из гостей заметил, как чудесно было бы расстелить здесь турецкий ковер. Не успел он высказать это желание, как человек в сером уже сунул руку в карман и со смиренным, можно даже сказать подобострастным, видом стал вытаскивать оттуда роскошный золототканый ковер. Лакеи как ни в чем не бывало подхватили его и разостлали на облюбованном месте. Не долго думая, компания расположилась на ковре; я же опять с недоумением глядел то на человека в сером, то на карман, то на ковер, в котором было не меньше двадцати шагов в длину и десятки в ширину, и тер глаза, не зная, что и думать, тем более что никто как будто не находил в этом ничего чудесного.

Мне очень хотелось разведать, кто этот человек, я только не знал, к кому обратиться за разъяснениями,

потому что перед господами лакеями робел, пожалуй, еще больше, чем перед господами лакеев. Наконец я набрался храбрости и подошел к молодому человеку, как будто не такому важному, как другие, и часто стоявшему в одиночестве. Я вполголоса осведомился, кто этот обязательный человек в сером.

— Тот, что похож на нитку, выскользнувшую из иглы портного?

— Да, тот, что стоит один.

— Не знаю! — ответил он и отвернулся, как мне показалось, желая избежать дальнейшей беседы со мной, и тут же заговорил о всяких пустяках с кем-то другим.

Солнце уже сильно припекало, и жара начала тяготить дам. Очаровательная Фанни небрежно обратилась к серому человеку, с которым, насколько я помню, еще никто не разговаривал, и задала ему необдуманый вопрос: не найдется ли у него заодно и палатки? Он ответил таким низким поклоном, словно на его долю выпала незаслуженная честь, и сейчас же сунул руку в карман, из которого у меня на глазах извлек материю, колышки, шары, железный остов — словом, все, что требуется для роскошного шатра. Молодые люди помогли разбить палатку, которая растянулась над всем ковром, — и опять это никого не поразило.

Мне уже давно было как-то не по себе, даже страшновато. Что же я почувствовал, когда при следующем высказанном вслух желании он вытащил из кармана трех верховых лошадей — говорю тебе, трех прекрасных, крупных вороных, взнузданных и оседланных! Нет, ты только подумай — еще и трех оседланных лошадей, и все из того же кармана, откуда уже вылезли бумажник, подзорная труба, тканый ковер двадцати шагов в длину и десяти в ширину, шатер тех же размеров со всеми нужными колышками и железными прутьями! Если бы не мое честное слово, подтверждающее, что я видел все это собственными глазами, ты бы мне, конечно, не поверил.

Человек этот казался очень застенчивым и скромным, окружающие обращали на него мало внимания, и все же в его бледном лице, от которого я не мог отвести взгляда, было что-то такое жуткое, что под конец я не выдержал.

Я решил незаметно удалиться, мне это казалось совсем нетрудным, принимая во внимание незначительную роль, которую я играл в здешнем обществе. Я хотел воротиться в город, на следующее утро снова попытаться счастья и, если наберусь храбрости, расспросить госпо-

дина Джона о странном человеке в сером. Ах, если бы мне посчастливилось тогда ускользнуть!

Я уже благополучно пробрался через заросли роз до подножия холма и очутился на открытой лужайке, но тут, испугавшись, как бы кто не увидел, что я иду не по дорожке, а по траве, я огляделся вокруг. Как же я перетрусил, когда увидел, что человек в сером идет за мной следом и уже приближается. Он сейчас же снял шляпу и поклонился так низко, как еще никто мне не кланялся. Сомнения быть не могло — он собирался со мной заговорить, и с моей стороны было бы неучтивым уклониться от разговора. Я тоже снял шляпу и, несмотря на яркое солнце, так, с непокрытой головой, замер на месте. Я смотрел на него с ужасом, не отрываясь, словно птица, замороженная взглядом змеи. Он тоже казался очень смущенным; не поднимая глаз и отвешивая все новые поклоны, подошел он ближе и заговорил со мной тихо и неуверенно, тоном просителя.

— Извините, сударь, не считите с моей стороны навязчивостью, ежели я, не будучи с вами знаком, осмеливаюсь вас задерживать: у меня до вас просьба. Дозвольте, ежели на то будет ваше согласие...

— Господи помилуй, сударь! — воскликнул я в страхе. — Чем могу я быть полезен человеку, который...

Мы оба смутились и, как мне сдается, покраснели.

После минутного молчания он снова начал:

— В течение того краткого времени, когда я имел счастье наслаждаться вашим обществом, я, сударь, несколько раз, — позвольте вам это высказать, — любовался той поистине прекрасной тенью, которую вы, будучи освещены солнцем, сами того не замечая, отбрасывали от себя, я сказал бы, с некоторым благородным пренебрежением, — любовался вот этой самой великолепной тенью у ваших ног! Не считите мой вопрос дерзким; вы ничего не будете иметь против, ежели я попрошу вас уступить мне свою тень?

Он замолчал, а у меня голова шла кругом. Что подумать о таком необычном предложении — продать свою тень? «Верно, это сумасшедший», — мелькнуло у меня в голове, и совсем другим тоном, гораздо более подходящим к тому смиренному тону, который усвоил он, я ответил:

— Эх, приятель, неужто вам мало собственной тени? Ну уж и сделка, доложу я вам, совсем необычная!

Но он не отставал:

— Сударь, у меня в кармане найдется много всякой

всячины, может быть, что-нибудь вас и соблазнит. Для такой бесценной тени, как ваша, я ничего не пожалею!

При упоминании о кармане у меня опять побежали мурашки по спине, я сам не понимал, как это я мог решиться назвать его «приятелем». Я постарался, насколько возможно, исправить свою неучтивость изысканной вежливостью и сказал:

— Не посетуйте, сударь, на вашего покорнейшего слугу! Но я, верно, вас не так понял? Как я могу свою тень...

Он прервал меня на полуслове:

— Я только прошу, ваша милость, разрешить мне сию минуту, не сходя с места, поднять с земли эту благородную тень и спрятать себе в карман; как я это сделаю, моя забота. А взамен в знак признательности я предлагаю вам, сударь, выбрать любое из тех сокровищ, которые я ношу с собой в кармане: подлинную разрыв-траву, корень мандрагоры, фенниги-перевертыши, талер-добытчик, скатерть-самобранку, принадлежавшую оруженосцам Роланда, чертика в бутылке. Но все это не то, что вам требуется. Хотите волшебную шапку, принадлежавшую Фортунату, совсем новенькую и крепкую, только что из починки? А может быть, волшебный кошелек, такой же, как у Фортуната?

— Давайте кошелек Фортуната! — прервал я его речь, и, как ни был велик мой страх, при этих словах я позабыл обо всем. Голова закружилась, перед глазами засверкало золото.

— Соболаговолите, сударь, взглянуть и испробовать, что это за кошелек!

Он сунул руку в карман и вытащил за два крепких ременных шнура не очень большой кошелек, на совесть сшитый из прочного сафьяна, и вручил его мне. Я тут же достал из кошелька десять червонцев, а потом еще десять, и еще десять, и еще; я быстро протянул ему руку.

— Идет! Сделка состоялась. Давайте кошель и получайте тень!

Мы ударили по рукам; он, не теряя ни минуты, опустился на колени и с поразительной сноровкой осторожно, начав с головы и закончив ногами, отделил от травы мою тень, поднял ее, скатал, сложил и сунул в карман. Он встал, снова отвесил мне поклон и удалился в заросли роз. Мне почудилось, будто он там тихонько хихикнул. Я же крепко вцепился в шнуры кошелька; лужайка, на которой я стоял, была ярко освещена солнцем, но я еще ничего не соображал.

II

Наконец я опомнился и поспешил поскорее покинуть здешние места, куда, как я надеялся, мне больше не придется возвращаться. Сначала я наполнил карманы золотом, затем, обвязав шнуры вокруг шеи, спрятал кошелек на груди. Никем не замеченный, вышел я из парка на дорогу и направился к городу. Я подходил к воротам, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал, что меня окликают:

— Эй, молодой человек, молодой человек, послушайте!

Я оглянулся, незнакомая старуха крикнула мне вслед:

— Сударь, будьте осторожны! Вы потеряли тень!

— Благодарствуйте, мамаша.— Я бросил ей золотой за добрый совет и сошел с дороги под деревья.

У заставы меня сейчас же остановил будочник:

— Господин, где это вы позабыли свою тень?

А затем разохались какие-то кумушки:

— Иисусе Христе! Да у него, у горемычного, тени нет!

Меня это уже начинало злить, и я старательно избегал солнца. Но не всюду это было возможно, вот хотя бы на широкой улице, через которую мне предстояло перейти, и, к моему несчастью, как раз в то время, когда школьники возвращались домой. Какой-то проклятый озорник-горбун,— он у меня и сейчас как живой перед глазами,— тут же доглядел, что у меня нет тени. Громким улюлюканьем натравил он на меня всю высокообразованную уличную молодежь предместья, которая сейчас же обрушилась на меня с ехидной критикой и забросала грязью. «Только неряха, выходя на солнце, забывает прихватить и свою тень!» Я кинул им несколько пригоршней золотых, чтобы они отвязались, а сам вскочил в экипаж, нанятый с помощью добросердечных людей.

Очувтившись один в карете, я горько разрыдался. Верно, во мне уже начало пробуждаться сознание того, что, хотя золото ценится на земле гораздо дороже, чем заслуги и добродетель, тень уважают еще больше, чем золото; и так же, как раньше я поступился совестью ради богатства, так и теперь я расстался с тенью только ради золота. Чем может кончиться, чем неизбежно должен кончиться такой человек!

Я был еще в полном смятении, когда экипаж остановился перед моей прежней гостиницей; меня испугала мысль, что придется еще раз войти в жалкую комнатушку под крышей. Я распорядился снести вниз мои вещи, с презрением взял свой нищенский узелок, бросил на стол несколько золотых и приказал кучеру отвезти меня в самый дорогой отель. Новая гостиница смотрела окнами на север, я мог не бояться солнца. Я отпустил кучера, щедро заплатив ему, распорядился, чтобы мне тут же отвели лучший номер, и, водворившись, сразу же запер дверь на ключ.

Как ты думаешь, чем я занялся? О, любезный Шамиссо, я краснею теперь, признаваясь в этом даже тебе одному. Я снял с груди кошелек и с каким-то остервенением, которое, подобно пламени пожара, разгоралось во мне с новой силой, стал доставать из кошелька золото. Еще и еще, все больше и больше, сыпал золото на пол, ходил по золоту, слушал, как оно звенит, и, упиваясь его блеском и звоном, бросал на пол все больше и больше благородного металла, пока наконец, обессиленный, не свалился на это богатое ложе; с наслаждением зарывался я в золото, катался по золоту. Так прошел день, прошел вечер; я не отпирал двери, ночь застала меня лежащим на золоте, и тут же, на золоте, сморил меня сон.

Во сне я видел тебя, мне пригрезилось, будто я стою за стеклянной дверью твоей комнатки и оттуда смотрю на тебя; ты сидишь за письменным столом, между скелетом и пучком засушенных растений. На столе лежат открытые книги — Галлер, Гумбольдт и Линней, на диване — том Гете и «Волшебное кольцо». Я долго глядел на тебя и на все вокруг, а потом опять на тебя; но ты не пошевелился, ты не дышал, ты был мертв.

Я проснулся. Верно, было еще очень рано. Часы мои остановились. Я чувствовал себя совсем разбитым, да к тому же еще хотел и пить: со вчерашнего утра у меня во рту маковой росинки не было. Злобно и с отвращением отпихнул я надоевшее мне золото, которому в своем суетном сердце еще так недавно радовался; теперь оно меня раздражало, и я не знал, куда его деть. Нельзя же было оставить его просто так, на полу. А что, если опять упрятать его в кошелек? Но не тут-то было. Ни одно из моих окон не выходило на море. Мне пришлось с большим трудом, обливаясь потом, перетаскать все золото в чулан и уложить в стоявший там большой шкаф; себе я оставил только несколько пригоршней ду-

катов. Справившись с этой работой, я в полном изнеможении растянулся в кресле и стал ждать, когда зашевелился в доме. При первой же возможности я приказал подать мне поесть и позвать хозяина.

Мы обсудили с ним будущее устройство моих апартаментов. Он рекомендовал для ухода за моей особой некоего Бенделя, который сразу покорила меня своей открытой и смысленной физиономией. Бендель оказался человеком, чья привязанность долго служила мне утешением в тягостной жизни и примиряла с моей печальной долей. Весь день, не выходя из своих комнат, я провозился со слугами, ищущими места, сапожниками, портными и купцами; я обзавелся обстановкой и закупил кучу драгоценностей и самоцветных камней, чтобы хоть отчасти избавиться от этой груды золота. Но она как будто и не думала уменьшаться.

Меж тем мое положение пугало меня. Я не решался ни на шаг отлучиться из дому, а по вечерам сидел в темноте и дожидался, пока в зале зажгут сорок восковых свечей. Я не мог без ужаса вспомнить отвратительную стычку со школьниками. В конце концов я решил, как это меня ни страшило, еще раз проверить общественное мнение.

В ту пору ночи стояли лунные. Поздно вечером я накинул широкий плащ, надвинул на глаза шляпу и, словно злоумышленник, дрожа и крадучись, покинул дом. Только отойдя порядочно от гостиницы, выступил я из тени домов, под охраной которых был в безопасности, и вышел на лунный свет, твердо решив услышать свой приговор из уст прохожих.

Избавь меня, дорогой друг, от тягостного пересказа всего того, что мне пришлось вытерпеть. Женщины по большей части проявляли глубокую жалость, но выражение сочувствия пронзало мне сердце не меньше, чем насмешки молодежи и высокомерное презрение мужчин, особенно толстых, хорошо откормленных, которые сами отбрасывали широкую тень. Очаровательная, прелестная девушка, которая шла, вероятно, в сопровождении родителей, задумчиво глядевших себе под ноги, случайно подняла на меня свои сияющие глаза. Увидев, что у меня нет тени, она явно испугалась, опустила на прекрасное лицо вуаль, склонила голову и молча прошла мимо.

Этого я не вынес. Горькие слезы хлынули у меня из глаз, и, шатаясь, с разбитым сердцем, спрятался я обратно в темноту. Я шел медленно, держась за стены домов, чтобы не упасть, и поздно добрался до гостиницы.

Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день первой моей заботой было найти человека в сером рединготе. Может быть, мне удастся его отыскать, и, на мое счастье, окажется, что и он, подобно мне, жалеет о нашей безумной сделке. Я позвал Бенделя, он казался смекалистым и расторопным малым; я точно описал ему человека, владеющего сокровищем, без которого жизнь была для меня сплошной мукой. Я указал время и место, где я его видел; описал всех, кто был там же, и прибавил еще одну приметку: велел справляться о подзорной трубе, турецком ковре, тканном золотом, роскошной палатке и трех вороных конях, которые каким-то образом — каким именно, говорить незачем — связаны с таинственным незнакомцем, навсегда лишившим меня покоя и счастья, хотя на остальных он как будто не произвел впечатления.

Окончив свою речь, я принес столько золота, сколько мог поднять, и прибавил еще на большую сумму самоцветных камней и драгоценностей.

— Бендель, — сказал я, — вот это выравнивает многие пути и делает легко выполнимым то, что кажется невозможным. Не скупись, ты видишь, твой хозяин тоже не скупится. Иди и обрадуй меня сообщением, на которое я возлагаю все мои надежды!

Бендель ушел. Домой он вернулся поздно, очень печальный. Никто из челяди господина Джона, никто из его гостей — он расспросил всех — даже вспомнить не мог человека в сером рединготе. Новая подзорная труба была налицо, но никто не знал, откуда она взялась; ковер был разостлан, палатка разбита на том же пригорке, что и тогда. Слуги хвалились богатством своего хозяина, но никто не знал, откуда появились эти новые сокровища. Сам он был ими доволен, хотя тоже не знал, откуда они, но это его мало заботило. Лошади стояли на конюшне у молодых людей, которые в тот день на них катались, а теперь превозносили щедрость господина Джона, тогда же подарившего им этих коней. Вот все, что выяснилось из обстоятельного рассказа Бенделя, чье ревностное усердие и умелое поведение, хотя и не увенчались успехом, все же заслужили мою похвалу. Я мрачно махнул рукой, чтобы он оставил меня одного.

— Я дал вам, сударь, отчет о самом для вас важном, — снова начал Бендель. — Остается еще выполнить поручение, полученное сегодня утром от незнакомого человека, повстречавшегося мне у самого дома, когда

я вышел по делу, в котором потерпел неудачу. Вот собственные слова незнакомца: «Передайте господину Петеру Шлемиллю, что здесь он меня больше не увидит: я отправляюсь за море, дует попутный ветер, и я спешу в гавань. Но по прошествии одного года и одного дня я сам отыщу его и буду иметь честь предложить ему другую, возможно, более приемлемую сделку. Передайте нижайший поклон и уверения в моей неизменной благодарности!» Я спросил, как о нем сказать, но он ответил, что вы его знаете.

— Как он выглядел? — взмолился я, предчувствуя, кто это. И Бендель точка в точку, слово в слово описал мне человека в сером рединготе, совершенно так же, как в предыдущем рассказе описывал человека, о котором всех расспрашивал.

— Несчастный! — воскликнул я, ломая руки. — Ведь это же был он!

И у Бенделя словно пелена спала с глаз.

— Да, да, это был он, конечно, он! — воскликнул Бендель в испуге. — А я, слепец, я, дурак, его не узнал, не узнал и предал своего хозяина!

Громко рыдая, осыпал он себя горькими упреками; отчаяние, которому он предавался, разжалобило меня. Я принялся утешать его, уверяя, что нисколько не сомневаюсь в его верности, и тут же отправил его в гавань, чтобы попытаться, если это возможно, найти следы таинственного незнакомца. Но в это самое утро вышло в море очень много кораблей, которых удерживал в гавани противный ветер, и все направлялись в разные края света, все к разным берегам, и серый человек исчез бесследно, растаял, как тень.

III

Что пользы в крыльях тому, кто закован в железные цепи? Он только еще сильнее ощутит всю безвыходность своего положения. Подобно Фафнеру, стерегущему клад вдаль от людей, изнемогал я около своего золота; но сердце мое не лежало к нему, я проклинал богатство, из-за которого был отрезан от жизни. Я хранил в душе свою печальную тайну, боясь своих слуг и в то же время завидуя им, — ведь у них была тень, они могли появиться на улице при солнечном свете. В одиночестве грустил я дни и ночи у себя в покоех, и тоска точила мне сердце.

Еще один человек тужил вместе со мной,— мой верный Бендель непрестанно мучил себя упреками, что обманул доверие своего доброго хозяина и не признал того, за кем был послан, того, с кем, как он думал, тесно связана моя печальная участь. Я же не мог его ни в чем винить: я знал, что всему причиной таинственная природа незнакомца.

Дабы испробовать все средства, я послал Бенделя с дорогим бриллиантовым перстнем к самому знаменитому в городе живописцу, которого пригласил к себе. Тот пришел, я удалил слуг, запер дверь, подсел к художнику и, воздав должное его мастерству, с тяжелым сердцем приступил к сути дела. Но раньше взял с него слово, что он будет свято хранить тайну.

— Господин профессор,— начал я,— могли бы вы нарисовать искусственную тень человеку, который по несчастной случайности потерял свою тень?

— Вы имеете в виду тень, которую отбрасывают предметы?

— Именно ее.

— Каким же надо быть простофилей, каким разиней, чтобы потерять свою тень? — спросил он.

— Как это случилось, для вас безразлично,— возразил я.— Но извольте, я расскажу. Прошлой зимой, когда он в трескучий мороз путешествовал по России,— начал я сочинять,— его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее отодрать.

— Если я нарисую ему искусственную тень,— ответил профессор,— он все равно потеряет ее при первом же движении, раз уж он, как явствует из вашего рассказа, так мало дорожил своей, данной ему от рождения, тенью. У кого нет тени, пусть не выходит на солнце; так оно будет разумнее и вернее!

Он встал и ушел, бросив на меня испытующий взгляд, которого я не мог выдержать. Я упал в кресло и закрыл лицо руками.

Вошедший Бендель застал меня в этой позе. Он понял, в каком я отчаянии, и хотел безмолвно и почтиительно удалиться. Я поднял голову, я изнемогал под тяжестью своего горя, мне нужно было с кем-нибудь им поделиться.

— Бендель! — окликнул я его.— Бендель! Ты один видишь и уважаешь мои страдания, не стараешься разузнать, что меня мучает, но молча и кротко сочувствуешь мне. Поди сюда, Бендель, и будь моим сердечным другом! Я не утаил от тебя сокровенного своего богатства.

не хочу утаить и сокровенной своей печали. Бендель, не покидай меня! Бендель, ты видишь — я богат, щедр, милосерден; ты полагаешь, что люди должны превозносить меня, и ты видишь, что я бегу людей, запираюсь от них. Бендель, люди произнесли свой приговор, они оттолкнули меня, может статься, и ты отвернешься от меня, когда узнаешь мою страшную тайну: Бендель, я богат, щедр, милосерден, но — о, боже праведный! — у меня нет тени!

— Нет тени? — в испуге воскликнул добрый малый, из глаз у него брызнули слезы. — Ах ты, горе горькое, неужто я родился на свет, чтобы служить хозяину, у которого нет тени!

Он замолчал, а я не отрывал рук от лица.

— Бендель, — дрожащим голосом сказал я наконец, — я тебе доверился, теперь ты можешь злоупотребить моим доверием. Поди и свидетельствуй против меня!

Казалось, он переживает тяжелую душевную борьбу; затем он упал передо мной на колени и, обливаясь слезами, схватил мои руки.

— Нет, мой добрый хозяин! — воскликнул он. — Что бы ни говорили люди, я не могу покинуть вас и никогда не покину из-за тени! Я послушаюсь сердца, а не разума, я останусь у вас, я одолжу вам свою тень, буду выручать вас, когда смогу, а не смогу, буду плакать вместе с вами!

Я бросился к нему на шею, пораженный таким необычным благородством, ибо был убежден, что им руководит не корыстолюбие.

С тех пор моя судьба и образ жизни несколько изменились. Я просто диву давался, как ловко умел Бендель скрывать мой недостаток. Куда бы я ни шел, он всюду поспевал или до меня, или вместе со мной, все предусматривал, все предвидел, и, если мне случайно грозила беда, он был тут как тут и прикрывал меня своей тенью, потому что был выше и полнее меня. Я снова решился бывать на людях и начал играть известную роль в свете. Конечно, мне приходилось напускать на себя всякие чудачества и капризы. Но богатым людям они пристали, и, пока правда была скрыта, я мог наслаждаться почетом и уважением, которые приличествовали такому богачу. Я уже спокойно ждал посещения, обещанного загадочным незнакомцем через год со днем.

Я отлично понимал, что не следует долго засиживаться там, где кое-кто уже видел меня без тени и, значит, моя тайна легко могла быть обнаружена. Кроме того, я помнил,— возможно, только я один,— свое появление у господина Джона, и это воспоминание угнетало меня; поэтому я считал пребывание здесь только репетицией, после которой я легче и увереннее буду выступать в другом месте. Однако меня некоторое время удерживало здесь одно обстоятельство, задевшее мое тщеславие, чувство, особенно крепко засевшее в сердце человека.

Красавица Фанни, бывавшая в знакомом мне доме, позабыв, что мы встречались уже раньше, подарила меня своим вниманием, ибо теперь я был находчив и остроумен. Когда я говорил, все слушали, и я сам себе удивлялся, откуда у меня такое искусство свободно болтать и овладевать разговором. Впечатление, которое, как я заметил, я произвел на красавицу, лишило меня рассудка, чего она и добивалась, и теперь я следовал за ней, куда только мог, держась в тени и прячась от света, для чего прибегал к тысяче уловок. Моему тщеславию льстило, что Фанни льстит мое ухаживание; я любил только умом и при всем своем желании не мог полюбить сердцем.

Но к чему повторять тебе так подробно эту обычную пошлую историю? Ты достаточно часто рассказывал мне то же самое о других, вполне достойных людях. Правда, к старой, избитой пьесе, в которой я добродушно играл тривиальную роль, неожиданно для меня, для Фанни и для окружающих была присочинена необычная развязка.

В один прекрасный вечер, когда в саду, по обыкновению, собралось целое общество, я под руку со своей очаровательницей бродил в некотором отдалении от других гостей, стараясь обворожить ее любезностями и комплиментами. Она скромно опустила глаза долу и отвечала легким пожатием на пожатие моей руки; неожиданно позади нас из-за облаков выплыла луна, и Фанни увидела на земле только свою тень. Она вздрогнула, посмотрела на меня, ничего не понимая, затем опять на землю, взглядом призывая мою тень; ее недоумение так комично отражалось на ее лице, что я расхохотался бы, ежели бы у меня самого по спине не побежали мурашки.

Я отпустил руку лишившейся сознания Фанни, стрелой промчался мимо пораженных гостей, добежал до

калитки, вскочил в первый попавшийся экипаж и покатил в город, где в этот раз, себе на горе, оставил предусмотрительного Бенделя. Он испугался, увидев меня, но с первого же слова понял все. Тут же были заказаны почтовые лошади. Я взял с собой только одного слугу, продувного малого по имени Раскал, благодаря своему пронырству вошедшего ко мне в доверие и, разумеется, не подозревавшего о том, что сейчас произошло. Еще в ту же ночь я проделал тридцать верст. Бендель задержался в городе, чтобы ликвидировать мое хозяйство, расплатиться и привезти мне самое необходимое. Когда он нагнал меня на следующий день, я бросился ему на грудь и поклялся, правда, не в том, что больше не совершу никакой глупости, а в том, что впредь буду осторожнее. Мы безостановочно продолжали наше путешествие через границу и горы, и, только перевалив на ту сторону хребта, отделенный высоким склоном от тех злополучных мест, я сдался на уговоры и согласился после пережитых трудов отдохнуть на водах в расположенном неподалеку уединенном местечке.

IV

Я лишь бегло коснусь в своем повествовании поры, на которой — и как охотно! — задержался бы подольше, если бы мог воскресить в памяти ее живой дух. Но краски, которые оживляли ее и одни могли бы вновь оживить, поблекли в моей душе; и когда я снова пытаюсь найти в груди то, от чего она так бурно вздымалась в ту пору, — бывшие страдания и бывшее счастье, бывшие сладостные грезы, — я тщетно ударю в скалу, живительный источник уже иссяк, и бог отвернулся от меня. Иной, совсем иной кажется мне теперь та давно прошедшая пора!

Мне предстояло играть там, на водах, трагигероическую роль, а я, еще новичок на сцене, плохо разучил ее и по уши влюбился в пару голубых глаз. Родители, обманутые игрой, поспешили закончить сделку, и пошлый фарс завершился издевательством. Это все, все! Теперь то, что было, кажется мне глупым и безвкусным, и в то же время мне страшно подумать, что могут казаться такими те чувства, которые некогда переполняли мне грудь великим блаженством. Минна, так же, как плакал я тогда, потеряв тебя, так плачу и сейчас, потеряв свое

чувство к тебе. Неужели я так постарел? О, жалкий рассудок! Хотя бы еще одно биение сердца той поры, еще одну минуту тех грез,— но нет! Я одиноко скитаюсь в пустынном море горького рассудка, и давно уже в бокале перестало играть искрометное шампанское!

Я послал вперед Бенделя, дав ему несколько мешков с золотом и поручив подыскать подходящий дом и обставить его согласно моим вкусам. Он сыпал деньгами направо и налево и довольно туманно распространялся о знатном чужестранце, на службе коего состоит, ибо я хотел остаться неизвестным. Это натолкнуло простодушных обывателей на странные мысли. Как только все было готово для моего приезда, Бендель вернулся за мной. Мы отправились в дорогу.

Приблизительно за час пути от места назначения мы выехали на залитую солнцем поляну, где нам преградила дорогу празднично разодетая толпа. Карета остановилась. Музыка, колокольный звон, пушечная пальба, громкие крики «виват!» огласили воздух. Перед дверцами кареты появился хор редкой красоты девушек в белых платьях, но, как солнце затмевает ночные светила, так одна затмевала всех остальных. Она выступила из круга подруг, стройная и нежная, и, зардевшись от смущения, опустилась передо мной на колени и подала на шелковой подушке венок, сплетенный из лавров, масляных ветвей и роз, при этом она произнесла небольшую речь, смысл которой я не понял, услышав такие слова, как «ваше величество», «благоговение», «любовь»,— но слух мой и сердце были очарованы нежными звуками; мне казалось, что это небесное видение когда-то уже являлось моим взорам. Тут вступил хор, славословя доброго короля и счастье его подданных.

Ах, любезный друг, такая сцена при ярком солнечном свете! Она все еще стояла, преклонив колена, в двух шагах от меня; а я не мог упасть к ногам этого ангела, нас разделяла пропасть, через которую я не мог перескочить,— у меня не было тени! О, чего бы я не дал в ту минуту за тень! Я забился в угол кареты, чтобы скрыть свой конфуз, свой страх и отчаяние. Но Бендель подумал за меня, он выскочил из кареты с другой стороны, я успел его окликнуть и передал ему из шкапулки, которая как раз была у меня под рукой, роскошную алмазную диадему, предназначавшуюся для красавицы Фанни. Он выступил вперед и от имени своего господина заявил, что тот не может и не хочет принять такие почести; вероятно, произошло недоразумение, но

все же он отблагодарит добрых горожан за их радушный прием. Он взял с подушки преподнесенный венок и положил на его место алмазный обруч; затем, почтительно подав руку, помог встать прелестной девушке и знаком предложил духовенству, муниципалитету и всем депутациям отойти. Бендель никого не допустил до меня. Он приказал толпе расступиться, вскочил в карету, и мы, промчавшись под аркой, разубранной гирляндами из листьев и цветов, галопом въехали в город.

Пальба из пушек не прекращалась. Карета остановилась перед моим домом. Я проворно проскочил прямо в дверь через расступившуюся толпу, которую привело сюда любопытство. Народ не расходился и кричал «виват!» у меня под окнами, и по моему приказанию из окон бросали в толпу дублоны. Вечером город по собственному почину устроил иллюминацию.

Я все еще не знал, что это должно означать и за кого меня принимают. Я послал на разведку Раскала. Ему сообщили,— будто бы из самых достоверных источников,— что добрый прусский король путешествует по стране под именем графа; рассказали, как был узнан мой адъютант, как он проговорился, выдав себя и меня; и, наконец, как велика была всеобщая радость, когда стало известно, что я остановлюсь в здешнем городке. Теперь жители, правда, поняли, как опрометчиво они поступили, проявив настойчивое желание приподнять завесу, раз я совершенно явно хочу сохранять сторожайшее инкогнито. Но я изволил гневаться столь милостиво и благосклонно, что, конечно, не поставлю им в вину такую искреннюю любовь.

Моему повесе вся эта история представлялась очень забавной, и он тут же постарался строгими речами еще больше укрепить добрых горожан в их заблуждении; он пересказал мне все в очень потешной форме. Его уморительный доклад развеселил меня, и мы оба от души посмеялись над его злой шуткой. Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца.

Я приказал подготовить к завтрашнему вечеру празднество под деревьями, осенявшими своей тенью площадку перед домом, и пригласить весь город. Благодаря таинственной силе моего кошелька, стараниям Бенделя, изобретательности и проворству Раскала нам удалось восторжествовать над временем. Поистине удивительно, как всего за несколько часов было устроено столь красивое и роскошное пищество. С каким великолепием, с ка-

ким избытком! Остроумно придуманное освещение было распределено с большим искусством, и я чувствовал себя в полной безопасности. Оставалось только похвалить моих слуг, — ведь мне не пришлось ни о чем напоминать.

Наступил вечер. Стали собираться гости, их представляли мне. О «вашем величестве» не было больше и речи; меня почтительно, с глубоким благоговением именовали «господин граф». Что мне было делать? Я не возражал против графа и с этих пор стал графом Петером. Но среди праздничной суеты сердце мое стремилось только к одной. Было уже поздно, когда появилась она — венец творения, увенчанная мною алмазным венцом. Она шла, благонравно опустив глаза, вслед за родителями и, казалось, не знала, что прекраснее ее здесь никого нет. Мне были представлены главный лесничий, его супруга и дочь. Для стариков у меня нашлось много комплиментов и любезностей; перед дочерью я стоял как провинившийся школьник и не мог вымолвить ни слова. Наконец, запинаясь, попросил я красавицу осчастливить наш праздник и занять на нем место, подобающее той эмблеме, что украшает ее голову. Оробев, она бросила на меня трогательный взгляд, моливший о пощаде; но, робея еще больше нее, я назвал себя ее подданным и первый уверил ее в своем благоговении и преданности; для гостей желание графа было приказом, который все поспешили исполнить. На нашем веселом празднестве царили величие, невинность и грация в союзе с красотой. Счастливые родители Минны думали, что их дочь так возвеличена только из уважения к ним; сам я все время находился в неопишемом опьянении. Я приказал положить в две закрытые миски все оставшиеся у меня драгоценности — жемчуг и самоцветные камни, купленные еще в ту пору, когда я не знал, как избавиться от тяготившего меня золота, и во время ужина раздать их от имени царицы бала ее подругам и прочим дамам. Между тем ликующей толпе, стоявшей за огороженным пространством, бросали пригоршнями золото.

На следующее утро Бендель по секрету сообщил мне, что подозрение, которое он давно питал насчет Раскала, окончательно подтвердилось: вчера Раскал утаил несколько мешков золота.

— Бог с ним, — сказал я, — пусть его, бедняга, пользуется. Я раздаю направо и налево, почему не дать и ему? Вчера и он, и все новые слуги, которых ты нанял, выполняли свои обязанности отлично, они весело помогали справлять веселый праздник.

Больше мы об этом не говорили. Раскал был моим камердинером, Бендель же другом и наперсником. Он привык считать мое богатство неистощимым и не старался дознаться, откуда оно; мало того, подхватывая на лету мои мысли, он вместе со мной придумывал, куда истратить мое золото, и помогал мне проматывать деньги. О незнакомце, о бледном пронырливом человеке Бендель знал одно: только он может избавить меня от тяготеющего надо мной проклятия, и, хотя на нем зиждутся все мои надежды, я боюсь предстоящей встречи. Впрочем, я убежден, что где бы я ни был, он при желании всегда меня разыщет, мне же его нипочем не разыскать, поэтому я и отказался от напрасных поисков и жду обещанного дня.

Вначале пышность заданного мною пира и мое поведение на нем только укрепили легковверных обывателей в их предвзятом мнении. Правда, из газет вскоре выяснилось, что легендарное путешествие прусского короля — необоснованный слух. Но так или иначе, меня сделали королем, королем я и остался, да к тому же еще из самых богатых и щедрых. Вот только никто не знал, какого королевства. Мир никогда не имел основания жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни особенно; простодушные обыватели и в глаза не выдвигали королей и посему с равным основанием приписывали мне то одно, то другое королевство. Граф Петер неизменно оставался тем, кем он был.

Однажды среди приехавших на воды появился некий коммерсант, с целью наживы объявивший себя банкротом; он пользовался всеобщим уважением и отбрасывал, правда, широкую, но бледноватую тень. Он хотел прихвастнуть здесь накопленным богатством, ему даже взбрело на ум потягаться со мной. Я прибегнул к своему кошельку и вскоре довел беднягу до того, что ему, дабы спасти свой престиж, пришлось снова объявить себя банкротом и перебраться на ту сторону гор. Так я отделался от него. Ох, сколько бездельников и лодырей наплодил я в здешней местности!

Своей поистине королевской расточительностью и роскошью я подчинил себе все, однако у себя дома я жил очень скромно и уединенно. Я поставил себе за правило величайшую осторожность; никто, кроме Бенделя, ни под каким предлогом не смел входить в мои личные покои. Пока светило солнце, я сидел там, запершись с Бенделем, и всем говорилось: граф работает у себя в кабинете. Работой же объяснялось то множество на-

рочных, которых я гонял по всяким пустякам взад и вперед. Гостей я принимал только по вечерам либо в тени деревьев, либо в зале, ярко освещенном согласно искусным указаниям Бенделя. Когда я выходил, Бендель не спускал с меня неусыпного ока, выходил же я только в сад к лесничему и только ради нее, моей единственной, ибо самым заветным в жизни была для меня моя любовь.

О, душа моя, Шамиссо, надеюсь, ты еще не забыл, что такое любовь! Ты сам дополнишь остальное. Минна была доброй, кроткой девушкой, достойной любви. Я овладел всеми ее помыслами. По своей скромности она не понимала, чем заслужила мое исключительное внимание, и со всем пылом неискушенного юного сердца платила любовью за любовь. Она любила, как любят женщины, целиком отдаваясь чувству, самоотверженно, думая только о том, кто был всей ее жизнью, забывая себя, то есть любила по-настоящему.

Я же... о, какие ужасные часы, — ужасные, но как бы я хотел их вернуть! — провел я, рыдая на груди у Бенделя, когда опомнился после первого опьянения и посмотрел на себя со стороны: как мог я, человек, лишенный тени, в коварном себялюбии толкать на гибель эту чистую душу, этого ангела, приворожив ее и похитив ее любовь! Я то решал открыться ей во всем, то клялся страшными клятвами вырвать ее из своего сердца и бежать, то снова разражался слезами и обсуждал с Бенделем, как свидеться с нею вечером в саду лесничего.

Бывали дни, когда я пытался обмануть сам себя, возлагая большие надежды на близкое свидание с серым незнакомцем, а потом снова плакал, ибо при всем желании не мог поверить этим надеждам. Я высчитал день ожидаемой страшной встречи, ведь он сказал — через год со днем, и я верил его слову.

Родители Минны были хорошими, почтенными людьми, горячо любившими свою единственную дочь. Наше сближение, о котором они узнали не сразу, поразило их, и они не знали, что делать. Им и во сне не снилось, что графу Петеру может приглянуться их Минна; а теперь оказывается, он ее любит, и она отвечает ему взаимностью. Мать была достаточно тщеславной, считала наш брак возможным и старалась ему способствовать; разумный, знающий жизнь старик не допускал подобных сумасбродных фантазий. Оба были убеждены в чистоте моих помыслов; оставалось только молить Бога за свое дитя.

Мне под руку попало письмо Минны, сохранившееся еще от той поры. Да, это ее почерк! Я перепишу его для тебя.

«Я молода и глупа! Я вообразила, что мой любимый не может сделать больно мне, бедной девушке,— ведь я люблю его от всего сердца, от всего своего сердца. Ах, ты такой добрый, такой удивительно добрый, но не пойми меня превратно. Ты не должен ничем жертвовать ради меня, ничем, даже мысленно. Господи Боже! Я бы возненавидела себя, если бы ты это сделал! Нет — ты дал мне безмерное счастье, научил любить тебя. Уезжай! Я знаю свою судьбу! Граф Петер принадлежит не мне, он принадлежит миру. Я хочу гордиться тобой, хочу слышать: «это был он», и «это снова был он», и «это совершил он», и «все благоговейт перед ним», и «его боготворят». Понимаешь, когда я об этом подумаю, я сержусь на тебя за то, что ты забываешь о своем великом предназначении из любви к такой простушке, как я. Уезжай, ведь от этой мысли я могу почувствовать себя несчастной, а ты дал мне такое счастье, такое блаженство! Разве я не вплела в твою жизнь оливковую ветвь и еще не распустившуюся розу, так же, как в тот венок, который мне было даровано преподнести тебе? Ты, мой любимый, живешь в моем сердце, не бойся расстаться со мной — благодаря тебе я умру такой счастливой, такой бесконечно счастливой».

Ты представляешь, какой болью отозвались в моем сердце эти слова. Я признался ей, что я не тот, за кого меня принимают. Я просто богатый и бесконечно несчастный человек. Надо мной тяготеет проклятие, которое должно остаться единственной моей тайной от нее, ибо я еще не потерял надежды, что оно будет снято. Это-то и отравляет мне жизнь: я боюсь увлечь за собой в бездну и ее — ее, единственный светоч, единственное счастье моей жизни, единственное сокровище моего сердца. Она снова заплакала. Теперь уже из жалости ко мне. Ах, какая она была ласковая, какая добрая! Ради того, чтобы я не пролил лишней слезинки, она бы с радостью пожертвовала собой.

Но как она была далека от правильного истолкования моих слов! Она подозревала, что я владетельный князь, подвергшийся изгнанию, высокая особа в опале, и ее живая фантазия уже окружала возлюбленного герцогским ореолом.

Как-то я сказал ей:

— Минна, последний день будущего месяца может

изменить и решить мою судьбу. Если этого не случится, я должен умереть, потому что не хочу сделать тебя несчастной.

Горько плача, спрятала она лицо у меня на груди.

— Если судьба твоя изменится, мне достаточно знать, что ты счастлив, больше мне ничего не надо. Если ты будешь обременен горем, не покидай меня, я помогу тебе нести твоё бремя.

— Возьми, возьми обратно необдуманные слова, слетевшие с твоих уст! Знаешь ли ты, в чём моё горе, в чём моё проклятие? Знаешь ли ты, кто твой возлюбленный... Знаешь ли, что он... Ты видишь, я содрогаюсь и не могу решиться открыть тебе свою тайну!

Она, рыдая, упала к моим ногам и заклинала внять её мольбе.

Я объявил подошедшему лесничему о своём намерении первого числа следующего месяца просить руки его дочери. Такой срок я установил потому, что за это время многое в моей жизни может измениться. Неизменна только моя любовь к его дочери.

Добрый старик очень испугался, услышав такие слова из уст графа Петера. Он бросился мне на шею, но тут же сконфузился при мысли, что мог так забыть. Затем он начал сомневаться, раздумывать, допытываться; заговорил о приданом, об обеспечении, о будущем своей любимой дочери. Я поблагодарил его, что он напомнил об этом. Сказал, что хочу поселиться здесь, в этой местности, где меня как будто любят, и зажить беззаботной жизнью. Я попросил его приобрести на имя его дочери самые богатые из продажных поместий, а оплату перевести на меня. В таких делах отец лучше всякого другого может помочь жениху.

Ему пришлось здорово похлопотать; всюду его опережал какой-то чужестранец; лесничему удалось купить поместий только на миллион.

Поручая ему эти хлопоты, я, в сущности, старался его удалить, я не раз уже прибегал к подобным невинным хитростям, потому что, должен признаться, он бывал назойлив. Мамаша была туга на ухо и не стремилась к чести развлекать его сиятельство графа своими разговорами.

Тут подоспела мать. Счастливые родители настоятельно просили провести с ними сегодняшний вечер; я же не мог задержаться ни на минуту; я видел, что уже всходит луна. Время моё истекло.

На следующий вечер я снова пошел в сад к лесниче-

му. Набросив плащ на плечи, надвинув шляпу на самые глаза, я направился прямо к Минне. Она подняла голову, посмотрела на меня и вдруг сделала невольное движение; и перед моим умственным взором сразу возникло видение той страшной ночи, когда я, не имея тени, решился выйти при луне. Да, это была она. Но узнала ли и она меня? Минна в раздумье молчала, и у меня было тяжело на сердце. Я встал. Она, беззвучно рыдая, бросилась мне на грудь. Я ушел.

Теперь я часто заставлял Минну в слезах; у меня на душе с каждым днем становилось все мрачней и мрачней; только родители купались в блаженстве. Роковой день надвигался, жуткий и хмурый, как грозовая туча. Наступил последний вечер — я еле дышал. Предусмотрительно наполнив золотом несколько сундуков, я стал ожидать полночи.

Часы пробили двенадцать.

Я не спускал глаз со стрелки, считал секунды, минуты, ощущая их, как удары кинжала. Я вздрагивал от малейшего шума. Наступило утро. Один за другим проходили тягостные часы, настал полдень, настал вечер, ночь; двигались стрелки; гасла надежда; пробил одиннадцать, никто не появлялся; уходили последние минуты последнего часа, никто не появлялся; пробил первый удар, пробил последний удар двенадцатого часа; потеряв всякую надежду, обливаясь слезами, повалился я на свое ложе. Завтра мне, навеки лишенному тени, предстояло просить руки возлюбленной; под утро я забылся тяжелым сном.

V

Было еще очень рано, когда меня разбудили голоса людей, громко споривших в прихожей. Я прислушался. Бендель не допускал до меня. Раскал ругался на чем свет стоит, кричал, что распоряжение равных ему людей для него не указ, и насильно ломился ко мне в спальню. Добрый Бендель увещевал его, говоря, что, буде такие слова дойдут до моего слуха, Раскал лишится выгодного места. Тот грозился дать волю рукам, если Бендель заупрямится и не допустит его ко мне.

Я кое-как оделся, в ярости распахнул дверь и напустился на Раскала:

— Зачем ты сюда пожаловал, бездельник?

Он отступил шага на два и холодно ответил:

— Покорнейше просить вас, господин граф, позволить мне взглянуть на вашу тень! На дворе сейчас ярко светит солнце.

Слова его меня точно громом поразили. Долго не мог я снова обрести дар речи.

— Как может лакей так говорить со своим господином?..

Он спокойно перебил меня:

— Лакеи тоже, бывает, себя уважают, а уважающий себя лакей не захочет служить господину, у которого нет тени. Я пришел за расчетом.

Я попытался затронуть другие струны:

— Но, дорогой мой Раскал, кто внушил тебе такую злополучную мысль? Неужели ты думаешь?..

Он продолжал в прежнем тоне:

— Люди болтают, будто у вас нет тени... Да что там говорить, покажите мне вашу тень или пожалуйте расчет.

Побледневший, дрожащий Бендель оказался находчивее меня, он подал мне знак; я прибег к все улаживающему золоту. Но и оно потеряло свою силу, Раскал швырнул деньги мне под ноги:

— От человека, у которого нет тени, мне ничего не надо!

Он повернулся ко мне спиной и, не сняв шляпы, насвистывая песенку, медленно вышел из комнаты. Мы с Бенделем, словно окаменев, смотрели ему вслед без мысли, без движения.

Тяжело вздыхая, скорбя душой, собрался я наконец вернуть слово и, как преступник перед судьями, предстать перед семей лесничего. Я вошел в темную беседку, названную в честь меня, где они должны были дожидаться моего прихода и на этот раз. Ничего не подозревавшая мать встретила меня радостно. Минна сидела в беседке, бледная и прекрасная, как первый снег, который иногда в осеннюю пору целует последние цветы, чтобы тут же растаять и превратиться в горькую влагу. Лесничий, держа в руке исписанный лист бумаги, шагал из угла в угол и, казалось, старался побороть чувства, отражавшиеся на его то красневшем, то бледневшем лице, обычно маловыразительном. Он сейчас же подошел ко мне и потребовал, прерывая свои слова вздохами, чтобы я поговорил с ним наедине. Аллея, куда он предложил нам уединиться, вела в открытую, залитую солнцем часть сада. Ни слова не говоря, опустил я на скамью; последовало долгое молчание, прервать которое не решалась даже мамаша.

Лесничий продолжал быстро и нервно шагать из угла в угол беседки; вдруг он остановился передо мной, посмотрел на листок, который держал в руке, и, глядя на меня испытующим взглядом, спросил:

— Скажите, ваше сиятельство, вам действительно знаком некий Петер Шлемиль?

Я молчал.

— Человек прекрасного нрава, одаренный особыми талантами...

Он ждал ответа.

— А что, если я сам этот человек?

— ...и потерявший свою собственную тень! — прибавил он резко.

— Предчувствие не обмануло меня! — воскликнула Минна.— Да, я уже давно знала, что у него нет тени!

И она бросилась в объятия матери, которая в страхе судорожно прижала ее к груди, осыпая упреками за то, что она, себе на горе, скрыла от родителей такую ужасную тайну. Дочь превратилась, подобно Аретузе, в ручей слез, сильнее разливавшийся при звуке моего голоса, а при моем приближении струившийся бурным потоком.

— И вы не побоялись с неслыханной наглостью обмануть ее и меня? — гневно продолжал отец.— Вы говорите, что любите ее, и в то же время так ее опозорили! Видите, она плачет, она рыдает! Какой ужас! Какой ужас!

Я совсем потерял голову и, сам не понимая, что говорю, начал убеждать, что это, в конце концов, тень, всего только тень; можно отлично прожить и без нее и не стоит подымать из-за этого столько шума. Но я сам чувствовал всю неубедительность своих доводов; я замолчал, а он не удостоил меня даже ответом. Я прибавил только: то, что раз потерял, в другой раз, случается, найдешь.

Он в ярости набросился на меня:

— Сознайтесь, сознайтесь, сударь, каким образом вы лишились тени?

Мне опять пришлось прибегнуть ко лжи:

— Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать тень в починку, ведь деньги творят чудеса; я надеялся получить ее вчера обратно.

— Так, так, государь мой,— возразил лесничий,— вы сватаете мою дочь, ее сватают и другие. На мне как на отце лежит забота о ней; даю вам три дня срока,

Потрудитесь за это время обзавестись тенью. Если вы за эти три дня явитесь с хорошо пригнанной тенью, милости просим; но на четвертый — будьте покойны — моя дочь станет женой другого.

Я было попробовал заговорить с Минной, но она, расплакавшись пуще прежнего, крепче прижалась к матери, и та молча махнула мне рукой, — дескать, идите! Я побрел прочь, и мне казалось, что мир замкнулся у меня за спиной. Скрывшись от надзора любящего Бенделя, в отчаянии блуждал я по лесам и полям. От страха лоб мой покрылся холодным потом, из груди вырывались глухие стенания, я сходил с ума.

Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг, очутившись на залитой солнцем поляне, я почувствовал, что кто-то схватил меня за рукав. Я остановился и оглянулся. У меня за спиной стоял человек в сером рединготе, мне даже показалось, будто он запыхался, догоняя меня. Он сейчас же заговорил:

— Я обещал явиться сегодня; вы не могли дождаться условленного времени. Но ничто еще не потеряно; вы послушаетесь доброго совета, выменяете обратно свою тень, которую я предоставляю в ваше распоряжение, и тут же вернетесь туда, откуда пришли. Лесничий примет вас с распростертыми объятиями, все будет объяснено простой шуткой. С Раскалом, который вас выдал и сам сватается к вашей невесте, я и один справлюсь, по нем давно плачет виселица.

Я слушал как во сне.

— Вы обещали явиться сегодня? — Я еще раз прикинул срок. Он был прав: с самого начала я обсчитался на один день. Я нащупал правой рукой кошелек на груди; незнакомец правильно истолковал мое движение и отступил на два шага.

— Нет, господин граф, кошелек в очень хороших руках, оставьте его при себе.

Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на него. Он продолжал:

— Взамен тени я прошу пустячок, так, на память: будьте столь любезны, поставьте свою подпись вот под этим листком.

На листке пергамента стояли следующие слова: «Завещаю держателю сего мою душу после того, как она естественным путем разлучится с телом, что собственной подписью и удостоверяю».

Онемев от изумления, переводил я взгляд с записки на незнакомца в сером и обратно. Он же тем временем

очинил перо, обмакнул его в каплю крови, выступившую у меня на ладони, которую я оцарапал об острый шип, и протянул мне.

— Кто же вы? — спросил я наконец.

— Не все ли равно? — отозвался он. — Да разве по мне не видно? Так, из породы лукавых, из тех ученых чудаков и лекарей, которые знают одну радость на свете — занятия всякой чертовщиной, хотя они и не получают благодарности за те диковинные штучки, что преподносят своим друзьям. Но поставьте же вашу подпись! Вот тут, справа внизу: Петер Шлемиль.

Я покачал головой и сказал:

— Простите, милостивый государь, но этого я не подпишу!

— Не подпишете? — удивленно повторил он. — А почему?

— Мне кажется в известной мере необдуманным променять душу на собственную тень.

— Так, так, необдуманно! — повторил он и громко расхохотался мне в лицо. — А позвольте спросить, что такое ваша душа? Вы ее когда-либо видели? И на кой прах она вам нужна после смерти? Радуйтесь, что нашли любителя, который еще при жизни согласен заплатить за нее чем-то реальным, а именно — вашей телесной тенью, при помощи которой вы можете добиться руки любимой девушки и исполнения всех желаний, за завешание этой неизвестной величины, этого *x*, этой гальванической силы, или поляризирующего действия, или как вам будет угодно назвать всю эту галиматью. Неужели вы предпочитаете толкнуть в объятия подлого мошенника Раскала бедняжку Минну, такую еще молоденькую? Нет, надо чтобы вы взглянули на это собственными глазами; идемте, я одолжу вам шапку-невидимку, — он вытащил что-то из кармана, — и, скрытые от людских взоров, мы совершим паломничество в сад к лесничему.

Должен признаться, мне было очень стыдно, что человек в сером так надо мной измывается. Я ненавидел его всеми силами души, и, думаю, личное отвращение сильнее, чем нравственные устои и предрассудки, удержало меня от выкупа тени — хоть она и была мне очень нужна — ценой требуемой подписи. Столь же невыносимо казалось мне предпринять в его обществе предложенную им прогулку. Все мое существо возмущалось при мысли, что между мной и любимой вотрется этот мерзкий пролаза, что этот саркастически улыбающийся де-

мон будет издеваться над нашими истекающими кровью сердцами. Я счел то, что случилось, волей рока, а свою беду неотвратимой и, обратясь к нему, сказал:

— Сударь, я продал вам свою тень за этот весьма превосходный кошелек и потом очень каялся. Если сделку можно расторгнуть, слава Богу!

Он покачал головой и сразу помрачнел. Я продолжал:

— Ничего больше из того, что мне принадлежит, я вам не продам, даже если вы предложите в уплату мою тень. А значит, ничего не подпишу. Отсюда явствует, что прогулка в шапке-невидимке, на которую вы меня приглашаете, будет не в равной мере увеселительной для вас и для меня. Посему прошу меня извинить, и, раз мы ни к чему не пришли,— расстанемся!

— Весьма сожалею, мосье Шлемиль, что вы упорно отказываетесь от сделки, которую я вам дружески предлагаю. Возможно, в другой раз я буду счастливее. До скорого свидания! А rgoros¹, будьте любезны убедиться, что вещи, которые я покупаю, не плесневеют,— они у меня в чести и в полной сохранности.

Он сейчас же вытащил из кармана мою тень и, ловко бросив ее на поляну, раскатал и расправил на солнечной стороне у своих ног, так что к его услугам оказались две тени — моя и его собственная,— между которыми он и шагал, ибо моя тень тоже подчинялась ему и послушно приспособлялась ко всем его движениям.

Когда после столь долгого перерыва я снова увидел бедную мою тень, да притом еще обесчещенную унижительной службой у такого негодяя, в то время как я из-за нее терпел несказанные муки, сердце мое не выдержало, и я горько разрыдался. А он, окаянный, величаясь передо мной похищенной у меня же собственностью, возобновил свое наглое предложение:

— Ничто еще не упущено. Росчерк пера — и бедная несчастная Минна спасена: из лап негодяя она попадет прямо в объятия уважаемого господина графа! Я уже сказал — один росчерк пера!

Слезы с новой силой брызнули у меня из глаз, но я отвернулся и махнул рукой, чтоб он уходил.

Как раз в эту минуту подоспел Бендель, который, besпокоясь обо мне, побежал за мной следом и наконец

¹ Кстати (фр.).

настиг меня здесь. Когда этот добрый, преданный друг застал меня в слезах, а мою тень, не узнать которую он не мог, во власти неизвестного серого чародея, он тут же решил хотя бы силой вернуть мне мою собственность; но он не умел обращаться с таким деликатным предметом и потому сразу же напустился на серого человека и, не тратя времени на разговоры, приказал ему сию же минуту, не рассуждая, отдать мне мое добро. Но тот вместо ответа повернулся спиной к простодушному парню и пошел прочь. Бендель же взмахнул дубинкой, которая была при нем, и, следуя за ним по пятам, все снова и снова требовал, чтобы он отдал тень, и беспощадно лупил его со всей силы своих жилистых рук. Незнакомец же, словно такое обращение для него дело привычное, втянул голову в плечи, сгорбился и молча, не ускоряя шага, побрел своей дорогой через поляну, уводя за собой и мою тень, и моего верного слугу. И долго еще слышались в этом безлюдье глухие удары, пока наконец не замолкли вдали. Я снова оказался один со своим горем.

VI

Оставшись на пустой поляне, я дал волю безудержным рыданиям, стараясь облегчить душу и в слезах излить гнетущую меня тоску. Но я не видел конца, не видел выхода, не видел предела моему безмерному страданию. С мрачной жаждой пил я теперь тот яд, который незнакомец влил мне в рану. Я представил себе Минну, и у меня в душе возник нежный образ любимой, бледной и обливающейся слезами, какой я видел ее в последний раз в минуту моего позора, но тут между ней и мной нагло протискался призрак издевающегося Раскала. Я закрыл лицо и бросился в лес, однако мерзкое видение не отставало, оно преследовало меня, пока наконец я не упал, задыхаясь, на землю, которую оросил новым потоком слез.

И все это из-за тени! И чтобы получить эту тень обратно, достаточно росчерка пера. Я задумался над неслыханным предложением и над моим отказом. В голове у меня все спуталось, я не знал, что делать, на что решиться.

День клонился к вечеру. Я утолил голод ягодами, жажду — водою из горного потока; настала ночь, я улегся

под деревом. Утренняя сырость пробудила меня от тяжелого сна, во время которого я сам слышал свое хриплое, словно предсмертное дыхание. Бендель, видно, потерял мой след, и я был этому рад. Я не хотел возвращаться к людям, от которых бежал в страхе, как пугливый горный зверь. Так прожил я три ужасных дня.

Наутро четвертого я очутился на песчаной равнине, ярко освещенной солнцем, и, сидя на обломках скалы, грелся в его лучах. Теперь я радовался солнцу, которого так долго был лишен. Я находил утешение в своей сердечной тоске. Вдруг меня спугнул легкий шорох. Я огляделся вокруг, готовясь тут же убежать, и не увидел никого; но мимо меня по освещенному солнцем песку проскользнула тень человека, похожая на мою, которая, казалось, убежала от своего хозяина и гуляла одна на свободе.

Во мне возникло непреодолимое желание. «Тень,— подумал я,— уж не ищешь ли ты хозяина? Я буду им». И я бросился к тени, чтобы овладеть ею. Я, собственно, думал, что, ежели мне удастся наступить на ее край так, чтобы она очутилась у самых моих ног, она, может быть, к ним прилипнет и со временем привыкнет ко мне.

Но, как только я двинулся с места, тень бросилась наутек; я пустился вдогонку за легкой беглянкой, и только мысль, что таким путем я могу вырваться из тяжелого положения, в какое попал, давала мне нужные силы. Тень удирала к лесу, правда, пока еще далеко, и в его сумраке я бы ее, конечно, потерял. Я понял это, страх пронзил мне сердце, воспламенил мое желание, окрылил стопы; я заметно нагонял тень, расстояние между нами все уменьшалось, я уже почти достиг ее. Но тут она вдруг остановилась и обернулась ко мне. Как лев на добычу, одним прыжком, кинулся я на нее — и неожиданно наткнулся на сильное физическое сопротивление. На меня посыпались удары невидимых, но неслыханно увесистых кулаков. Навряд ли такие тумачи доставались кому-либо из смертных.

Обезумев от страха, я судорожно обхватил обеими руками и крепко сжал то невидимое, что стояло передо мной. При этом быстром движении я упал и растянулся на земле; но подо мной лежал на спине человек, который только сейчас стал видимым и которого я не выпускал.

Теперь все случившееся получило самое естественное объяснение. Человек, вероятно, раньше нес, а теперь

бросил гнездо-невидимку, которое делает невидимым того, кто его держит, но не его тень. Я огляделся вокруг, очень быстро обнаружил тень гнезда-невидимки, вскочил на ноги, подбежал к гнезду и не упустил драгоценную добычу. Я — невидимый и не имеющий тени — держал в руках гнездо.

Лежавший подо мной человек быстро вскочил, озираясь вокруг в поисках своего счастливого победителя, но он не увидел на открытой солнечной поляне ни его, ни его тени, отсутствие которой его особенно испугало. Ведь он не успел заметить и никак не мог предположить, что я сам по себе лишен тени. Убедившись, что я исчез бесследно, он в страшном отчаянии схватился за голову и стал рвать на себе волосы. Мне же добытое с бою сокровище давало возможность, вместе с тем и желание, снова появиться в кругу людей. У меня не было недостатка в доводах для оправдания в собственных глазах своей вероломной кражи, или, вернее, я не чувствовал в этом необходимости; чтобы подобные мысли и не приходили мне в голову, я поспешил прочь, не оглядываясь на несчастного, испуганный голос которого еще долго доносился до моего слуха. Так, по крайней мере, представлялись мне тогда все обстоятельства этого дела.

Я сгорал от нетерпения попасть в сад к лесничему и собственными глазами убедиться, верно ли то, что рассказал мой ненавистник. Но я не знал, где я, и, чтоб осмотреться вокруг, забрался на ближайший холм, с вершины которого увидел лежащий у его подножия городок и сад лесничего. Сердце отчаянно билось; и слезы, но уже иные, чем те, что я проливал до этого, опять выступили у меня на глазах: я снова увижу ее! Страстная тоска гнала меня вниз по ближайшей тропинке. Незамеченный прошел я мимо крестьян, идущих из города. Они говорили обо мне, Раскале и лесничем; я не хотел вслушиваться, я поспешил пройти мимо.

Трепеща от ожидания, вошел я в сад, и вдруг словно кто-то захохотал мне навстречу. Я похолодел и огляделся, но не увидел никого. Я пошел дальше, мне почудился какой-то шорох, точно кто-то шагал рядом со мной, но никого не было видно; я подумал, что это обман слуха. Был еще ранний час, в беседке графа Петера — никого, в саду — пусто; я быстро прошел по знакомым аллеям к дому. Тот же шорох, но уже более явственный, все время преследовал меня. Со страхом в сердце сел я на скамью, которая стояла на залитой солнцем лужай-

ке против крыльца. Мне померещилось, будто окаянный невидимка хихикнул и сел со мною рядом. В дверях повернули ключ. Дверь отворилась; из дому вышел лесничий с бумагами в руках. Я почувствовал, что голову мою окутало как туманом, и — о ужас! — человек в сером сидел рядом и глядел на меня с дьявольской усмешкой. Он натянул свою шапку-невидимку и на меня, у его ног мирно лежали рядом его и моя тень. Человек в сером бережно вертел в руках уже знакомый мне лист пергамента и, пока занятый своими бумагами лесничий ходил взад и вперед, конфиденциально зашептал мне на ухо:

— Так, значит, вы все же приняли мое приглашение, и теперь мы сидим рядом — две головы под одной шапкой. Это уже хорошо, да, да, хорошо! Ну а теперь верните мне гнездо; оно вам больше не нужно, вы человек честный и не станете удерживать его силой. Нет, нет, не благодарите, уверяю вас, я одолжил его вам от всего сердца.

Он беспрепятственно взял гнездо у меня из рук, положил к себе в карман и снова рассмеялся, да так громко, что лесничий огляделся вокруг. Я словно окаменел.

— Признайтесь, — продолжал он, — что такая шапка-невидимка куда как удобна, она закрывает не только самого владельца, но и его тень, да еще столько теней, сколько ему заблагорассудится прихватить. Вот сегодня я опять захватил две. — Он снова захохотал. — Заметьте, Шлемиль! Сперва не хочешь добром, а потом волей-неволей согласишься. Я думаю, вы выкупите у меня сей предмет, получите обратно невесту (время еще не упущено), а Раскал будет болтаться на виселице. Пока веревки не перевелись, это для нас дело плевое. Слушайте, я вам в придачу еще и шапку-невидимку дам.

Тут из дому вышла мать, и начался разговор.

— Что делает Минна?

— Плачет.

— Глупая девочка! Ведь теперь уж ничего не изменишь!

— Конечно, нет; но так скоро отдать ее другому... Ох, отец, ты жесток к собственному ребенку!

— Нет, мать, ты неправа. Вот выплачет она свои девичьи слезы, увидит, что она жена очень богатого уважаемого человека, и утешится, позабудет свое горе, как тяжелый сон, и станет благодарить и Бога и нас; вот увидишь!

— Дай-то Бог!

— Правда, ей принадлежат теперь очень хорошие поместья, но после того шума, который наделала злополучная история с этим проходимцем, навряд ли скоро представится другая такая же удачная партия, как господин Раскал. Знаешь, какое у него состояние? Он приобрел на шесть миллионов имений в нашем краю, ни одно не заложено, за все заплачено чистоганом. Я все купчие видел! Это он скупал у меня под носом все самое лучшее, да сверх того у него еще в векселях на Томаса Джона около четырех с половиной миллионов.

— Он, верно, много накрал.

— Ну что это ты опять городишь! Он был разумен и копил там, где другие швыряли деньгами.

— Ведь он же служил в лакеях!

— Э, ерунда! Зато у него безукоризненная тень!

— Ты, прав, но...

Человек в сером засмеялся и посмотрел на меня. Дверь отворилась, и в сад вышла Минна. Она опиралась на руку горничной, тихие слезы катились по ее прекрасным бледным щекам. Минна села в кресло, которое было вынесено для нее под липу, а отец придвинул стул и сел рядом. Он нежно держал Минну за руку и ласково ее уговаривал, а она заливалась горькими слезами.

— Ты у меня добрая, хорошая дочка; будь же умницей, не огорчай старика отца; ведь я хочу тебе счастья. Я, голубка моя, отлично понимаю, как ты потрясена, ты просто чудом избежала несчастья! До тех пор, пока не открылся гнусный обман, ты очень любила этого недостойного человека! Видишь, Минна, я это знаю и не упрекаю тебя. Я сам, деточка, любил его, пока считал знатной особой. Теперь ты видишь, как все переменялось. Подумай только! У каждого самого паршивого пса есть тень, а моя любимая единственная дочь собиралась замуж за... Нет, ты об нем больше не думаешь. Послушай, Минна, за тебя сватается человек, которому незачем бегать от солнца, человек почтенный, не сиятельный, правда, но зато у него десятиmillionное состояние, в десять раз большее, чем у тебя, с ним моя любимая девочка будет счастлива. Не возражай, не противься, будь доброй, послушной дочкой! Предоставь любящему отцу позаботиться о тебе, осушить твои слезы. Обещай, что отдашь свою руку господину Раскалу. Ну, скажи, обещаешь?

Она ответила замирающим голосом:

— У меня не осталось собственной воли, не осталось на этом свете желаний, я поступлю так, как тебе, отец, будет угодно.

Тут же было доложено о приходе господина Раскала, который имел наглость приблизиться к ним. Минна легла в обмороке. Мой ненавистный спутник злобно посмотрел на меня и быстро шепнул:

— И вы это потерпите! Что течет у вас в жилах вместо крови? — Он быстро оцарапал мне ладонь, выступила кровь, он продолжал: — Ишь ты! Красная кровь! Ну, подпишите!

У меня в руках очутились пергамент и перо.

VII

Я подчиняюсь твоему приговору, любезный Шамиссо, и не буду оправдываться. Сам я уже давно осудил себя на строгую кару, ибо лелеял в сердце своем червя-мучителя. Перед моим умственным взором непрестанно представала картина той роковой минуты в моей жизни, и я мог взирать на нее только с нерешительностью, смирением и раскаянием. Любезный друг, кто по легкомыслию свернет хоть на один шаг с прямого пути, тот незаметно вступит на боковые дорожки, которые уведут его все дальше и дальше в сторону. Напрасно будет он взирать на сверкающие в небе путеводные звезды, у него уже нет выбора: его неуклонно тянет вниз, отдаться в руки Немезиды. После необдуманного, ложного шага, навлекшего на меня проклятие, я совершил преступление, полюбив и торгшись в судьбу другого человека. Что оставалось мне? Там, где я посеял горе, где от меня ждали быстрого спасения, очертя голову ринуться на спасение? Ибо пробил последний час. Не думай обо мне плохо, Адельберт, поверь, что любая спрошенная цена не показалась бы мне слишком высокой, что я не пожалел бы ничего из принадлежащего мне, как не жалел золота, нет, Адельберт! Но душу мою переполнила непреодолимая ненависть к этому загадочному проныре, пробиравшемуся окольными путями. Возможно, я был несправедлив, но всякое общение с ним возмущало меня. И в данном случае, как уже часто было в моей жизни и во всемирной истории тоже, предусмотренное уступило место случайному. Впоследствии я сам с собой примирился. Я научился серьезно уважать неизбежность и то, что неотъемлемо присуще ей, что важнее предусмотренного действия, — свершившуюся случайность. Затем я научился также уважать неизбежность как мудрое Провидение, направляющее тот

огромный действующий механизм, в котором мы только действующие и приводящие в действие колесики; чему суждено свершиться, должно свершиться; чему суждено было свершиться, свершилось, и не без участия того Провидения, которое я наконец научился уважать в моей собственной судьбе и в судьбе тех, кого жизнь связала со мной.

Не знаю, чему приписать то, что случилось,— то ли душевному напряжению под влиянием сильных переживаний, то ли надрыву физических сил, которые за последние дни ослабли от непривычных лишений, то ли, наконец, присутствию серого аспида, близость которого возмущала все мое существо,— короче, когда дело дошло до подписи, я впал в глубокое забытье и долгое время лежал словно в объятиях смерти.

Первые звуки, коснувшиеся моего слуха, когда я пришел в себя, были брань и топанье. Я открыл глаза; уже стемнело, мой ненавистный спутник хлопотал около меня и ругался:

— Прямо старая баба какая-то! Ну, быстро, вставайте и делайте все по уговору, или мы передумали и предпочитаем хныкать?

Я с трудом поднялся с земли, на которой лежал, и молча огляделся. Был поздний вечер; из ярко освещенного дома лесничего доносилась праздничная музыка, по аллеям сада группами гуляли гости. Двое подошли ближе и, продолжая беседу, сели на скамью, где до того сидел я. Они говорили о состоявшейся сегодня утром свадьбе богача Раскала с дочерью лесничего. Итак, свершилось...

Я скинул с головы шапку-невидимку,— с ней вместе исчез и незнакомец,— и, углубившись в темноту кустов, молча поспешил по дорожке, ведущей мимо беседки графа Петера к выходу из сада. Но мой незримый мучитель не отставал от меня ни на шаг, преследуя едкими насмешками:

— Так вот она, благодарность за то, что я весь день провозился с таким слабонервным субъектом. А теперь, значит, остаюсь в дураках. Ладно же, господин упрямец, спасайтесь себе на здоровье, мы с вами все равно неразлучны! У вас мое золото, а у меня ваша тень; вот мы оба и не можем никак успокоиться. Где же это слыхано, чтобы тень отстала от своего хозяина? Ваша тень будет всюду таскать меня за вами, пока вы не смилюетесь и не соблаговолите взять ее обратно,— только тогда я с ней развяжусь. Смотрите, потом спохватитесь, да

уж поздно будет. И от доуки и омерзения сделаете то, что не удосужились сделать по доброй воле,— от судьбы не уйдешь!

Он продолжал все в том же духе; напрасно я думал спастись бегством, он не отставал ни на минуту и с издевкой твердил о золоте и тени. У меня в голове не было ни одной мысли.

Я шел, выбирая безлюдные улицы. Очутившись перед своим домом, я с трудом узнал его: за разбитыми окнами нет света, двери на запоре, в доме не слышно челяди. Человек в сером громко захохотал над самым моим ухом.

— Да, да, да, вот до чего дело дошло! Но ваш Бендель, должно быть, здесь; о нем позаботились: отправили домой в очень жалком виде, он, верно, никуда не выходит! — Он снова рассмеялся. — Да, ему есть что порассказать! Ну, так и быть! На сегодня хватит. Покойной ночи, до скорого свидания!

Я позвонил несколько раз; мелькнул свет; Бендель, стоя за дверью, спросил, кто звонит. Узнав меня по голосу, добрый малый едва мог сдержать свою радость; дверь распахнулась, мы, рыдая, кинулись друг другу в объятия. Он очень изменился, казался больным, осунулся. А я совсем поседел.

Бендель провел меня через опустошенные комнаты в далекий нетронутый покой; принес поесть и попить. Мы сели за стол, и он снова расплакался. Он рассказал, что так далеко преследовал и так долго лупил одетого в серое сухопарого человека, которого застал с моей тенью, что в конце концов потерял мой след и, совсем обессилив, свалился на землю, что затем, отчаявшись найти меня, вернулся домой, куда вскоре ворвалась науськанная Раскалом чернь, разбила окна и удовлетворила свою жажду разрушения. Так отплатила она своему благодетелю. Вся челядь разбежалась. Местная полиция запретила мне как лицу неблагонадежному пребывание в городе и приказала в двадцать четыре часа покинуть его пределы. Бендель добавил еще многое к тому, что было уже мне известно о богатстве и бракосочетании Раскала. Этот негодяй, от которого исходила поднятая против меня травля, должно быть, с самого начала узнал мою тайну; привлеченный, надо думать, золотом, он ловко втерся ко мне в доверие и с первых же дней подобрал ключ к денежному шкафу, что и положило основу его состояния, приумножением которого он мог теперь пренебречь.

Все это поведал мне Бендель, сопровождая свои слова обильными слезами, потом он плакал уже от радости, ибо после того, как долго мучился неведением, где я, снова видел меня, снова был со мной и убедился, что я спокоен и твердо переносу свое несчастье; да, мое отчаяние приняло теперь такую форму. Мое горе представлялось мне огромным, непоправимым; плача над ним, я выплакал все свои слезы. Больше оно уже не могло исторгнуть из моей груди ни единого стога, холодно и равнодушно подставляя я ему свою беззащитную голову.

— Бендель,— сказал я,— ты знаешь мой жребий. Тяжкое наказание постигло меня за прежнюю вину. Не надо тебе, человеку безвинному, и впредь связывать свою судьбу с моей; я этого не хочу. Я уеду сегодня в ночь, оседлай мне лошадь; я поеду один. Ты останешься здесь, такова моя воля. Тут должны быть еще несколько ящиков с золотом, возьми их себе! Я один буду скитаться по белу свету; но если для меня снова наступит радостная пора и счастье мне милостиво улыбнется, я вспомню тебя, ибо в тяжелые, печальные часы я плакал на твоей верной груди.

С болью в сердце повиновался честный слуга этому последнему, повергнутому в страх приказанию своего господина. Я остался глух к его мольбам и уговорам, слеп к его слезам. Он подвел мне лошадь. Я еще раз прижал обливавшегося слезами Бенделя к груди, вскочил в седло и под покровом ночи удалился от места, где похоронил свою жизнь, не заботясь, куда помчит меня конь,—ведь на земле у меня не осталось ни цели, ни желания, ни надежды.

VIII

Вскоре ко мне присоединился пешеход, который, прошагав некоторое время рядом с моей лошадью,— нам, видно, было по пути,— попросил разрешения положить сзади на седло свои пожитки; я молча согласился. Он поблагодарил, не придавая большого значения такой как будто бы не особо значительной услуге, похвалил мою лошадь и, воспользовавшись этим, стал превозносить счастье и могущество богачей, а затем незаметно завел своего рода разговор, в котором я принимал участие только в качестве слушателя.

Он пространно изложил свое мировоззрение и очень скоро дошел до метафизики, к которой-де предъявлено требование найти слово, разрешающее все загадки. Он чрезвычайно отчетливо разъяснил эту задачу и перешел к ответу на нее.

Тебе, мой друг, известно, что, побывав в выучке у философов, я твердо убедился в своей полной непригодности к умозрительным философским рассуждениям и решительно отрекся от этого поприща. С тех пор я до многого перестал докапываться, многое отказался постигнуть и понять и, следуя твоему же совету, доверился здравому смыслу, своему внутреннему голосу и, насколько это было в моих силах, шел своим путем. Так вот, мне показалось, что сей краснобай с большим мастерством возводит крепко сколоченное здание, которое, будучи в себе самом обосновано, возносится ввысь и стоит в силу внутренней необходимости. Но я не видел в нем как раз того, что хотел бы найти, и поэтому для меня это здание было просто художественным произведением, изящная гармония и совершенство которого радуют только глаз. Тем не менее я с удовольствием слушал своего красноречивого спутника, отвлекшего меня от грустных мыслей и овладевшего моим вниманием, и он легко покори́л бы меня, если бы обращался не только к моему разуму, но и к сердцу.

Меж тем время шло, и я не заметил, как посветлело от утренней зари небо. Я обмер, когда поднял глаза и вдруг увидел, что восток окрасился великолепным пурпуром, возвещавшим скорый восход солнца. Я понял, что в час, когда тени, отбрасываемые предметами, красуются во всей своей длине, мне некуда укрыться здесь, на открытом месте, негде найти убежище! А я был не один. Я взглянул на своего спутника и снова обмер. Это был человек в сером.

Он засмеялся, увидя мое смущение, и продолжал, не дав мне вымолвить ни слова:

— Пускай наша взаимная выгода на время нас свяжет, как это обычно бывает на свете! Расстаться мы всегда успеем. Вот эта дорога вдоль гор — по этой же дороге поспешаю и я — единственная, по которой, здраво рассуждая, вам следует ехать, хотя сами вы до этого не додумались; вниз, в долину, вам нельзя, а тем паче назад, через горы, туда, откуда вы прибыли. Я вижу, что восход солнца вас пугает; так и быть, я одолжу вам вашу тень на то время, что мы вместе, но зато вам придется примириться с моим обществом. Бенделя при вас

нет, можете воспользоваться моими услугами. Вы меня не любите, очень жаль. Все же я могу вам пригодиться. Черт не так страшен, как его малюют. Вчера вы меня, правда, разозлили; сегодня я уже обиды не помню, я помог вам скоротать время в пути, это вы должны признать. Хотите на время получить обратно свою тень?

Солнце взошло, по дороге навстречу нам шли люди. Я принял предложение, хотя и с неудовольствием. Усмехнувшись, опустил он на землю мою тень, которая тут же уселась на тень лошади и весело затрусилась рядом со мной. На душе у меня было смутно. Я проехал мимо группы крестьян, они, почтительно сняв шапки, дали дорогу состоятельному человеку. Я поехал дальше, с бьющимся сердцем, жадным оком косясь на тень, некогда принадлежавшую мне, а теперь полученную напрокат от постороннего, мало того — от врага.

А он беззаботно шагал рядом и насвистывал песенку. Он шел пешком, я ехал на лошади! У меня закружилась голова, искушение было слишком велико. Я дернул за повод, пришпорил коня и пустил его галопом по проселочной дороге. Но я не увез тени, при повороте на проселок она соскользнула с лошади и стала дожидаться на большаке своего законного хозяина. Пристыженный, повернул я обратно; человек в сером, спокойно досвистав свою песенку, высмеял меня, снова посадил мою тень на место и назидательно заметил, что она только тогда крепко ко мне прирастет и уже не отстанет, когда снова перейдет в мое законное владение.

— Я крепко держу вас за вашу тень,— закончил он.— И вам от меня не уйти! Такому богачу, как вы, тень необходима, тут ничего не поделаешь. За одно только вас следует пожурить — за то, что вы не сообразили этого раньше.

Я продолжал свой путь по большой дороге. И комфорт и даже роскошь снова были к моим услугам. Я мог свободно и легко передвигаться — ведь у меня была тень, правда, данная во временное пользование,— и повсюду я встречал уважение, которое всем внушает богатство, но в душе у меня была смерть. Мой удивительный спутник, выдававший себя за скромного слугу самого богатого человека на свете, был очень услужлив, бесконечно умен и ловок,— можно сказать, квинтэссенция камердинера богатого человека,— но он ни на шаг не отходил от меня и все время убеждал, непрестанно высказывая твердую уверенность, что я наконец согласусь на выкуп тени, хотя бы только ради того, чтобы

развязаться с ним. Мне он был столь же противен, сколь и ненавистен. Он внушал мне страх: теперь, вернув меня к наслаждениям жизни, от которых я бежал, он крепко взял меня в руки. Мне приходилось терпеть его болтовню, и я даже чувствовал, что он как будто прав. Богатому человеку без тени никак нельзя, и коль скоро я хочу сохранить свое положение, которым с его легкой руки я опять начал пользоваться, для меня возможен лишь этот выход. Одно только я твердо решил: после того как я пожертвовал своей любовью, после того как жизнь для меня померкла, я не хотел продавать свою душу этой погани даже за все тени на свете. Я не знал, чем все это кончится.

Однажды мы сидели у входа в пещеру, которую обычно осматривают иностранцы, путешествующие в здешних горах. Сюда из бесконечной глубины доносится гул подземных потоков, и шум от брошенного вниз камня замирает раньше, чем камень достигнет дна. С богатой фантазией человек в сером рисовал, как уже не раз прежде, в самых ярких красках чарующие, соблазнительные, тщательно обдуманые картины того, чего я могу достигнуть при помощи моего кошелька, разумеется, если опять буду распоряжаться собственной тенью. Опершись локтями о колени и закрыв лицо руками, я слушал лукавого, и сердце мое разрывалось между соблазном и твердой волей. Пребывать дольше в таком раздвоенном настроении я был не в силах и решил дать окончательный бой.

— Вы, сударь, как будто запомнили, что я вам, правда, разрешил сопровождать меня на определенных условиях, но сохранил за собой полную свободу действий.

— Если прикажете, я сейчас же заберу свое имущество.

Он часто прибегал к такой угрозе. Я молчал; он тут же принялся скатывать мою тень. Я побледнел, но был нем и не препятствовал его занятию. Последовала длительная пауза.

Он заговорил первый:

— Вы меня не выносите, сударь, ненавидите, я знаю; но за что вы меня ненавидите? Уж не за то ли, что напали на меня среди бела дня и хотели силой отнять гнездо? Или за то, что пытались воровски похитить мое добро — тень, доверенную, как вы полагали, вашей честности? Что касается меня, я вас за это не ненавижу; я нахожу вполне естественным, что вы стараетесь вос-

пользоваться всеми своими преимуществами, хитростью и силой. Против вашего пристрастия к самым строгим правилам и неподкупной честности я тоже ничего не имею. Я, правда, не столь щепетилен: я просто действую так, как вы думаете. Разве был такой случай, чтобы я брал вас за горло, желая прикарманить вашу дражайшую тень, которую мне так хотелось заполучить? Или, может быть, я напустил на вас моего слугу за выменным вами у меня кошельком или попробовал с ним удрать?

Мне нечего было возразить. Он продолжал:

— Будь по-вашему, сударь, будь по-вашему? Вы меня терпеть не можете, я понимаю и не сержусь. Нам надо расстаться. Это ясно, и вы тоже уже порядком мне надоели. Итак, чтобы окончательно избавиться от моего стесняющего вас присутствия, еще раз советую вам: купите у меня сей предмет!

Я протянул кошелек:

— Вот этой ценой!

— Нет!

Я тяжело вздохнул и сказал:

— Ну что ж! Я настаиваю на своем, сударь! Расстанемся; не становитесь мне поперек дороги, надеюсь, что на земле хватит места нам обоим.

Он усмехнулся и ответил:

— Я ухажу, сударь! Но предварительно я научу вас, каким звоночком мне позвонить, ежели вам когда придет охота повидать вашего покорнейшего слугу: встряхните кошельком — и все, чтобы звякнули неразменные червонцы, на этот звук я являюсь моментально. Здесь, на земле, каждый заботится о своей выгоде, я, как вы видите, забочусь также и о вашей, ведь я, несомненно, даю вам в руки новую власть! Ох, какой это кошелек! Даже если бы вашу тень уже съела моль, при помощи кошелька вы крепко связаны со мной. Словом, вы держите меня за мое золото. Даже издали вы можете распоряжаться вашим слугой. Вы знаете, что я могу оказывать большие услуги моим друзьям и что с богатыми у меня особенно хорошие отношения; вы сами это видели, но вашу тень, сударь, — запомните это раз и навсегда! — вы можете получить обратно только при одном-единственном условии!

Перед моим умственным взором возникли образы прошлого. Я быстро спросил:

— Господин Джон дал вам расписку?

Он усмехнулся:

— С ним мы такие друзья, что этого не потребовалось.

— Где он? Ради бога, мне надо знать!

Он нерешительно сунул руку в карман и вытащил за волосы Томаса Джона, побледневшего, осунувшегося, с синими, как у покойника, губами, шептавшего: «*justo judicio dei judicatus sum; justo judicio dei condemnatus sum*»¹.

Я ужаснулся и, быстро швырнув звенящий кошелек в пропасть, обратился к моему спутнику с последним словом:

— Заклинаю тебя именем Господа Бога, сгинь, окаянный, и никогда больше не появляйся мне на глаза!

Он мрачно поднялся с места и сейчас же исчез за скалами, окаймлявшими заросшую густым кустарником местность.

IX

Я остался без тени и без денег, но с души у меня свалилось тяжелое бремя, я был весел. Если бы я не потерял также и любовь или если бы не чувствовал, что потерял ее по собственной вине, я думаю, я мог бы даже быть счастливым. Но я не знал, что мне делать. Я обшарил все карманы и нашел несколько золотых; пересчитал их и рассмеялся. Внизу, в гостинице, я оставил лошадей. Вернуться туда я стеснялся, во всяком случае, надо было подождать, пока зайдет солнце; оно стояло еще высоко в небе. Я лег в тени ближайших деревьев и заснул спокойным сном.

В приятном сновидении сплетались в воздушные хорорыводы любезные моему сердцу образы. Вот пронеслась, ласково улыбаясь, Минна с венком на голове, вот честный Бендель, тоже увенчанный цветами, радостно поклонился мне и исчез. Я видел еще многих друзей, толпившихся в отдалении, и, помнится, тебя тоже, Шамиссо. Все было залито светом, но ни у кого не было тени, и, как ни странно, это выглядело совсем неплохо — цветы, песни, любовь и веселье под сенью пальмовых рощ. Я не мог удержать эти колеблющиеся, быстро уплывающие милые образы, не мог точно определить, кто они, но я знаю, что сон был приятен, и я боялся пробуждения; на самом деле я уже проснулся, но не открывал глаз, стараясь подольше удержать в душе исчезающие видения.

¹ «Праведным судом Божиим я был судим; праведным судом Божиим я осужден» (лат.).

Наконец я открыл глаза. Солнце еще стояло на небе, но на востоке: я проспал ночь. Я воспринял это как указание, что мне не следует возвращаться в гостиницу. С легким сердцем отказался я от всех пожитков, что оставил там, и решил, отдавшись на волю судьбы, пешком отправиться по проселочной дороге, вившейся у подножия поросших лесом гор. Я не оглядывался назад и не думал также обращаться к богатому теперь Бенделю, хотя, конечно, мог это сделать. Я видел себя в той новой роли, которую мне отныне предстояло играть: одет я был более чем скромно. На мне была старая черная венгерка, еще берлинской поры, почему-то снова попавшая мне под руку как раз во время данного путешествия. На голове была дорожная шапка, на ногах — старые сапоги. Я встал, срезал на память суковатую палку и тут же отправился в путь.

В лесу мне повстречался старик, который ласково со мной поздоровался и вступил в разговор. Как любознательный путник, я расспросил прежде всего про дорогу, затем про здешний край и жителей, про богатство здешних гор и еще кое о чем в том же роде. Он разумно и словоохотливо отвечал на мои расспросы. Мы дошли до русла горного потока, который опустошил целую полосу леса. Я внутренне содрогнулся, когда передо мной открылось ярко освещенное солнцем пространство. Я пропустил крестьянина вперед. Но он остановился на самой середине этого опасного места и обернулся, чтобы рассказать мне, как случилось такое опустошение. Он тут же заметил, чего мне недостает, и сразу осекся:

— Да как же это так? У вас, сударь, нет тени!

— К сожалению, да! — со вздохом сказал я. — Во время тяжелой болезни я потерял волосы, ногти и тень. Вот, взгляните, папаша, в моем возрасте новые волосы у меня седые, ногти — короткие, а тень до сих пор никак не вырастет.

— Ишь ты, — покачал головою старик. — Без тени ой как скверно! Должно быть, вы, сударь, очень скверной болезнью болели.

Но он не продолжал своего рассказа и на первом же перекрестке, не сказав ни слова, покинул меня. Горькие слезы снова выступили у меня на глазах, и бодрости как не бывало.

С печалью в сердце продолжал я свой путь. Я потерял охоту встречаться с людьми и углубился в самую чащу леса, а если мне случалось пересекать пространство, освещенное солнцем, я часами выжидал, чтобы не по-

пасться на глаза человеку. По вечерам я искал пристанища где-нибудь в деревне. Собственно, я держал путь на горные рудники, где рассчитывал наняться на работу под землей: я понял, что только напряженная работа может спасти меня от гнетущих мыслей, не говоря уже о том, что в моем теперешнем положении мне приходилось заботиться о пропитании.

Несколько дождливых дней благоприятствовали моему путешествию, но зато пострадали мои сапоги, подметки коих были рассчитаны на графа Петера, а не на пехотного солдата. Я шел уже босиком. Пришлось приобретать новые сапоги. На следующее утро я всерьез занялся этим делом в местечке, где была ярмарка и где в одной лавке была выставлена на продажу подержанная и новая обувь. Я долго выбирал и торговался. От новых сапог пришлось отказаться, хотя мне этого и не хотелось. Меня отпугнула их цена, которую никак нельзя было назвать сходной. Итак, я удовольствовался старыми, но еще хорошими и крепкими сапогами, которые с приветливой улыбкой и пожеланием счастливой дороги вручил мне за наличные смазливый белокурый паренек, торговавший в лавке. Я тут же надел их и через Северные ворота вышел из городка.

Я был погружен в свои мысли и не замечал, где я шагаю, потому что думал о рудниках, куда надеялся попасть сегодня к вечеру, и не знал, кем там назваться. Я не сделал еще и двухсот шагов, как заметил, что сбился с пути; я стал искать дорогу: я был в глухом вековом бору, которого, верно, никогда не касался топор. Я прошел еще несколько шагов и очутился среди диких скал, поросших только мхом и камнеломками и окруженных снежными и ледяными полями. Было очень холодно, я оглянулся: лес позади меня исчез. Я сделал еще несколько шагов — вокруг царил мертвая тишина, под ногами у меня был лед; повсюду, насколько хватал глаз, простирался лед, над которым навис тяжелый туман; солнце кровавым пятном стояло на горизонте. Холод был невыносимый. Я не понимал, что со мной творится. Лютый мороз побудил меня ускорить шаг; я слышал только далекий гул воды, еще шаг — и я очутился на ледяном берегу какого-то океана. Бесчисленные стада тюленей бросились от меня в воду. Я пошел вдоль берега; опять я увидел голые скалы, поля, березовые рощи и еловые леса. Я пробежал еще несколько минут, стало невыносимо жарко; я огляделся: я стоял среди хорошо обработанных рисовых полей и тутовых

деревьев; я присел в их тени; посмотрел на часы, не прошло и четверти часа, как я оставил местечко, где была ярмарка, — мне показалось, что я сплю и вижу сон; чтобы проснуться, я укусил себя за язык; но я действительно бодрствовал. Я закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. И вдруг я услышал, как кто-то рядом гнусаво произносит непонятные слоги. Я открыл глаза: два китайца, которых нельзя было не узнать по азиатскому складу лица, даже если бы я не придавал значения их одежде, обращались ко мне на своем языке, приветствуя меня по местному обычаю. Я встал и отступил на два шага. Китайцы исчезли, весь ландшафт резко изменился: вместо рисовых полей — деревья, леса. Я смотрел на деревья и цветущие травы: те, которые были мне известны, принадлежали к растениям, произрастающим на юго-востоке Азии. Я хотел подойти к одному дереву, шаг — и опять все изменилось. Теперь я зашагал медленно и размеренно, как новобранец, которого обучают шагистике. Перед моим удивленным взором мелькали все время словно чудом сменявшие друг друга луга, нивы, долины, горы, степи, песчаные пустыни. Сомнения быть не могло: на ногах у меня были семимильные сапоги.

Х

В немой молитве, проливая благодарственные слезы, упал я на колени, ибо передо мной вдруг ясно предстала моя будущая судьба. За проступок, совершенный в молодые годы, я отлучен от человеческого общества, но в возмещение приведен к издавна любимой мною природе; отныне земля для меня — роскошный сад, изучение ее даст мне силы и направит мою жизнь, цель которой — наука. Это не было принятым мною решением. Просто с этой поры я смиренно, упорно, с неугасимым усердием трудился, стремясь передать другим то, что в ясном и совершенном первообразе видел своим внутренним оком, и бывал доволен, когда переданное мною совпадало с первообразом.

Я поднялся и, не страшась, обвел взглядом то поле, на котором собирался отныне пожинать урожай. Я стоял на вершинах Тибета, и солнце, восход которого я видел несколько часов тому назад, здесь уже клонилось к закату. Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. Пройдя Египет, где я дивился на пирамиды и храмы,

я увидел в пустыне, неподалеку от стовратных Фив, пещеры, в которых спасались христианские отшельники. И вдруг для меня стало ясно и несомненно: здесь мой дом. Я выбрал себе для жилья самую скрытую и в то же время поместительную, удобную и недоступную шакалам пещеру и продолжал свой путь.

У Геркулесовых столпов я шагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды перешагнул в Гренландию и Америку, пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север.

Я подождал, пока в Восточной Азии рассветет, и, отдохнув, двинулся дальше. Я шел через обе Америки по горной цепи, в которой расположены высшие известные нам точки земного шара. Медленно и осторожно ступал я с вершины на вершину, через пышущие огнем вулканы и снежные пики, часто дыша с трудом; я дошел до горы Св. Ильи и через Берингов пролив перепрыгнул в Азию. Оттуда я двинулся по ее восточному, очень изрезанному побережью, особенно тщательно обдумывая, какие из расположенных там островов могут быть мне доступны. С полуострова Малакка мои сапоги перенесли меня на Суматру, Яву, Бали и Ломбок. Я попытался, не раз подвергаясь опасности и все же безуспешно, проложить себе путь на северо-запад, на Борнео и другие острова того же архипелага, через мелкие острова и рифы, которыми ошетинилось здесь море. Я должен был отказаться от этой надежды. Наконец я уселся на крайней оконечности Ломбока и заплакал, глядя на юг и восток, ибо почувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы — слишком скоро я обнаружил положенный мне предел. Чудесная Новая Голландия, столь существенно необходимая для познания земли и ее сотканного солнцем покрова — растительного и животного мира, и Индийский океан с его Коралловыми островами были мне недоступны, и, значит, уже с самого начала все, что я соберу и создам, обречено остаться только отрывочными знаниями. О Адельберт, как тщетны усилия Человека!

Часто, когда в южном полушарии свирепствовала лютая зима, пытался я пройти от мыса Горн через полярные льды на запад те двести шагов, которые отделяли меня от Земли Вандимена и Новой Голландии, не думая об обратном пути, пусть даже мне суждено было найти здесь могилу, с безумной отвагой отчаяния перепрыгивал я с одной дрейфующей льдины на другую, не

отступая перед стужей и морем. Напрасно — я все еще не попал в Новую Голландию! Всякий раз я возвращался обратно на Ломбок, садился там на край мыса и снова плакал, глядя на юг и восток, ибо чувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы.

Наконец я все же покинул этот остров и с грустью в сердце вступил на Азиатский континент; затем, догоняя утреннюю зарю, прошел всю Азию на запад и еще ночью вернулся домой, в Фиваиду, где был накануне вечером.

Я немного отдохнул, но, как только над Европой взошло солнце, сейчас же озабочился приобретением всего необходимого. Прежде всего мне нужна была тормозящая обувь, — ведь я на собственной шкуре испытал, как неудобно, чтобы сократить шаги, разуваться всякий раз, когда хочешь не спеша рассмотреть близкий объект. Пара туфель поверх сапог вполне оправдала мои ожидания. Впоследствии я всегда брал с собой две пары, потому что часто сбрасывал туфли с ног и не успевал подбрать, когда люди, львы или гиены вспугивали меня во время собирания растений. Прекрасные часы на короткое время моих путешествий вполне заменяли мне отличный хронометр. Мне не хватало еще секстанта, нескольких физических приборов и книг.

Чтобы обзавестись всем этим, мне пришлось со страхом в сердце совершить несколько прогулок в Лондон и Париж, к счастью, как раз окутанные благоприятствовавшим мне туманом. Когда остатки волшебного золота были исчерпаны, я стал расплачиваться слоновой костью, которую нетрудно было раздобыть в Африке, причем я, конечно, выбирал самые маленькие клыки, соображаясь со своими силами. Вскоре я был хорошо снаряжен и всем обеспечен и, не откладывая, начал новую жизнь не связанного службой ученого.

Я бродил по земле, то измеряя ее высоты, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения. Я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытным путем сведения. Пищей мне обычно служили яйца африканского страуса или северных морских птиц и плоды, преимущественно тропических пальм и бананов. Недостающее счастье в какой-то мере заменяла никотиана, а человеческое участие и близость — любовь верного пуделя, который охранял мою фиваидскую пещеру и, когда я возвращался домой, нагруженный новыми сокровищами, радостно выбегал навстречу и по-человечески давал мне почувствовать, что я не одинок на земле. Но мне еще суждено было снова встретиться с людьми.

XI

Однажды, когда я, затормозив свои сапоги, собирал на побережье Арктики лишайники и водоросли, навстречу мне из-за скалы неожиданно вышел белый медведь. Сбросив туфли, я хотел шагнуть на торчащий из моря голый утес, а оттуда на расположенный напротив остров. Я твердо ступил одной ногой на камень и бултыхнулся по другую его сторону в море, не заметив, что скинул туфлю только с одной ноги.

Меня охватил ледяной холод, с трудом удалось мне спастись; как только я добрался до суши, я во весь опор помчался в Ливийскую пустыню, чтоб обсушиться на солнышке. Но оно светило во все лопатки и так напекло мне голову, что я, совсем больной, чуть держась на ногах, опять понесся на север. Я пытался найти облегчение в стремительном беге и, неуверенно, но быстро шагая, метался с запада на восток и с востока на запад. Я попадал то в ясный день, то в темную ночь, то в летний зной, то в зимнюю стужу.

Не помню, как долго скитался я так по земле. Тело мое сжигала лихорадка; в страхе чувствовал я, что сознание покидает меня. К несчастью еще, мечась наобум, я имел неосторожность наступить кому-то на ногу. Вероятно, ему было больно. Я почувствовал сильный толчок и упал наземь.

Когда я пришел в себя, я удобно лежал на хорошей постели, стоявшей вместе с другими постелями в просторной и красивой палате. Кто-то сидел у моего изголовья. От кровати к кровати ходили какие-то люди. Они подошли ближе и заговорили обо мне. Меня они называли «Номер двенадцатый», а на стене, в ногах кровати,— нет я был уверен, что не ошибаюсь,— на черной мраморной доске большими золотыми буквами было совершенно правильно написано мое имя: Петер Шлемиль.

На доске под моей фамилией стояли еще две строчки, но я слишком ослаб и не мог их разобрать. Я снова закрыл глаза.

Я слушал, как кто-то громко и явственно что-то читает, как упоминается Петер Шлемиль, но смысл уловить не мог. К моей кровати подошел приветливый господин с очень красивой дамой в черном платье. Их облик был знаком, но припомнить, кто это, я не мог.

Прошло некоторое время, силы опять вернулись ко мне. «Номер двенадцать» — это был я. Из-за длинной бороды «Номер двенадцать» был сочтен за еврея, однако от этого уход за ним был не менее заботлив, чем за другими. Казалось, никто не заметил, что у него нет тени. Мои сапоги вместе со всем, что было при мне, когда я сюда попал, находятся, как меня уверили, в полной сохранности и будут мне возвращены, когда я поправлюсь. Место, где я лежал, называлось «Шлемилиум»; то, что ежедневно читалось о Петере Шлемиле, было напоминанием и просьбой молиться за него, как за основателя и благодетеля данного учреждения. Приветливый господин, которого я видел у своей постели, был Бендель, красивая дама — Минна.

Я поправлялся в Шлемилиуме, никем не признанный, и услышал еще следующее: я находился в родном городе Бенделя, в больнице моего имени, которую он основал на остатки моих проклятых денег, но здесь больные меня не кляли, а благословляли; Бендель же и управлял больницей. Минна овдовела; неудачно окончившийся процесс стоил господину Раскалу жизни, ей же пришлось поплатиться почти всем своим состоянием. Ее родителей уже не было в живых. Она вела жизнь богобоязненной вдовы и занималась делами благотворительности.

Раз, стоя у постели «Номера двенадцатого», она разговаривала с Бенделем.

— Почему, сударыня, вы так часто рискуете здоровьем, подолгу дыша здешним вредным воздухом? Неужели судьба так к вам жестока, что вы ищете смерти?

— Нет, господин Бендель, с той поры, как я доглядела мой страшный сон и проснулась, у меня на душе хорошо, с той поры я уж не хочу смерти и не боюсь умереть. С той поры я светло смотрю на прошлое и будущее. Ведь вы тоже, выполняя такое богоугодное дело, служите теперь вашему господину и другу со спокойной сердечной радостью.

— Слава богу, да, сударыня, и как же все удивительно получилось; мы, не задумываясь, пили из полной чаши и радость и горе — и вот чаша пуста; невольно думается, что все это было только испытанием, и теперь, вооружившись мудрой рассудительностью, надо ожидать истинного начала. Это истинное начало должно быть совсем иным, и не хочется возврата того, первого, и все же, в общем, хорошо, что пережито то, что пережито. К тому же у меня какая-то внутренняя уверенность.

ность, что нашему старому другу сейчас живется лучше, чем тогда.

— И у меня тоже,— согласилась красавица вдова, и оба прошли дальше.

Их разговор произвел на меня глубокое впечатление. Но в душе я колебался, открыться ли им или уйти, не открывшись. И я пришел к определенному решению. Я попросил бумагу и карандаш и написал:

«Вашему старому другу тоже живется сейчас лучше, чем тогда, и если он искупает сейчас свою вину, то это очистительное искупление».

Затем я попросил дать мне одеться, так как чувствовал себя значительно крепче. Мне принесли ключ от шкафчика, стоявшего возле моей постели. Там я нашел все свое имущество. Я оделся, повесил через плечо поверх черной венгерки ботанизирку, в которой с радостью обнаружил собранный мною на севере лишайник, натянул сапоги, положил записку на кровать, и не успела открыться дверь, как я уже шагал в Фиваиду.

И вот, когда я шел вдоль Сирийского побережья, по той самой дороге, по которой в последний раз отправился из дому, я увидел моего бедного Фигаро, бежавшего мне навстречу. Верный пудель, заждавшись хозяина, должно быть, отправился его разыскивать. Я остановился и кликнул Фигаро. Он с лаем кинулся ко мне, бурно проявляя свою бескорыстную, трогательную радость. Я подхватил его под мышку, потому что он не поспел бы за мной. И вместе с ним возвратился в свою пещеру.

Там я нашел все в порядке и постепенно, по мере того как крепили силы, вернулся к своим прежним занятиям и к прежнему образу жизни. Только целый год избегал совершенно невыносимых теперь для меня полярных холодов.

Итак, любезный Шамиссо, я жив еще и по сей день. Сапоги мои не знают износу, хотя сперва я очень опасался за их прочность, принимая во внимание весьма ученый труд знаменитого Тикиуса «*De rebus gestis Policilli*»¹. Сила их неизменна; а вот мои силы идут на убыль, но я утешаюсь тем, что потратил их не зря и для определенной цели: насколько хватало прыти у моих сапог, я основательнее других людей изучал землю, ее очертания, вершины, температуру, климатические изменения, явления земного магнетизма, жизнь на земле, особенно жизнь растительного царства. С воз-

¹ «О деяниях мальчика с пальчик» (лат.).

можной точностью в ясной системе я установил в своих работах факты, а выводы и взгляды бегло изложил в нескольких статьях. Особенное значение я придаю своим исследованиям земного магнетизма. Я изучил географию Центральной Африки и Арктики, Средней Азии и ее восточного побережья. Моя «*Historia stirpium plantarum utriusque orbis*»¹ является значительной частью моей же «*Flora universalis terrae*»² и одним из звеньев моей «*Systema naturae*»³. Я полагаю, что не только увеличил, скромно говоря, больше чем на треть число известных видов, но, кроме того, внес свой вклад в дело изучения естественной истории и географии растений. Сейчас я усердно тружусь над фауной. Я позабочусь, чтобы еще до моей смерти мои рукописи были пересланы в Берлинский университет.

А тебе, любезный Шамиссо, я завещаю удивительную историю своей жизни, дабы, когда я уже покину сей мир, она могла послужить людям полезным наведением. Ты же, любезный друг, если хочешь жить среди людей, запомни, что прежде всего — тень, а уж затем — деньги. Если же ты хочешь жить для самоусовершенствования, для лучшей части своего «я», тогда тебе не нужны никакие советы.

¹ «История видов растений Старого и Нового Света» (лат.).

² «Вся флора земного шара» (лат.).

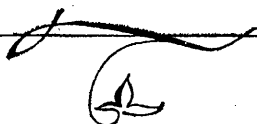
³ «Система природы» (лат.).

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

Михаэль Кальхаас



Локарнская
нищенка



Михаэль Кольхаас

Из старой хроники

На берегах Хавеля жил в середине шестнадцатого столетия лошадиный барышник по имени Михаэль Кольхаас, сын школьного учителя, один из самых справедливых, но и самых страшных людей того времени. Необыкновенный этот человек до тридцатого года своей жизни по праву слыл образцом достойного гражданина. Близ деревни, и поныне носящей его имя, у него была мыза, и, живя на ней, он кормилс своим промыслом. Детей, которых ему подарила жена, он растил в страхе божьем для трудолюбивой и честной жизни. Среди соседей не было ни одного, кто бы не испытал на себе его благодетельной справедливости. Короче, люди благословляли бы его память, если б он не перегнул палку в одной из своих добродетелей, ибо чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу.

Однажды с табунком молодых, лоснящихся, отлично выкормленных коней он отправился к границе Саксонского курфюршества. Прикидывая, сколько барыша они принесут ему на ярмарках, он решил часть его, как то и подобает рачительному хозяину, пустить в оборот, часть же истратить себе на потеху и радость. В таких размышлениях он достиг Саксонской земли и неподалеку от горделивого рыцарского замка наткнулся на шлагбаум, которого прежде на этой дороге не видывал. Он остановил своих коней, как раз когда начался дождь, и кликнул сторожа; тот вскоре показался в окне и бросил на него угрюмый взгляд. Барышник попросил открыть шлагбаум.

— Что это у вас за новость? — спросил он, когда сборщик дорожных пошлин, изрядно помешкав, вышел наконец из дому.

— Привилегия, дарованная курфюрстом нашему господину, юнкеру Венцелю фон Тронка, — отвечал он.

— Так, — проговорил Кольхаас, — значит, Венцелем звать этого юнкера? — и посмотрел на замок, чьи дозорные башни, блестящие от дождя, усталились вдаль. — А разве старого хозяина нет больше в живых?

— Помер от удара,— сказал сторож, подымая шлагбаум.

— Жаль! Жаль! — отозвался Кольхаас.— Почтенный был старик, радовался проезжему люду и чем мог поощрял торговлю и промыслы; он даже велел вымостить камнем дорогу в деревню, когда моя кобылка на ней сломала ногу. Ну, ладно, сколько с меня? — спросил он, с трудом доставая из-под развевающегося на ветру плаща монеты, затребованные сборщиком.— Да, старина,— добавил он, когда тот, кляня непогоду, пробормотал еще: «Живей, живей поворачивайся»,— кабы дерево, срубленное для шлагбаума, осталось в лесу, нам бы с вами куда лучше было.

С этими словами он протянул ему деньги и тронул своего коня. Не успел Кольхаас проехать под шлагбаумом, как с башни донесся еще чей-то голос:

— Стой, стой, конепас, ни с места!

Захлопнув окно, вниз уже торопливо спускался кастелян.

«А это еще что за новости?» — сам себя спросил Кольхаас и снова остановил табун. На ходу застегивая жилетку на обширном животе, кастелян прибежал и, став боком к ветру, потребовал у Кольхааса пропускное свидетельство.

— Пропускное свидетельство? — переспросил Кольхаас и не без смущения добавил, что, насколько ему известно, у него такого не имеется. Но если ему объяснят, что это за штука, то, может, случайно и окажется, что она у него в кармане. Кастелян, искоса на него поглядывая, отвечал, что без этого свидетельства ни один барышник со своими конями не будет пропущен через границу; на что Кольхаас отвечал, что он семнадцать раз переезжал через границу безо всякого свидетельства и что ему до точности известны все постановления касательно его промысла: здесь, мол, произошла ошибка, и он покорнейше просит не задерживать его из-за такой безделицы, поскольку путь ему еще сегодня предстоит не близкий. Кастелян отвечал, что в восемнадцатый раз у него ничего не получится, что постановление это совсем недавнее и что барышник должен либо представить пропускное свидетельство, либо возвращаться восвояси. Кольхаас, которого начинало сердить это незаконное вымогательство, немного подумал, слез с коня, передал поводья своему конюху и заявил, что сам поговорит с юнкером фон Тронка. Кастелян семенил за ним, бор-

моча что-то о сквалыжных обиралах — барышниках и о том, как им полезно хорошее кровопускание. Наконец оба, меряя друг друга сердитыми взглядами, вошли в зал.

Как на грех, юнкер бражничал там с дружками, и, когда Кольхаас приблизился к столу, чтобы принести свою жалобу, все они покатывались со смеху от какой-то соленой шутки. Юнкер спросил, что ему надобно, рыцари, завидев чужого, приумолкли, но не успел Кольхаас рассказать о случившемся, как вся честная компания с криком: «Кони? Где они?» — ринулась к окну поглядеть, что за кони стоят на дворе. Увидев прекрасный табун, они, с согласия хозяина дома, стремглав сбежали вниз. Дождь перестал; кастелян, управитель замка и слуги столпились вокруг рыцарей и тоже глазели на лошадей. Один не мог налюбоваться рыже-чалым жеребцом с белой звездочкой на лбу, другому приглянулась караковая кобылка, третий все гладил и гладил пегого жеребца в черно-рыжих подпалинах. Все в один голос твердили, что лучших коней еще не видывали на немецкой земле, кони-де что твои олени! Кольхаас бойко отвечал, что кони не лучше рыцарей, которым предстоит скакать на них, и предложил купить у него этих коней. Юнкер, которому уж очень пришелся по душе могучий чалый жеребец, спросил о цене. Управитель посоветовал ему лучше купить парочку вороных, — в хозяйстве, мол, пригодятся. Но когда конноторговец назвал цену, рыцари сочли ее слишком высокой, а юнкер так даже посоветовал ему скакать к Круглому столу и предложить коней королю Артуру, ежели он за них столько ломит. Смутное предчувствие овладело Кольхаасом, когда он заметил, что кастелян и управитель перешептываются, бросая красноречивые взгляды на вороных, и ему захотелось во что бы то ни стало сбыть им коней. Он оборотился к юнкеру:

— Сударь, полгода назад я купил этих вороных за двадцать пять золотых гульденов; заплатите мне тридцать, и они ваши.

Двое рыцарей, стоявших подле хозяина замка, недвусмысленно дали ему понять, что кони стоят этих денег. Но тот, видно, решил: если уж тратиться, то на чалого жеребца, а не на вороных, и собрался воротиться в замок. Кольхаас сказал: ну, что ж, может, им удастся столкнуться в следующий раз, когда он будет проезжать со своими конями, поклонился юнкеру и уже взял-

ся за поводья. Но тут из толпы выступил кастелян и напомнил Кольхаасу, что без пропускного свидетельства ему ехать нельзя. Кольхаас обернулся и спросил хозяина: неужто же и вправду существует установление, которое ставит под угрозу его промысел? Юнкер со смущенным видом отвечал:

— Да, Кольхаас, без свидетельства не обойдешься. Поговори с кастеляном и ступай своей дорогой.

Кольхаас его заверил, что не собирается пренебрегать установлениями, касающимися вывоза лошадей, пообещал проездом через Дрезден выправить себе свидетельство в канцелярии и попросил лишь на этот раз, поскольку такой порядок был ему неизвестен, пропустить его.

— Ладно, не задерживайте беднягу,— сказал юнкер, а так как непогода пуще разгулялась и ветер до костей пронизывал его тщедушное тело, то он добавил, обращаясь к рыцарям:— Пошли!— и направился было в замок. Кастелян приблизился к нему и сказал, что надо, по крайней мере, взять с барышника залог, а то он не станет выправлять себе свидетельство. Юнкер снова остановился, уже у самых ворот. Кольхаас спросил, во сколько, деньгами или вещами, он оценивает залог за вороных. Управитель пробурчал себе в бороду, что лучше будет, если в залог он оставит самих вороных.

— И, уж конечно, всего разумнее,— поддержал его кастелян,— а как выправит свидетельство, может их забирать в любое время.

Кольхаас, пораженный столь бесстыдным требованием, сказал продрогшему юнкеру, который силился плотнее запахнуть свой камзол, что ему ведь надо этих коней продать. Но юнкер, тем паче, что порыв ветра вдруг закрутил в подворотне вихрь дождя и града, желая положить конец препирательствам, крикнул:

— Не хочет оставлять коней, так гоните его за шлагбаум!

Барышник, смекнув, что тут ничего не поделаешь, счел за благо уступить этому требованию и отвел вороных в конюшню, указанную кастеляном. Он оставил при них конюха, дал ему денег, велел получше ходить за конями до его возвращения и с остатками табуна отправился на ярмарку в Лейпциг, теряясь в догадках, неужто и в самом деле такой приказ издан в Саксонском курфюршестве для поощрения собственного коневодства.

Прибыв в Дрезден, где у него в предместье имелся дом с конюшнями, ибо отсюда ему было удобно вести торговлю на мелких ярмарках, он тотчас же отправился в канцелярию и от знакомых советников получил подтверждение того, о чем ему сразу же сказало сердце: вся история с пропускным свидетельством не более как злостное измышление. Кольхаас, которому рассерженные советники по его ходатайству все-таки выдали письменное удостоверение касательно бессмысленности упомянутого требования, усмехнулся шутке худосочного юнкера, хотя и не понимал, к чему она клонится. Несколько недель спустя, к вящему своему удовольствию выгодно распродав весь табун, Кольхаас вернулся в Тронкенбург, огорчаясь случившимся лишь в той мере, в какой каждого огорчает людская кривда. Кастелян, которому он показал удостоверение, не стал более на эту тему распространяться и на вопрос конноторговца, можно ли ему наконец получить своих коней, велел ему идти в конюшню и забрать их. Но Кольхаас, еще идя туда, услышал пренеприятную весть, а именно, что конюха, которого он оставил в Тронкенбурге, через несколько дней после его отъезда, как ему было сказано, избили за непристойное поведение и согнали со двора. Он спросил паренька, сообщившего ему об этом, что натворил его конюх и кто же вместо него ходил за лошадьми. Тот отвечал, что ничего не знает, и с этими словами открыл перед Кольхаасом, у которого уже тревожно билось сердце, ворота конюшни. И как же он был потрясен, увидев вместо своих гладких, лоснящихся коней тощих, изможденных одров: торчащие кости, на которые хоть вещи вешай, свалявшиеся, нерасчесанные гривы,— картина истинного бедствия в мире животных! Кольхаас, которого злополучные кони приветствовали чуть слышным ржанием, вне себя от негодования спросил паренька, что же это такое с его вороньими. Никакой беды с ними не стряслось, отвечал тот, и корму им задавали вдоволь, но во время жатвы не хватило тяглогового скота, и коням пришлось немного поработать в поле. Кольхаас, кляня на чем свет стоит постыдный произвол, но понимая свою беспомощность, подавил в себе ярость и уж совсем было собрался увести коней из этого разбойничьего гнезда, когда подошел кастелян, привлеченный громкими голосами, и поинтересовался, что здесь происходит.

— Что происходит? — переспросил Кольхаас. — Кто дал право юнкеру Тронка и его людям использовать

оставленных мною коней на полевых работах? — И при-
совокупил: — Да разве это по-людски?

Засим он попытался взбодрить измученных коней ударом хлыста, но они по-прежнему стояли без движения, на что он и обратил внимание кастеляна. Кастелян пристально на него посмотрел и сказал:

— Вот нахал, так нахал! Этому мужлану надо бы Бога благодарить за то, что его кони еще не околели.— И спросил Кольхааса, как он полагает, кто должен был ходить за конями, если его конюх сбежал? И разве не справедливо, что кони отработывали корм, который получали? — А вообще, — заключил кастелян, — ври, да не завирайся, а не то свистну собак, они уж наведут здесь порядок.

У барышника сердце готово было выпрыгнуть из груди. Руки чесались швырнуть в грязь разжиревшего холопа и ногою придавить его медную рожу. Но чувство справедливости, ему присущее и точное, как аптекарские весы, все еще колебалось. Перед судом своего сердца не мог он утвердительно сказать, что вся вина ложится на его противника. Не дав поносным речам сорваться со своих уст, он подошел к лошадям, про себя взвешивая все обстоятельства, стал приводить в порядок их гривы и, наконец, вполголоса спросил, за какую провинность был его конюх удален из замка.

— За то, что этот негодяй свой характер выказывал! За то, что не хотел ставить лошадей в другую конюшню и требовал, чтобы кони двух молодых рыцарей, приехавших в Тронкенбург, — из-за его-то одров, — ночевали под открытым небом.

Кольхаас с радостью отдал бы деньги, которые мог выручить за вороных, лишь бы здесь на месте оказался его конюх и он мог бы сравнить его показания с показаниями толстомордого кастеляна. Он продолжал гладить коней, раздумывая, что можно предпринять в его положении, когда декорация внезапно переменялась: двор заполнила толпа рыцарей, слуг и псарей с собаками — это воротился с охоты на зайцев юнкер Венцель фон Тронка. Юнкер спросил кастеляна, что здесь происходит, и тот, под неистовый лай собак, почуявших чужого, под окрики рыцарей, пытавшихся их успокоить, преднамеренно искажая истину, стал говорить хозяину, что-де этот барышник поднял настоящий бунт, узнав, что его кони малость поработали в поле. Он даже отказывается признать коней своими, добавил кастелян с язвительным хохотом.

— Это не мои кони, сударь! — вскричал Кольхаас. — Не те, что стоили тридцать золотых гульденов! Мне нужны мои упитанные, здоровые лошади, вот и все!

Внезапно побледневший юнкер спешился и крикнул:

— Если эта сволочь не желает брать своих лошадей, так пусть они остаются. Идем, Гюнтер, Ганс, идем! — крикнул он, отряхая пыль со своих штанов. — Вина, да поживее! — обернулся юнкер уже в дверях и вошел в дом, сопровождаемый рыцарями.

Кольхаас твердым голосом заявил, что скорее сведет коней на живодерню, чем в таком виде поставит их в свою конюшню в Кольхаасенбрюкке. Он оставил их на замковом дворе, вскочил на каракового жеребца, крикнул, что сумеет постоять за свои права, и был таков.

Во весь опор скача к Дрездену, он вдруг вспомнил о своем конюхе и о взведенном на него обвинении, затрусил мелкой рысцой и, не проехав и тысячи шагов, свернул в Кольхаасенбрюкке, дабы учинить предварительный допрос конюху, что представлялось ему разумным и справедливым. Ибо правдолюбивое его сердце, изведавшее все несовершенство миропорядка, несмотря на обиды, которые ему пришлось претерпеть, склонялось к тому, чтобы утрату коней принять как справедливое воздаяние, если его конюх и вправду в чем-нибудь провинился, как то утверждал кастелян. В то же время другое, но столь же верное чувство, все прочнее в нем укоренявшееся по мере того, как он продвигался вперед и всюду, куда бы ни заезжал, слышал разговоры о несправедливостях, что ни день чинимых проезжим людям в Тронкенбурге, говорило ему, что если все происшедшее — а на то было похоже — нарочно подстроено, то он, человек недюжинной силы, обязан добиться удовлетворения за обиду, ему нанесенную, и впредь оградить своих сограждан от подобной участи.

По прибытии в Кольхаасенбрюкке, едва обняв преданную свою жену Лисбет и расцеловав детей, радостно кинувшихся к нему, он тотчас же спросил, что слышно о Херзе, старшем конюхе.

— Ах, милый Михаэль, — отвечала Лисбет, — если бы ты знал, сколько хлопот нам наделал этот Херзе! Представь себе, что недели две назад он явился домой весь избитый, избитый до того, что едва дышал. Мы уложили его в постель, и он вдруг начал харкать кровью, а когда ему чуть-чуть полегчало и мы принялись его расспрашивать, рассказал нам историю, в которой и понять-то

толком ничего нельзя было: как ты оставил его при лошадях, которых задержали в Тронкенбурге, как его разными издевательствами принудили уйти из замка и как ему не удалось увести с собой коней.

— Вот оно что,— проговорил Кольхаас, снимая плащ,— а он уже поправился или нет?

— Да, только все еще харкает кровью,— отвечала она.— Я хотела немедленно послать в Тронкенбург другого конюха, чтобы он ходил за лошадьми до твоего приезда. Но ведь Херзе никогда не лгал и предан нам больше, чем другие; потому мне и в голову не пришло сомневаться в его рассказе, подтвержденном столькими живыми подробностями; ни минуты я не думала, что у него украли лошадей или что с ними что-то еще стряслось. Он молил меня никого не посылать в это разбойничье гнездо и пожертвовать лошадьми, если я не хочу загубить из-за них человека.

— Он еще лежит в постели или уже встал? — спросил Кольхаас, разматывая шейный платок.

— Вот уже несколько дней как он на ногах. Словом, ты сам убедишься, что он сказал правду и вся эта история только одно из позорных бесчинств, которые с недавних пор творят в Тронкенбурге над проезжими.

— Ну, в этом я еще сам должен разобраться,— отвечал Кольхаас,— поди, Лисбет, позови его ко мне, если он не в постели.

С этими словами он уселся в кресло, а хозяйка дома, обрадованная его спокойствием, поспешила за конюхом.

— Что ты там набедокурил в Тронкенбурге? — спросил Кольхаас, когда Лисбет вместе с Херзе вошла в комнату.— Я не очень-то доволен тобой.

Конюх, чье бледное лицо при этих словах пошло красными пятнами, немного помолчал и ответил:

— Ваша правда, хозяин, серный шнур, который я божьим соизволением держал при себе, чтобы поджечь разбойничье гнездо, я бросил в Эльбу, когда услышал, что в замке плачет ребенок; пусть испепелит эти стены господень огонь, а я этого делать не стану, подумалось мне.

Кольхаас, немного смешавшись, продолжал:

— А чем ты, спрашивается, заработал изгнание из Тронкенбурга?

Херзе на это:

— Дурным поступком, хозяин,— и вытер пот со лба.— Но что было, то было, сделанного не воротить.

Я не хотел, чтобы они заморили вороных на полевых работах, и сказал, что кони еще молоды и никогда в упряжи не ходили.

Сияясь подавить свое замешательство, Кольхаас сказал конюху, что тот, выходит, немного прилгал: ведь лошадей изредка запрягали еще прошлой весной.

— Тебе бы следовало,— добавил он,— поскольку ты оказался вроде как гостем в замке, быть немного по-услужливее и разок-другой помочь им, раз уж надо было спешить с уборкой урожая.

— Я так и сделал,— отозвался Херзе.— Вижу, они на меня волками смотрят, я и подумал, что коням ничего не сделается, запряг их на третий день и привез три воза зерна.

Кольхаас, у которого сердце обливалось кровью, опустил глаза долу и пробормотал:

— Об этом мне ничего не сказали, Херзе!

Херзе заверил его, что все так и было.

— Моя строптивость только в том и заключалась, что в полдень, не успели лошади поесть и передохнуть, я отказался снова запрягать их, да еще в том, что, когда кастелян и управитель предложили мне бесплатно брать корм в ихней конюшне, а деньги, что вы мне оставили на овес, положить себе в карман, я отвечал: «Еще что выдумали»,— повернулся и ушел.

— Но ведь не за это же тебя выгнали из Тронкенбурга?

— Упаси Бог!— воскликнул конюх.— За другое ужасное преступление. Дело в том, что вечером коней двух рыцарей, приехавших в Тронкенбург, завели в конюшню, а моих стали привязывать снаружи. Я взял поводья из рук кастеляна и спросил, куда же им теперь деваться, а он указал мне на дощатый свиной хлев, придулившийся у стены.

— Ты хочешь сказать,— перебил его Кольхаас,— что это было настолько плохое помещение, что походило скорее на свиной хлев, чем на конюшню?

— Это и был взаправдашний свиной хлев, хозяин,— отвечал Херзе,— свиньи сновали там взад и вперед, а я так даже распрямиться в нем не мог.

— Может быть, больше негде было поставить лошадей и рыцарским коням, само собой, было отдано предпочтение?

— Конюшня там была малопоместительная,— тихим голосом отвечал Херзе,— а в замке гостевало уже семеро

рыцарей. Будь вы на их месте, вы бы приказали поставить лошадей немного потеснее. Я сказал, что поищу в деревне, не сдаст ли мне кто-нибудь конюшню; но кастелян заявил, что лошади должны оставаться под его присмотром и чтоб я и думать не смел уводить их со двора.

— Гм,— произнес Кольхаас,— и что же ты ему на это ответил?

— Управитель сказал, что оба гостя только переночуют в замке, потому я и отвел лошадей в свиной хлев. Но прошел день, другой, а гости и не собирались уезжать; на третий же день выяснилось, что они чуть ли не месяц проживут в замке.

— Выходит, Херзе, что свиной хлев был не так уж плох, как тебе показалось, когда ты первый раз туда сунулся,— заметил Кольхаас.

— Ваша правда,— отвечал тот.— Я там немножко подмел и дал денег скотнице, чтобы она еще где-нибудь пристроила свиней. А назавтра, едва забрезжило утро, я снял доски со стропил, чтобы лошади могли стоять во весь рост, вечером же опять положил их на место. Кони наши, словно гуси, вытягивали шеи поверх крыши и поглядывали в сторону Кольхаасенбрюкке или еще куда-то, где бы им было получше.

— Ну ладно,— перебил его Кольхаас,— но скажи на милость, почему тебя все-таки выгнали оттуда?

— Потому, хозяин, что хотели от меня отделаться. При мне-то лошадей уморить они бы не сумели. Во дворе, в людской, как увидят меня — рожи корчат, а я и говорю себе: гримасничайте на здоровье, покуда челюсти не свихнули; вот они и удумали придраться к какой-то ерунде, да и выгнать меня.

— Ну, а повод? — воскликнул Кольхаас.— Был же у них какой-нибудь повод?

— Разумеется,— отвечал Херзе,— и притом самый что ни на есть правильный. Вечером, после двух дней в свином хлеве, лошади мучались почесухой, и я решил искупать их в реке. Не успел я подъехать к замковым воротам, как вижу: из людской выскакивает кастелян, за ним управитель со слугами, собаками и батогами, все гонятся за мной, крича: «Держи вора! Хватай висельника!» Привратник преграждает мне дорогу. Я спрашиваю его и всю шайку, что на меня наскокивает, в чем дело. «В чем дело? — повторяет кастелян и берет моих вороных под уздцы, потом хватает меня за шиворот и кри-

чит: — Куда это ты собрался с конями?» — «Куда собрался? — говорю я. — На речку, черт вас подери, коней купать. Вам, может, примерещилось, что я?..» — «На речку? — заорал кастелян. — Я тебе покажу, мошенник, как плавают в Кольхаасенбрюкке по пыльной дороге!» — и заодно с управителем, который что есть силы дернул меня за ногу, они сбрасывают меня с лошади так, что я во всю длину растянулся в грязи. «Караул, убивают!» — кричу я. В конюшне у меня осталась сбруя, попоны и узелок с бельем. Управитель уводит коней, а кастелян со слугами бьют меня чем ни попадя, пинают ногами и выбрасывают за ворота. Я упал, полумертвый, но все-таки поднялся и крикнул: «Разбойники! Негодяи! Куда вы ведете моих коней?» — «Вон отсюда, — орет мне в ответ кастелян. — Ату его, Кайзер, ату его, Егерь, ату, Шпиц!» И на меня набрасывается добрая дюжина псов. Я вырвал из забора то ли доску, то ли планку и как размахнулся! У троих псов сразу дух вон. Но раны не позволяют мне сражаться дальше. Вдруг свисток — собаки мигом вбегают во двор, ворота закрываются, а я без памяти валюсь на дороге.

Кольхаас, сильно побледнев, с наигранным лукавством спросил:

— А не хотел ли ты и впрямь удрать, Херзе?

Тот густо покраснел и потупился.

— Признайся, — продолжал Кольхаас, — тебе не по душе пришелся свиной хлев: ты решил, что конюшня в Кольхаасенбрюкке получше будет?

— Разрази меня гром! — вскричал Херзе. — Я в этом хлеву оставил сбрую и попоны. И узелок с бельем. Неужто я бы не взял с собой трех гульденов, завернутых в красный шелковый платок, который я припрятал за яслями? Гром, молния и все адские силы! Когда я слушаю ваши речи, я жалею, что выбросил серный шнур, мне впору сейчас разыскать его и поджечь!

— Полно, полно! — произнес барышник. — Я ничего худого не думал и верю каждому твоему слову; так бы я и на исповеди сказал. Жаль мне, что тебе так круто пришлось у меня на службе! Поди, Херзе, ляг в постель, вели принести себе бутылку вина и утешься, справедливость восторжествует.

Сказав это, он отвернулся и стал составлять список вещей, оставленных старшим конюхом в свином хлеву, обозначил их стоимость, потом спросил Херзе, в какую сумму тот оценивает расходы на лечение, наконец, пожал ему руку и отпустил его.

Засим он пересказал жене своей Лисбет весь ход событий, разъяснил их внутреннюю связь, добавил, что твердо решил добиться справедливости по суду, и порадовался, что она всей душой одобрила его замысел. Ведь и многим другим проедем, сказала Лисбет, возможно, менее терпеливым, чем он, ее муж, не миновать замка Тронкенбург, и потому покончить с безобразиями, которые там творятся,— поистине богоугодное дело, средства же, необходимые на ведение процесса, она уж поможет ему изыскать. Кольхаас назвал ее своей славной женушкой, провел счастливый день в кругу семьи и, как только ему позволили дела, снова выехал в Дрезден — подать жалобу в суд.

В Дрездене с помощью ученого юриста, давно ему знакомого, он составил исковое заявление, в котором, подробно изложив бесчинства юнкера фон Тронка как по отношению к нему, Кольхаасу, так и к его конюху Херзе, просил, во-первых, законного наказания владельца замка, во-вторых — усиленного откорма коней для восстановления их в прежнем виде и, наконец, возмещения убытков, понесенных им и его конюхом. Правота его в этом деле была самоочевидна. Незаконное задержание лошадей проливало свет на все остальное, но даже если предположить, что лошади хирели по чистой случайности, требование барышника вернуть ему их здоровыми и тогда оставалось справедливым. Вдобавок у Кольхааса нашлось немало друзей в резиденции, пообещавших ему поддержку. Его широко разветвленная торговля лошадьми и честность, с какою он вел ее, снискали ему благоволение самых именитых людей страны. Он частенько и превесело обедал у своего адвоката, тоже человека весьма влиятельного. В скором времени Кольхаас вручил ему солидную сумму денег на процессуальные расходы. По истечении двух или трех недель, успокоенный уверенностью последнего в исходе процесса, он вернулся в Кольхаасенбрюкке, к жене своей Лисбет. Однако прошли долгие месяцы, едва ли не целый год, а он все еще не получил из Саксонии извещения касательно вчиненного им иска, не говоря уже о резолюции.

Кольхаас неоднократно запрашивал трибунал, в чем причина столь невероятной задержки, и наконец обратился с доверительным письмом к своему советчику адвокату, от коего и узнал, что по указанию свыше его иск прекращен дрезденским судом. В ответ на удивленное письмо барышника, в котором он интересовался, что

побудило суд вынести столь странное решение, адвокат сообщил, что юнкер Венцель фон Тронка состоит в родстве с двумя придворными, Хинцем и Кунцем фон Тронка, из них первый является кравчим курфюрста Саксонского, а второй — так даже его камергером. Далее он советовал Кольхаасу без дальнейшей беготни по судебным инстанциям забрать коней, оставленных в Тронкенбурге, давая понять, что юнкер, ныне пребывающий в столице Саксонии, приказал своим людям беспрекословно отдать их ему; письмо заключалось просьбою, буде Кольхаас на этом не успокоится, не обременять его, адвоката, дальнейшими поручениями по данному делу.

О ту пору Кольхаас находился в Бранденбурге, где градоправитель Генрих фон Гейзау, в чей округ входил и Кольхаасенбрюкке, стремясь использовать капитал, случайно доставшийся городу, занят был устройством благотворительных заведений для больных и бедных; больше всего хлопот ему доставлял минеральный источник, забивший в одной из деревень; предполагалось, что этот источник будет способствовать излечению недужных, однако будущее показало, что его целебные свойства были сильно преувеличены. Поскольку Генрих фон Гейзау имел дело с Кольхаасом еще в бытность свою при дворе и хорошо его знал, то и разрешил Херзе, старшему конюху, после горьких дней в Тронкенбурге все еще ощущавшему стеснение в груди, испытать на себе целебное действие маленького источника, уже подведенного под крышу и обложенного камнем.

Случилось так, что градоправитель, отдавая какие-то распоряжения, стоял возле бассейна, в который Кольхаас уложил Херзе, и видел, как человек, посланный Лисбет к мужу, подал ему роковое письмо от дрезденского адвоката. Градоправитель, беседовавший с врачом, заметил, что при чтении этого листка слезы выступили на глазах Кольхааса; он приблизился дружелюбно и сочувственно спросил, что за несчастье его постигло. Вместо ответа барышник протянул ему письмо; тогда сей достойный человек, уже наслышанный о позорной несправедливости тронкенбургского юнкера, вследствие которой Херзе был болен, возможно, на всю жизнь, похлопал Кольхааса по плечу и сказал, пусть-де не падает духом, он же со своей стороны поможет ему в его правом деле. Когда барышник согласно его приказанию вечером явился к нему во дворец, градоправитель посоветовал ему написать прошение курфюрсту Бранден-

бургскому, приложить к таковому письмо адвоката и, ввиду грубого насилия, жертвой коего он стал на Саксонской земле, просить его августейшего заступничества. Далее он пообещал передать это прошение вместе с другим уже заготовленным ответом в руки курфюрста, который, если позволят обстоятельства, вскоре должен свидеться с курфюрстом Саксонским, а большего и не потребуется для дрезденского трибунала, чтобы положить конец проискам юнкера и его приспешников. Обрадованный Кольхаас не знал, как и благодарить градоправителя за это новое доказательство его благосклонности, и тут же высказал сожаление, что сразу не подал жалобу в Берлин, минуя Дрезден. Кольхаас направился в канцелярию городского суда и там по всем правилам написал прошение и, вручив его градоправителю, вернулся в Кольхаасенбрюкке, более чем когда-либо уверенный в благоприятном исходе своего дела.

Однако не прошло и нескольких недель, как некий судейский чиновник, ехавший в Потсдам по делам градоправителя, сообщил ему горестную весть: что-де курфюрст Бранденбургский передал его прошение своему эрцканцлеру графу Кальхейму, а тот не стал ходатайствовать перед дрезденским двором о доследовании дела и наказании виновного, что было бы естественно и разумно, но обратился за более подробными сведениями к юнкеру фон Тронка. Судейскому, оставшемуся сидеть в карете перед домом Кольхааса, видимо, было поручено передать сие сообщение, но на удивленный вопрос конноторговца, зачем же было заводить эту канитель, он не дал сколько-нибудь вразумительного ответа и, спеша продолжить путь, сказал только, что градоправитель велит Кольхаасу набраться терпения. Лишь в конце этой краткой беседы по нескольким словам, оброненным чиновником, Кольхаас понял, что граф Кальхейм в свойстве с домом Тронка. Не видя более радости ни в своем конном заводе, ни в мызе, охладев даже к жене и детям, Кольхаас весь месяц томился недобрыми предчувствиями — и как в воду глядел. По истечении этого срока из Бранденбурга вернулся Херзе, которому целебный источник и вправду принес некоторое облегчение, с рескриптом и приложенным к нему письмом градоправителя следующего содержания: ему-де очень жаль, что он ничем не может быть полезен Кольхаасу; при сем он препровождает полученную им резолюцию государственной канцелярии и советует забрать лошадей, оставленных в Тронкенбурге, и все дело предать забвению.

Резолюция гласила: трибунал города Дрездена решил, что податель сего прошения занимается сутяжничеством; юнкер, во владениях коего он оставил лошадей, отнюдь не намеревается их задерживать; жалобщик может немедленно послать за ними или, по крайней мере, сообщить юнкеру, куда их следует доставить; ему же, Кольхаасу, предлагается впредь не обременять государственную канцелярию подобными дрызгами и кляузами. Но Кольхаасу не лошади были важны, он испытал бы не меньшую боль, будь то даже собаки, и теперь, прочитав письмо, задышался от ярости. Всякий раз, когда со двора доносился шум, его грудь теснило зловещее предчувствие, ранее ему неведомое, и он не спускал глаз с ворот, ожидая, что вот-вот появятся люди фон Тронка и передадут ему, еще того гляди, с извинениями, изголодавшихся, изможденных коней. И это было единственное, с чем не могло смириться его закаленное жизнью сердце. Вскоре, однако, он услышал от одного знакомого, проехавшего по тому же пути, что его лошади сейчас, как и раньше, используются на полевых работах вместе с хозяйскими. И тут сквозь боль за чудовищные неполадки мира пробилась внутренняя удовлетворенность тем, что собственное его сердце отныне в полном ладу с его совестью. Он позвал к себе соседа, некоего амтмана, давно уже лелеявшего мечту расширить свои владения путем покупки граничивших с ними земельных участков, и, усадив гостя, спросил, сколько на круг он даст за его дома и земли в Бранденбургском и Саксонском курфюршествах, словом, за всю его недвижимость. Лисбет побледнела, это услышав. Она взяла на руки своего младшенького, возившегося возле нее на полу, и, не глядя на румяные щечки малютки, игравшего ее ожерельем, устремила взор, в котором, казалось, застыла смерть, на мужа и на бумагу в его руках. Амтман, удивленно взглянув на Кольхааса, спросил, с чего это вдруг осенила его столь странная мысль. Барышник со всей бодростью, на какую был способен, отвечал: мысль продать мызы на берегу Хавеля не так уж нова, они с женой частенько об этом подумывали, дом же в предместье Дрездена идет уж, так сказать, заодно, об нем и говорить не стоит,— словом, если амтману угодно будет приобрести оба землевладения, то можно приступить к составлению купчей крепости. И присовокупил вымученную шутку: свет-де клином не сошелся на Кольхаасенбрюкке, и человек может задаться целями, в сравнении с которыми обязанности отца семейства не так важны,

даже попросту ничтожны; короче говоря, его душа готова к великим свершениям, и, возможно, амтман вскоре о них услышит.

Успокоенный его словами, амтман весело сказал Лисбет, осыпавшей поцелуями своего малютку, что деньги-то он еще не выкладывает, затем положил на стол шляпу и трость, которую держал зажатой между коленями, и взял из рук хозяина бумагу, чтобы прочитать ее. Кольхаас, придвинувшись к нему, пояснил, что эта купчая крепость составлена впрок и вступит в силу лишь через четыре недели, в ней все написано, отсутствуют только подписи обеих сторон и не проставлены суммы: продажной цены, а также отступных, которые он, Кольхаас, обязан уплатить амтману в случае, если в течение этих четырех недель откажется от сделки; затем предложил ему назвать свою цену, при этом деловито заверив, что он человек сговорчивый и долго торговаться не будет. Жена Кольхааса ходила взад и вперед по комнате; грудь ее вздымалась так, что косынка, которую к тому же теребил ребенок, казалось, вот-вот упадет с плеч. Когда амтман заметил, что, конечно, не может судить о стоимости дрезденского владения, то Кольхаас, ни слова не говоря, пододвинул ему письма, которыми обменивался при покупке такового, и сказал, что ценит его в сто золотых гульденов, хотя из писем явствовало, что ему оно обошлось едва ли не вдвое дороже. Амтман еще раз перечитал купчую и, обнаружив пункт, позволявший и ему, в свою очередь, отступить, сказал уже довольно решительно, что племенные лошади Кольхаасова конского завода ему, собственно говоря, ни к чему. Но когда Кольхаас отвечал, что вовсе не хочет сбывать своих лошадей и намеревается также оставить за собой кое-что из оружия, хранящегося у него в оружейной палате, тот заколебался, долго молчал и наконец назвал цену, которую уже давал ему однажды во время прогулки, наполовину в шутку, наполовину всерьез, цену ничтожную в сравнении с подлинной стоимостью имущества. Кольхаас пододвинул ему перо и чернила для подписания купчей, но так как амтман сам себе не верил, то еще раз спросил Кольхааса, уж не смеется ли тот над ним. На что барышник, несколько задетый, отвечал: неужто же он полагает, что с ним здесь шутки шутят? Тогда амтман, правда, с несколько недоверчивым выражением на лице, взял перо и стал писать, но первым делом зачеркнул пункт о выплате ему отступных в случае отказа от сделки; далее он взял на себя обязательство внести сто

золотых гульденов в задаток за дрезденскую недвижимость, ибо ни в коем случае не хотел покупать ее за половинную цену, и, наконец, предоставлял Кольхаасу право в течение двух месяцев безвозмездно отступить от продажи своего имущества. Барышник, растроганный таким поступком, от всей души пожал ему руку. И после того, как они пришли к согласию касательно последнего и главнейшего условия, а именно, что четвертая часть продажной цены будет выплачена наличными, остальная же сумма через три месяца перечислена на гамбургский банк, Кольхаас приказал принести вина, чтобы отпраздновать заключенную сделку. Когда служанка внесла бутылки, он велел ей сказать Штернбальду, конюху, чтобы тот оседлал рыжего жеребца,— дела, мол, срочно призывают его в столицу. И еще он дал понять, что вскоре, то есть по возвращении, чистосердечно расскажет о том, что сейчас еще вынужден держать про себя. Затем, разливая вино, спросил амтмана, что слышно о поляках и турках, в ту пору воевавших между собой, и вовлек его в политический спор; наконец, он поднял кубок за успех их общего дела и отпустил гостя.

Едва амтман закрыл за собою дверь, Лисбет пала на колени перед мужем.

— Если ты еще не изгнал из своего сердца меня и детей, которых я родила тебе,— вскричала она,— если мы еще не навек отторгнуты от него, не знаю уж, за какие грехи, то объясни мне, что означают эти страшные приготовления?

— Любимая моя жена,— отвечал Кольхаас,— пусть ничто тебя сейчас не тревожит. Мне прислали судебное решение, и оно гласит, что моя жалоба на юнкера Венцеля фон Тронка не более как грязная клевета. Конечно же, это плод недоразумения, и я решил сызнова подать жалобу прямо в руки государя.

— Зачем ты продаешь свой дом? — крикнула она, поднимаясь и ломая руки.

Барышник, любовно прижав ее к своей груди, отвечал:

— Затем, милая моя Лисбет, что я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав. Если топчут тебя ногами, лучше быть псом, нежели человеком. И я уверен, что моя жена думает так же.

— Почему ты знаешь,— в отчаянии спросила она,— что твои права не будут ограждены? Почему ты знаешь,

что твое прошение отшвырнут в сторону, если ты скромно, как тебе подобает, приблизишься с ним к государю. почему ты знаешь, что тебя откажут выслушать?

— Что ж,— отвечал Кольхаас,— если мои опасения бесосновательны, так ведь и дом мой еще не продан. Государь справедлив, это я знаю; если я сумею пробиться к нему через тех, кто его окружает, я, без сомнения, обрету свои права и еще до конца недели радостно возвращусь домой — к тебе, к старым своим занятиям. И уж тогда,— добавил он, целуя Лисбет,— до конца жизни буду с тобой! Но я должен быть готов ко всему и считаю желательным, чтобы ты, если это возможно на некоторое время уехала; возьми детей и поезжай к тетке в Шверин,— ты ведь давно собиралась ее навестить.

— Как? — вскричала Лисбет.— Мне ехать в Шверин? С детьми ехать через границу в Шверин? — Ужас перехватил ей горло.

— Вот именно,— сказал Кольхаас,— и притом немедленно, чтобы я мог без помехи предпринять шаги, необходимые для моего дела.

— О, я понимаю тебя! Тебе сейчас не нужно ничего, кроме коней и оружия; все остальное пусть забирает кто хочет! — Она зарыдала и бросилась в кресло.

— Что с тобой, моя дорогая Лисбет? Господь благословил меня женой, детьми и богатством; неужто же сегодня я вдруг пожелал, чтобы ничего этого у меня не было?

Он подсел к ней, а она, покраснев от слов мужа, упала в его объятия.

— Скажи,— говорил Кольхаас, откидывая кудри с ее чела,— что же мне делать? На всем поставить крест? Явиться в Тронкенбург, попросить, чтобы рыцарь вернул мне коней, вскочить на одного из них и мчаться домой, к тебе?

Лисбет не отваживалась сказать: да! да! да! — она, рыдая, качала головой, прижимала его к себе, страстными поцелуями осыпала его грудь.

— Ну вот, Лисбет,— воскликнул Кольхаас,— ты поняла, что если я хочу продолжать свой промысел, то мои права должны быть ограждены; так предоставь же мне свободу, необходимую, чтобы постоять за них.— С этими словами он поднялся и сказал конюху, пришедшему доложить, что рыжий жеребец оседлан:— Завтра надо будет запрячь караковых — отвезти хозяйку в Шверин.

Вдруг Лисбет объявила, что ей в голову пришла отличная мысль. Она встала, вытерла слезы и спросила мужа, усевшегося было за конторку, не позволит ли он ей поехать вместо него в Берлин, дабы вручить прошение государю.

Кольхаас, по многим причинам растроганный предложением Лисбет, усадил ее к себе на колени и стал говорить:

— Дорогая моя жена, увы, это невозможно. Государя окружает плотная стена придворных, и немало трудностей придется преодолеть тому, кто вздумает к нему приблизиться.

Лисбет возразила, что женщине дойти до государя проще, чем мужчине.

— Дай мне прошение,— повторила она,— и если тебе одно только нужно — знать, что бумага у него в руках, клянусь, он ее получит!

Кольхаас, не раз имевший случай убедиться в ее отваге и уме, спросил, как же она думает это устроить. Лисбет, стыдливо потупившись, ответила, что кастелян курфюрстова двора, в свое время служивший в Шверине, сватался к ней, и хотя он теперь человек женатый и отец многочисленного семейства, но ее еще не вовсе позабыл, одним словом, она уж сумеет извлечь пользу из этого обстоятельства и ряда других, о которых сейчас, право, нет времени распространяться. Кольхаас с большой радостью поцеловал жену и согласился на ее предложение, объявив, что ей достаточно будет остановиться у жены кастеляна, чтобы обеспечить себе доступ во дворец, отдал прошение, велел закладывать караковых жеребцов, поудобнее усадил ее в карете и приказал Штернбальду, верному своему конюху, сопровождать хозяйку.

Много безуспешных шагов предпринял Кольхаас в своем злополучном деле, но несчастнейшим из них оказалась эта поездка. Ибо уже через несколько дней Штернбальд вернулся домой, медленно ведя под уздцы лошадей, тянувших экипаж, в котором с проломленной грудью лежала его хозяйка. Кольхаас, бледный как полотно, ринулся к ней, но толком так и не узнал, из-за чего произошло несчастье. Кастеляна не оказалось дома, рассказывал конюх; они были вынуждены остановиться на постоялом дворе, неподалеку от дворца. На следующее утро Лисбет ушла, приказав Штернбальду оставаться при лошадях, и вернулась лишь к вечеру уже в этом плачевном состоянии. Похоже, что она слишком дерзко

пробивалась к особе государя и один из не в меру ревнивых стражников ударил ее в грудь древком своей пика. Так, во всяком случае, говорили люди, вечером принесшие ее в беспамятстве на постоянный двор, сама она почти не могла говорить, ибо кровь текла у нее изо рта. Прощение из рук Лисбет спустя некоторое время взял какой-то рыцарь, сказал Штернбалд и добавил, что хотел тотчас же скакать домой с прискорбной вестью, но Лисбет, вопреки настояниям призванного к ней хирурга, потребовала, чтобы ее отвезли к мужу в Кольхаасен-брюкке, ни о чем заранее его не оповещая. Кольхаас перенес ее, вконец изнемогшую от дороги, на постель, и Лисбет, мучительно лоя ртом воздух, прожила еще несколько дней. Попытки вернуть ей сознание, чтобы узнать от нее, как случилось это несчастье, ни к чему не привели; она лежала недвижимая, с остановившимся и уже отсутствующим взором. Только перед самой смертью сознание вернулось к ней. Когда у ее постели уже стоял священник лютеранской веры (к этой только что возникшей религии она примкнула по примеру мужа) и громким, прочувствованно-торжественным голосом читал из Библии, она устремила на священника затуманенный взор, взяла у него из рук книгу, словно не хотела слушать, и долго-долго ее листала, что-то ища, затем пальцем показала Кольхаасу, сидевшему у ее изголовья, стих: «Прости врагам твоим; делай добро и тем, кто ненавидит тебя». Проникновенно посмотрела на него и скончалась.

«Пусть Господь никогда не простит меня, как я никогда не прощу юнкера Тронка»,— подумал Кольхаас, поцеловал ее,— слезы безудержно лились по его лицу,— закрыл сѣ глаза и вышел из горницы.

Он взял те сто золотых гульденов, которые амтман заплатил ему за дрезденские конюшни, и заказал похороны, подобающие скорее владетельной княгине, чем бедной Лисбет: дубовый гроб, щедро обитый металлом, шелковые подушки с золотыми и серебряными кистями и могила глубиной в восемь локтей, выложенная булыжниками, скрепленными известью. Сам он стоял возле ямы, держа на руках своего младшенького, и наблюдал за могильщиками. В день похорон тело Лисбет в белоснежных одеждах было положено в зале, обитом по приказанию Кольхааса черным сукном. Едва священник договорил свое растроганное напутствие, как Кольхаасу принесли ответ на прошение, поданное покойной. Ответ гласил: ему надлежит забрать лошадей из Тронкенбурга и

под угрозой тюремного заключения больше по этому делу жалоб не подавать. Кольхаас сунул письмо в карман и велел нести гроб на катафалк. Когда могила была засыпана землей и увенчана крестом, когда разошлись гости, съехавшиеся на похороны, он еще раз упал на колени перед ее навеки опустелым ложем и затем приступил к делу возмездия.

Кольхаас сел за свою конторку и в силу права, дарованного ему самой природой, написал приговор, обязывающий юнкера Венцеля фон Тронка в трехдневный срок, считая с проставленной даты, привести вороных, отнятых им у барышника Кольхааса и заморенных им на полевых работах, в конюшни Кольхаасенбрюкке и самолично откармливать, покуда они не приобретут прежней стати. Эту бумагу он отослал с верховым, приказав ему тотчас же после вручения скакать обратно, в Кольхаасенбрюкке. Когда три дня истекли, а о лошадях не было ни слуху ни духу, он позвал Херзе и открыл ему свой замысел,— принудить юнкера откармливать жеребцов в его, Кольхааса, конюшнях, потом задал ему два вопроса: согласен ли Херзе ехать вместе с ним в Тронкенбург и увезти оттуда юнкера; и еще: если увезенный юнкер будет лениво работать в здешних конюшнях, согласен ли он поощрять его кнутом. И так как Херзе, едва до него дошел смысл этих слов, крикнул: «Да хоть сейчас, хозяин!» — подбросил в воздух шапку и радостным голосом сказал, что велит сплести себе ременную плетку о десяти узлах,— тут-то уж юнкер научится коней скребицей чистить,— то Кольхаас продал дом, усадил детей в карету и отправил их через границу в Шверин, а когда спустилась ночь, крикнул своих конюхов, семь человек, преданных ему душой и телом, роздал им оружие, коней и поскакал в Тронкенбург.

Уже на третью ночь с кучкой своих людей Кольхаас ворвался в замок, копытами коней растоптав сборщика пошлин и привратника, мирно беседовавших у ворот. Покуда с треском разваливались надворные постройки, которые они закидали горящими головнями, Херзе взбежал по винтовой лестнице в канцелярию, где управитель с кастеляном, полуодетые, играли в карты, и заколол, зарубил их; сам же Кольхаас кинулся в замок к юнкеру Венцелю. «Ангел мщения слетает с небес»,— возгласил юнкер под громкий хохот собравшихся в замке приятелей, ибо как раз читал им вердикт, переданный ему посланцем барышника, и не сразу расслышал голос последнего во дворе, но вдруг, покрывшись смертельной

бледностью, крикнул гостям: «Спасайтесь, друзья мои!» — и бросился вон из зала. Кольхаас у самых дверей преградил путь попавшемуся ему навстречу юнкеру Гансу фон Тронка, швырнул его в угол, так что мозг брызнул на каменный пол, и спросил, в то время как конюхи расправлялись с другими рыцарями, схватившимися было за оружие, где юнкер Венцель фон Тронка. Обеспамятовавшие люди ничего не могли ему ответить; тогда он ударом ноги распахнул двери покоев, ведущих в боковые пристройки замка, обежал все обширное строение, но никого не нашел и, изрыгая проклятия, стремглав бросился во двор, чтобы поставить стражу у всех выходов. Меж тем огонь с дворовых строений перекинулся на замок, дым валил из окон, вздымаясь к небу, и в то время как Штернвальд с тремя расторопными конюхами хватали что ни попадя и бросали прямо под ноги своим лошадям, Херзе из окон канцелярии с ликующим хохотом выбрасывал трупы управителя, кастеляна, их чад и домочадцев.

Кольхаасу, сбегавшему по лестнице, бросилась в ноги скрюченная подагрой старуха, домоправительница юнкера; остановившись, он спросил, где юнкер Венцель фон Тронка, и так как она дрожащим, чуть слышным голосом ответила: ей кажется, что юнкер укрылся в часовне, — то он кликнул двоих своих конюхов с факелами и, не имея ключей, велел взломать дверь ломом и топорами. Они обыскали всю часовню, опрокидывая алтари и скамьи, но юнкера, к вящей ярости Кольхааса, так и не обнаружили. Не успел Кольхаас выйти из часовни, как мимо него опрометью пробежал парень из тронкенбургской челяди к большой каменной конюшне, на которую вот-вот могло переброситься пламя, чтобы вывести ратных коней своего господина. В это самое мгновение Кольхаас заметил своих вороных в сарайчике, крытом соломой, и спросил, почему он их не спасает. «Потому что сарай уже в огне», — отвечал парень, поворачивая ключ. Кольхаас с силой вырвал ключ из замка, швырнул его через стену и своим кинжалом стал плашмя колотить парня по спине, загоняя в пылающий сарай; так, под громкий хохот окружающих, он заставил его спасти вороных. Однако, когда тот, ведя под уздцы лошадей, вышел из сарая, который мгновение спустя обрушился, Кольхааса уже не было поблизости. Парень побежал на замковую площадь, где орудовали люди Кольхааса, и спросил их главаря, не удостоившего его даже взглядом, что делать с вороными. Тот обернулся

и топнул ногой, словно желая раздавить его, ни слова не говоря, вскочил на своего каракового жеребца и под воротами замка стал молча дожидаться наступления дня. Когда забрезжило утро, огонь оставил от замка лишь каменные стены и никого в нем не было, кроме Кольхааса и семерых его конюхов. Кольхаас слез с коня и при ярком свете солнца еще раз обшарил все углы и закоулки; с тяжелым сердцем убедившись, что нападение на замок не достигло цели, он послал Херзе и еще двоих разведать, в каком направлении скрылся юнкер. В первую очередь он подумал о богатой обители Эрлабрунн на берегу Мульде, где настоятельницей была Антония фон Тронка, известная всей округе как женщина благочестивой и святой жизни, ибо несчастный Кольхаас был почти уверен, что юнкер, гол как сокол, укрылся в этой обители, тем паче, что настоятельница приходилась ему родной теткой и в раннем детстве была его воспитательницей. Учтя все это, он поднялся на башню канцелярии, в которой еще сохранилась одна комната, пригодная для жилья, и сочинил так называемый «Кольхаасов мандат»; в нем он призывал всех жителей не давать убежища юнкеру фон Тронка, с которым он ведет справедливую войну, вернее, вменил в обязанность каждому, включая родственников и друзей фон Тронка, под страхом смертной казни и сожжения всего имущества, движимого и недвижимого, выдать ему его заклятого врага. Этот мандат он распространил по округе через проезжих и вовсе незнакомых людей; более того, дал список с него Вальдману, своему конюху, строго наказав вручить бумагу госпоже Антонии в Эрлабрунне. Засим он переговорил с теми тронкенбургскими челядинцами, что были недовольны своим господином и хотели перейти к нему на службу, раздобрив их надеждой на богатую добычу, вооружил на манер пехоты арбалетами и кинжалами, научил ездить вторым на седле с его всадниками, превратил в деньги добычу, награбленную шайкой, и разделил ее между ними; только сделав все это, он несколько часов передохнул от горестных своих дел под воротами замка.

К полудню вернулся Херзе и подтвердил то, что говорило Кольхаасу его сердце, всегда исполненное наихудших предчувствий: юнкер действительно находился в Эрлабруннской обители у своей тетки, старой настоятельницы Антонии. Видимо, он выбрался через дверцу в задней стене замка, выходящую на наружную кры-

тую лестницу, которая спускалась к Эльбе. Во всяком случае, рассказывал Херзе, в прибрежную деревню, к вящему удивлению жителей, собравшихся поглазеть на пожар в Тронкенбурге, он прибыл около полуночи в челне без руля и без весел и затем, уже на деревенской подводе, уехал дальше, в Эрлабрунн. При этом известии Кольхаас облегченно вздохнул.

— Лошади уже накормлены? — спросил он и, получив утвердительный ответ, крикнул: — По коням!

Через три часа он со своими людьми уже был у ворот обители в Эрлабрунне. Под дальние раскаты грома, с факелами, зажженными уже на месте, ворвался Кольхаас со своей шайкой в монастырский двор. Вальдман, его конюх, поспешивший ему навстречу, объявил, что мандат был им вручен. В это мгновение Кольхаас заметил настоятельницу, взволнованно разговаривающую с монастырским кастеляном на ступеньках портала. В то время как кастелян, низкорослый, седой как лунь старикашка, торопливо надевал на себя кирасу и кричал слугам, его обступившим, чтобы они ударили в набат, настоятельница с серебряным распятием в руках, бледная как полотно, спустилась с лестницы и вместе со всеми своими монахинями пала ниц перед Кольхаасовым конем. Покуда Херзе и Штернбальд связывали кастеляна, у которого и меча-то при себе не было, и проводили своего пленника между конями, Кольхаас спросил ее, где юнкер фон Тронка. И так как она, отвязывая от пояса большую связку ключей, отвечала: «В Виттенберге, Кольхаас, достойный муж,— и дрожащим голосом присовокупила:— Побойся Бога и не твори неправого дела!» — то Кольхаас, вновь низринутый в ад неосуществленной мести, уже собрался крикнуть своим парням: «Поджигайте!» — как вдруг неистовый удар грома потряс землю. Повернув своего коня, Кольхаас спросил настоятельницу, получила ли она его мандат. Слабым, едва слышным голосом она ответила:

— Получила, только что.

— Когда?

— Через два часа, Бог тому свидетель, после отъезда моего племянника.

Вальдман, конюх, на которого Кольхаас бросил сумрачный взгляд, запинаясь подтвердил ее слова: вода в Мульде так поднялась от дождя, что он долго не мог переправиться и лишь несколько минут назад прискакал в монастырь. Кольхаас взял себя в руки, а внезапный ливень, погасивший факелы и громко застучавший по

мощному двору, утишил боль в его исстрадавшемся сердце. Он взмахнул шляпой перед настоятельницей, поворотил своего коня, пришпорил его и со словами: «За мной, братья! Юнкер в Виттенберге!» — ускакал из обители.

Когда спустилась ночь, им пришлось завернуть на постоянный двор и отдыхать там целые сутки, так как лошади очень устали. Кольхаас, уразумев, что с войском в десять человек (а именно столько приверженцев было у него теперь) не сможет выстоять против такого города, как Виттенберг, сочинил второй мандат, в котором, после краткого изложения того, что сделали с ним в Саксонии, сулил «каждому доброму христианину», как он выражался, «приличный денежный задаток и прочие воинские преимущества», буде он присоединится к нему «в борьбе против юнкера фон Тронка, заклятого врага всего христианства».

В следующем мандате, написанном почти тотчас же, он именовал себя «человеком, неподвластным государственной, сиречь земной, власти и покорным лишь Господу Богу», — болезненно-уродливое самоупоение, — тем не менее звон его денег и виды на добычу привлекали к нему чернь, оставшуюся без куска хлеба после заключения мира с Польшей, да так привлекали, что в его шайке было уже тридцать душ, когда он снова отошел на правый берег Эльбы, готовясь сжечь Виттенберг. С конями и людьми укрылся Кольхаас в полуразрушенном кирпичном сарае, среди густого леса, в те времена еще окружавшего этот город. Кольхаас там простоял довольно долго, прежде чем Штернбалд, которого он переодетым посылал в город со своим мандатом, сообщил, что мандат горожанам уже известен; и вот вечером под самую тройцу, когда город погрузился в сон, он ворвался со своей шайкой и поджег Виттенберг одновременно с разных сторон. Покуда его парни грабили в предместье, сам он прибил на косяк церковной двери лист бумаги, на коем стояло: он, Кольхаас, поджег город, но, если ему не выдадут юнкера, сожжет его дотла, так что — это было его выражение — «никому не придется заглядывать через стену, чтобы этот город увидеть».

В ужас повергла жителей неслыханная наглость Кольхааса; к счастью, ночь была по-летнему безветренной, и огонь успел пожрать всего девятнадцать зданий, — правда, среди них и церковь. На рассвете, когда горожанам удалось немного сбить пламя, старик ланд-

фогт Отто фон Горгас уже выслал отряд в пятьдесят человек для поимки зарвавшегося злодея. Однако начальник отряда, некий капитан Герстенберг, действовал так неумело, что не только не уничтожил шайку Кольхааса, но посодействовал воинской славе последнего; этот вояка разделил отряд на мелкие группы, полагая, что так ему будет легче окружить и подавить противника. Кольхаас же, рассредоточивший своих людей, ударил по нему сразу в нескольких точках и так его разбил, что к вечеру следующего дня от отряда, на который возлагала надежды вся страна, не осталось ни единого человека. Кольхаас, в этом бою потерявший нескольких людей, на рассвете вновь поджег город, причем его злодейские умыслы выполнялись так точно, что в огне снова погребло множество домов, не говоря уже о пригородных амбарах, сплошь превратившихся в прах и пепел. Тогда он прибил свой мандат на углу ратуши, приписав к нему несколько слов касательно участи посланного ландфогтом и уничтоженного им, Кольхаасом, отряда капитана фон Герстенберга. Взбешенный его упорством, ландфогт сам с несколькими рыцарями встал во главе ста пятидесяти всадников. К юнкеру фон Тронка, обратившемуся к нему с письменной просьбой, он приставил охрану, ибо народ жаждал его изгнания из города и готов был прибегнуть к насильственным действиям. Расставив на случай нападения сторожевые посты во всех окрестных деревнях, а также на городской стене, он сам в день святого Гервасия выехал на бой с драконом, опустошавшим страну. Кольхаас был достаточно умен, чтобы уклониться от встречи с его войском; хитроумными маршами он заставил ландфогта отойти на пять миль от города и к тому же поверить, будто теснимая превосходящими силами шайка спасается бегством за Бранденбургскую границу. На третью ночь Кольхаас внезапно повернул, стремительным броском достиг Виттенберга и в третий раз зажег его. Осуществил это злодейство Херзе, переодетым прокравшийся в город. И пламя из-за сильного северного ветра оказалось настолько пагубным, что менее чем за три часа пожрало сорок два дома, две церкви, несколько школ и монастырей и даже канцелярию ландфогта. Ландфогт, уверенный, что его противник ушел в Бранденбург, узнав о случившемся, стремительным маршем воротился в город, уже объятый мятежом. Тысячи жителей лагерем расположились у дома юнкера фон Тронка, zagrożенного горами наваленных столбов и балок, и с не-

истовыми криками требовали его удаления из города. Двое бургомистров, Иенкенс и Отто, в одежде, присвоенной их званию, во главе всего магистрата тщетно толковали народу о необходимости дожидаться гонца, посланного к президенту государственной канцелярии с запросом касательно препровождения в Дрезден юнкера фон Тронка, куда тот и сам, по многим причинам, желал отбыть. Обезумевшая толпа, вооруженная дрекольем, их не слушала и, понося упорствующий магистрат, уже изготовилась взять штурмом и сровнять с землею дом, в котором отсиживался юнкер фон Тронка, когда в город прискакал ландфогт Отто фон Горгас со своими всадниками. Этому достойному господину, привыкшему одним своим присутствием внушать народу благоговение и покорство, удалось, как бы в отплату за неудачный поход, изловить у самых городских стен Кольхаасовых парней, отбившихся от шайки. Покуда их на глазах у народа заковывали в цепи, ландфогт в краткой и умной речи заверил, что в скором времени, как ему думается, будет схвачен и закован главный поджигатель; на след его уже напали. Эти успокоительные слова разрядили страх толпы и заставили ее отчасти примириться с тем, что юнкер пробудет в городе до возвращения гонца из Дрездена.

Ландфогт спешил и приказал убрать заграждения; сопровождаемый несколькими рыцарями, он вошел в дом, где юнкер фон Тронка то и дело падал в обморок, несмотря на хлопоты двух врачей, пытавшихся эссенциями и другими возбуждающими средствами вернуть его к жизни. Господин Отто фон Горгас понял, что сейчас не время говорить с юнкером о его поведении, возымевшем столь печальные последствия. Молчаливо смерив его презрительным взглядом, он отрывисто приказал ему одеваться и следовать за ними — для его же сохранности — в рыцарский тюремный замок. На юнкера надели камзол и шлем, но ему все еще не хватало воздуха, и когда он, грудь нараспашку, опираясь на руки ландфогта и его зятя графа фон Гершау, вышел из дому, улица огласилась богохульными проклятиями. Народ, с трудом сдерживаемый ландскнехтами, обзывал его кровопийцей, окаянным мучителем, проклятием Виттенберга, чумой Саксонии. Печален был их путь по лежащему в развалинах городу; юнкер даже не замечал, что шлем несколько раз слетал с него и один из рыцарей, шедший позади, поднимал его и вновь

на него нахлобучивал; наконец они пришли к тюрьме, и он скрылся в башне, охраняемой усиленным караулом.

Возвращение гонца с резолюцией курфюрста повергло город в новую тревогу; ибо правительство, ссылаясь на то, что поступившее настойчивое ходатайство дрезденского бюргерства, слышать не хотело о прибытии фон Тронка в столицу, прежде чем не будет пойман злодей; более того, вменяло в обязанность ландфогту защищать юнкера, где бы он ни находился (а где-то он все же должен находиться), силами своего воинского отряда. Засим, для успокоения славного города Виттенберга, сообщалось, что войско численностью в пятьсот человек под началом принца Фридриха Мейссенского выступило, дабы впредь защищать его от злодея.

Ландфогт живо смекнул, что такого рода резолюция отнюдь не успокоит народ, ибо победы, одержанные конноторговцем в окрестностях города, вызвали к жизни преувеличенные и пренеприятные слухи о его возросшей мощи. Война, которую он со своими ряжеными парнями вел во мраке ночи — соломой, смолой и серой, война неслыханная и беспримерная, не отступила бы и перед большим войском, нежели приближающийся отряд принца Мейссенского. Не долго думая, ландфогт решил скрыть врученную ему резолюцию и приказал развесить на городских углах только списки с послания принца Мейссенского, возвещавшего о его скором прибытии. На рассвете из двора рыцарского тюремного замка выехала на Лейпцигскую дорогу занавешенная карета, которую сопровождали четверо вооруженных до зубов рейтаров, каким-то образом пустивших слух, что она направляется в Плейссенбург; а так как к этому времени народ уже поуспокоился насчет юнкера, из-за коего в городе лилась кровь и пылал огонь, то ландфогт с тремя сотнями воинов решил идти на соединение с отрядом принца Фридриха Мейссенского.

Между тем шайка Кольхааса, волею судеб занявшего столь странное положение, насчитывала уже сто девять человек и после нападения на склад оружия в Иессене была вооружена как нельзя лучше. Извещенный о двойной угрозе, на него надвигавшейся, Кольхаас принял решение не дать ей над собой разразиться, а со скоростью вихря лететь ей навстречу: уже следующей ночью под Мюльбергом он напал на отряд принца Мейссенского; однако в этом бою его постигло великое горе; первыми

же выстрелами был убит Херзе, сражавшийся бок о бок со своим господином; но потрясенный потерей Кольхаас в трехчасовой битве так разгромил принца, что тот не сумел собрать своих солдат, а поутру, из-за собственных тяжелых ранений и полного развала отряда, был вынужден отступить к Дрездену. Упоенный этой победой, Кольхаас повернул, чтобы двинуться навстречу войскам ландфогта, и, покуда тому еще ничего не было известно, среди бела дня напал на него под деревней Дамеров; неся громадные потери, он с не меньшим успехом бился с ним до глубокой ночи и утром, разумеется, снова атаковал бы ландфогта на кладбище в Дамерове, куда тот укрылся с остатками своего войска, если бы лазутчик не донес ландфогту о поражении принца под Мюльбергом и тот не счел за благо вернуться в Виттенберг. Через пять дней после того, как были обращены в бегство оба отряда, Кольхаас был уже под Лейпцигом и зажег город с трех сторон. В мандате, выпущенном в этой связи, он именовал себя наместником архангела Михаила, сошедшего с небес, чтобы огнем и мечом покарать весь мир, погрязший в пороках и коварстве, всех, кто станет на сторону юнкера. Из Лютценского замка, в котором он засел, взяв его нахрапом, он призывал народ примкнуть к нему во имя устройства лучшего миропорядка. Под этим последним мандатом с кощунственным вызовом стояло: «Дано в замке Лютцен, резиденции нашего временного всемирного правительства».

На счастье лейпцигских жителей, всю ночь шел проливной дождь, не позволивший огню распространиться, к тому же и пожарные работали умело и быстро, так что выгорело всего лишь несколько мелочных лавок возле Плейссенбурга. И все-таки город был объят несказанным ужасом, ибо осадивший его злодей пребывал в ложной уверенности, что в его стенах находится юнкер фон Тронка. Тут в город возвратился отряд из ста восемнадцати рейтаров, высланный против Кольхааса и разбитый им. Магистрату, не желавшему рисковать богатствами города, осталось только запереть ворота и заставить бюргеров денно и нощно нести караул за городскими стенами. Напрасно развешивали по окрестным деревьям декларации магистрата, заверяющие, что юнкера нет в городе; Кольхаас в сходных листках утверждал, что юнкер в Лейпциге, но даже если его и нет в этих стенах, он все равно будет действовать, как будто он там, покуда ему не назовут места его пребыва-

ния. Курфюрст, оповещенный гонцом о бедственном положении города Лейпцига, дал знать, что для поимки Кольхааса собирает войско в две тысячи человек и сам берет на себя командование таковым, господину же Отто фон Горгасу объявил строгий выговор за недопустимую, хотя и хитроумную выдумку, с помощью которой он выжил злодея из окрестностей Виттенберга.

Невозможно описать смятение, охватившее Саксонию и прежде всего ее столицу, когда там стало известно, что в деревнях под Лейпцигом появились неизвестно кем развешанные обращения к Кольхаасу следующего содержания: «Юнкер Венцель находится в Дрездене у своих двоюродных братьев Хинца и Кунца».

Ввиду всех этих обстоятельств доктор Мартин Лютер, опираясь на свое незыблемое положение в свете, решил силою умиротворяющих слов вернуть Кольхааса на путь добродетельности и, уповая на честное начало в сердце злодея и поджигателя, обратился к тому со следующим воззванием, развешанным по всем городам и весям курфюршества:

«Кольхаас, ты, возомнивший, что тебе вручен меч правосудия и справедливости! На что посягнул ты, наглец, ослепленный безумием своих страстей, ты, с головы до пят погрязший в несправедливости и злодействах? Лишь потому, что государь, подданным коего ты являешься, не признал твоей правоты в тяжбе из-за грошового добра, ты восстал, нечестивец, с огнем и мечом и, как волк пустыни, вламываешься в мирную паству, коей он служит оплотом. Ты, который своим измышлением, полным лжи и коварства, ввел в соблазн людей, не думаешь ли ты, грешник, надуть Господа Бога в день, что своим сиянием осветит все закоулки сердец человеческих? Как смеешь ты говорить, что твое право поправно, ты, чье лютое сердце свербит презренная жажда мести, ты, после первых же незадач отказавшийся от усилий вернуть себе это право? Выходит, что судейские чины и служители, утаившие письмо, им врученное, или задержавшие определение, каковое им надлежало препроводить, и суть твое правительство? А я должен сказать тебе, богопротивник: твое правительство знать не знает о своем деле,— да что я говорю! — государь, на коего ты ополчился, и об имени твоем понятия не имеет. И если ты когда-нибудь предстанешь перед судом Всевышнего, вообразив, что приносишь жалобу на своего

государя, тот с чистой совестью сможет сказать: этого человека, Господи, я ничем не обидел, ибо душа моя не ведала о его существовании. Знай же, меч в твоих руках — это меч разбоя и убийства, сам же ты мятежник, а не господень воин, и участь твоя в этом мире — колесо и виселица, а на том свете — вечные муки, сужденные всем злодеям и безбожникам.

Мартин Лютер

Виттенберг и т. д.»

Кольхаас, ни в грош не ставя развешанное по деревням сообщение, что юнкер-де находится в Дрездене, ибо оно никем не было подписано, тем более магистратом, как он того требовал, уже вынашивал в своем истерзанном сердце новый план сожжения Лейпцига, когда Штернбальд и Вальдман, к величайшему своему смущению, увидели под воротами замка кем-то прибитое ночью Лютерово воззвание. Несколько дней они тщетно надеялись, что Кольхаас, к которому они боялись с этим подступить, сам его увидит. Мрачный, погруженный в себя, он, правда, выходил вечером из своих покоев, но лишь затем, чтобы отдать краткие приказания, и ничего не замечал. Однажды утром, когда Кольхаас отдал приказ вздернуть двоих парней из своей шайки, вопреки его воле грабивших народ, они все же осмелились обратить его внимание на этот листок. Он возвращался с места казни, и народ робко расступался перед пышным шествием, — по-другому он не появлялся со времени своего последнего мандата, — перед ним несли огромный «меч справедливости» на алой кожаной подушке, украшенной золотыми кистями, за ним следовали двенадцать человек с горящими факелами. Тут оба его конюха с мечами под мышкой, что должно было удивить его, обогнули столб с прибитым на нем воззванием. Кольхаас, заложив руки за спину, углубленный в свои мысли, вошел в ворота, поднял взор и обомлел, оба парня почтительно попятнулись, он же, скользнув по ним рассеянным взглядом, сделал несколько быстрых шагов и оказался возле столба. Но кто опишет, что творилось в его душе, когда он прочитал листок, обличающий его в несправедливости, листок, на котором стояло самое дорогое, самое почитаемое имя из всех, которые он знал, — имя Мартина Лютера. Лицо его сделалось багровым, обнажив голову, он вновь перечитал написанное, дважды, от начала до конца, затем обернулся и, ни на кого не глядя, смешался с толпой своих верных

слуг, словно желая что-то сказать, но ничего не сказал; снял листок со столба, еще раз его перечитал и крикнул:

— Вальдман, вели седлать моего коня! — Затем: — Штернбальд, следуй за мной в замок! — И ушел.

Немногих слов, к нему обращенных, оказалось достаточно, чтобы его обезоружить, чтобы он увидел себя во всем ничтожестве брэнного своего величия. Он быстро переделся в платье тюрингского хлебопашца, сказал Штернбальду, что дело особой важности призывает его в Виттенберг; в присутствии некоторых наиболее надежных своих приближенных передал ему командование отрядом, остающимся в Лютцене, и, заверив их, что вернется через три дня, — в этот срок вряд ли можно ожидать нападения, — отбыл в Виттенберг.

Под чужим именем он остановился на постоялом дворе и, едва спустилась ночь, завернулся в плащ, взял с собою два пистолета, которыми разжился в Тронкенбурге, и вошел в покой Лютера. Лютер сидел за своей конторкой, заваленной книгами и рукописями. Увидев странного незнакомца, открывшего дверь и тотчас ее за собою замкнувшего, он спросил, кто он такой и что ему угодно. Незнакомец, почтительно державший шляпу в руке, помедлив в предчувствии ужаса, который внушит его ответ, едва успел отрекомендоваться: «Михаэль Кольхаас, лошадиный барышник», — как Лютер возопил: «Изыди, окаянный!» — вскочил с места и ринулся к сонетке, крича: «Твое дыхание — чума, твоя близость — гибель!»

Кольхаас, стоя на прежнем месте, вытащил пистолет и промолвил:

— Достопочтенный господин и учитель, если вы притронетесь к колокольчику, то этот пистолет бездыханным бросит меня к вашим ногам! Сядьте и выслушайте меня; поверьте, среди ангелов, псалмы которым вы слагаете, вы не были бы в большей безопасности, чем со мной.

Лютер, снова усевшись в кресло, спросил:

— Чего тебе надобно?

— Разубедить вас в том, что я несправедливый человек! В вашем воззвании вы сказали, что государь знать не знает и ведать не ведает о моем деле, так добудьте мне дозволение свободно передвигаться по стране, я поскачу в Дрезден и снова подам свое прошение.

— Безбожный, страшный человек! — воскликнул Лютер, сбитый с толку и в то же время успокоенный его словами.— Как ты посмел на основании собственных правовых домыслов преследовать юнкера фон Тронка, а не найдя его в замке, огнем и мечом карать общество, ему покровительствующее?

Кольхаас отвечал:

— Достопочтенный господин и учитель, отныне я никого и пальцем не трону. Весть, что пришла ко мне из Дрездена, меня обманула и ввела в соблазн! Война, которую я веду с обществом,— преступление, поскольку оно, как вы меня заверили, не отторгло меня!

— Отторгло! — воскликнул Лютер, в упор глядя на него.— Что за шальные мысли владеют тобой? Кто мог тебя отторгнуть, отобщить от государства, в котором ты живешь? Слыханное ли дело, чтобы государство когонибудь, кто бы он ни был, от себя отторгало?

— Отторгнутым,— отвечал Кольхаас, сжимая кулаки,— я называю того, кому отказано в защите! А я в ней нуждаюсь для процветания мирного моего промысла, за помощью обращаюсь я к обществу, за охраной того, что мне принадлежит, и тот, кто мне в ней отказывает, изгоняет меня к дикарям в пустыню, дает мне в руки дубину для самозащиты.

— Кто отказал тебе в защите закона? — вскричал Лютер.— Разве я не писал тебе, что прошение, тобою поданное, не попало в руки государя, которому ты его предназначал? Если государевы слуги за его спиной кладут под сукно судебные дела или еще как-нибудь злоупотребляют его неведением, его священным именем, кому же, кроме Господа Бога, спрашивать с него ответа за выбор дурных слуг, а тебе, богоотступник, тебе, страшный человек, кто дал тебе право судить его?

— Пусть так,— ответил Кольхаас,— если государь не отторг меня, я вернусь в общество, что находится под его защитой. Повторяю, добудьте мне дозволение ехать в Дрезден, и я распушу отряд, по моему приказанию сосредоточенный в Лютценском замке, и вторично подам жалобу в трибунал.

Лютер угрюмо перекладывал с места на место бумаги, лежавшие на столе, и молчал. Независимая позиция, занятая в государстве этим странным человеком, его возмущала. Раздумывая о приговоре, который он послал юнкеру из Кольхаасенбрюкке, Лютер спросил, чего он, собственно, ждет от дрезденского трибунала. Кольхаас отвечал:

— Наказания юнкера в соответствии с законом, приведения коней в прежний вид, а также возмещения убытков, которые понесли я и мой конюх Херзе, павший под Мюльбергом, из-за насилия, над нами учиненного.

— Возмещения убытков! — разгневался Лютер. — Тысячи ты нахватал у евреев и христиан под заклады и векселя для покрытия расходов по твоей неистовой мести. Ты и эти суммы станешь искать, ежели дело дойдет до иска?

— Боже избави, — отвечал Кольхаас, — ни земли, ни дома, ни благосостояния, что было у меня, я обратно не потребую, равно как и того, что я истратил на похороны жены! Старуха, мать Херзе, представит счет за лечение и перечень вещей, поневоле оставленных ее сыном в Тронкенбурге. Что касается убытка, понесенного мною из-за непроджи вороних, то правительство должно будет определить его сумму с помощью сведущих людей.

— Неистовый, непостижимый и ужасный человек! — произнес Лютер, вглядываясь в него. — Теперь, когда твой меч с неслыханной жестокостью отомстил юнкеру, что заставляет тебя еще домогаться судебного приговора над ним, — ведь меч правосудия так больно его не коснется?

— Достопочтенный господин и учитель, — отвечал Кольхаас, и слеза скатилась по его щеке, — я заплатил за это жизнью жены; Кольхаас должен доказать миру, что она умерла за справедливое дело. Только в одном не чините препятствий моей воле: пусть свершится суд; во всем остальном, как бы оно ни было спорно, я покорюсь вашей.

Лютер ему отвечал:

— Послушай, одумайся, чего ты требуешь? Ежели все обстоит так, как говорят люди, правда на твоей стороне; и если бы ты эту тяжбу, прежде чем самовластно мстить юнкеру, предоставил решить государю, не сомневаюсь, он, пункт за пунктом, признал бы твою правоту. Но не лучше было бы тебе все взвесить и во имя Господа нашего Иисуса Христа простить юнкера, взять под уздцы твоих вороних, пусть отощавших и изможденных, сесть на коня и отвести их в родную конюшню на откорм и поправку?

Кольхаас подошел к нему и процедил сквозь зубы: — Возможно, и лучше, а возможно, и нет! Знай я, что кровь из сердца любимой моей жены пойдет

на потребу коням, возможно, я поступил бы, как вы говорите, достопочтенный господин и учитель, и не поскупился бы на меру овса! Но раз уж я такой ценно заплатил за них, то, думается мне, надо, чтобы все шло своим чередом. Пусть суд вынесет решение, какое довлечет мне, а юнкер принимается за откорм лошадей.

Лютер, снова в задумчивости перебирая свои бумаги, сказал, что вступит в переговоры с курфюрстом по Кольхаасову делу, ему же тем временем надлежит смирно сидеть в Лютценском замке. Если государь даст ему свободный допуск в Дрезден, его известят об этом грамоты, развешанные по городам и весям.

— Правда, я не знаю,— добавил Лютер, когда Кольхаас нагнулся, чтобы поцеловать ему руку,— угодно ли будет курфюрсту сменить гнев на милость; ибо дошло до меня, что он велел снарядить отряд и осадить тебя в Лютценском замке: от моего заступничества, как я уже сказал, тут мало что зависит.— С этими словами он поднялся, давая понять, что разговор окончен. Кольхаас сказал, что заступничество, обещанное Лютером в этой части его дела, вполне его успокоило. Лютер хотел было сделать прощальный жест рукой, но его гость внезапно встал на одно колено и признался, что еще одна просьба есть у него за душой. Из-за воинственной его затеи ему, против обыкновения, не удалось быть в церкви в Троицын день и причаститься тела Господня, а потому не соблаговолит ли Лютер принять исповедь и приобщить его благодати святого таинства?

Лютер, немного подумав,— при этом он пронзительно смотрел на Кольхааса,— ответил:

— Да, Кольхаас, я это сделаю! Но помни: Господь, тела коего ты алчешь вкусить, простил врагам своим. Прости и ты юнкеру, тебя обидевшему, отправляйся в Тронкенбург, забери своих вороных и скачи с ними в Кольхаасенбрюкке, где их будут откармливать и холить.

— Достопочтенный господин и учитель,— краснея, проговорил Кольхаас, прикоснувшись к его руке,— Господь тоже простил не всем врагам своим. Не гневайтесь на меня. Я не буду помнить зла обоим моим государям, кастеляну и управителю, господам Хинцу и Кунцу, всем, кто оскорбил и обидел меня, но юнкера, если удастся, я все же заставлю собственноручно откармливать моих коней.

Вместо ответа Лютер смерил его сердитым взглядом, повернулся спиной, дернул сонетку и снова занялся своими бумагами. Когда в сенях показался фамулус со свечой в руках и стал тщетно дергать дверь, запертую изнутри, Кольхаас, вытирая слезы, поднялся с колен, шагнул к двери и отпер ее. Лютер искоса поглядел на своего посетителя, приказал слуге: «Посвети!» — после чего тот, несколько смешавшись при виде гостя, снял со стены ключи от дома и, дожидаясь его ухода, отошел к полуоткрытой двери. Кольхаас, уже держа в руках шляпу, обратился к хозяину дома:

— Итак, достопочтенный господин и учитель, мне, видно, нечего ждать благодаяния, о котором я просил вас, и душе моей не суждено примирение?

— Со Спасителем — нет, а перед государем я обещал за тебя заступиться и сдержу свое слово! — Он подал знак фамулусу без дальнейших промедлений проводить посетителя. Кольхаас с болезненно искаженным лицом прижал обе руки к груди и последовал за слугой, светившим, покуда он спускался с лестницы, и вышел из Лютерова дома.

На следующее утро Лютер направил послание курфюрсту Саксонскому, в коем он, сурово упрекая обоих господ фон Тронка, состоящих при особе его светлости, камергера Кунца и кравчего Хинца, за утайку пресловутой жалобы, тут же со свойственной ему прямою заявлял государю, что при ныне сложившихся сугубо прискорбных обстоятельствах остается только, невзирая на происшедшее, принять предложение конноторговца и предоставить ему возможность возобновить судебное разбирательство. Общественное мнение, продолжал он, угрожающим образом приняло сторону этого человека: ибо даже в трижды сожженном Виттенберге нашелся голос, поднявшийся в его защиту. Ежели сие предложение будет отклонено, то конноторговец, уж конечно, не замедлит в самых изобличительных выражениях довести обо всем до сведения народа, гнев народный примет тогда такие размеры, что государственной власти его уже не сдержать. В заключение Лютер дал совет в этом из ряда вон выходящем случае не счесть недопустимыми переговоры со взявшимся за оружие гражданином. Поскольку совершенная над ним несправедливость и в самом деле поставила его вне круга установленной государством законности, он, Лютер, думает, что лучше было бы отнести к нему как к вторгшейся в страну иноземной силе, каковую он, будучи иноземцем, отчасти

и является, а не как к мятежнику, восставшему против венценосца.

Курфюрст получил это послание, когда во дворце находились принц Кристиерн Мейссенский, генералиссимус империи и дядя побежденного под Мюльбергом и все еще не оправившегося от ран принца Фридриха Мейссенского, а также гроссканцлер трибунала граф Вреде, граф Кальхейм, президент государственной канцелярии, господа Хинц и Кунц фон Тронка, камергер и кравчий, друзья юности курфюрста. Первым взял слово камергер, господин Кунц, в качестве тайного советника ведавший секретной корреспонденцией курфюрста и уполномоченный пользоваться его именем и печатью. Еще раз пространно объяснив, что он-де никогда бы не позволил себе утаить жалобу на своего двоюродного брата, поданную в трибунал барышником, если бы его не убедили, что это поклеп, пустой и безосновательный, он перешел к разбору настоящего положения вещей. Ни божеские, ни человеческие законы, сказал он, не давали барышнику права на столь страшную месть из-за досадного недоразумения; далее красноречиво расписал, сколь блистательный ореол засияет над нечестивой головой Кольхааса, если с ним вступят в переговоры как с правомочным военачальником; позор, который при этом неминуемо падет на священную особу курфюрста, представлялся ему нестерпимым, и в пылу своего красноречия он договорился до того, что лучше уж исполнить требование обезумевшего бунтовщика и послать юнкера, его двоюродного брата, самолично откармливать вороних в Кольхаасенбрюкке, нежели согласиться с предложением доктора Лютера. Гроссканцлер трибунала граф Вреде выразил сожаление, что щепетильная заботливость о славе повелителя, высказанная камергером при обсуждении этого и впрямь пренеприятного дела, не проявилась более своевременно. Он сказал далее, что, по его мнению, государственной власти не пристали явно несправедливые меры, с многозначительным видом упомянул о том, что народ и поныне стекается к Кольхаасу, что нить злодеяний, таким образом, может виться до бесконечности и только немедленное и справедливое решение, без оглядок на допущенную ошибку, в состоянии порвать эту нить и помочь правительству выпутаться из весьма некрасивой истории. Принц Мейссенский, спрошенный курфюрстом, что он об этом думает, почтительно поклонившись канцлеру, отвечал, что точка зрения, высказанная последним,

внушает ему глубочайшее уважение; однако, заступаясь за права Кольхааса, не забывает ли канцлер, что Виттенберг и Лейпциг, так же, впрочем, как и вся опустошенная Кольхаасом страна, будут тем самым ущемлены в своих справедливых претензиях на возмещение убытков или, по крайней мере, на заслуженную кару злодея. Государственный порядок во всем, что касается этого человека, до такой степени нарушен, что никакими правовыми уложениями его все равно не восстановишь. Посему он поддерживает мнение камергера и, в свою очередь, предлагает применить единственно действенное в подобных случаях средство, а именно: собрать достаточно многочисленное войско, двинуть его на Лютцен, где засел Кольхаас, и либо взять мятежного барышника измором, либо выгнать его оттуда. Камергер, отодвинув два стула от стены, любезно подал их ему и курфюрсту, говоря, как его радует, что человек столь высокого ума и столь высокой души согласен с ним в выборе средства для прекращения сего сомнительного дела. Принц, положив руку на спинку стула, но не садясь, пронзительно на него взглянул и сказал, что у камергера вряд ли есть причины радоваться, ибо в этой связи прежде всего пришлось бы издать приказ об его аресте за злоупотребление именем курфюрста. Если уж необходимость требует, чтобы перед престолом справедливости была опущена завеса для сокрытия целого ряда злодеяний, друг друга породивших и столь бесчисленных, что им уже не вместиться в стены судилища, то это не относится к первому злодеянию, явившемуся первопричиной последующих; обвинение конноторговца во всем, им содеянном, дало бы право государству вынести ему смертный приговор, тогда как дело его в основе своей справедливо. При этих словах камергер в изумлении посмотрел на курфюрста, а тот, густо покраснев, отошел к окну. Граф Кальхейм, желая прервать воцарившееся неловкое молчание, заметил, что так им не выйти из заколдованного круга, в который они попали. Ведь с не меньшим основанием можно привлечь к ответственности и его племянника, принца Фридриха; предприняв довольно своеобразный набег на Кольхааса, принц, в свою очередь, и даже неоднократно, превысил данные ему полномочия, и притом в такой мере, что его, безусловно, можно сопричислить к тем, на кого ложится вина за создавшееся ныне положение и кто, собственно, должен быть призван курфюрстом к ответу за разгром под Мюльбергом. Кравчий,

господин Хинц фон Тронка, к столу которого приблизился растерянный курфюрст, поспешил взять слово. Ему, мол, невдомек, как это собравшиеся здесь умудренные опытом люди не могут прийти к решению, отвечающему интересам государства. Насколько ему известно, Кольхаас намерен распустить шайку, с коей он ворвался в страну, за одно лишь обещание пересмотра его дела и разрешение на въезд в Дрезден. Отсюда, однако, не следует, что он заслуживает помилования за свою преступную и самочинную месть; это два различных правовых понятия, в чем, видимо, недостаточно отдают себе отчет как доктор Лютер, так и государственный совет.

— Если,— продолжал он, держа указательный палец вровень со своим носом,— дрезденский трибунал решит дело об этих воронах в пользу Кольхааса, ничто не мешает запрятать его в тюрьму за поджоги и разбой: с государственной точки зрения, вполне разумный выход, который соединит в себе требования обеих сторон и будет одобрен современниками и потомством.

Поскольку принц и гроссканцлер на речь кравчего, господина Хинца, ответили всего лишь холодным взглядом и тем самым как бы закрыли собрание, курфюрст заявил, что к следующему заседанию совета обдумает высказанные здесь мнения. Похоже было, что предварительные меры, предложенные принцем, отбили у мягкосердечного курфюрста охоту предпринимать уже давно подготовленный поход против Кольхааса. Так или иначе, но он попросил остаться гроссканцлера графа Вреде, чье мнение представлялось ему наиболее разумным. Тот показал ему письма, из коих явствовало, что войско Кольхааса уже возросло до четырехсот человек, а принимая во внимание недовольство недостойным поведением камергера, царившее в Саксонии, в ближайшее время грозило возрасти вдвое, если не втрое; прочитав их, курфюрст без дальнейших колебаний решил принять совет доктора Лютера. Посему дело Кольхааса было отдано в руки графа Вреде, и уже несколько дней спустя повсюду был развешан указ, основное содержание которого сводилось к следующему:

«Мы, курфюрст Саксонский и прочая и прочая, сим объявляем, что, получив послание доктора Мартина Лютера, ходатайствующего за Михаэля Кольхааса, лошадиного барышника из курфюршества Бранденбургского, решили милостиво удовлетворить его ходатайство, и при условии, что Кольхаас в течение трех дней сло-

жит оружие, мы разрешаем ему поездку в Дрезден для возбуждения ходатайства о пересмотре его дела; если дрезденский трибунал паче чаяния откажется удовлетворить его иск касательно вороных коней, поступить с Кольхаасом по всей строгости закона и взыскать с него за самоуправство; в противном же случае даровать ему и его шайке амнистию за все насильственные действия, учиненные им в Саксонии».

Не успел Кольхаас получить от доктора Лютера экземпляр этого повсеместно расклеенного указа, как он, не считаясь с ограничительным характером такового, распустил свое воинство, щедро одарив каждого, всех поблагодарив за верную службу и снабдив наставлениями на будущее. Всю же остальную свою добычу — деньги, оружие и разную утварь, вручил как достойные курфюрста на хранение суду в Лютцене; послал Вальдмана в Кольхаасенбрюкке с письмом к амтману насчет выкупа своей мызы, ежели тот на это пойдет, а Штернбальда — в Шверин за детьми; засим он покинул Лютценский замок и, никем не узнанный, отправился в Дрезден, имея при себе остаток своего состояния в ценных бумагах.

Утро еще только занималось и весь город спал, когда он постучался в двери своего домика в предместье Пирна, сохранившегося за ним благодаря честности амтмана, и велел открывшему ему Томасу, старому дворнику, который, увидев хозяина, долго не мог прийти в себя от удивления, чтобы тот шел в город и сообщил принцу Мейссенскому, что он, Кольхаас, прибыл в Дрезден. Принц Мейссенский, услышав об этом, счел за благо немедленно и самолично убедиться, как относятся к Кольхаасу в народе; и что же, когда он со своими рыцарями и свитой показался на улицах, ведущих к Кольхаасову дому, они уже были до отказа забиты толпами народа. Весть о том, что в городе появился «ангел смерти», тот, что огнем и мечом разит поработителей народа, подняла на ноги всех и вся. Ворота Кольхаасова дома пришлось закрыть на засов, чтобы сдерживать натиск толпы; мальчишки по ограде карабкались к окнам, стремясь хоть одним глазком взглянуть на поджигателя и убийцу, сидевшего за завтраком. Принц с помощью вооруженной стражи, расчищавшей ему дорогу, проник наконец в дом и тотчас же спросил полуодетого Кольхааса, поднявшегося из-за стола, он ли и есть конноторговец Кольхаас. Тот, вытащив из-за пояса бумажник со всеми документами, почти-

тельно протянул его принцу, ответил: «Да!» — и добавил, что, распустив свой отряд, прибыл в Дрезден согласно разрешению курфюрста для подачи в суд жалобы на юнкера Венцеля фон Тронка по поводу своих вороных.

Принц, окинув его с ног до головы быстрым взглядом, пробежал глазами документы, находившиеся в бумажнике, и попросил объяснить, что означает выданное лютценским судом свидетельство о приеме на хранение драгоценностей, принадлежащих курфюрсту. Желая лучше уяснить себе, что за человек перед ним, он задал ему еще несколько вопросов касательно его детей, состояния, планов на будущее и, убедившись, что он не внушает опасений, вернул ему бумаги, сказав, что никаких препятствий для возобновления судебного дела более не существует и для того, чтобы начать процесс, Кольхаасу надо только лично обратиться к гроссканцлеру трибунала графу Вреде. Подойдя к окну и удивленно поглядев на собравшуюся у дома толпу, принц сказал:

— Придется к тебе на время приставить стражу, она будет охранять тебя как в доме, так и за его стенами.

Кольхаас опешил, потушился и ничего ему не ответил.

— Как бы то ни было, — отходя от окна, промолвил принц, — а во всем случившемся тебе, кроме себя, винить некого. — С этими словами он направился к двери.

— Как вам будет угодно, ваша милость, — опомнившись, сказал Кольхаас, — если вы даете мне слово, что я волен буду отпустить стражу, когда мне вздумается, то больше мне нечего сказать.

Принц ответил, что это само собой разумеется, объяснил трем ландскнехтам, вошедшим в комнату, что человек, к которому они приставлены, свободен, что их обязанность только охранять его и следовать за ним по городу, движением руки простился с Кольхаасом и вышел.

Около полудня Кольхаас, сопровождаемый своими ландскнехтами, а также многочисленной толпой, которая согласно предупреждению полиции ничем его не беспокоила, отправился к гроссканцлеру трибунала графу Вреде. Граф принял его весьма дружелюбно и обходительно, битых два часа провел в беседе с ним и, выслушав от начала до конца всю его историю, направил

Кольхааса для написания жалобы к служащему в суде и прославленному на весь город адвокату. Кольхаас немедленно к нему пошел. После того как была составлена жалоба, в коей речь шла о наказании согласно закону юнкера фон Тронка, о восстановлении лошадей в прежнем виде и возмещении убытков ему, Кольхаасу, а также матери его конюха Херзе, павшего под Мюльбергом, словом, тождественная первой, отклоненной судом он, по-прежнему, сопровождаемый толпою зевак, направился домой, твердо решив никуда более не выходить или разве что по самым неотложным делам.

Меж тем в Виттенберге и юнкер фон Тронка был освобожден из-под ареста; не успел он излечиться от опасного рожистого воспаления на ноге, как ему пришел безотлагательный вызов в дрезденский трибунал по жалобе конноторговца Кольхааса, обвиняющего его в незаконном захвате лошадей и приведении таковых в полную негодность. Двоюродные братья, камергер и кравчий, в доме которых он остановился, встретили юнкера с презрительным негодованием; как только они его не честили: он-де ничтожество и мерзавец, навлекший стыд и позор на всю семью, ему-де нечего и думать о том, чтобы выиграть процесс; советовали на потеху всему свету уже сейчас готовиться к самоличному откорму лошадей, ибо таков, несомненно, будет приговор. Юнкер дрожащим, чуть слышным голосом пробормотал, что он несчастнейший из людей, клялся и божился, что только краем уха слышал об этой злосчастной истории с лошадьми, ввергшей его в беду, в ней-де кругом виноваты кастелян и управитель, которые без его ведома воспользовались ими на уборке урожая и непосильной работой, главным образом на собственных полях, вконец их замучили. Произнося эту тираду, он опустил в кресло и стал умолять не издеваться над ним и оскорблениями не доводить его вновь до болезни, от коей он едва оправился. На следующий день господ Хинц и Кунц, владевшие поместьями в окрестностях испепеленного Тронкенбурга, по настоянию двоюродного брата написали — да и что им еще оставалось делать — своему управителю, а также арендатору, спрашивая, не известно ли им, что случилось с воронами, пропавшими в злополучный день пожара. Однако в опустелой округе, где вырезаны были почти все жители, тем удалось лишь разведать, что один из работников, которого Кольхаас побоями загнал в охваченный пламенем сарай, вывел оттуда ко-

ней, но затем, вместо ответа на свой вопрос, что с ними делать и куда идти, получил от злодея только пинок ногой. Старая, скрюченная подагрой домоправительница юнкера, сбежавшая в Мейссен, на письменный запрос хозяйина отвечала, что наутро после той ужасной ночи работник вместе с лошадьми двинулся к Бранденбургской границе. Однако справки, наведенные в Бранденбургском курфюршестве, ни к чему не привели, старуха, надо думать, ошиблась, у юнкера не было ни одного работника, жившего в Бранденбурге или хотя бы по дороге в Бранденбург. Правда, несколько дрезденских жителей, через два-три дня после сожжения Тронкенбурга побывавших в Вильсдруфе, показали, что им встретился работник, ведший под уздцы двух коней темной масти: измученные кони едва плелись, и ему волею-неволею пришлось оставить их в коровнике у одного пастуха, который взялся их выводить. Похоже было, что это те самые пресловутые вороны. Однако вильсдруфские жители уверяли, что пастух их перепродал, а кому — неизвестно; еще поговаривали, — но кто пустил этот слух, осталось невыясненным, — будто кони давно предстали перед Господом и кости их зарыты в Вильсдруфе на свалке.

Господам Хинцу и Кунцу такой оборот дела, как трудно догадаться, пришелся очень по душе, ибо он избавлял их от необходимости выкармливать и выхаживать вороных в собственной конюшне за неимением более таковой у их двоюродного брата, вот они и старались найти подтверждение обнадеживающему слуху. Исходя из этого, господин Венцель фон Тронка как наследник ленного поместья и лицо, облеченное судебной властью, обратился с посланием к членам суда в Вильсдруфе, прося помочь ему разыскать двух вороных коней, — далее следовало подробное их описание, — будто бы ему доверенных и пропавших по несчастной случайности, и предложить нынешнему владельцу, кто бы он ни был, за щедрое вознаграждение привести их в конюшню господина камергера Кунца в Дрездене.

Посему через несколько дней в городе и вправду появился человек, купивший злополучных коней у вильсдруфского пастуха; привязанные к задку телеги отощавшие клячи едва передвигали ноги, когда он направлялся с ними на городской рынок. На беду господина Венцеля, а также славного Кольхааса, этот человек оказался живодером из Деббельна.

Как только господин Венцель и его двоюродный брат камергер прослышали, что кто-то привел в город двух черных коней, уцелевших при пожаре в Тронкенбурге, они, прихватив с собою нескольких слуг, поспешили на площадь в надежде, буде это окажется Кольхаасовы вороны, возместить этому человеку понесенные расходы и забрать их в свою конюшню. Но какова же была растерянность обоих рыцарей при виде огромного стечения народа на площади, привлеченного редким зрелищем. Толпа, непрерывно возрастающая вокруг двуколки с привязанными к ней одрами, покатывалась со смеху, крича: «А ведь кони-то, пошатнувшие устои государства, уже угодили в лапы к живодеру!» Юнкер, в смущении ходивший вокруг да около, наконец приблизился к жалким клячам, которые, казалось, вот-вот околеют, и пробормотал, что нет, не этих вороных он отобрал у Кольхааса. Но господин Кунц бросил на Венцеля несказанно свирепый взгляд, способный на куски разнести его, будь он даже из железа, распахнул свой плащ, чтобы видны были его цепь и ордена, подошел к живодеру и спросил: те ли это вороные, которых присвоил пастух из Вильсдруфа и которых разыскивает теперь через суд их владелец, юнкер Венцель фон Тронка? Живодер как раз принес воды, чтобы напоить своего раскормленного ломового конягу; он пробормотал: «Это черные-то?» — поставил ведро наземь и, разнуздав коня, наконец соизволил ответить: вороных, привязанных к телеге, ему продал свинопас из Хайнихена. А где этот свинопас их раздобыл, у вильсдруфского пастуха или у кого другого, он знать не знает. Гонец из суда вручил ему приказ, — он поднял ведро, прислонил его к оглобле, а дно подпер коленкой, — привести лошадей в Дрезден, к некоему фон Тронка, только что звать этого фон Тронка Кунцем. С этими словами он выплеснул на мостовую недопитую конем воду. Камергер, которому под насмешливыми взглядами толпы не удавалось заставить парня, невозмутимо занимавшегося своим делом, хотя бы повернуться к нему, сказал, что он и есть камергер фон Тронка, лошади же, надо думать, принадлежат его двоюродному брату. Один из работников вывел их из Тронкенбурга во время пожара, затем они попали к пастуху в Вильсдруфе, поначалу же были собственностью конноторговца Кольхааса. Он спросил парня, который, широко расставив ноги, подтягивал штаны, неужто же он об этом не знал. И не достались ли они свинопасу из Хайнихена — последнее чрезвычайно существенно для всего

дела — от вильсдруфского пастуха или от кого-нибудь еще, кто их у него купил. Живодер, встав спиной к лошади, помочился у телеги и сказал, что ему было приказано привести вороных в Дрезден и получить за них денежки с этих самых фон Тронка. А что там было раньше, он знать не знает: может, до свинопаса из Хайнихена они принадлежали Петру или Павлу, а не то пастуху из Вильсдруфа, — ему все едино, благо кони не краденые. И, заложив кнутовище за свою широченную спину, отправился в трактир тут же, на площади, так как изрядно проголодался с дороги. Камергер, понятия не имевший, что ему делать с лошадьми, проданными свинопасом из Хайнихена живодеру из Деббельна, если они не те самые, на которых черт промчался через всю Саксонию, потребовал, чтобы юнкер сказал свое слово. Когда тот бледными, дрожащими губами пролепетал, что, по его мнению, вороных надо купить, независимо от того, Кольхаасовы это кони или нет, взбешенный камергер стал выбираться из толпы. В это мгновение мимо проезжал верхом некий барон фон Венк, знакомый камергера; тот его окликнул и попросил заехать к канцлеру графу Вреде, чтобы при содействии последнего заставить Кольхааса явиться на площадь для опознания лошадей, сам же, желая досадить сброду, потешавшемуся над ним, — в толпе прижимали к губам платки, дожидаясь только его ухода, чтобы прыснуть со смеху, — остался на площади. Случилось так, что Кольхаас, вызванный для дополнительных показаний по лютиценскому делу, сидел у канцлера, когда барон, выполняя данное ему поручение, вошел в комнату. Гроссканцлер с раздосадованной миной поднялся со своего кресла, оставив Кольхааса, которого барон не знал в лицо, стоять в стороне с бумагами в руках. Барон рассказал, в сколь затруднительном положении находятся господа фон Тронка. Из-за неправильно составленного требования вильсдруфского суда в город прибыл деббельнский живодер с лошадьми, до того безбожно заморенными, что юнкер Венцель не решается признать их за Кольхаасовых вороных, а посему желательно, чтобы Кольхаас, лично осмотрев коней, пресек все сомнения. И добавил:

— Если возможно, пошлите стражников за конно-торговцем, и пусть они препроводят его на рыночную площадь, где сейчас находятся лошади.

Гроссканцлер, сняв с носа очки, заявил, что барон пребывает в двойном заблуждении: во-первых, полагая,

что вышеупомянутое обстоятельство может быть выяснено только путем осмотра лошадей Кольхаасом, и, вторых, воображая, что он, канцлер, уполномочен под стражей препровождать Кольхааса, куда заблагорассудится юнкеру фон Тронка. Засим он представил ему конноторговца, стоявшего за его креслом, уселся и, снова надев очки, предложил с этим делом обратиться непосредственно к Кольхаасу.

Кольхаас, ни единым движением не выдав того, что творилось у него в душе, выказал готовность последовать за бароном на рыночную площадь для осмотра лошадей, приведенных живодером. Смешавшийся барон обратился было к Кольхаасу, но тот опять подошел к столу гротсканцлера и, вынув из своего бумажника еще какие-то документы, касающиеся драгоценностей, сданных на хранение в лютценский банк, испросил дозволения уйти. Барон, с побагровевшим лицом отошедший было к окну, в свою очередь, откланялся. Оба в сопровождении трех ландскнехтов, приставленных к Кольхаасу принцем Мейссенским, и целой толпы народа отправились на рыночную площадь.

Камергер Кунц, не слушая уговоров своих невесть откуда взявшихся приятелей, упорно продолжал стоять на том же самом месте насупротив живодера. При появлении барона с Кольхаасом он немедленно подошел к последнему и, гордо держа свой меч под мышкой, спросил, его ли это кони привязаны к телеге. Кольхаас приподнял шляпу перед незнакомым господином и, ни слова ему не ответив, направился к телеге живодера; рыцари следовали за ним по пятам. Остановившись шагах в двадцати от коней, что понуро стояли на подгибающихся ногах, не притрагиваясь к сему, брошенному им живодером, он окинул их взглядом и повернулся к камергеру со словами:

— Сударь, живодер сказал правду, — кони, привязанные к телеге, мои! — и, еще раз приподняв шляпу, удалился с площади, сопровождаемый своими ландскнехтами.

Камергер быстрыми шагами, так что султан на его шляпе заколыхался, подошел к живодеру и бросил ему туго набитый кошелек; покуда тот, расчесывая оловянным гребнем волосы, тарачился на деньги, камергер велел слуге отвязать лошадей и свести их к нему домой. Слуга, услышав приказ хозяина, покраснел, отошел от группы приятелей и родственников, которых у него в толпе было довольно, перешагнул через навоз-

ную жижу и приблизился к лошадям. Но не успел он взяться за недоуздок, чтобы отвязать их, как один из его родичей, мастер Химбольдт, схватил его за руку и со словами: «Не смей трогать живодерновых кляч!» — оттолкнул от телеги. Тот поплелся через навозную жижу обратно к камергеру, в безмолвном изумлении созерцавшему эту сцену, и пробормотал: пусть, мол, камергер для таких услуг нанимает себе живодерного подмастерья. Камергер, зайдясь от злости, кинул свирепый взгляд на мастера Химбольдта и через головы окружающих его рыцарей крикнул: «Стражу сюда!» Меж тем согласно приказу барона фон Венка из ворот замка вышел офицер с небольшим отрядом дворцовой стражи; камергер поспешил сообщить ему, что жители города отважились на подстрекательство к бунту, и потребовал ареста зачинщика, мастера Химбольдта. Схватив последнего за куртку, он обвинил его в грубом обхождении со слугой, которого Химбольдт оттащил от телеги, когда тот, по его, камергера, приказу собирался отвязать вороных. Мастер, ловко вывернувшись из рук камергера, воскликнул:

— Сударь, поучить двадцатилетнего паренька не значит заниматься подстрекательством! Спросите-ка, в охоту ли ему, против всех обычаев и правил, возиться с такими конягами! Ежели после моих слов он скажет, что в охоту, пускай его сдирает с них шкуру!

Камергер повернулся к слуге и спросил, намерен ли тот отвязать лошадей и отправиться с ними домой? Парень, стараясь смешаться с толпой, робко отвечал: надо сначала снять с коней бесчестье, а потом уж поручать ему уход за ними. Разъяренный камергер сзади набросился на него, сорвал с его головы шапку с гербом дома фон Тронка, растоптал ее, вытащив шпагу из ножен, принялся яростно колотить парня по спине эфесом и, наконец, прогнав с площади, крикнул вдогонку, что он уволен со службы. Мастер Химбольдт заорал:

— Бей кровопийцу, вали его наземь!

Народ, негодуя на камергера, мигом оттеснил стражников. Химбольдт же толчком в спину повалил его, сорвал с него плащ, воротник и шлем, вышиб у него из рук шпагу и могучим броском далеко ее зашвырнул. Юнкер Венцель, выбравшись из сумятицы, призывал рыцарей на помощь своему двоюродному брату. Но те не успели и шага ступить, как народ дружным натиском отбросил их назад, и камергер, разбивший себе

голову при падении, остался во власти разъяренной толпы. От неминуемой гибели его спасло случайное появление отряда конных ландскнехтов, к которым начальник стражников воззвал о помощи. Когда последний, разогнав наконец толпу, приказал рейтарам схватить неистового мастера и отвести его в тюрьму, двое приятелей подбежали к злополучному камергеру, обливавшемуся кровью, и повели его домой. Таков был печальный исход честной и благородно задуманной попытки загладить несправедливость, причиненную конноторговцу. Деббельнский живодер, сделав свое дело, не пожелал больше оставаться в городе и, как только народ разбрелся по домам, привязал лошадей к фонарному столбу, где они и простояли весь день на потеху уличным мальчишкам и всякому сброду, некормленные и неухоженные. Поздно вечером полиции пришлось заняться ими и вызвать на место происшествия дрезденского живодера, чтобы он в ожидании дальнейших распоряжений свел их на пригородную живодерню.

Случившееся, как ни мало был в нем повинен лошадиный барышник Кольхаас, пробудило в людях, даже самых мирных и благодушных, чувства, весьма неблагоприятные для исхода его тяжбы. Отношения, возникшие между ним и государством, были единодушно признаны нетерпимыми,— в частных домах, равно как и в общественных местах, стали поговаривать, что лучше уж не по чести обойтись с ним и снова прекратить дело, нежели справедливо решить таковое и тем самым признать, что Кольхаас насилем и грабежами добился удовлетворения неистовой своей строптивости. На беду горемыки Кольхааса, вышло так, что гроссканцлер из повышенной щепетильности и порожденной ею ненависти к дому фон Тронка невольно укрепил, более того — распространил подобные настроения. В высшей степени невероятным казалось, чтобы лошади, порученные заботам дрезденского живодера, когда-нибудь обрели тот вид, в котором их вывели из конюшни Кольхаасенбрюкке; но если даже благодаря умелому и долговременному уходу это бы и оказалось возможным, то позор, ввиду вышеупомянутых обстоятельств ложившийся на весь именитый и едва ли не знатнейший в Саксонии род фон Тронка, был так велик, что денежное возмещение за коней всем стало казаться наиболее приемлемым и желательным выходом.

Посему, когда несколько дней спустя президент граф Кальхейм направил гроссканцлеру от имени больного

камергера письмо с таким предложением, тот, в свою очередь, написал Кольхаасу, советуя не отказываться от возмещения стоимости вороных, буде ему это предложат, однако в кратких и не слишком любезных выражениях попросил президента впредь избавить его от частных поручений по означенному делу, камергеру же предложил лично снестись с Кольхаасом, какового аттестовал как человека скромного и справедливого. Что касается самого конноторговца, то его воля была сломлена последним происшествием на рыночной площади, и он, следуя совету гроссканцлера, дожидался только сообщения от юнкера или его родичей, готовый все простить и забыть. Но гордым рыцарям не пристало вступать в переговоры с барышником; уязвленные письмом гроссканцлера, они показали такое курфюрсту, приславшему навестить больного камергера. Последний трогательно слабым голосом спросил: ужели во исполнение монаршей воли он, всю жизнь положив на то, чтобы это роковое дело приняло угодный курфюрсту оборот, должен теперь еще и свою честь выставить на посмешище всему свету, прося о мире и снисхождении человека, навлекшего неслыханный позор на него и весь его род? Курфюрст, прочитав письмо, смущенно спросил графа Кальхейма: не правомочен ли трибунал, считаясь с тем, что лошадей уже нельзя привести в прежний вид, объявить их более не существующими и приговорить юнкера фон Тронка к уплате денежного возмещения. Граф отвечал:

— Всемиловитейший государь, они и в самом деле мертвы с точки зрения государственного права, ибо более не имеют никакой цены и, кроме того, действительно околеют, прежде чем их успеют перевести с живодерни в рыцарские конюшни.

Выслушав это, курфюрст положил письмо в карман, обещал сам переговорить с гроссканцлером, успокоил камергера, который, приподнявшись с подушек, благодарно потянулся к его руке, еще раз посоветовал ему беречь свое здоровье, поднялся с кресла и, милостиво кивнув больному, удалился.

Так обстояли дела в Дрездене, когда над бедным Кольхаасом разразилась новая, еще более страшная гроза, надвинувшаяся из Лютцена. Коварным рыцарям все-таки удалось обрушить зловещий удар грома на его злополучную голову. Некий Иоганн Нагельшмидт, один из шайки конноторговца, распущенной им после амнистии, через некоторое время собрал остатки этого сбρο-

да, готового на любое преступление, и на границе Богемии стал самочинно продолжать разбойное дело, некогда начатое Кольхаасом. Ничтожный малый, отчасти чтобы припугнуть своих преследователей, а также чтобы побудить деревенских жителей,— им это было бы не впервой,— к участию в его проделках, именовал себя наместником Кольхааса. Понабравшись смекалки у бывшего своего атамана, он пустил слух, будто многие, мирно воротившиеся в родные места, несмотря на амнистию, были брошены в тюрьму и что даже самого Кольхааса, тотчас же по его прибытии в Дрезден, вероломно взяли под стражу; более того, в грамотах, точь-в-точь похожих на Кольхаасовы, которые он приказывал развешивать по городам и весям, его разбойничья шайка объявлялась воинством, призванным во славу божию защищать права, дарованные курфюрстовой амнистией. Делалось все это отнюдь не во славу божию и не из приверженности к Кольхаасу, чья участь была им глубоко безразлична, просто под такой личиной удобнее было заниматься поджогами и грабежом. Когда весть о новой шайке достигла Дрездена, рыцари не могли скрыть своей радости, ибо это обстоятельство давало иной оборот всему делу. С многозначительной и недовольной миной толковали они о допущенном промахе, то есть о том, что вопреки их настойчивым и неоднократным предостережениям Кольхаасу было даровано помилование, как бы призывавшее злодеев всех мастей следовать его примеру. Мало того что они говорили, будто Нагельшмидт взялся за оружие, желая отстоять безопасность своего угнетенного атамана, они еще утверждали, что все это затея Кольхааса, имеющая целью запугать правительство и принудить суд без промедления вынести приговор, удовлетворяющий неистовое его своеволие. Кравчий же, господин Хинц, дошел до того, что в приемной курфюрста, где после обеда собралось несколько человек придворных и охотничих, стал доказывать, что Кольхаас и не думал распускать свою люцценскую шайку, что все это только хитроумный маневр; далее, насмехаясь над поборником справедливости — гротсканцлером и остроумно сопоставляя различные обстоятельства, он сделал вывод, что разбойники прячутся в лесах курфюршества, дабы по первому сигналу конноторговца снова ринуться огнем и мечом крушить все вокруг. Принц Кристиерн Мейссенский, опасаясь, как бы подобный оборот дела не запятнал славы его повелителя, немедленно отправился во дворец к кур-

фюрсту; уразумев намерение рыцарей воспользоваться этим новым преступлением и окончательно добить Кольхааса, он испросил у курфюрста дозволения тотчас же учинить допрос последнему.

Стражник препроводил в ратушу несколько удивленного Кольхааса, державшего на руках меньших своих сыновей — Генриха и Леопольда. Верный его Штернбалд только вчера привез всех пятерых детей из Мекленбурга, где они находились, и всевозможные гсрские мысли, — вдаваться в них здесь будет неуместно, — заставили его взять с собой мальчиков, плакавших и умолявших не оставлять их одних. Принц ласково поглядел на детей, которых Кольхаас усадил подле себя, спросил, сколько им лет, как их зовут, и лишь затем сообщил Кольхаасу о разбойных деяниях Нагельшмидта, его бывшего сообщника, в долинах Рудных гор; показав ему так называемые «мандаты Нагельшмидта», он спросил, что может Кольхаас сказать в свое оправдание. Так как принц был честным и прямодушным человеком, то Кольхаасу, хотя ужас и объял его при виде сих позорных и предательских документов, удалось без особого труда опровергнуть огульно возведенный на него поклеп. Однако убедили принца не только слова Кольхааса, что дело его складывается сейчас достаточно благоприятно и вряд ли он может испытывать нужду в помощи третьего лица, но прежде всего бумаги, оказавшиеся при нем, из коих выяснилось даже некое весьма примечательное обстоятельство, а именно, что Нагельшмидт ни за что не стал бы помогать Кольхаасу, ибо незадолго до роспуска лютценской шайки, изблеченный в изнасиловании и прочих преступлениях, он был приговорен последним к повешению; спасла его лишь амнистия, положившая конец власти Кольхааса; на следующий же день они разошлись заклятыми врагами. По предложению принца Кольхаас сел за стол и составил послание к Нагельшмидту, в котором объявлял утверждение последнего, будто бы он и его шайка поднялись на защиту нарушенной амнистии, позорной и наглой ложью, а также сообщал, что по прибытии в Дрезден не только не был взят под стражу, но, напротив, правое его дело движется самым желательным для него образом. Далее он предупреждал Нагельшмидта и весь сброд, того окружавший, что закон со всей строгостью покарает их за поджоги и убийства, совершенные в Рудных горах уже после опубликования амнистии. Для пущей остротки в этом послании приводились еще некоторые подробно-

сти суда, который он, конноторговец Кольхаас, вершил над ним в Лютцене, когда за постыдные преступления тот был приговорен к повешению и лишь вовремя подоспевший рескрипт курфюрста об амнистии сохранил ему жизнь. Прочитав это, принц успокоил Кольхааса насчет подозрения, которого вынужден был коснуться на этом допросе и при данных обстоятельствах, увы, неизбежного, заверил, что, покуда Кольхаас находится в Дрездене, амнистия, ему дарованная, никоим образом не будет нарушена, потом угостил детей фруктами из вазы, стоявшей на столе, попрощался и отпустил Кольхааса. Гроссканцлер, узнав об опасности, нависшей над Кольхаасом, приложил немало усилий, чтобы ускорить окончание дела, покуда оно вконец не запуталось и не осложнилось, к чему как раз и стремились коварные политиканы, рыцари фон Тронка. Если прежде, молчаливо признавая свою вину, они добивались лишь смягчения приговора, то теперь с помощью всевозможных хитростей и крючкотворства пытались и вовсе эту вину отрицать. Они то твердили, что Кольхаасовы воронные были самоуправно задержаны в Тронкенбурге кастеляном и управителем, а юнкер-де ничего об этом не знал, разве только слышал краем уха, то уверяли, что лошади прибыли уже больные сильным и опасным кашлем, ссылались на свидетелей и брались немедленно доставить таковых, буде они понадобятся. Когда же эти аргументы после долгих расследований и разбирательств были опровергнуты, они откопали курфюрстов эдикт двенадцатилетней давности, в котором по случаю свирепствовавшего тогда мора и в самом деле запрещался ввоз лошадей из Бранденбурга в Саксонию, пытаясь доказать, что юнкер не только имел право, но обязан был задерживать лошадей, пригнанных из-за границы.

Тем временем Кольхаас, уплатив славному амтману небольшую сумму в возмещение убытков, выкупил свою мызу в Кольхаасенбрюкке и решил, надо думать, для совершения необходимых формальностей, покинуть на несколько дней Дрезден и съездить в родную деревню. Мы, однако, допускаем, что упомянутое дело, несмотря на всю его срочность,— Кольхаасу надо было еще распорядиться насчет сева озимых,— явилось лишь предлогом для того, чтобы проверить надежность своего положения при ныне существующих странных и сомнительных обстоятельствах. Возможно, здесь были и другие причины, догадываться о коих мы предоставляем читателю...

Итак, не взяв с собою приставленных к нему стражников, Кольхаас отправился к гроссканцлеру и, держа в руках письма амтмана, сказал, что намеревается на срок от десяти до двенадцати дней поехать в Бранденбургское курфюршество, если, конечно, за это время, — а похоже, что так оно и будет, — не потребуется его присутствие в суде. Гроссканцлер, с лицом задумчивым и недовольным, опустив глаза долу, ответил, что считает отъезд Кольхааса теперь более нежелательным чем когда-либо, так как тот из-за козней и происков его врагов может в множестве неучтимых и непредвидимых случаев понадобится суду для новых показаний и разъяснений. Поскольку Кольхаас, сославшись на своего адвоката, хорошо осведомленного во всех подробностях дела, продолжал сдержанно, но решительно настаивать на своем отъезде, пусть не на двенадцать, а хотя бы на восемь дней, то гроссканцлер, подумав, наконец согласился и, отпуская его, выразил надежду, что Кольхаасу удастся испросить у принца Мейссенского дозволения на выезд.

Кольхаас отлично понял выражение лица гроссканцлера и еще больше утвердился в своем намерении; он сел и, не сходя с места, написал просьбу принцу Мейссенскому о выдаче ему проездного свидетельства сроком на восемь дней для поездки в Кольхаасенбрюкке и обратно. В ответ на это прошение пришла резолюция, подписанная дворцовым комендантом бароном Зигфридом фон Венком, следующего содержания: о просьбе Кольхааса он незамедлительно доложит его светлости курфюрсту и, как только воспоследует всемилоштивейшее дозволение, проездное свидетельство будет ему переслано. Спросив своего адвоката, как могло случиться, что на резолюции стоит подпись барона Зигфрида фон Венка, а не принца Кристиерна Мейссенского, к которому он адресовался, Кольхаас в ответ услышал, что принц три дня назад выехал в свои поместья, временно передав все дела по управлению дворцовому коменданту барону Зигфриду фон Венку, двоюродному брату упоминавшегося выше барона фон Венка.

Кольхаас, у которого начинало тревожно биться сердце при мысли об этом несчастном стечении обстоятельств, много дней кряду ждал ответа на свое прошение, непонятно зачем представленное главе государства — курфюрсту. Прошла неделя, другая, а ответа из дворцового ведомства все не поступало, равно как и решения трибунала, обещанного ему в кратчайший срок.

На двенадцатый день, исполнившись решимости узнать — будь что будет — намерения правительства по отношению к нему, он снова написал настойчивое представление о выдаче ему проездного свидетельства.

Но каково же было его изумление, когда вечером следующего дня, снова прошедшего без ответа из дворцового ведомства, Кольхаас, раздумывая о своем положении, и прежде всего об исхлопотанной ему доктором Лютером амнистии, подошел к окну, смотрящему во двор, и там во флигельке, отведенном для стражи, представленной к нему принцем Мейссенским с первого же дня в Дрездене, таковой не обнаружил. Томас, его старый дворник, на вопрос, что это значит, со вздохом отвечал:

— Не по-хорошему все идет, хозяин; ландскнехтов сегодня больше, чем всегда, и, как стемнело, они сразу окружили дом; двое со щитами и копьями стоят у двери на улицу, двое у черной — в саду; а еще двое разлеглись в сених на соломе и говорят, что будут там спать всю ночь.

Кольхаас побелел и, отвернувшись от окна, сказал, что ему все равно, сколько их там, лишь бы были, и пусть Томас, проходя через сени, зажжет свечу, чтобы не сидели впотьмах. Он открыл наружный ставень под предлогом выплеснуть воду из кружки и убедился, что старик сказал правду: в эту минуту во дворе бесшумно сменялся караул, а ведь с тех пор, как к нему была приставлена охрана, никто и не помышлял о таком церемониале. Кольхаас лег в постель, хотя сна у него ни в одном глазу не было, твердо решив, как ему поступить наутро. Ибо его до глубины души оскорбляло мнимое соблюдение законов правительством, которому он подчинялся, тогда как на самом деле амнистия, этим правительством дарованная, тут же оказалась нарушенной. Если он арестован, а в этом, увы, сомневаться не приходилось, то уж сумеет добиться от них непременно точного объяснения.

Посему, едва забрезжило утро, Кольхаас велел верному своему Штернбальду заложить карету и сделал вид, будто собирается в Локкевиц, в гости к старому приятелю — управляющему, который, будучи проездом в Дрездене, звал его к себе вместе с детьми. Ландскнехты наострили уши — в доме происходит какое-то движение — и немедленно послали одного из своих в город: не прошло и часа, как прибыл отряд стражников, возглавляемый правительственным чиновником: все они

с сугубо деловым видом вошли в дом насупротив. Кольхаас, одевавший сыновей, в свою очередь, заметил движение и суету и нарочно дольше, чем то было нужно, продержал карету у подъезда; вполне отдав себе отчет в происходящем, он вышел с детьми из дому, казалось, ничего не заметив, и, проходя мимо стоявших у дверей ландскнехтов, сказал, что не нуждается в их сопровождении, потом усадил сыновей, расцеловал и утешил плакавших девочек, которым велено было оставаться дома на попечении дворниковой дочери. Не успел он и сам сесть в карету, как чиновник со своими стражниками приблизился и спросил, куда он собрался. Услышав, что Кольхаас хочет ехать в Локкевиц к своему другу, несколько дней назад пригласившему его с обоими мальчиками к себе в деревню, чиновник поспешил сказать, что в таком случае ему придется подождать минуту-другую, так как, согласно приказу принца Мейссенского, его должны сопровождать конные ландскнехты. Кольхаас, продолжая сидеть в карете, с улыбкой спросил: неужто же ему может грозить опасность в доме друга, пригласившего его к себе? Чиновник поспешил отшутиться: опасность-де и впрямь невелика, но тут же добавил, что ведь сопровождающие ему ничем не помешают. Кольхаас уже вполне серьезно заметил, что принц Мейссенский с первого же дня предоставил на его усмотрение, пользоваться или не пользоваться стражей; тот, видимо, удивился и в деликатных выражениях дал понять, что стража приставлена к Кольхаасу на все время его пребывания в Дрездене; тогда лошадиный барышник поведал ему о случае, послужившем тому причиной. Чиновник стал его уверять, что приказом барона фон Венка, сейчас исполняющего обязанности начальника полиции, на него возложена неуклонная охрана особы Кольхааса, и попросил того, ежели он отказывается от стражников, самому заявить об этом в управлении полиции во избежание могущих произойти недоразумений. Кольхаас бросил на него красноречивый взгляд и, твердо решив дознаться, в чем тут дело, сказал, что исполнит его просьбу; с сильно бьющимся сердцем вылез из кареты, велел дворнику отнести детей в сени и, оставив экипаж и кучера дожидаться у подъезда, пошел, сопровождаемый чиновником и его стражниками, в управление полиции.

Случилось так, что в это время дворцовый комендант барон фон Венк вел допрос нескольких парней из банды Нагельшмидта, схваченных накануне вечером

под Лейпцигом; когда в зале появился Кольхаас со своей свитой, рыцари, здесь присутствовавшие, выспрашивали у них те подробности, которые им важно было узнать. Барон, увидев Кольхааса, подошел к нему, — рыцари немедленно смолкли, — и спросил, что ему угодно. Конноторговец почтительно отвечал, что намеревается отобедать нынче у своего друга, управляющего в Локкевице, и просит разрешения не брать с собой стражу, поскольку она ему там не нужна, на что барон, изменившись в лице и, видимо, подавив совсем другие слова, готовые сорваться с языка, порекомендовал ему остаться дома, отказавшись от пирушки в Локкевице. Затем круто повернулся к чиновнику и строго заметил, что его приказ относительно этого человека не подлежит пересмотру и выехать из города ему можно не иначе как под охраной шестерых ландскнехтов вер-хами.

Кольхаас спросил, должен ли он считать себя арестованным и амнистию, торжественно дарованную ему перед лицом всего народа, нарушенной? Барон побагровел, вплотную к нему приблизился и, глядя ему прямо в глаза, крикнул: «Да! да! да!» — затем повернулся спиной и стал продолжать допрос Нагельшмидтовых парней. Кольхаас вышел вон, уже понимая, что единственным его спасением оставался побег, который он, конечно, очень затруднил себе, явившись к барону фон Венку, но тем не менее был доволен, что совершил этот шаг, освобождавший его от обязательства соблюдать отдельные пункты амнистии. Воротившись домой, он велел распрягать лошадей и в сопровождении чиновника, печальный и подавленный, прошел в свою комнату; и куда тот, тоном глубоко отвратительным Кольхаасу, заверял его, что все это недоразумение, которое вскоре разъяснится, его подначальные заперли все выходы со двора; он же продолжал твердить, что главные ворота оставлены открытыми и Кольхаас-де может входить и выходить, сколько ему угодно.

Между тем Нагельшмидт, в лесах Рудных гор со-всех сторон теснимый отрядами ландскнехтов, убедившись, что без сторонней помощи не сможет дольше играть взятую на себя роль, решил и вправду втянуть в свою игру Кольхааса. От одного проезжего Нагельшмидт в подробности узнал, как в Дрездене обстоит дело с тяжбой барышника, и подумал, что, несмотря на прежнюю открытую вражду между ними, ему теперь все же удастся склонить Кольхааса на свою сторону. Итак,

он послал гонца с письмом, нацарапанным безграмотными каракулями, в котором писал: ежели Кольхаас прибудет в Альтенбург и снова станет атаманствовать над вольницей, что составилаь из опущенных им людей, то он, Нагельшмидт, готов лошадыми, людьми и деньгами помочь ему бежать из-под стражи; и еще он клялся, что исправится и впредь будет исполнительнее и послушнее, в доказательство же своей неллицеприятной верности предлагал самолично явиться в Дрезден и освободить его из заточения.

На беду, с гонцом, везшим это письмо, в деревне под самым Дрезденом случился припадок падучей, коей он с детства был подвержен. Люди, поспешившие к нему на помощь, нашли у него за пазухой письмо, его же самого, как только он очнулся, взяли под стражу,— за этой процессией бежала целая толпа народа,— и препроводили в управление полиции. Прочитав злполучное письмо, дворцовый комендант фон Венк тотчас же отправился к курфюрсту, в приемной у которого застал господ Хинца и Кунца, уже вставшего с одра болезни, а также президента государственной канцелярии графа Кальхейма. Все эти господа держались мнения, что Кольхааса следует немедленно арестовать и судить за тайное сношение с Нагельшмидтом. Они яростно доказывали, что подобное письмо не могло быть написано без предшествующих писем Кольхааса, иными словами, без преступного и нечестивого сговора касательно новых злодеяний и кровопролитий. Курфюрст упорствовал, не желая на основе Нагельшмидтова письма лишить конноторговца свободы, ему дарованной, и, напротив, считал, что из этого письма скорее можно заключить, что никакого предварительного сговора между Кольхаасом и Нагельшмидтом не существовало. Наконец, да и то весьма неохотно, он согласился, чтобы письмо было вручено Кольхаасу тем самым гонцом, якобы находящимся на свободе, и выждать, последует ли ответ на таковое. Сказано — сделано; на следующее утро парня прямо из тюрьмы привели в управление полиции, где дворцовый комендант отдал ему обратно письмо, велел как ни в чем не бывало вручить его Кольхаасу и сулил за это свободу и помилование. Молодчик охотно пошел на подлое дело; напустив на себя мнимую таинственность, он пробрался в дом конноторговца под видом продавца раков, которыми его снабдил на рынке один из стражников. Кольхаас, читавший письмо, покуда дети его забавлялись раками, в другое время, несомненно, схватил

бы мошенника за шиворот и передал ландскнехтам, стоявшим у подъезда. Но при нынешнем положении вещей даже такой шаг следовало обдумать и взвесить; Кольхаас понимал, что ему никак не выбраться из тенет, в которые он угодил, и потому, бросив печальный взгляд на знакомое ему лицо парня, спросил, где он остановился, и велел через несколько часов зайти за ответом. Штернбальду, случайно зашедшему в комнату, он приказал купить у пришельца раков. Когда тот расплатился за покупку и оба вышли, не узнав друг друга, Кольхаас сел и написал Нагельшмидту письмо следующего содержания: что он, во-первых, принимает предложение возглавить вольницу под Альтенбургом; что посему для освобождения его из-под домашнего ареста вместе со всеми его детьми просит выслать запряженный парюю экипаж в Нейштадт под Дрезденом; что для скорейшего следования ему потребна парная же подставка на дороге в Виттенберг, ибо только таким окольным путем, по причинам, излагать кои ему сейчас недосуг, он может проехать к Нагельшмидту; что ландскнехтов, которые его караулят, он надеется подкупить, на случай же, если понадобится применить силу, пусть ему пришлют в Нейштадт под Дрезденом несколько преданных, сметливых и хорошо вооруженных парней; что для покрытия расходов, связанных с этим предприятием, он пересылает через его гонца кошелек с двадцатью золотыми кронами, счета же они сведут, когда дело будет сделано; что он запрещает ему, Нагельшмидту, приезжать в Дрезден для его освобождения, более того, приказывает оставаться в Альтенбурге, до поры до времени возглавляя вольницу, которая ни в коем случае не должна оставаться без атамана. Ответ этот он передал Нагельшмидтову парню, явившемуся за ним, когда стемнело, и щедро его одарил, заклиная беречь письмо как зеницу ока. На самом деле Кольхаас со своими пятью детьми намеревался ехать в Гамбург и оттуда уплыть в Левант, или в Ост-Индию, или еще куда-нибудь, где небо синее над совсем другими людьми, ибо скорбной душе его теперь равно претила мысль о принудительном откорме вороных и о сообщничестве с Нагельшмидтом.

Не успел парень доставить письмо дворцовому коменданту, как гротсканцлер был смещен, а граф Кальхейм назначен на его место — председателем трибунала. Кольхаас же приказом кабинета министров взят под стражу, закован в тяжелые цепи и заточен в тюремную

башню. На основании письма к Нагельшмидту, вывешенного на всех углах, против него был начат процесс; и так как на вопрос судьи, его ли почерком написано это письмо, он отвечал: «Да!» — а на вопрос, есть ли у него, что сказать в свое оправдание: «Нет!» — и опустил глаза долу, то его приговорили к казни раскаленными щипцами и четвертованию; тело его должно было быть предано сожжению между колесом и виселицей.

Так обстояло дело со злосчастливым Кольхаасом, когда курфюрст Бранденбургский взялся спасти его от насилия и произвола и в ноте, отправленной непосредственно в государственную канцелярию Саксонии, объявлял его бранденбургским подданным. Дело в том, что браво́ый господин Генрих фон Гейзау на прогулке вдоль берега Шпрее рассказал ему историю этого странного, но отнюдь не испорченного человека и, теснимый вопросами, которыми его засыпал изумленный курфюрст, вынужден был сообщить о непорядочном поведении эрцканцлера графа Зигфрида фон Кальхейма, которое, увы, бросало тень и на его августейшую особу. Возмущенный курфюрст немедленно призвал к себе эрцканцлера, допросил его и, выяснив, что виною всему было родство последнего с домом фон Тронка, весьма немилостиво с ним обошелся, удалил с поста и назначил эрцканцлером господина Генриха фон Гейзау.

Надо сказать, что о ту пору польский королевский дом, пребывавший во вражде, — по какой причине, нам неизвестно, — с Саксонским домом, неоднократно и настойчиво обращался к Бранденбургскому курфюрсту с предложением союза против Саксонии, так что эрцканцлер господин Гейзау, достаточно опытный в подобного рода делах, мог надеяться, что ему удастся исполнить желание своего повелителя во что бы то ни стало добиться справедливости для Кольхааса, при этом во имя блага отдельного человека не поставив на карту всеобщего спокойствия.

Итак, эрцканцлер потребовал безоговорочной и безотлагательной выдачи Кольхааса ввиду богопротивного и бесчеловечного произвола, чинимого над ним, с тем чтобы, коль скоро он и вправду виновен, его судили по бранденбургским законам, на основании обвинительного заключения, кое дрезденский двор через своего поверенного волен представить в берлинский суд. Более того, он уже заготовил проездное свидетельство для адвоката на случай, если курфюрсту Бранденбургскому угодно

будет послать своего юриста в Дрезден с целью добиться справедливого решения по делу о воронях, отнятых у Кольхааса в Саксонской земле, а также о других вопиющих притеснениях и насилиях, учиненных юнкером Венцелем фон Тронка. Камергер господин Кунц, при смене государственного аппарата в Саксонии назначенный на пост президента государственной канцелярии и находившийся в весьма затруднительном положении, по различным причинам не желая портить отношения с берлинским двором, отвечал от имени своего повелителя, глубоко огорченного полученной нотой, что нельзя не удивляться недружелюбию и несправедливости бранденбургского правительства, отрицающего право дрезденского двора судить Кольхааса по законам страны, в коей им совершены преступления, тогда как всему миру известно, что он владеет изрядным земельным участком в Дрездене, да и сам считает себя подданным курфюрста Саксонского. Но так как для подтверждения своих претензий королевство Польское сосредоточило на границе Саксонии пятитысячное войско, а эрцканцлер господин фон Гейзау заявил, что Кольхаасенбрюкке, место, по имени которого прозывается барышник, находится в Бранденбургском курфюршестве и исполнение смертного приговора над этим человеком будет рассматриваться как нарушение международного права, то курфюрст, по совету своего камергера господина Кунца, желавшего выпутаться из этого дела, призвал обратно отъехавшего было в свои поместья принца Кристиерна Мейсенского и, выслушав сего благоразумного человека, решил удовлетворить требование о выдаче Кольхааса берлинскому двору.

Принц, несмотря на то, что был недоволен многими зловещими, имевшими место в Кольхаасовом деле, по просьбе своего растерявшегося повелителя вынужден был взять на себя надзор за таковым и спросил, как же, собственно, будет обосновано обвинение Кольхааса в берлинском верховном суде,— ведь на злополучное письмо к Нагельшмидту ссылаться нельзя из-за двусмысленных и темных обстоятельств, предшествовавших его написанию, так же как нельзя ссылаться на грабежи и поджоги, ибо они были прощены Кольхаасу в обнародованной амнистии. Выслушав его, курфюрст положил послать его величеству императору в Вену донесение о вооруженном набеге Кольхааса на Саксонию, о нарушении его шайкой имперского мира и ходатайствовать перед его величеством, разумеется, не свя-

занным никакой амнистией, о предании Кольхааса суду в Берлине с участием в процессе имперского обвинителя. Восемь дней спустя в Дрезден прибыл посланный курфюрста Бранденбургского рыцарь Фридрих фон Мальцан с шестью рейтарами и, посадив в возок закованного в цепи Кольхааса с пятерыми детьми, которых по его просьбе доставили из сиротского приюта, повез его в Берлин. В это самое время в Дааме на оленью охоту, устроенную в его честь ландратом, графом Алоизиусом фон Кальхеймом, владевшим крупными поместьями на границе Саксонии, прибыл курфюрст Саксонский, сопровождаемый камергером, господином Кунцем, и его супругой, госпожой Элоизой, дочерью ландрата и сестрой президента, а также целой плеядой блестящих дам и кавалеров, не считая охотничих и придворных. Когда вся эта компания, вернувшись с охоты и еще не смыв дорожной пыли, расселась за столами в шатрах с развевающимися вымпелами, раскинутых по косогору, и из-за старого дуба послышалась музыка, а паж и юные дворяне принялись разносить яства, на дороге показался неторопливый возок, в котором ехал из Дрездена Кольхаас, сопровождаемый шестью рейтарами. Опоздание было вызвано тем, что в пути заболел один из младших хрупких детей конноторговца и рыцарь фон Мальцан оказался вынужденным на три дня остановиться в Герберге; однако дрезденское правительство он об этом в известность не поставил, считая себя ответственным единственно перед властителем, которому он служил, то есть перед курфюрстом Бранденбургским. Курфюрст Саксонский в шляпе с перьями, по охотничьему обычаю еще украшенной еловыми ветками, и в распахнутом на груди камзоле сидел рядом с госпожой Элоизой, которая в дни юности была его первой любовью, и, наслаждаясь прелестью пира, шумевшего вокруг, неожиданно проговорил:

— Пойдемте и поднесем несчастному, кто бы он ни был, кубок вина!

Госпожа Элоиза, прельстительно взглянув на него, тотчас же встала и, взяв из рук пажа серебряный поднос, принялась накладывать на него плоды, хлеб и сласти. Большинство присутствующих со сладями и освежающими напитками в руках уже толпою покидали шатер, когда навстречу им попался сконфуженный ландрат, попросивший всех остаться на месте. На удивленный вопрос курфюрста, что случилось и чем он так встревожен, ландрат, глядя на камергера, пробормотал, что в возке

сидит Кольхаас. Вместо ответа на сие столь непостижимое сообщение, ибо всем было известно, что конноторговца увезли уже шесть дней назад, камергер господин Кунц схватил свой кубок и, встав спиной к шатру, выплеснул вино в песок. Курфюрст, красный до корней волос, опустил свой кубок на тарелку, по знаку камергера торопливо подставленную пажом. В то время как рыцарь фон Мальцан, почтительно раскланиваясь с избранным и незнакомым ему обществом, медленно проезжал меж шатров, господа по приглашению ландрата стали снова рассаживаться по своим местам, более не обращая внимания на происходящее. Как только курфюрст последовал их примеру, ландрат тайком отправил гонца в Дааме, прося магистрат обеспечить безостановочное следование Кольхааса; однако рыцарь фон Мальцан решил заночевать, так как час был уже поздний, и магистрату волей-неволей пришлось разместить всех на мызе, одиноко расположенной в лесу. Между тем гости ландрата, сытно поужинав и вдоволь отведав доброго вина, уже успели позабыть о встрече с Кольхаасом, когда хозяину пришло на ум еще раз попытаться догнать стаю оленей, промелькнувшую в лесу. Его предложение было принято с радостью, и вся компания, схватив ружья, попарно пустилась через холмы и овраги в самую чащобу. Курфюрста же с госпожой Элоизой, повиснувшей у него на руке,— ей тоже хотелось насладиться редким зрелищем,— охотничий, приставленный к ним, провел, к вящему их удивлению, через двор дома, в котором ночевал Кольхаас с бранденбургскими рейтарами. Услышав об этом, госпожа Элоиза воскликнула:

— Идемте, государь, идемте скорей! — и шаловливым движением запрятала цепь, висевшую у него на груди, под борта его шелкового камзола.— Покуда вся компания не догнала нас, давайте проберемся в дом и посмотрим на этого удивительного человека!

Курфюрст покраснел и, схватив ее руку, воскликнул: — Что за вздор, Элоиза!

Но она, потихоньку увлекая его за собой, стала уверять, что в этом костюме его все равно нельзя узнать. В эту самую минуту навстречу им из дому вышли двое охотничих, уже успевших удовлетворить свое любопытство; они заверили курфюрста и его даму, что благодаря мерам предосторожности, принятым ландратом, ни рыцарь, ни конноторговец не догадываются о том, какое общество собралось в окрестностях Дааме; курфюрст

улыбнулся, надвинул шляпу на глаза и, сказав: «Глупость, ты правишь миром, а прибежище твое — женские уста!» — последовал за госпожой Элоизой.

Когда они вошли, Кольхаас сидел у стены на мешке с соломой и кормил молоком с хлебом своего ребенка, занедужившего в Герцберге. Желая завязать разговор, госпожа Элоиза спросила, кто он, что с ребенком, а также, в чем он преступил закон и куда его везут под таким конвоем. Кольхаас снял с головы свою кожаную шапку и, продолжая кормить дитя, немногословно, но с толком ответил на ее вопросы. Курфюрст, прятавшийся за спинами охотничих, вдруг заметил на шее Кольхааса маленький железный медальон и, так как ничего больше ему на ум не пришло, спросил, что это такое и что в нем спрятано.

— Ваша милость,— Кольхаас через голову снял медальон и вынул из него маленькую запечатанную записочку,— странная произошла история с этим медальоном! После похорон моей жены, тому уже минуло семь месяцев, я, как вам, возможно, известно, покинул Кольхаасенбрюкке, чтобы захватить в плен юнкера фон Тронка, нанесшего мне столь жестокую обиду, когда в Ютербоке, торговом городишке, через который пролегал мой путь, происходила встреча, уж не знаю по какому случаю, курфюрста Саксонского с курфюрстом Бранденбургским: вечером они оба решили прогуляться по городу, наверно, захотели посмотреть на шумную ярмарку. Вдруг видят — сидит на скамеечке цыганка и по месяцеслову ворожит обступившей ее толпе; они возьми и спроси, не предскажет ли она им чего-нибудь приятного. Я тогда вместе со своим отрядом заехал на постоянный двор и ненароком оказался на площади, где все это происходило, правда, с моего места на паперти мне не слышать было, что говорила господам чудная цыганка, я только слышал, что в толпе посмеивались и перешептывались: она-де не каждому открывает, что ей известно; толкотня стояла отчаянная, каждому хотелось поближе посмотреть, чем все это обернется, меня не особенно разбирало любопытство, скорее я хотел пропустить вперед любопытных и потому влез на каменную скамью у церковных дверей. Оттуда мне как на ладони видны были оба курфюрста и цыганка, что сидела перед ними и старательно выводила какие-то каракули; вдруг она подымается, опершись на свои костыли, и оглядывает толпу, словно ищет кого-то, потом ее взгляд останавливается на мне, хотя я ее знать не

внал и отродясь гаданьем не интересовался, она проталкивается сквозь толпу и говорит мне: «На, держи, если господин пожелает что узнать, пусть спрашивает тебя!» С этими словами, ваша милость, она протянула мне своими костлявыми пальцами вот эту записку. Я смеялся,— ведь весь народ на меня смотрит,— и говорю: «Матушка, чем это ты меня почтила?» Она что-то невнятное забормотала, но я, к великому своему удивлению, разобрал в этом бормотанье свое имя и слова: «Амулет, Кольхаас, лошадиный барышник, спрячь его хорошенько, в свое время он тебе спасет жизнь!» И — как сквозь землю провалилась. Что ж, — добродушно продолжал Кольхаас, — по правде говоря, как ни круто мне пришлось в Дрездене, а все же жизнью я не поплатился; а каково мне будет в Берлине и суждено ли мне там остаться в живых — покажет время.

При этих словах Кольхааса курфюрст опустился на скамью и хоть и ответил на встревоженный вопрос своей дамы: «Ничего, пустое», — но упал без сознания, прежде чем она успела подбежать и подхватить его. Рыцарь фон Мальцан, зачем-то вошедший в комнату, воскликнул:

— Бог ты мой, что с этим господином?

Госпожа Элоиза закричала:

— Воды, скорей воды! — Охотничьи подняли курфюрста и отнесли на кровать в соседнюю комнату. Всеобщее смятение достигло высшей точки, когда камергер, за которым послали пажа, после долгих и тщетных попыток вернуть к жизни своего господина объявил, что по всем признакам это удар. Кравчий послал верхового в Луккау за врачом, но ландрат, как только курфюрст на мгновение открыл глаза, приказал перенести больного в экипаж, чтобы медленно, шаг за шагом доставить его в свой охотничий дворец, расположенный неподалеку. Утомленный дорогой, курфюрст уже по прибытии на место дважды впадал в бессознательное состояние и почувствовал себя несколько лучше лишь на следующее утро, когда наконец явился врач из Луккау, обнаруживший у него нервную горячку.

Едва сознание вернулось к нему, он приподнялся на подушках, спрашивая: «Где Кольхаас?» Камергер, не разобрав вопроса, схватил его руку и стал умолять не тревожить себя думами о страшном человеке, который остался на лесной мызе возле Дааме под бдительной охраной бранденбургских рейтаров. Далее, заверив курфюрста в искреннем своем участии и вскользь заметив,

что он высказал жене крайнее свое неудовольствие ее безответственным и легкомысленным поведением — надо же было свести его с этим человеком, — спросил, что ж было такого удивительного и ужасного в разговоре с Кольхаасом, если этот разговор довел его до болезни. Курфюрст сказал: он должен признаться, что всему виною маленькая записочка, которую этот человек носит на шее в железном медальоне. Силиясь объяснить, в чем тут дело, он наговорил много непонятного, потом вдруг стал уверять, сжимая в своих руках руку камергера, что нет для него ничего важнее обладания этой запиской, прося его немедленно отправиться в Дааме и за любую цену выкупить ее у Кольхааса. Камергер, с трудом скрывая свое смущение, пробормотал, что поскольку злополучная записка столь важна для курфюрста, то прежде всего необходимо скрыть это обстоятельство от Кольхааса, иначе всех сокровищ Саксонии не хватит на то, чтобы выкупить ее из рук злодея, ненасытного в своей жажде мести. Чтобы несколько успокоить курфюрста, он добавил еще, что здесь, пожалуй, надо будет привлечь третье, незаинтересованное, лицо и с его помощью выманить записку, для Кольхааса, вероятно, большой ценности не представляющую и столь бесценную для курфюрста.

Курфюрст, утирая пот, спросил: нельзя ли тотчас же послать кого-нибудь в Дааме и задержать там конноторговца, пока у него ценою любых ухищрений не будет отнят этот клочок бумаги. Камергер, не веря своим ушам, отвечал, что Кольхаас, надо думать, уже находится по ту сторону границы, на Бранденбургской земле, так что всякая попытка задержать его на пути следования или вернуть обратно может вызвать неприятнейшие, далеко идущие последствия, с которыми вовек не распутаешься. И когда курфюрст с выражением отчаяния и безнадежности на лице откинулся на подушки — спросил еще, что же такое стоит в этой записке и каким таинственным, необъяснимым образом ему стало известно, что речь в ней идет именно о нем. На это, однако, курфюрст, смерив недоверчивым взглядом своего камергера, ни слова не ответил; недвижимый, с тревожно бьющимся сердцем, лежал он, не сводя глаз с кончика носового платка, который задумчиво мял в руках, и вдруг попросил позвать к нему охотничего фон Штейна, статного и ловкого юношу, нередко ему служившего во всевозможных секретных делах. Посвятив его во всю эту историю и в то, как важна ему

записка, находящаяся у Кольхааса, курфюрст спросил юношу, хочет ли тот приобрести вечное право на его дружбу, добыв для него записку прежде, нежели Кольхаас доберется до Берлина. И так как охотничий, несмотря на странность поручения, до известной степени смекнул, в чем тут дело, и заверил своего господина, что готов на все для него, то курфюрст приказал ему скакать вслед за Кольхаасом и, поскольку того вряд ли можно соблазнить деньгами, в хитроумной беседе пообещать ему свободу и жизнь за эту записку и даже, если он будет на том настаивать, исподтишка помочь ему лошаадьми, людьми и деньгами для побега от конвоирующих его бранденбургских рейтаров. Охотничий, запасшись письменным подтверждением этих слов и прихватив с собою нескольких слуг, ринулся в погоню за Кольхаасом, и так как они, не щадя коней, скакали во весь опор, то им удалось настигнуть его в пограничной деревушке, где он обедал вместе с рыцарем фон Мальцаном и всеми своими детьми под открытым небом у дверей отведенного ему домика. Рыцарь, которому фон Штейн выдал себя за проезжего, желающего поглядеть на удивительного человека — Кольхааса, познакомил его с последним и, любезно усадив за стол, предложил разделить с ними трапезу. И так как Мальцан, хлопоча о дальнейшем следовании, то и дело отлучался, рейтары же обедали за столом по другую сторону дома, фон Штейну быстро представилась возможность открыть Кольхаасу, кто он таков и за каким делом сюда явился. Конноторговец, давно знавший имя и сан человека, лишившегося чувств при виде железного медальона там, на мызе, мог бы достойно довершить удар, уже подкосивший курфюрста, открыв ему тайну записки; но он не пожелал ее распечатать из пустого любопытства, ибо твердо решил оставить ее при себе, памятуя о низком, не княжеском обращении, которому подвергся в Дрездене, несмотря на полную свою готовность пойти на любые жертвы. На вопрос, что побуждает его к столь странному упорству, ведь ему взамен как-никак предлагают жизнь и свободу, Кольхаас отвечал:

— Высокородный господин, если бы ваш государь и повелитель явился сюда и сказал: «Я уничтожу себя заодно со всей кликой, помогавшей мне управлять страной», — а вы, надо думать, понимаете, это значило бы, что сбылась заветнейшая моя мечта, я бы и то не отдал записки, которая ему дороже жизни, а сказал бы: «Ты можешь послать меня на эшафот, но я могу причинить

тебе боль и сделаю это». — Без страха глядя в лицо неминуемой смерти, он подозвал одного из рейтаров под предлогом отдать ему миску с недоеденным вкусным кушаньем, но все время, проведенное им здесь, более не замечал охотничьего, и только уже садясь в повозку, подарил его прощальным взглядом.

Здоровье курфюрста, подвергшееся стольким испытаниям, после получения рокового известия настолько ухудшилось, что врач много дней опасался за его жизнь. И все же благодаря природному здоровью после долгих недель болезни он поправился хотя бы настолько, что, обложенного подушками и укутанного в одеяла, его можно было отвезти в Дрезден, где его ждали неотложные дела. Прибыв в свою резиденцию, он немедленно послал за принцем Мейссенским и спросил, что слышно относительно отправки в Вену советника суда Эйбенмайера, который должен был представить его императорскому величеству жалобу на нарушение Кольхаасом имперского мира. Принц отвечал, что согласно приказу курфюрста, отданному перед отъездом в Дааме, последний уехал в Вену тотчас же по прибытии в Дрезден ученого юриста Цойнера, присланного курфюрстом Бранденбургским для подачи в суд жалобы на юнкера Венцеля фон Тронка, задержавшего вороных Кольхааса. Курфюрст покраснел и отошел к своему письменному столу, удивляясь такой поспешности, ему помнилось, что он приказал, ввиду необходимости предварительно переговорить с доктором Лютером, исхлопотавшим Кольхаасу амнистию, задержать отъезд Эйбенмайера до особого распоряжения. Силясь обуздать свой гнев, он перекидал все лежавшие на столе письма и деловые бумаги.

После недолгого молчания принц, удивленно посмотрев на своего повелителя, выразил сожаление, что навлек на себя его неудовольствие, и предложил показать постановление государственного совета, вменившего ему в обязанность в назначенный срок отправить в Вену советника суда. К этому он добавил, что в государственном совете и речи не было о переговорах с доктором Лютером, что в свое время, возможно, было бы весьма целесообразно посоветоваться с этим высоким духовным лицом, ходатайствовавшим за Кольхааса, но не теперь, когда амнистия нарушена на глазах у всего света, когда Кольхаас вновь взят под стражу и выдан бранденбургским властям на суд и расправу. Курфюрст заметил, что в преждевременной отсылке Эйбенмайера он боль-

шой беды не видит; надо только, чтобы тот до дальнейших распоряжений не выступал в качестве обвинителя, и предложил принцу немедленно отправить к нему курьера с соответствующим предупреждением. Принц отвечал, что приказ курфюрста, увы, опоздал на один день, ибо, по сведениям, сегодня им полученным, Эйбенмайер в качестве обвинителя уже подал жалобу в имперскую канцелярию. На вопрос опешившего курфюрста, как это все так быстро сделалось, принц отвечал, что со времени отъезда Эйбенмайера прошло уже три недели, а согласно инструкции он обязан был безотлагательно выполнить дело, ему порученное. Любое промедление, добавил принц, было бы в этом случае неподобающим, так как бранденбургский юрист Цойнер настойчиво ходатайствовал перед судом о предварительном изъятии вороных у живодера на предмет их откорма и добился своего, несмотря на возражение противной стороны.

Курфюрст, потянув сонетку, заметил, что ладно, мол, не так все это важно! Задал принцу несколько безразличных вопросов: что слышно в Дрездене? Не случилось ли чего за время его отсутствия? И, не в силах более скрыть свое душевное смятение, кивнул в знак того, что аудиенция окончена. В тот же день под предлогом, что он должен самолично заняться делом столь большой государственной важности, курфюрст письменно затребовал от принца все документы, касающиеся Кольхаасова процесса, ибо мысль сгубить единственного человека, владеющего тайной записки, была ему непереносима. Более того, он собственноручно написал письмо императору, настойчиво и доверительно прося его, по очень важным причинам, кои он надеется изложить в ближайшее время, позволить Эйбенмайеру взять обратно поданную им жалобу.

Император ответил ему нотой, составленной в государственной канцелярии, что перемена, видимо, свершившаяся в убеждениях курфюрста, его по меньшей мере удивляет, что доклад, поступивший к нему из Саксонии, придал делу Кольхааса значение, немаловажное для всей Священной Римской империи, и он, император, как глава государства, счел своим долгом выступить в этом деле в качестве обвинителя перед бранденбургским двором; поскольку гоф-ассессор Франц Мюллер, коего он назначил прокурором, уже выехал в Берлин, дабы призвать к судебной ответственности Кольхааса как нарушителя имперского мира, то жалоба, разуме-

ется, не может быть взята обратно, и судебному делу будет дан дальнейший ход в точном соответствии с законом.

Сия нота повергла курфюрста в уныние, вдобавок еще приумноженное частным письмом из Берлина, в котором ему сообщали, что в суде уже объявлено слушанье дела Кольхааса и что оно, несмотря на все усилия адвоката, вероятно, закончится на эшафоте. Тогда этот несчастнейший из властителей решил сделать еще одну попытку и собственноручно написал курфюрсту Бранденбургскому, прося его за Кольхааса. Свое письмо он оправдывал тем, что-де, согласно букве закона, амнистия, дарованная этому человеку, не допускает совершения над ним смертной казни, далее он заверил своего собрата, что, несмотря на напускную суровость, никогда и в мыслях не имел предать Кольхааса смерти, и присовокупил, что будет безутешен, если покровительство, которое тому посулили в Берлине, вдруг обернется бедою и окажется, что было бы лучше, если бы его судили в Дрездене по саксонским законам.

Курфюрст Бранденбургский, которому многое в этом письме показалось темным и двусмысленным, отвечал, что решительность, с каковою действует прокурор его императорского величества, никак не позволяет ему исполнить желание своего собрата и попытаться обойти закон. Тревога же курфюрста Саксонского, по его мнению, излишня, ибо амнистия нарушена не им, ее даровавшим, но главою империи, для которого решение берлинского верховного суда отнюдь не обязательно. Далее он писал, что примерное наказание Кольхааса необходимо для устрашения Нагельшмидта, чьи набег, становясь все более и более дерзкими, перекинулись уже в бранденбургские владения, и просил курфюрста, буде он не пожелает принять во внимание его доводы, обратиться непосредственно к императору, так как, кроме него, никто не волен над жизнью и смертью Кольхааса.

Курфюрст с досады и огорчения от того, что все его попытки ни к чему не привели, снова заболел. И вот однажды утром, когда камергер пришел его проведать, он показал ему письма, написанные в надежде продлить жизнь Кольхааса и, таким образом, выгадать время для овладения запиской. Камергер упал перед ним на колени, заклиная во имя всего святого сказать, что же такое в этой записке. Курфюрст приказал ему запереть дверь и сесть поближе, на кровать; схватив руку

камергера, он прижал ее к своей груди и начал говорить:

— Твоя жена, как я слышал, уже рассказала тебе, что на третий день после моего приезда в Ютербок для встречи с курфюрстом Бранденбургским мы с ним, гуляя, натолкнулись на одну цыганку. Курфюрст, по характеру живой и бойкий, решил при всем честном народе разоблачить эту женщину, об искусстве которой, кстати сказать, в тот самый день шел достаточно фривольный разговор за обедом; итак, заложив руки за спину, он подошел к столику цыганки и задорно предложил предсказать ему что-нибудь такое, что сегодня же сбудется, а иначе, будь она хоть римской Сивиллой, все равно он ее словам не поверит. Цыганка, окинув нас беглым взглядом, отвечала, что прежде, чем мы оба уйдем с рыночной площади, нам встретится дикий козел с большими рогами, тот, которого выпестовал в парке сын садовника. Надо тебе знать, что козел, предназначенный для дворцовой кухни, содержался под замком в высокой загородке, скрытой могучими дубами парка, не говоря уж о том, что весь парк и прилегавший к нему сад, изобиловавшие разной мелкой дичью, находились под строгой охраной, так что невозможно было себе представить, как, во исполнение странного пророчества, этот козел мог бы попасть на рыночную площадь. Курфюрст Бранденбургский, полагая, что за этим кроется какое-то мошенничество, и твердо решивший изобличить во лжи цыганку, что бы она еще ни говорила, перекинувшись со мной двумя-тремя словами, послал во дворец скорохода с приказом немедленно заколоть козла и в один из ближайших дней подать его к нашему столу. Засим обернулся к цыганке, слышавшей наш разговор, и сказал: «Итак, какое же будущее ты мне предскажешь?»

Цыганка, разглядывая его руку, говорила: «Слава моему курфюрсту и повелителю! Твоя милость долго будет править, и долго будет властвовать дом, из коего ты приходишь, и потомки твои будут жить во славе и великолепии и станут могущественнее всех царей земных!»

Курфюрст молча и задумчиво смотрел на ворожею, затем, шагнув ко мне, вполголоса сказал, что сожалеет, зачем он послал гонца во дворец, дабы помешать исполнению пророчества. И покуда монеты из рук сопровождавших его рыцарей дождем сыпались на колени цыганки, сам он, швырнув ей золотой, спросил, будет ли так

же звенеть серебром предсказание, которое она делает мне.

Ворожея, отперев ящик, стоявший подле нее, обстоятельно и неторопливо уложила столбиками монеты, по достоинству, снова его заперла и, ладонью прикрыв глаза от солнца, словно свет его был ей непереносим, взглянула на меня. Я задал ей тот же самый вопрос и, покуда она изучала мою руку, шутливо сказал, оборотясь к курфюрсту: «Мне, видимо, она уж ничего столь приятного не возвестит». Услышав это, старуха схватила костыли, медленно поднялась со скамейки, как-то загадочно простерла руки и, приблизившись ко мне, отчетливо прошептала: «Нет!» — «Вот как,— в смущении пробормотал я и отшатнулся от ворожеи, которая, глядя на меня безжизненным, холодным взором своих словно окаменелых глаз, вновь опустилась на скамеечку,— откуда же грозит моему дому опасность?» Цыганка, взяв в руки бумагу и уголек, спросила, должна ли она написать свое прорицание, и я, смутившись, отвечал, мне ведь ничего другого не оставалось: «Да, напиши!» — «Хорошо,— отвечала она,— три тайны я открою тебе: имя последнего правителя из твоего дома, год, когда он лишится престола, и имя того, кто с оружием в руках твоим царством завладеет». Сделав это на глазах у всего народа, она скрепила записку сургучом, увлажнив его своими увядшими губами, и припечатала железным перстнем, надетым на средний палец. Я, как ты сам понимаешь, стораю от любопытства, потянулся за запиской, но она меня остановила словами: «Нет, нет, ваше высочество!» — и указала куда-то своим костылем: «Вон у того человека в шляпе с перьями, что стоит позади всего народа на скамейке у церковных дверей, получишь ты эту записку, коли она тебе понадобится».

И прежде, чем я успел понять, что она сказала, она взвалила на спину свой ящик и смешалась с толпой, нас обступившей, я же, онемев от удивления, остался стоять на месте. Тут, к вящей моей радости, подходит рыцарь, которого курфюрст посылал во дворец, и смеясь докладывает, что козел уже зарезан и он сам видел, как двое егерей тащили его на кухню. Курфюрст берет меня под руку, чтобы увести с площади, и весело говорит: «Так я и знал, эти прорицания — обыкновенное мошенничество, не стоящее времени и денег, на них потраченных!»

Но каково же было наше изумление, когда — он еще и договорить не успел — площадь зашумела и все взоры устремились на огромного меделянского пса; он мчался от дворцовых ворот, волоча за загривок тушу того самого козла, и в трех шагах от нас, преследуемый челядью, выронил свою добычу. Так сбылось пророчество цыганки, предназначенное служить залогом всего, ею сказанного, и дикий козел, пусть мертвый, встретился нам на рыночной площади. Молния, грянувшая с небес в морозный зимний день, не поразила бы меня сильнее, чем то, что сейчас случилось, и первым моим порывом, как только мне удалось уйти от всех, меня окружавших, было разыскать человека в шляпе с перьями, на которого указала цыганка. Но никто из посланных мною на розыски, продолжавшиеся целых три дня, так и не попал на его след. И вот, друг мой Кунц, несколько недель назад я собственными глазами увидел этого человека на мызе в Дааме.

С этими словами он выпустил руку камергера, вытер пот со лба и снова в бессилии опустился на подушки. Тот же, считая, что высказывать свою точку зрения на сей странный случай не стоит, курфюрст все равно будет стоять на своем, предложил изыскать какой-нибудь способ овладеть запиской, а в дальнейшем предоставить Кольхааса его собственной судьбе. Курфюрст решительно сказал, что такого способа не существует и что мысль не увидеть более роковой записки, мысль дать страшной тайне погибнуть с этим человеком повергает его в ужас и отчаяние. На вопрос друга, не сделал ли он попытки выяснить, кто эта цыганка, курфюрст отвечал, что под выдуманным предлогом приказал ее разыскивать по всему курфюршеству, но след ее и по сей день нигде не обнаружился; при этом он добавил, что в силу некоторых обстоятельств, — пояснить свои слова он отказался, — цыганку вряд ли можно еще отыскать в Саксонии.

Как раз в это время камергер собирался в Берлин по делам, связанным с унаследованными его женой от смещенного и вскоре после того умершего графа Кальхейма крупными поместьями в Неймарке. А так как он искренне любил своего повелителя, то после некоторого раздумья и спросил последнего, не предоставит ли он ему полной свободы действий в истории с запиской. А когда тот, порывисто прижав его руку к своей груди, отвечал: «Вообрази, что ты — это я, и раздобудь ее!» — камергер, сдав дела, ускорил отъезд и отбыл в Бер-

лин без жены, сопровождаемый лишь несколькими слугами.

Тем временем Кольхаас, доставленный в Берлин, согласно распоряжению курфюрста, помещенный в рыцарскую тюрьму, предоставлявшую большие удобства ему и его пятерым детям, по прибытии из Вены прокурора предстал перед верховным судом, обвиненный в нарушении имперского мира. Правда, на первом же допросе он сказал, что в силу соглашения между ним и курфюрстом Саксонским, заключенным в Лютцене, он, Кольхаас, не может быть обвинен в вооруженном нападении на курфюршество Саксонское и последовавших засим насильственных действиях. В ответ ему было назидательно сказано, что его величеством императором, коего здесь представляет имперский прокурор, сие не может быть принято во внимание. Когда же ему все растолковали и к тому же объявили, что в Дрездене его иск к юнкеру фон Тронка полностью удовлетворен, он немедленно смирился. Случилось так, что в день прибытия камергера Кольхаасу был вынесен приговор — смерть через обезглавливание мечом, в исполнение которого, даже несмотря на его мягкость, никто не хотел верить из-за запутанности всего дела: более того, весь город, зная, как курфюрст благоволит к Кольхаасу, надеялся, что по его могущественному слову казнь обернется разве что долголетним тюремным заключением.

Камергер, поняв, что ему нельзя терять времени, если он хочет выполнить поручение своего повелителя, начал с того, что в обычном своем придворном наряде стал прохаживаться под стенами тюрьмы, в то время как Кольхаас от нечего делать стоял у окна и разглядывал прохожих. По внезапному повороту головы Кольхааса камергер заключил, что тот его узнал, и с особым удовольствием отметил произвольное движение узника, поспешно коснувшегося рукой медальона. Итак, смятение, в эту минуту, видимо, охватившее душу Кольхааса, камергер истолковал как достаточный повод для того, чтобы перейти к решительным действиям. Он велел привести к себе торговку ветошью, старуху, едва ковылявшую на костылях, которую заприметил на улицах Берлина среди других таких же старьевщиков и старьевщиц, ибо она по годам и по платью показалась ему похожей на ту, о которой говорил курфюрст. Уверенный, что Кольхаас в точности не запомнил мимолетно виденного лица женщины, передавшей ему записку, он

решил подослать к нему старуху, заставив ее, если, конечно, удастся, сыграть роль цыганки-ворожеи. Посему он подробно рассказал ей обо всем, что в свое время произошло в Ютербоке между курфюрстом и цыганкой; не зная, однако, как далеко зашла та в своем провидении, он постарался втолковать старухе все ему известное касательно трех таинственных пунктов записки. Затем стал поучать ее говорить как можно отрывочнее и темней, дабы можно было хитростью или силой — для этого все уже подготовлено — выманить у Кольхааса записку, представляющую огромную важность для саксонского двора, буде же это окажется невозможным, предложить ему отдать эту записку ей на хранение якобы на несколько особо тревожных дней, когда у него она вряд ли будет в сохранности. Старьевщица, прельстившись солидным вознаграждением, тотчас же согласилась обстряпать это дело, потребовав, однако, от камергера задаток. А так как ей вот уже несколько месяцев была знакома мать Херзе, павшего под Мюльбергом, которая с разрешения начальства изредка навещала Кольхааса в тюрьме, то старухе в ближайшие дни с помощью небольшого подарка тюремщику удалось проникнуть в камеру конноторговца.

Кольхаас, увидев на руке старухи перстень с печаткой и на шее коралловое ожерелье, принял ее за ту самую цыганку, что дала ему записку в Ютербоке; но поскольку правдоподобие не всегда состоит в союзе с правдой, то здесь и произошел некий казус, о котором мы поведаем читателям, предоставив каждому, кто пожелает, полную свободу в таковом усомниться. Дело в том, что камергер, как оказалось, совершил отчаянную промашку и, погнавшись на улицах Берлина за старухой ветошницей, которой он прочил роль цыганки, изловил ту самую таинственную ворожею из Ютербока.

Так или иначе, но старуха на костылях, лаская детейшек, пораженных ее странным видом и в испуге прижимавшихся к отцу, рассказала, что уже довольно давно воротилась из Саксонии в Бранденбургское курфюршество и, услышав, как камергер на улицах Берлина, не блюдя осторожности, наводит справки о цыганке, весною прошлого года находившейся в Ютербоке, немедленно к нему протиснулась и, назвавшись вымышленным именем, вызвалась выполнить его поручение. Кальхаасу бросилось в глаза непостижимое сходство цыганки с его покойной женою Лисбет, такое сходство, что он едва удержался, чтобы не спросить, уж не приходится ли она

сй бабушкой, ибо не только черты ее лица, но и руки, все еще красивые, и прежде всего жесты этих рук, когда она говорила, воскрешали в его памяти Лисбет, даже родинку, так красившую шею его жены, заметил он на морщинистой шее старухи. Кольхаас,— мысли у него как-то странно путались,— усадил ее на стул и спросил, что ж это за дела такие, да еще связанные с камергером, привели ее к нему. Старуха, глядя любимую собаку Кольхааса, которая обнюхивала ее колени и виляла хвостом, отвечала, что камергер поручил ей разведать, какой же ответ содержится в записке на три таинственных вопроса, столь важных для саксонского двора, далее — предостеречь Кольхааса от некоего человека, присланного в Берлин, чтобы, пробравшись в тюрьму, выманить записку под предлогом, что у него она будет сохраннее, нежели на груди у Кольхааса. Пришла же она сюда с намерением сказать ему, что угроза хитростью или силой отнять у него записку — нелепица и заведомая ложь; что ему, находящемуся под защитой курфюрста Бранденбургского, нечего опасаться этого человека и, наконец, что у него на груди записка будет целее, чем даже у нее, пусть только остерегается, чтобы никто и ни под каким видом ее у него не отнял. Тем не менее, закончила старуха, ей кажется разумным использовать записку для той цели, какую она имела в виду, вручая ему в Ютербоке этот клочок бумаги,— призадуматься над предложением, сделанным через охотничего фон Штейна и записку, для него, Кольхааса, уже бесполезную, выменять у курфюрста Саксонского на жизнь и свободу.

Кольхаас, ликуя, что ему дарована сила смертельно ранить врага, втоптавшего его в прах, воскликнул:

— Ни за какие блага мира, матушка! — Засим, пожав руку старухи, полюбопытствовал, что же за ответы и на какие такие грозные вопросы стоят в этой записке.

Цыганка взяла на колени младшего его сына, пристроившегося было на полу у ее ног, и проговорила:

— Блага мира тут ни при чем, Кольхаас, лошадиный барышник, а вот благо этого белокурого мальчугана... — Она рассмеялась, лаская и целуя ребенка, смотревшего на нее широко раскрытыми глазами, потом костлявыми своими руками протянула ему яблоко, вынутое из кармана.

Кольхаас в волнении сказал, что дети, будь они постарше, одобрили бы его поступок и что именно в заботе о них и о будущих внуках он долгом своим почитает

сохранить эту записку. Ибо кто же после горького опыта, им приобретенного, убережет его от нового обмана, и не пожертвует ли он запиской для курфюрста так же бесцельно, как пожертвовал для него своим военным отрядом в Лютцене.

— Кто однажды нарушил слово,— добавил он,— с тем я больше в переговоры не вступаю; и только ты, матушка, прямо и честно можешь сказать, надо ли мне расстаться с листком, столь чудесным образом вознаградившим меня за все, что я претерпел?

Старуха, спустив с колен ребенка, отвечала, что кое в чем он прав и, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится. С этими словами она взяла костыли и направилась к двери. Кольхаас повторил свой вопрос касательно содержания записки, и когда старуха нетерпеливо ему ответила, что он ведь может ее распечатать, хотя это и будет пустое любопытство, пожелал узнать еще и многое другое: кто она, как пришло к ней ее искусство, почему она не отдала курфюрсту записку, собственно для него предназначенную, и среди многих тысяч людей избрала именно его, Кольхааса, никогда проприцаниями не интересовавшегося, и ему вручила чудесный листок.

Но тут вдруг на лестнице послышались шаги тюремной стражи, и старуха, боясь, что ее здесь застанут, торпливо проговорила:

— До свидания, Кольхаас! Когда мы снова встретимся, ты все узнаешь! — Затем, идя к двери, воскликнула: — Прощайте, детки, будьте счастливы! — перещеловала малышей всех подряд и вышла.

Тем временем курфюрст Саксонский, терзаемый мрачными мыслями, призвал к себе двух астрологов, Ольденхольма и Олеариуса, в ту пору весьма почитаемых в Саксонии, надеясь от них узнать содержание таинственной записки, столь важной для всего его рода и потомства. Но так как сии ученые мужи после нескольких дней, проведенных на башне Дрезденского замка за чтением звезд, не смогли прийти к согласию, относится ли пророчество к последующим столетиям или же к настоящему времени и не подразумевает ли оно королевство Польское, отношения с коим все еще оставались неприязненными, то этот ученый спор не только не развеял тревоги, чтобы не сказать отчаяния несчастного властителя Саксонии, но, напротив, усугубил ее, сделал и вовсе непереносимой. К этому еще добавилось, что камергер поручил своей жене, собиравшейся к нему в Бер-

лин, осторожно сообщить курфюрсту о неудавшейся попытке завладеть запиской с помощью одной женщины, которая с тех пор как в воду канула. Принимая во внимание все эти обстоятельства, приходится оставить всякую надежду раздобыть злосчастную записку, тем паче, что после всестороннего обсуждения дела курфюрст Бранденбургский подписал смертный приговор Кольхаасу и казнь назначена на понедельник после Вербного воскресенья.

Услышав это, курфюрст себя не помнил от горя и раскаяния; жизнь ему опротивела: запершись в опочивальне, он в течение двух дней не притрагивался к пище, но на третий, не давая никаких объяснений кабинету, вдруг заявил, что уезжает на охоту к принцу Дессаускому, и исчез из Дрездена. Вопрос о том, отправился ли он в Дессау или куда-нибудь еще, мы оставляем открытым, ибо старинные хроники, из сопоставления коих мы почерпнули материал для нашей повести, в этом пункте одна другой противоречат. Установлено лишь, что принц Дессауский не мог быть на охоте, так как в это время лежал больной в Бранденбурге у своего дядюшки герцога Генриха, а также, что госпожа Элоиза вечером следующего дня в сопровождении некоего графа фон Кенигштейна, которого она выдавала за своего двоюродного брата, прибыла в Берлин, где ее дождался супруг, господин Кунц.

Тем временем Кольхаасу был уже зачитан смертный приговор, с него сняли оковы и возвратили отобранные было в Дрездене документы, касающиеся его имущества; когда же советники, направленные к нему судом, спросили, как желает он распорядиться своим достоянием, Кольхаас с помощью нотариуса составил завещание в пользу своих детей, а опекуном над ними назначил старого доброго друга — амтмана из Кольхаасенбрюкке. Посему спокойствием и безмятежностью были исполнены его последние дни; тем более что курфюрст распорядился открыть темницу и предоставить право друзьям Кольхааса, которых в городе у него было великое множество, посещать его днем и ночью. Но еще большее удовлетворение суждено было испытать Кольхаасу, когда в тюрьму к нему явился богослов Якоб Фрейзинг, посланный доктором Лютером с собственноручным и, без сомнения, весьма примечательным письмом последнего, к сожалению, до нас не дошедшим, который в присутствии двух бранденбургских деканов причастил его свя-
тых тайн.

Но вот настал роковой понедельник после Вербного воскресенья, день, когда Кольхаасу предстояло поплатиться жизнью за необдуманно поспешную попытку собственными силами добиться правды; весь город пребывал в волнении, все еще не теряя надежды, что государево слово спасет Кольхааса. Вот предводительствуемый богословом Якобом Фрейзингом, в сопровождении усиленного конвоя, вышел он из ворот тюремного замка, держа на руках обоих своих мальчиков (ибо эту милость он настойчиво выговорил себе у суда), как вдруг из обступившей его горестной толпы друзей и знакомых, пожимавших ему руки и навеки с ним прощавшихся, вышел кастелян курфюрстова дворца и с растерянным видом подал ему листок бумаги, сказав, что сделать это упростила его какая-то старуха. Кольхаас взял письмо, удивленно взглянув на этого почти незнакомого ему человека, и по отгиску перстня на печати сразу догадался, что оно от цыганки.

Но кто опишет изумление, его охватившее, когда он прочитал: «Кольхаас, курфюрст Саксонский в Берлине: он уже отправился к лобному месту, и ты, если захочешь, можешь узнать его по шляпе с султаном из голубых и белых перьев. Не мне тебе говорить, зачем он явился; он надеется вырыть твое тело из могилы и наконец прочитать записку, хранящуюся в медальоне.— *Твоя Элизабет*».

Кольхаас, до крайности пораженный, обернулся к кастеляну и спросил, знакома ли ему чудная женщина, передавшая это письмо. Кастелян успел только сказать: «Кольхаас, эта женщина...» — но странным образом запнулся, процессия двинулась дальше, и Кольхаас уже не мог разобрать, что говорил этот дрожавший всем телом человек.

Прибыв на площадь, где высился эшафот, Кольхаас среди несметной толпы народа увидел курфюрста Бранденбургского верхом на коне, с конною же свитой, в числе которой находился и эрцканцлер Генрих фон Гейзау, одесную от него имперский прокурор Франц Мюллер держал в руках смертный приговор, ошую стоял ученый правовед Антон Цойнер с решением дрезденского трибунала; в середине полукруга, замыкавшегося толпой, герольд с узлом вещей держал в поводу двух вороных, раскормленных, с лоснящейся шкурой, бивших копытами землю. Ибо эрцканцлер господин Генрих именем своего государя настоял в Дрездене, чтобы юнкером фон Тронка, статья за статьей, без малейшего послабления,

было выполнено решение суда. Над головами вороных, когда их забирали от живодера, склонили знамя, дабы честь коней была восстановлена, затем люди юнкера фон Тронка выходили и откормили их и в присутствии нарочно для того созванной комиссии передали прокурору на рыночной площади в Дрездене. Посему, когда Кольхаас, сопровождаемый стражниками, проходил мимо, курфюрст обратился к нему со следующей речью:

— Итак, Кольхаас, сегодня тебе воздастся должное! Смотри, я возвращаю тебе все, что было силою отнято у тебя в Тронкенбурге и что я, как глава государства, обязан был тебе возвратить: вот твои вороные, шейный платок, золотые гульдены, белье, даже деньги, истраченные тобой на лечение конюха Херзе, павшего под Мюльбергом. Доволен ли ты мною?

Кольхаас, спустив наземь детей, которых до того держал на руках, с пылающим взором читал решение суда, врученное ему по знаку эрцканцлера. Прочитав пункт, согласно коему юнкер Венцель приговаривался к двухгодичному тюремному заключению, он, не в силах более сдерживать обуревавших его чувств, скрестил руки на груди и опустился на колени перед курфюрстом. Поднявшись, он оборотился к эрцканцлеру и радостно проговорил, что заветнейшее из его земных желаний исполнилось; затем подошел к коням, оглядел их, ласково потрепал по лоснящимся шеям и, снова приблизившись к канцлеру, сказал, что дарит их своим сыновьям — Генриху и Леопольду. Генрих фон Гейзау, нагнувшись к нему с седла, от имени курфюрста милостиво заверил Кольхааса, что последняя его воля будет свято исполнена, и предложил ему распорядиться еще и насчет вещей, связанных в узел. Кольхаас подозвал к себе старуху — мать Херзе, которую разглядел в толпе, и, передавая ей вещи, сказал:

— Возьми, матушка, это твое! — и еще отдал ей деньги, приложенные к узлу в качестве возмещения убытков, прибавив, что они пригодятся ей на старости лет.

— А теперь, конноторговец Кольхаас, — воскликнул курфюрст, — когда твой иск полностью удовлетворен, готовься держать ответ перед его императорским величеством в лице присутствующего здесь прокурора за нарушение имперского мира!

Кольхаас снял шляпу и бросил ее наземь, объявил, что он готов, еще раз поднял детей, прижал к своей гру-

ди, передал их амтману из Кольхаасенбрюкке, который, тихо плача, увел их с площади, и взошел на помост.

Он уже снял шейный платок и отстегнул нагрудник, как вдруг среди толпы заметил хорошо знакомого человека в шляпе с голубыми и белыми перьями, которого старались заслонить собою два рыцаря. Кольхаас, отстранив стражников и неожиданно быстро к нему приблизясь, сорвал с шеи медальон, вынул из него записку, распечатал и прочитал ее, потом, в упор глядя на человека с султаном из голубых и белых перьев, в чьей душе шевельнулась была надежда, скомкал ее, сунул в рот и проглотил.

Человек с голубыми и белыми перьями на шляпе, увидя, это, в судорогах упал на землю. И в то время, как перепуганные спутники последнего склонились над ним, Кольхаас взошел на эшафот и голова его скатилась с плеч под топором палача.

На этом кончается история Кольхааса. Тело его, под неумолчный плач народа, было положено в гроб, и когда носильщики подняли его, чтобы отнести на кладбище в предместье и там как подобает, предать земле, курфюрст подозвал к себе сыновей покойного, ударом меча посвятил их в рыцари и сказал своему эрцканцлеру, что воспитание оба мальчика получат в пажеской школе курфюршества.

Курфюрст Саксонский, разбитый душой и телом, вскоре после описанных событий вернулся в Дрезден, о дальнейшем же читатель может узнать из летописи этого города. Жизнерадостные и здоровые потомки Кольхааса еще в прошлом столетии жили в герцогстве Мекленбургском.

Локарнская нищенка

У подножия Альп, близ Локарно, в Верхней Италии, находился старый, одному маркизу принадлежавший замок, который теперь, когда едешь от Сен-Готарда, видишь лежащим в развалинах; замок с высокими и обширными комнатами, в одной из

которых некогда на соломе, подостланной для нее, старая, больная женщина, подошедшая к двери, прося милостыню, была уложена из сострадания хозяйкой дома. Маркиз, который по возвращении с охоты случайно вошел в комнату, где он обыкновенно оставлял свое ружье, с неудовольствием приказал женщине подняться из того угла, где она лежала, и перебраться за печку. Женщина, в то время как она подымалась, поскользнулась клюкою на гладком полу и опасно повредила себе крестец, настолько, что хотя она еще встала с несказанным трудом и, как ей было приказано, наискось пересекла комнату, но со стоном и оханьем опустилась за печкой и скончалась.

Несколько лет спустя, когда маркиз по причине войны и неурожая оказался в затруднительных материальных обстоятельствах, к нему прибыл флорентийский рыцарь, который хотел купить у него замок из-за его красивого местоположения. Маркиз, который очень интересовался этой продажей, поручил своей жене поместить гостя в вышеупомянутой, оставшейся пустою, комнате, очень красиво и роскошно отделанной. Но как смущены были супруги, когда среди ночи к ним явился рыцарь, бледный и расстроенный, клятвенно уверяя, что в комнате — привидения, причем нечто, невидимое глазу, с шорохом, словно оно лежало на соломе, поднялось в углу комнаты, ясно слышными шагами, медленно и с трудом перешло комнату и со стоном и оханьем опустилось за печкой.

Маркиз, испугавшись, сам хорошенько не зная чего, высмеял рыцаря с притворной веселостью и сказал, что он сейчас встанет и для его успокоения проведет с ним ночь в той комнате. Но рыцарь просил любезно позволить ему переночевать в его спальне на кресле и, когда настало утро, велел запрягать, простился и уехал.

Это происшествие, которое получило широкую огласку, отпугнуло в высшей степени неприятным для маркиза образом нескольких покупателей; и так как среди его собственной домашней челяди странно и непостижимо распространился слух, будто в комнате в полуночный час кто-то бродит, он, дабы решительным действием положить этому конец, решил сам в ближайшую ночь исследовать это дело. Поэтому он приказал поставить свою кровать в названной комнате и, не засыпая, дождался полуночи. Но как потрясен был он, когда на самом деле с боем полуночи он услышал непонятный шорох,— каза-

лось, словно человек поднялся с соломы, которая зашуршала под ним, наискось прошел через комнату и среди стенаний и предсмертного хрипения опустился за печкой. Маркиза на другое утро, когда он явился, спросила его, как прошло обследование; и так как он бросил вокруг себя испуганный и нерешительный взгляд и, заперев дверь, стал уверять, что разговоры о привидении отвечают действительности, она испугалась, как еще ни разу в жизни не пугалась, и попросила его, раньше чем он предаст оглашению это дело, подвергнуть его еще раз хладнокровной проверке. Однако они действительно совместно с верным слугою, которого взяли с собой, услышали в следующую ночь тот же непонятный жуткий шум; и только настойчивое желание отделаться во что бы то ни стало от замка побудило их подавить в себе в присутствии слуги ужас, который их охватил, и приписать происшествие какой-нибудь безразличной и случайной причине, которая, несомненно, может быть обнаружена. На третий день вечером, когда оба, для того чтобы добраться до основной причины этого дела, с бьющимся сердцем снова поднялись по лестнице в комнату для гостей, случайно перед дверью ее оказалась дворовая собака, которую спустили с цепи; таким образом, оба, не отдавая себе ясного отчета, может быть, с неосознанным намерением иметь при себе, кроме себя самих, еще третье живое существо, взяли собаку с собою в комнату. Оба супруга, при двух свечах на столе, — маркиза, не раздеваясь, маркиз со шпагой и пистолетами, которые он вынул из шкафа, — садятся около одиннадцати часов каждый на свою кровать, и в то время, как они по возможности пытаются занять друг друга разговорами, собака, поджав голову и лапы, ложится посреди комнаты и засыпает. Но вот в самую полночь снова слышится ужасный шорох; кто-то, кого не может видеть человеческий глаз, подымается на костылях в углу комнаты; слышится, как солома под ним шуршит, и при первом шаге: топ! топ! — просыпается собака, подымается внезапно с полу, настороживши уши, и с рычаньем и лаем, точь-в-точь как если бы на нее наступал человек, пьитится и отходит к печке. При виде этого маркиза со вставшими дыбом волосами бросается вон из комнаты; и в то время как маркиз, схватившийся за шпагу, кричит: «Кто там?» — и так как никто ему не отвечает, словно безумный, рассекает воздух во всех направлениях, она велит запрягать, решив немедленно уехать в город. Но не успела она собрать и уложить кое-какие вещи и выехать

за ворота, как уже видит, что замок со всех сторон объят пламенем. Маркиз, доведенный ужасом до высшей степени возбуждения, взял свечу и, так как жизнь ему опостылела, с четырех сторон поджег замок, повсюду обложенный деревянной панелью. Напрасно посылала она в дом людей спасти несчастного; он уже погиб самым жалким образом, и донны еще лежат его белые кости, снесенные поселянами, в том углу комнаты, из которого он приказал подняться локарнской нищенке.

ЭРНСТ ТЕОДОР
АМАДЕЙ ГОФМАН

Крошка Цахес,
по прозванию
Циннобер



Магелуазель
де Скюдери



Крошка Цахес, по прозванию Циннобер

Глава ПЕРВАЯ

Маленький оборотень.— Великая опасность, грозившая пасторскому носу.— Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащила на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко сетовать:

— Неужто,— жаловалась она,— неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и — дабы мера нашего горя была исполнена — Бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уродец, словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе

на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! — И тут несчастная принялась плакать и стенать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем и она, обессилев, заснула.

Бедная женщина по справедливости могла плакаться на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины, — теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздувоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, взглядевшись попристальнее, можно было заметить длинный острый нос, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, — что вместе с морщинистыми, совсем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альрауна.

И вот, когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фройляйн фон Розеншён — канонисса близлежащего приюта для благородных девиц — возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

— Праведное небо, — воскликнула она, — сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и не ложно употребить на то, чтоб отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана, он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и, чем больше перепадет ему, тем беднее он становится. Но я знаю — больше, чем

всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, но, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фройляйн опустила на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фройляйн за палец, но она сказала:

— Успокойся, успокойся, майский жучок! — и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и наконец крепко уснул. Тогда фройляйн Розеншён осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.

Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

— Эге, — воскликнула она, — сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате — пора домой! — Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула:

— Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти локоны, когда б ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди сюда, поди, — лезь в корзину. — Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

— Мне неохота!

— Цахес, крошка Цахес! — не помня себя закричала женщина. — Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, то уж, верно, можешь и бегать? — Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим, золотокудрым трехлетним мальчугом.

ном. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

— Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напиток!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

— Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький пригожий мальчик. Поистине это благословение божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! — И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось, вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Но фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

— Ах, дорогой господин пастор,— наконец завела она плаксивым голосом,— вам, служителю Бога, грех насмехаться над бедной, злосчастной женщиной, которую неведомо за что покарали небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

— Что за вздор,— с большой серьезностью возразил священник,— что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! «Насмехаться», «оборотень», «кара небес»! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! — Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: «Мне неохота!» — и опять норовил ухватить его за нос.

— Вот злая тварь! — вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

— Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что, верно, все они тебя сердечно любят!

— Послушайте только,— воскликнул пастор, засверкав глазами от радости,— послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен

и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он для вас только обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

— Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького уroda, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень?

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. «Что же это, Господи,— рассуждала она сама с собой,— стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну, да поможет Бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним — и тяжкая забота!»

И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспечально пошла своим путем.

Что же касается канониссы фон Розеншён, или, как она еще называла себя, Розенгрюншён, то ты, благосклонный читатель,— когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени помолчать,— все же бы догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял, как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канониссе:

поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме.

Фройляйн фон Розеншён была высокого роста, наделена благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной странной складке между бровей, относительно чего толком не известно, дозвоительно ли канониссам носить на челе нечто подобное; но при том часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом устраситься ее дивной красоты, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаруживалось родство фройляйн Розеншён с цветами, имя коих она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший, колючий прутик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фройляйн громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, невиданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями

и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фройляйн фон Розеншён поступила в приют для благородных девиц. Её приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то, что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншён в «Книге турниров» Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная небом, по крайности называть себя не Розенгрюншён, а Розеншён, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, разобиженный Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фройляйн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обвиняясь, уверяла, что всякий раз, когда фройляйн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, во всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фройляйн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фройляйн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насыпать колотун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказных пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фройляйн носилась по воздуху на помеле, а впереди ее летел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а дерзвенский суд порешил ни много ни мало, как выманить фройляйн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Так-то вот и бывает с простыми людьми, без предков, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейн». Фройляйн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные приютские девицы, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фройляйн Розеншён ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фройляйн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон — как для деревни, так и для фройляйн Розеншён.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншён не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейн и где обитала фройляйн фон Розеншён, — одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь рассказать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась — а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, — дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремене жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что,

в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особливо в лесах, частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий, плененный восторгом и блаженством, вполне уверовал во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследовал юный Пафнутий.

Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды. «Я хочу править, любезный!» — крикнул ему Пафнутий. Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:

— Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного злосчастного народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и, рыдая, молвил:

— Министр Андрес, я обязан тебе шестью дукатами,— более того — моим счастьем, моим государством, о верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

— Преславный государь,— воскликнул меж тем Андрес,— преславный государь, так дело не делается!

— А как же оно делается, любезный? — спросил Пафнутий, ухватил министра за петлицу и повлек его в кабинет, замкнув за собою двери.

— Видите ли,— начал Андрес, усевшись на маленьком табурете насупротив своего князя,— видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои, хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваемы благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу,— прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали «Тысячу и одну ночь», ибо, я знаю, ваш *светлейший*, блаженной памяти господин папаша — да нишплет ему небо нерушимый сон в могиле! — любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

— Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Фей — здесь, в моей стране! — восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

— Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель,— продолжал Андрес,— мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаши, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди

и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение,— всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно знакома по «Тысяче и одной ночи».

— А ходит туда почта, Андрес? — справился князь.

— Пока что нет, — отвечал Андрес, — но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

— Однако, Андрес, — продолжал князь, — не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли полоненный ими народ?

— И на сей случай, — сказал Андрес, — и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелаю они вступить в благонадежный брак, — пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корма в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением.

Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили.

На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем.

Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде, за несколько часов до того как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.

Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не печалются обо всем том имуществе, которое они принуждены оставить.

— В конце концов,— сказал прогневавшись, Пафнутий,— в конце концов, выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвести.

Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране.

Они оба согласились на том, что Джиннистан — прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе.

Пафнутий почувствовал себя успокоенным.

Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена и в близлежащей деревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андресом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштками, которые она утаила от полиции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и самом лучшем во всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять по своему усмотрению.

Фея Розабельверде приняла предложение и таким образом попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фройляйн фон Розенгрюншён, а потом, по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна, фройляйн фон Розеншён.

Глава ВТОРАЯ

О неизвестном народе, что открыл ученый Птоломей Филадельфус во время своего путешествия.— Университет в Керепесе.— Как в голову студента Фабиана полетели ботфорты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Бальтазара на чашку чая.

В приятельских письмах, которые прославленный ученый Птоломей Филадельфус, будучи в далеком путешествии, писал другу своему Руфину, находится следующее замечательное место:

«Ты знаешь, любезный Руфин, что я ничего на свете так не боюсь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои скупают все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно тщуся уловить умственным взором что-либо отчетливое. Оттого я имею обыкновение в эту жаркую пору отдыхать днем, а ночью продолжаю свое странствование. Так и прошедшей ночью я был в пути. В непроглядной тьме мой возница сбился с настоящей удобной дороги и нечаянно выехал на шоссе. Несмотря на то что жестокие толчки бросали меня из стороны в сторону и покрытая шишками голова моя была весьма схожа с мешком грецких орехов, я пробудился от глубокого сна не раньше, чем когда ужасный толчок выбросил меня из кареты на жесткую землю. Солнце ярко светило мне в лицо, а за шлагбаумом, что был прямо передо мною, я увидел высокие башни большого города. Возница горько сетовал, что о большой камень, лежавший посреди дороги, разбилось не только дышло, но и заднее колесо кареты, и, казалось, весьма мало, а то и вовсе не печалился обо мне. Я, как и подобает мудрецу, сдержал свой гнев и лишь с кротостью крикнул парню, что он, проклятый бездельник, мог бы взять в толк, что Птоломей Филадельфус, прославленный ученый своего времени, сидит на задн..., и оставить дышло дышлом, а колесо колесом. Тебе, любезный Руфин, известно, какой властью над человеческими сердцами я обладаю. И вот возница во мгновение ока перестал сетовать и с помощью шоссевого сборщика, перед домиком которого стряслась беда, поставил меня на ноги. По счастью, я нигде особенно не зашибся и был в силах тихонечко побрести дальше, меж тем как возница с трудом тащил за мной поломанную карету. Неподалеку от ворот завиденного мною в синеющей дали города

мне повстречалось множество людей столь диковинного обличья и в столь странных одеждах, что я принялся тереть глаза, дабы удостовериться, впрямь ли я бодрствую, или, быть может, сумбурный дразнящий сон перенес меня в неведомую сказочную страну. Эти люди, коих я по праву мог считать жителями города, из ворот которого они выходили, носили длинные, широченные штаны, на манер японских, из драгоценнейших тканей — бархата, манчестера, тонкого сукна, а то и холста, пестро расшитого галунами, красивыми лентами и шнурками, и куцые, едва прикрывающие живот детские курточки, по большей части светлых тонов; только немногие были в черном. Нечесанные волосы в естественном беспорядке спадали на плечи и спину, а на голове у каждого была нахлобучена маленькая странного вида шапочка. У иных шеи были совершенно открыты, как у турок и нынешних греков, другие, напротив, носили вокруг шеи и на груди куски белого полотна, довольно схожие с теми воротниками, что тебе, любезный Руфин, доводилось видеть на портретах наших предков. Несмотря на то что все эти люди казались весьма молодыми, голоса у них были низкие и грубые, движения отличались неловкостью; у некоторых под самым носом лежала узкая тень, словно бы от усов. У иных сзади из курточек торчали длинные трубки, на которых болтались большие шелковые кисти. Другие же повытаскивали трубки из карманов и приладили к ним снизу маленькие, средние, а то и весьма большие диковинной формы головки и с немалой ловкостью, поддувая сверху в тоненькую, все более сужающуюся на конце трубку, пускали искусственные клубы дыма. Некоторые держали в руках широкие сверкающие мечи, словно шли навстречу неприятелю; у иных были пристегнуты пряжками к спине или навешаны по бокам маленькие кожаные и жестяные коробочки.

Вообрази себе, любезный Руфин, как я, стремясь обогатить свои познания прилежным наблюдением всякого нового для меня феномена, остановился и вперил взор свой в этих странных людей. Тут они окружили меня, крича во все горло: «Филистер, филистер!» — и разразились ужаснейшим смехом. Это меня раздосадовало. Ибо, дражайший Руфин, может ли быть для великого ученого что-либо обиднее, чем сопричисление к народу, который за несколько тысяч лет перед тем был побит ослиной челюстью? Я взял себя в руки и с присущим мне достоинством громко объявил собравшемуся вокруг меня стран-

ному люду, что я, следует надеяться, нахожусь в цивилизованном государстве и потому обращаюсь в полицию и в суд, дабы отплатить за нанесенную мне обиду. Тут все они подняли рев; к тому же и те, что доселе еще не дымили, повытаскивали из карманов назначенные для того машины, и все принялись пускать мне в лицо густые клубы дыма, который, как я только теперь заметил, вонял совсем невыносимо и оглушал мои чувства. Затем они изрекли надо мной своего рода проклятие, столь мерзкое, что я, любезный Руфин, не хочу его тебе повторять. Я и сам вспоминаю о нем с невыразимым ужасом. Наконец они покинули меня с громким оскорбительным смехом, и мне почудилось, будто в воздухе замирает слово: «Арапник!» Возница мой, все слышавший и видевший, сказал, ломая руки:

— Ах, дорогой господин, коли уж произошло то, что случилось, то, Бога ради, не входите в этот город. С вами, как говорится, ни одна собака знаться не будет, и вы будете в беспрестанной опасности подвергнуться побо...

Я не дал честному малому договорить и с возможной поспешностью обратил стопы свои к ближайшей деревне. В одинокой комнатушке единственного во всей деревеньке постоялого двора сижу и пишу все это тебе, дражайший Руфин! Насколько будет возможно, я собираю известия об этом неведомом варварском народе, населяющем здешний город. Мне уже порассказали кое-что весьма странное о его нравах, обычаях, языке и прочем, и я в точности сообщу тебе обо всем... и т. д. и т. д.»

О мой любезный читатель, ты уже заметил, что можно быть великим ученым и не знать обыкновеннейших явлений и по поводу всему свету известных вещей предаваться диковинным мечтаниям. Птоломей Филadelphus упражнялся в науках и даже не знал о студентах, описывая своему другу происшествие, которое в голове его превратилось в редкостное приключение, он даже не знал, что находится в деревне Хох-Якобсхейм, расположенной, как известно, неподалеку от прославленного Керепесского университета. Добряк Птоломей перепугался, повстречавшись со студентами, которые радостно и беспечально прогуливались для собственного удовольствия за городом. Какой бы страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моша Терпина. Сотни студентов, хлынув из дома, окружили бы его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от

этой суеты его ум смутили бы еще более диковинные мечтания.

Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук: он объяснял, отчего происходит дождь, гром, молния, отчего солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштики и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему невероятное множество слушателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей Филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость, свести тебя в Керепес к дому профессора Моша Терпина как раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь стройного юношу лет двадцати трех или четырех; темные сверкающие глаза его красно-речиво говорят о живом и ясном уме. Почти дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтательная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала, словно дымкой, жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого сукна, отделанный разрезным бархатом, был сшит почти что на старонемецкий лад, к чему весьма шел нарядный, ослепительно белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший его красивые темно-каштановые волосы.

Это одеяние потому так шло к нему, что он сам всем существом своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выражением лица, казалось, действительно принадлежал к прекрасному благочестивому стародавнему времени, а поэтому и не навел на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой читатель, не кто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и зажиточных родителей, юноша скромный.

рассудительный, прилежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порассказать тебе в этой весьма примечательной истории.

Серьезен, по своему обыкновению, погружен в думы, шел Бальтазар с лекции Моша Терпина к городским воротам, собираясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу, находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его Фабиан, красивый малый, веселый с виду и такой же нравом, побежал за ним следом и настиг у самых ворот.

— Бальтазар! — громко закричал Фабиан, — Бальтазар, опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно меланхолическому филистеру, меж тем как добрые бурши прилежно упражняются в благородном искусстве фехтования. Прошу тебя, оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет оторопь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем переведаемся на рапирах, а если тебя потом потянет прогуляться, так я охотно пойду с тобой.

— Побуждения у тебя хорошие, — возразил Бальтазар, — и потому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты, словно одержимый, гоняешься за мной по пятам и часто лишаешь меня наслаждений, о которых не имеешь никакого понятия. Ты как раз принадлежишь к тем странным людям, которые всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхолическим дурнем и хотят на свой лад его образумить и вылечить, подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить достойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, когда тот объявил, что не умеет играть на флейте. Правда, от этого, любезный Фабиан, я тебя избавляю, однако ж я тебя сердечно прошу — поищи себе другого товарища для благородных упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое.

— Нет, нет! — воскликнул со смехом Фабиан. — Так просто ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со мной в фехтовальную залу, так я отправлюсь с тобой в рощу. Долг верного друга развеселить тебя в печали. Ну, идем, любезный Бальтазар, идем, коли уж ты ничего другого не желаешь. — Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро зашагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду, и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рассказывают что-нибудь веселое.

Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухающей рощи, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпеливыми вздохами, когда вдаль зазвучали чудесные мелодии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в горах,— Бальтазар внезапно остановился, широко распротер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул:

— О, теперь мне снова хорошо, несказанно хорошо!

Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул, полон восторга:

— Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось, и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?

— Я не совсем понимаю тебя, любезный брат,— отвечал Фабиан,— но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно согласен. Разве я сам не охотник до прогулок, особливо в доброй компании, когда можно вести разумную и поучительную беседу? К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с нашим профессором Мошем Терпином. Он знает каждое растение, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому виду принадлежит, и притом он рассуждает о ветре и о погоде...

— Остановись,— вскричал Бальтазар,— прошу тебя, остановись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня не было некоторого утешения. Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше сказать, меня охватывает зловещий ужас, словно я вижу умалишенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и повелителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу, воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, дыхание которого обвеваает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия. Нередко меня берет охота переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда бы меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, какие чувства тревожат меня, отчего сжимается мое сердце на лекциях Моша Терпина,— и тогда вам кажется, что я стал еще более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы обрушиться на

мою голову, неопиcуемый страх гонит меня из города. Но здесь, здесь мою душу посещает сладостный покой. Лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредельную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом тянутся золотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного блаженной отрады! О Фабиан, тогда и в собственной моей груди рождается какой-то дивный гений, я внимаю, как он ведет таинственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья, и я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое существо сладостно-тоскливым трепетом.

— Ну вот,— воскликнул Фабиан,— ну вот опять ты завел старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лесных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи мне, мой пресвосходный меланхолик, ежели лекции Моша Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне, чего ради ты на них таскаешься, ни одной не пропустишь, хотя, правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший и, закрыв глаза, словно гредишь?

— Не спрашивай,— отвечал Бальтазар, потупив очи,— не спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет меня каждое утро к дому Моша Терпина. Я наперед знаю свои муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня!

— Ха-ха! — громко рассмеялся Фабиан,— ха-ха-ха! Как тонко, как поэтично, какая мистика! Неведомая сила, что влечет тебя к дому Моша Терпина, заключена в темно-голубых глазах прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошенькую дочку профессора, всем нам давно известно, а потому мы и извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те нелепые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава Богу, покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей. Но поверь мне, душа моя...

Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую дорогу, пролежавшую через лес. Вдруг Фабиан завидел вдалеке мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока.

— Эй-эй! — воскликнул он, прерывая свою речь.— Эй, глянь, да никак проклятая кляча удрала, сбросив

седока... Надобно ее поймать, а потом поискать в лесу и всадника.— С этими словами он стал посреди дороги.

Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле колошится и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана раздалось протяжное, пронзительное: «Тпру! Тпру!» — и в тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт и какой-то странный маленький черный предмет прокатился у него между ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею, обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке и наконец с трудом поднявшегося на ноги. Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоминал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожница... Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан разразился громким смехом. Но малыш досадливо нагнулся на глаза берет, который только что поднял с земли, и, вперив в Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом:

— Это ли дорога в Керепес?

— Да, сударь,— благожелательно и серьезно ответил Бальтазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело перекувыркивался и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же заботливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие для него футляры. С гордым видом, уперши одну руку в бок, а другую приложив к берету, малыш воскликнул: «Gratias¹, сударь!» — направился к лошади и взял ее под уздцы. Но все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и посадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону.

— Не горячитесь так, милейший мусье! — вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом.

— Черт — ваш милейший мусье! — вскричал, совсем озлившись, малыш, отряхивая песок с платья.— Я студюзуз, а если и вы тоже, то сие называется вызов—

¹ Благодарствую (лат.).

этот шутовской ваш смех мне в лицо, и вы должны завтра в Керепесе со мной драться!

— Черт побери,— не переставая смеяться, вскричал Фабиан,— черт подери, да это отчаянный бурш, малый хоть куда, раз дело коснулось отваги и правил чести! — С этими словами Фабиан поднял малыша и, невзирая на то, что он отчаянно артачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с веселым ржаньем тотчас же умчалась, унося своего господина. Фабиан держался за бока — он помирал со смеху.

— Бессердечно,— сказал Бальтазар,— глумиться над человеком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника, обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним драться и притом, хотя это и против всех академических обычаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспандроном он не может.

— Как сурово,— отозвался Фабиан,— как серьезно, как мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальтазар. Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством. Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шен которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую узехонькую курточку в обтяжку, со множеством шнурков, галунов и кистей, пристало ли ему носить такой затейливый бархатный берет? Пристало ему принимать столь высокомерный и надутый вид? Вымучивать такой варварский, сиплый голос? Пристало все это ему, спрашиваю я, и разве нельзя с полным правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студнозус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая подымется там кутерьма! С тобой сегодня пива не сварить. Будь здоров! — И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город.

Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую чащу; там он присел на поросшую мохом кочку, горестные чувства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и взаправду любил прелестную Кандиду, но он схоронил эту любовь в своем сердце, скрывая ее от всех, даже от самого себя, как глубокую, нежную тайну. И когда Фабиан без обвиняков с таким легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с изображения святой покрывало, которого он

не смел коснуться, словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фабиана казались ему мерзким надругательством над всем его существом, над самыми сладостными его грезами.

— Итак,— воскликнул он в безмерной досаде,— итак, Фабиан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака, который таскается на лекции Моша Терпина, чтобы хоть часок провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой; который в одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще более жалкими; который губит деревья, вырезывая на гладкой коре глупые вензеля, а при возлюбленной и слова разумного вымолвить не может, только стонет, да вздыхает, да строит плаксивые гримасы, словно у него корчи; который у себя на груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда приколоты к ее платью, или перчатку, которую она обронила,— ну, словом, учиняет тысячи ребяческих дурачеств! И оттого, Фабиан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня на смех, и оттого, быть может, и я и весь тот внутренний мир, что открылся мне, сделались предметом насмешек. И прелестная, милая, дивная Кандида...

Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно пронзило огненным кинжалом. Ах! какой-то внутренний голос явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради Кандиды бывает он в доме Моша Терпина, что он сочиняет стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он не имеет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увядшие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан. Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрасную Кандиду и вместе с тем как причудливо чистейшая, сокровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, заложенной самой природой во все человеческие поступки. Должно быть, в том он был прав, но он был совсем не прав, что начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рассеялись, лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной, он бросился назад в Керепес.

— Господин Бальтазар! Mon cher¹ Бальтазар! — окликнул его кто-то.

¹ Дорогой мой (фр.).

Он поднял глаза и остановился завороженный, ибо навстречу шел профессор Мош Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида, со свойственной ей веселой и дружественной простотой, приветствовала застывшего, как истукан, студента.

— Бальтазар, mon cher Бальтазар! — вскричал профессор, — по правде, вы самый усердный и приятный мне слушатель! О мой дорогой, я заметил, вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как и я, а я от нее без ума! Уж, верно, опять ботанизировали в нашей рощице? Удалось найти что-нибудь поучительное? Что ж! Давайте познакомимся покороче. Посетите меня — рад видеть вас во всякое время, можем вместе делать опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же, mon cher, завтра вечером у меня дома состоится дружественный кружок, будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной особой. Вы познакомьтесь с весьма привлекательным молодым человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Bon soir, mon cher! Добрый вечер, любезнейший: au revoir! До свиданья. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, mon cher, adieu¹. — И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Терпин удалился вместе со своей дочерью.

Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но взоры Кандиды испепелили его грудь, он чувствовал ее дыхание, и сладостный трепет пронизывал все его существо.

Вся его досада прошла, полный восторга, смотрел он на удалявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листовой зеленой аллен деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы предаться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.

Глава ТРЕТЬЯ

Как Фабиан не знал, что ему и сказать.— Кандида и девицы, которым не дозволено есть рыбу.— Литературное чаепитие у Моша Терпина.— Юный принц.

Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он ошибся. Выйдя на

¹ Прощайте, мой дорогой (фр.).

опушку, он увидел, как вдалеке к малышу присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въезжали в ворота Керепеса. «Гм! — обратился Фабиан к самому себе, — хотя этот шелкунчик и обогнал меня на большой лошади, я все же поспею к заварушке, что подымется по его приезде. Ежели этот странный малый и в самом деле студиозус, то ему укажут на «Крылатого Коня», а ежели он там остановится да с тем же пронзительным «тпру-тпру!» скинет бортфорты и сам слетит за ними, да озлится и взъерепенится, когда студенты покатаются со смеху, — ну, тут и пойдет потеха!»

Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к «Крылатому Коню» он услышит только смех. Не тут-то было! Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собирающиеся, по обыкновению, на площади перед «Крылатым Конем». Фабиан был уверен, что малыш по крайней мере здесь еще не появлялся, но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в конюшню ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать. Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не проезжал ли тут, часом, некий странный и весьма диковинный человек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не знал, равно как и все остальные, кому только ни рассказывал Фабиан, что приключилось у него с малышом, который выдавал себя за студента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не объявлялось. Правда, минут за десять перед тем в гостиницу «Крылатый Конь» прибыли два статных всадника на прекрасных лошадях.

— А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас провели на конюшню? — спросил Фабиан.

— Разумеется, — отвечал один из спрошенных, — разумеется. Тот, что прибыл на этой лошади, правда маловат ростом, однако хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он показал себя превосходным наездником, ибо спешился с такой ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер нашего князя.

— И не потерял бортфорт? — воскликнул Фабиан. — И не покатился вам под ноги?

— Сохрани Бог! — отвечали все в один голос. — Сохрани Бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш!

Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Бальтазар. Фабиан бросился к нему, потащил за собой и рассказал, что маленький карапуз, который повстречался им неподалеку от городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда, и все приняли его за красивого, статного мужчину и превосходного наездника.

— Вот видишь,— серьезно и рассудительно отвечал Бальтазар,— вот видишь, любезный брат, не все, подобное тебе, столь жестоко насмеваются над несчастным, обделенным самой природой!

— Ах, боже ты мой! — перебил его Фабиан.— Да всдь тут речь идет не о насмешке и жестокосердии, а о том, можно ли назвать красивым и статным мужчиной малыша в три фута ростом, к тому же не лишенного сходства с редькой?

Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана относительно роста и наружности маленького студента. Остальные стояли на том, что маленький всадник — красивый, стройный мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять, что им никогда не доводилось видеть более отвратительного карлика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озадаченные.

Давно смерклося, когда оба друга отправились домой. Вдруг Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался с профессором Мошем Терпином и тот пригласил его к себе на завтрашний вечер.

— Вот счастливец! — вскричал Фабиан.— Вот счастливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою красотку, прелестную мамзель Кандиду, будешь с нею разговаривать!

Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом поборов досаду, сказал:

— Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь меня безрассудным влюбленным шутком, я, пожалуй, и впрямь таков. Но это безрассудство — глубокая болезненная рана, томящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, может, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим дурачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то не произнеси при мне имени Кандиды.

— Ты опять,— возразил Фабиан,— ты опять смотришь на вещи ужасно трагически, и в твоем состоянии от тебя много и ожидать нельзя. Но, чтоб не заводить

с тобой мерзкой распри, обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что, как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую досаду. Кандида — премиленькая, славная девушка, но она никак не подходит к меланхолическому, мечтательному складу твоей души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужденный, веселый нрав покажется тебе чуждым поэзии, которой тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаньям, и все кончится большим переполохом — ужасной воображаемой мукой и приличествующим сему отчаянием. Впрочем, я, равно как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, который займет нас весьма интересными физическими опытами. Ну! Спокойной ночи, удивительный мечтатель! Спи, ежели сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтрашний.

С этими словами Фабиан оставил своего друга, погруженного в глубокую задумчивость. Фабиан, пожалуй, не без основания предвидел всякого рода патетические злоключения, которые могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому повод.

У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и чуть-чуть припухлые алые губы; и она — с этим принужден согласиться всякий — была писаная красавица. Я не припомню, белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные ее волосы, которые она умела так причудливо укладывать, заплетая в дивные косы, — мне лишь весьма памятна их странная особенность: чем дальше на них смотришь, тем темнее и темнее они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движениях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особенности когда ее окружало оживленное общество; при стольких прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше и поизящней. Притом Кандида прочла гетевского «Вильгельма Мейстера», стихотворения Шиллера и «Волшебное кольцо» Фюке и успела позабыть почти все, о чем там говорилось; весьма сносно играла на фортепьянах и даже иногда подпевала; танцевала новейшие гавоты и французские кадрили и почерком весьма разборчивым и тонким записывала белье, назначенное в стирку. А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубова-

тый голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много пирожного. Непомерно восторженным поэтам еще многое в прелестной Кандиде пришлось бы не по сердцу, но чего они только не требуют! Прежде всего они хотят, чтоб от всего, что они ни изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глубоко вздыхала, закатывала глаза, а иногда на короткое время падала в обморок или даже лишалась зрения, что является собой уже высшую ступень женственнейшей женственности. Далее помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэтом, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после чего ей (то бишь девице) надлежит внезапно занемочь и тоже начать писать стихи, однако весьма стыдиться, когда это выйдет наружу, невзирая на то, что она сама, переписав их нежным почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем, никак нельзя вменить в вину. Есть на свете поэтические аскеты, которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить серьги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голодными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать себе в спутницы особу серьезную, бледную, унылую и несколько неопрятную.

Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кандиды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетавшие на легких, воздушных крыльях беззлобного юмора. Она покатывалась со смеху при всем, что ее сместило; она никогда не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной прогулке или, невзирая на все предосторожности, на новую шаль сядет пятно. Но, когда был для того подлинный повод, в ней проглядывало и глубокое, искреннее чувство, никогда не переходившее в пошлую чувствительность, и нам с тобой, любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девушка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело легко могло обернуться иначе. Однако мы вскорости увидим, насколько правильны были предсказания прозаического Фабиана.

То, что Бальтазар от непрерывного волнения, от несказанно сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к столу и сочинил изрядное число приятных, благозвучных стихов, описав собственное свое состояние в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти стихи на литературное чаепитие у Моша Терпина и, как только представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кандиды.

Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по уговору зашел за своим другом и застал его таким разряженным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый воротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во французских сапожках с высокими острыми каблуками и серебряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и наряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более что он прекрасно завил волосы и расчесал маленькие усики.

Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме Моша Терпина навстречу ему вышла Кандида в полном одеянии древнегерманской девы; приветливость и веселость были в ее взоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. «Прелестная дева!» — испустил томный вздох Бальтазар, когда Кандида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымящегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами и молвила:

— Вот ром и мараскин, сухари и пумперникель, сделайте одолжение, любезный господин Бальтазар, берите, что вам угодно.

Но, вместо того чтобы взглянуть на ром и мараскин, сухари и пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Бальтазар не мог отвести взора, полного искренней любви и мучительного томления, от прелестной девы и тшился найти слова, которые должны были выразить все, что в это мгновение чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил профессор эстетики — дюжий, здоровенный мужчина — и, повернув его лицом к себе, так что Бальтазар расплескал больше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным голосом:

— Дражайший Лукас Кранах! Не хлещите презренную воду, вы вконец сгубите ваш германский желудок,— наш доблестный Мош выставил в той зале бата-

рею прекрасных бутылок с благородным рейнвейном; сейчас мы с ними сразимся! — И он потащил за собой несчастного юношу.

Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку маленького, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош Терпин и громко возвестил:

— Милостивейшие государыни и милостивейшие государи, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, которому не составит труда снискать вашу приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Циннобер, только вчера прибыл в наш университет, где предполагает изучать право!

Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного карапуза, который наехал на них неподалеку от городских ворот и свалился с лошади.

— Неужто мне, — шепнул Фабиан Бальтазару, — неужто мне придется теперь вызвать этого альрауна драться на духовных дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить другое оружие против столь ужасно-го противника.

— Стыдись, — отвечал Бальтазар, — стыдись, ты глумишься над несчастным калеккой, который, как ты слышал, одарен редчайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинствами. — Тут он обратился к малышу и сказал:

— Надеюсь, любезнейший господин Циннобер, вчерашнее ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?

Циннобер оперся на маленькую тросточку, которую держал за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришлось Бальтазару почти что по пояс, запрокинул голову, уставившись на него дико сверкающими глазами, и странным, сиплым басом ответил:

— Не знаю, что вам угодно, сударь, о чем вы говорите? Упал с лошади? Я упал с лошади? Вам, верно, неизвестно, что во всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я, что я никогда не падал с лошади, что я служил волонтером в кирасирах, проделал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров и солдат. Гм! Гм! «Упал с лошади!» Я упал с лошади! — Тут он хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног Бальтазара. Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут малыш испустил пронзительный

крик, отозвавшийся во всей зале, так что гости в испуге повскакали с мест. Бальтазара окружили и наперебой стали расспрашивать, чего это он, ради самого неба, закричал столь ужасно.

— Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар,— обратился к нему профессор Мош Терпин.— Все же это довольно странная штука. Вы, верно, хотели, чтобы мы подумали, что здесь кто-то наступил на хвост кошке.

— Кошка, кошка! Уберите кошку!— завопила какая-то слабонервная дама и тотчас упала в обморок. С криками: «Кошка, кошка!» — бросились к выходу два престарелых господина, страдавших той же идиосинক্রазией.

Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упавшую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару: — Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерзким пронзительным мяуканьем!

Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пылало от стыда и досады, он был не в силах вымолвить ни единого слова, сказать, что ведь замаякал так ужасно не он, а маленький господин Циннобер.

Профессор Мош Терпин заметил тягостное замешательство юноши. Он подошел к нему и дружески сказал:

— Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, наконец! Я ведь отлично все видел. Пригнувшись к земле, прыгая на четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злобному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной истории, но здесь во время литературного чаепития...

— Позвольте,— сорвалось наконец с языка Бальтазара,— позвольте, почтеннейший господин профессор, так ведь то был не я!

— Ну, хорошо, хорошо! — перебил его профессор. К ним подошла Кандида.

— Утешь,— обратился к ней Мош Терпин,— утешь, пожалуйста, любезнейшего Бальтазара, он совсем подавлен приключившейся тут сумятицей.

Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Бальтазара, кидорый, потупив взор, стоял перед ней в совершенном замешательстве. Она протянула ему руку и, приветливо улыбаясь, прошептала:

— Какие, право, смешные бывают люди, что так боются кошек.

Бальтазар с великой горячностью прижал руку Кандиды к губам. Исполненный чувства взор ее небесных

очей покоился на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял более о Циннобере и кошачьем визге. Суматоха улеглась, спокойствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабонервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром и уверяя, что это подкрепляет ее душу, коей угрожают враждебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной надеждой.

Также два престарелых господина, которым на улице и в самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успокоенные и засели, равно как и многие другие, за карточный стол.

Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых людей подсели к дамам. Господин Циннобер тем временем пододвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где уселся между двумя дамами, обводя всех горделивым, сверкающим взором.

Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что, если бы он не боялся наскучить и причинить досаду, если бы он смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного собрания, он бы отважился прочитать стихи — последнее творение своей музы.

И так как дамы уже вдсталь наговорились обо всем, что случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим образом обсудили последний бал у президента и даже пришли к некоторому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а мужчины еще добрых два часа не могли рассчитывать на новое угощение и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Бальтазара не лишать общество столь божественного отдохновения.

Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и принялся читать.

Собственные стихи, со всей силой, со всей живостью возникшие из подлинно поэтического чувства, все сильнее воодушевляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнаруживая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, когда тихие вздохи, еле слышные «ах» женщин и восклицания мужчин: «Беликоленно, превосходно, божественно!» — убеждали его в том, что стихи увлекли всех.

Наконец он кончил. Тут все вскричали:

— Какое творение! Сколько мысли! Сколько фантазии! Какие стихи! Какое благозвучие! Благодарим, бла-

годарим, любезный господин Циннобер, за божественное наслаждение!

— Как? Что? — вскричал Бальтазар, но на него никто не обратил внимания, — все устремились к Цинноберу, который, сидя на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел:

— Покорно благодарю, покорно благодарю, не взыщите. Это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью.

Но профессор эстетики вопил:

— Дивный, божественный Циннобер! Сердечный друг, после меня ты — первейший поэт на свете! Приди в мои объятия, прекрасная душа! — И он сгреб малыша с дивана, поднял его на воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Циннобер при этом вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножонками по толстому животу профессора и пищал:

— Пусти меня, пусти меня! Мне больно, больно, больно! Я выцарапаю тебе глаза, я прокушу тебе нос!

— Нет! — вскричал профессор, опуская малыша на диван. — Нет, милый друг, к чему такая чрезмерная скромность.

Мош Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним, пожал крошечную ручку Циннобера и сказал очень серьезно:

— Прекрасно, молодой человек, — отнюдь не преувеличивая, нет, мило нарасказали мне об одухотворяющем вас высоком гении.

— Кто из вас, — снова закричал в полном восторге профессор эстетики, — кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного Циннобера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство самой сильной любви?

Кандида встала, — щеки ее пылали, — она приблизилась к малышу, опустила на колени и поцеловала его мерзкий рот, прямо в синие губы.

— Да, — вскричал Бальтазар, словно пораженный внезапным безумием, — да, Циннобер, божественный Циннобер, ты сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты заслужил дивную награду, тобой полученную!

С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и проговорил:

— Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент Бальтазар, или нет, впрямь ли ты Фабиан, верно ли, что мы в доме Моша Терпина, — или это сон, или

мы походили с ума? Потяни меня за нос или встряхни, чтоб я избавился от этого проклятого наваждения.

— Ну, как это ты можешь,— возразил Фабиан,— ну, как это ты можешь так бесноваться из простой ревности, оттого что Кандида поцеловала малыша. Тебе все же надобно признать, что стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле превосходно.

— Фабиан,— в глубочайшем изумлении вскричал Бальтазар,— что ты говоришь?

— В самом деле,— продолжал Фабиан,— в самом деле, стихотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслужил поцелуй Кандиды. Вообще мне сдается, в нем кроется много такого, что дорожке красивой наружности. Даже его фигура уже не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чтения стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица, так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юношей, невзирая на то, что его голова чуть виднелась из-за стола. Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним как поэт с поэтом.

— Что? — вскричал в гневе Бальтазар.— Что? Мне еще подружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил бы вот этими руками!

— Итак,— сказал Фабиан,— итак, ты совсем глух к голосу разума. Однако ж возвратимся в залу: там, верно, случилось что-нибудь новое, я слышу громкие похвалы!

Бальтазар машинально последовал за своим другом.

Когда они вошли, посреди залы одиноко стоял Мош Терпин, в руках у него еще были инструменты, с помощью которых он, по-видимому, производил какой-то физический опыт; лицо его хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг маленького Циннобера. Опершись на трость, он стоял на цыпочках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех сторон. Но вот все опять обратились к профессору, который показывал новый весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все снова окружили малыша, восклицая:

— Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всех завопил:

— Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в университете. Принц был наделен приятнейшей

внешностью, какую только можно себе представить, и притом в его обращении было столько благородства и непринужденности, что явственно сказывалось и высокое происхождение и привычка вращаться в высшем свете.

Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Циннобера и расточал ему непомерные похвалы, как превосходнейшему поэту и искуснейшему физику.

Странное зрелище являли они друг подле друга.

Рядом со статным Грегором совсем диковинным казался этот крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва держался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напоминая этим картезианского чертика.

Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал:

— Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном Циннобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано обстоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но поглядите только на его достойную осанку, на его благородное, непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской крови, быть может, даже принц.

В эту минуту доложили, что готов ужин. Циннобер, неуклюже ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и повел к столу.

Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бежал несчастный Бальтазар домой.

Глава ЧЕТВЕРТАЯ

Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господина Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в министерство иностранных дел.— О таможенных чиновниках и конфискованных чудаках для домашнего обихода.— Бальтазар заколдован с помощью набалдашника.

На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и задумчиво смотрел вниз в расщелину, где ручей, пенясь, бурлил меж обломков скал и густых зарослей. Темные тучи неслись по небу и

скрывались за горами; шум воды и деревьев раздавался как глухой стон, к нему примешивались пронзительные крики хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные просторы и летели вслед убегающим облакам.

Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных головах слышится безутешная жалоба природы, словно сам он должен раствориться в этой жалобе, словно все бытие его — только чувство глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрывалось от скорби, и, когда частые слезы застилали его глаза, чудилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохладную глубь.

Вдруг вдалеке послышались веселые, звонкие звуки рожка; они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся вокруг, и, пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов столь жалобными. Он обрел дар речи.

— Нет! — воскликнул он, вскочив на ноги и устремив сверкающий взор вдаль, — нет, не вся надежда исчезла! Верно только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нарушили мою жизнь, но я сломаю эти чары, даже если мне придется погибнуть! Когда я, увлеченный, побежденный чувством, от которого готова была разорваться моя грудь, признался прелестной, несравненной Кандиде в моей любви, разве не прочел я в ее взоре, разве не почувствовал в пожатии ее руки свое блаженство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого выродка, устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырываются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней или берет ее руку. Тут, должно быть, скрыто какое-то таинственное обстоятельство, и, если бы я верил нянюшкиным сказкам, я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство — все смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным самой природой, а стоит малышу появиться, — все начинают превозносить его, как умнейшего, ученейшего, наикрасивейшего господина студента среди всех присутствующих. Да что я говорю! Разве со мной подчас не происходит почти то же самое, разве не кажется мне порой, что Циннобер и красив и разумен?

Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и господин Циннобер остается глупым мерзким уродцем. Но что бы там ни было, я воспротивлюсь вражьей силе, в моей душе дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья!

Бальтазар отправился назад в Керепес. Бредя по лесной тропинке, заметил он на проезжей дороге маленькую нагруженную кладью повозку, из оконца которой кто-то приветливо махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал господина Винченцо Сбюкка, всесветно прославленного скрипача-виртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превосходную, выразительную игру и у кого он уже два года как брал уроки.

— Вот хорошо! — вскричал Сбюкка, выскочив из повозки. — Вот хорошо, любезный господин Бальтазар, мой дорогой друг и ученик, что я еще повстречал вас и могу сердечно проститься с вами.

— Как? — удивился Бальтазар. — Как, господин Сбюкка, неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают и где всем вас будет не доставать?

— Да, — отвечал Сбюкка, и вся кровь бросилась ему в лицо от скрытого гнева, — да, господин Бальтазар, я покидаю город, где все спятили, город, который подобен дому умалишенных. Вчера вы не были на моем концерте, вы прогуливались за городом, а то бы вы помогли мне защититься от беснующейся толпы, что набросилась на меня.

— Да что же случилось? Скажите, Бога ради, что случилось? — вскричал Бальтазар.

— Я играю, — продолжал Сбюкка, — труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю, и еще ни разу не случилось, чтоб он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа — *anima*, разумею я, весел сердцем — *spirito alato*, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания — *figoge*, разумею я, чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кричат: «*Bravo, bravissimo*, божественный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!»

Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит: «Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света». — «Тысяча чертей! — воскликнул я. — Кто же, наконец, играл: я или тот червяк!» И так как малыш все еще гнусавил: «Покорно благодарю, покорно благодарю», — я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: «А какая композиция! И все наперебой начинают кричать: «Какая композиция! Божественный Циннобер! Вдохновенный композитор!» С еще большей досадой я вскричал: «Неужто здесь все походили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я, я — прославленный скрипач Винченцо Сбьокка!» Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве — *gabbia*, разумею я, о странных случаях, наконец силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной, как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегают синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: «Bravo, bravissimo Циннобер!» И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он опять загнусавил свое проклятое «благодарю». Синьора Брагацци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин Бальтазар. Если доведется вам увидеть синьорину Циннобера, то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас, — пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии, сколько душе угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар, да смотрите не оставляйте скрипку! — С этими словами господин Винченцо Сбьокка обнял оцепеневшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила.

— Ну, разве не был я прав, — рассуждал сам с собою Бальтазар, — ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей порчу.

В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой человек, бледный, расстроженный, — безумие и от-

чаяние написано было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов двадцать — тридцать, он завидел референдария Пульхера, который стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил:

— Нет! Нельзя долее сносить этот позор! Надежды всей жизни пропали! Осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир, надежда, любимая!

И с этими словами ввавший в отчаяние референдарий выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу.

Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдарию, вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону и воскликнул:

— Пульхер, Боже мой, что с тобой, что ты делаешь?

Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полубеспамятстве опустился он на траву. Бальтазар подсел к нему и стал говорить различные утешительные слова, какие только приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния Пульхера.

Бессчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли о самоубийстве? Наконец Пульхер тяжко вздохнул и заговорил:

— Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспедитора в министерстве иностранных дел; ты знаешь, с каким усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности. Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал, заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверенностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию! В зале я приметил маленького уродливого человечка, который тебе хорошо известен под именем господина Циннобера. Советник, которому было поручено произвести испытание, приветливо подошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую желаю получить я, ищет заступить также господин Циннобер, и потому он будет экзаменовывать нас *обоих*. Затем он шепнул мне на ухо: «Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего соперника; работы, которые представил маленький Циннобер, из рук вон плохи». Испытание началось; я ответил на все вопросы советника. Циннобер ничего не знал, ров-

ным счетом ничего, вместо ответа он сипел и квакал и нес какую-то невнятную околесицу, которую никто не мог разобрать, и так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал с высокого стула, так что мне приходилось его подымать и сажать на место. Сердце мое трепетало от радости; благоклонные взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за самую едкую иронию. Испытание окончилось. Но кто опишет мой ужас! Словно внезапная молния повергла меня наземь, когда советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: «Чудеснейший человек! Какие познания! Какой ум! Какая пронизательность! — И потом ко мне: — Вы жестоко обманули меня, господин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете. И, не в обиду вам будет сказано, во время экзамена вы хотели придать себе бодрости весьма недостойным образом и против всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все время падали, а господин Циннобер был принужден подымать вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассудительны. Adieu, господин референдарий». Я все еще полагал, что меня морочат. Я решил пойти к министру. Он велел мне передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким образом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посещением,— ему уже обо всем известно! Должность, которой я добивался, уже отдана господину Цинноберу! Итак, какая-то адская сила похитила у меня все надежды, и я хочу добровольно принести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного рока! Оставьте меня!

— Ни за что! — вскричал Бальтазар.— Сперва выслушай меня.

И он рассказал все, что знал о Циннобере, начиная с его первого появления у ворот Керепеса; что произошло с ним и с малышом в доме Моша Терпина и что только сейчас поведал Винченцо Сбьокка.

— Несомненно лишь,— добавил Бальтазар,— что во всех проделках этого окаянного урода скрыто что-то таинственное, и поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться. Победа несомненна там, где есть мужество. А посему не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай сообща ополчимся на этого ведьмёныша.

— Ведьмёныш! — с жаром вскричал референдарий,— да, ведьмёныш! Что этот карлик — проклятый

ведьменыш,— это несомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами, неужто мы грезим? Колдовство, волшебные чары,— да разве с этим давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь Пафнутий Великий не ввел просвещение и не изгнал из нашей страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое, а эта проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным приставам. Но нет, нет, только людское безумие или, как я опасаясь, неслыханный подкуп — причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканят!»

— Полно,— возразил Бальтазар,— полно, друг референдарий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то другое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена, причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь, или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет прочитать эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам — чудо; волшебник-микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство!

— Ты в горячечном бреду! — вскричал Пульхер; но Бальтазар, не обращая на него внимания, простер руки вперед, словно охваченный пламенным томлением.

— Вслушайся,— воскликнул он,— вслушайся только, референдарий, какая небесная музыка заключена в ро-

поте вечернего ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им нежными голосами?

Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о которой говорил Бальтазар.

— И впрямь,— сказал он,— и впрямь по лесу несутся прекраснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне слышать, они глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний ветер, не кусты и не цветы, скорее, сдастся мне, кто-то вдалеке играет на колокольчиках стеклянной гармоники.

Пульхер был прав. Действительно, полные, все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоники, но только, неслыханной величины и силы, а когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как вкопанные.

В небольшом отдалении по лесу медленно ехал человек, одетый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя, два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки стеклянной гармоники, которую друзья слышали издали. Два белоснежных единорога в золотой упряжи везли карету; на месте кучера сидел серебристый китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках помещился преогромный золотой жук, который помахивал мерцающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удивительного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с друзьями, он приветливо им кивнул. В то же мгновение из сверкающего набалдашника большой трости, что он держал в руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глухое «ах» слетело с его уст.

Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще приветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась в глухой чаще и только слышались еще нежные звуки гармоники, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился к своему другу на шею и воскликнул:

— Референдарий, мы спасены! Вот кто разрушит проклятые чары маленького Циннобера.

— Не знаю,— промолвил Пульхер,— не знаю, что со мною сейчас творится, во сне это все или наяву, но нет сомнения, что какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо и мою душу вновь посетили утешение и надежда.

Глава ПЯТАЯ

Как князь Барсануф завтракал лейпцигскими жаворонками и данцигской золотой водкой, как на его кашемировых панталонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного секретаря Циннобера в должность тайного советника по особым делам.— Книжка с картинками доктора Проспера Альпануса.— Как некий привратник укусил за палец студента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был за то осмеян.— Бегство Бальтазара.

Незачем долее скрывать, что министром иностранных дел, у коего господин Циннобер заступил должность тайного экспедитора, был потомок того самого барона Претекстатуса фон Мондшейна, который тщетно искал родословную феи Розабельверде в хрониках и турнирных книгах. Он, как и его предок, прозывался Претекстатус фон Мондшейн и отличался превосходнейшим образованием и приятнейшими манерами, никогда не путал падежей, писал свое имя французскими буквами, вообще почерк имел разборчивый и даже подчас *сам* занимался делами, особливо в дурную погоду. Князь Барсануф, один из преемников великого Пафнутия, нежно любил своего министра, ибо у него на всякий вопрос был наготове ответ; в часы, назначенные для отдохновения, он играл с князем в кегли, знал толк в денежных операциях и бесподобно танцевал гавот.

Однажды случилось, что барон Претекстатус фон Мондшейн пригласил князя к себе на завтрак отведать лейпцигских жаворонков и выпить стаканчик данцигской золотой водки. Когда князь прибыл в дом Мондшейна, то в передней, среди многих достойных дипломатических персон, находился и маленький Циннобер, который, опершись на свою трость, сверкнул на него глазами и, уж больше не оборачиваясь к нему, засунул в рот жареного жаворонка, которого только что стащил со стола. Едва князь завидел малыша, как милостиво улыбнулся ему и сказал министру:

— Мондшейн! Кто этот пригожий и столь толковый человек? Это, верно, тот самый, что столь прекрасным

слогом составляет и столь изящным почерком переписывает дсклады, которые я с некоторого времени стал от вас получать?

— Конечно, благосклонный государь,— отвечал Мондшейн.— Судьба даровала мне умнейшего и искуснейшего чиновника в моей канцелярии. Его зовут Циннобер, и я наилучшим образом рекомендую этого прекрасного молодого человека вашей милости и благоволению, мой дорогой князь. Он у меня всего несколько дней.

— А потому-то,— сказал красивый молодой человек, приблизившись к нему,— а потому-то, если ваша светлость позволите мне заметить, мой маленький коллега не отправил еще ни одной бумаги. Донесения, коим выпало счастье быть благосклонно замеченными вами, светлейший князь, составлены мной.

— Что вам надо? — гневно обратился к нему князь.

Циннобер тем временем плотную придвинулся к князю и, с аппетитом уплетая жаворонка, чавкал от жадности. Молодой человек, обратившийся к князю, действительно писал помянутые доклады, но...

— Что вам надобно? — вскричал князь.— Вы, надо полагать, и пера в руках не держали? И то, что вы возле меня едите жареных жаворонков, так что я, к величайшей моей досаде, уже примечаю жирное пятно на моих новых кашемировых панталонах, и притом вы так непристойно чавкаете, да, все это достаточно показывает вашу совершеннейшую неспособность к дипломатическому поприщу. Ступайте-ка подобра-поздорову домой и не показывайтесь мне больше на глаза, разве только доставите для моих кашемировых панталон надежное средство от пятен. Быть может, тогда я верну вам свою благосклонность.— Обратившись к Цинноберу, князь добавил: — Юноши, подобные вам, дорогой Циннобер, суть украшение отечества и заслуживают, чтоб их отличали. Вы — тайный советник по особым делам, мой любезный.

— Покорнейше благодарю,— просипел в ответ Циннобер, проглотив последний кусок и вытирая рот обеими ручонками,— покорнейше благодарю, уж я-то с этим делом справлюсь, как подобает.

— Бодрая самоуверенность,— сказал князь, возвышая голос,— бодрая самоуверенность проистекает от внутренней силы, коей должен обладать достойный государственный муж.— Изрекши сию сентенцию, князь выпил собственноручно поднесенный ему министром стаканчик данцигской золотой водки и нашел ее превосходной. Но-

вый советник должен был сесть между князем и министром. Он поедал невероятное множество жаворонков и пил попеременно малагу и золотую водку, сипел и бормотал что-то сквозь зубы, и так как его острый нос едва доставал края стола, то ему приходилось отчаянно работать руками и ногами.

Когда завтрак был окончен, князь и министр воскликнули в один голос:

— У нашего тайного советника английские манеры!

— У тебя,— сказал Фабиан другу своему Бальтазару,— у тебя такой радостный вид, твои глаза светятся каким-то особенным огнем. Ты счастлив? Ах, Бальтазар, быть может, тебе пригрезился дивный сон, но я принужден пробудить тебя, это долг друга.

— Что такое? Что случилось? — спросил, оторопев, Бальтазар.

— Да,— продолжал Фабиан,— да! Я должен открыть тебе все! Мужайся, мой друг! Подумай о том, что, быть может, нет на свете несчастья, которое не поразило бы так больно и не забывалось бы так легко! Кандида!..

— Ради бога! — вскричал в ужасе Бальтазар.— Кандида! Что с Кандидой? Ее уже нет на свете? Она умерла?

— Успокойся,— продолжал Фабиан,— успокойся, мой друг. Кандида не умерла, но для тебя все равно что умерла. Знай же, что малыш Циннобер стал тайным советником по особым делам и, как уверяют, почти что помолвлен с прекрасной Кандидой, которая, Бог весть с чего, без памяти в него влюбилась.

Фабиан полагал, что Бальтазар разразится неистовыми, полными отчаяния жалобами и проклятиями. Но вместо того он сказал со спокойной улыбкой:

— Если все дело только в этом, то тут еще нет несчастья, которое могло бы меня опечалить.

— Так ты больше не любишь Кандиду? — в изумлении воскликнул Фабиан.

— Я люблю,— отвечал Бальтазар,— я люблю этого ангела, эту дивную девушку со всей мечтательностью, со всей страстью, какая только может воспламенить юношескую грудь. О, я знаю — ах! — я знаю, что Кандида тоже любит меня и только проклятые чары пленили ее, но скоро я порву эти колдовские путы, скоро я истреблю злодея, который ослепил бедняжку.

Тут Бальтазар поведал другу о повстречавшемся ему удивительном человеке, ехавшем по лесу в весьма странной повозке. И в заключение он сказал, что, как только из волшебного набалдашника сверкнул луч и коснулся его груди, в нем зародилась твердая уверенность, что Циннобер не кто иной, как ведьменьш, чью силу сокрушит этот незнакомец.

— Позволь, Бальтазар,— вскричал Фабиан, когда его друг кончил,— позволь, как это мог тебе прийти в голову такой диковинный вздор? Незнакомец, которого ты считаешь волшебником, ведь не кто иной, как доктор Проспер Альпанус, жительствующий в своем загородном доме неподалеку от Керепеса. Правда, о нем ходят удивительнейшие слухи, так что его можно принять чуть ли не за второго Калиостро; но в этом повинен сам доктор. Он любит окружать себя мистическим мраком, напускать на себя вид человека, который посвящен в сокровеннейшие тайны природы и повелевает неведомыми силами, и вдобавок ему свойственны весьма затейливые причуды. Например, его повозка устроена так, что человек, наделенный живой и пылкой фантазией,— подобно тебе, мой друг,— вполне может принять все это за явление из какой-нибудь сумасбродной сказки. Послушай только! Его кабриолет имеет форму раковины и весь серебрен, а между колесами помещен органчик, который при вращении оси играет сам собой. Тот, кого ты принял за серебристого фазана, несомненно был его маленький жокей, одетый во все белое, а раскрытый зонтик показался тебе крыльями золотого жука. Он велит прикреплять на головы своих белых лошадей большие рога, чтобы они приобрели вид подлинно сказочный. Впрочем, у доктора Альпануса и вправду есть красивая испанская трость с дивно искрящимся кристаллом, прикрепленным сверху, подобно набалдашнику, об удивительном действии коего рассказывают или, вернее, сочиняют немало всяких небылиц. Луч, исходящий из этого кристалла, будто бы невыносим для глаз. А когда доктор обернет его прозрачным покрывалом, то, пристально взглядевшись, увидишь в нем, как в вогнутом зеркале, ту особу, чей облик носишь в глубине души.

— В самом деле,— перебил Бальтазар своего друга.— Неужто так говорят? Ну, а что еще рассказывают о господине докторе Проспере Альпанусе?

— Ах,— отвечал Фабиан,— не требуй, чтобы я подробно пересказывал тебе все эти дурацкие побасенки и бредни. Ты ведь знаешь, что и посейчас еще есть су-

масброды, которые, наперекор здравому смыслу, верят во все так называемые чудеса вздорных нянюшкиных сказок.

— Признаюсь,— сказал Бальтазар,— что я сам принужден пристать к этим сумасбродам, лишенным здравого смысла. Посеребренное дерево — это вовсе не сверкающий прозрачный хрусталь, а органчик звучит не как стеклянная гармоника, серебристый фазан — не жокей, а зонтик — не золотой жук. Или диковинный человек, которого я повстречал, не доктор Проспер Альпанус, о ком ты говоришь, или доктор и впрямь посвящен в сокровеннейшие тайны.

— Дабы совсем,— сказал Фабиан,— дабы совсем исцелить тебя от странных твоих грез, нет ничего лучше, как прямехонько свести тебя к доктору Альпанусу. Тогда ты воочию убедишься, что доктор Проспер Альпанус — обыкновеннейший лекарь и уж никоим образом не выезжает на прогулку на единорогах, с серебристыми фазанами и золотыми жуками.

— Ты высказал,— воскликнул Бальтазар, у которого засверкали глаза от радости,— ты высказал, мой друг, сокровеннейшее желание моей души. Давай немедля двинемся в путь.

Вскоре они уже стояли перед запертыми решетчатыми воротами парка, посреди которого расположился дом доктора Альпануса.

— Как же нам войти? — спросил Фабиан.

— Я полагаю, надо постучать,— ответил Бальтазар и взялся за металлическую колотушку, висевшую у самого замка.

Едва только он поднял колотушку, как под землей послышался какой-то рокот, похожий на дальний гром, который замер в бездонной глубине. Решетчатые ворота неторопливо повернулись на петлях, друзья вошли и направились по длинной широкой аллее, в конце которой они завидели сельский домик.

— Что ж,— спросил Фабиан,— замечаешь ли ты здесь что-нибудь необыкновенное, волшебное?

— Думаешь мне,— возразил Бальтазар,— что способен, каким отворились ворота, не так уж обычен, и потому, не знаю отчего, но здесь мне все кажется таким волшебным, таким магическим. Разве где-нибудь в окрестностях можно встретить столь дивные деревья, как в этом парке? И даже мнится, что иные деревья, иные кусты перенесены сюда из дальних, неведомых стран,— у них сверкающие стволы и смарагдовые листья.

Фабиан завидел двух необычайной величины лягушек, которые уже от самых ворот скакали следом за путниками по обеим сторонам аллеи.

— Нечего сказать, прекрасный парк,— вскричал Фабиан,— где водятся такие гады!— и нагнулся, чтобы поднять камешек, намереваясь метнуть им в этих веселых лягушек. Обе отпрыгнули в кусты и уставились на него блестящими человеческими глазами.— Погодите же, погодите!— закричал Фабиан, нацелился в одну из них и пустил камень.

— Невежа! С чего это он швыряет камнями в честных людей, которые в поте лица своего трудятся в саду ради хлеба насущного,— заквакала прегадкая маленькая старушонка, сидевшая у дороги.

— Идем, идем!— в ужасе забормотал Бальтазар, отлично видевший, как лягушка превратилась в старуху. Глянув в кусты, он убедился, что и другая лягушка стала маленьким старикашкой, который теперь усердно пол-лот траву.

Перед домом расстилалась прекрасная большая лужайка, на которой паслись оба единорога; в воздухе лились дивные аккорды.

— Видишь ли ты? Слышишь ли ты?— спросил Бальтазар.

— Я ничего не вижу,— отвечал Фабиан,— кроме двух маленьких пони, которые щиплют траву, а в воздухе, надо полагать, слышатся звуки развешанных где-нибудь золотых арф.

Простая благородная архитектура одноэтажного сельского домика, соразмерного в своих пропорциях, восхитила Бальтазара. Он потянул за шнурок звонка; дверь тотчас растворилась, и друзей в качестве привратника встретила высокая, похожая на страуса золотисто-желтая птица.

— Ты погляди,— обратился Фабиан к Бальтазару,— ты погляди только, какая дурацкая ливрея! Ежели захочешь дать этому парню на водку, то где же у него руки, чтобы сунуть монету в жилетный карман?

Он повернулся к страусу, ухватил его за блестящие мягкие перья, распустившиеся на шее под клювом подобно пышному жабо, и сказал:

— Доложи о нас, дражайший приятель, господину доктору.— Но страус ничего, кроме «квиррр», не ответил и клюнул Фабиана в палец.

— Тьфу, черт!— вскричал Фабиан.— А паренек-то, пожалуй, и впрямь проклятая птица!

Тут отворилась дверь во внутренние покои, и сам доктор вышел навстречу друзьям: низенький, худенький, бледный человек! Маленькая бархатная шапочка покрывала его голову, красивые волосы струились длинными прядями. Длинный индийский хитон цвета охры и маленькие красные сапожки со шнурами, отороченные — трудно было разобрать чем: то ли пестрым мехом, то ли блестящим пухом какой-то птицы, — составляли его одеяние. Лицо отражало само спокойствие, само благоволение, только казалось странным, что, когда станешь совсем близко и начнешь попристальнее в него вглядываться, то из этого лица, как из стеклянного футляра, словно выглядывало еще другое маленькое личико.

— Я увидел, — приветливо улыбаясь, заговорил тихим и несколько протяжным голосом Проспер Альпанус, — я увидел вас, господа, из окна. Правда, я и раньше знал, по крайней мере касательно вас, дорогой господин Бальтазар, что вы посетите меня. Прошу пожаловать за мной.

Проспер Альпанус провел их в высокую круглую комнату, всю затянутую небесно-голубыми занавесями. Свет проникал сверху через устроенное в куполе окно и падал прямо на стоящий посредине гладко отполированный мраморный стол, поддерживаемый сфинксом. Кроме этого, в комнате нельзя было приметить ничего необыкновенного.

— Чем могу служить? — спросил Проспер Альпанус.

Бальтазар, собравшись с духом, рассказал все, что случилось с маленьким Циннобером, начиная с его первого появления в Керепесе, и заключил с непоколебимой убежденностью, что Проспер Альпанус явится тем благодетельным магом, который положит конец негодному и мерзкому колдовству Циннобера.

Проспер Альпанус, погрузившись в глубокое раздумье, безмолвствовал. Наконец, по прошествии нескольких минут, он с серьезным видом и понизив голос заговорил:

— Судя по всему, что вы мне рассказали, Бальтазар, не подлежит сомнению, что в деле с маленьким Циннобером есть какое-то таинственное обстоятельство. Однако нужно знать врага, которого предстоит одолеть, знать причину, действие коей намереваешься разрушить. Можно предположить, что маленький Циннобер не кто иной, как альраун. Это мы сейчас узнаем.

С этими словами Проспер Альпанус потянул за один из шелковых шнурков, спускавшихся с потолка. Одна

из занавесей с шумом распахнулась, и взору открылось множество преогромных фолиантов, сплошь в золоченых переплетах; изящная, воздушно-легкая лесенка из кедрового дерева скатилась вниз. Проспер Альпанус поднялся по этой лесенке, достал с самой верхней полки фолиант и, заботливо смахнув с него пыль большой метелкой из блестящих лавлиных перьев, положил на мраморный стол.

— Этот трактат,— сказал он,— посвящен альраунам, которые все тут изображены; быть может, вы найдете среди них и враждебного вам Циннобера, и тогда он в наших руках.

Когда Проспер Альпанус раскрыл книгу, друзья увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, представлявших наидиковиннейших преуродливых человечков с глупейшими харями, какие только можно себе вообразить. Но едва только Проспер прикоснулся к одному из этих человечков, изображенных на бумаге, как он ожил, выпрыгнул из листа на мраморный стол и начал преуморительно скакать и прыгать, прищелкивая пальчиками, выделявая кривыми ножками великолепнейшие пируэты и антраша и чирикая: «Квирр-квалп, пирр-папп»,— пока Проспер не схватил его за голову и не положил в книгу, где он тотчас сплющился и разгладился в пеструю картинку.

Таким способом пересмотрели в книге все изображения, и Бальтазар не раз готов был воскликнуть: «Вот он, вот Циннобер!» Но, всмотревшись хорошенько, признужден был, к своему огорчению, заметить, что человек вовсе не Циннобер.

— Все же довольно странно,— сказал Проспер Альпанус, просмотрев книгу до конца.— Однако,— продолжал он,— быть может, Циннобер гном? Посмотрим.

И он с редким проворством снова взобрался по кедровой лесенке и достал другой фолиант, бережно смахнул с него пыль и положил на мраморный стол, объявив:

— Этот трактат посвящен гномам; быть может, мы изловим Циннобера в этой книге.

Друзья вновь увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, которые представляли отвратительное собрание безобразных коричнево-желтых чудовищ. И когда Проспер Альпанус прикасался к ним, они подымали плаксивые жалобные вопли и под конец тяжело выползали из листа и, ворча и крича, копошились на мраморном столе, пока доктор не втискивал их назад в книгу.

Но и среди них не нашел Бальтазар Циннобера.

— Странно, весьма странно,— сказал доктор и погрузился в безмолвное раздумье.

— Королем жуков,— продолжал он некоторое время спустя,— королем жуков он не может быть, ибо тот, как мне доподлинно известно, как раз теперь занят в другом месте; маршалом пауков тоже нет, ибо маршал пауков, хотя и безобразен, но разумен и искусен, живет трудами рук своих и не приписывает себе чужие заслуги. Странно, очень странно!

Он опять помолчал, так что стали явственно доноситься различные диковинные голоса: то отдельные звуки, то мощные нарастающие аккорды, раздававшиеся вокруг.

— У вас тут отовсюду слышится премилая музыка, любезный господин доктор,— сказал Фабиан.

Проспер Альпанус, казалось, вовсе не замечал Фабиана, его взор был устремлен на одного Бальтазара, он простер к нему руки и слегка шевелил пальцами, словно кропил его незримой влагой.

Наконец доктор схватил Бальтазара за обе руки и сказал с приветливой серьезностью:

— Только чистейшее созвучие психического начала по закону дуализма благоприятствует операции, которую я сейчас предприму. Следуйте за мной!

Друзья прошли вслед за доктором несколько комнат, где, если не считать нескольких диковинных зверей, упражнявшихся в чтении, письме, живописи и танцах, ничего примечательного не было, пока наконец не распахнулись двустворчатые двери, и друзья остановились перед плотным занавесом, за которым исчез Проспер Альпанус, оставив их в совершенной темноте. Занавес, шурша, раздвинулся, и друзья очутились в овальной зале, где был рассеян магический полусвет. Глядя на стены, казалось, что взор теряется в необозримых зеленых рощах и в цветочных долах с журчащими ручьями и родниками. Таинственный аромат неведомых курений колыхался в комнате и, казалось, разносил сладостные звуки стеклянной гармоник. Проспер Альпанус явился одетый во все белое, подобно брамину, и водрузил посреди залы большое круглое хрустальное зеркало, на которое набросил покрывало.

— Приблизьтесь,— сказал он торжественно и глухо,— приблизьтесь к этому зеркалу, Бальтазар, устремите неотступно все ваши мысли к Кандиде, всей душой *желайте*, чтобы она предстала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в пространстве и времени.

Бальтазар поступил так, как ему было велено, а Проспер Альпанус, став позади него, обеими руками описывал большие круги.

Спустя несколько секунд из зеркала заструился голубоватый дым. Кандида, прекрасная Кандида явилась во всей прелести своего облика, во всей полноте жизни. Но рядом с ней, совсем подле нее, сидел мерзкий Циннобер, и пожимал ее руки, и целовал ее. И Кандида одной рукой обнимала чудовище и ласкала его. Бальтазар готов был вскрикнуть, но Проспер Альпанус крепко схватил его за плечи, и крик замер у него в груди.

— Спокойней,— тихо сказал Проспер,— спокойней, Бальтазар. Возьмите эту трость и поколотите малыша, только не трогайтесь с места.

Бальтазар так и сделал и, к удовольствию своему, увидел, как малыш скорчился, свалился со стула и стал кататься по земле. В ярости Бальтазар бросился вперед, но видение растеклось в тумане и в дыме, а Проспер Альпанус с силой отдернул взбешенного Бальтазара, громко крикнув:

— Стойте! Ежели вы разобьете магическое зеркало — мы все пропали! Выйдем на свет!

Друзья, повинувшись приказанию доктора, покинули залу и вошли в соседнюю светлую комнату.

— Благодарение небу,— вскричал Фабиан, глубоко переводя дух,— благодарение небу, что мы выбрались из этой проклятой залы! Духота теснила мне сердце, и к тому же еще эти кунштики, которые мне столь ненавистны.

Бальтазар собирался возразить, но тут вошел Проспер Альпанус.

— Теперь,— сказал он,— теперь нет сомнения, что уродливый Циннобер не альраун и не гном, а обыкновенный человек. Но тут замешана какая-то таинственная, колдовская сила, открыть которую мне покамест не удалось, и оттого я еще не могу помочь вам. Посетите меня вскорости, Бальтазар, тогда посмотрим, что надлежит предпринять. До свиданья!

— Итак,— сказал Фабиан, надвигаясь на доктора,— итак, вы волшебник, господин доктор,— а не способны при всем вашем магическом искусстве отделать этого маленького, прежалкого Циннобера? Так знайте ж, что я считаю вас, со всеми вашими пестрыми картинками, куколками, магическими зеркалами, со всем вашим фигурным товаром, самым доподлинным шарлатаном. Бальтазар влюблен и кропает стихи, его вы можете уве-

рять во всяком вздоре, но со мной у вас ничего не выйдет. Я — человек просвещенный и не допускаю никаких чудес!

— Думайте что вам угодно, — возразил Проспер Альпанус, рассмеявшись громче и веселей, чем можно было от него ожидать. — Но хоть я и не совсем волшебник, все же владею некоторыми прекрасными кунштиками.

— Из Виглебовой «Магии» или из какой другой? — вскричал Фабиан. — Ну, тут вам далеко до нашего профессора Моша Терпина, и вам даже нельзя с ним равняться, ибо он честный человек и всегда показывает нам, что все совершается естественным образом, и он вовсе не окружает себя таким таинственным шармом, как вы, господин доктор. Ну, честь имею кланяться.

— Эге, — сказал доктор, — неужто вы расстанетесь со мной в таком гневе?

И с этими словами он несколько раз тихо погладил обе руки Фабиана, от плеча до кисти, так что тому стало как-то не по себе, и он в душевном стеснении воскликнул:

— Что это вы там делаете, господин доктор!

— Ступайте-ка, господа, — сказал доктор. — Вас, господин Бальтазар, я надеюсь вскорости опять увидеть. Помощь не замедлит прийти!

— На водку ты все же не получишь, приятель! — крикнул, уходя, Фабиан золотисто-желтому привратнику и потряс его за жабо. Но привратник опять ничего не ответил, кроме как «квирр», и снова клюнул Фабиана в палец.

— Вот тварь! — вскричал Фабиан и бросился бежать.

Обе лягушки не преминули учтиво проводить обоих друзей до решетчатых ворот, которые с глухим рокотом растворились и затворились.

— Я не знаю, — сказал Бальтазар, бредя по проезжей дороге позади Фабиана, — я не знаю, брат, что это тебе сегодня вздумалось надеть такой нелепый сюртук с такими невероятно длинными полами и такими куцыми рукавами.

Фабиан, к своему удивлению, заметил, что его коротенький сюртучок вытянулся сзади до самой земли, а рукава, прежде достаточно длинные, собрались сборками у локтей.

— Тысяча чертей, да что же это такое? — вскричал он и стал оттягивать и обдергивать рукава и расправлять плечи. Сперва это как будто помогло, но едва толь-

ко друзья прошли городские ворота, как рукава опять полезли кверху сборками, а полы стали расти, так что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергивания и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч, выставляя напоказ голые руки Фабиана, а сзади волочился шлейф, который все более и более удлинялся. Все встречные останавливались и хохотали во всю глотку, уличные мальчишки с восторженным воем и ликованием толпами бежали за Фабианом, хватали и рвали его длинное облачение, так что Фабиан летел кувырком, а когда он вновь поднимался на ноги, то шлейф отнюдь не убывал, нет, — он делался все длиннее. И все бешеной и неистовой становился смех, ликование и крики, пока наконец Фабиан, едва не обезумев, кинулся опрометью в распахнутую дверь какого-то дома. Шлейф тотчас же исчез.

У Бальтазара не было времени особенно удивляться странному околдовыванию Фабиана, ибо референдарий Пульхер поймал его, затащил в безлюдный переулочек и сказал:

— Да разве мыслимо, что ты еще здесь, что еще показываешься на людях, когда тебя уже разыскивает педель с приказом об аресте.

— Что такое? О чем ты говоришь? — спросил в изумлении Бальтазар.

— Так далеко, — продолжал референдарий, — так далеко увлекло тебя безумие ревности, что ты, нарушив неприкосновенность жилища, с враждебными намерениями ворвался в дом Моша Терпина, напал на Циннобера в присутствии его невесты и до полусмерти избил уродливого малыша.

— Помилуй, — вскричал Бальтазар, — да ведь я целый день не был в Керепесе! Какая постыдная ложь!

— Тише, тише, — перебил его Пульхер, — дурацкая и безрассудная выдумка Фабиана надеть платье со шлейфом спасет тебя. Теперь никто не обратит на тебя внимания! Скройся только от постыдного ареста, а уж остальное мы уладим. Тебе нельзя возвращаться домой. Дай мне ключ, я перешлю тебе все, что нужно. Скорей в Хох-Якобсхейм!

И, сказав это, референдарий потащил за собой Бальтазара глухими переулками за городские ворота, к деревне Хох-Якобсхейм, где прославленный ученый Птоломей Филадельфус писал достопримечательную книгу о неизвестном народе — студентах.

Глава ШЕСТАЯ

Как Циннобер, тайный советник по особым делам, причислялся в своем саду и принимал росяную ванну.— Орден зелено-пятнистого тигра.— Счастливая выдумка театрального портного.— Как фройляйн фон Розеншён облилась кофе, а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе.

Профессор Мош Терпин утопал в блаженстве.

— Могло ли,— говорил он сам себе,— могло ли мне выпасть большее счастье, чем случай, приведший в мой дом достойнейшего тайного советника по особым делам еще студентом? Он женится на моей дочери, он станет моим зятем, через него я войду в милость к нашему славному князю Барсануфу и буду подыматься по лестнице, по которой взбирается мой превосходный крошка Циннобер. По правде, мне самому частенько непонятно, как это моя девочка, Кандида, без памяти влюбилась в малыша. Обыкновенно женщины обращают больше внимания на красивую внешность, нежели на редкие способности души, а я, часом, как погляжу на этого малыша по особым делам, то мне сдается, что его нельзя назвать слишком красивым, он даже — bossu¹, но тише, тш-тш,— и у стен есть уши. Он любимец князя, он пойдет в гору, все выше и выше, и он — мой зять.

Мош Терпин был прав. Кандида обнаруживала решительную склонность к малышу, и когда иной раз кто-нибудь, не подпавший действию диковинных чар Циннобера, давал понять, что тайный советник по особым делам всего-навсего зловредный урод, она тотчас принималась говорить о дивных, прекрасных волосах, которыми его наделила природа.

Никто при таких речах Кандиды не улыбался так коварно, как референдарий Пульхер.

Он ходил по пятам за Циннобером, а верным помощником ему был тайный секретарь Адриан, тот самый молодой человек, которого чары Циннобера едва не изгнали из канцелярии министра. Ему удалось вновь приобрести расположение князя, только раздобыв отличное средство для выведения пятен.

Тайный советник по особым делам Циннобер обитал в прекрасном доме с еще более прекрасным садом, посреди которого находилась закрытая со всех сторон гу-

¹ Горбатый (фр.).

стым кустарником полянка, где цвели великолепные розы. Было замечено, что через каждые девять дней Циннобер тихонько встает на рассвете, одевается сам, как это ему ни трудно, без помощи слуг, спускается в сад и исчезает в кустах, скрывающих полянку.

Пульхер и Адриан, подозревая тут какую-то тайну и выведав у камердинера, что прошло девять дней с тех пор, как Циннобер посетил помянутую полянку, отважились перелезть ночью через садовую ограду и укрыться в кустах.

Едва занялось утро, как они увидели малыша, который приближался к ним, чихая и фыркая; когда он проходил куртины, росистые стебли и ветви хлестали его по носу.

Когда он пришел на розовую полянку, то по кустарникам пронеслось сладостное дуновение и розы заблагоухали еще сильнее. Прекрасная, закутанная в покрывало женщина с крыльями за спиной слетела вниз, присела на резной стул, стоявший посреди розовых кустов, и, тихо приговаривая «Поди сюда, дитя мое»,— привлекла к себе маленького Циннобера и принялась золотым гребнем расчесывать его длинные, спадавшие на спину волосы. По-видимому, это было малышу весьма по сердцу, потому что он жмурился, вытягивая ножки, ворчал и мурлыкал, словно кот. Это продолжалось добрых пять минут, после чего волшебница провела пальцем по темени малыша, и оба, Пульхер и Адриан, заметили на голове Циннобера сверкающую узкую огненную полоску. Женщина наконец сказала:

— Прощай, милое дитя мое! Будь разумен, будь разумен, насколько сможешь.

Малыш отвечал:

— Adieu, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно повторять мне это так часто.

Незнакомка медленно поднялась и исчезла в воздухе.

Пульхер и Адриан оцепенели от изумления. Но едва Циннобер собрался удалиться, референдарий выскочил из кустов и громко закричал:

— С добрым утром, господин тайный советник по особым делам! Э! Да как славно вы причесаны!

Циннобер оглянулся и, увидев референдария, бросился было бежать. Но, по неуклюжести своей и природной слабости ног, он споткнулся и упал в высокую траву, так что стебли сомкнулись над ним и он очутил-

ся в росяной ванне. Пульхер подскочил к малышу и помог ему встать на ноги, но Циннобер загнусавил:

— Сударь, как попали вы в мой сад? Проваливайте ко всем чертям! — Тут он запрыгал и бросился опрометью домой.

Пульхер написал Бальтазару об этом удивительном происшествии и обещал ему усугубить наблюдение за маленьким колдовским отродьем. Казалось, Циннобер был безутешен от того, что с ним приключилось. Он велел уложить себя в постель и так стонал и охал, что весть о его внезапном недуге скоро дошла до министра Мондшейна, а затем и до князя Барсануфа.

Князь Барсануф тотчас послал к маленькому любимцу своего лейб-медика.

— Достойнейший господин тайный советник, — сказал лейб-медик, пощупав пульс, — вы жертвуете собой для отечества. Усердные труды уложили вас в постель, беспрестанное напряжение ума послужило причиной несказанных ваших страданий, кои вы принуждены претерпевать. Вы весьма бледны и совсем осунулись, однако ваша бесценная голова так и пылает! Ай-ай! Только не воспаление мозга! Неужто это вызвано неустанным попечением о благе государства? Едва ли это возможно! Но, позвольте!

Лейб-медик, должно быть, заметил на голове Циннобера ту самую красную полоску, которую открыли Пульхер и Адриан. И он, произведя в отдалении несколько магнетических пассов и со всех сторон подув на больного, который при этом весьма явственно мяукал и пронзительно пищал, хотел провести рукой по голове и ненароком коснулся красной полоски. Но тут Циннобер, вскипев от ярости, подскочил и маленькой костлявой ручонкой вlepил лейб-медику, который как раз в это время наклонился над ним, такую оплеуху, что отдалось по всей комнате.

— Что вам надобно, — вскричал Циннобер, — что вам от меня надобно, чего ради вы ерошите мои волосы? Я совсем не болен, я здоров, я тотчас встану и поеду к министру на совещание, проваливайте!

Лейб-медик в страхе поспешил прочь. Но когда он рассказывал князю Барсануфу, как с ним обошлись, то последний в восторге воскликнул:

— Какое усердие в служении государству! Какое достоинство, какое величие в поступках! Что за человек этот Циннобер!

— Мой любезнейший господин тайный советник,— обратился к Цинноберу министр Претекстатус фон Мондшейн,— как прекрасно, что вы, невзирая на вашу болезнь, прибыли на конференцию. Я составил мемориал по важнейшему делу с какатукским двором,— составил *сам* и прошу *вас* доложить его князю, ибо ваше вдохновенное чтение возвысит целое, автором коего меня тогда признает князь!

Мемориал, которым хотел блеснуть Претекстатус, составлен был не кем иным, как Адрианом.

Министр отправился вместе с малышом к князю. Циннобер вытащил из кармана мемориал, врученный ему министром, и принялся читать. Но так как из его чтения ровню ничего не получалось и он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал, то министр взял у него из рук бумагу и стал читать сам.

Князь, видимо, был в совершенном восхищении, он дозволил заметить свое одобрение, беспрестанно восклицая:

— Прекрасно! Изрядно сказано! Великолепно! Превосходно!

Как только министр кончил, князь подошел прямо к Цинноберу, поднял его, прижал к груди, как раз к тому месту, где у него, то есть у князя, красовалась большая звезда зелено-пятнистого тигра, и, заикаясь и всхлипывая, воскликнул:

— Нет, какой человек! Какой талант! Какое усердие! Какая любовь! Это просто невероятно, невероятно! — И слезы градом сыпались из его глаз. Потом сдержаннее:

— Циннобер! Я назначаю вас своим министром! Превышайте верным и преданным отечеству, пребывайте доблестным слугой Барсануфа, который будет вас ценить, будет вас любить!

И затем, нахмурившись, обратился к министру:

— Я замечаю, любезный барон фон Мондшейн, что с некоторых пор ваши силы иссякают. Отдых в ваших имениях будет вам благотворен! Прощайте!

Министр фон Мондшейн удалился, бормоча сквозь зубы нечто невнятное и бросая яростные взгляды на Циннобера, который, по своему обыкновению, подперся тросточкой, привстал на цыпочки и с горделивым и дерзким видом озирался по сторонам.

— Я должен,— сказал князь,— я должен отличить вас, дорогой мой Циннобер, как то подобает по вашим высоким заслугам. Посему примите из моих рук орден зелено-пятнистого тигра!

И князь хотел надеть ему орденскую ленту, повелев камердинеру со всей поспешностью принести ее; но уродливое сложение Циннобера послужило причиной того, что лента никак не могла удержаться на положенном месте,— она то непозволительно задиралась кверху, то столь же непристойно съезжала вниз.

В этом, равно как и во всех других делах, касающихся подлинного благополучия государства, князь был весьма щепетилен. Орден зелено-пятнистого тигра надлежало носить на ленте в косом направлении между бедренной костью и копчиком, на три шестнадцатых дюйма выше последнего. Вот этого-то и не могли добиться. Камердинер, три паж, сам князь немало потрудились над этим; но все их старания были напрасны. Предательская лента скользила во все стороны, и Циннобер стал сердито квакать:

— Чего это вы так несносно тормошите меня? Пусть эта дурацкая штукавина болтается как угодно! Я теперь — министр и им останусь!

— Для чего же,— сказал в гневе князь,— для чего же учрежден у меня капитул орденов, когда в расположении лент существуют столь глупые статуты, противные моей воле. Терпение, мой любезный министр Циннобер, скоро все будет иначе!

Дабы измыслить, каким искусным способом приладить к министру Цинноберу ленту зелено-пятнистого тигра, пришлось по повелению князя созвать капитул орденов, коему были приданы еще два философа и один заезжий естествоиспытатель, возвращавшийся с северного полюса. И, дабы они могли собраться с силами для столь важного совещания, всем участникам оно было предписано за неделю до того перестать думать; а чтобы могли они то произвести с большим успехом, не оставляя трудов на пользу государства, им надлежало упражняться в счете. Улицы перед дворцом, где должны были заседать члены капитула орденов, философы и естествоиспытатель, были густо застланы соломой, дабы стук колес не помешал мудрецам; по той же причине возбранялось бить в барабаны, производить музыку и даже громко разговаривать вблизи дворца. В самом же дворце все ходили в толстых войлочных туфлях и объяснялись знаками.

Семь дней напролет, с раннего утра до позднего вечера, длились совещания, но все еще нельзя было и помышлять о каком-нибудь решении.

Князь в совершенном нетерпении то и дело посылал передать им, что должны же они, черт подери, наконец измыслить что-нибудь путное. Но это нисколько не помогло.

Естествоиспытатель исследовал, насколько было возможно, сложение Циннобера, измерил высоту и ширину его горба и представил капитулу точнейшие на сей счет вычисления. Он-то и предложил наконец призвать на совещание театрального портного.

Как ни странно было это предложение, его приняли единогласно,— в таком все находились беспокойстве и страхе.

Театральный портной, господин Кеэс, был человек чрезвычайно пронырливый и лукавый. Едва только ему изложили, в чем состояло затруднение, едва он поглядел на вычисления естествоиспытателя, как у него уже было под рукой великолепнейшее средство укрепить орденскую ленту на надлежащем месте.

А именно — на груди и на спине нужно нашить известное число пуговиц и к ним пристегивать орденскую ленту. Произведенный опыт удался на славу.

Князь был в восхищении и одобрил предложение капитула отныне учредить для ордена зелено-пятнистого тигра несколько различных степеней — по числу пуговиц, с коими его жалуют. Например, орден зелено-пятнистого тигра с двумя пуговицами, с тремя пуговицами и так далее. В виде особого отличия, какого никто другой не смел домогаться, министр Циннобер получил орден с двадцатью алмазными пуговицами, ибо как раз двадцать пуговиц потребовало его удивительное телосложение.

Портной Кеэс получил орден зелено-пятнистого тигра с двумя золотыми пуговицами, и так как сам князь, несмотря на помянутую счастливую выдумку, считал его плохим портным и потому не хотел у него одеваться, то он был пожалован чином действительного тайного обер-костюмера князя.

Доктор Проспер Альпанус задумчиво глядел из окна своего сельского дома в парк. Всю ночь напролет он был занят тем, что составлял гороскоп Бальтазара, а при

этом разузнал кое-что и относительно маленького Циннобера. Но всего важнее для него было то, что случилось с малышом в саду, когда его подстерегли Пульхер и Адриан. Проспер Альпанус намеревался было кликнуть своих единорогов, чтобы они подали раковину, так как он хотел отправиться в Хох-Якобсхейм, как вдруг загремела карета и остановилась подле решетчатых ворот парка. Доложили, что канонисса фон Розеншён желает поговорить с господином доктором.

— Добро пожаловать! — сказал Проспер Альпанус, и дама вошла.

На ней было длинное черное платье, и она была закутана в покрывало, подобно матроне. Проспер Альпанус, объятый странным предчувствием, взял трость и устремил на незнакомку искрящиеся лучи своего набалдашника. И вот как будто молнии с легким потрескиванием засверкали вокруг дамы, и она явилась в белом прозрачном одеянии, блестящие стрекозьи крылья были у нее за плечами, белые и красные розы заплетены в волосах. «Эге-ге!» — прошептал Проспер, спрятав трость под шляфрок, и тотчас дама предстала в прежнем своем виде.

Проспер Альпанус приветливо пригласил ее сесть. Фройляйн фон Розеншён сказала, что у нее было давнишнее намерение посетить господина доктора в его сельском доме, дабы приобрести знакомство с человеком, коего вся округа славит как весьма искусного, благодетельного мудреца. Верно, он удовольствуется ее просьбу и согласится как врач наблюдать за расположенным неподалеку приютом для благородных девиц, ибо старые дамы частенько прихварывают и не получают никакой помощи. Проспер Альпанус учтиво ответил, что хотя он уже давно оставил практику, но согласен сделать исключение и в случае надобности посетить призреваемых девиц, затем он осведомился, не страдает ли сама фройляйн фон Розеншён от какого-нибудь недуга. Фройляйн ответила уверением, что она лишь время от времени замечает ревматические боли в членах, когда ей случается простудиться на утренней прогулке, но сейчас она совершенно здорова, и тут она перевела беседу на какую-то безразличную тему. Проспер спросил, не желает ли она, так как только что наступило утро, выпить чашку кофе? Розеншён заметила, что канониссы никогда не пренебрегают этим. Кофе подали, но, как ни старался Проспер налить его, чашки оставались пустыми, хотя кофе и лился из кофейника.

— Э-э! — улыбнулся Проспер Альпанус.— Да это строптивый кофе! Не угодно ли вам, досточтимая фройляйн, разлить самой?

— С удовольствием,— отвечала фройляйн и взяла кофейник. Но несмотря на то, что из него не вылилось ни капли, все чашки наполнились, и кофе потек через край прямо на стол, на платье канониссы. Она поспешно отставила кофейник, и кофе бесследно исчез. Оба, Проспер Альпанус и канонисса, молча и несколько странно посмотрели друг на друга.

— Наверно,— начала дама,— наверно, вы, господин доктор, читали заманчивую книгу, когда я вошла?

— В самом деле,— отвечал доктор,— в этой книге много достопримечательного!

И он хотел раскрыть маленькую книжку в золоченом переплете, лежавшую перед ним на столе. Но все усилия его остались тщетными, ибо книжка всякий раз захлопывалась с громким: клипп-клапп!

— Э-э! — сказал Проспер Альпанус.— А не пытаетесь ли *вы*, досточтимая фройляйн, совладать с этой своевольной книжицей?

Он вручил ей книгу, которая, едва только дама прикоснулась к ней, раскрылась сама собой. Но все листы выскользнули из нее, растянулись в исполинское фолио и зашуршали по всей комнате.

Фрэйляйн отпрянула в испуге. Доктор с силой хлопнул книгу, и все листы исчезли.

— Однако ж,— с мягкой усмешкой сказал Проспер Альпанус, поднимаясь с места,— однако ж, моя досточтимая госпожа, для чего расточаем мы время на подобные пустые фокусы; ибо то, что мы делаем, ведь не что иное, как обыкновенные застольные фокусы; перейдем-ка лучше к более возвышенным предметам.

— Я хочу уйти! — вскричала фройляйн и поднялась с места.

— Ну,— сказал Проспер Альпанус,— это не так легко вам удастся без моего дозволения, ибо, милостивая государыня, принужден вам сказать, вы теперь совершенно в моей власти.

— В вашей власти,— гневно воскликнула фройляйн,— в вашей власти, господин доктор? Вздорное самообольщение!

И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к потолку прекрасной бархатно-черной бабочкой-антиопой. Но тотчас, зажужжав и загудев, взвился за ней следом Проспер Альпанус, приняв вид дородного

жука-рогача. В полном изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканием и мяуканьем устремился за ней серым котом. Мышка снова взвилась вверх блестящим колибри, но тогда вокруг дома послышались различные странные голоса, и, жужжа, налетели всяческие диковинные насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые, и золотая сеть затянула окна. И вдруг фея Розабельверде, во всем блеске и величии, в сверкающем белом одеянии, опоясанная алмазным поясом, с белыми и красными розами, заплетенными в темные локоны, явилась посреди комнаты. А перед нею маг в расшитом золотом хитоне, со сверкающей короной на голове,— в руке трость с источающим огненные лучи набалдашником.

Розабельверде стала наступать на мага, как вдруг из ее волос выпал золотой гребень и разбился о мраморный пол, словно стеклянный!

— Горе мне! Горе мне! — вскричала фея.

И вдруг за кофейным столом снова сидели канонисса Розеншён, в длинном черном платье, а против нее доктор Проспер Альпанус.

— Я полагаю,— преспокойно сказал Проспер Альпанус, как ни в чем не бывало разливая прекрасный дымящийся мокко в китайские чашки,— я полагаю, моя досточтимая фройляйн, мы теперь довольно хорошо знаем друг друга. Мне очень жаль, что ваш прекрасный гребень разбился об этот каменный пол.

— Тому виной,— возразила фройляйн, с удовольствием прихлебывая кофе,— только моя неловкость. Нужно остерегаться ронять что-нибудь на *этот* пол, ибо, если я не ошибаюсь, эти камни покрыты диковиннейшими иероглифами, которые многие могут счесть за обыкновенные жилки в мраморе.

— Износившиеся талисманы, моя госпожа,— сказал Проспер,— износившиеся талисманы эти камни, ничего больше.

— Однако, любезный доктор,— воскликнула фройляйн,— как могло статься, что мы давным-давно не познакомились, что наши пути ни разу не сошлись?

— Различие в воспитании,— ответил Проспер Альпанус,— различие в воспитании, высокочтимая фройляйн, единственно тому виной. В то время как вы, девушка, преисполненная надежд, были в Джиннистане всецело предоставлены вашей собственной богатой натуре, вашему счастливому гению, я, горемычный сту-

дент, заключенный в пирамидах, слушал лекции профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чертовски много знал. В правление достойного князя Деметрия я поселился в этой маленькой прелестной стране.

— Как,— удивилась фройляйн,— и вас не выслали, когда князь Пафнутий насаждал просвещение?

— Вовсе нет,— ответил Проспер,— более того: подлинное свое «я» мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распространял, выказать самые отменные познания по части просвещения. Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ — его приближенных, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения, которую я вместе с моей личиной сбросил как тягостное бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, насколько мог. То, что *мы* с вами, досточтимая фройляйн, зовем истинной пользой. Ведомо ли вам, дорогая фройляйн, что это я предостерег вас от вторжения просветительной полиции? Что я тот, кому вы обязаны тем, что еще обладаете прелестными безделками, кои вы мне только что показали? О боже, любезная фройляйн, да поглядите только в окно! Неужто не узнаете вы этот парк, где вы так часто прогуливались и беседовали с дружественными духами, обитавшими в кустах, цветах, родниках? Этот парк я спас с помощью моей науки. Он и теперь все тот же, каким был во времена старика Деметрия. Хвала небу, князю Барсануфу нет особой нужды до всякого чародейства. Он — снисходительный государь и дозволяет каждому поступать по своей воле и чародействовать сколько душе угодно, лишь бы это не было особенно заметно да исправно платили бы подати. Вот я и живу здесь, как вы, дорогая фройляйн, в своем приюте, счастливо и беспечно.

— Доктор,— воскликнула девица фон Розеншён, залившись слезами,— доктор, что вы сказали! Какое откровение! Да, я узнаю эту рошу, где я вкушала блаженнейшие радости. Доктор, вы благороднейший человек, сколь многим я вам обязана! И вы так жестоко преследуете моего маленького питомца?

— Вы,— возразил доктор,— вы, досточтимая фройляйн, дали увлечь себя вашей прирожденной доброте и расточаете свои дары недостойному. Но, однако, невзирая на вашу добросердечную мощь, Циннобер — маленький уродливый негодяй и всегда таким останется, а теперь, когда золотой гребень разбился, он совершенно в моей власти.

— О, сжальтесь, доктор! — взмолилась фройляйн.

— А не угодно ли вам поглядеть сюда? — сказал Проспер, подавая девице составленный им гороскоп Бальтазара.

Фройляйн заглянула в гороскоп и горестно воскликнула:

— Да! Если все обстоит так, то я принуждена уступить высшей силе! Бедный Циннобер!

— Признайтесь, досточтимая фройляйн,— с улыбкой сказал доктор,— признайтесь, что дамы нередко с большой охотой впадают в причуды; неустанно и неотступно преследуя внезапную прихоть, они не замечают, сколь болезненно это нарушает другие отношения. Судьба Циннобера свершится, но прежде он еще достигнет почести незаслуженной! Этим я свидетельствую свою преданность вашей силе, вашей доброте, вашей добродетели, моя высокочтимая милостивая госпожа.

— Прекрасный, чудесный человек,— воскликнула фройляйн,— останьтесь моим другом!

— Навеки! — ответил доктор.— Моя дружба, моя духовная к вам склонность, прекрасная фея, никогда не пройдут. Смело обращайтесь ко мне во всех недомысленных обстоятельствах и — о, приезжайте пить кофе, когда только это вам вздумается!

— Прощайте, мой достойнейший маг, я никогда не забуду вашей благосклонности, вашего кофе! — Сказав это, растроганная фройляйн поднялась, чтобы удалиться.

Проспер Альпанус проводил ее до решетчатых ворот, в то время как вокруг раздавались чудеснейшие и нежнейшие лесные голоса.

У ворот вместо кареты фройляйн стояла запряженная единорогами хрустальная раковина доктора, на пяточках поместился золотой жук, раскрыв блестящие крылья. На козлах восседал серебристый фазан и, держа в клюве золотые вожжи, поглядывал на фройляйн умными глазами.

Когда хрустальная карета покатилась, наполняя дивными звуками благоухающий лес, канонисса почувствовала себя перенесенной в блаженные времена чудеснейшей жизни фей.

Глава СЕДЬМАЯ

Как профессор Мош Терпин испытывал природу в княжеском винном погребе.— Mucetes Beelzebub.— Отчаяние студента Бальтазара.— Благотворное влияние хорошо устроенного сельского дома на семейное счастье.— Как Проспер Альпанус преподнес Бальтазару черепаховую табакерку и затем уехал.

Бальтазар, укрывшийся в деревне Хох-Якобсхейм, получил из Керепеса от референдаря Пульхера письмо следующего содержания:

«Дела наши, дорогой друг Бальтазар, идут все хуже и хуже. Наш враг, мерзостный Циннобер, сделался министром иностранных дел и получил орден зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами. Он вознесся в любимцы князя и берет верх во всем, чего только пожелает. Профессор Мош Терпин на себя не похож: так он напыжился от глупой гордости. Предательством своего будущего зятя он заступил место генерал-директора всех совокупных дел по части природы во всем государстве,— должность, которая приносит ему немало денег и множество других прибытков. В силу помянутой должности генерал-директора он подвергает цензуре и ревизии солнечные и лунные затмения, равно как и предсказания погоды во всех календарях, дозволенных в государстве, и в особенности испытывает природу в резиденции князя и ее окрестностях. Ради сих занятий он получает из княжеских лесов драгоценнейшую дичь, редчайших животных, коих он, дабы исследовать их естество, велит жаривать и съедает. Теперь он пишет (или по крайности уверяет, что пишет) трактат, по какой причине вино несхоже по вкусу с водой, а также оказывает иное действие, и сочинение это он намерен посвятить своему зятю. В сих целях Циннобер исхлопотал Мошу Терпину дозволение в любое время производить штудии в княжеском винном погребе. Он уже проштудировал пол-оксгофта старого рейнвейна, равно как и несколько дюжин шампанского, а теперь приступил к бочке аликанте. Погребщик в отчаянии ломает руки. Итак, профессору, который, как тебе известно, самый

большой лакомка на свете, повезло, и он вел бы весьма привольную жизнь, если бы часто не приходилось ему, когда град побьет поля, поспешно выезжать в деревню, чтобы объяснить княжеским арендаторам, отчего случается град, дабы и этим глупым пентюхам малость перепало от науки и они могли бы впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать увольнения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто, кроме них самих, не повинен.

Министр никак не может позабыть принятые от тебя побои. Он поклялся отомстить. Тебе уж больше нельзя показываться в Керепесе. И меня он тоже жестоко преследует, так как я подглядел его таинственное обыкновение причесываться у крылатых дам. До тех пор пока Циннобер будет любимцем князя, мне нечего и рассчитывать заступить какую-нибудь порядочную должность. Моя несчастливая звезда беспрестанно приводит меня к встрече с этим уродом там, где я совсем не ожидаю, и всякий раз роковым для меня образом. Недавно министр во всем параде, при шпаге, звезде и орденской ленте, был в зоологическом кабинете и, по своему обыкновению, подпершись тросточкой, стоял на цыпочках перед стеклянным шкафом с редчайшими американскими обезьянами. Чужестранцы, обозревавшие кабинет, подходят к шкафу, и один из них, завидев нашего альрауна, восклицает: «Ого! Какая милая обезьянка! Какой прелестный зверек — украшение всего кабинета. А как называется эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом?»

И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Циннобера, весьма серьезно отвечает:

— Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный бразилец, так называемый *Mycetes Beelzebub — Simia Beelzebub Linnei — niger, barbatus, podiis caudaque arice brunneis*¹ — обезьяна ревун.

— Сударь, — окрылся малыш на смотрителя, — сударь, я полагаю, вы лишились ума или совсем спятили, я никакой не *Beelzebub caudaque*, — не обезьяна ревун, я Циннобер, министр Циннобер, кавалер ордена зеленопятнистого тигра с двадцатью пуговицами!

Я стою неподалеку, и когда б мне пришлось умереть на месте, я и то бы не удержался — я просто заржал от смеха.

¹ Линнеева обезьяна Вельзевул — черная, бородастая, с кирпично-красными ногами, хвостом и макушкой (лат.).

— А, и вы тут, господин референдарий? — прохрипел он, и его колдовские глаза засверкали.

Бог весть, как это случилось, но только чужестранцы продолжали принимать его за самую прекрасную, редкостную обезьяну, которую им когда-либо довелось видеть, и захотели непременно угостить его ломбардскими орехами, которые повытаскивали из карманов. Циннобер пришел в такую ярость, что не мог передохнуть, и ноги у него подкосились. Камердинер, которого позвали, принужден был взять его на руки и снести в карету.

Я и сам не могу объяснить, отчего это происшествие было мне как бы мерцанием надежды. Это первая неудача, постигшая маленького оборотня.

Намедни, насколько мне известно, Циннобер рано поутру воротился из сада весьма расстроенный. Должно быть, крылатая женщина не явилась, так как от его прекрасных кудрей не осталось и помина. Говорят, теперь его всклоченные лохмы свисают на плечи, и князь Барсануф заметил ему: «Не пренебрегайте чрезмерно вашей прической, дорогой министр, я пришлю к вам своего куафера». На что Циннобер весьма учтиво ответил, что он велит этого парня, когда тот зайвится, выбросить в окошко. «Великая душа! К вам и не подступиться!» — промолвил князь и горько заплакал.

Прощай, любезный Бальтазар! Не оставляй надежды да прячься получше, чтобы они тебя не схватили!»

В совершенном отчаянии от всего, о чем писал ему друг, Бальтазар убежал в самую чащу леса и принялся громко сетовать.

— Надеяться! — воскликнул он. — И я еще должен надеяться, когда всякая надежда исчезла, когда все звезды померкли и темная-претемная ночь объемлет меня, безутешного? Злосчастный рок! Я побежден темными силами, губительно вторгшимися в мою жизнь! Безумец, я возлагал надежды на Проспера Альпануса, что своим адским искусством завлек меня и удалил из Керепеса, сделав так, что удары, которые я наносил изображению в зеркале, посыпались в действительности на спину Циннобера. Ах, Кандида! Когда б только мог я позабыть это небесное дитя! Но искра любви пламенеет во мне все сильнее и жарче прежнего. Повсюду вижу я прелестный образ возлюбленной, которая с нежной улыбкой, в томлении простирает ко мне руки, Я ведь

знаю! Ты любишь меня, прекрасная, сладчайшая Кандида, и в том моя безутешная, смертельная мука, что я не в силах спасти тебя от бесчестных чар, опутавших тебя! Предательский Проспер! Что сделал я тебе, что ты столь жестоко дурачишь меня?

Смерклось: все краски леса смешались в густой серой мгле. И вдруг сверкнул какой-то странный отблеск, словно вечерняя заря вспыхнула меж кустов и деревьев, и тысячи насекомых, шелестя крыльями, с жужжанием поднялись в воздух. Светящиеся золотые жуки носились взад и вперед, пестрые нарядные бабочки порхали, осыпая душистую цветочную пыльцу. Шелест и жужжание становились все нежнее, переходя в сладостно журчащую музыку, которая принесла утешение истерзанному сердцу Бальтазара. Над ним все сильнее разгоралось лучистое сияние. Он поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Альпануса, летевшего к нему на каком-то диковинном насекомом, не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми красками стрекозой.

Проспер Альпанус спустился к юноше и сел подле него, а стрекоза упорхнула в кусты, вторя пению, наполнявшему весь лес.

Сверкающим чудесным цветком, что был у него в руке, доктор коснулся чела Бальтазара, и тотчас в юноше пробудился дух бодрости.

— Ты несправедлив,— тихо сказал Проспер Альпанус,— ты весьма несправедлив ко мне, любезный Бальтазар, когда бранишь меня предательским и жестоким, как раз в ту самую минуту, когда мне удалось возобладать над чарами, разрушившими твою жизнь, когда я, чтобы скорей найти тебя, скорей утешить, взлетаю на своем любимом скакуне и мчусь к тебе со всем необходимым для твоего благополучия. Однако нет ничего горше любовной муки, ничто не сравнится с нетерпением души, отчаявшейся в любовной тоске. Я прощаю тебе, ибо и мне самому было не легче, когда я, примерно две тысячи лет тому назад, полюбил индийскую принцессу, которую звали Бальзамина, и в отчаянии вырвал бороду своему лучшему другу, магу Лотосу, по какой причине и сам, как ты видишь, не ношу бороды, дабы и со мной не случилось чего-либо подобного. Однако ж рассказывать тебе обо всем пространно было бы сейчас весьма неуместно, ибо всякий влюбленный хочет слышать только о *своей* любви и только одну ее считает достойной речи, равно как и всякий поэт с охотой внимает только своим стихам. Итак, к делу! Знай же, что

Циннобер — обездоленный урод, сын бедной крестьянки, и настоящее его прозвание — крошка Цахес. Только из тщеславия принял он гордое имя Циннобер! Канонисса фон Розеншён, или в действительности прославленная фея Розабельверде, ибо эта дама не кто иная, как фея, нашла маленькое чудище на дороге. Она полагала, что за все, в чем природа-мачеха отказала малышу, вознаградит его странным таинственным даром, в силу коего все замечательное, что в его присутствии кто-либо другой помыслит, скажет или сделает, будет приписано *ему*, да и он в обществе красивых, рассудительных и умных людей будет признан красивым, рассудительным и умным и вообще всякий раз будет почтен совершеннейшим в том роде, с коим придет в соприкосновение.

Это удивительное волшебство заключено в трех огнистых сверкающих волосках на темени малыша. Всякое прикосновение к этим волоскам, да и вообще к голове, для него болезненно, даже губительно. По этой-то причине фея превратила его от природы редкие, всклокоченные волосы в густые, прекрасные локоны, которые, защищая голову малыша, вместе с тем скрывают упомянутую красную полоску и увеличивают чары. Каждый девятый день фея магическим золотым гребнем причесывала малыша, и эта прическа расстраивала все попытки уничтожить чары. Но этот гребень разбил надежный талисман, который я изловчился подsunуть доброй фее, когда она посетила меня.

Теперь дело за тем, чтобы вырвать у него эти три огнистых волоска, и он погрузится в былое ничтожество. Тебе, мой любезный Бальтазар, предназначено разрушить эти чары. Ты наделен мужеством, силой и ловкостью, ты свершишь все, как надлежит. Возьми это отшлифованное стеклышко, подойди к маленькому Цинноберу, где бы ты его ни встретил, пристально погляди через это стекло на его голову, и три красных волоска прямо и несокровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзирая на пронзительный кошачий визг, который он подымет, вырви разом эти три волоска и тотчас сожги их на месте. Непременно нужно вырвать эти волоски единым разом и тотчас же сжечь, а не то они смогут причинить еще немало всяческого вреда. Поэтому особенно обрати внимание на то, чтобы напасть на малыша и крепко и ловко ухватить эти волоски, когда поблизости будет гореть камин или свечи.

— О Проспер Альпанус! — вскричал Бальтазар. — Своим недоверием я не заслужил такой доброты, тако-

го великодушия! В глубине моего сердца родилось чувство, что мои страдания миновали, что мне отверзлись золотые врата небесного счастья.

— Я люблю,— продолжал Проспер Альпанус,— я люблю юношей, у которых, подобно тебе, любезный Бальтазар, в чистом сердце заключено нетерпеливое стремление и любовь, в чьих душах находят отзвук те величественные аккорды, что доносятся из дальней, полной божественных чудес страны — моей родины. Счастливы, одаренные этой внутренней музыкой,— единственные, кого можно назвать поэтами, хотя этим словом называют многих, которые хватают первый попавшийся контрабас, водят по нему смычком и беспорядочное дребезжание стонущих от их прикосновения струн принимают за великолепную музыку, что струится из глубины их собственных сердец. Я знаю, возлюбленный Бальтазар,— подчас тебе сдается, что ты понимаешь бормотание ручьев, шепот деревьев и будто пламенеющий закат ведет с тобой разумные речи. Да, мой Бальтазар, в эти мгновения ты и впрямь постигаешь чудесные голоса природы, ибо в твоей собственной душе возникает божественный звук, порожденный дивной гармонией сокровеннейших начал природы. Так как ты играешь на фортепиано, о поэт, то тебе, верно, известно, что взятому тону вторят все ему созвучные. Этот закон природы взят мною не для пустого сравнения. Да, ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из тех, кому ты читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил переложить на бумагу внутреннюю музыку. В этих опытах ты еще немного успел. Однако ты сделал хороший набросок в историческом роде, когда с прагматической широтой и обстоятельностью рассказал о любви соловья к алой розе, историю, которой я был свидетелем. Это весьма искусное произведение.

Проспер Альпанус умолк. Бальтазар, широко раскрыв глаза, с удивлением смотрел на него; он совсем не знал, что ему сказать, когда стихотворение, которое он считал самым фантастическим из всего, что было им написано, Проспер объявил опытом в историческом роде.

— Тебя,— продолжал Проспер Альпанус, и лицо его озарилось приветливой улыбкой,— тебя мои речи, должно быть, приводят в изумление, и тебе, верно, многое во мне кажется странным. Но рассуди сам: по мнению всех здравомыслящих людей, я — лицо, которому дозволено выступать лишь в сказках, а ты знаешь, возлюбленный Бальтазар, подобные лица могут совершать диковинные

поступки и молоть всякий вздор, сколько им вздумается, особенно же если за этим скрывается нечто такое, чего нельзя отвергнуть. Однако ж продолжим беседу. Ежели фея Розабельверде так ревностно заботится об уродливом Циннобере, то ты, Бальтазар, всецело под моей защитой. Так послушай, что я надумал для тебя сделать. Вчера меня посетил маг Лотос, он передал мне несчетное множество поклонов и столько же упреков от принцессы Бальзамины, которая пробудилась от сна и в сладостных звуках Чарта-Бхады, той прекрасной поэмы, что была нашей первой любовью, простирает ко мне томлящиеся руки. Также и мой старый друг, министр Юхи, приветливо кивает мне с Полярной звезды. Я должен уехать в далекую Индию. В моем имении, которое я покидаю, я не желал бы видеть другого владельца, кроме тебя. Завтра я отправляюсь в Керепес и составлю по всей форме дарственную запись, где я буду означен твоим дядей. Как только чары Циннобера будут разрушены, ты представишься профессору Мошу Терпину владельцем прекрасного имения, изрядного состояния и попросишь руки прелестной Кандиды, на что он с превеликой радостью согласится. Мало того! Ежели ты поселишься с Кандидой в моем сельском доме, то счастье вашего супружества обеспечено. За прекрасными деревьями сада произрастает все, что необходимо для домашнего обихода. Помимо чудеснейших плодов — еще и отменная капуста, да и всякие добротные вкусные овощи, каких по всей округе не найти. У твоей жены всегда будет первый салат, первая спаржа. Кухня так устроена, что горшки никогда не перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если ты на целый час опоздаешь к столу. Ковры, чехлы на стульях и диване такого свойства, что даже при самой большой неловкости слугам не удастся посадить на них пятно, точно так же там не бьется ни фарфор, ни стекло, какие бы великие усилия ни прилагала к тому прислуга, даже если начнет бросать посуду на каменный пол. Наконец, всякий раз когда твоя жена устроит стирку, то на большом лугу позади дома будет стоять прекрасная ясная погода, хотя бы повсюду шел дождь, гремел гром и сверкала молния. Словом, мой Бальтазар, все устроено так, чтобы ты мог спокойно и нерушимо наслаждаться семейным счастьем подле прекрасной своей Кандиды!

Однако мне пора домой, дабы вместе с моим другом Лотосом заняться сборами к скорому отъезду. Прощай, мой Бальтазар!

Тут Проспер свистнул раз, другой, и тотчас, жужжа, прилетела стрекоза. Он взнуздal ее и вскочил в седло. Но, уже отлетев, внезапно остановился и вернулся к Бальтазару.

— Я было,— сказал он,— чуть не запмятовал о твоём друге Фабиане. Поддавшись шаловливой веселости, я чересчур жестоко покарал его за ложное умствование. В этой табакерке заключено то, что его утешит.

Проспер подал Бальтазару маленькую блестящую, полированную черепаховую табакерку, которую тот спрятал вместе с лорнеткой, ранее врученной ему Проспером для уничтожения чар Циннобера.

Проспер Альпанус прошуршал сквозь кустарник, в то время как лесные голоса звенели все сладостней и громче.

Бальтазар воротился в Хох-Якобсхейм; все блаженство, весь восторг сладчайшей надежды наполняли его сердце.

Глава ВОСЬМАЯ

Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и смутьяном.— Как князь Барсануф укрылся за каминным экраном и отрешил от должности генерал-директора естественных дел — Бегство Циннобера из дома Моша Терпина.— Как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сделаться императором, но потом пошел спать.

Рано поутру, когда дороги и улицы были еще безлюдны, Бальтазар прокрался в Керепес и прямехонько побежал к своему другу Фабиану. Когда он постучал в дверь, слабый, больной голос отозвался: «Войдите!»

Бледный, изможденный, с безнадежной скорбью в лице, лежал на постели Фабиан.

— Ради Бога,— вскричал Бальтазар,— ради Бога, скажи, друг, что с тобой приключилось?

— Ах, друг,— прерывающимся голосом заговорил Фабиан и с трудом приподнялся с постели,— я пропал, я совсем пропал! Проклятое колдовское наваждение, которое — я знаю — наслал на меня мстительный Проспер Альпанус, довело меня до гибели!

— Статочное ли дело? — спросил Бальтазар.— Чародейство! Колдовское наваждение! Да ты ведь прежде ни во что такое не верил!

— Ах,— продолжал Фабиан слезливым голосом,— ах, я теперь верю во все: в колдунов и ведьм, в гномов и водяных, в крысиного короля и альраунов корень — во все, во что хочешь! Кому так не поздоровится, как мне, тот со всем согласен! Помнишь адский переполох из-за моего сюртука по возвращении от Проспера Альпануса? Да! Когда б только дело тем и кончилось! Погляди-ка, дорогой Бальтазар, что тут у меня в комнате!

Бальтазар огляделся и увидел, что кругом, по всем стенам развешано несчетное множество фраков, сюртуков, курток всевозможнейшего покроя и всевозможных цветов.

— Как? — вскричал он.— Фабиан, ты собрался торговать ветошью?

— Не насмехайся,— отвечал Фабиан,— не насмехайся, дорогой друг. Все эти платья я заказывал у знаменитейших портных, надеясь когда-нибудь избавиться от этого злосчастного проклятия, тяготеющего над моей одеждой, но тщетно. Стоит мне надеть самый лучший сюртук, который сидит на мне превосходно, и поносить его несколько минут, как рукава собираются к плечам, а фалды волочатся за мной на шесть локтей. В отчаянии я велел шить себе вот этот спенсер с нескончаемо длинными, как у Пьеро, рукавами.

«А ну, соберитесь-ка, рукава,— думал я про себя,— растянитесь, полы, и все придет в надлежащий вид».

Но в несколько минут с ним случилось то же самое, что и с остальным платьем! Все уменье и все усилия самых искусных портных не могут побороть этих проклятых чар! Что всюду, где я ни появлялся, надо мной потешались, глумились, это, разумеется, само собой, но скоро мое безвинное упорство, с каким я продолжал появляться в таком дьявольском платье, подало повод к иным суждениям. Самым меньшим злом еще было то, что женщины укоряли меня в безграничной пошлости и тщеславии, ибо я, наперекор всем обычаям, обнажаю руки, видимо считая их весьма красивыми. Теологи скоро ославили меня еретиком и только спорили еще, причислить ли меня к секте рукавианцев или фалдистов, но сошлись на том, что обе секты до чрезвычайности опасны, ибо обе допускают абсолютную свободу воли и дерзают думать что угодно. Дипломаты видели во мне презренного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его против правительства и что

я вообще принадлежу к тайному сообществу, отличительный знак которого — короткие рукава. Что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы короткорукавников, коих так же надлежит опасаться, как иезуитов, даже больше, ибо они тшатся всюду насаждать вредную для всякого государства поэзию и сомневаются в непогрешимости князя. Словом, дело становилось все серьезней и серьезней, пока наконец меня не потребовал к себе ректор. Я предвидел, что будет беда, если я надену сюртук, и поэтому явился в одном жилете. Это разгневало ректора, он решил, что я хочу над ним посмеяться, и накричал на меня, приказав, чтоб я через неделю явился к нему в благоразумном, пристойном сюртуке; в противном же случае он без всякого снисхождения распорядится меня исключить. Сегодня настал срок. О, я несчастный! О, проклятый Проспер Альпанус!

— Пойди,— вскричал Бальтазар,— пойди, любезный друг Фабиан, не поноси моего доброго, милого дядюшку, который подарил мне имение. Он и тебе не желает зла, хотя, признаюсь, он чересчур жестоко наказал тебя за самонадеянное умствование. Но я принес тебе избавление. Он прислал тебе вот эту табакерку, которая положит конец всем твоим мучениям.

Тут Бальтазар вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, полученную от Проспера Альпануса, и вручил ее безутешному Фабиану.

— Чем,— спросил он,— чем пособит мне эта глупая безделка? Какое действие может оказать маленькая черепаховая табакерка на покрое моего платья?

— Того я не знаю,— ответил Бальтазар,— однако ж мой дядюшка не станет меня обманывать, у меня к нему совершеннейшее доверие; а потому открой-ка табакерку, любезный Фабиан, давай поглядим, что в ней.

Фабиан так и сделал. Из табакерки выполз превосходно сшитый черный фрак тончайшего сукна. Оба, Фабиан и Бальтазар, не могли удержаться от крика величайшего изумления.

— Ага, я понимаю тебя,— воскликнул в восторге Бальтазар,— я понимаю тебя, мой Проспер, мой дорогой дядя! Этот фрак будет впору, он снимет все чары!

Фабиан без дальнейших околичностей надел его, и, как Бальтазар предполагал, так и случилось. Прекрасный фрак сидел на нем великолепно, как никогда, а о том, чтобы рукава полезли вверх и фалды удлинлись, не было и помину.

Вне себя от радости, Фабиан порешил тотчас же отправиться в этом новом, так хорошо сидящем фраке к ректору и уладить все дело.

Бальтазар со всеми подробностями рассказал своему другу, как обстоит дело с Проспером Альпанусом и как тот дал ему средство положить конец мерзким бесчинствам уродливого карлика. Фабиан, совершенно переменявшись, ибо его окончательно покинул дух сомнения, превозносил высокое благородство Проспера и предложил свою помощь при расколдовывании Циннобера. В эту минуту Бальтазар увидел в окно своего друга, референдаря Пульхера, который в полном унынии сворачивал за угол.

По просьбе Бальтазара Фабиан высунулся из окна, помахал рукой и крикнул референдарию, чтобы он сейчас же поднялся к нему.

Едва Пульхер вошел, как тотчас же воскликнул:
— Что за чудесный фрак на тебе, любезный Фабиан!

Но тот сказал, что Бальтазар ему все объяснит, и помчался к ректору.

Когда Бальтазар обстоятельно поведал референдарию обо всем, что произошло, тот сказал:

— Как раз пришло время умертвить это гнусное чудовище! Знай,— сегодня он торжественно справляет свою помолвку с Кандидой и тщеславный Мош Терпин устраивает празднество, на которое пригласил самого князя. Во время этого празднества мы и вторгнемся в дом профессора и нападём на малыша. Свечей в зале будет довольно, чтоб тотчас же сжечь ненавистные волоски.

Друзья успели переговорить и условиться о многих вещах, когда воротился Фабиан, сияя от радости.

— Сила,— сказал он,— сила, заключенная во фраке, выползшем из черепаховой табакерки, прекрасно себя оправдала! Едва только я вошел к ректору, он улыбнулся, весьма довольный. «Ага,— обратился он ко мне,— ага! Я вижу, любезный Фабиан, что вы отступились от своего странного заблуждения! Ну, горячие головы, подобные вам, легко вдаются в крайности! Ваше начинание я никогда не объяснял религиозным изуверством, скорее ложно понятым патриотизмом — склонностью к необычайному, которая покоится на примерах героев древности. Да, вот это я понимаю! Какой прекрасный фрак! Как хорошо сидит! Слава государству, слава всему свету, когда благородные духом юноши носят фрак с так хорошо прилаженными рукавами и фалдами! Хра-

ните верность, Фабиан, храните верность такой добродетели, такой честности мыслей,— вот откуда произрастает подлинное величие героев!» Ректор обнял меня, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная как, я вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, из которой возник фрак. «Разрешите»,— сказал ректор, сложив пальцы, большой и указательный. Я раскрыл табакерку, не зная, есть ли в ней табак. Ректор взял щепотку, понюхал, схватил мою руку и крепко пожал ее, слезы текли у него по щекам; глубоко растроганный, он сказал: «Благородный юноша! Славная понюшка! Все прощено и забыто! Приходите сегодня ко мне обедать». Вы видите, друзья, всем моим мукам пришел конец, и если нам удастся сегодня разрушить чары Циннобера,— а иного и ожидать не приходится,— то и *вы* будете счастливы!

В освещенной сотнями свечей зале стоял крошка Циннобер в багряном расшитом платье, при большой звезде зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами,— на боку шпага, шляпа с плюмажем под мышкой. Подле него — прелестная Кандида в уборе невесты, во всем сиянии красоты и юности. Циннобер держал ее руку, которую порою прижимал к губам, причем протворительно скалил зубы и ухмылялся. И всякий раз щеки Кандиды заливал горячий румянец, и она вперяла в малыша взор, исполненный самой искренней любви. Смотреть на это было весьма страшно, и только ослепление, в которое повергли всех чары Циннобера, было виной тому, что никто не возмущился бесчестным обманом, не схватил маленького ведьмёныша и не швырнул его в камин. Вокруг этой пары в почтительном отдалении толпились гости. Только князь Барсануф стоял рядом с Кандидой и бросал многозначительные и благосклонные взгляды, на которые, впрочем, никто не обращал особого внимания. Все взоры были устремлены на жениха и невесту, все внимание обращено к устам Циннобера, который время от времени бормотал какие-то невнятные слова, всякий раз исторгавшие у слушателей негромкое «ах!» величайшего изумления.

Пришло время обручения. Мош Терпин приблизился с подносом, на котором сверкали кольца. Он откашлялся. Циннобер как можно выше приподнялся на цыпочках, так что почти достал локтя невесты. Все стояли

в напряженном ожидании,— и тут вдруг слышатся чьи-то чужие голоса, двери в залу распахиваются, врывается Бальтазар, с ним Пульхер, Фабиан! Они прорывают круг гостей. «Что это значит, что нужно этим незваным?» — кричат все наперебой.

Князь Барсануф вопит в ужасе: «Возмущение! Крамола! Стража!» — и быстро прячется за каминный экран. Мош Терпин узнает Бальтазара, подступившего к Цинноберу, и кричит:

— Господин студент! Вы рехнулись! В своем ли вы уме? Как вы посмели ворваться сюда во время обручения? Люди! Господа! Слуги! Вытолкайте этого невежу за дверь!

Но Бальтазар, не обращая на все это ни малейшего внимания, уже достал лорнет Проспера Альпануса и пристально глядит через него на голову Циннобера. Словно пораженный электрическим ударом, Циннобер испускает пронзительный кошачий визг, разнесшийся по всей зале. Кандида в беспамятстве падает на стул. Тесный круг гостей рассыпается. Бальтазар отчетливо видит огнистую сверкающую прядь, он подскакивает к Цинноберу — хватает его. Тот отбрыкивается, упирается, царапается, кусается.

— Держите! Держите! — кричит Бальтазар. Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волоски, единым духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздается оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается, и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: «Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?» — и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и, не умолкая, кричит: «Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!» — то все раздражаются ужаснейшим смехом. Малыша окружают. Мужчины подхватывают его и перебрасывают, как мяч. Орденские пуговицы отлетают одна за другой — он теряет шляпу, шпагу, башмаки. Князь Барсануф выходит из-за каминного экрана и вмешивается в суматоху. Тут малыш визжит:

— Князь Барсануф! Ваша светлость! Спасите вашего министра! Вашего любимца! На помощь! На помощь! Государство в опасности! Зелено-пятнистый тигр, горе, горе!

Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит к дверям. Мош Терпин заступает ему дорогу. Князь хватает его за руку, отводит в угол и говорит, сверкая от ярости глазами:

— Вы осмелились перед вашим князем, перед отцом отечества разыграть глупую комедию? Вы пригласили меня на помолвку вашей дочери с моим достойным министром Циннобером, и вместо моего министра я нахожусь здесь какого-то мерзкого выродка, которого вы раздели в пышное платье? Знайте, сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сумасбродом, которому место в доме умалишенных. Я отрешаю вас от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!

И он стремительно выбежал из дому.

Дрожа от бешенства, бросился Мош Терпин на малыша, ухватил его за длинные всклокоченные волосы и поволок к окну.

— Проваливай! — кричал он, — проваливай, мерзкий, презренный выродок, который так постыдно провел меня и лишил счастья всей жизни!

Он собрался было выбросить малыша в открытое окно, однако ж смотритель зоологического кабинета, случившийся тут же, с быстротою молнии подскочил к ним и выхватил Циннобера из рук Моша Терпина.

— Остановитесь, — сказал смотритель, — остановитесь, господин профессор, не покушайтесь на то, что принадлежит князю. Это вовсе не выродок, — это *Mucetes Beelzebub*, *Simia Beelzebub*, сбежавший из музея.

«*Simia Beelzebub! Simia Beelzebub!*» — заремел кругом громкий смех. Но едва только смотритель взял малыша на руки и хорошенько разглядел его, как воскликнул с досадою:

— Что я вижу! да ведь это не *Simia Beelzebub* — это гадкий, отвратительный альраун! Тьфу! Тьфу!

И с этими словами он швырнул малыша на середину залы. Под раскаты зычного надругательского смеха, визжа и мяуча, выбежал Циннобер за дверь, скатился по лестнице — скорее, скорее домой, — так что никто из слуг его даже не заметил.

Покуда все это происходило в зале, Бальтазар удалился в гостиную, куда, как он узнал, отнесли бесчувственную Кандиду. Он упал к ее ногам, прижимал к своим губам ее руки, называл ее нежнейшими именами. Но вот, глубоко вздохнув, она очнулась и, увидев Бальтазара, в восторге воскликнула:

— Наконец-то, наконец-то ты здесь, любимый мой Бальтазар! Ах, я едва не умерла от тоски и любовной муки! И мне все слышалось пение соловья, от которого истекает кровью сердце алой розы!

И вот, обо всем, обо всем позабыв, она рассказала ему, какой злой, отвратительный сон окутал ее, как ей казалось, что у ее сердца лежит безобразное чудище, которое она была принуждена полюбить, ибо не могла иначе. Чудище умело так притворяться, что становилось похоже на Бальтазара; а когда она прилежно думала о Бальтазаре, то, хотя и знала, что чудище не Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось, будто она любит чудище именно ради Бальтазара.

Бальтазар объяснил ей все, насколько это было возможно, не внося расстройств в ее и без того взволнованную душу. Затем, как это всегда бывает у влюбленных, последовали тысячи уверений, тысячи клятв в вечной любви и верности. И они обнялись и прижимали друг друга к груди со всем жаром искренней нежности и были упоены высшим небесным блаженством и восторгом.

Вошел Мош Терпин, ломая руки и горько сетуя; за ним следом — Пульхер и Фабиан, беспрестанно его утешавшие, но тщетно.

— Нет,— вопил Мош Терпин,— нет, я вконец погибший человек! Я уже больше не генерал-директор естественных дел в нашем государстве! Никаких штудий в княжеском погребе... Немилость князя... Я надеялся стать кавалером ордена зелено-пятнистого тигра по крайней мере с пятью пуговицами! Все пропало! Что-то теперь скажет его превосходительство досточтимый министр Циннобер, когда услышит, что я принял за него негодного выродка *Simia Beelzebub cauda prehensili*¹ или не знаю кого там еще. О боже, его ненависть падет на меня! Аликанте! Аликанте!

¹ Обезьяна Вельзевул с цепким хвостом (лат.).

— Но послушайте, дорогой профессор,— утешали его друзья,— уважаемый генерал-директор, возьмите в толк, что теперь уже больше нет никакого министра Циннобера. Вы совсем не обманулись: мерзкий уродец в силу волшебного дара, полученного им от феи Розабельверде, обольстил вас так же, как и всех нас!

И вот Бальтазар рассказал, как все это случилось, с самого начала. Профессор слушал, слушал, пока Бальтазар не кончил, и вдруг воскликнул:

— Во сне я или наяву,— ведьмы, волшебники, феи, магические зеркала, симпатии — и я должен поверить в этот вздор?

— Ах, любезный господин профессор,— вмешался Фабиан,— поносили бы вы хоть малое время сюртук с короткими рукавами да длинным шлейфом, как это довелось мне, вы бы во все уверовали, так что любо было бы посмотреть!

— Да,— вскричал Мош Терпин,— да, да, все это так! Да, меня обольстило заколдованное чудище, я уже не стою на ногах, я взлетаю под потолок, Проспер Альпанус берет меня с собой, я выезжаю верхом на мотыльке, меня будет причесывать фея Розабельверде — канонисса Розепшён,— и я стану министром! Королем! Императором!

И он принялся прыгать по комнате, кричать и издавать радостные возгласы, так что все опасались за его рассудок, пока наконец, совсем обессилев, не упал в кресла. Тут Кандида и Бальтазар подошли к нему. Они сказали, что любят друг друга нежно, больше всего на свете, что не могут друг без друга жить, так что слушать их было весьма грустно, по какой причине Мош Терпин даже немного всплакнул.

— Дети,— воскликнул он, всхлипывая,— дети, делайте все, что хотите! Женитесь, любите друг друга, голодайте вместе, потому что в приданое Кандиде я не дам ни гроша!

Что касается голода, сказал, улыбаясь, Бальтазар, так он надеется завтра убедить господина профессора, что об этом никогда не пойдет речь, ибо его дядя, Проспер Альпанус, о нем хорошо позаботился.

— Так и сделай,— пролепетал профессор улыбаясь,— так и сделай, мой любезный сын, коли сможешь, но только завтра; а не то я лишусь ума и у меня треснет голова, если я тотчас не отправлюсь спать!

Так он и поступил.

Глава ДЕВЯТАЯ

Смущение верного камердинера.— Как старая Лиза учинила мятеж, а министр Циннобер, обратившись в бегство, поскользнулся.— Каким удивительным образом объяснил лейб-медик скоростижную смерть Циннобера.— Как князь Барсануф был опечален, как он ел лук и как утрата Циннобера осталась невознаградимой.

Карета министра Циннобера почти всю ночь тщетно простояла перед домом Моша Терпина. Егерю не раз говорили, что их превосходительство, должно быть, уже давно оставили общество, но егерь полагал, что это никак невозможно, ибо не побегит же их превосходительство домой пешком в такой дождь и ветер. А когда наконец потушили все огни и заперли двери, егерю все же пришлось отбыть с пустой каретой, однако в доме министра он тотчас же разбудил камердинера и спросил, воротился ли министр домой и — праведное небо! — каким образом это случилось.

— Их превосходительство, — шепнул камердинер ему на ухо, — их превосходительство вчера воротились домой поздно вечером, это доподлинно. Они легли в постель и теперь почивают! Однако ж! Дорогой егеры! в каком виде! каким образом! я вам про все расскажу, — но... чур молчок! я пропал, коли их превосходительство узнают, что это я повстречался им в темном коридоре, я лишусь должности, ибо хотя их превосходительство и невеликоники ростом, однако же обладают чрезмерно крутым нравом, скоры на гнев и не помнят себя в ярости, еще вчера они без усталости кололи шпагой дрянную мышь, осмелившуюся прошмыгнуть через оночивальню их превосходительства. Ну, ладно! Так вот, накидываю я в сумерках свой плащишко и собираюсь улизнуть в кабачок через дорогу — сыграть партию в трик-трак; вдруг на лестнице что-то как зашуршит, как зашаркает — прямо на меня, проскакивает в темном коридоре у меня промеж ног, падает на пол и подымает пронзительный кошачий визг, а потом хрюкает. О Боже! Егерь! Только попридержите язык, вы — благородный человек, а не то я пропал. Подойдите-ка поближе! И хрюкает, как имеет обыкновение хрюкать наша милость, их превосходительство, когда повар пережарит телятину или в государстве творится что-нибудь неладное.

Последние слова камердинер прошептал егерю на ухо, прикрыв рот рукой. Егерь отпрянул, состроил недоверчивую мину и воскликнул:

— Возможно ли?

— Да,— продолжал камердинер,— нет никакого сомнения, что это наша милость, их превосходительство проскочило у меня промеж ног в коридоре. Я слышал явственно, как их милость гремели стульями по комнатам и хлопали дверьми, пока не добрались до опочивальни. Я не отважился пойти следом, но, переждав несколько часов, подкрался к двери спальни и прислушался. И вот их превосходительство изволят храпеть, как то у них в обыкновении перед великими делами. Егерь! «И на земле и в небесах есть многое, о чем еще не грезила земная наша мудрость!» — как довелось мне слышать в театре; это говорил какой-то меланхолический принц; он был одет во все черное и очень боялся другого, расхаживавшего в серых картонных латах. Егерь, вчера, верно, случилось нечто весьма удивительное, что принудило их превосходительство воротиться домой. У профессора в гостях был князь, быть может, он что-либо проронил о том о сем, какая-нибудь приятная реформочка — и вот министр тотчас взялся за дело, спешит с помолвки и начинает трудиться на благо отечества. Я-то уж сразу заметил по храпу: случится что-то значительное. Предстоят великие перемены! Ох, егерь, быть может, нам всем рано или поздно придется снова отращивать косы! Однако ж, бесценный друг, пойдем да послушаем как верные слуги у дверей спальни, все ли еще их превосходительство почивают в постели и заняты своими сокровенными мыслями.

Оба — камердинер и егерь — прокрались к дверям и прислушались. Циннобер ворчал, храпел и свистел, пуская удивительнейшие рулады. Слуги застыли в немом благоговении, и камердинер сказал растроганно:

— Какой, однако ж, великий человек наш милостивый господин министр!

Рано поутру в прихожей дома, где жил министр, поднялся великий шум. Старая крестьянка, одетая в жалкое, давно полинявшее праздничное платье, вторглась в дом и стала просить швейцара немедленно провести ее к сыночку — крошке Цахесу. Швейцар соизволил пояснить, что в доме живет его превосходительство господин министр фон Циннобер, кавалер ордена зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, а среди прислуги никого нет, кого зовут или прозывают крошкой Цахесом. Но тут женщина, ошалев от радости, закричала, что господин министр с двадцатью пуговицами — как раз ее любезный сыночек, крошка Цахес. На крики ста-

рухи, на раскатистую брань швейцара сбежался весь дом, и гомон становился все сильнее и сильнее. Когда камердинер спустился вниз, чтобы разогнать людей, столь бессовестно тревожащих утренний покой его превосходительства, женщину, которую все почли рехнувшейся, уже выталкивали на улицу.

Женщина присела на каменные ступени дома, расположенного напротив, и стала всхлипывать и горько сетовать на злых людей, которые не захотели допустить ее к любезному дитятке, крошке Цахесу, что сделался министром. Мало-помалу вокруг нее собралось множество народу, которому она беспрестанно повторяла, что министр Циннобер не кто иной, как ее сын, которого она в малолетстве называла крошкой Цахесом, так что люди под конец уже не знали, считать ли эту женщину безумной или, быть может, тут и в самом деле что-то кроется.

Старуха не сводила глаз с окон Циннобера. Вдруг она звонко рассмеялась, радостно захлопала в ладоши и прегромко закричала:

— Вот оно, вот оно, мое дитяtko ненаглядное — мой крохотный гномик! С добрым утром, крошка Цахес! С добрым утром, крошка Цахес!

Все взглянули вверх и, завидев маленького Циннобера, который стоял в багряно-красном расшитом платье, с орденской лентой зелено-пятнистого тигра, у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить:

— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Ага, поглядите только на маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Альраун! Крошка Цахес! Крошка Цахес!

Швейцар, все слуги Циннобера повыбегали на улицу, чтоб поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех:

— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!

Казалось, министр только теперь заметил, что причиной беснования на улице был он сам, а не что-нибудь иное. Циннобер распахнул окно, засверкал на толпу гневными очами, закричал, забушевал, стал от ярости выделять диковинные прыжки, грозил стражей, полицией, тюрьмой и крепостью.

Но чем больше бушевали и гневались их превосходительство, тем неистовей становились смех и суматоха. В злополучного министра принялись бросать камнями, плодами, овощами — всем, что подвертывалось под руку. Ему пришлось скрыться.

— Боже праведный! — вскричал камердинер в ужасе. — Да ведь это мерзкое чудовище выглянуло из окна их превосходительства. Что б это значило? Как попал этот маленький ведьменьш в покой? — С этими словами он кинулся наверх, но спальня министра была по-прежнему на запоре. Он отважился тихонько постучать — никакого ответа!

Меж тем, бог весть каким образом, в народе разнеслась глухая молва, что это уморительное чудовище, стоявшее у окна, и впрямь крошка Цахес, принявший гордое имя «Циннобер» и возвеличившийся всяческим бесчестным обманом и ложью. Все громче и громче раздавались голоса: «Долой эту маленькую бестию! Долой! Повыколотить его из министерского камзола! Засадить его в клетку! Показывать его за деньги на ярмарках! Оклеить его сусальным золотом да подарить детям вместо игрушки! Наверх! Наверх!» — И народ стал ломиться в дом.

Камердинер в отчаянии ломал руки.

— Возмущение! Мятеж! Ваше превосходительство! Отворите! Спасайтесь! — кричал он, но ответа не было; слышался только тихий стон.

Двери были выломаны, народ с диким хохотом затопал по лестницам.

— Ну, пора, — сказал камердинер и, разбежавшись, изо всех сил налетел на дверь кабинета, так что она со звоном и треском соскочила с петель. Их превосходительства — Циннобера — нигде не было видно!

— Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Неужто вы не слышите возмущения? Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Да куда же вы... Господи, прости мое прегрешение, да где же это вы изволите находиться?

Так кричал камердинер, бегая по комнатам в совершенном отчаянии. Но ответа не было; только мраморные стены отзывались насмешливым эхом. Казалось, Циннобер исчез без следа, без единого звука. На улице поутихло. Камердинер слышал звучный женский голос, обращавшийся к народу, и, глянув в окно, увидел, что люди мало-помалу расходятся, перешептываясь и подозрительно посматривая на окна.

— Возмущение, кажется, прошло,— сказал камердинер.— Ну, теперь их милостивое превосходительство, наконец, выйдут из своего убежища.

Он опять прошел в опочивальню в надежде, что в конце концов министр объявится там.

Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего подле самого туалета, ибо министр весьма им дорожил как бесценным подарком князя, торчат совсем маленькие худенькие ножки.

— Боже, Боже! — вскричал в ужасе камердинер.— Боже, боже! Коли я не ошибаюсь, то эти ножки принадлежат их превосходительству, господину министру Цинноберу, моему милостивому господину.— Он подошел ближе и окликнул, трепеща от ужаса и заглядывая в глубь сосуда: — Ваше превосходительство! Ваше превосходительство, ради Бога, что вы делаете? Чем вы заняты там, внизу?

Но так как Циннобер не отзывался, то камердинер воочию убедился в опасности, в какой находилось их превосходительство, и что пришло время отрешиться от всякого респекта. Он ухватил Циннобера за ножки и вытащил его. Ах, мертв, мертв был он — маленькое их превосходительство! Камердинер поднял громкий горестный вопль; егерь, слуги поспешили к нему, побежали за лейб-медиком князя. Тем временем камердинер вытер досуха своего бедного, злополучного господина чистыми полотенцами, положил его на постель, укрыл шелковыми подушками, так что на виду осталось только маленькое сморщенное личико.

Тут вошла фройляйн фон Розеншён. Сперва она Бог весть каким образом, успокоила народ. Теперь она подошла к бездыханному Цинноберу; за ней следовала старая Лиза, родная мать крошки Цахеса. Циннобер теперь на самом деле был красивее, чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты, носик бел, уста чуть тронула нежная улыбка, а главное — вновь прекрасными локонами рассыпались темно-каштановые волосы. Фройляйн провела рукой по голове малыша, и на ней в тот же миг тускло зажглась красная полоска.

— О! — воскликнула фройляйн, и глаза ее засверкали от радости.— О Проспер Альпанус! Великий мастер, ты сдержал слово! Жребий его свершился, и с ним искуплен весь позор!

— Ах,— молвила старая Лиза.— Ах, Боже ты мой милостивый, да ведь это не крошка Цахес, тот никогда

не был таким пригожим! Так, значит, я пришла в город совсем понапрасну, и вы мне неладно присоветовали, досточтимая фройляйн!

— Не ворчи, старая,— сказала фройляйн.— Когда бы ты хорошенько следовала моему совету и не вторглась в дом раньше, чем я сюда пришла, то все было бы для тебя лучше. Я повторяю,— малыш, что лежит тут в постели, воистину и доподлинно твой сын, крошка Цахес.

— Ну,— вскричала старуха, и глаза ее заблестели,— ну, так, ежели их маленькое превосходительство и впрямь мое дитяtko, то, значит, мне в наследство достанутся все красивые вещи, что тут стоят вокруг, весь дом, со всем, что в нем есть?

— Нет,— ответила фройляйн,— это все миновало, ты упустила надлежащее время, когда могла приобрести деньги и добро. Тебе,— я сразу о том сказала,— тебе богатство не суждено!

— Так нельзя ли мне,— сказала старуха, и у нее на глазах навернулись слезы,— нельзя ли мне хоть по крайности взять моего бедного малыша в передник и отнести домой? У нашего пастора много хорошеньких чуточек — птичек и белочек; он набьет и моего крошку Цахеса, и я поставлю его на шкаф таким, как он есть, в красном камзоле, с широкой лентой и звездой на груди, на вечное вспоминание!

— Ну, ну! — воскликнула фройляйн почти с досадой.— Ну, это совсем вздорная мысль! Это никак невозможно!

Тут старушка принялась всхлипывать, жаловаться и сетовать:

— Что мне от того, что мой крошка Цахес достиг высоких почестей и большого богатства! Когда б остался он у меня, я бы взрастила его в бедности, ему б никогда не привелось упасть в эту проклятую серебряную посудину, он бы и сейчас был жив и доставлял бы мне благополучие и радость. Я носила бы его в своей корзине по округе, люди жалели бы меня и бросали бы мне монеты, а теперь...

В передней слышались шаги, фройляйн спроводила старуху, наказав ей ждать внизу у ворот,— перед отъездом она вручит ей надежное средство разом избавиться от всякой нужды и напасти.

И вот Розабельверде опять приблизилась к мертвому и мягким, дрожащим, исполненным глубокой жалости голосом сказала:

— Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра. Верно, было безрассудством думать, что внешний прекрасный дар, коим я наделила тебя, подобно лучу, проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: «Ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь ввысь». Но внутренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух не мог воспрянуть, ты не отстал от глупости, грубости, непристойности. Ах! Если бы ты не поднялся из ничтожества и остался маленьким, неотесанным болваном, ты б избежал постыдной смерти! Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы после смерти тебя вновь приняли за того, кем ты моею властью казался при жизни. Быть может, мне доведется еще увидеть тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной белкой, я буду этому рада! Спи с миром, крошка Цахес!

Едва только Розабельверде оставила комнату, как вошли лейб-медик князя и камердинер.

— Ради Бога,— вскричал медик, увидев мертвого Циннобера и убедившись, что все средства возвратить его к жизни тщетны,— ради Бога, господин камердинер, как это случилось?

— Ах,— отвечал тот,— ах, любезный господин доктор, возмущение — или революция,— все равно как вы это ни назовете,— шумела и бушевала в прихожей ужаснейшим образом. Их превосходительство, опасаясь за свою драгоценную жизнь, верно намеревались укрыться в туалет, поскользнулись и...

— Так значит,— торжественно и растроганно сказал доктор,— так значит, он умер от боязни умереть!

Двери распахнулись, и в опочивальню стремительно вбежал бледный князь Барсануф, за ним семь камергеров, еще бледнее.

— Неужто правда? Неужто правда? — воскликнул князь; но едва он завидел тельце усопшего, как отпрянул и, возведя очи горе, сказал голосом, исполненным величайшей скорби: — О Циннобер!

И семь камергеров воскликнули вслед за князем: «О Циннобер!» — и вытащили, подобно князю, носовые платки и поднесли их к глазам.

— Какая утрата,— начал князь по прошествии нескольких минут безмолвной горести,— какая невознаграждаемая утрата для государства! Где сыскать государственного мужа, который бы с таким же достоинством носил орден зелено-пятнистого тигра с двадцатью пугови-

цами, как мой Циннобер. Лейб-медик, как допустили вы, чтоб у меня умер *такой* человек! Скажите, как это случилось, как могло это статься, какая была тому причина, от чего умер несравненный?

Лейб-медик весьма заботливо осмотрел малыша, ощупал все места, где раньше бился пульс, провел рукой по голове усопшего, откашлялся и повел речь:

— Мой всемилостивый повелитель! Если бы я должен был довольствоваться только видимой поверхностью явлений, то я мог бы сказать, что министр скончался от полного отсутствия дыхания, а это отсутствие дыхания произошло от невозможности дышать, каковая невозможность, в свою очередь, произведена стихией, гумором, той жидкостью, в которую низвергся министр. Я бы мог сказать, что, таким образом, министр умер гумористической смертью, однако ж я далек от суждений столь неосновательных, я чужд страсти объяснять, исходя из физических начал, то, что естественно и неопровержимо покоится на чисто психических началах. Мой всемилостивейший князь, честный муж говорит напрямик! Первопричина смерти министра была заключена в ордене зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами!

— Как? — воскликнул князь, гневно сверкнув очами на лейб-медика. — Как? Что вы сказали? Орден зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, который усопший с таким достоинством, с таким изяществом носил на благо государства — в *этом* причина его смерти? Приведите мне доказательства или... камергеры, какого вы на сей счет мнения?

— Он должен привести доказательства, он должен привести доказательства, или... — воскликнули все семь бледных камергеров, и лейб-медик продолжал:

— Мой славный, всемилостивейший князь! Я это докажу, и потому не надо никакого *«или»!* Дело обстоит следующим образом: тяжелый орденский знак на ленте, особливо же пуговицы на спине оказывали вредное действие на ганглии станового хребта. И в то же время орденская звезда производила давление на то узловато-волокнистое сращение между грудобрюшной преградой и верхней брыжейной жилой, которое мы называем солнечным сплетением и которое преобладает в лабиринте прочих нервных сплетений. Сей доминирующий орган находится в многообразнейших отношениях с церебральной системой, и естественно, что пагубное воздействие на ганглии было также вредоносно и для него.

Но разве нерушимое отправление церебральной системы не есть необходимое условие сознания, личности как выражения совершеннейшего соединения целого в едином фокусе? Не является ли весь жизненный процесс деятельностью в обеих сферах, в ганглиональной и церебральной системах? Итак, помянутое пагубное воздействие нарушило функции психического организма. Сперва появились мрачные мысли о тайном самопожертвовании на благо государства через болезненное ношение ордена и тому подобное; состояние становилось все более опасным, пока полная дисгармония между ганглиональной и церебральной системами не привела к совершенному исчезновению сознания, полному уничтожению личности. Это состояние мы и обозначаем словом «смерть»! Да, всемилостивейший повелитель, министр уже утратил свою личность и был, таким образом, совершенно мертв, когда низвергался в этот роковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая, а неизмеримо более глубокая — психическая.

— Лейб-медик,— сказал князь с неудовольствием,— лейб-медик, вы болтаете битых полчаса, но будь я проклят, ежели понял хоть одно слово. Что вы разумеете под физическим и психическим?

— Физический принцип,— снова заговорил медик,— есть условие чисто вегетативной жизни, психический же, напротив, обуславливает человеческий организм, который находит двигателя своего бытия лишь в духе, в способности мышления.

— Я все еще,— воскликнул князь с величайшей досадой,— все еще я не понимаю вас, невразумительный вы человек!

— Я полагаю,— сказал доктор,— я полагаю, светлейший князь, что физическое относится только к чисто вегетативной жизни, лишенной способности мышления, как это имеет место у растений, психическое же относится к способности мышления. Но ежели последнее в человеческом организме главенствует, то медику надлежит всегда начинать со способности мышления, с области духа, и взирать на тело только как на вассала духа, который должен повиноваться, коль скоро этого пожелает его повелитель.

— Ого! — воскликнул князь.— Ого! Лейб-медик, оставьте вы это! Лечите вы мое тело и отложите попечение о моем духе, который еще никогда не доставлял мне беспокойства. Вообще, лейб-медик, вы препотешный че-

ловека, и если бы я не стоял сейчас возле тела своего министра и не был так растроган, я б знал, как мне поступить. Ну, камергеры, прольем еще слезу над ложем усопшего и отправимся обедать.

Князь приложил платок к глазам и всхлипнул, камергеры поступили точно так же; потом все вышли.

Возле дверей стояла старая Лиза, навесившая на руку несколько вязок прекраснейшего золотистого лука, лучше какого не сыскать. Ненароком взгляд князя упал на эти овощи. Он остановился, скорбь исчезла с его лица: он ласково и милостиво улыбнулся и промолвил:

— Во всю жизнь не доводилось мне видеть столь прекрасных луковиц, должно быть, они превосходны на вкус! Вы их продаете, любезная?

— Как же,—ответила Лиза, низко приседая,— как же, милостивейшая ваша светлость, продажей лука я снискиваю себе как только могу скудное пропитание. Они сладки, как чистый мед. Не угодно ли отведать, милостивейший господин?

Тут она протянула князю вязку самых ядреных, самых блестящих луковиц. Тот взял, улыбнулся, причмокнул и воскликнул:

— Камергеры, пусть один из вас подаст мне ножик! — Получив нож, князь бережно и изящно очистил луковицу и отведал.

— Какой вкус! Какая сладость! Какая прелесть! Какой огонь! — воскликнул он, и глаза его заблестели от восхищения. — Мне словно чудится, будто я вижу перед собой покойного Циннобера, который кивает мне и шепчет: «Покупайте, ешьте эти луковицы, мой князь, этого требует благо государства». Князь сунул старой Лизе несколько золотых, и камергеры принуждены были рассовать по карманам остальные вязки. Более того! Он определил, чтоб впредь, кроме старой Лизы, никто другой не поставлял лук для княжеских завтраков. И вот мать крошки Цахеса, не став, правда, богачкой, избавилась от всякой нужды и бедности, и, наверно, в этом ей помогли тайные чары доброй феи Розабельверде.

Погребение министра Циннобера было одним из самых великолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, кои с великими издержками

были приобретены князем для фейерверков. Горожане, народ — все плакали и сокрушались, что отечество лишилось лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу, как Циннобер.

И в самом деле, потеря эта осталась невознагради-мой, ибо никогда больше не сыскалось министра, которому пришелся бы так впору орден зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как отошедшему в вечность незабвенному Цинноберу.

Глава ПОСЛЕДНЯЯ

Слезная просьба автора.— Как профессор Мош Терпин успокоился, а Кандида уже никогда больше не могла рассердиться.— Как золотой жук прожужжал что-то на ухо доктору Просперу Альпанусу и как тот уехал, а Бальтазар стал жить в счастливом супружестве.

Близится время, когда тот, кто пишет для тебя, любезный читатель, эти листы, принужден будет с тобой расстаться, и его охватывают тоска и робость. Еще много-много знает он о примечательных деяниях маленького Циннобера и весьма охотно пересказал бы тебе все это, о мой читатель, ибо страсть, родившаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его написать эту повесть! Но! оглядываясь на все события, как они были представлены в предшествовавших девяти главах, чувствует он, что в них уже содержится столько диковинного, безрассудного, противного трезвому разуму, что, нагромождая еще множество подобных вещей, он подвергнет себя опасности, злоупотребив твоим доверием, любезный читатель, совсем с тобой не поладить. Он умоляет тебя с тоской и робостью, столь внезапно стеснившими его грудь, когда он написал «Глава последняя»,— да будет тебе угодно с истинной веселостью и нестесненным сердцем созерцать эти странные образы, даже сдружиться с ними; они внушены поэту призрачным духом — Фантазусом,— чьей причудливой, прихотливой натурой он, быть может, позволил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих — поэта и причудливого духа! А если ты, любезный читатель, изредка кое-чему улыбался про себя, то ты был в том са-

мом расположении духа, какое желал вызвать пишущий эти страницы, и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину.

Собственно, эта повесть могла бы закончиться трагической смертью маленького Циннобера. Но разве не приятнее будет, когда вместо печального погребения ее завершит радостная свадьба?

Итак, коротко вспомним еще о прелестной Кандиде и счастливом Бальтазаре.

Профессор Мош Терпин раньше был просвещенный, искушенный человек, который, согласно мудрому изречению *Nil admirari*¹, уже много-много лет ничему на свете не удивлялся. Но теперь, отрешившись от всей своей мудрости, он принужден был непрестанно удивляться, так что под конец стал жаловаться, что он больше не знает, впрямь ли он профессор Мош Терпин, который прежде управлял всеми естественными делами в государстве, и действительно ли он еще расхаживает на своих ногах, вверх головой.

Сперва он удивился, когда Бальтазар представил ему доктора Проспера Альпануса как своего дядю и тот показал ему дарственную запись, в силу коей Бальтазар сделался владельцем расположенного в часе езды от Керепеса сельского дома, вместе с прилежащими лесными угодьями, полями и лугами; он едва поверил своим глазам, когда увидел, что в инвентарной росписи помянута драгоценнейшая утварь, даже золотые и серебряные слитки, ценность которых превосходила все богатство княжеской сокровищницы. Потом он удивился, поглядев через Бальтазаров лорнет на великолепный гроб, в котором покоился Циннобер, и ему внезапно показалось, что никакого министра Циннобера никогда и не было, а был всего только маленький, нескладный, неотесанный уродец, коего ненароком почли за сведущего, мудрого министра Циннобера.

Удивление Моша Терпина достигло величайшей степени, когда Проспер Альпанус стал водить его по дому, показывая свою библиотеку и другие весьма диковинные вещи, и даже произвел целый ряд изящных опытов с редкостными растениями и животными.

Профессору пришло на ум, что все его исследования по части естественной истории ровню ничего не стоят и он заключен в великолепный, пестрый, волшебный

¹ Ничему не удивляться (*лат.*).

мир, словно в яйцо. Эта мысль так всполошила его, что под конец он принялся жаловаться и плакать, как ребенок. Бальтазар тотчас же отвел его в поместительный винный погреб, где взору профессора представились лоснящиеся бочки и сверкающие бутылки. Здесь, полагал Бальтазар, ему будет вольготнее производить штудии, нежели в княжеском погребе, и он сможет вдосталь испытывать природу в прекрасном парке.

Тут профессор успокоился.

Свадьбу Бальтазара справляли в загородном доме. Он, его друзья — Фабиан, Пульхер, — все дивились несравненной красоте Кандиды, волшебной прелести ее одеяния, всего существа. То в самом деле были чары, ибо присутствовавшая на свадьбе, под видом канониссы фон Розеншён, фея Розабельверде, позабыв свой гнев, сама одела Кандиду и убрала ее пышными и прекрасными розами. А ведь хорошо известно, что платью пойдет хоть кому, ежели за дело возьмется фея. Кроме того, Розабельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье, магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прической, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта способность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала ее лицу особенную прелесть и приветливую веселость.

Молодые были на седьмом небе и — такое действие оказывали на них тайные чары мудрого Альпануса — все ж находили слова и взоры для собравшихся милых друзей. Проспер Альпанус и Розабельверде позаботились о том, чтобы день свадьбы был ознаменован прекраснейшими чудесами. Повсюду из кустов и деревьев доносилась сладостная гармония любви, меж тем как изпод земли вырастали мерцающие столы, обремененные великолепнейшими яствами и хрустальными графинами, из которых струилось благороднейшее вино, разливавшееся огнем по жилам.

Настала ночь, и огненные радуги перекинулись над парком, и сверкающие птицы и насекомые запорхали вокруг, и, когда они встряхивали крыльями, с них сыпались миллионы искр и составляли различные прелестные фигуры, которые беспрестанно сменялись, плясали и кувыркались в воздухе и внезапно исчезали в кустах. И все громче звучала лесная музыка, и ночной ветер разносил таинственный шепот и сладостное благоухание.

Бальтазар, Кандида, гости признали действие могущественных чар Проспера Альпануса, но Мош Терпин, захмелев, громко смеялся и уверял, что за всем этим скрывается не кто иной, как продувной молодчик — оперный декоратор и фейерверкер князя.

Раздались резкие удары колокола. Блестящий золотой жук опустился на плечо Проспера Альпануса и, казалось, что-то тихонько прожужжал ему на ухо.

Проспер Альпанус поднялся со своего места и сказал торжественно и серьезно:

— Любезный Бальтазар, прелестная Кандида, друзья мои! Настало время — Лотос зовет, я принужден с вами расстаться!

Тут он подошел к юной чете, стал с ней тихо беседовать. Оба, Бальтазар и Кандида, были очень растроганы, казалось Проспер преподавал им различные благие советы; он обнял их с нежной горячностью.

Затем он обратился к фройляйн фон Розеншён и так же тихо заговорил с ней, — вероятно, она надавала ему различные поручения по части волшебства и фей, и он весьма охотно взялся их исполнить.

Меж тем с облаков спустилась маленькая хрустальная карета, влекомая двумя сверкающими стрекозами, которыми правил серебристый фазан.

— Прощайте, прощайте! — воскликнул Проспер Альпанус, сел в карету и стал подниматься все выше и выше над полыхающими радугами, пока наконец не сверкнул в небесной выси маленькой звездочкой, скрывшейся в облаках.

— Прекрасный Монгольфьер! — прохрипел Мош Терпин и, одоленный вином, погрузился в глубокий сон.

Бальтазар, вняв советам Проспера Альпануса, извлекая разумную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в самом деле хорошим поэтом, а так как другие свойства этого имени, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпанус, вполне оправдались и так как Кандида никогда не снимала ожерелья, подаренного ей на свадьбе канониссой Розеншён, то Бальтазар зажил в счастливом супружестве, радости и блаженстве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной и молодой женой.

И, таким образом, сказка о крошке Цахесе, по прозванию Циннобер, теперь и впрямь получила радостный

конец.

Мадемуазель де Скюдери

Рассказ из времен Людовика XIV

Мадлен де Скюдери, пользовавшаяся в Париже известностью как автор весьма изящных стихов, жила на улице Сент-Оноре, в маленьком домике, который ей был пожалован благоволившими к ней Людовиком и г-жой де Ментенон.

Однажды, в позднюю полуночную пору, — дело было осенью 1680 года, — в дверь этого дома постучали сильно и резко, так что в сенях стекла задрожали. Батист, бывший у Скюдери и поваром, и лакеем, и привратником, отлучился, с позволения госпожи, за город, на свадьбу сестры, и во всем доме бодрствовала одна только горничная Мартиньер. Она прислушивалась к непрекращающемуся стуку и вспомнила, что Батиста нет и что она осталась со своей госпожой одна, без всякой защиты; все злодеяния, когда-либо совершавшиеся в Париже, грабежи, убийства пришли ей теперь на ум, она была уверена, что там, внизу, толпятся убийцы, которых привлекло уединенное положение дома и которые, если их впустить, приведут в исполнение свой злой замысел, и вот, все не выходя из комнаты, она дрожала от ужаса, проклиная Батиста и свадьбу его сестры. Между тем громоподобный стук не прекращался, и ей показалось, как в промежутках между ударами чей-то голос восклицает: «Да отворите же, ради Христа, отворите!» Наконец, испытывая все больший страх, Мартиньер схватила зажженную свечу и бросилась в сени; здесь она уже совсем ясно услышала голос стучавшего: «Ради Христа, отворите!» — «Право же, — подумала Мартиньер, — разбойники так не говорят. Как знать, может быть, кто-нибудь, спасаясь от них, ищет убежища у моей хозяйки, а она ведь всегда рада сделать людям добро. Но только будем осторожны!» Она отворила окошко и, стараясь придать своему низкому голосу как можно больше сходства с голосом мужчины, громко спросила, кто это поздней ночью колотит в дверь и всем мешает спать. В лучах луны, прорвавшихся из-за тем-

ных туч, она увидела высокого человека в светло-сером плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза. И она громко закричала — так, чтобы стоявший внизу мог услышать:

— Батист, Клод, Пьер, вставайте-ка да посмотрите, что это за бездельник хочет выломать двери! — Но снизу донесся мягкий, почти жалобный голос:

— Ах! милая Мартиньер, я ведь знаю, что это — вы, как бы вы ни старались изменить ваш голос, я ведь знаю, что Батист ушел за город и дома вы одни с вашей хозяйкой. Отворите мне, ничего не бойтесь. Мне во что бы то ни стало надо поговорить с вашей госпожой, и сию же минуту.

— Да что это вы! — ответила Мартиньер, — ночью говорить с госпожой? Разве вы не знаете, что она давно уже поживает, а я ни за что не стану будить ее, тревожить ее первый сладкий сон, который так нужен в ее годы?..

— Я знаю, — сказал стоявший внизу, — я знаю, что ваша госпожа только что отложила рукопись своего романа «Клелия», над которым она неутомимо трудится, а теперь дописывает стихи, которые завтра собирается прочесть у маркизы де Ментенон. Заключи вас, госпожа Мартиньер, будьте милосердны, откройте мне дверь. Знайте, дело идет о том, чтобы спасти от гибели несчастного, знайте, что честь, свобода, самая жизнь человека зависит от той минуты, когда я буду говорить с вашей госпожой. Подумайте, ведь она никогда не простит вам, если узнает, что это вы прогнали несчастного, который пришел умолять ее о помощи!

— Но зачем же вы приходите умолять ее в такой неурочный час? Приходите завтра в обычное время, — проговорила Мартиньер, но голос снизу ответил:

— Судьбе не важно, какой час, она разит как гибельная молния. Разве можно медлить, когда остались какие-нибудь мгновения? Отворите мне дверь, не бойтесь несчастного, беззащитного, покинутого всеми человека, которому грозит страшная участь, он пришел молить вашу госпожу спасти его от надвигающейся гибели!

Мартиньер услышала, как при этих словах он в глубокой муке застонал и всхлипнул; а голос у него был нежный — голос юноши, проникавший в самую душу. Она почувствовала жалость и, уже не колеблясь, принесла ключ.

Как только она открыла дверь, человек в плаще стремительно ринулся в сени и, оставив Мартиньер позади себя, диким голосом вскричал:

— Ведите меня к вашей госпоже!

Испуганная Мартиньер повыше подняла свечу, свет ее упал на смертельно бледное, страшно искаженное лицо юноши. Мартиньер чуть было не лишилась чувств от страха, когда этот человек распахнул плащ и она увидела торчащую из-за отворота куртки блестящую рукоять кинжала. Юноша бросил на нее сверкающий взгляд и воскликнул голосом еще более диким, чем давеча:

— Говорю вам, ведите меня к вашей госпоже!

Ей представилась страшная опасность, грозящая ее хозяйке; вся любовь к дорогой госпоже, в которой она чтит добрую нежную мать, еще ярче вспыхнула в сердце Мартиньер и пробудила в ней храбрость, на какую она даже и не считала себя способной. Она быстро захлопнула незатворенную дверь в комнату, стала перед ней и твердо и решительно сказала:

— Вы, право же, так беснуетесь здесь, что это плохо вяжется с вашими жалобными словами там, на улице. Теперь вам не увидеть моей госпожи и не говорить с ней. Если вы ничего дурного не замышляете, если вам не страшен свет дня, то приходите завтра снова и расскажите о вашем деле! А сейчас убирайтесь вон!

Мужчина тяжело вздохнул, вперил в Мартиньер свой страшный взгляд и взялся за рукоять кинжала. Мартиньер безмолвно поручила Богу свою душу, но была непоколебима и смело глядела ему в глаза, все плотнее прижимаясь к двери, через которую должен был пройти этот человек, чтобы попасть к ее госпоже.

— Говорю вам, пустите меня к вашей госпоже! — еще раз воскликнул он.

— Делайте что хотите, — ответила Мартиньер, — я с этого места не сойду, кончайте же злое дело, которое начали, — вам, как и вашим проклятым сообщникам, не избегать позорной смерти на Гревской площади.

— О-о! — воскликнул мужчина, — вы правы, Мартиньер, я так вооружен, что похож на злодея-разбойника, на убийцу, но мои сообщники еще не казнены, нет, они еще не казнены.

И с этими словами он, бросая яростные взгляды на смертельно испуганную женщину, выхватил кинжал.

— Боже мой! — закричала она, ожидая удара, но в это время на улице послышался звон оружия, стук ко-

пыт.— Это стража! Стража! На помощь! На помощь! — закричала Мартиньер.

— Злая женщина, ты хочешь погубить меня... теперь всему конец, всему конец! Возьми, вот возьми! Отдай своей госпоже еще нынче... Если хочешь, завтра.— Шепотом пробормотав эти слова, он выхватил подсвечник у Мартиньер, погасил свечу и сунул ей в руки какой-то ящичек.— Ради спасения твоей души, отдай госпоже этот ящичек! — воскликнул он и выбежал из дома.

Мартиньер, упавшая на пол, с трудом встала на ноги и в темноте ощупью пробралась к себе в комнату, где в полном изнеможении, не в состоянии даже крикнуть, опустилась в кресло. Вдруг она услышала, как поворачивают ключ, оставленный ею в наружной двери. Дверь заперли, и тихие, неуверенные шаги стали приближаться к ее комнате. Она приросла к месту, не в состоянии пошевелинуться, и ждала, что вот-вот случится ужасное; но что она почувствовала, когда дверь отворилась и при свете ночника она с первого же взгляда узнала доброго славного Батиста. Был он в страшном смятении и бледен, как смерть!

— Ради всех святых,— начал он,— ради всех святых, скажите мне, госпожа Мартиньер, что тут случилось? Страху-то! Страху! Не знаю почему, но меня так и тянуло уйти со свадьбы! И вот прихожу я на нашу улицу. У госпожи Мартиньер, думаю, сон чуткий, она уж услышит, когда я тихонько постучу в дверь, и впустит меня. Вдруг навстречу мне дозор, конные, пешие, вооруженные с ног до головы, и меня хватают, не хотят отпустить. К счастью, тут же случился Дегре, лейтенант,— он хорошо знает меня,— он и сказал, когда мне к самому носу поднесли фонарь: «Ты, Батист! Что это тебя носит ночью? Сидел бы лучше у себя да стерег бы дом! Тут небезопасно, мы надеемся еще нынче ночью на славную добычу». Вы просто не поверите, госпожа Мартиньер, как мне страшно стало от этих слов. И вот уж я стою на пороге, а из дому выскакивает какой-то человек, закутанный в плащ и с блестящим кинжалом в руке, сшибает меня с ног... дверь открыта, ключ торчит в замке,— скажите, что это все значит?

Мартиньер, оправившись от смертельного испуга, рассказала, как все произошло. Она и Батист прошли в сени и обнаружили на полу подсвечник, брошенный незнакомцем, когда он убежал.

— Нет никакого сомнения,— сказал Батист,— что нашу госпожу собирались ограбить, а то и убить. Этот

человек знал, что сегодня дома только вы да госпожа, он даже знал, что она еще не спит, а пишет. Это был, верно, один из тех мошенников-грабителей, которые умеют проникнуть в любой дом и хитро выведывают все, что нужно для их дьявольских дел. А ящичек, госпожа Мартиньер, я думаю, мы с вами бросим в Сену, в самом глубоком месте. Кто нам поручится, что какой-нибудь окаянный злодей не покушается на жизнь нашей доброй хозяйки и, раскрыв ящичек, она не упадет замертво, как старик маркиз де Турне, когда он распечатал письмо, поданное незнакомцем!

Посовещавшись, верные слуги решили наконец, что утром все расскажут своей госпоже и вручат ей таинственный ящичек, который ведь можно будет открыть с надлежащей осторожностью. Тщательно взвесив все обстоятельства появления подозрительного незнакомца, они пришли к тому заключению, что здесь, может быть, скрывается какая-нибудь тайна, над которой они не властны и разгадку которой должны предоставить госпоже.

Опасения Батиста имели весьма серьезные основания. Как раз в это время Париж стал местом гнуснейших злодеяний, как раз в то время самое дьявольское, адское изобретение открыло легчайший способ совершать их.

Глазер, немец-аптекарь, лучший химик своего времени, занимался алхимическими опытами, которыми нередко увлекались люди его ремесла. Он стремился найти философский камень. К нему присоединился итальянец, по имени Экзили. Но последнему алхимия служила только предлогом для других занятий. Он изучал лишь способы варить, смешивать, перегонять ядовитые вещества, с помощью которых надеялся достичь благосостояния, и наконец ему удалось приготовить яд, что не имеет ни запаха, ни вкуса, убивает сразу или постепенно и не оставляет никаких следов в человеческом организме, вводя в заблуждение самых искусных ученых, врачей, которые, не подозревая об отраве, приписывают смерть какой-нибудь естественной причине. Как ни осторожно действовал Экзили, все же его заподозрили в продаже яда и заключили в Бастилию. Вскоре затем в тот же каземат посадили капитана Годена де Сент-Круа. Последний уже давно находился с маркизой де Бренвилье в любовной связи, бесчестившей все ее семейство: сам

маркиз оставался равнодушен к преступлениям своей супруги, но отец ее, Дрё д'Обре, важный чиновник в парижском суде, так был возмущен ее поведением, что добился приказа об аресте капитана и тем самым разлучил преступную пару. Капитану, человеку страстному, но бесхарактерному, ханжески благочестивому, на самом же деле с юных лет склонному ко всевозможным порокам, ревнивому, до безумия мстительному, ничто не могло так прийти по душе, как дьявольская тайна Экзили, позволявшая истребить всех своих врагов. Он стал ревностным учеником итальянца, вскоре сравнялся со своим учителем и, будучи выпущен из Бастилии, мог продолжать работать один.

Бренвилье была женщина развратная, Сент-Круа сделал из нее чудовище. Он постепенно довел ее до того, что она отравила сперва своего отца, у которого поселилась и старость которого окружила лицемерной заботливостью, потом — обоих своих братьев и, наконец, сестру: отца — из мести, прочих же — из-за богатого наследства. Судьба многих отравителей дает страшный пример того, как подобные преступления превращаются в непреодолимую страсть. Без всякой цели, ради одного удовольствия, подобно химику, делающему опыты только для забавы, отравители нередко убивали людей, жизнь или смерть которых была им совершенно безразлична. Внезапная смерть нескольких бедняков в больнице Отель-Дье возбудила впоследствии подозрение, что хлеб, который каждую неделю раздавала там Бренвилье, желая служить примером благочестия и добродетели, был отравлен. Точно известно, во всяком случае, было то, что она клала яд в паштеты из голубей и потчевала ими своих сотрапезников. Кавалер дю Ге и многие другие лица пали жертвою этого адского угощения. Капитану Сент-Круа, его помощнику Лашоссе, маркизе Вренвилье долгое время удавалось окутывать непроницаемым покровом тайны свои чудовищные злодеяния. Но разве коварная хитрость низких людей может сопротивляться вечному всемогуществу неба, если оно решит еще здесь, на земле, покарать преступников? Яд, приготовляемый Сент-Круа, отличался такой силой, что если порошок (парижане называли его «*poudre de succession*»¹) лежал открытым после приготовления, стоило один раз вздохнуть — и смерть наступала мгновенно. Поэтому Сент-Круа во время своих манипуляций носил

¹ Порошок для наследников (фр.).

стеклянную маску. Однажды, когда он только что собирался всыпать в склянку приготовленный ядовитый порошок, маска сползла, и он, вдохнув тонкую ядовитую пыль, в то же мгновение упал мертвый. У него не было наследников, и судебные власти поспешили опечатать его имущество. И вот в одном ящике оказался целый адский арсенал смертоносных ядов, имевшихся в распоряжении злодея Сент-Круа, обнаружены были письма Бренвилье, не позволявшие сомневаться в их преступлениях. Она бежала в Льеж и скрылась в монастыре. Вслед ей послан был Дегре, офицер полиции. Переодевшись духовным лицом, он явился в монастырь. Ему удалось вступить в любовную связь с этой ужасной женщиной и назначить ей тайное свидание в уединенном саду вблизи города. Как только она туда пришла, ее окружили сыщики Дегре, а влюбленный служитель церкви внезапно превратился в офицера полиции и заставил ее сесть в карету, которая уже стояла у ворот сада, и в сопровождении стражи немедленно увез ее в Париж. Ла-шоссе был уже раньше обезглавлен. Бренвилье умерла такою же смертью, тело ее после казни сожгли, а пепел развеяли по воздуху.

Парижане свободно вздохнули, когда не стало чудовища, которое своим тайным смертоносным оружием безнаказанно разило и друзей и врагов. Но вскоре оказалось, что страшное дело проклятого Сент-Круа нашло продолжателей. Подобно незримому коварному призраку, смерть прокрадывалась даже в самый тесный круг, основанный на родстве, любви, дружбе, и быстро и уверенно хватала несчастную жертву. Тот, кого вчера еще видели цветущим и здоровым, сегодня, больной, изнемогающий, уже еле двигался, и все искусство врачей не могло спасти его от смерти. Богатство, выгодная должность, красивая или, может быть, слишком молодая жена — этого было достаточно, чтобы навлечь на себя преследования и пасть их жертвой. Самое страшное недоверие разрушало священнейшие узы. Муж трепетал перед женой, отец — перед сыном, сестра — перед братом. Нетронутыми оставались кушанья и вина, которыми друг угощал друга, а там, где раньше царили веселье и шутка, люди испуганно искали взглядом скрытого под личиной убийцу. Можно было видеть, как испуганные отцы семейств в отдаленных улицах закупают припасы и сами в какой-нибудь грязной харчевне готовят себе пищу, боясь адского предательства в собственном до-

ме. И все же порой даже величайшая предусмотрительность и осторожность оказывались напрасными.

Чтобы положить конец злодействам, все более расширявшимся, король учредил особый суд, которому и поручалось вести следствие исключительно по делам об этих тайных преступлениях и наказывать виновных. Это была так называемая *chambre ardente*¹, заседания которой происходили недалеко от Бастилии, председателем в нем был Ла-Рени. Некоторое время усилия Ла-Рени, как он ни старался, оставались бесплодными; только хитрому Дегре посчастливилось проникнуть в тайный источник злодеяний. В Сен-Жерменском предместье жила старуха по имени Ла-Буазен, занимавшаяся гаданием и заклинанием духов и с помощью своих подручных Лесажа и Ле-Вигуре повергавшая в страх и изумление даже таких людей, которых нельзя было назвать слабыми и легковверными. Но она занималась не только этим. Ученица Экзили, она, так же как и Сент-Круа, приготовляла тонкий, не оставлявший следов яд и таким образом помогала преступным сыновьям раньше времени завладеть наследством, а разведенным женщинам — раздобыть нового мужа, более молодого. Дегре проник в ее тайну, она во всем призналась и по приговору *chambre ardente* сожжена была заживо на Гревской площади. У нее нашли списки всех тех, кто прибегал к ее помощи, и вот — не только потянулись одна за другой казни, но тяжелое подозрение легло даже на лиц высокопоставленных. Возникло также подозрение, что Ла-Буазен указала кардиналу Бонзи средство в короткий срок избавиться от всех тех, кому он, как архиепископ Нарбоннский, должен был платить пенсии. Герцогиню Бульонскую и графиню Суассон, чьи имена оказались в списке, тоже обвинили в связи с этой страшной женщиной, и не был пощажен даже Франсуа Анри де Монморанси, Будебель, герцог Люксембургский, пэр и маршал королевства. И он тоже подвергся преследованиям страшной *chambre ardente*. Он сам явился в Бастилию, где местом заключения для него — по злобному решению Лувуа и Ла-Рени — была назначена дыра длиною в шесть футов. Прошли месяцы, прежде чем стало совершенно ясно, что преступление герцога

¹ Буквально «пылающая (или огненная) комната» — название, вызванное тем, что заседания суда происходили в помещении, обтянутом черной материей и освещаемом только факелами (*Примеч. ред.*).

не заслуживает кары: однажды он всего-навсего поручил Лесажу составить для него гороскоп.

Несомненно, что слепое рвение привело президента Ла-Рени к мерам насильственным и жестоким. Суд принял характер инквизиции, достаточно было малейшего подозрения, чтобы бросить человека в ужасную тюрьму, и часто лишь по счастливой случайности можно было установить невиновность узника, приговоренного к смертной казни. К тому же Ла-Рени отличался отвратительной внешностью и злобным нравом, и вскоре он заслужил ненависть тех, чьим защитником или мстителем призван был стать. Герцогиня Бульонская, от которой он на допросе хотел узнать, видела ли она черта, ответила: «Мне кажется, я вижу его сейчас».

Меж тем как на Гревской площади потоками лилась кровь виновных и подозреваемых и наконец случаи смерти от тайной отравы стали все реже и реже, объявилась напасть иного рода, вызвавшая новое замешательство. Шайка грабителей словно поставила своей целью завладеть всеми драгоценностями. Богатый убор, едва купленный, исчезал непонятным образом, с какой бы осторожностью его ни хранили. Но всего хуже было то, что всякий, кто решался выходить вечером, имея при себе драгоценности, подвергался ограблению или находил смерть — на улице или где-нибудь в темных переходах дома. Оставшиеся в живых рассказывали, что молниеносный удар кулаком по голове сваливал их с ног, а когда они приходили в себя, то оказывалось, что они ограблены и находятся не там, где их настиг удар, а в совершенно другом месте. У всех убитых, которых почти каждое утро подбирали на улицах или в домах, была одинаковая смертельная рана — удар кинжалом прямо в сердце, удар, по мнению врачей, столь быстрый и верный, что раненый должен был упасть, даже не вскрикнув. А при роскошном дворе Людовика XIV кому не случалось, завязав тайную любовную связь, красться в поздний час к возлюбленной, порою же нести ей и богатый подарок? Грабители, словно они были в союзе с нечистой силой, точно знали, когда должен представиться такой случай. Нередко несчастный не успевал дойти до того дома, где надеялся насладиться счастьем любви, нередко он падал у самого порога, даже у двери в комнату возлюбленной, которая в ужасе находила окровавленный труп.

Тщетно д'Аржансон, министр полиции, приказывал хватать в Париже всякого, кто возбуждал хоть малей-

шее подозрение, тщетно свирепствовал Ла-Рени, пытаясь вырвать признания, тщетно усиливали стражу, дозоры — следы злодеев не отыскивались. Иные, правда, вооружались с ног до головы и выходили в сопровождении слуги, который нес впереди факел, но и эта мера предосторожности не всегда помогала, так как были случаи, что слугу обращали в бегство, бросив в него камнем, и тут же убивали и грабили господина.

Замечательно было и то, что, несмотря на обыски, производившиеся всюду, где только могли бы продаваться драгоценности, не обнаруживалось ни одной украденной вещи, так что и этим путем не удавалось напасть на следы преступников.

Дегре был в ярости: мошенники сумели обмануть даже его, при всей его изобретательности. Квартал города, где он находился в настоящую минуту, оставался безопасным, зато в других кварталах, где ничего худого нельзя было ждать, грабители-убийцы уже высматривали своих жертв.

Дегре пустился на хитрость — создал нескольких Дегре, столь напомилавших друг друга походкой, манерами, речью, фигурой, что даже и сыщики не могли распознать настоящего Дегре. А тем временем сам он, рискуя жизнью, прятался по темным закоулкам и следовал за тем или иным лицом, которому по его приказанию вручался драгоценный убор. Но на этого человека никто не нападал; значит, грабителям стало известно и об этой ловушке! Дегре впал в отчаяние.

Однажды утром он является к президенту Ла-Рени, бледный, расстроенный, вне себя от ярости.

— Что с вами? Какие новости? Напали на след? — восклицает президент.

— А-а! господин президент, — начинает Дегре, заикаясь от негодования, — а-а! господин президент, вчера ночью, недалеко от Лувра, при мне напали на маркиза Ла-Фар.

— О Боже! — ликует Ла-Рени, — они в наших руках!

— Ах, выслушайте, — с горькой улыбкой перебивает его Дегре, — выслушайте сперва, как все произошло. Итак, стою я у Лувра и подстерегаю этих дьяволов, что издеваются надо мною, а в груди у меня бушует ад. И вот неверными шагами, все время оглядываясь, проходит мимо, совсем близко, не замечая меня, какой-то человек. При свете луны я узнаю маркиза де Ла-Фар. Я мог ожидать его появления и знал, куда он пробирается. Но не успел он пройти шагов десять или двенад-

цать, как вдруг словно из-под земли вырастает какая-то фигура, валит его с ног и набрасывается на него. В эту минуту убийца был почти в моих руках, а я, пораженный неожиданностью, громко вскрикнул и хотел одним прыжком ринуться на него из засады, но тут — запутался в плаще и упал. Я вижу, как человек бежит, словно ветер его несет, поднимаюсь с земли, лечу ему вдогонку, начинаю трубить в рожок, вдали мне отвечают свистки сыщиков, все приходит в движение, со всех сторон уже слышен звон оружия, топот коней. «Сюда, сюда! Дегре! Дегре!» — кричу я на всю улицу. Человек все еще бежит передо мною в лунном свете, и, чтобы сбить меня с толку, он то и дело кидается в разные стороны, мы уже на улице Никез, здесь силы как будто начинают ему изменять, я вдвойне напрягаю свои... между нами не больше пятнадцати шагов...

— Вы нагоняете его... хватаете, прибегают сыщики! — восклицает Ла-Рени, сверкая глазами, и хватается Дегре за руку, словно он и есть убегающий убийца.

— Пятнадцать шагов,— глухим голосом продолжает Дегре, с трудом переводя дыхание,— пятнадцать шагов оставалось между нами, когда этот человек бросился в сторону, в тень, и исчез в стене.

— Исчез? В стене! Да в уме ли вы? — восклицает Ла-Рени, отступив на два шага и всплеснув руками.

— Называйте меня,— продолжает Дегре и трет себе лоб, как человек, которого терзают злые думы,— называйте меня, господин президент, безумцем, глупым дураком, но все было точно так, как я вам говорю. Я стою, ошеломленный, перед стеной, подбегают запыхавшиеся сыщики, с ними — маркиз де Ла-Фар, уже оправившийся от падения, с обнаженной шпагой в руке. Мы зажигаем факелы, ощупываем стену — ни малейшего следа двери или окна, или какого-нибудь отверстия. Это — толстая каменная стена, отделяющая двор дома, в котором живут люди, тоже не вызывающие ни малейшего подозрения. Я еще сегодня все подробно осмотрел. Сам дьявол водит нас за нос.

Случай с Дегре стал известен в Париже. Все только и думали, что о колдовстве, о заклинании духов, о связи, в которую вступили с дьяволом Ла-Буазен, Ле-Вигуре, священник Лесаж, прославившийся своими преступлениями; как это вообще свойственно человеческой природе, склонность к сверхъестественному, к волшебному взяла верх над разумом,— и вскоре стали верить в то, что действительно сам дьявол, как сказал раздражен-

ный Дегре, защищает злодеев, продавших ему свои души. Легко себе представить, что случай с Дегре еще приукрасили всякими нелепыми выдумками. Рассказ о нем с изображением дьявола — отвратительного существа, проваливающегося сквозь землю на глазах у испуганного Дегре, — был отпечатан и продавался на всех углах. Этого было достаточно, чтобы нагнать страху на народ и даже лишить мужества самих сыщиков, которые теперь с робостью и трепетом блуждали в ночную пору по улицам, обвешавшись амулетами и окропив себя святой водой.

Д'Аржансон, увидев, что усилия *chambre ardente* напрасны, стал просить короля учредить другое, облеченное еще более широкими полномочиями, судилище, которое преследовало бы и карало этих новых преступников. Король, убежденный в том, что он и самой *chambre ardente* предоставил слишком большую власть, и потрясенный бесчисленными казнями, которые совершались по приказанию кровожадного Ла-Рени, решительно отверг этот проект.

Тогда прибегли к другому средству, чтобы повлиять на короля и побудить его принять новые меры.

В покоях Ментенон, где король обычно проводил вечер, а порою и до глубокой ночи занимался со своими министрами, ему передали стихотворение от имени запуганных влюбленных, которые жаловались на то, что, когда учтивость велит им сделать возлюбленной богатый подарок, они всякий раз рискуют жизнью. Честь и радость для рыцаря — в открытом бою проливать ради возлюбленной свою кровь; но иное дело — когда из-за угла на него нападает коварный убийца, от которого нельзя защищаться. Пусть же Людовик, эта ослепительная звезда, озаряющая всякую любовь, своими яркими лучами рассеет глубокий ночной мрак и сорвет покров с черной тайны, гнездящейся в нем. Пусть божественный герой, сразивший стольких врагов, и теперь обнажит свой победно сверкающий меч и, подобно тому как Геркулес поборол Лернейскую Гидру, а Тезей — Минотавра, уничтожит страшное чудовище, что убивает все утехы любви и омрачает всякую радость, превращая ее в глубокое горе, в безутешную скорбь.

Стихотворение, хотя и касалось дела очень серьезного, не лишено было, однако, игривости и остроумия, особенно в том месте, где описывалось, какой страх приходится испытывать любовникам, когда они пробираются к своим возлюбленным, и как боязнь сразу же убива-

ет всякую радость любви, всю прелесть любовных походов. Под конец все это переходило в высокопарный панегирик Людовику XIV, а потому стихотворение доставило королю явное удовольствие. Прочитав его до конца и продолжая держать перед своими глазами, он быстро повернулся к Ментенон, еще раз прочел стихотворение — на этот раз вслух, и с любезной улыбкой спросил, что она думает о пожелании этих любовников, которым грозят опасности. Ментенон, верная направлению своего ума, склонного к строгой набожности, ответила, что пути тайных походов не достойны, правда, особого покровительства, но что для истребления ужасных преступников нужны были бы особые меры. Король, недовольный столь неопределенным ответом, сложил бумагу и хотел уже идти в соседнюю комнату, где занимался государственный секретарь, как вдруг взгляд его упал на Скюдери, сидевшую в стороне в маленьком кресле неподалеку от Ментенон. Он подошел к ней; любезная улыбка, игравшая на его губах, а потом исчезнувшая, снова появилась, и вот, став у самого кресла и развернув стихотворение, он мягко сказал:

— Маркиза ничего не хочет знать о похождениях наших влюбленных кавалеров и уклоняется от разговоров о запретных тайных путях. Но вы, сударыня, какого мнения об этой стихотворной петиции?

Скюдери почтительно встала, мимолетный румянец, точно пурпур заката, окрасил бледные щеки этой достойной дамы, и она проговорила, слегка наклонившись и опустив глаза:

Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour¹.

Король, пораженный рыцарственным духом этих слов, которые, при всем своем лаконизме, повергали во прах стихотворение с его бесконечными тирадами, воскликнул, сверкая глазами:

— Вы правы, сударыня, клянусь святым Дионисием! Я не допущу бессмысленных мер, которые, охраняя трусость, будут вместе с виновными губить невинных; а д'Аржансон и Ла-Рени пусть делают свое дело!

Мартиньер в самых ярких красках описала ужасы, волновавшие весь Париж, когда на другое утро стала рассказывать своей госпоже о ночном происшествии и с дрожью, с робостью передала ей таинственный ящи-

¹ Любовник, боящийся воров, недостоин любви (фр.).

чек. И она и Батист, который с бледным лицом стоял в углу и в страхе и тревоге мял в руках ночной колпак, почти лишившись дара речи, самым жалостным образом, ради всех святых, умоляли госпожу быть поосторожней, когда она начнет открывать ящичек. Скюдери, взвешивая на руке ящичек с запертой в нем тайной, улыбнулась и сказала:

— Вам обоим чудятся какие-то привидения! Что я не богата, что нет у меня сокровищ, из-за которых стоило бы убивать, это проклятые убийцы знают так же хорошо, как вы да я,— они ведь, вы это сами говорите, все выслеживают в домах. Или им нужна моя жизнь. Но какой может быть смысл в смерти семидесятилетней старухи, которая никогда никого не преследовала, кроме злодеев да мятежников в своих же собственных романах, писала посредственные стихи, не способные возбудить чью-либо зависть, и после которой ничего не останется, кроме нарядов старой девы, ездившей иногда ко двору, да нескольких десятков книг в хороших переплетах с золотым обрезом? И какими бы страшными красками ты, Мартиньер, ни описывала этого незнакомца, приходившего ночью, все-таки я не могу поверить, что у него было что-то недоброе на уме. Итак!

Мартиньер отпрянула шага на три назад, а у Батиста, глухо простонавшего: «Ах!» — чуть было не подкосились ноги, когда госпожа их нажала на ящичке стальную кнопку и крышка, шелкнув, отскочила.

Каково же было изумление Скюдери, когда в ящичке засверкали два украшенных драгоценными камнями золотых браслета и такое же ожерелье. Она вынула эти вещи, и, пока она восхищалась прекрасным ожерельем, Мартиньер любовалась браслетами и восклицала, что даже у гордой Монтеспан нет таких драгоценностей.

— Но что это? Что бы это значило? — вдруг спросила Скюдери.

Как раз в ту минуту она заметила на дне ящичка маленькую сложенную записку. Естественно, что в ней она надеялась найти разгадку тайны. Но записка, как только она прочла ее, выпала из дрожащих рук Скюдери. Она подняла к небу умоляющий взор и, чуть не лишившись чувств, упала в кресло. К ней в испуге бросилась Мартиньер, бросился и Батист.

— О! — воскликнула Скюдери, которую душили слезы.— О! какое оскорбление! Какой страшный стыд! И это я должна вынести на старости лет! Неужели я,

словно опрометчивая молоденькая девочка, сказала что-то преступное, легкомысленное? О Боже! неужели словам, брошенным почти что в шутку, можно придать такой гадкий смысл? Неужели меня, с детских лет никогда не изменявшую долгу и добродетели, смеют обвинять в преступном, адском сообщничестве со злодеями!

Скюдери поднесла к глазам платок, она плакала, она горько рыдала, а Мартиньер и Батист в замешательстве и тревоге не знали, чем бы помочь неутешному горю своей госпожи.

Мартиньер подняла с пола роковую записку. В ней было сказано:

«Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour.»

Ваш острый ум, сударыня, избавил от тяжелых преследований нас, пользующихся правом сильного и отнимающего у людей слабых и трусливых сокровища, которые они расточили бы недостойным образом. В знак нашей благодарности примите благосклонно этот убор. Это — драгоценнейшая из вещей, которые нам в течение долгого времени удалось раздобыть, хотя вам, милостивая государыня, подобало бы украшение лучшее, чем это. Просим вас и впредь не лишать нас вашего расположения и хранить о нас добрую память.

Незримые».

— Неужели,— воскликнула Скюдери, когда немного пришла в себя,— неужели до таких пределов может прийти дерзкое бесстыдство, бессовестная насмешка?

Солнце ярко светило сквозь темно-красный шелк занавесей, висевших на окнах, и бриллианты, лежавшие теперь на столе рядом с открытым ящичком, засверкали красноватыми лучами. Взглянув на них, Скюдери в ужасе закрыла руками лицо и велела Мартиньер тотчас же убрать эти страшные драгоценности, на которых алеет кровь убитых. Мартиньер, спрятав ожерелье и браслеты в ящичек, сказала, что лучше всего было бы передать драгоценности министру полиции и сообщить ему о напугавшем их появлении молодого человека и о том, как вручен был ящичек.

Скюдери поднялась с кресла и стала медленно, в безмолвии расхаживать по комнате, словно раздумывая о том, что ей теперь делать. Потом велела Батисту приготовить портшез, а Мартиньер помочь ей одеться, ибо она тотчас же отправляется к маркизе де Ментенон.

К маркизе она прибыла как раз в такое время, когда,— Скюдери это знала,— с ней можно было поговорить наедине. Ящичек с драгоценностями Скюдери взяла с собой.

Маркиза была очень удивлена, когда увидела Скюдери: та всегда держалась с таким достоинством и, несмотря на свои годы, всегда была любезна, всегда приветлива, а теперь приближалась к ней неверными шагами, бледная и расстроенная. «Да скажите, ради Бога, что с вами случилось?» — этими словами Ментенон встретила бедную, испуганную женщину, которая, совсем не владея собой и готовая вот-вот пошатнуться, поспешила опуститься в кресло, подвинутое ей маркизой. Наконец, когда к ней вернулся дар речи, Скюдери рассказала, какую тяжелую, невыносимую обиду она навлекла на себя необдуманной шуткой, которой она ответила на прошение запуганных любовников. Маркиза, узнав все подробности, сказала, что Скюдери принимает слишком близко к сердцу странное происшествие, что злая насмешка проклятых негодяев не может оскорбить чистую и благородную душу и в заключение желала увидеть самый убор.

Скюдери подала ей открытый ящичек, и маркиза, увидев драгоценности, не могла удержаться от громкого крика восхищения. Она вынула ожерелье и браслеты и, подойдя с ними к окну, заставила их играть на солнце, а время от времени подносила к самым глазам эти изящные золотые вещицы, чтобы лучше разглядеть, с каким тонким искусством сделаны мельчайшие звенья на сплетенных воедино цепочках.

Маркиза вдруг быстро повернулась к Скюдери и воскликнула:

— А знаете, эти браслеты, это ожерелье мог сделать только Рене Кардильяк, и никто другой!

Рене Кардильяк был в то время лучший в Париже золотых дел мастер, один из самых искусных и вместе с тем странных людей своего времени. Невысокого роста, но крепкого телосложения, мускулистый и широкоплечий, Кардильяк, которому было под шестьдесят, сохранял всю силу, всю подвижность юноши. Об этой необыкновенной силе свидетельствовали рыжие волосы, густые и курчавые, и полное лоснящееся лицо. Если бы Кардильяк не был известен во всем Париже как благороднейший и честнейший человек, бескорыстный, прямой, без всяких задних мыслей, всегда готовый помочь, то странный взгляд его запавших зеленых глазок мог бы

показаться подозрительным и заставить подумать, будто перед вами — существо злобное и коварное. Как уже сказано, Кардильяк был искуснейший мастер своего дела — и не только в Париже, но, пожалуй, и во всем мире. Глубокий знаток драгоценных камней, он так умел их шлифовать и давал им такую оправу, что украшение, прежде ничем не замечательное, выходя из мастерской Кардильяка, приобретало чудный блеск. Всякий заказ он принимал с горячей, жадной страстью и назначал цену, явно не соответствовавшую его работе, — так ничтожна была эта цена. Потом самая работа уже не давала ему покоя; и днем и ночью он стучал молотком в своей мастерской, и случалось, что вдруг, когда вещь уже почти готова, ему не понравится форма убора, или он начнет сомневаться в изяществе какой-нибудь оправы, какой-нибудь застежки — достаточный повод для того, чтобы бросить убор в плавильный тигель и начать все сначала. Так каждое его произведение становилось подлинным, непревзойденным шедевром, который повергал заказчика в восторг. Но тогда оказывалось почти невозможным получить от него готовую вещь. Он с недели на неделю, с месяца на месяц под разными предлогами оттягивал ее выдачу. Напрасно предлагали ему двойную цену за его труд, он не желал взять ни одного луидора сверх обусловленной суммы. А когда наконец ему приходилось уступить настояниям заказчика и он отдавал украшение, то не мог скрыть глубокой досады, даже ярости, кипевшей в нем. Когда ему случалось отдавать какой-нибудь замечательный, особенно богатый убор, стивший, может быть, многих тысяч как по ценности камней, так и по чрезвычайному изяществу золотой оправы, он начинал бегать взад и вперед, словно безумный, проклиная себя, свою работу, все на свете. Но стоило кому-нибудь броситься ему вслед и громко закричать:

— Рене Кардильяк, не возьметесь ли вы сделать красивое ожерелье для моей невесты... браслет для моей любезной? — и тому подобное — он сразу же останавливался и, сверкнув маленькими глазками, говорил, потирая руки:

— Что там у вас такое?

И вот человек вынимает ящичек и говорит:

— Тут — камни, ничего особенного, ничего необыкновенного в них нет, но в ваших руках...

Кардильяк не дает ему кончить, вынимает камни, действительно не слишком ценные, смотрит их на свет и в восхищении восклицает:

— Ого! Ничего особенного?.. Как бы не так! Красивые камни!.. Чудесные камни! Дайте мне только приняться за дело!.. А если вам не жаль лишней горсти луидоров, то я прибавлю еще несколько камешков, и они засверкают не хуже солнца...

Заказчик говорит:

— Предоставляю все вам, метр Рене, и заплачу, сколько скажете.

И будь то богатый горожанин или знатный придворный, Кардильяк в неистовом порыве бросается заказчику на шею и целует, и прижимает его к себе, и говорит, что теперь он снова счастлив и что через неделю работа будет готова. Сломая голову он несется домой, к себе в мастерскую, и хватается за молоток, и вот через неделю чудная вещь сделана. Но как только радостный заказчик является снова, чтобы уплатить условленную скромную сумму и взять готовый убор, Кардильяк сердится, становится груб и упрям.

— Но подумайте же, метр Кардильяк, завтра моя свадьба!

— Что мне до вашей свадьбы? Зайдите через две недели.

— Убор готов, вот деньги, я хочу взять его.

— А я вам говорю, что я кое-что должен переделать и не отдам вам его сегодня.

— А я вам говорю, что если вы мне сейчас по-хорошему не отдадите этот убор, за который я, конечно, заплачу вдвое, то я тотчас же приведу сюда стражников д'Аржансона.

— Ну, так пусть сатана вцепится в вас своими раскаленными щипцами, а к ожерелью привесит гирию в три центнера, чтобы задушить вашу невесту! — И с этими словами Кардильяк сует убор жениху за пазуху, хватая его за руку, выталкивает в дверь с такой силой, что тот скатывается с лестницы, а сам раздражается дьявольским смехом, глядя в окно, как бедный молодой человек, ковыляя, выходит из дому и платком закрывает окровавленный или разбитый нос. Непонятно было и то, что нередко Кардильяк, с восторгом принявший заказ, вдруг с явными признаками глубокого волнения, даже со слезами и стонами, торжественно заклинал заказчика именем Пресвятой Девы и всех святых оставить ему вещь, которую он сделал. Напрасно некоторые лица, пользовавшиеся уважением короля и народа, предлагали большие деньги, чтобы добиться от Кардильяка малейшей вещицы. Упав к ногам короля, он,

как о милости, умолял не принуждать его к выполнению заказов его величества. Также не принимал он ни одного заказа от Ментенон и даже с негодованием и ужасом отверг ее просьбу — сделать маленькое, украшенное эмблемами искусства колечко, которое она собиралась подарить Расину.

— Готова ручаться, — сказала поэтому Ментенон, — готова ручаться, то Кардильяк откажется прийти, если даже я и пошлю за ним, чтобы узнать, для кого он сделал этот убор: он будет опасаться заказа, а работать для меня он не желает. Правда, с недавних пор он как будто бросил упрямыться, я слышала, что сейчас он работает усерднее, чем когда бы то ни было, и сразу же отдает заказанную вещь, но все-таки очень сердится и даже не глядит на заказчика.

Скюдери, которой хотелось, чтобы драгоценности, если это еще возможно, скорее вернулись в руки законного владельца, заметила, что мастеру-чудаку сразу можно сообщить, зачем его зовут; дело идет не о заказе, хотя лишь узнать его мнение о неких драгоценностях. Ментенон одобрила эту мысль. За Кардильяком послали, и он, словно ожидавший этого приглашения, появился в комнате через весьма короткий срок.

Увидев Скюдери, он, видимо, смутился и, словно человек, пораженный неожиданностью и потому забывший о правилах приличия, сперва низко и почтительно поклонился этой достойной даме, а потом лишь повернулся к Ментенон. Указывая на драгоценности, которые сверкали посреди стола, покрытого темно-зеленой скатертью, она поспешила спросить, его ли это работа. Кардильяк бросил на них беглый взгляд и, неподвижно глядя маркизе в лицо, быстро уложил браслеты и ожерелье в стоявший рядом ящик, который резким движением оттолкнул от себя. Его красное лицо осветилось безобразной улыбкой, и он ответил:

— Право же, госпожа маркиза, плохо надо знать работу Рене Кардильяка, чтобы хоть одну минуту подумать, будто какой-нибудь другой ювелир может сделать такой убор. Конечно, эта работа моя.

— Скажите же, — продолжала маркиза, — для кого вы сделали этот убор?

— Для себя, — отвечал Кардильяк. — Да, — прибавил он, увидев, что обе женщины удивлены этим, что Ментенон смотрит на него с недоверием, а Скюдери со страхом ожидает, какой оборот примет дело, — да, может быть, вам это покажется странным, госпожа марки-

за, но это так. Я просто из любви к моему искусству отобрал лучшие камни и стал отделять их так тщательно и любовно, как никогда. Недавно убор непонятным образом исчез из моей мастерской!

— Благодарение Богу! — воскликнула Скюдери, у которой от радости засверкали глаза, и она быстро и ловко, словно молодая девушка, вскочила с кресла, подошла к Кардильяку и положила руки ему на плечи.

— Возьмите же, — сказала она, — возьмите же, метр Рене, вашу вещь, которую украл у вас какой-то негодяй. — И она подробно рассказала, каким образом попал к ней этот убор. Кардильяк выслушал ее молча, опустил глаза. Время от времени у него вырывались невнятные восклицания: «Вот как!.. Хм!.. Да ну?.. Ого!..» И он то закладывал руки за спину, то проводил рукой по щекам и подбородку. Когда же Скюдери кончила, у Кардильяка был вид такой, словно он пытается побороть некую странную мысль, пришедшую ему в голову, и не может прийти ни к какому решению. Он тер себе лоб, вздыхал, проводил рукой по глазам, будто стараясь удержать готовые брызнуть слезы. Наконец он схватил ящичек, который Скюдери протягивала ему, медленно опустился на одно колено и сказал:

— Вам, благородная, достойная госпожа моя, сама судьба предназначила этот убор. Да, теперь лишь я понял, что, работая, думал о вас, что работал только для вас. Не откажитесь принять этот убор и носить его, это лучшая из всех вещей, которые я сделал за долгие годы.

— Полно, полно, — мило-шутливым тоном возразила Скюдери, — что это вы, метр Рене? Разве мне в мои годы прилично украшать себя драгоценными камнями? И с чего это вы решили сделать мне такой богатый подарок? Полно же, метр Рене, если бы я была красива, как маркиза де Фонтанж, и так же богата, я, право, не рассталась бы с этим убором, но на что мне это суетное великолепие, когда я хожу с закрытой шеей и кожа на руках у меня сморщилась?

Кардильяк между тем поднялся и, подавая Скюдери ящичек и в то же время бросая дикие взгляды, словно не владея собою, сказал:

— Пожалейте меня, сударыня, и возьмите этот убор! Вы и не знаете, как глубоко я чту вашу добродетель, ваши высокие заслуги. Примите этот ничтожный дар хотя бы как знак моего желания выразить вам мои самые искренние чувства.

Скюдери все колебалась, тогда Ментенон взяла ящичек из рук Кардильяка и сказала:

— Ну что это, сударыня, вы все говорите о ваших летах? А какое нам с вами до них дело, какое нам дело до этого бремени? И разве вы не ведете себя как молодая застенчивая девушка, которая рада бы заполучить сладкий плод, предлагаемый ей, если бы только можно было обойтись без помощи руки и пальцев? Не отказывайтесь принять в подарок от нашего метра Рене то, чего тысячи других не могут добиться от него ни за какие деньги и несмотря на все просьбы и мольбы!

Ментенон заставила Скюдери взять ящичек, и вот Кардильяк снова бросился на колени, стал целовать платье Скюдери, ее руки, стонал, вздыхал, плакал, всхлипывал, потом вдруг вскочил и, опрокидывая на пути столы и стулья, так что фарфор и хрусталь зазвенели, бросился вон из комнаты.

Испуганная Скюдери воскликнула: «Боже мой! что это с ним приключилось!» Но Ментенон, находясь в особенно веселом, даже шаловливом расположении духа, вообще совершенно ей несвойственном, громко рассмеялась и сказала:

— Ну, сударыня, теперь все объясняется, метр Рене смертельно влюбился в вас и по заведенному порядку, как велит истинная учтивость и давний обычай, атакует ваше сердце богатыми подарками.— Ментенон, продолжая эту шутку, уговаривала Скюдери быть не слишком суровой к полному отчаяния поклоннику. Скюдери тоже дала волю своей природной веселости и увлеклась кипучим потоком бесконечных забавных выдумок. Она сказала, что если действительно дело обстоит так, ей наконец придется покориться и явить свету неслыханный пример, став в семьдесят три года и при безупречно-аристократическом происхождении невестой ювелира. Ментенон взялась сплести свадебный венок и просветить ее насчет обязанностей хорошей хозяйки, о которых такое молодое и неопытное существо, разумеется, ничего не может знать.

Когда наконец Скюдери встала, собираясь проститься с маркизой, и взяла в руки ящичек с драгоценностями, прежняя озабоченность, несмотря на все эти веселые шутки, снова овладела ею. Она сказала:

— Все-таки я никогда не смогу носить этот убор. Что бы там ни говорили, а он побывал в руках этих адских злодеев, которые с такой дьявольской наглостью, а даже, может быть, и в союзе с самим сатаной, грабят

и убивают. Меня пугает кровь, которой будто забрызганы эти блестящие украшения. Да и поведение самого Кардильяка, должна признаться, как-то странно тревожит меня, в нем есть что-то загадочное и зловещее. Не могу отделаться от смутного чувства, будто за всем этим кроется какая-то ужасная, чудовищная тайна, а когда подумаю о том, как все было, когда припомню все подробности, то просто не могу понять, что же это за тайна и как это честный безупречный метр Рене, пример доброго, благочестивого горожанина, может быть замешан в дурное и преступное дело. Но знаю одно: я никогда не решусь надеть этот убор.

Маркиза заметила, что это значило бы чрезмерно поддаться мнительности, но когда Скюдери попросила ее сказать по совести, что бы она сделала на ее месте, Ментенон твердо и серьезно ответила:

— Скорее бросила бы в Сену этот убор, чем стала бы его носить.

Случай с метром Рене Скюдери описала в весьма милых стихах, которые она на другой вечер в покоях Ментенон прочитала королю. Надо полагать, она не пощадила метра Рене, а также, преодолев трепет, навеваемый мрачным предчувствием, в самых живых красках нарисовала забавный образ семидесятитрехлетней невесты ювелира, принадлежащей к древнейшему дворянскому роду. Как бы то ни было, король от души смеялся и уверял, что она превзошла самого Буало Депрео, и благодаря этой похвале стихотворение Скюдери стали считать самой остроумной вещью, которая когда-либо была написана.

Прошло несколько месяцев, и вот Скюдери случилось как-то ехать через Новый мост в карете со стеклами, принадлежавшей герцогине Монтансье. Кареты со стеклами в то время были еще такой новостью, что любопытный народ толпился на улице, когда проезжал подобный экипаж. Также и в этот раз толпа зевак окружила на Новом мосту карету Монтансье, чуть ли не преграждая путь коням. Вдруг Скюдери услышала ругань и проклятья и увидела человека, который пробираясь сквозь толпу, сквозь самую ее толщу, толкаясь и вовсю работая кулаками. А когда он был уже близко, ее поразил острый, пронзительный, полный отчаяния взгляд смертельно бледного юноши. Он ловко прокладывал себе дорогу локтями и кулаками, пристально глядя на нее, пока наконец не добрался до кареты; тут он стремительно распахнул дверцу и бросил какую-то запи-

ску, которая упала к Скюдери на колени, после чего молодой человек, все так же толкаясь и толкаемый другими, исчез в толпе. Как только незнакомец появился у дверцы кареты, Мартиньер, ехавшая вместе со Скюдери, с криком ужаса упала на подушки и лишилась чувств. Напрасно Скюдери дергала за шнурок, окликала кучера; тот, словно по внушению некоего злого духа, изо всей силы хлестал лошадей, которые брыкались, с пеной на удилах вставали на дыбы и наконец рысью помчались по мосту. Скюдери вылила весь свой флакончик с нюхательной солью на лежавшую в обмороке Мартиньер, та наконец открыла глаза и, судорожно прижимаясь к своей госпоже, бледная и трепещущая, объятая ужасом и тревогой, с усилием простонала:

— Ради небесной владычицы, что нужно было этому ужасному человеку? Ах, ведь это же он, он самый, принес ящичек в ту страшную ночь!

Скюдери успокоила бедную женщину, убедив ее в том, что ничего плохого не случилось и что теперь остается только ознакомиться с запиской. Она развернула листок и прочла:

«Роковое событие, которое вы одна могли отворотить, толкает меня в пропасть! Заклинаю вас, как сын заклинает мать, к которой не может не тянуться, к которой он полон горячей детской нежности, отдайте метру Рене Кардильяку ожерелье и браслеты, полученные вами через меня, отдайте под каким бы то ни было предлогом — попросите его что-нибудь переделать, что-нибудь в них изменить; ваше благополучие, ваша жизнь зависят от этого. Если до послезавтра вы этого не сделаете, я проникну в ваш дом и покончу с собой на ваших глазах!»

— Теперь ясно,— сказала Скюдери, прочитав записку,— что если этот таинственный человек и принадлежит к шайке проклятых грабителей и убийц, мне-то он не желает зла. Если бы ему в ту ночь удалось поговорить со мной, кто знает, какие загадочные обстоятельства сделали бы мне понятны, какая открылась бы связь между событиями, а теперь я напрасно должна искать хотя бы намек на разгадку. Но во всяком случае то, что в этой записке мне предлагают сделать, я сделаю хотя бы для того лишь, чтобы сбыть с рук злополучный убор, который мне начинает казаться адским талисманом, дьявольским даром. А Кардильяк, по своему обыкновению, не так-то легко выпустит его из рук.

Скюдери на следующий же день хотела отвезти убор к мастеру. Но именно в то утро все блестящие умы Парижа как будто сговорились атаковать ее, кто — стихотворением, кто — трагедией, кто — анекдотом. Едва Лашапель дочитал сцену из трагедии и с лукавым видом стал уверять, что теперь-то он одержит победу над Расином, как появился сам Расин и патетической тирадой какого-то короля сразил Лашапеля, а под конец сам Буало осветил черный трагический небосклон фейерверком своего остроумия, только чтобы не слышать вечных разговоров о Луврской колоннаде, зодчий которой — доктор Перро — доказал ему свою правоту.

Было уже далеко за полдень, Скюдери пришлось ехать к герцогине Монтансье, и, таким образом, посещение метра Рене Кардильяка было отложено до следующего утра.

Скюдери овладело какое-то странное беспокойство. Все время перед ее глазами стоял незнакомый юноша, и какое-то смутное воспоминание, всплывая из глубины души, словно говорило ей, что она уже видела это лицо, эти черты. Тревожные сны нарушали дремоту, ей казалось, что легкомыслием, даже преступлением было с ее стороны не протянуть руку помощи несчастному, который, падая в бездну, взывал к ней, ей казалось, что в ее власти было помешать какому-то губельному событию, какому-то страшному преступлению. Едва только наступило утро, она велела себя одеть и, захватив ящик с убором, поехала к золотых дел мастеру.

На улицу Никез, туда, где жил Кардильяк, потоком неслась толпа, — теснилась, собиралась у дверей его дома, кричала, шумела, неистовствовала, хотела ворваться в комнаты, так что стража, окружившая дом, не без труда сдерживала ее натиск. Среди этого дикого беспорядочного шума слышались гневные голоса: «Смерть ему! Разорвать на куски проклятого убийцу!» Наконец появляется Дегре в сопровождении большого отряда, и народ расступается, чтобы дать ему дорогу. Дверь распаивается, выводят человека в цепях и волокут его под дикие проклятия разъяренных людей. В ту минуту, когда это зрелище представляется глазам Скюдери, уже полуживой от страха и исполненной зловещих предчувствий, до слуха ее доносится пронзительный вопль. «Вперед! вперед!» — вне себя кричит она кучеру, который, ловко и быстро повернув экипаж, заставляет несметную толпу расступиться и останавливается у самого входа в дом. Скюдери видит Дегре, а у ног его — моло-

дую девушку, прекрасную, как день, полуодетую, с распущенными волосами, с печатью безумного страха и глубочайшего отчаяния на лице; девушка обнимает колени Дегре и восклицает голосом, от которого сердце разрывается — такая смертельная, страшная в нем скорбь: «Ведь он невиновен, он невиновен!» Напрасно Дегре и его люди стараются оттолкнуть ее, поднять с земли. Наконец какой-то грубый силач неуклюжими лапами схватывает ее, с силой оттаскивает от Дегре, сам спотыкается, выпускает девушку, она скатывается по каменным ступеням и, безгласная, как будто мертвая, падает на мостовую. Скюдери уже не может сдержаться.

— Ради самого создателя, что случилось, что здесь такое? — восклицает она, отворяет дверцу, выходит из кареты. Народ с уважением расступается перед этой почтенной дамой, а она, увидев, что две сострадательные женщины подняли девушку, усадили ее на ступени, растирают ей виски, подходит к Дегре и резким тоном повторяет свой вопрос.

— Случилось страшное дело, — отвечает Дегре, — сегодня утром Рене Кардильяка нашли мертвым, он убит ударом кинжала. Убийца — его же подмастерье Оливье Брюссон. Он только что отправлен в тюрьму.

— А девушка? — спрашивает Скюдери.

— Мадлон, дочь Кардильяка, — спешит ответить Дегре. — Преступник был ее возлюбленный. Теперь она плачет и все время вопит, что Оливье невиновен, совершенно невиновен. Возможно, она и знает о преступлении, и мне придется ее тоже отвести в Консьержери. — Сказав это, Дегре бросил на девушку такой свирепый и злорадный взгляд, что Скюдери содрогнулась. В эту минуту девушка испустила слабый вздох; все же она еще была не в силах двинуться, оставалась все так же безгласна, лежала с закрытыми глазами, и в толпе не знали, нести ли ее в дом или еще пытаться привести в чувство. Скюдери, глубоко потрясенная, со слезами на глазах смотрела на этого невинного ангела. Дегре и его товарищи вызывали в ней ужас. Вдруг на лестнице послышался глухой шум: это несли труп Кардильяка. Быстро приняв решение, Скюдери закричала:

— Я беру девушку к себе, об остальном, Дегре, позаботитесь вы!

Приглушенный ропот одобрения прошел по толпе. Женщины подняли Мадлон, все бросились вперед, сотни рук старались помочь им, девушку, как бы парившую в воздухе, перенесли в карету, и все благословляли поч-

тенную даму, вырвавшую невинное существо из рук кровавого суда.

Серону, самому знаменитому парижскому врачу, удалось наконец после долгих усилий привести в чувство Мадлон, долго пролежавшую в состоянии полного оцепенения. Скюдери завершила дело, начатое врачом, и благодаря ей кроткий луч надежды проник в душу девушки, а потом слезы обильным потоком хлынули из ее глаз и стесненное дыхание облегчилось. Правда, она и теперь не в силах была совладать со своим непомерным мучительным горем, и временами рыдания заглушали ее слова, но все же она смогла рассказать, как все произошло.

Около полуночи ее разбудил легкий стук в дверь, и она услышала голос Оливье, умолявшего ее тотчас же встать, потому что отец — при смерти. Она в ужасе вскочила с постели и отворила дверь. Оливье, бледный, с искаженным лицом, весь в поту, со свечой в руке, неверными шагами направился в мастерскую, она пошла за ним. Там лежал с неподвижным взором ее отец и хрипел в агонии. Она с воплем бросилась к нему и только тогда заметила, что рубашка его окровавлена. Оливье тихо отвел ее в сторону, а сам стал обмывать рану на левой стороне груди, прикладывая к ней бальзам, и пытался перевязать ее. Между тем к отцу вернулось сознание, хрипение прекратилось, и вот, бросив сперва на нее, а потом на Оливье исполненный чувства взгляд, он схватил ее за руку, вложил ее в руку Оливье и соединил их в крепком пожатии. Оба они упали на колени у постели отца, он пронзительно вскрикнул, приподнялся, но снова тотчас же упал на подушку, испустил глубокий вздох и умер. Мадлон и Оливье громко зарыдали. Оливье рассказал ей, что хозяин, приказавший ему идти вместе с ним ночью по какому-то делу, был убит на его глазах и что он с величайшим трудом принес домой тяжелое тело, не предполагая, что рана Кардильяка смертельна. Когда настало утро, домочадцы, которых встревожили шум, плач и вопли, раздававшиеся ночью, вошли в комнату и застали обоих в безутешном горе, все еще на коленях перед трупом отца. Молва о случившемся быстро разносилась, в дом явилась стража, и Оливье как убийцу хозяина увели в тюрьму. Мадлон в самых трогательных красках изобразила добродетели своего дорогого Оливье, его кротость, его верность. Рассказала, как он, словно родного отца, чтит метра Рене, а хозяин отвечал ему такую же любовью; как отец, несмотря на

бедность Оливье, избрал его себе в зятя, ибо тот в такой же мере был искусным работником, в какой был преданным и благородным человеком. Мадлон всю свою душу вложила в эти слова, а в заключение прибавила, что если бы Оливье на ее глазах вонзил нож в грудь ее отца, она скорее сочла бы это за дьявольское наваждение, чем поверила, будто Оливье способен на чудовищное злодейство.

Скюдери, глубоко тронутая беспредельными страданиями Мадлон и склонная считать невинным бедного Оливье, навела справки, и все, что Мадлон рассказывала об отношениях между хозяином и его подмастерьем, подтвердилось. Слуги и соседи единодушно считали Оливье примером добронравия, благочестия, преданности и усердия, никто ничего дурного о нем не знал, и все же, когда речь заходила о страшном преступлении, каждый пожимал плечами и говорил, что здесь кроется что-то непостижимое.

Оливье, представ перед *chambre ardente*, с величайшей твердостью и мужеством, как узнала Скюдери, отрицал возводимое на него обвинение, утверждая, что хозяин в его присутствии подвергся нападению на улице и был ранен, но что он, Оливье, еще живым принес его домой, где тот вскоре и скончался. Таким образом, показания Оливье вполне соответствовали тому, что говорила Мадлон.

Скюдери выпытывала у Мадлон все новые и новые подробности страшного события, даже самые мелкие. Она выпрашивала, не случилось ли когда-нибудь ссоры между хозяином и подмастерьем, не отличался ли Оливье вспыльчивостью, внезапным приступам которой, точно припадкам слепого безумия, бывают подвержены и добродушнейшие люди, способные тогда на поступки, уже не зависящие, казалось бы, от их воли. Но чем восторженнее говорила Мадлон о спокойной и счастливой домашней жизни, что связывала этих трех человек, так искренне друг друга любивших, тем бледнее становилась тень подозрения, павшего на Оливье, который теперь обвинялся в убийстве. Тщательно все обдумав и даже допуская, что убийцей все-таки был Оливье, несмотря на все обстоятельства, говорившие за его невинность, Скюдери не находила причины, которая могла бы толкнуть его на ужасное преступление, ибо во всяком случае оно должно было разрушить его же собственное счастье. Он беден, но он искусный работник. Ему удалось завоевать расположение знаменитейшего мастера,

он любит его дочь, мастер благосклонно относится к этой любви, впереди счастье и довольство на всю жизнь! Но если даже предположить, что Оливье, охваченный гневом, — бог весть почему, — злодейски убил своего благодетеля, своего отца, то какое адское притворство нужно для того, чтобы, совершив преступление, держать себя так, как он! Твердо убежденная в невинности Оливье, Скюдери решила во что бы то ни стало спасти невинного юношу.

Ей казалось, что, прежде чем взывать к королю о милости, лучше всего было бы обратиться к президенту Ла-Рени, указать ему на все обстоятельства, свидетельствующие в пользу Оливье, и, пожалуй, постараться внушить ему мнение, благоприятное для обвиняемого, мнение, которое могли бы разделить и судьи.

Ла-Рени принял Скюдери с глубоким почтением, на что она, пользуясь уважением самого короля, с полным основанием могла рассчитывать. Он спокойно выслушал все, что она рассказала о страшном злодеянии, об обстоятельствах жизни Оливье, о его характере. Тонкая, почти злобная улыбка была, однако, единственным признаком того, что президент не пропустил мимо ушей ее увещаний и сопровождавшихся обильными слезами рассуждений об обязанностях судьи, который не должен быть врагом обвиняемого, но и принимать в расчет все говорящее в его пользу. Когда наконец Скюдери в полном изнеможении, вытирая слезы, замолчала, Ла-Рени сказал:

— Сударыня, вашему доброму сердцу делает честь, что вы, тронутая слезами молоденькой влюбленной девушки, верите ее словам, что вы даже не можете допустить и мысли о таком страшном злодеянии, но иное дело — судья, привыкший срывать маску с самого наглого притворства. В мои обязанности, конечно, не входит рассказывать о ходе уголовного процесса всякому, кто меня об этом спрашивает. Я исполняю мой долг, сударыня, и мнение света мало заботит меня. Злодеи должны трепетать перед *chambre ardente*, — которая не знает других кар, кроме огня и крови. Но я не хотел бы, чтобы вы, сударыня, сочли меня за чудовище, за изверга, и поэтому позволю себе в немногих словах рассказать вам о преступлении злодея, который, — благодарение небу, — не избежит кары. Ваш проницательный ум сам тогда осудит то добросердечие, которое делает вам честь, но вовсе не подобало бы мне. Итак, утром Рене Кардильяк найден мертвым, убитый ударом кинжала.

При нем — только подмастерье Оливье Брюссон и дочь. В комнате Оливье среди прочих вещей находят кинжал, покрытый свежей кровью и точно соответствующий размерам раны. «Кардильяк,— говорит Оливье,— был ранен ночью на моих глазах». — «Его хотели ограбить?» — «Этого я не знаю». — «Ты шел с ним и не мог помешать убийце? Задержать его? Позвать на помощь?» — «Хозяин шел на пятнадцать или двадцать шагов впереди меня, я следовал за ним». — «Почему же так далеко?» — «Так велел хозяин». — «А что вообще делал метр Кардильяк на улице в столь поздний час?» — «Этого я не могу сказать». — «Но прежде он ведь никогда не уходил из дому после девяти часов?» Тут Оливье запинается, он смущен, он вздыхает, льет слезы, клянется всем, что есть святого, и уверяет, что Кардильяк действительно уходил в ту ночь и был убит. Но обратите внимание вот на что, сударыня. Положительно доказано, что Кардильяк в ту ночь не покидал дома; тем самым слова Оливье, что он выходил с ним на улицу, оказываются наглою ложью. Наружная дверь снабжена тяжелым замком, который, когда дверь отворяют или затворяют, производит страшный шум, да и самая дверь поворачивается на петлях с таким отвратительным скрипом и воем, что даже в верхнем этаже, как проверено, все это можно слышать. В нижнем этаже, совсем близко от наружной двери, живет старик метр Клод Патрю со своей служанкой, женщиной лет восьмидесяти, однако еще бодрой и подвижной. И она и он слышали, как в тот вечер метр Кардильяк по заведенному обычаю ровно в девять часов спустился по лестнице, с великим шумом запер дверь, опустил крючок, затем поднялся к себе, громко прочитал вечернюю молитву и пошел в свою спальню, о чем можно было догадаться по стуку захлопнувшейся двери. Метр Клод страдает бессонницей, как это часто бывает со старыми людьми. Он и в ту ночь не мог сомкнуть глаз. Поэтому служанка прошла в кухню, куда попадают через сени,— это было около половины десятого,— зажгла свет, потом села к столу в комнате метра Клода и стала читать старую хронику, а тем временем ее хозяин, занятый своими мыслями, то садился в кресло, то вставал и, чтобы утомить себя и нагнать на себя сон, неслышными и медленными шагами прохаживался по комнате. До полуночи все было тихо и спокойно. Потом они услышали над головой тяжелые шаги, шум как будто от падения чего-то тяжелого и сразу же затем — глухие стоны. Оба они почувствовали какой-то страх, гне-

тушую тревогу. Ужасное злодеяние, только что совершившееся, как будто и на них навеяло трепет. При свете утра стало ясно то, что случилось во мраке ночи.

— Но ответьте мне, ради всех святых,— перебила его Скюдери,— неужели же, несмотря на все то, о чем я так обстоятельно рассказала, вы находите какую-нибудь причину, которая подвигла бы Оливье на это адское злодеяние?..

— Хм,— ответил Ла-Рени,— Кардильяк не был беден, он владел превосходными камнями.

— Но разве,— продолжала Скюдери,— все это не должно было достаться дочери? Вы забываете, что Оливье готовился стать зятем Кардильяка.

— Возможно, что Оливье вынужден был с кем-нибудь делиться или даже совершил убийство по чьему-то наущению,— ответил Ла-Рени.

— Делиться? По чьему-то наущению? — переспросила совершенно озадаченная Скюдери.

— Да будет вам известно, сударыня,— продолжал президент,— да будет вам известно, что Оливье давно уже был бы обезглавлен на Гревской площади, если бы его преступление не было связано с той глубокой тайной, которая до сих пор такой страшной угрозой тяготела над всем Парижем. Оливье, очевидно, принадлежал к той проклятой шайке, которая, словно бы издеваясь над всеми усилиями суда, над всеми нашими поисками и попытками, смело и безнаказанно орудовала здесь. Через него мы все узнаем... все должны узнать. Рана Кардильяка совершенно такая же, какие оказывались у всех убитых и ограбленных, где бы ни случилось нападение — на улице или в доме. Но самое главное — это то, что со времени ареста Брюссона все убийства и грабежи прекратились. Улицы ночью так же безопасны, как и днем. Достаточное доказательство, что Оливье мог стоять во главе этой шайки злодеев. Он еще не признается, но есть способы заставить его говорить и против его желания.

— А Мадлон,— воскликнула Скюдери,— а Мадлон, верная, невинная голубка?

— Ну,— сказал Ла-Рени с ядовитой улыбкой,— кто может поручиться, что и она не была сообщницей? Что ей смерть отца, она плачет только об этом злодее!

— Да что вы говорите! — воскликнула Скюдери.— Этого быть не может! Убить отца! Такая девочка!

— О! — продолжал Ла-Рени,— о! вспомните хотя бы о Бренвилье! Вы меня извините, если мне, может быть,

вскоре придется взять от вас эту девушку и отправить ее в Консьержери.

Скюдери ужаснуло это подозрение. Ей показалось, что для этого страшного человека не существует ни верности, ни добродетели, что и в самых затаенных, самых сокровенных мыслях человека он отыскивает преступления и убийства.

«Будьте человечнее» — это все, что она, чувствуя стеснение в груди, с трудом могла проговорить.

Когда она уже собиралась спуститься с лестницы, до которой президент с церемонной учтивостью ее проводил, в голову ей — совершенно неожиданно — пришла странная мысль.

— Не будет ли мне позволено повидать несчастного Оливье Брюссона? — спросила она, быстро обернувшись к президенту.

Президент в нерешительности посмотрел на нее, потом на лице его появилась свойственная ему отталкивающая улыбка.

— Вы, сударыня, — молвил он, — наверно, сами хотите убедиться в виновности или невиновности Оливье и вашему чувству, голосу вашего сердца доверяете больше, чем тому, что видели наши глаза. Если вас не пугает встреча с преступником, если вам не противно будет увидеть картину порока во всем ее многообразии, то через два часа ворота Консьержери откроются для вас. К вам приведут этого Оливье, в судьбе которого вы принимаете такое участие.

Скюдери действительно не могла поверить в виновность юноши. Все говорило против него, и при таких бесспорных уликах ни один судья не поступил бы иначе, чем Ла-Рени. Но картина семейного счастья, которую такими живыми красками изобразила Мадлон, рассеивала в глазах Скюдери всякое подозрение, и она скорее готова была допустить, что имеет дело с неразрешимой тайной, чем поверить в нечто такое, против чего восставало все ее существо.

Она решила, что заставит Оливье рассказать о событиях той роковой ночи и, насколько возможно, проникнет в тайну, которая, быть может, потому осталась скрытой от судей, что им показалось бесполезным продолжать свои попытки.

Скюдери приехала в тюрьму, и ее провели в большую светлую комнату. Вскоре послышался звон цепей. Оливье Брюссона привели. Но не успел он войти в дверь, как Скюдери лишилась чувств и упала. Когда

она пришла в себя, Оливье уже не было в комнате. Она в волнении потребовала карету, ей хотелось сейчас же, не медля ни минуты, покинуть это место, где царят преступление и злодейство. Ах! В Оливье Брюссоне она с первого же взгляда узнала молодого человека, который на Новом мосту бросил ей в карету записку, того самого, который принес ей и ящичек с драгоценностями. Теперь исчезло всякое сомнение, ужасная мысль Ла-Рени подтвердилась. Да, Оливье принадлежит к шайке тех страшных злодеев, и, конечно, это он убил своего хозяина! А Мадлон? Внутреннее чувство никогда еще так горько не обманывало Скюдери, с ней как бы в смертельную схватку вступили теперь все силы ада, в существование которых на земле она прежде даже и не верила, и она готова была усомниться в существовании самой истины. В душу ее проникало страшное подозрение, что Мадлон тоже сообщница Оливье и что она, может быть, замешана в этом кровавом и гнусном деле. И как всегда случается, что человек, представив себе какую-нибудь картину, ищет и находит краски, которыми все ярче и ярче расцвечивает ее, так и Скюдери, взвесив все обстоятельства дела, все поведение Мадлон, нашла немалую пищу для своих подозрений. И кое-что, до сих пор бывшее в ее глазах доказательством невинности и чистоты, стало для нее теперь бесспорным признаком наглого коварства, искусного лицемерия. Тот душу раздирающий вопль и те кровавые слезы могли быть следствием смертельного страха — но не страха увидеть казнь любимого, нет, страха перед собственной гибелью от руки палача. Тотчас же прогнать эту змею, которую она отогрела у себя на груди, — таково было решение, принятое Скюдери, когда она выходила из кареты. Как только она вошла в свою комнату, к ногам ее бросилась Мадлон. Глядя на Скюдери глазами, полными такого чистосердечия, казалось, лишь взор ангела мог бы сравниться с небесным взглядом этих очей, прижимая руки к трепещущей груди, Мадлон стонала и молила о помощи, об утешении. Скюдери, с усилием овладев собою и стараясь придать своему голосу как можно более спокойствия и строгости, сказала:

— Да! да! Можешь утешиться, убийцу ожидает справедливая кара за его позорные дела. Пресвятая Дева да не позволит, чтобы и на тебя легло бремя кровавой вины!

— Ах! Теперь всему конец! — и с этим пронзительным возгласом Мадлон упала без чувств. Скюдери пору-

чила девушку заботам Мартиньер и удалилась в другую комнату.

В разладе с окружающей жизнью, глубоко терзаясь, Скюдери испытывала одно желание — поскорее уйти из этого мира, полного такой адской лжи. Она сетовала на судьбу, которая в горькую насмешку дала ей прожить столько лет, чтобы укрепить ее веру в честность и добродетель, и вот теперь, на старости, разрушает прекрасную мечту, сиявшую ей в жизни.

Она слышала, как Мадлон, которую уводила Мартиньер, с тихим вздохом жалобно сказала: «Ах! и ее, и ее тоже обманули эти жестокие люди! О, я несчастная... бедный, несчастный Оливье!» Слова эти проникли в сердце Скюдери, и снова где-то глубоко-глубоко шевельнулась мысль о том, что здесь есть какая-то тайна, что Оливье невиновен. Охваченная самыми противоречивыми чувствами, Скюдери в отчаянии воскликнула: «Что за адская сила втянула меня в эту цепь чудовищных событий, которые мне будут стоить жизни!» В эту минуту, бледный, испуганный, вошел Батист с известием, что явился Дегре. Со времени страшного процесса Ла-Вуазен Дегре, куда бы он ни являлся, становился несомненным предвестником какого-нибудь тяжелого обвинения, и вот чем был вызван испуг Батиста, и вот почему Скюдери спросила его с кроткой улыбкой: «Что с тобой, Батист? Уж не оказалось ли в списке Ла-Вуазен также имя Скюдери?»

— Ах, помилуйте, — ответил ей Батист, дрожа всем телом, — как это вы можете говорить такое? Но Дегре... страшный Дегре — вид у него такой таинственный, — он хочет вас видеть непременно, требует, чтобы его провели к вам, ждет не дождется!

— Ну что ж, Батист, — молвила Скюдери, — веди сюда этого человека, которого ты так боишься и который во мне по крайней мере не может возбудить ни малейшего беспокойства.

— Президент Ла-Рени, — сказал Дегре, войдя в комнату, — посылает меня к вам, сударыня, с просьбой, на исполнение которой он даже не мог бы и рассчитывать, если бы ему не известна была ваша добродетель, ваша смелость, если бы не в вашей власти было последнее средство раскрыть кровавое преступление, если бы сами вы не пожелали принять участие в процессе, не дающем покоя *chambre ardente*, не дающем покоя и нам всем. Оливье Брюссон словно обезумел с тех пор, как видел вас. Если до того он уже склонялся к признанию, то

теперь он опять именем Христовым и всеми святыми клянется, что неповинен в убийстве Кардильяка, хотя и рад будет принять смерть, которую он заслужил. Заметьте, сударыня, эти слова явно указывают на другие преступления, которые лежат на нем. Но напрасны все старания добиться от него еще хотя бы одного слова, даже угроза пытки ни к чему не привела. Он молит, закликает нас позволить ему поговорить с вами: только вам, вам одной он хочет признаться во всем. Согласитесь же, сударыня, выслушать признание Брюссона.

— Как! — с возмущением воскликнула Скюдери, — мне быть орудием кровавого судилища, мне употребить во зло доверие этого несчастного, отправить его на эшафот? Нет, Дегре, даже если Брюссон — гнусный убийца, и то я никогда не смогла бы так бесчестно обмануть его. Я не хочу знать его тайну, которая, как священная тайна исповеди, была бы навеки похоронена в моей груди.

— Быть может, — с легкой усмешкой заметил Дегре, — быть может, сударыня, взгляд ваш изменится, когда вы услышите самого Брюссона. Разве вы не просили президента быть более человечным? Он исполняет вашу просьбу, соглашаясь на безумное требование Брюссона и тем самым испытывая последнее средство, прежде чем применить пытку, которую Брюссон давно уже заслужил.

Скюдери невольно вздрогнула.

— Видите ли, сударыня, — продолжал Дегре, — видите ли, от вас не потребуют, чтобы вы еще раз шли под те мрачные своды, которые внушают вам ужас и отвращение. Оливье приведут к вам в дом, как свободного человека, ночью, не возбуждая чьего бы то ни было внимания. За ним будут следить, но подслушивать не будут, так что он сможет свободно во всем признаться вам. Вам самой нечего опасаться этого несчастного, за это я жизнью готов отвечать. О вас он говорит с благоговением. Он клянется, что только злой рок, не позволивший ему раньше увидеться с вами, привел его к гибели. А из всего, что расскажет Брюссон, вы сообщите нам ровно столько, сколько найдете нужным. Кто может заставить вас поступить иначе?

Взгляд Скюдери был исполнен глубокой задумчивости. Ей казалось, что она должна повиноваться высшей силе, требующей от нее разгадки страшной тайны, что она уже не может вырваться из этих странных пут.

в которые попала против своей воли. Внезапно решившись, она с достоинством ответила Дегре:

— Бог поддержит меня и даст мне твердость духа. Приведите ко мне Брюссона, я с ним поговорю.

Так же как и в тот раз, когда Брюссон принес ящик, в полночь раздался стук в наружную дверь. Батист, предупрежденный о ночном посещении, отворил. Ледяной трепет охватил Скюдери, когда по тихому звуку шагов, по приглушенному шепоту она поняла, что стража, приведшая Брюссона, разместилась в доме.

Наконец дверь тихо отворилась. Вошел Дегре, следом за ним — Оливье Брюссон, освобожденный от цепей, в приличном платье.

— Вот,— молвил Дегре, почтительно кланяясь,— вот Брюссон, сударыня! — и вышел из комнаты.

Брюссон опустился перед Скюдери на колени, с мольбою простер к ней сложенные руки, и слезы потоком полились из его глаз.

Побледнев, не в силах вымолвить и слово, Скюдери глядела на юношу. Черты его лица были изменены, искажены страданием, горькими муками, и вместе с тем являли выражение чистейшей искренности. Чем дольше Скюдери вглядывалась в лицо Брюссона, тем ярче оживала в ней память о каком-то человеке, которого она любила когда-то, но не могла отчетливо вспомнить теперь. Все страхи рассеялись, она забыла, что на коленях перед ней — убийца Кардильяка, и спросила тем спокойно благожелательным, милым тоном, который был ей свойствен:

— Ну, Брюссон, что же вы хотите мне сказать?

Юноша, по-прежнему стоя на коленях, с неподдельной глубокой тоской вздохнул и сказал:

— Ах, сударыня, неужели же вы, которую я так почитаю, ставлю так высоко, неужели вы совсем не помните меня?

Скюдери, вглядываясь в него еще пристальнее, ответила, что она действительно нашла в чертах его лица сходство с кем-то, кто был ей когда-то дорог, и только этому сходству он обязан тем, что она, преодолевая в себе глубокое отвращение к убийце, спокойно слушает его. Брюссону слова эти причинили острую боль, он быстро встал и, опустив долу мрачный взор, отступил на один шаг. Потом он глухо произнес:

— Так вы совсем забыли Анну Гийо? Перед вами ее сын Оливье, тот мальчик, которого вы качали на коленях.

— О боже! боже! — воскликнула Скюдери, обеими руками закрыв лицо и опускаясь на подушки. Недаром Скюдери пришла в такой ужас. Анна Гийо, дочь обедневшего горожанина, с малых лет находилась в доме Скюдери, которая воспитала ее и с материнской любовью заботилась о ней. Став взрослой, она познакомилась с красивым, добрых нравов юношей, по имени Клод Брюссон, и он посватался к ней. Ему как очень искусному часовщику в Париже был обеспечен прекрасный заработок, а девушка всей душой его любила, потому Скюдери и не поколебалась дать согласие на брак своей приемной дочери. Молодые устроились, зажили тихой и счастливой семейной жизнью, и любовные узы стали еще крепче, когда у них родился сын, красивый мальчик, вылитый портрет своей милой матери.

Скюдери боготворила маленького Оливье, которого на целые часы, даже целые дни разлучала с матерью, лаская и балуя его. Мальчик совершенно привык к ней и оставался с нею так же охотно, как с родной матерью. Прошло три года, и из-за происков товарищей по ремеслу, соперничавших с Брюссоном, работы у него с каждым днем становилось меньше, а под конец ему уже с трудом удавалось прокормить себя и семью. К тому же им овладела тоска по прекрасной родной Женеве, и вот он вместе с женой и сыном переселился туда, хотя Скюдери и обещала им всяческую поддержку, лишь бы они не уезжали. Анна несколько раз писала своей приемной матери, потом писем больше не было, и Скюдери заключила, что счастливая жизнь на родине Брюссона изгладила воспоминание о прошлых днях.

Теперь исполнилось ровно двадцать три года с тех пор, как Брюссон со своей семьей покинул Париж и переехал в Женеву.

— О ужас,— воскликнула Скюдери, когда немного пришла в себя,— о ужас! Ты — Оливье? Сын моей Анны!..

— Наверно,— спокойно и твердо сказал Оливье,— вы, сударыня, никогда не думали, что мальчик, которого вы баловали как самая нежная мать, качали на коленях, кормили лакомствами, называли самыми ласковыми именами, возмужав, предстанет перед вами обвиненный в кровавом злодеянии? Меня есть в чем упрекнуть, *chambre ardente* имеет право покарать меня как преступника, но — клянусь спасением моей души! Пусть умру от руки палача! — я никогда не проливал крови, и не по моей вине погиб несчастный Кардильяк!

Оливье задрожал, зашатался, произнося эти слова. Скюдери молча указала ему на стоявшее возле него кресло. Юноша медленно опустился в него.

— У меня,— начал он,— было время, чтобы приготовиться к свиданию с вами, на которое я смотрю как на последний дар смилостивившегося неба, и запастись спокойствием и твердостью, необходимыми для того, чтобы рассказать вам историю моих страшных, моих неслыханных несчастий. Будьте милосердны и выслушайте меня спокойно, как бы ни ужаснула вас тайна, о которой вы и не подозревали, а теперь она откроется вам. Ах, если бы мой бедный отец никогда не уезжал из Парижа! Сколько я помню нашу жизнь в Женеве, я все время чувствую на себе лишь слезы моих безутешных родителей, их жалобы, которые, хоть я их и не понимал, тоже доводили меня до слез. Лишь позднее я отчетливо осознал и по-настоящему понял, в какой глубокой нищете жили отец и мать, какие тяжелые лишения они терпели. Отец обманулся во всех своих надеждах. Сокрушенный горем, совершенно разбитый, он скончался сразу после того, как ему удалось пристроить меня в ученики к золотых дел мастеру. Мать много о вас говорила, обо всем собиралась вам написать, но всякий раз ей мешало малодушие — спутник нищеты. Малодушие и ложный стыд, что терзает смертельно раненное сердце, не давали ей исполнить это намерение. Через несколько месяцев после смерти отца и мать последовала за ним в могилу.

— Бедная Анна! бедная Анна! — в горе воскликнула Скюдери.

— Хвала и благодарение небесам, что ее уже нет в живых и она не увидит, как любимый сын ее, заклеянный позором, падет от руки палача! — Эти слова Оливье громко прокричал, и во взоре его, обращенном ввысь, было дикое отчаяние.

За дверью послышался шум,— кто-то расхаживал там.

— Ого! — с горькой усмешкой сказал Оливье,— Дегре будит своих товарищей, как будто я могу отсюда убежать! Однако продолжу мой рассказ. Хозяин обращался со мною строго, хотя вскоре я стал лучшим учеником и под конец даже превзошел его самого. Однажды в нашу мастерскую зашел приезжий, собиравшийся купить какие-то драгоценности. Когда ему на глаза попалось красивое ожерелье моей работы, он похлопал меня по плечу и, любуясь этой вещью, приветливо сказал:

«Э-э, молодой друг мой, да это же превосходная работа. Право, я не знаю, кто бы мог с вами сравниться, если не считать Рене Кардильяка,— а он, конечно, самый великий ювелир на свете. Вот к кому вам надо было бы пойти; он с радостью примет вас в свою мастерскую, потому что вы один могли бы помогать ему в его замечательной работе, и только у него вам есть чему поучиться». Слова незнакомца запали мне в душу. В Женеве я уже не находил себя покоя, могучая сила влекла меня прочь. Мне наконец удалось уйти от моего хозяина. Я приехал в Париж. Рене Кардильяк принял меня холодно и сурово. Но я не отставал от него, пока он не дал мне работу, правда самую незначительную. Я должен был сделать маленькое колечко. Когда я принес ему мою работу, он уставился на меня своими сверкающими глазами, как будто хотел заглянуть мне в душу. А потом сказал: «Ты хороший и умелый подмастерье, можешь поселиться у меня в доме и работать в мастерской. Я буду хорошо платить тебе, останешься доволен». Кардильяк свое слово сдержал. Я уже несколько недель жил у него, но еще не видел Мадлон, которая, если не ошибаюсь, находилась в то время в деревне у какой-то тетки. Наконец она приехала. О боже, что со мною было, когда я увидел этого ангела! Любил ли кто-нибудь так, как я? А теперь!.. О моя Мадлон!..

Оливье, охваченный тоскою, не мог продолжать. Он закрыл лицо руками и горько зарыдал. Наконец, с трудом преодолев свое безумное отчаяние, он вновь обратился к прерванному рассказу:

— Мадлон смотрела на меня приветливо. Она все чаще стала заходить в мастерскую. Я был в восторге, когда убедился, что она меня любит. Как ни строго следил за нами отец, мы не раз украдкой жали друг другу руки в знак союза, который заключили между собою; Кардильяк как будто ничего не замечал. Я подумывал о том, чтобы посвататься к Мадлон, если мне удастся заслужить расположение отца и получить звание мастера. Однажды утром,— я только что собирался приняться за работу,— ко мне вдруг подошел Кардильяк, и в мрачных глазах его были гнев и презрение. «Твоя работа мне больше не нужна,— начал он,— сейчас же убирайся вон из моего дома и никогда не показывайся мне на глаза. Почему я больше не желаю терпеть тебя здесь,— объяснять незачем. Слишком высоко висит сладкий плод, к которому ты тянешься, нищий бродя-

га!» Я хотел что-то сказать, но он с силой схватил меня и вышвырнул за дверь; от толчка я упал и больно расшиб себе голову и руку. Возмущенный, терзаемый жестокой скорбью, я покинул дом Кардильяка и нашел приют у одного добросердечного знакомого на самой окраине Сен-Мартенского предместья; он предоставил мне свой чердак. Я не знал ни покоя, ни отдыха. По ночам я бродил вокруг дома Кардильяка в надежде, что Мадлон услышит мои вздохи, мои жалобы, что, может быть, она подойдет к окну и ей удастся что-нибудь сказать мне, пока никто за ней не следит. В голове у меня возникли всякие дерзкие планы, на исполнение которых я думал склонить Мадлон. К дому Кардильяка на улице Никез примыкает высокая стена с нишами, где стоят старые, обветшавшие статуи. Однажды ночью стою я возле одной из этих статуй и смотрю на окна дома, что выходят во двор, который замыкается этой стеною. Тут я вдруг замечаю свет в мастерской Кардильяка. Уже полночь, прежде Кардильяк никогда не бодрствовал в такое время: он всегда отходил ко сну, как только часы пробьют девять. Сердце у меня так и стучит, полное боязливого предчувствия, я думаю, что вот произойдет какое-то событие и, может быть, мне удастся проникнуть в дом. Но свет сразу же гаснет. Я прижимаюсь к статуе, забираюсь в самую нишу, но вдруг отскакиваю от стены с ужасом, чувствуя, как что-то меня толкает, словно статуя ожила. В ночной темноте я замечаю, что камень медленно поворачивается, из отверстия в стене, крадучись, выбирается какая-то темная фигура и тихими шагами направляется вдоль по улице. Я бросаюсь к статуе,— она, как и до этого, стоит у самой стены, плотно прижатая к ней. Словно движимый какой-то внутренней силой, а не по своей воле, я крадусь за незнакомцем. Едва дойдя до статуи Богоматери, он оборачивается, и яркий свет лампы ударяет ему прямо в лицо. Это — Кардильяк! Непонятный страх, злоеший трепет овладевают мною. Как заворуженный, иду я дальше вслед за этим лунатиком, за этим призраком. Именно за лунатика я и счел хозяина, хотя было вовсе не полнолуние, когда спящие не могут противиться наваждению. Наконец Кардильяк исчезает куда-то в сторону, в тень. Но по тихому, правда хорошо мне знакомому, покашливанию я замечаю, что он спрятался в ворота одного из домов. «Что бы это значило, что он собирается тут делать?» — спрашиваю я себя в изумлении и плотно прижимаюсь к стене. Ждать пришлось недол-

го — вот, что-то напевая, звеня шпорами, прошел какой-то человек с ярким султаном на шляпе. Как тигр, завидевший добычу, Кардильяк бросился из своей засады на этого человека, который в ту же минуту, хрипя, упал на землю. Я в ужасе кричу, подбегаю, Кардильяк наклонился на телом. «Метр Кардильяк, что вы делаете?» — громко кричу я ему. «Будь ты проклят!» — проревел Кардильяк, с быстротою молнии пронесся мимо меня и исчез. Пораженный, с трудом передвигая ноги, я подхожу к человеку, поверженному наземь, становлюсь подле него на колени,— может быть, думаю, его еще удастся спасти, но признаков жизни уже нет. В смертельном страхе я даже и не заметил, как меня окружила стража. «Опять эти дьяволы убили человека... Эй, ты... молодой человек, ты что тут делаешь?.. Не из их ли ты шайки?.. Взять его!» Так они кричали, перебивая друг друга, и схватили меня. Я, запинаясь, едва мог пробормотать, что никогда не мог бы совершить такое страшное злодейство, и попросил, чтобы они с миром отпустили меня. Тогда один из сыщиков осветил мне лицо фонарем и рассмеялся: «Да это же Оливье Брюссон, подмастерье, что работает у нашего доброго метра Рене Кардильяка!.. Да... уж он-то не станет убивать людей на улице!.. Похоже на то... Да и не в обычае у этих убийц причитать над трупом, чтобы их легче было словить. Ну, так как же это было? Рассказывай, парень, не бойся». — «Совсем близко от меня,— сказал я,— на этого человека напал другой, ранил его, повалил, а когда я громко закричал, со всех ног бросился прочь. Я хотел взглянуть, можно ли еще спасти раненого». — «Нет, сын мой,— восклицает один из тех, кто поднял тело,— он мертв, удар, как всегда, пришелся в самое сердце». — «Ах, дьявол! — говорит другой,— как и третьего дня, мы опять опоздали». И они ушли, унося труп.

Что я чувствовал, этого и не выразить; я ощупывал себя — уж не снится ли мне злой сон; мне казалось, что вот сейчас я проснусь и буду дивиться этому нелепому видению. Кардильяк, отец моей Мадлон, гнусный убийца! Обессилев, я опустился на каменные ступени какого-то подъезда. Приближалось утро, делалось все светлее, передо мною на мостовой лежала офицерская шляпа, украшенная пышными перьями. Кровавое преступление Кардильяка, совершившееся на том самом месте, где я сидел, встало перед моими глазами. Я в ужасе поспешил прочь.

В страшном смятении, чуть не обезумев, сижу я у себя на чердаке, вдруг дверь отворяется и входит Рене Кардильяк. «О боже мой! что вам надо?» — кричу я ему. Он, не обращая никакого внимания на мой возглас, подходит ко мне и улыбается с ласковым спокойствием, которое вызывает во мне еще более сильное отвращение. Он придвигает старую поломанную скамейку и садится ко мне, а у меня даже нет сил подняться с моего соломенного ложа. «Ну, Оливье,— начинает он,— как тебе живется, бедняга? Я, право, больно поторопился, когда прогнал тебя, а мне на каждом шагу тебя недостает. Как раз теперь мне предстоит работа, которую без твоей помощи я не смогу окончить. Что, если бы ты вернулся ко мне в мастерскую? Молчишь? Да, я знаю, я тебя оскорбил. Не стану скрывать,— рассердили меня твои шашни с Мадлон. Но потом я все как следует обдумал и нашел, что при твоём искусстве, усердии и верности мне лучшего зятя незачем и желать. Иди-ка ты со мною и попробуй, может и возьмешь Мадлон в жены».

Слова Кардильяка пронзили мне сердце, его коварство ужаснуло меня, я не мог вымолвить ни слова. «Ты колеблешься,— продолжал он тоном более резким, понижывая меня взглядом своих сверкающих глаз,— ты еще колеблешься? Чего доброго, ты сегодня еще не можешь прийти ко мне, у тебя другие дела? Ты, может быть, собираешься навестить Дегре или представиться д'Аржансону и Ла-Рени? Берегись, парень, как бы не упасть тебе в яму, которую ты роешь другому, как бы не переломать тебе кости!» Тут я уж не мог сдерживать свое глубокое возмущение. «Пусть тех,— воскликнул я,— у кого на совести гнусные злодеяния, пугают имена, которые вы только что произнесли, мне же они не страшны, мне до них и дела нет!» — «В сущности,— продолжал Кардильяк,— в сущности, Оливье, это только будет служить к твоей чести, если ты снова станешь работать у меня, самого знаменитого мастера в наши дни, которого все уважают за его честность, за верность своему слову: ведь даже и клевета его не коснется, а упадет на голову самого клеветника. Что до Мадлон, то должен тебе признаться — моей уступчивостью ты обязан только ей. Она любит тебя с такою страстью, какой я и предполагать не мог в этом слабом ребенке. Едва ты ушел, она упала к моим ногам, обняла мои колени и, обливаясь слезами, призналась, что не может жить без тебя. Я подумал, что ей так только кажется: все эти влюбленные девочки сразу же готовы умереть, едва только на

них ласково посмотрит какой-нибудь смазливый паренек. Но моя Мадлон и в самом деле стала чахнуть и хиреть, а когда я пытался ее уговорить, чтоб она выкинула из головы этот вздор, она в ответ лишь без конца повторяла твое имя. Что мне оставалось делать! Ведь я же не хочу погубить ее. Вчера вечером я ей сказал, что согласен на все и нынче же приведу тебя. За одну ночь она расцвела как роза и ждет твоего прихода, себя не помня от любви». Небо да простит меня, но я и сам не знаю, как это я вдруг снова очутился в доме Кардильяка, а Мадлон радостно закричала: «Оливье, мой Оливье, возлюбленный мой, жених мой!» — бросилась ко мне, обвила меня руками, крепко прижала к своей груди, и я, в беспредельной, восторженной радости, поклялся Девой и всеми святыми, что никогда, никогда не расстанусь с ней!

Потрясенный воспоминаниями об этой минуте, решившей его судьбу, Оливье опять должен был прервать свой рассказ. Скюдери, сраженная тем, что она узнала о злодеяниях человека, в котором она раньше видела олицетворение добродетели и честности, воскликнула:

— Какой ужас! Рене Кардильяк принадлежал к шайке убийц, превративших наш добрый Париж в разбойничий вертеп!

— Да что это вы, сударыня,— молвил Оливье,— говорите о *шайке* убийц? Никогда и не было такой шайки. Кардильяк один, не зная устали, искал себе жертв по всему городу и находил их. Уверенность, с которой он наносил свои удары, полная невозможность напасть на след убийцы — все это объясняется тем, что он был один. Но позвольте мне продолжить мой рассказ, он откроет вам тайну преступнейшего и вместе с тем несчастнейшего из людей. В каком положении я оказался, вернувшись к моему хозяину, всякий может себе представить. Шаг был сделан, отступить я уже не мог. Иногда мне казалось, будто я стал пособником Кардильяка в его злодействах, и только любовь Мадлон помогала мне забыть терзавшую меня муку, и лишь подле нее мне удавалось побороть невыразимую тоску. Когда я работал со стариком в мастерской, у меня не хватало духу взглянуть ему в лицо, я не мог обменяться с ним словом,— такой ужас охватывал меня вблизи этого страшного человека, который днем добродетельно исполнял все обязанности нежного, любящего отца, честного горожанина, а под покровом ночи совершал свои злодеяния. Мадлон, это кроткое, ангельски чистое дитя,

боготворила его. Сердце у меня разрывалось при мысли о том, что если когда-нибудь тайного злодея постигнет кара, отчаянною Мадлон, введенной в обман этим сатанинским коварством отца, не будет границ. Вот что сковывало мои уста, хотя мне это и грозило позорной смертью — смертью преступника. Несмотря на то что из слов стражников я кое-что понял, все же злодеяния Кардильяка, их причина, способ, к которому он прибегал, оставались для меня загадкой; разгадки, впрочем, недолго пришлось ждать. Кардильяк во время работы обычно бывал в самом веселом расположении духа, шутил и смеялся, что возбуждало во мне одно отвращение, но как-то раз он показался мне озабоченным и задумчивым. Он вдруг отбросил вещь, которую отделявал, так что драгоценные камни и жемчужины посыпались в разные стороны, порывистым движением поднялся с места и сказал: «Оливье! так между нами продолжаться не может, такое положение невыносимо. Случай открыл тебе то, чего не могли разоблачить Дегре и его товарищи, несмотря на все их тончайшие ухищрения. Ты видел меня за ночной работой, к которой влечет меня моя злая звезда, сопротивляться же ей я не в силах. А твоя злая звезда повлекла тебя вслед за мною, набросила на тебя непроницаемый покров, придала такую легкость твоей походке, что ты крался бесшумно, словно какой-нибудь маленький зверек, и я тебя не заметил, хотя я вижу не хуже тигра в самом глубоком мраке и с другого конца улицы слышу малейший шорох, даже жужжанье комара. Твоя злая звезда привела тебя ко мне, сделала моим сообщником. О том, чтобы предать меня, ты теперь и думать не смеешь. Поэтому узнай все». — «Никогда не стану я твоим сообщником, лицемерный злодей!» — вот что хотел я прокричать ему, но ужас, которым наполнили меня слова Кардильяка, сдавил мне горло. Вместо слов с моих уст сорвался какой-то нечленораздельный звук. Кардильяк снова сел на свое место. Он вытер капли пота, выступившие на лбу. Подавленный тяжестью воспоминаний, он, кажется, лишь с трудом овладел собою. Наконец он начал: «Мудрые люди много толкуют о прихотях и странной восприимчивости беременных женщин и о том, какое удивительно сильное влияние на ребенка могут иметь всякие впечатления, невольно и неосознанно полученные извне. Про мою мать мне рассказывали поразительную историю. Когда она еще первый месяц была беременна мною, ей вместе с другими женщинами случилось видеть

в Трианоне блистательный придворный праздник. Взгляд ее упал на кавалера в испанском наряде с блестящей, усеянной драгоценными камнями цепью на шее, и вот она уже не могла отвести от нее глаз. Все существо ее жадно тянулось к этим сверкающим камням, которые казались ей каким-то неземным даром. За несколько лет перед тем, когда моя мать не была еще замужем, этот же самый кавалер покушался на ее добродетель, но тогда она с отвращением отвергла его. Моя мать узнала его, но теперь, озаренный блеском бриллиантов, он показался ей каким-то высшим существом, воплощением красоты. Кавалер заметил жгучие, полные желания взгляды моей матери. Он подумал, что на этот раз будет счастливее. Ему удалось приблизиться к ней, даже разлучить ее со знакомыми, с которыми она была, и увлечь за собой в уединенное место. Там он, полный страсти, заключил ее в объятия, мать схватилась за его великолепную цепь, но в тот же миг он пошатнулся и увлек ее в своем падении. Случился ли с ним удар или была тут другая причина, но он упал мертвый. Тщетно пыталась моя мать вырваться из окостеневших рук покойника. Устремив на мою мать свои впалые угасшие глаза, мертвец не давал ей подняться с земли. Люди, проходившие поодаль, услышали ее пронзительный крик о помощи, поспешили на зов и освободили ее из объятий страшного любовника. От пережитого испуга моя мать тяжело заболела. И ее и меня уже считали погибшими, но все же она выздоровела, и роды прошли благополучнее, чем того можно было ожидать. Однако страх, пережитый ею в ту ужасную минуту, наложил отпечаток на меня. Взошла моя злая звезда и заронила в меня искру, от которой разгорелась самая поразительная и самая пагубная из страстей. Уже в раннем детстве я больше всего любил блеск бриллиантов, золотые украшения. В этом видели обыкновенную детскую причуду. Но оказалось, что это не так: уже ребенком я крас золото и бриллианты, где только находил. Я, как искуснейший знаток, чутьем отличал драгоценности поддельные от настоящих. Только настоящие и манили меня, а на золото поддельное и золотые монеты я даже не обращал внимания. Врожденную страсть не могли подавить самые суровые наказания, которым подвергал меня отец. Ремесло ювелира я избрал только для того, чтобы иметь дело с золотом и драгоценными камнями. Я с увлечением отдался работе и вскоре стал первым мастером моего дела, и вот в жизни моей наступила пора,

когда подавляемая так долго врожденная страсть властно дала о себе знать и стала расти, поглощая все остальное. Когда я оканчивал работу и отдавал заказчику драгоценный убор, мной овладевала тревога, безнадежность, лишавшая меня сна, здоровья, бодрости. Человек, для которого я потрудился, день и ночь, как призрак, стоял перед моими глазами, украшенный моим убором, и некий голос шептал мне: «Ведь это же твое... твое... возьми это... на что мертвецу бриллианты?» И тогда я наконец стал воровать. Я имел доступ в знатные дома и умел быстро воспользоваться всяким удобным случаем, против моей ловкости не мог устоять ни один замок, и вскоре вещь, сработанная мной, снова оказывалась в моих руках. Но даже и это не успокаивало меня. Мне все-таки слышался тот зловеющий голос, он насмехался надо мной, кричал мне: «Хо! хо! твой убор носит мертвец». Я и сам не знаю, отчего я чувствовал такую неутолимую ненависть к тем, для кого трудился. Да! в глубине души просыпалась жажда крови, повергавшая в трепет меня самого. В то время я купил этот дом. Мы уже столкнулись с его прежним владельцем и сидели вот в этой комнате за бутылкой вина, оба довольные сделкой. Наступила ночь, я было собрался уже идти, вдруг хозяин мне говорит: «Слушайте, метр Рене, пока вы не ушли, я должен познакомить вас с секретом моего дома». И он отпер этот стеной шкаф, раздвинул его заднюю стенку, вошел в какую-то маленькую комнату, нагнулся, поднял спускную дверь. Мы сошли по узкой и крутой лестнице, он отворил узенькую дверцу, и мы оказались во дворе. Тут старик, владец дома, подошел к ограде, притронулся к куску железа, несколько выступавшему вперед, и сразу же часть стены повернулась так, что в образовавшееся отверстие человек легко мог проскользнуть на улицу. Я как-нибудь покажу тебе, Оливье, эту штуку, которую, наверно, когда еще здесь был монастырь, придумали хитрые монахи, чтобы иметь тайную лазейку. Эта часть ограды — деревянная, и только снаружи она оштукатурена и выкрашена, совсем точно каменная, снаружи здесь стоит статуя тоже из дерева, но похожая на каменную, и все это поворачивается на потайных петлях. Темные мысли пробудились во мне, когда я увидел это устройство; мне показалось, будто уже положено начало всему тому, что еще и для меня самого было покрыто тайной. Я только что перед этим вручил одному придворному драгоценный убор, который, как мне было

известно, предназначался в подарок танцовщице. И тут началась пытка,— призрак по пятам следовал за мною, сатана шептал мне что-то на ухо. Я переехал в купленный дом. Обливаясь кровавым потом от страха, я ворочаюсь с боку на бок на моей постели и не могу уснуть. Я мысленно вижу, как этот человек крадется с моим убором к танцовщице, вскакиваю в ярости, накидываю плащ, спускаюсь по потайной лестнице, сквозь стену попадаю на улицу Никез. Он появляется, я на него набрасываюсь, он вскрикивает, но, крепко схватив его сзади, я вонзаю ему в сердце кинжал... убор в моих руках. Сделав это, я почувствовал в душе такое спокойствие, такое удовлетворение, какого никогда еще не испытывал в жизни. Наваждение рассеялось, голос сатаны умолк. Тут мне стало ясно, чего требует моя злая звезда, я должен был покориться ей или погибнуть. Теперь тебе понятны мои поступки! Не думай, Оливье, что я, делая то, чему я не могу противиться, совершенно потерял чувство жалости и сострадания, присущее всякому человеку. Ты знаешь, как мне бывает тяжело отдавать работу заказчику, ты знаешь, что я вовсе не берусь работать для тех, чьей смерти не желаю, и даже иногда, если я уверен, что завтра прольется кровь, от которой наваждение рассеется, я сегодня же здоровым ударом кулака сваливаю с ног владельца моей вещи, и она снова падает ко мне». Рассказав все это, Кардильяк повел меня в потайную комнату в подвале и показал мне свое собрание драгоценностей. Собрания более богатого нет, должно быть, и у короля. К каждой вещи прикреплен ярлычок, на котором точно указывается, для кого сделана вещь и как добыл ее вновь Кардильяк — путем ли воровства, грабежа или убийства. «В день твоей свадьбы,— глухо и торжественно сказал Кардильяк,— в день твоей свадьбы, Оливье, ты, положив руку на распятие, дашь мне священную клятву, что после моей смерти превратишь в прах все эти сокровища — способом, который я тебе укажу. Я не хочу, чтобы кому-нибудь на свете, а уж менее всего — Мадлон и тебе, достались сокровища, купленные ценою крови». Заблудившись в лабиринте преступлений, терзаемый любовью и отвращением, блаженством и ужасом, я был словно грешник, которого ангел с нежной улыбкою манит ввысь, но сатана впился в него раскаленными когтями, и вот улыбка доброго ангела, отражающая все блаженство далеких набес, становится для него горчайшей из мук. Я уже думал о бегстве... даже о самоубий-

стве... Но Мадлон! Вините, вините меня, сударыня, что я был слишком слаб и не мог побороть страсть, приковавшую меня к цепи преступлений; но разве я за это не заплачу позорной смертью? Однажды Кардильяк вернулся домой необычайно веселый. Он приласкал Мадлон, очень приветливо смотрел на меня, выпил за столом бутылку хорошего вина, что он делывал обычно только по большим праздникам, в дни каких-нибудь торжеств, пел, чему-то радовался. Мадлон оставила нас одних, и я уже хотел идти в мастерскую, но Кардильяк сказал: «Посиди со мной, друг, сегодня больше не будем работать; давай-ка еще выпьем за здоровье самой почтенной, самой достойной женщины в Париже». Мы с ним чокнулись, и, осушив полный стакан, он проговорил: «Скажи-ка, Оливье, как тебе нравятся эти стихи:

Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour?

И он рассказал, что произошло между вами и королем в покоях Ментенон, и прибавил, что издавна уже уважает вас так, как ни одного человека на земле, и что вы, обладая такой высокой добродетелью, перед которой бессильно померкла бы его злая звезда, могли бы носить прекраснейший убор его работы и никогда не возбудили бы в нем ни злых дум, ни кровавых замыслов. «Слушай, Оливье,— сказал он,— послушай, что я решил. Давно уже мне было заказано сделать из собственных моих камней ожерелье и браслеты для Генриетты Английской. Ни одна работа до сих пор не удавалась мне так, как эта, но сердце разрывалось у меня в груди, когда я думал о том, что мне придется расстаться с этой вещью, ставшей моей любимой драгоценностью. Ты знаешь, что несчастная принцесса погибла насильственной смертью. Я сохранил этот убор и хочу в знак моего уважения и благодарности послать его мадемуазель де Скюдери от имени преследуемой шайки. Мало того что Скюдери получит красноречивое доказательство своего торжества, я же, кроме того, посмеюсь над Дегре и его товарищами, как они того заслуживают. Ты отнесешь ей убор». Как только Кардильяк произнес ваше имя, сударыня, с глаз моих словно спала черная пелена, и прекрасные, светлые картины счастливого, далекого детства снова встали передо мной во всем своем блеске. Я почувствовал удивительное облегчение, в душу мою проник луч надежды, от которого рассеялось мрачное наваждение. Кардильяк, по-видимому, заметил.

какое впечатление произвели на меня его слова, и истолковал это по-своему. «Моя мысль,— сказал он,— моя мысль тебе как будто по душе. Признаюсь, что какой-то внутренний голос, совсем не похожий на тот, который, словно жадный хищный зверь, требует от меня кровавых жертв, повелел мне сделать это. Со мной иногда творится что-то странное, непобедимая тревога, страх перед чем-то ужасным, перед далеким, потусторонним миром охватывает меня и держит словно в тисках. В эти минуты у меня такое чувство, будто все то, что велела мне совершить злая звезда, ляжет бременем на мою бессмертную душу, хоть она ни в чем и не повинна. В таком состоянии духа я однажды решил сделать прекрасный бриллиантовый венец для статуи Богоматери, что в церкви святого Евстахия. Но всякий раз, как я принимался за работу, этот непостижимый страх еще сильнее овладевал мною, и я совсем отказался от своей мысли. Теперь мне кажется, что, подарив Скуюдери прекраснейший из уборов, когда-либо сделанных мною, я смиренно принесу жертву самой добродетели и кротости и найду себе верную заступницу». Кардильяк, которому в точности был известен ваш образ жизни, сударыня, указал мне, как и в котором часу я должен передать вам убор, положенный им в изящный ящичек. Я был в совершенном восхищении,— через преступного Кардильяка само небо указывало мне путь к спасению из этого ада, в котором я томился, отверженный и грешник... Так я думал. Против воли Кардильяка я хотел увидеть лично вас самих. Как сын Анны Брюссон, как ваш питомец я хотел броситься к вашим ногам и во всем... во всем открыться вам. Вы не остались бы равнодушны к тому несказанному горю, которое грозит бедной невинной Мадлон, если откроется тайна Кардильяка, и, конечно, ваш высокий и острый ум нашел бы верное средство положить предел его мерзким злодеяниям, даже не разглашая этой тайны. Не спрашивайте меня, что это за средство, я и сам не знаю... но что вы спасете Мадлон и меня — в это я верил так же твердо, как верю в помощь Пресвятой Девы-утешительницы. Вы знаете, сударыня, что моя попытка в ту ночь не удалась. Я не терял надежды, что в другой раз буду счастливее. Но Кардильяк вдруг потерял всю прежнюю веселость. Он бродил мрачный, неподвижно смотрел вперед, бормотал непонятные слова, размахивал руками, словно обороняясь от врага, и казалось, ум его терзали злые мысли. Так однажды прошло целое

утро. Наконец он сел за работу, с досадой тотчас же вскочил, поглядел в окно и промолвил озабоченно и угрюмо: «Пусть бы мой убор носила Генриетта Английская!» Слова эти ужаснули меня. Я теперь знал, что его больной ум снова во власти жуткого кровавого наваждения, что ему снова слышится голос сатаны. Я знал, что вам грозит смерть от руки проклятого убийцы, а возвращение убора в руки Кардильяка может вас спасти. С каждым мигом опасность возрастала. Тут я встретился с вами на Новом мосту, протолкался до вашей кареты и бросил вам записку, в которой заклинал тотчас же вернуть Кардильяку полученный от него убор. Вы не приехали, на другой день моя тревога перешла в отчаяние: Кардильяк только и говорил о драгоценном уборе, что снился ему ночью... Слова его могли относиться только к вашему убору, и я был уверен, что он уже обдумывает свой кровавый замысел, который, быть может, решил осуществить в ближайшую же ночь. Я должен был спасти вас, хотя бы ценою жизни Кардильяка. Как только он после вечерней молитвы заперся, по обыкновению, у себя в комнате, я через окно спустился во двор, проскользнул в лазейку и спрятался неподалеку от нее в глубокую тень. Немного времени спустя вышел и Кардильяк и, крадучись, пошел вдоль улицы. Я — за ним. Он направился на улицу Сент-Оноре, сердце у меня затрепетало. Вдруг я потерял Кардильяка из виду. Я решил, что пойду и стану у двери вашего дома. Но вот, совсем как в тот раз, когда случай сделал меня свидетелем злодеяния, мимо меня проходит, что-то напевая и не замечая меня, какой-то офицер. В тот же миг выскакивает черная фигура и бросается на него. Это Кардильяк. Я хочу помешать убийству, громко кричу и в два-три прыжка настигаю их. Но не офицер, а Кардильяк лежит на земле и хрипит, раненный насмерть. Офицер бросает кинжал, выхватывает шпагу из ножен и, думая, что я — сообщник убийцы, готовится защищаться, но, увидев, что мне до него нет дела и что я наклонился над трупом, спешит уйти. Кардильяк был еще жив. Спрятав кинжал, брошенный офицером, я взвалил Кардильяка себе на плечи, с трудом дотащил его до дому и пронес потайным ходом в мастерскую. Остальное вам известно. Вы видите, сударыня, все мое преступление — в том, что я не предал суду отца Мадлон и не положил конца его злодеяниям. Сам я неповинен в этой крови. Никакая попытка не исторгнет у меня тайну Кардильяковых преступле-

ний. Я не хочу, чтобы наперекор Провидению, скрывшему от невинной дочери кровавые дела ее отца, на нее со смертельной силой обрушился весь ужас прошлого, все, что окружало ее жизнь, не хочу, чтобы людская месть вырыла труп из земли, скрывшей его, чтобы рука палача предала поруганию гниющие кости. Нет!. Пусть любимая оплачет меня, как невинную жертву, время смягчит ее горе, а мысль о дьявольских злодеяниях любимого отца никогда бы не изгладилась в ее душе.

Оливье замолчал, но слезы вдруг потоком полились из его глаз, он упал к ногам Скюдери и стал молить ее:

— Ведь вы уверены, что я невинен... О да, уверены! Сжальтесь же надо мною, скажите, что с Мадлон?

Скюдери крикнула Мартиньер, и через несколько секунд Мадлон уже бросилась в объятия Оливье.

— Теперь все хорошо, ведь ты здесь — я же знала, что эта благороднейшая женщина тебя спасет! — так восклицала Мадлон, и Оливье забыл о своей участи, обо всем, что ему грозило, он был счастлив и свободен. Оливье и Мадлон трогательно жаловались друг другу, сколько им пришлось перенести, и снова обнимались и плакали от восторга, что свиделись опять.

Если бы Скюдери уже не была убеждена в невинности Оливье, то она поверила бы в нее теперь, глядя на них обоих в эту минуту, когда они в упоении любви забыли о своем несчастье, о своих несказанных страданиях, обо всем на свете. «Нет,— воскликнула она,— только чистым сердцам дано так блаженно забываться!»

Яркие утренние лучи проникли в окна. Дегре тихо постучал в дверь и напомнил, что пора Оливье Брюссону возвращаться в тюрьму: позднее уже не удастся незаметно провести его по улицам. Влюбленные должны были расстаться.

Мрачные предчувствия, овладевшие душою Скюдери уже после первого появления Брюссона в ее доме, превратились теперь в страшную действительность. Она увидела сына своей милой Анны безвинно запутавшимся в таких сетях, что спасти его от позорной казни, казалось, было почти невозможно. Она преклонялась перед высоким мужеством юноши, который скорее готов был погибнуть позорной смертью, чем выдать тайну, которая убила бы его Мадлон. Мысленно перебирая все возможные пути, она не видела средства вырвать несчастного из рук жестоких судей. И все-таки в душе она твердо решила, что не отступит ни перед какой жертвой, лишь

бы предотвратить вопиющую несправедливость, уже готовую совершиться. Она хваталась за различные планы, один другого фантастичнее, но отбрасывала их так же быстро, как и создавала. Все бледнее и бледнее становился луч надежды, и она уже близка была к отчаянию. Но детски кроткое доверие к ней Мадлон, светлый восторг, с которым она говорила о возлюбленном, о том, как вскоре его совершенно оправдают и как он обнимет ее, свою жену, до глубины души трогали Скюдери и придавали ей новые силы.

Только для того, чтобы не сидеть сложа руки, Скюдери написала Ла-Рени длинное письмо; она в нем говорила, что Оливье Брюссон достовернейшим образом доказал ей свою невинность и что только твердая решимость унести с собой в могилу тайну, которая могла бы стать гибельной для невинного и добродетельного существа, не позволяет ему сделать суду признание, хотя оно сняло бы с него ужасное подозрение не только в убийстве Кардильяка, но и в принадлежности к шайке гнусных убийц. Все пламенное рвение и мудрое красноречие было пущено в ход в этом письме, лишь бы смягчить суровое сердце Ла-Рени. Через несколько часов Ла-Рени прислал ей ответ: его сердечно радовало то, что Оливье Брюссон совершенно оправдался в глазах своей высокой и достопочтенной покровительницы. Что же касалось мужественной решимости унести с собой в могилу тайну, относящуюся к обстоятельствам дела, то он сожалеет, но *chambre ardente* не может одобрить подобную решимость, а, напротив, вынуждена будет прибегнуть к самым сильным средствам, лишь бы ее сломить. Он выражал надежду, что через три дня овладеет необыкновенной тайной, которая объяснит все случившиеся чудеса.

Скюдери слишком хорошо было известно, что Ла-Рени понимает под теми средствами, которые должны сломить решимость Оливье. Несчастный несомненно был обречен на пытку. Скюдери, охваченной смертельным страхом, пришло наконец в голову, что прежде всего надо было бы добиться хоть отсрочки, и тут мог бы пригодиться совет человека, сведущего в законах. В то время самым знаменитым адвокатом в Париже был Пьер Арно д'Андильты. С его познаниями, его обширным умом могли сравниться лишь его честность, его добросовестность. Скюдери отправилась к нему и рассказала ему все, насколько это было возможно, не нарушая тайны Брюссона. Она думала, что д'Андильты примет живое

участие в судьбе невинного, но горько обманулась в своей надежде. Д'Андильи спокойно все выслушал и, улыбаясь, отвечал стихом Буало: «*Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable*»¹. Он объяснил Скюдери, что против Брюссона свидетельствуют слишком явные улики, что Ла-Рени нельзя обвинить ни в жестокости, ни в поспешности, что, напротив, он поступал в полном соответствии с законом, что он даже не мог бы действовать иначе, выполняя обязанности судьи. Д'Андильи сказал, что и он, как бы искусно ни защищал Брюссона, не мог бы спасти его от пытки. Только сам Брюссон в состоянии добиться этого, если он чистосердечно признается или же по крайней мере точнейшим образом расскажет об обстоятельствах смерти Кардильяка: может быть, это откроет путь для нового расследования.

— Так я брошусь к ногам короля и буду молить о помиловании! — вне себя воскликнула Скюдери, которую душили слезы.

— Бога ради, — воскликнул д'Андильи, — Бога ради, не делайте этого, сударыня! Не прибегайте пока что к этому последнему средству, ведь если оно вам не поможет сейчас, вы никогда больше не сможете к нему обратиться. Король ни за что не помилует такого преступника, иначе он заслужит самые горькие упреки от недовольного народа, натерпевшегося страхов. Может быть, Брюссон откроет свою тайну или найдет какое-нибудь иное средство, чтобы опровергнуть павшее на него подозрение. Тогда будет время просить короля о помиловании; он не станет доискиваться, что доказано и что не доказано перед судом, и послушается только своего внутреннего убеждения.

Скюдери поневоле пришлось согласиться с многоопытным д'Андильи. Глубоко опечаленная, все время думая о том, что бы ей предпринять еще для спасения несчастного Брюссона, она поздним вечером сидела у себя в комнате, как вдруг вошла Мартиньер и доложила, что граф Миоссан, полковник королевской гвардии, непременно желает говорить с мадемуазель де Скюдери.

— Простите, сударыня, — молвил Миоссан, поклонившись с военной учтивостью, — простите, что я вас беспокою в такой поздний и неурочный час. Но нам, солдатам, к этому не привыкать, в оправдание же себе

¹ Правда иногда может быть неправдоподобной (*фр.*).

скажу лишь два слова. Я пришел к вам ради Оливье Брюссона

Скюдери, с нетерпением ожидавшая, что еще он скажет, громко воскликнула:

— Оливье Брюссона? Этого несчастнейшего среди людей? Что вы знаете о нем?

— Я так и думал,— улыбаясь, продолжал Миоссан,— что достаточно будет произнести это имя — и вы благосклонно выслушаете меня. Все убеждены в виновности Брюссона. Мне известно, что вы держитесь другого мнения, которое, правда, как говорят, основано лишь на уверениях самого обвиняемого. Со мною дело обстоит иначе. Никто лучше меня не знает, что Брюссон невиновен в смерти Кардильяка.

— О, говорите, говорите! — воскликнула Скюдери, и глаза ее заблестали от радости.

— Это я,— твердо сказал Миоссан,— это я убил старого ювелира на улице Сент-Оноре, недалеко от вашего дома.

— Вы! О боже! Вы! — воскликнула Скюдери.

— Клянусь вам, сударыня,— продолжал Миоссан,— я горжусь моим поступком. Знайте, что Кардильяк был гнуснейший и лицемернейший из злодеев, это он подло грабил и убивал по ночам людей и долго ускользал от преследования. Сам не знаю почему, у меня в душе зародилось смутное подозрение, когда я увидел, как волновался старый злодей, отдавая мне заказанную вещь, когда он стал подробно расспрашивать, кому предназначается убор, и очень хитро выведал у моего камердинера, в какое время я обычно посещаю некую даму. Я уже давно обратил внимание на то, что несчастные жертвы подлого грабителя погибали все от одинаковой раны. Я был уверен, что убийца уже привык наносить удар, от которого они мгновенно умирали, и на этом я построил свой расчет. Стоило ему промахнуться, и борьба уже была бы равной. Это заставило меня принять меру предосторожности, настолько простую, что я даже не понимаю, как это другие раньше не прибегли к ней и таким образом не спасли себя от руки страшного убийцы. Я надел под камзол легкую кольчугу. Кардильяк напал на меня сзади. Он обхватил меня со страшной силой; удар был точно рассчитан, но кинжал скользнул по стали. В тот же миг я высвободился и вонзил ему в грудь кинжал, который держал наготове.

— И вы молчали,— спросила Скюдери,— вы не объявили суду о том, что случилось?

— Позвольте мне заметить, сударыня,— продолжал Миоссан,— что подобное показание могло бы если не вовсе погубить меня, то запутать в гнуснейшее судебное дело. Разве Ла-Рени, которому всюду чудятся преступления, так прямо и поверил бы мне, если бы в покушении на убийство я обвинил честного Кардильяка,— ведь он считался образцом благочестия и добродетели? Что, если бы меч правосудия обратился острием против меня?

— Этого не могло быть,— воскликнула Скюдери,— ваше происхождение, ваше звание...

— О,— продолжал Миоссан,— вспомните маршала Люксембургского: ему вздумалось заказать Лесажу гороскоп, а его заподозрили как отравителя и посадили в Бастилию. Нет, клянусь святым Дионисием, ни одного часа моей свободы, ни одного волоска я не отдам неистовому Ла-Рени, который всем нам рад перерезать горло.

— Но так вы пошлете на эшафот невинного Брюссона? — перебила его Скюдери.

— Невинного? — переспросил Миоссан.— Невинным вы, сударыня, называете сообщника злодея Кардильяка, человека, который помогал ему в его преступлениях? Который сто раз заслуживает смерти? Нет, право же, казни он достоин, и если вам, сударыня, я открыл, как было все на самом деле, то я думал, что вы, не предавая меня в руки *chambre ardente*, так или иначе извлечете из моей тайны пользу для этого человека, которого вы взяли под защиту.

Скюдери, с восхищением видя, что ее уверенность в невинности Брюссона так бесспорно подтвердилась, не поколебалась все открыть графу, уже знавшему о преступлениях Кардильяка, и попросила его отправиться вместе с нею к д'Андильи. Она под секретом собиралась все сообщить ему, чтобы тот посоветовал, как теперь поступить.

Когда Скюдери чрезвычайно подробно рассказала обо всем д'Андильи, он стал еще расспрашивать о мельчайших обстоятельствах дела. В особенности он настаивал на вопросе, вполне ли граф Миоссан уверен в том, что напал на него Кардильяк, и сможет ли он в Оливье Брюссоне признать человека, унесшего труп.

— Я,— отвечал Миоссан,— прекрасно узнал ювелира в ярком лунном свете, но, кроме того, я еще видел у Ла-Рени тот самый кинжал, которым сразил Кардильяка. Это мой кинжал, он замечателен чрезвычайно

изящной отделкой рукояти. А что до юноши, то я стоял от него в двух шагах и разглядел его лицо, тем более что у него шляпа свалилась с головы, и уж, конечно, узнал бы его.

Д'Андильи несколько секунд помолчал, потупив взгляд, потом молвил:

— Нечего даже думать о том, чтобы обыкновенными путями вырвать Брюссона из рук правосудия. Он ради Мадлон не хочет объявить Кардильяка убийцей и грабителем. Пусть так и будет; ведь если бы ему даже и удалось доказать это, если бы он и сообщил судьям о существовании потайного хода, о награбленных сокровищах, все-таки ему грозила бы смерть как сообщнику. То же самое будет и в том случае, если граф Миоссан расскажет судьям, как в действительности произошло убийство ювелира. Отсрочка — вот единственное, к чему следует стремиться. Граф Миоссан отправляется в Консьержери, просит показать ему Брюссона, узнает в нем того, кто уносил труп Кардильяка. Потом он идет к Ла-Рени и говорит ему: «В улице Сент-Оноре на моих глазах убили человека, я стоял над трупом, как вдруг кто-то подбежал к нему, наклонился, увидел, что раненый еще жив, взвалил его себе на плечи и унес. В Оливье Брюссоне я узнал этого человека». Это показание послужит поводом к новому допросу Брюссона и к очной ставке его с графом Миоссаном. Словом, попытка отменяется, и продолжается розыск. Тогда наступит пора обратиться к самому королю. От вас, сударыня, от вашего острого ума будет зависеть удачный исход. По-моему, хорошо было бы открыть королю всю тайну. Показание графа Миоссана подтвердит слова Брюссона. К той же цели, быть может, приведет и тайный обыск в доме Кардильяка. Все это может повлиять не на приговор суда, но на решение короля, ибо оно будет опираться на чувство, которое требует пощады там, где судья обязан карать.

Граф Миоссан в точности последовал совету д'Андильи, и действительно, все произошло так, как он предсказывал.

Теперь надо было просить короля, а это было самое трудное, ибо король, считая Брюссона виновником страшных кровавых разбоев, столь долго повергавших в ужас весь Париж, питал к нему такое отвращение, что малейшее напоминание о злополучном процессе приводило его в ярость. Ментенон, верная своему правилу — никогда не говорить с королем о вещах неприят-

ных, не соглашалась быть посредницей, и, таким образом, судьба Брюссона оказалась всецело в руках Скюдери. После долгого раздумья она внезапно приняла решение, которое тотчас же и осуществила. Она оделась в черное, тяжелого шелка, платье, надела драгоценный убор — подарок Кардильяка, накинула длинную черную вуаль и в этом наряде явилась в покоях Ментенон как раз в такое время, когда там был король. Благородному облику почтенной дамы этот торжественный наряд придавал особую величественность, которая внушила глубокое почтение даже той пошлой и легкомысленной толпе, что топчется в дворцовых передних и надо всем и всеми насмехается. Все расступились перед нею, а когда она вошла к Ментенон, сам король, в изумлении, поднялся ей навстречу. Перед ним засверкали чудесные бриллианты, украшавшие ожерелье и браслеты, и он воскликнул:

— Бьюсь об заклад, что это работа Кардильяка! — А затем, обернувшись к Ментенон, он с любезной улыбкой прибавил: — Смотрите, маркиза, как наша прекрасная невеста горюет по своему женихе.

— Ах, ваше величество, — возразила Скюдери, как бы подхватывая шутку, — разве скорбной невесте подобает такой блестящий убор? Нет, я уж и думать оставила об этом ювелире и даже не вспоминала бы о нем, если бы порою перед моими глазами не возникала вновь отвратительная картина — его труп, который проносили мимо меня.

— Как, — спросил король, — как? Вы разве видели этого беднягу мертвым?

Скюдери коротко рассказала, как случай (она еще не хотела упоминать о Брюссоне) привел ее к дому Кардильяка в то самое время, когда только что было обнаружено убийство. Она описала дикое отчаяние Мадлон, глубокое впечатление, которое произвел на нее этот ангел, рассказала, как ей удалось вырвать несчастную из рук Дегре и какой восторг проявила по этому поводу толпа. Все более красноречиво она изображала сцену с Ла-Рени, с Дегре, с самим Оливье Брюссоном. Король, увлеченный живым, пламенным рассказом Скюдери, уже не замечал, что речь пошла о деле Брюссона, возбуждавшего его омерзение, он слушал, боясь уступить хотя бы одно слово, и только время от времени у него вырывался какой-нибудь возглас, свидетельствовавший о его волнении. Не успел он оломниться, совершенно потрясенный этими неслыханными новостями,

и не успел привести в порядок свои мысли, как Скюдери уже лежала у его ног и молила о пощаде для Оливье Брюссона.

— Что вы, сударыня? — воскликнул король, взяв ее за обе руки и заставив сесть. — Что вы? Вы чрезвычайно потрясли меня! Это же страшная история! Но кто поручится, что фантастический рассказ Брюссона правдив?

А Скюдери в ответ:

— Граф Миоссан... обыск в доме Кардильяка... внутреннее убеждение... ах! И добродетельное сердце Мадлон, которое в несчастном Брюссоне встретило ту же добродетель!

Короля, который собирался что-то сказать, отвлек шум у двери. Сюда с озабоченным видом заглянул Лувуа, занимавшийся в соседней комнате. Король встал и последовал за ним. И Скюдери и Ментенон увидели в этом опасность, ибо король, раз застигнутый врасплох, теперь стал бы уже остерегаться, как бы и во второй раз не попасться в расставленные сети. Но он очень скоро вернулся, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем, заложив руки за спину, остановился перед Скюдери и тихо сказал, не глядя на нее:

— Мне бы хотелось видеть вашу Мадлон!

А Скюдери на это:

— Ах, ваше величество! какой высокой... высокой чести вы удостоите бедное несчастное дитя!.. Ах, я ждала только вашего слова, малютка сейчас будет у ваших ног.

И так быстро, как только позволяло ее тяжелое платье, она засеменила к дверям и крикнула, что король велит позвать Мадлон Кардильяк, потом вернулась на свое место и зарыдала от радости и от умиления. Скюдери предчувствовала такую милость и поэтому взяла с собою Мадлон, которая теперь ждала в комнате камеристки маркизы де Ментенон, держа наготове короткое прошение, написанное самим д'Андильти. Через какую-нибудь минуту она уже лежала у ног короля, не в состоянии сказать и слова. Страх, смятение, благоговейная робость, любовь и печаль волновали ее кипевшую кровь, которая все быстрее и быстрее бежала по жилам. Щеки Мадлон горели ярким румянцем, на глазах блистали прозрачные жемчужины слез, которые одна за другой падали с шелковых ресниц на прекрасную лилейно-белую грудь. Короля, казалось, поразила ангельская красота этой девушки. Он нежно поднял ее, взял ее руку и сделал такое движение, словно хотел по-

целовать ее. Но он ее выпустил и продолжал смотреть на прелестное дитя взглядом, влажным от слез,— знак того, что он глубоко тронут. Ментенон еле слышно прошептала Скуюдери:

— Посмотрите, разве эта малютка не вылитая Ла-Вальер? Король предается сладостным воспоминаниям. Ваше дело выиграно!

Как ни тихо сказала Ментенон эти слова, все же король, по-видимому, услышал их. Легкая краска на мгновение залила его лицо, взгляд скользнул по маркизе, он прочитал прошение, поданное ему Мадлон, и сказал тоном ласковым и мягким:

— Я верю, милое дитя мое, что ты убеждена в невинности твоего Оливье, но посмотрим, что еще скажет *chambre ardente*!

Легкое движение рукой — и вот уже девушка, заливаясь слезами, должна была покинуть комнату. Скуюдери, к своему ужасу, увидела, что воспоминание о Ла-Вальер, как ни благотворно казалось оно вначале, изменило намерения короля, едва только Ментенон произнесла ее имя. Быть может, король увидел в этом грубый намек на то, что он собирается принести строгую справедливость в жертву красоте, или, быть может, с ним случилось то же, что бывает с каким-нибудь мечтателем: если резко окликнуть его, сразу же улетучиваются прекрасные волшебные образы, только что казавшиеся такими осязаемыми. Возможно также, что ему представилась не Ла-Вальер, какой она была некогда, а *Sœur Louise de la Miséricorde*¹ (ее монашеское имя в Кармелитском монастыре), вызывавшая в нем только досаду своей набожностью и своим покаянием. Спокойно ожидать королевского решения — вот единственное, что оставалось теперь делать.

Между тем показание, которое граф Миоссан дал перед *chambre ardente*, стало известно, и народ, всегда легко переходящий от одной крайности к другой, и на сей раз увидел невинную жертву варваров-судей в том самом человеке, которого сперва проклинали, называли гнусным убийцей и хотели растерзать, не дав ему подняться на эшафот. Только теперь соседи вспомнили о добродетелях Оливье, о его страстной любви к Мадлон, о том, как он душою и телом был предан старику ювелиру. Целые толпы собирались перед домом Рени и с угрозой кричали ему: «Отдай нам Оливье Брюссона,

¹ Сестра Луиза Милосердия

он невиновен!» — и даже камни бросали в окна, так что президент был вынужден искать у полиции защиты от разъяренной черни.

Прошло несколько дней, а Скюдери все еще ничего не слышала о процессе Оливье Брюссона. В полном отчаянии она отправилась к Ментенон, но та уверяла ее, что король молчит об этом деле и что было бы вовсе неуместно о нем напоминать. А когда Ментенон с какой-то странной улыбкой спросила, что поделявает маленькая Ла-Вальер, то Скюдери уже не сомневалась, что в душе эта гордая женщина раздосадована обстоятельством, по вине которого легко увлекающийся король мог бы поддаться чарам, чуждым и непонятым ей. Итак, на Ментенон надеяться было нельзя.

Наконец с помощью д'Андильи Скюдери удалось узнать, что у короля был продолжительный секретный разговор с графом Миоссаном. Далее, что Бонтан, камердинер и ближайший поверенный короля, был в Консьержери, беседовал с Брюссоном, что, наконец, как-то ночью тот же Бонтан и еще несколько человек отправились в дом Кардильяка и долго пробыли там. Клод Патрю, живший в нижнем этаже, уверял, что над его головой шумели всю ночь и что, наверно, при этом был Оливье Брюссон: он-де явственно слышал его голос. Итак, было несомненно одно: сам король велел произвести расследование, и только оставалось непонятным, почему так долго откладывается решение. Очевидно, Ла-Рени пускал в ход все средства, лишь бы удержать в своих когтях жертву, которую у него собирались вырвать. Это в зародыше убивало всякую надежду.

Прошел почти целый месяц, и вдруг Ментенон присылает к Скюдери сказать, что сегодня вечером король желает ее видеть в покоях маркизы.

Сердце Скюдери сильно забилося: она поняла, что теперь решается судьба Брюссона. Она сказала об этом и бедной Мадлон, которая горячо молила Пресвятую Деву и всех святых, чтобы они внушили королю уверенность в невинности Брюссона.

И все же Скюдери показалось, будто король забыл обо всем этом деле: как обычно занятый любезными разговорами с Ментенон и Скюдери, он ни словом не обмолвился о бедном Брюссоне. Наконец появился Бонтан, подошел к королю и сказал ему несколько слов — так тихо, что обе дамы ничего не расслышали. Скюдери вздрогнула. Тут король встал, подошел к Скюдери и, бросив на нее сияющий взгляд, молвил:

— Поздравляю вас, сударыня! Ваш Оливье Брюссон — на свободе!

Скюдери, у которой слезы хлынули из глаз, не в силах вымолвить слово, хотела броситься к ногам короля. Но он удержал ее, сказав:

— Полно, полно, сударыня; вам бы надо стать адвокатом в парламенте и защищать мои дела; клянусь святым Дионисием, никто на свете не устоит против вашего красноречия. Впрочем,— тоном более серьезным прибавил он,— впрочем, тому, кого под защиту берет сама добродетель, не страшны никакие обвинения, не страшны ни *chambre ardente*, ни все суды мира!

Наконец Скюдери нашла слова, в которые вылилась ее пламенная благодарность. Король перебил ее, сказав, что дома ее ожидает благодарность гораздо более пламенная, чем та, которой он мог бы требовать от нее, ибо, вероятно, в эту минуту счастливый Оливье обнимает свою Мадлон.

— Бонтан,— молвил в заключение король,— выдаст вам тысячу луидоров, и вы от моего имени вручите их Мадлон как приданое. Пусть выходит замуж за своего Брюссона, который вовсе и не заслуживает такого счастья, но пусть оба уедут из Парижа. Это — моя воля.

Мартиньер поспешила навстречу Скюдери, за нею следом — Батист, у обоих лица сияли от радости, они в восторге кричали: «Он здесь!.. он свободен! О милые молодые!» Счастливая пара бросилась к ногам Скюдери.

— О, я же ведь знала, что вы, вы одна спасете моего мужа! — восклицала Мадлон.

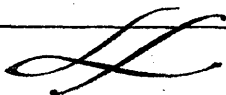
— Ах, вера в вас, мою мать, всегда жила в моей душе! — восклицал Оливье, и оба они целовали почтенной даме руки и проливали горячие слезы. А потом они снова обнимали друг друга и уверяли, что неземное блаженство этого мига искупает все несказанные страдания минувших дней и клялись — никогда, до самой смерти, не разлучаться.

Через несколько дней союз их благословил священник. Если бы даже на то не было воли короля, Оливье все равно не остался бы в Париже, где все напоминало ему страшные времена Кардильяковых злодейств и где какая-нибудь случайность могла открыть страшную тайну, известную теперь уже нескольким лицам, и навсегда разрушить мирное течение его жизни. Тотчас же после свадьбы он с молодой женой, напутствуемые благословениями Скюдери, отправился в Женеву. Благодаря богатому приданому Мадлон и редкому мастерству в юве-

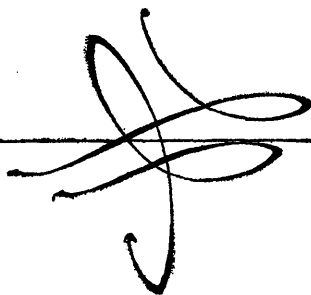
лирном деле Оливье, обладавшего всеми добродетелями честного гражданина, ждала там счастливая, безмятежная жизнь. Для него исполнились все надежды, которые до самой могилы изменяли его отцу.

Год спустя после отъезда Брюссона особым объявлением, подписанным Арлуа де Шовалоном, архиепископом парижским, и адвокатом парламента Пьером Арно д'Андильи, было доведено до всеобщего сведения, что раскаявшийся грешник под тайной исповеди передал церкви добытое грабежом собрание золотых украшений и драгоценных камней. Всякий, у кого до конца 1680 года была похищена какая-нибудь драгоценность, в особенности же если нападение произошло ночью и на улице, мог явиться к д'Андильи и получить назад свою драгоценность при условии, что описание похищенной вещи в точности будет соответствовать одному из найденных уборов и что вообще законность притязания не возбудит никаких сомнений. Многие, означенные в списке Кардильяка не убитыми, а только оглушенными ударом кулака, являлись к парламентскому адвокату и получали назад похищенную драгоценность, чему немало изумлялись. Все прочее досталось церкви св. Евстахия.

ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ



Из жизни одного
бездельника



Из жизни одного бездельника

Глава ПЕРВАЯ

Колесо отцовской мельницы снова весело зашумело и застучало, усердно звенела капель, слышалось щебетание и суетня воробьев; я сидел на крыльце, протирая глаза, и грелся на солнышке. В это время на пороге показался отец, в ночном колпаке набекрень; он уже с раннего утра возился на мельнице; подойдя ко мне, он молвил: «Ах ты, бездельник! Сидишь себе опять на солнышке, кости греешь да потягиваешься, что есть мочи, а мне одному отдуваться. Больше не стану тебя кормить. Весна на дворе, поди-ка по белу свету и сыщи себе сам хлеба на пропитание!»

«Ну что же, пускай,—возразил я,—если я такой бездельник, пойду по свету попытать счастье». По правде говоря, мне это было по душе: недавно мне самому пришло на ум постранствовать; овсянка, всю осень и зиму так печально чирикавшая под нашим окном: «Возьми меня, возьми меня, молодец!» — теперь, пригожей весенней порой, задорно и весело выкрикала, сидя на дереве: «Молодец, не трусь, молодец, не трусь!»

Итак, я вошел в дом, снял со стены свою скрипку (я очень недурно играл), отец дал мне еще на дорогу малую толику денег, и я побрел по нашему большому сслу. Не без тайной радости смотрел я, как со всех сторон старые мои знакомцы и приятели выходили на работу, рыли и пахали землю сегодня, как и вчера, и так изо дня в день; а я шел куда глаза глядят. Я кричал беднягам направо и налево: «Счастливо оставаться!», но никто на это не обращал внимания. А у меня на душе был сущий праздник. Когда я наконец вышел на широкий простор и свернул на большую дорогу, я взял свою милую скрипку и принялся играть и петь:

Кому Бог милость посылает,
Того он в дальний путь ведет,
Тому он чудеса являет
Средь гор, дубрав, полей и вод.

Кто век свой коротает дома,
Того не усладит рассвет;
Ему доука лишь знакома,
Заботы, люльки да обед.

Ручей проворный с гор несется,
И жаворонка трель слышна —
И я пою, когда поется,
Когда весельем грудь полна.

Бог — мой вожатый неизменный
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Тут я обернулся и вдруг вижу, подъезжает роскошная карета; верно, она ехала за мной по пятам, да я не заметил: в сердце моем все звучала песня, и оно замирало от счастья. Из кареты выглянули две знатные госпожи и стали прислушиваться к моему напеву. Одна из дам, помоложе, была настоящая красавица, а впрочем, обе они мне понравились чрезвычайно. Я замолк, старшая приказала кучеру остановиться и с очаровательной улыбкой обратилась ко мне: «Эй ты, веселый молодец, какие славные песни ты распеваешь!» Я, не будь дураком, сразу ответил: «Если бы мне привелось служить вашей милости, я бы спел песни и получше этих». Она продолжала: «Куда ты держишь путь в такую рань?» Мне стало стыдно, что я этого и сам хорошенько не знаю, и я отвечал задорно: «В Вену». Тут обе дамы заговорили друг с другом на чужом языке, которого я не понял. Младшая несколько раз покачала головой, а старшая все смеялась и наконец крикнула: «Эй ты, становись на запятки, мы тоже едем в Вену!» Как описать мою радость! Я отвесил вежливый поклон, одним прыжком вскочил, куда мне было указано, кучер щелкнул бичом, и мы помчались по дороге, залитой солнцем, так что у меня ветром чуть не сорвало шляпу.

За мной уносились селения, сады и церкви, передо мной вырастали новые селения, замки и горы, под ногами мелькали многоцветные пашни, роши и луга, над головой, в ясном голубом воздухе, реяли бесчисленные жаворонки, — мне стыдно было громко закричать, но в глубине души я ликовал и вертелся и прыгал на запятках, так что чуть было не уронил скрипку, которую держал под мышкой. Тем временем солнце подымалось все выше, на горизонте показались тяжелые белые облака, рожь слегка шелестела, а в воздухе и кругом на широких нивах все стихло, и стало пустынно и душно;

тут мне впервые вспомнилось наше село, и отец, и наша мельница, и тенистый пруд, где было так таинственно и прохладно, вспомнилось, как все это далеко-далеко от меня. И мне стало так чудно на душе, словно вот-вот я должен вернуться; я засунул свою скрипку за пазуху, присел на запятки и предался раздумьям, а вскоре и уснул.

Когда я открыл глаза, карета стояла под тенью высоких лип; сквозь них между колоннами виднелась широкая лестница, ведущая к роскошному замку. С другой стороны за деревьями я различал башни Вены. Дамы, верно, давно вышли из кареты. Лошадей выпрягли. Я немало испугался, увидев, что кругом никого нет, и поспешил к замку; вдруг я услышал, как в окне наверху кто-то засмеялся.

Тут в замке пошли чудеса. Сперва я очутился в просторных прохладных сенях и стал осматриваться; вдруг я почувствовал, кто-то дотронулся до моего плеча тростью. Я живо обернулся: передо мной стоял высокий господин в парадной одежде, с широкой перевязью, шитой золотом с серебром, свисающей до самого пояса; в руке он держал жезл с посеребренным набалдашником; у господина был огромный орлиный нос, какие бывают только у знатных господ, а всей своей осанкой он смахивал на надутого индюка, расправившего свой пышный хвост; господин спросил, чего я желаю. Меня это так ошеломило, что с перепуга и от удивления я не мог слова вымолвить. Вскоре по лестницам пробежало несколько слуг; те ничего не сказали, только оглядели меня с головы до ног. Вслед за тем появилась девушка-горничная, как я потом узнал, и объявила мне без дальних слов, что я очаровательный мальчишка и господа спрашивают, не желаю ли я остаться у них в услужении — учеником у садовника. Я пощупал свой камзол; малая толика денег, которую отец дал мне на дорогу, исчезла — Бог весть, верно, я выронил их из кармана во время дорожной тряски; я только умел играть на скрипке, но господин с жезлом мимоходом уже мне объявил, что за это я не получу ни гроша. Поэтому я с замиранием сердца промолвил «да», исподтишка косясь на грозную фигуру, которая, словно маятник башенных часов, продолжала расхаживать взад и вперед и сейчас снова показалась издали во всем своем страшном и царственном величье. Наконец пришел садовник; он стал что-то ворчать себе под нос о всяком сброде и деревенском дурачье и повел меня в сад; по пути он прочел

мне целую проповедь — о том, что я должен быть всегда трезвым и работающим, не бродяжничать, не заниматься искусством, которое не кормит, и прочими пустяками; тогда из меня со временем может что и выйдет. Он меня еще многому поучал, только я с тех пор почти все позабыл. Да и вообще не могу понять, как со мной это приключилось, но я на все отвечал «да», — я походил на мокрую курицу. Словом, благодаря Богу у меня теперь был кусок хлеба.

Настали для меня привольные деньки: еды было вдоволь и денег в достатке на вино, да и на прочие надобности; к сожалению, только у меня было немало работы в саду. Павильоны, беседки и прелестные зеленые аллеи пришлись мне также по вкусу; если бы я только мог в них по воле гулять и вести умные речи, как те господа и дамы, которые приходили сюда всякий день! Стоило только садовнику за чем-нибудь отлучиться, как я тотчас доставал короткую трубку, садился в саду и начинал придумывать разные учтивости, которыми я занимал бы прекрасную молодую госпожу, что привезла меня сюда, если бы мне довелось быть ее кавалером и с ней прогуливаться. А то, бывало, в душные дни, после обеда, когда все кругом стихнет и слышно только, как жужжат пчелы, я ложился на спину и глядел, как в поднебесье плывут облака и несутся к моему родному селу, а травы и цветы чуть колыхнутся, и мечтал о своей госпоже; случалось не раз, что красавица проходила где-нибудь вдали, с гитарой и книгой в руках, словно ангел, тихая, высокая и прекрасная; и я хорошенько не знал, вижу ли я все это во сне или нет.

Как-то я шел на работу и, проходя мимо павильона, стал напевать песенку:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Вдруг вижу, как в прохладном сумраке павильона, из-за полуотворенных ставен и цветов сверкнули прекрасные, юные глаза. Я так струсил, что не дошел до конца песни и побежал без оглядки на работу.

Однажды вечером — день был субботний, и я предвкушал радость наступающего праздника — стоял я со скрипкой в руках у окна беседки и все думал о свер-

кающих очах; вдруг в сумерках показалась горничная девушка и приблизилась ко мне. «Вот тебе посылает моя прекрасная госпожа, чтобы ты это выпил за ее здоровье. А затем доброй ночи!» Сказав это, она проворно поставила на подоконник бутылку вина и тотчас скрылась за цветами и терновником, словно ящерица.

А я еще долго стоял как зачарованный перед чудесной бутылкой и не знал, что со мной творится. Я и перед тем весело поигрывал на скрипке, ну а сейчас и подавно заиграл и запел всюю и допел до конца песню о прекрасной госпоже и многие другие песни, какие я знал, так что даже соловьи проснулись; месяц и звезды давно взошли над садом. И какая же то была чудесная ночь!

В колыбели никто не знает, что его ждет в будущем, и слепая курица нет-нет, да и клюнет зернышко; хорошо смеется тот, кто смеется последним; чего не ждешь, то и случается; человек предполагает, а Бог располагает,— так размышлял я, сидя на другой день в саду и покуривая трубку; оглядывая себя, я чуть было не подумал, что я, в сущности, порядочный оборванец.

С этих пор я каждое утро вставал спозаранок, раньше садовников и других рабочих, что вовсе не входило в мои привычки. В саду было чудо как хорошо. Цветы, фонтаны, кусты роз и весь сад сверкали на утреннем солнце, как золото и дорогие камни. А в высоких букowych аллеях было так тихо, прохладно и хорошо, словно в церкви, одни только птицы порхали и клевали песок. Перед замком, прямо против окон, где жила прекрасная госпожа, рос цветущий куст. Туда я приходил с раннего утра и, таясь за ветвями, украдкой заглядывал в окна, ибо показываться ей на глаза у меня не хватало духу. И тут я всякий раз видел, как прекрасная дама в белоснежном платье, раздумывая и малость заспанная, подходила к раскрытому окну. Подчас она заплетала свои темные косы, скользя при том милым веселым взором по кустам в саду, подчас она подвязывала цветы, растущие под окном, или же белой рукой бралась за гитару; тогда ее волшебное пение разносилось по всему саду,— у меня до сих пор сердце сжимается от тоски, стоит припомнить какую-либо из ее песен,— ах, как давно все это было!

Так продолжалось примерно с неделю. Но однажды, когда она снова стояла у окна и кругом было тихо, злополучная муха попадает мне в нос, я начинаю отчаянно чихать и никак не могу остановиться. Она высовывает-

ся из окна и видит, как я, несчастный, притаился в кустах. Тут я устыдился и долго не приходил больше.

Наконец я снова отважился; окно, однако, было на сей раз закрыто, я прождал четыре, пять, шесть раз, сидя утром в кустах, но она так и не показалась. Мне это наскучило, я собрался с духом и стал каждое утро, как ни в чем не бывало, прогуливаться перед замком под всеми окнами. Однако милая, прелестная госпожа все не появлялась. В соседнем окне я стал примечать и другую даму. Я ее еще до сего времени хорошенько не разглядел. А в самом деле она была румяна и дородна и отличалась пышностью и горделивостью — ни дать ни взять — настоящий тюльпан. Я ей неизменно отвешивал почтительный поклон, и — было бы несправедливо утверждать противное — она меня всякий раз благодарила, кивала мне и чрезвычайно любезно подмигивала. И один лишь раз мне показалось, будто и красавица стояла у окна за занавеской и оттуда выглядывала.

Много дней прошло, а я ее все не видел. Она больше не приходила в сад, не подходила к окну. Садовник обозвал меня тунеядцем, ничто меня не радовало, собственный нос казался мне помехой, когда я смотрел на божий мир.

Как-то раз, в воскресенье под вечер, я лежал в саду и смотрел на синий дым моей трубки; мне было досадно, что у меня нет никакого ремесла и что мне даже завтра не с чего опохмелиться. А другие парни тем временем принарядились и отправились в соседнее предместье потанцевать. Стоял теплый летний день; разряженный народ мелькал между светлыми домами, собирався возле бродячих шарманщиков. Я же тем временем сидел, словно выпь, в камышах уединенного пруда и покачивался в лодке, привязанной там; а над садом гудел вечерний звон из города, и лебеди плавно скользили по глади воды. Не могу сказать, до чего мне было грустно.

Между тем издалека до меня донеслось множество голосов, веселый говор и смех, все ближе и ближе; в зелени замелькали красные и белые шали, шляпы и перья, и вдруг вижу — по лугу, прямо на меня, движется целая гурьба молодых господ и дам из замка, и среди них обе мои дамы. Я встал и хотел удалиться, но тут старшая из прекрасных дам меня увидала. «Ах, да ведь это прямо как на заказ, — смеясь, воскликнула она, — свежи-ка нас на тот берег!» Дамы, осторожно и с опаской, вошли одна за другой в лодку, кавалеры

помогали им и кичились малость своей храбростью на воде. Как только женщины уселись на боковые места, я оттолкнулся от берега. Один из молодых господ, стоявший на носу, стал незаметно раскачивать лодку. Дамы в испуге начали метаться, а иные даже закричали. Прекрасная госпожа сидела у самого края и держала в руках лилию; с тихой улыбкой смотрела она вниз, на светлые волны, стараясь коснуться их цветком: вся она, вместе с облаками и деревьями, отражалась в воде, словно ангел, плавно движущийся по темно-лазурному небу.

Пока я на нее глядел, другой даме — веселой и дородной — пришло на ум попросить меня что-нибудь пропеть. Весьма изящный молодой господин в очках, сидевший рядом с ней, проворно к ней оборачивается, нежно целует ей руку и говорит: «Благодарю вас за прекрасную мысль! Народная песнь, которую сам народ поет на просторе, среди лесов и полей, это — альпийская роза на альпийской лужайке, это — душа народной души, а всякие сборники народных песен — лишь гербарии». Я же возразил, что ничего не могу спеть такого, что пришлось бы по вкусу столь высоким господам. На беду, рядом со мной очутилась плутовка-горничная; оказывается, она стояла тут же с корзиной, полной чашек и бутылок, а я ее сперва вовсе и не заметил. «А разве ты не знаешь славную песенку про прекрасную госпожу?» — заметила она. «Да, да, спой нам ее, не робей!» — снова воскликнула дама. Я густо покраснел. А тут и красавица оторвала свои взоры от воды и обратила их на меня, так что меня всего проняло. Тогда я, недолго раздумывая, решился и запел полным голосом:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Немало я собираю
В саду моем цветов,
Венки из них свиваю
И сотни дум влетаю,
И много милых слов.

Ей протянуть не смею
Ни одного цветка.
Ведь я — ничто пред нею,
Сам, как цветы, бледнею,
А в сердце моем тоска.

Я рук не покладаю,
Моя приветна речь,
И как я ни страдаю,
Я землю все копаю,
Чтоб в землю скоро лечь.

Мы причалили, господа вышли на берег, я заметил, что некоторые из молодых людей, в то время как я пел, строили разные рожи и лукаво пересмеивались и шептались с дамами на мой счет. Когда мы шли домой, господин в очках взял меня за руку и что-то мне сказал, но, право, я и сам не знаю что, а дама постарше ласково на меня поглядела. Покуда я пел, моя прекрасная госпожа не подымала глаз и сейчас же ушла, не сказав ни слова.

У меня глаза были полны слез, еще когда я начал петь, а теперь, когда песня была пропета, сердце мое готово было разорваться от стыда и боли, я только сейчас понял, как она прекрасна и как я беден, осмеян и одинок на свете — и когда все скрылись в глубине сада, я не мог более сдерживать себя, бросился в траву и горько заплакал.

Глава ВТОРАЯ

У самого господского сада проходила большая дорога, отделенная от него лишь высокой каменной стеной. Тут же приютилась сторожка с красной черепичной крышей, а позади — небольшой цветник, обнесенный пестрой изгородью, примыкавшей через пролом в ограде парка к одной из самых уединенных и тенистых его частей. Только что умер смотритель при шлагбауме, единственный обитатель этого домика. И вот однажды, ранним утром, когда я еще спал крепким сном, пришел ко мне писарь из замка и сказал, чтобы я немедля явился к господину управляющему. Проворно одевшись, последовал я за веселым писарем, который то срывал на ходу цветок и вдевал себе в петлицу, то затайливо размахивал тросточкой, болтая всякую всячину, но я ровно ничего не понимал — и глаза мои еще сплпались от сна. Когда я вошел в канцелярию, где еще, можно сказать, не рассвело, управляющий в пышном парике глянул на меня из-за огромной чернильницы и целой кипы бумаг, словно сыч из дупла, и приступил: «Как звать? Откуда родом? Обучен ли чтению, письму и счету?» Я подтвердил все это, и он продолжал: «Так вот, господа, прини-

мая во внимание достойное поведение и особые заслуги, соблаговолили предоставить тебе, любезный, вакантное место смотрителя». Я мысленно окинул взором все мое поведение, и должен сознаться, нашел и сам, что управляющий не ошибся. И не успел я оглянуться, как уже и в самом деле стал смотрителем при шлагбауме.

Тотчас перебрался я в свое новое жилище и вскоре почувствовал себя полным хозяином. В доме я нашел немало всякой утвари, оставшейся после покойного смотрителя, в том числе — отменный красный шлафрок с желтыми крапинами, зеленые туфли, ночной колпак и несколько трубок с длинными чубуками. Обо всем этом я давно мечтал еще у себя в деревне, где я видел, как наш пастор прогуливается, одетый по-домашнему. Целыми днями (иного дела у меня не было) посиживал я на скамеечке возле дома в шлафроке и колпаке, куря длиннейшую трубку, доставшуюся мне после покойного, и посматривал, как по дороге движутся пешеходы, повозки и верховые. Мне только хотелось еще, чтобы кто-нибудь из моих односельчан, которые всегда твердили, будто из меня вовек ничего не выйдет, прошли бы мимо да поглядели на меня в таком виде.

Шлафрок был мне к лицу, и вообще все это пришлось мне весьма по вкусу. И вот я сидел и думал о том о сем, — как труден всякий почин, как удобна жизнь у знатных людей — и втайне принял решение: оставить отныне странствия, копить деньги по примеру других и со временем добиться чего-нибудь повиднее. Но за всеми думами, заботами и делами я отнюдь не забывал свою прекрасную госпожу.

Картофель и прочие овощи, которые я нашел у себя в садике, я выполол и сплошь засадил гряды лучшими цветами. Швейцар с огромным орлиным носом, часто навещавший меня, с тех пор как я тут поселился, и сделавшийся моим закадычным приятелем, искоса поглядывал на меня и считал, видимо, что неожиданное счастье свело меня с ума. Но это несколько меня не трогало. Невдалеке, в господском саду, я слышал нежные голоса, и мне казалось — среди них я узнаю голос моей прекрасной госпожи, хотя из-за частого кустарника я никого не мог видеть. Каждый день я составлял букет из лучших цветов, какие у меня были, и по вечерам, когда смеркалось, перелезал через ограду и клал его на каменный стол, стоявший там посреди беседки; и каждый вечер, когда я приносил новый букет, вчерашнего на столе не было.

Однажды вечером господа отправились верхами на охоту. Солнце садилось и заливало все кругом блеском и сиянием; переливаясь чистым золотом и огнем, изгибы Дуная уходили вдаль. С виноградников разносились по всей окрестности пение и ликование.

Я сидел со швейцаром на скамеечке перед домом и наслаждался теплым вечером, следя, как сгущаются сумерки и стихает веселый день. Но вот издали зазвучали рога возвращающихся охотников, мелодично перекликаясь в ближних горах. Мне стало весело на душе; я вскочил и, очарованный, в восторге воскликнул: «Нет, охота — вот это я понимаю, это — занятие благородное». Но швейцар невозмутимо выколотил трубку и сказал: «Ну, это вам только так кажется. Я это тоже испробовал — и на подметки не заработаешь, больше истопчешь; а уж от кашля да насморка вовсе не отделаешься — ноги-то ведь постоянно мокрые». Не знаю почему, но меня при этих словах охватила дурацкая злоба, так что я задрожал всем телом. Мне стал сразу противен этот верзила, его докучливая ливрея, эти вечные ноги, огромный нос в табаке и все прочее. Вне себя я схватил его за плечи и закричал: «Вот что, сударь, уберите-ка подобру-поздорову, а не то я вас тут же отколочу!» При этих словах швейцара осенила прежняя мысль — что я помешанный. Он подозрительно и с опаской посмотрел на меня, ни слова не говоря, высвободился из моих рук и, все еще боязливо озираясь, быстрыми шагами пошел к замку, где, задыхаясь, объявил, что теперь-то уж я помешался по-настоящему.

Я же в конце концов громко расхохотался и был несказанно рад, что отделался от этого умника. К тому же настал час, когда я обычно относил букет в беседку. Как всегда, я легко перескочил через ограду и уже направился было к каменному столику, как вдруг услышал в некотором отдалении конский топот. Ускользнуть не было возможности, — красавица моя медленно ехала верхом по аллее. Казалось, она была погружена в глубокие думы. На ней был зеленый охотничий костюм; перья на шляпе плавно колыхались. Мне вспомнилась повесть, которую я читал когда-то в старых книгах отца, — повесть о прекрасной Магелоне, как она в неверных лучах заката появлялась из-за высоких деревьев при звуках приближающегося охотничьего рога и... я не мог двинуться с места. Но она, увидев меня, сильно испугалась и невольным движением натянула поводья. От страха, сердцебиения и великой радости я словно ох-

мелел; в довершение всего я заметил, что вчерашний мой букет приколот у нее на груди, и тут уже не мог долее сдерживать себя и в смущении промолвил: «Прекраснейшая госпожа, примите от меня еще и этот букет и все цветы из моего сада, и все, что есть у меня. Ах, если бы я мог пойти за вас в огонь!»

Сперва она взглянула на меня так строго и даже гневно, что у меня мороз по коже прошел; потом она опустила глаза и не подымала их, пока я говорил. В это время в чаще послышались голоса всадников. Тогда она быстро выхватила букет у меня из рук и, не сказав ни слова, вскоре скрылась на другом конце аллеи.

С этого вечера я не знал покоя. На душе у меня было, как всегда при наступлении весны, тревожно и радостно, сам не знаю почему, как будто меня ожидало большое счастье или вообще нечто необычайное. Главное же, не давались мне теперь эти несносные подсчеты, и порою, когда солнечный луч из окна, пробиваясь сквозь листву каштана, падал на цифры зеленовато-золотистым отсветом и пробегал от переноса к итогу и снова вверх и вниз, словно подсчитывая,— причудливые мысли приходили мне на ум, так что я иной раз совсем терялся и поистине не мог сосчитать и до трех. Дело в том, что восьмерка вечно представлялась знакомой мне толстой, туго затянутой дамой в пышном чепце, зловащая семерка точь-в-точь походила на дорожный столб, обращенный назад, или же на виселицу. Но особенно забавляла меня девятка, которая часто, не успевал я оглянуться, превесело становилась на голову и превращалась в шестерку, а двойка, словно вопросительный знак, лукаво поглядывала, будто хотела спросить: «Что из тебя выйдет, жалкий ты нуль? Без нее, этой стройной единички, в которой всё, ты навсегда останешься ничем».

Сидеть перед домом мне теперь тоже больше не хотелось. Удобства ради я выносил скамеечку и вытягивал на нее ноги; я зачинил старый зонтик и ставил его против солнца так, что надо мною получался как бы китайский домик. Но ничто не помогало. Когда я так сидел и курил и размышлял, казалось мне, будто ноги мои становятся все длиннее от скуки, а нос вытягивается от безделья, пока я целыми часами гляжу на его кончик. И когда перед зарею проезжала курьерская почта, и я, заспанный, выходил на свежий воздух, и миловидное личико, на котором в сумраке виднелись только сверкающие глаза, с любопытством выглядывало из окна кареты, и я слышал приветливое «с добрым утром!»,

а из окрестных деревень по зыблущимся нивам разносилось веселое пение петухов, и высоко в небе между полосками туч носились ранние жаворонки, а почтарь брался за рожок и, проезжая, трубил, трубил,— я долго смотрел и смотрел вслед карете, и казалось мне, будто и я непременно должен пуститься в путь далеко-далеко по белу свету.

Между тем, едва заходило солнце, я неизменно относил букет на каменный стол в темной беседке. Но увы — все кончилось с того самого вечера. Никто не брал букета: всякий день, рано поутру, я приходил посмотреть — и цветы лежали так же, как и вчера, и печально глядели на меня увядшими, поникшими головками, на которых блестели капли росы, словно пролитые слезы. Это было мне весьма прискорбно. Я больше не делал букетов. Теперь мне было все равно: пусть сад мой зарастает сорными травами, пускай цветы стоят и ждут, покуда ветер не развеет лепестки. В сердце моем было так же пустынно и тревожно и грустно.

В эти смутные дни случилось, что однажды, лежа у себя на подоконнике и с досадой глядя в растворенное окно, я увидел горничную девушку, шедшую по дороге из замка. Заметив меня, она быстро повернула и остановилась под моим окном. «Барин вчера возвратился из путешествия», — бойко сказала она. «Вот как, — отвечал я с удивлением; уже много дней я ничем не интересовался и даже не знал, что хозяин в отъезде. — То-то, верно, рада его дочь, молодая госпожа». Девушка с любопытством смерила меня взглядом так, что мне пришлось хорошенько подумать, не сказал ли я какой глупости. «Да ты, видно, ничего не знаешь», — проговорила она наконец, сморщив свой носик. «Так вот, — продолжала она, — сегодня вечером в честь приезда барина в замке будут танцы и маскарад. Моя госпожа будет тоже наряжена — садовницей; понимаешь? — садовницей. И вот госпожа видела, что у тебя цветы лучше всех». «Странно, — подумал я, — бурьян так разросся, что сейчас никаких цветов не видать».

Горничная между тем продолжала:

«Госпоже для наряда нужны цветы, но непременно свежие, прямо с клумбы, и принести их должен ты сам; сегодня вечером, когда стемнеет, жди под большой грушей в парке — госпожа придет сама и примет цветы».

Я был прямо ошеломлен такой радостной вестью и в восторге выбежал из дома к девушке. «Фи, что за гад-

кий балахон!» — воскликнула она, увидев меня в таком одеянии.

Это подзадорило меня, я не хотел отставать в галантном обращении и резвым движением попытался схватить и поцеловать ее. К несчастью, шлафрок, слишком длинный, запутался у меня в ногах, и я растянулся во весь рост. Когда я поднялся, горничная была уже далеко. Откуда-то доносился ее смех — воображаю, как она потешалась надо мной.

Теперь мне было о чем подумать и чему порадоваться. Значит, она все еще помнит обо мне и о моих цветах. Я пошел к себе в цветник, поспешно выполол все сорные травы и высоко подбросил их так, что они разлетелись в мерцающем воздухе; я словно вырвал с корнем всякую печаль и досаду. Розы снова были как ее уста, небесно-голубые вьюнки — как ее очи, снежно-белая лилия, грустно опустившая головку, точь-в-точь походила на нее. Все цветы я бережно сложил в корзиночку. Был тихий, ясный вечер; на небе ни облачка. Уже показались первые звезды, за полями шумел Дунай, поблизости, в высоких деревьях господского сада, на все лады распевали несчетные птицы. Ах, я был так счастлив.

Когда наконец стемнело, я взял корзиночку и направился в парк. Цветы в корзиночке лежали такие пестрые и прелестные, белые, красные, голубые вперемежку; они так благоухали, что сердце у меня ликовало, когда я глядел на них.

Полон радостных мечтаний, проходил я в лунном свете по тихим песчаным дорожкам, поднимался на белые мостики, под которыми колыхались на воде спящие лебеди; я миновал изящные беседки и павильоны. Большую грушу я отыскал без труда — это было то самое дерево, под которым я не раз лежал в душные вечера, когда был еще подручным у садовника.

Здесь было так мрачно и пустынно. Лишь высокая осина дрожала серебристой листвой, нашептывая что-то. Временами из замка доносились звуки музыки. Иногда в саду слышалось голоса, порою совсем близко; потом все вдруг утихло снова. Сердце у меня стучало. На душе было жутко и странно, словно я хотел кого-то обокрасть. Долгое время стоял я неподвижно и молча, прислонясь к дереву и чутко прислушиваясь; однако никто не приходил, и я дольше не мог этого выносить. Я повесил корзиночку на руку и поспешно влез на грушевое дерево, дабы свободнее перевести дух.

Очутившись наверху, я еще явственнее услышал звуки танцевальных мелодий. Передо мной расстился весь сад, и взор мой проникал в освещенные окна замка. Медленно вращались люстры, словно хороводы звезд, множество нарядных кавалеров и дам, будто в кукольном театре, толпились, и танцевали, и терялись в пестром разноликом сонме гостей; иные подходили к окнам и глядели в сад. Газоны, кустарники и деревья перед замком казались позлащенными от света бесчисленных огней, и я ждал, что вот-вот проснутся и цветы и птицы. А дальше, по сторонам и позади меня, сад покоился в молчании и мраке.

«Она танцует,— думал я, сидя на дереве,— и, наверное, давно позабыла и тебя, и твой букет. Все веселятся, и никому нет дела до тебя. Таков мой удел всегда и повсюду. Всякий обзавелся уютным уголком, у всякого есть теплая печь, чашка кофе, супруга, стакан вина за ужином — и с него довольно. Даже долговязый швейцар, и тот отлично чувствует себя в своей шкуре. А мне все не по душе. Как будто я всюду опоздал, как будто во всем мире не нашлось для меня места».

Я так расфилософствовался, что не заметил, как в траве внизу что-то зашуршало. Совсем близко от меня тихо переговаривались два женских голоса. Вслед за тем в кустарнике раздвинулись ветви, и просунулось личико горничной, озирающейся по всем сторонам. Лунный свет веселыми огоньками играл в ее лукавых глазах. Я затаил дыхание и стал смотреть, не отводя взора. Немного спустя из-за деревьев показалась и садовница, одетая точь-в-точь, как вчера описала мне девушка. Сердце у меня так и забилося от радости. Но садовница была в маске и, как мне показалось, изумленно осматривалась по сторонам. И тут я заметил, что она совсем не так уж стройна и миловидна. Наконец она подошла к дереву и приподняла маску. Это в самом деле была старшая дама!

Оправившись с перепугу, я был донельзя рад, что нахожусь здесь наверху в безопасности. «И как только она сюда проберется?— думал я.— Что, если милая, прекрасная госпожа придет за цветами — вот будет история!» Я чуть не плакал от досады на все это происшествие.

Между тем переодетая садовница под деревом заговорила: «В зале такая страшная духота, я должна была выйти немного освежиться на вольном воздухе». При этом она непрерывно обмахивалась маской и с трудом

переводила дух. При ярком свете луны я мог ясно видеть, как вздулись у нее на шее жилы; от злости она была красна, как кирпич. Горничная шарила повсюду за кустарниками, будто она потеряла булавку.

«Мне так нужны свежие цветы к моему наряду,— снова продолжала садовница,— и куда только он мог запропасться?» Девушка продолжала искать, а втихомолку все посмеивалась. «Что ты говоришь, Розетта?» — язвительно спросила садовница. «Я говорю то, что всегда говорила,— возразила горничная, как бы совсем серьезно чистосердечно,— таможенный смотритель как был, так и останется остолопом, верно, он где-нибудь лежит под кустом и спит».

Меня свело, словно судорогой,— до того мне захотелось соскочить и спасти свою репутацию,— но тут из замка послышались музыка и шумные клики.

Садовница не могла долее ждать. «Там народ приветствует господина,— недовольно сказала она,— идем, а то нас могут хватиться». С этими словами она быстро закрылась маской и в ярости поспешила вместе с девушкой в замок. Деревья и кусты отбрасывали причудливые тени, словно показывали ей вслед длинные носы, месяц весело играл на ее широкой спине, как на клавишах; и она быстро удалялась при звуке труб и барабанном бое, точь-в-точь так, как певицы на театре, что я видел.

Я же, сидя на дереве, хорошенько не знал, что со мной приключилось, и, не спуская глаз, смотрел на замок; ибо при входе, у ступеней стояли в ряд высокие свечи в садовых подсвечниках и бросали странный свет на поблескивающие окна и по всему саду. Это прислуга собралась сыграть молодым господам серенаду. Здесь находился и швейцар, пышно разодетый, словно министр; перед ним стоял пюпитр, и старик усердно выдувал на фаготе.

Только я уселся, чтобы послушать чудесную серенаду, как наверху балконные двери замка внезапно распахнулись. Высокий господин, красивый и статный, в военной форме со множеством блестящих орденов на груди, вышел на балкон, и под руку с ним — кто же? — прекрасная молодая госпожа, вся в белом, словно лилия во мраке ночи или луна, плывущая в ясном небе.

Я не мог оторвать взора от них, я не видел ни сада, ни деревьев, ни полей, а только ее, стройную и высокую в волшебном свете факелов; она то приветливо заговаривала с военным, то ласково кивала музыкантам. Внизу люди были вне себя от радости, да и я сам под ко-

нец не выдержал и что было сил тоже стал кричать «виват».

Когда же она вскоре исчезла с балкона, факелы внизу один за другим угасли, когда убрали пюпитры и в саду снова зашелестело и все опять погрузилось во мрак,— тут только я хорошенько понял — тут только мне пришло в голову, что цветы-то мне заказала тетка, что красавица и не думала обо мне и давным-давно замужем, а сам я большой дурак.

Все это повергло меня в глубокие размышления. Я, словно еж, свернулся в колючий клубок моих собственных мыслей; из замка танцевальная музыка доносилась все реже, тучи одиноко проплывали над темным садом. А я всю ночь просидел на дереве, как филин, над развалинами моего счастья.

Свежий утренний воздух пробудил меня наконец от моих раздумий. Оглянувшись по сторонам, я был немало удивлен. Музыка и танцы давно умолкли, в замке и вокруг него на лужайке, на каменных ступенях и колоннах, казалось, царил торжественная тишина и прохлада; и один лишь фонтан у самого въезда журчал не умолкая. В ветвях, там и сям, стали пробуждаться птицы, чистили свои пестрые перья и, расправляя крылышки, с удивлением и любопытством поглядывали на странного товарища по ночлегу. Весело играли утренние лучи сквозь чащу и падали мне на грудь.

Наконец я выпрямился и в первый раз за много дней посмотрел на широкий мир: по Дунаю мимо виноградников скользили челны, а еще пустынные дороги, словно мосты, перекидывались далеко через горы и долины по сияющей солнцем земле.

Уж не знаю как,— но меня снова охватила давняя жажда странствий: вся былая тоска, и радость, и большие ожидания. При этом я подумал, как там, в замке, прекрасная госпожа теперь дремлет под шелковым покрывалом среди цветов и как в тишине утра у ее изголовья стоит ангел. «Нет,— воскликнул я,— прочь отсюда, прочь куда глаза глядят!»

С этими словами я схватил свою корзинку и высоко подбросил ее, и любо было смотреть, как цветы рассыпались на зеленой лужайке, пестрея между ветвей. Тогда и я спустился и прошел безмолвным садом к моему дому. Частенько останавливался я там, где я ее, бывало, видел и, лежа в тени, думал о ней.

У меня в домике и кругом все оставалось так, как вчера. Цветник был разорен и пуст, в комнате еще ле-

жала раскрытой большая счетная книга, скрипка моя, к которой я давно уж не прикасался, висела вся в пыли на стене. В этот самый миг луч солнца ударил в окна на противоположной стороне и осветил струны. Сердце мое живо откликнулось на это. «Да,— промолвил я,— поди-ка сюда, верный товарищ! Царствие наше не от мира сего!»

И вот я, сняв со стены скрипку, оставил все: счетную книгу, шлафрок, туфли, трубки и зонтик — и, беден, как был, снова пустился в путь из своего дома по солнечной дороге.

Не раз я оглядывался назад; на душе у меня было чудно и грустно и в то же время несказанно радостно, словно я птица, вырвавшаяся из клетки. И когда я прошел изрядный конец и очутился в чистом поле, я взял смычок и скрипку и запел:

Бог — мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Замок, сад и башни Вены — все за мною потонуло в утренней дымке, надо мной, высоко в небе, заливались бесчисленные жаворонки; я шел зелеными долинами, между гор, проходил веселыми городами и селеньями, держа путь на Италию.

Глава ТРЕТЬЯ

Однако тут мне пришлось плохо! Я совсем и не подумал о том, что, в сущности, не знаю хорошенько дороги. Кругом не было ни души, и я никого не мог расспросить, а между тем невдалеке дорога разветвлялась на множество дорог, уходящих далеко-далеко в высокие горы, как бы совсем вон из этого мира,— стоило мне взглянуть в ту сторону, и у меня начинала порядком кружиться голова.

Наконец я заметил крестьянина, который, видимо, направлялся в церковь, так как день был воскресный; крестьянин был одет в камзол старомодного фасона с большими серебряными пуговицами и имел при себе длинную камышовую трость с увесистым серебряным набалдашником, который уже издали поблескивал на солнце. Я тотчас обратился к нему, стараясь быть возможно вежливее: «Не скажете ли вы мне, которая из дорог ведет в Италию?» Крестьянин остановился, погля-

дел на меня, подумал малость, выпятив при этом нижнюю губу, и снова на меня поглядел. Я уточнил: «В Италию, где растут померанцы». — «На кой черт мне твои померанцы!» — ответил крестьянин и бодрым шагом пошел дальше. Я ожидал, что он лучше воспитан, — у него был такой солидный вид.

Что оставалось делать? Поворотить обратно и вернуться в мое родное селенье? Но там на меня народ стал бы пальцем показывать, а мальчишки бежали бы за мной вприпрыжку и орал: «Добро пожаловать из дальних странствий! Что ты нам расскажешь о своих дальних странствиях? Привез ли ты нам пряников из дальних странствий?»

Швейцар с орлиным носом, имевший немало сведений по мировой истории, не раз говаривал: «Достопочтенный господин смотритель! Италия прекрасная страна, там Господь Бог печется обо всем, там можно растянуться на солнышке, а виноград тебе прямо сам так и лезет в рот, и как, бывало, укусит тебя гарантул, так пустишься в пляс, что своих не узнаешь, хоть никогда раньше и не плясал». — «Нет, в Италию, в Италию!» — воскликнул я в восторге и побежал, не обращая внимания на множество дорог, прямо по первой попавшейся.

Когда я прошел еще изрядный конец, я увидел справа чудесный плодовый сад; утреннее солнце весело играло между стволов и верхушек деревьев, и казалось, что трава устлана золотыми коврами. Так как поблизости никого не было, я перелез через низкую ограду и уютно расположился в траве под яблоней, ибо от вчерашней ночевки на дереве у меня еще ныло все тело. Передо мной открывался широкий вид, и, так как был праздник, вблизи и в отдалении слышался благовест, и звуки его неслись в тишине полей, а по лугам и дубравам толпой двигались в церковь разряженные поселяне. На сердце у меня было радостно, надо мной в чаще ветвей пели птицы, я вспомнил свою мельницу и сад моей прекрасной госпожи, подумал о том, как все это далеко-далеко, — и наконец задремал. И снился мне сон: будто снизу из роскошной долины ко мне движется или, вернее, плывет по воздуху в звоне колоколов моя прекрасная дама, и в утренней заре развеваются ее белые, длинные покрывала. Потом мне снилось, будто мы вовсе не на чужбине, а в моем селенье, на мельнице в густой тени. Но там было тихо и пустынно, как бывает по воскресеньям, когда народ в церкви и отдаленные звуки органа сливаются с шелестом листвы, — и сердце у меня сжа-

лось. Прекрасная дама была очень добра и ласкова ко мне, она держала меня за руку, прогуливалась со мной и среди этой тишины все пела чудную песню, которую она некогда певала по утрам под гитару у раскрытого окна; и я смотрел, как в недвижной заводи отражается она, но только в тысячу раз прекраснее, а глаза ее странно расширены и так на меня уставились, что мне даже не по себе. Вдруг мельница пришла в движение: сперва редко застучало колесо, потом задвигалось все быстрее и быстрее, раздался шум, заводь потемнела и затянулась рябью, я увидел, что прекрасная дама совсем бледна, а покрывала ее казались мне все длиннее и длиннее и стали, наконец, развеиваться длинными волокнами, поднимаясь в небо, подобно туману; шум и свист становились все сильнее, подчас мне чудилось, что это швейцар играет на фаготе, и наконец я пробудился — до того у меня билось сердце.

В самом деле поднялся ветерок, он и колыхал яблоню, под которой я улегся; однако стучала и шумела совсем не мельница и не швейцар, а тот самый мужик, который не хотел указать мне дорогу в Италию. Он снял свое праздничное платье и стоял передо мной в белом камзоле. «Что ты топчешь хорошую траву? — молвил он, пока я продираю глаза. — Или здесь собрался искать свои померанцы, вместо того чтобы идти в церковь, лентяй ты этакий!» Мне стало досадно, что грубиян меня разбудил. Рассерженный, я вскочил и в долгу не остался. «Что такое, ты еще бранишься? — заговорил я. — Я был садовником, когда ты об этом и не мечтал, и был зрителем, и, если бы ты поехал в город, тебе пришлось бы передо мной снять свой грязный колпак, у меня был дом и красный шлафрок с желтыми крапинами». Однако неотесанный мужлан и в ус не дул; он подбоченился и только сказал: «Чего же тебе надо? Хе! Хе!» Тут только я его разглядел: то был низкорослый, коренастый парень с кривыми ногами; глаза у него были навыкате, а красный нос малость покривился. А так как он все продолжал твердить свои «хе! хе!» и каждый раз при этом приближался ко мне на шаг, меня вдруг охватил такой непонятный и сильный страх, что я живо перемахнул через ограду и пустился бежать без оглядки, что есть духу прямо через поле, так что скрипка зазвенела у меня в сумке.

Когда наконец я остановился, чтобы перевести дух, и сад, и вся долина скрылись из виду, а сам я оказался в чудесном лесу. Но я не обращал на все это внимания,

так как очень уж досадовал на свои злоключения, особливо на то, что парень меня все время называл на «ты»; долго спустя я еще бранился про себя. С такими мыслями я поспешно пустился в путь, все больше отклоняясь от дороги, и наконец попал в горы. Лесная дорога, по которой я шел, кончилась, и передо мной открылась лишь небольшая, мало исхоженная тропинка. Кругом ни души, и полная тишина. А, впрочем, идти было довольно приятно, верхушки деревьев шумели, а птицы распевали так славно. Я вручил свою судьбу Всевышнему, достал скрипку и принялся наигрывать свои любимые вещи, которые весело звучали в одиноком лесу.

Игра, однако, тоже продолжалась недолго, я поминутно спотыкался о проклятые корни, да и голод давал себя знать, а лесу все не было видно конца. Так я проблуждал весь день; вечернее солнце уже освещало косыми лучами стволы деревьев, когда я вышел на небольшую луговину среди гор, усеянную алыми и желтыми цветами, над которыми в золоте вечерней зари порхали бесчисленные мотыльки. Здесь казалось так пустынно, как если бы это место было за сотни миль от остального мира. Только кузнечики стрекотали да пастух лежал в густой траве и играл на свирели так печально, что сердце готово было разорваться от тоски. «Да,— подумал я про себя,— этакому лентяю хорошо живется! А нашему брату приходится скитаться на чужбине и держать ухо востро!» Между нами пробежала речка, через которую я не мог перебраться, а потому я крикнул пастуху: «Где здесь ближайшее село?» Но он не тронулся с места, только высунул голову из травы, указал свирелью на другой лес и продолжал спокойно играть.

Я же усердно зашагал дальше, так как начало уже смеркаться. Птицы, щебетавшие при последних лучах солнца, сразу смолкли, и меня даже охватил страх среди бесконечного пустынного шума леса. Наконец издали донесся лай собак. Я прибавил шагу, лес стал редеть, и вскоре я увидел у самой опушки за деревьями прекрасную зеленую поляну: посреди поляны росла большая липа, вокруг которой резвилось множество детей. Подоаль, на той же поляне, находилась гостиница, а перед ней стол, за которым сидело несколько крестьян: они играли в карты и курили трубки. С другой стороны, на крыльце сидели девушки, закутав руки в передник; они болтали в вечерней прохладе с парнями.

Недолго думая, вынул я из сумки скрипку и, выйдя из леса, заиграл веселый тирольский танец. Девушки

удивились, а старики захохотали так громко, что смех их далеко отозвался в лесу. Но, когда я подошел к липе и, прислонясь к ней, продолжал играть, молодые зашептались и засуетились, парни отложили в сторону трубки, каждый подхватил свою милую, и, не успев я оглянуться, как молодежь закружилась и заплясала вовсю, собаки лаяли, платья развевались, а ребяташки стали в кружок, с любопытством глядя, как я ловко перебираю пальцами.

Едва окончился первый вальс, я увидел, как горячит кровь добрая музыка. Только что перед тем деревенские парни потягивались на лавках, неуклюже выставив ноги и лениво посасывая трубки; сейчас их нельзя было узнать: они прудели в петлицы длинные концы пестрых платков и так забавно увивались вокруг девушек, что любо было на них смотреть. Один из молодых людей напустил на себя важность, долго шарил в жилетном кармане так, чтобы другим было видно,— наконец вынул оттуда серебряную монетку и хотел сунуть ее мне. Меня это обозлило, хотя у меня и не было ни гроша в кармане. Я ответил, что он может свои деньги оставить при себе,— я, мол, играю просто от радости, что снова нахожусь среди людей. Но вслед за этим, однако, ко мне подошла пригожая девушка и поднесла мне большую стопу вина. «Музыканты любят выпить»,— промолвила она и приветливо улыбнулась, а ее жемчужно-белые зубы так восхитительно поблескивали, что я охотнее всего поцеловал бы ее в алые уста. Она пригубила своим ротиком вино, а глаза стрельнули в меня, и она подала мне стопу. Я осушил кубок до дна и со свежими силами принялся играть, а вокруг меня снова все радостно завертелись.

Тем временем старики отложили карты, а молодежь, утомившись, стала расходиться, и мало-помалу возле гостиницы воцарились тишина и безлюдье. Девушка, поднесшая мне вино, тоже направилась к селу, но шла она медленно и все оглядывалась, словно что-то забыла. Наконец она остановилась, как бы ища чего-то на земле, но я хорошо заметил, что она всякий раз, как наклонялась, исподтишка взглядывала на меня. Живя в замке, я достаточно наловчился, а потому подскочил к ней и сказал: «Вы обронили что-нибудь, прелестная барышня?» — «Ах, нет,— проговорила она и при этом зарделась,— то всего лишь роза — хочешь ее?» Я поблагодарил и вдел розу в петлицу. Она ласково на меня посмотрела и продолжала: «Ты славно играешь». — «Да,— от-

вечал я,— это дар Божий!» — «Музыканты в нашей стороне редки,— снова начала девушка, опустив глаза, и запнулась.— Ты бы мог здесь заработать немало денег — и отец мой тоже умеет играть на скрипке и любит, когда ему рассказывают про чужие страны...— отец мой страсть как богат!» Она вдруг засмеялась и сказала: «Только зачем ты выделяешь такие смешные штуки головой, когда играешь?» — «Дражайшая барышня,— возразил я,— во-первых: не говорите мне все время «ты»; что касается подергивания головы, тут уж ничего не поделаешь, это уж мы, виртуозы, так привыкли».— «Ах, вот оно что»,— успокоилась девушка. Она хотела еще что-то добавить, но в этот миг в гостинице раздался отчаянный грохот, дверь с шумом распахнулась, и оттуда, как пуля, вылетел сухопарый малый, а дверь медленно захлопнулась.

При первых криках девушка отскочила, словно лань, и скрылась в темноте. Человек перед дверью поспешно стал на ноги, обернулся лицом к дому и принялся так шибко ругаться, что просто удивление.

«Что? — кричал он,— это я пьян? Я, да не оплачу меловых черточек на закоптелой двери, говорите вы? Сотрите их, сотрите их! Разве я не брил вас, а вы разве не перекусили мне деревянную ложку, когда я вам порезал нос? Бритье — раз, ложка — два, пластырь на нос — три, черт побери, да по скольким же счетам я должен платить? Ну хорошо, раз так, пусть все село, весь мир ходит нестриженным. Отращивайте себе на здоровье такие бороды, чтобы в день Страшного суда сам Господь Бог не разобрал бы, кто вы такие — жида или христианине. Да, да, хоть удавитесь на собственных бородах, мужланы несчастные!» Тут он разразился отчаянными слезами и продолжал уже жалобным фальцетом: «Что мне, одну воду дуть прикажете, словно рыбе какой несчастной? И это называется любовь к ближнему? Разве я не человек, не ученый фельдшер? Ах, сегодня ко мне не подступись! Сердце мое преисполнено чувством любви к людям!» С этими словами он стал постепенно удаляться, так как в доме никто не отзывался. Завидев меня, он быстро направился ко мне с распростертыми объятиями,— я думал, сумасшедший малый хочет меня обнять. Я отскочил в сторону, а он, спотыкаясь, побрел дальше, и я еще долго слышал, как он в темноте разговаривал сам с собой то грубым, то тонким голосом.

А у меня мысли роились в голове. Девушка, подарившая мне розу, была молода, прекрасна и богата — я мог

составить свое счастье в мгновение ока. А бараны и свиньи, индюки и жирные гуси, начиненные яблоками,— точь-в-точь, как говаривал швейцар: «Не робей, зритель, не робей! Женись смолоду — не раскаешься, кому посчастливится, тот возьмет себе пригожую невесту, сиди дома и вволю кормись!» С такими философическими мыслями присел я на камне посреди опустевшей поляны,— постучаться в гостиницу я не решился — ведь у меня совсем не было денег. Ярко светил месяц, в тишине ночной было слышно, как в горах шумят дубравы, по временам доносился лай собак из села, которое было словно погребено в лесистой долине, озаренной луной. Я следил бег луны сквозь редкие облака и смотрел, как на небе нет-нет, да упадет далекая звезда. «Вот так месяц светит и над отцовской мельницей и над белым замком графа,— думал я.— И в замке давно настала тишина, госпожа почивает, а водометы и деревья в саду шумят, как и прежде, и всем им нет дела до того, там ли я, или на чужбине, или и вовсе умер». Тут весь мир мне показался вдруг таким бесконечно далеким и огромным, а сам я таким покинутым, что в глубине души мне захотелось плакать.

В это время я внезапно услышал вдали, в лесу, конский топот. Я затаил дыхание и стал прислушиваться: топот все близился, и я уже мог различить храп коней. И действительно, вскоре из-за деревьев показалось двое всадников; они остановились у лесной опушки и, насколько я мог различить по их теням, внезапно задвигавшимся на лунной поляне, оживленно стали шептаться друг с другом, указывая при этом длинными темными руками то туда, то сюда. Дома, когда моя покойная матушка рассказывала мне про дремучие леса и свирепых разбойников, я всегда втайне желал, чтобы со мной приключилась подобная история. Вот и поплатился я за свои неразумные и дерзкие мысли! Я растянулся во всю длину под той самой липой, где сидел, и как можно незаметнее дополз до первого попавшегося сука, по которому проворно взобрался наверх. Но, как только я повис животом на суку и занес ногу, чтобы перелезть выше, один из всадников быстро поскакал по поляне прямо по моим следам. Я зажмурил глаза и висел в темной зелени, притаившись и неподвижно. «Кто здесь?» — раздалось вдруг совсем близко от меня. «Никого!» — изо всех сил закричал я со страху, что он меня все-таки настиг. Я не мог не посмеяться про себя, когда подумал, что эти молодцы будут обмануты в своих расчетах, вы-

вернув мои пустые карманы. «Ай, ай,— продолжал разбойник,— а чьи это ноги свешиваются?» Делать было нечего.— «Ноги бедного заблудившегося музыканта, и только»,— отвечал я. С этими словами я соскочил на землю, ибо мне стыдно было торчать на суку, точно сломанные вилы.

Лошадь испугалась, когда я внезапно спрыгнул. Всадник похлопал ее по шее и, смеясь, молвил: «И мы также заблудились, значит, мы товарищи; мне думается, ты мог бы нам помочь отыскать дорогу в Б. Внакладе не останешься». Тщетно я старался доказать, что вовсе не знаю, где лежит Б., и что я лучше пойду спрошу в гостинице или проведу их в селенье. Малый не давал себя урезонить. Он преспокойно вытащил из-за пояса пистолет, внушительно сверкнувший в лунном сиянии. «Итак, любезный,— дружелюбно обратился он ко мне, то отирая дуло пистолета, то разглядывая его,— итак, любезный, ты будешь столь добр и сам укажешь нам путь в Б.»

Делать было нечего. Если я найду дорогу, я попаду в шайку разбойников, где меня наверняка поколотят, так как при мне нет денег; если я не найду дороги — меня точно так же поколотят. Не долго думая, свернул я по первой попавшейся тропинке, которая тянулась от гостиницы, минуя селенье. Всадник подскакал к своему спутнику, и оба шагом последовали на известном расстоянии за мной. Итак, озаренные лунным светом, двинулись мы в путь, можно сказать наудачу. Лесная дорога вела все время вдоль горного склона. Временами сквозь верхушки сосен, тянувшихся снизу и шелестевших во мраке, открывался далекий вид на тихие долины, кое-где шелкал соловей, в дальних селах слышался лай собак. Из глубины доносился шум горной речки, иногда поблескивавшей в сиянии луны. Вдобавок к этому — мерный топот копыт, отрывистые и непонятные слова, которыми беспрестанно перебрасывались всадники, и, наконец, яркий лунный свет и длинные тени деревьев, попеременно падающие на обоих мужчин, так что они казались мне то темными, то светлыми, то маленькими, то огромными. У меня помутилось в голове, как если бы я был погружен в глубокое забытие и никак не мог пробудиться. Я продолжал бодро шагать вперед. Ведь должны же мы наконец выбраться из этого леса и мрака, думалось мне.

Вдруг на небе местами показались длинные красноватые отсветы, сперва незаметно, будто дыхание на зеркале, а высоко над тихой долиной зазвенел первый жа-

воронок. С наступлением утра у меня отлегло от сердца и прошел всякий страх. Всадники же вытягивали шею, повсюду озираясь, и, казалось, только сейчас увидали, что мы находимся не на верном пути. Они снова заболтали без умолку, и я понял, что они говорят про меня; мне даже показалось, будто один из них опасается, не мошенник ли я, который заведет их в лесу куда-нибудь. Меня это позабавило: чем более редела чаша, тем храбрее становился я, особенно, когда мы вышли на открытую лесную поляну. Я дико оглянулся по сторонам, засунул в рот пальцы и раза два свистнул на манер воров, когда они хотят подать друг другу знак.

«Стой!» — закричал вдруг один из всадников, да так, что у меня душа в пятки ушла. Обернувшись, я увидел, что они оба спешили и привязали лошадей к дереву. Один из них подбежал ко мне, поглядел на меня в упор и вдруг разразился неудержимым хохотом. Должен сознаться, дурацкий смех очень меня раздосадовал. А он проговорил: «Да ведь это садовник, то есть, я хотел сказать, смотритель из усадьбы».

Я вытаращил глаза на него, но не смог его припомнить, да и слишком много дела было бы у меня запоминать всех молодых господ замка, гулявших там. А он продолжал хохотать: «Да ведь это чудесно! Ты, насколько вижу, без дела, ну а нам нужен слуга; оставайся у нас, и у тебя будет не больно много работы». Я было совсем оторопел и наконец вымолвил, что как раз намереваюсь предпринять путешествие в Италию. «В Италию? — обрадовался незнакомец. — Туда и мы направляемся!» — «Ах, если так, я согласен!» — воскликнул я и на радостях достал из сумки свою скрипку и заиграл так, что разбудил птиц в лесу. А господин между тем схватил другого господина и как безумный стал вальсировать с ним по траве.

Вдруг они остановились. «Честное слово, — воскликнул один из них, — вон там уже виднеется колокольня Б.! Ну, теперь мы скоро будем на месте». Он вынул часы с репетицией и нажал кнопку, затем покачал головой и снова запустил их. «Нет, — молвил он, — так дело не пойдет, эдак мы прибудем слишком рано, это может плохо кончиться!»

Они достали с седел пироги, жаркое, и вино, разостлали на зеленой траве пеструю скатерть, расположились на привал и принялись с удовольствием закусывать, щедро наделив при этом и меня, что было совсем неплохо, так как я уже несколько дней, можно сказать, не

ел. «Да будет тебе известно...— обратился ко мне один из них,— но ты ведь нас не знаешь?» Я покачал головой. «Итак, да будет тебе известно: я — художник Леонгард, а он — тоже художник, по имени Гвидо».

Теперь, в утреннем свете, я мог лучше разглядеть обоих художников. Один из них, господин Леонгард, был высокого роста, стройный, темноволосый; взгляд у него был веселый, пламенный. Другой казался много моложе, ниже ростом и тоньше; одет он был, по выражению швейцара, на старонемецкий манер, в белых воротничках, открывавших шею; длинные темные кудри то и дело нависали ему на миловидное лицо, так что их приходилось беспрестанно откидывать. Вдоволь насытившись, он взял мою скрипку, лежавшую рядом со мной на земле, присел на срубленное дерево и стал перебирать струны. И тут он спел песенку, звонко, словно лесная пташка, так что мне она проникла в самое сердце:

Только утра первый луч
Долетит в долину с круч —
Зашумят леса ветвями:
«Ввысь! Смелей! Взмахни крылами!»

Путник шляпою взмахнет
И в восторге запоет:
«Песнь крылата, как и птица,—
Пусть она свободно мчится!»

При этом алый луч зари играл на его темном лице и черных влюбленных глазах. Я же до того устал, что и слова и ноты — все спуталось у меня, и я крепко уснул, пока он пел.

Когда я стал пробуждаться, я услышал все еще в полусне, что оба художника продолжают свою беседу и птицы поют надо мной, а сквозь сомкнутые веки я ощущал утренние лучи, и было не светло и не темно, как если бы солнце просвечивало сквозь красные шелковые занавески. «*Com'e è bello!*»¹ — раздалось возле меня. Я раскрыл глаза и увидел молодого художника, склонившегося надо мной в ярком утреннем блеске; кудри его свесились так, что виднелись одни только большие черные глаза.

Я вскочил; уже совсем рассвело. Господин Леонгард, казалось, был не в духе, на лбу у него прорезались две гневные морщины, и он стал торопить нас в путь. Другой художник только откидывал кудри с лица и продол-

¹ Как он красив! (ит.).

жал невозмутимо напевать свою песенку, пока он взнуздывал коня; кончилось тем, что Леонгард громко рассмеялся, схватил бутылку, стоявшую на траве, и разлил по стаканам остаток вина. «За счастливое прибытие!» — воскликнул он; оба чокнулись так, что стекло зазвенело. Затем Леонгард подбросил пустую бутылку вверх, и она весело сверкнула в лучах зари.

Наконец они сели на коней, а я с новыми силами последовал за ними. Прямо перед нами расстилалась необозримая долина, в которую мы и спустились. Как там все сверкало и шумело, искрилось и ликовало! На душе у меня было так привольно и радостно, словно я с горы готов был унести на крыльях в чудесный край.

Глава ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, прощайте и мельница, и замок, и швейцар! Мы неслись так, что у меня шляпу чуть не срывало ветром. Справа и слева мелькали села, и города, и виноградники — просто в глазах рябило; позади меня — оба художника в карете, впереди — четверка лошадей, которыми правил великолепный кучер, а я водружился высоко на козлах и часто подпрыгивал на аршин вверх.

Дело было так: когда мы подъехали к Б., нас встретил уже у околицы длинный, сухопарый господин мрачного вида, одетый в зеленую фризтовую куртку. Он отвесил множество низких поклонов господам художникам и проводил нас в село. У самой почтовой станции, под сенью высоких лип, нас уже ожидала роскошная карета, запряженная четверкой лошадей. Господин Леонгард заметил еще в дороге, что мое платье мне коротко. Он тотчас достал другое из дорожной сумки, и я оделся в совершенно новый нарядный фрак и камзол, которые мне были отменно к лицу, только слишком длинны да широки и порядком на мне болтались. Я получил также новехонькую шляпу; она блестяла на солнце, словно ее смазали свежим маслом. Угрюмый незнакомец взял лошадей под уздцы, художники прыгнули в карету, я — на козлы, и лошади тронулись; стационарный смотритель в ночном колпаке выглянул из окна, кучер весело затрубил в рожок, и мы быстро помчались прямо в Италию.

На козлах мне было привольно, словно птице в воздухе, притом же мне не надо было самому летать. Дела

у меня было только, что сидеть день и ночь наверху, да иногда приносить в карету кое-какую снедь, которую я забирал в попутных гостиницах, ибо художники нигде не делали привала, а днем даже до того плотно занавешивали окна кареты, как будто боялись солнечного удара. И только подчас прелестная головка господина Гвидо высывалась в окошко, и он принимался ласково болтать со мной и смеялся над господином Леонгардом, который этого терпеть не мог и всякий раз сердился на долгий разговор. Раза два я чуть не подсадовал на своих господ. Первый раз, когда я чудесной звездной ночью вздумал, сидя на козлах, поиграть на скрипке, да потом еще раз — по случаю спанья. Но это было поистине удивительно. Мне так хотелось вдоволь налюбоваться на Италию, и я каждую минуту как встрепанный широко раскрывал глаза. Однако стоило мне немного поглядеть, как все шестнадцать лошадиных ног спутывались, переплетались и перекрещивались, точно узоры кружев; глаза у меня начинали слезиться, и под конец я погружался в такой крепкий, непробудный сон, что просто одно отчаяние, да и только. Днем ли, ночью ли, в ненастье ли, в ясную ли погоду, в Тироле или в Италии — я неизменно свешивался с козел то направо, то налево, то назад, а иногда до того перегибался, что слетала шляпа и господин Гвидо в карете громко вскрикивал.

Таким образом я, сам не зная как, проехал пол-Италии, или, как ее там называют, Ломбардии, пока мы наконец, в один прекрасный вечер, не остановились у сельской гостиницы.

Почтовые лошади должны были прибыть с ближайшей станции только через несколько часов, господа художники вылезли и проследовали в отдельную комнату — малость передохнуть и написать кое-какие письма. Я был этим весьма обрадован и немедленно отправился в общую комнату, чтобы наконец спокойно поесть и попить в свое удовольствие. Комната имела довольно жалкий вид. Нечесанные, растрепанные служанки, в косынках, небрежно накинутых на желтоватые плечи, сновали взад и вперед. За круглым столом ужинали слуги в синих блузах, по временам искоса поглядывая на меня. У них были короткие, толстые косицы, и все они держали себя так важно, как будто сами были настоящими барчуками. «Вот наконец, — думал я, продолжая усердно есть, — вот наконец и ты в той стране, откуда

к нашему священнику приходили такие чудные люди с мышеловками, барометрами и картинками. И чего только не увидишь, если высунешь нос из своей норы!»

Пока я ел и размышлял, из темного угла комнаты вдруг выскочил человечек, сидевший до того за стаканом вина, и напустился на меня, как паук. То был горбатый карапуз с огромным отвратительным лицом, большим орлиным носом, совсем как у древних римлян, и жидкими рыжими бакенбардами; напудренные волосы дыбом торчали во все стороны, будто по ним только что пронеслась буря. Он был одет в старомодный, выцветший фрак, короткие плюшевые панталоны и совершенно порыжелые шелковые чулки. Он когда-то был в Германии и воображал, что невесть как хорошо говорит по-немецки. Он подсел ко мне и, беспрестанно нюхая табак, принялся расспрашивать о том о сем: занимаю ли я должность *servitore*¹ при господах? Когда мы *arrivare*?² Направляемся ли мы в *Roma*?³ Но всего этого я и сам не знал, а кроме того, ничего не понимал в его тарабарщине. «*Parlez-vous français?*»⁴ — робко проговорил я наконец. Он покачал своей громадной головой, и это мне было очень на руку, так как я и сам не понимал по-французски. Но и это не помогло. Он вплотную занялся мною и продолжал расспрашивать; чем больше мы беседовали, тем менее понимали друг друга; под конец мы оба разгорячились, и мне уже начало казаться, что этот синьор желает клюнуть меня своим орлиным носом; так продолжалось, пока девицы, слушавшие это вавилонское смешение языков, не подняли нас на смех. Я поскорее положил нож и вилку и вышел за дверь. Теперь, когда я очутился на чужбине, мне представилось, что я, со своим немецким языком, погружен в море на тысячи саженей глубины и всякого рода чудища извиваются и снуют вокруг, глаза на меня и стараясь схватить.

Стояла теплая летняя ночь; в такую ночь хорошо бывает погулять. С виноградников еще доносилась изредка песня, вддали кое-где сверкали зарницы, и все кругом трепетало и шелестело в сиянии луны. Порою мне чудилось, будто чья-то длинная, темная тень проходит перед домом и, крадучись за орешником, выглядывает

¹ Слуги (*ит.*).

² Приедем на место? (*ит.*)

³ Рим? (*ит.*)

⁴ Говорите ли вы по-французски? (*фр.*)

из листвы — затем снова все стихало. В этот миг на балконе гостиницы появился господин Гвидо. Он меня не заметил и принялся искусно играть на цитре, которую, верно, нашел где-нибудь в доме, и стал петь, словно соловей:

Смолкли голоса людей,
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу внятной,
Шепчет шорохом ветвей,
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

Не знаю, спел ли он еще что-нибудь, — я растянулся на скамье у самых дверей и от сильного утомления крепко заснул в тиши этой теплой ночи.

Так, наверное, прошло несколько часов; вдруг меня разбудил почтовый рожок; я и сквозь сон слышал его веселый наигрыш. Наконец я вскочил; в горах уже занимался день, и утренний холодок пронизывал меня. Тут только пришло мне в голову, что мы об эту пору должны были быть уже далеко. «Ах, — подумал я, — нынче настал мой черед будить да посмеиваться. Посмотрю я, как выскочит господин Гвидо, заспанный, взлохмаченный, когда услышит, как я пою и играю во дворе!» И я прошел в палисадник, стал прямо под окнами, где ночевали мои господа, потянулся еще разок как следует на утреннем холодке и звонко запел:

В час, когда кричит удод,
Белый день настает,
В час, когда заря блеснет,
Сладок сон, точно мед.

Окно было раскрыто, но наверху царил полная тишина, и лишь ветерок шелестел в лозах винограда, тянувшихся до самого окна. «Однако что все это означает?» — изумленно воскликнул я, поспешил в дом и по пустынным переходам дошел до комнаты. Но тут у меня не на шутку екнуло сердце: я распахнул дверь, и что же? — в комнате было совершенно пусто — ни фрака, ни шляпы, ни сапог. На стене висела цитра, та самая, на которой господин Гвидо играл вчера, посреди комнаты на столе лежал новый, туго набитый кошелек, на котором была прилеплена записка. Я поднес кошелек к окну и не поверил своим глазам — не оставалось ни малейшего сомнения — большими буквами было написано: «Для господина смотрителя».

Но на что мне деньги, если со мной нет моих милых, веселых господ? Я опустил кошелек в карман, и он ухнул туда, словно в глубокий колодезь, так что от этого груза меня всего порядком перетянуло назад. Затем я пустился бежать, произведя страшный шум и перебудив в доме всех слуг. Те не знали, чего мне надо, и подумали, что я сошел с ума. Увидав, однако, наверху разоренное гнездо, они были немало удивлены. Никто ничего не знал про моих господ. И только одна из служанок кое-как объяснила мне знаками, что ей удалось видеть следующее: когда господин Гвидо вчера вечером распевал на балконе, он вдруг громко вскрикнул и опрометью бросился в комнату, где находился другой господин. Проснувшись после того ночью, она услышала на дворе конский топот. Она поглядела в окошко и увидела горбатого синьора, так много разговаривавшего давеча со мной,— он при лунном свете несся по полю на белом коне, то и дело подскакивая в седле чуть ли не на аршин, и служанка даже перекрестилась — ибо ей представилось, что это оборотень скачет на трехногом коне. Тут уж я и подавно стал в тупик.

Между тем запряженная карета давно стояла у крыльца, и кучер нетерпеливо трубил в рожок, так что у него чуть не лопнули щеки: ему надо было к положенному часу поспеть на ближайшую станцию без малейшего промедления, ибо в подорожных все было рассчитано до минуты. Я еще раз обежал всю гостиницу, клича художников, но ответа не было; на крик мой появились все бывшие в доме и стали глазеть на меня, кучер отчаянно бранился, лошади храпели, и вот я, озадаченный, вскакиваю в карету, слуга захлопывает за мной дверцу, кучер щелкает бичом, и я уношусь дальше в незнакомый край.

Глава ПЯТАЯ

Мы мчались по горам и долам день и ночь напролет. Я никак не мог вспомнить, ибо, куда бы мы ни приехали, повсюду нас уже ожидали запряженные лошади, говорить я не мог ни с кем, и все мои объяснения ни к чему не приводили; часто, когда я сидел в гостинице и уплетал за обе щеки, кучер трубил в рожок, и мне приходилось бросать еду и спешить в карету, сам же я, в сущности, толком не знал, куда и зачем качу я с такой исключительной быстротой.

В остальном я не мог пожаловаться: я располагался, как на диване, то в одном, то в другом углу кареты, знакомился с людьми и страной, а когда мы проезжали через какой-нибудь город, облакачивался обеими руками на подоконник кареты и благодарил прохожих, вежливо снимавших при виде меня шляпу, или, как старый знакомец, раскланивался с девушками, с удивлением и с любопытством глядевшими мне вслед из окон.

Под конец я сильно оробел. Я никогда не пересчитывал денег в доставшемся мне кошельке, станционным смотрителям и гостиницам мне приходилось помногу платить, и не успел я оглянуться, как мой кошелек совсем истощился. Вначале я решил, как скоро мы попадем в густой лес, быстро выпрыгнуть из кареты и скрыться. Потом мне стало жаль упустить такую прекрасную карету, в которой я мог доехать и до края света.

И вот я сидел в раздумье, не зная, чем помочь горю, как вдруг карета свернула с большой дороги. Я крикнул кучеру: куда он, собственно, едет? Но что я ни говорил ему, парень неизменно отвечал: «Si, si, signore!»¹ — и неся во весь опор, так что меня швыряло из угла в угол.

Теперь я уже ничего не мог понять; до этого мы ехали живописной местностью, и большая дорога уходила прямо вдаль, туда, где закатывалось солнце, заливая все кругом сиянием и блеском. В той же стороне, куда мы ехали теперь, виднелись пустынные горы с мрачными ущельями, в которых было уже совсем темно. Чем дальше мы ехали, тем глуше и безлюднее становилась местность. Наконец из-за туч показалась луна и так осветила деревья и утесы, что стало как-то не по себе. Мы медленно продвигались по узким, каменистым ущельям, а мерный, однообразный стук колес гулко отдавался в ночной тишине, и было похоже на то, что мы въезжаем в огромный склеп. Под нами в лесу стоял невообразимый шум от бесчисленных, незримых водопадов, а вдалеке не переставая кричали совы: «К нам иди, к нам иди!» Тут мне показалось, что мой возница, который, как я только теперь заметил, не носил формы и вообще не был настоящим кучером, стал боязливо озираться и погнал лошадей; я высунулся и увидел всадника, который выскочил из-за кустов, проехал вплотную мимо нас по дороге и тотчас же исчез по дру-

¹ Да, да, сударь! (ит.)

гую сторону в лесу. Я совсем смутился, ибо, насколько я мог различить при свете луны, на белом коне сидел тот самый горбатый человек, который тогда в гостинице старался клюнуть меня своим орлиным носом. Кучер только головой покачал и громко засмеялся на безрассудную езду, потом обернулся ко мне, стал что-то много и быстро говорить, чего я, к сожалению, не понял, а затем покатил еще быстрее.

Я обрадовался, заметив издалека огонек. Вскоре замелькали еще огоньки, они становились все крупнее и ярче, и наконец мы увидели две-три закоптелые хижины, которые лепились на скалах, подобно ласточкинским гнездам. Ночь была теплая, и двери стояли настежь, так что видны были освещенные горницы и в них какие-то оборванцы, сидевшие у очага. Мы подъехали к каменной тропе, ведущей на высокую гору. Ущелье то порастало высокими деревьями и свисающими кустарниками, то сразу открывалось небо и в глубине спящие горы, леса и долины, сомкнутые в широкий круг. На вершине горы в лунном сиянье стоял большой старинный замок со множеством башен. «Ну, слава Богу!» — воскликнул я и в душе повеселел, ожидая, куда-то меня теперь доставят.

Прошло добрых полчаса, прежде нежели мы достигли ворот замка. Над ними высилась широкая, круглая башня, сверху почти разрушенная. Кучер трижды щелкнул бичом, по сводам замка раздалось эхо, и целый рой испуганных галок показался из оконниц и щелей и с диким криком пронесся в воздухе. Вслед за тем карета с грохотом въехала в длинный, темный проезд за воротами. Копыта засверкали по камням, залаял большой пес, стук колес громом отдавался под каменными сводами, галки продолжали кричать — вот с каким невероятным шумом вкатили мы в узкий мощеный двор замка.

«Забавное пристанище!» — подумал я про себя, когда мы наконец стали. Дверцу открыли снаружи, и долговязый старик, держа в руках небольшой фонарь, угрюмо поглядел на меня из-под нависших бровей. Вслед за тем он взял меня под руку и помог выйти из кареты, совсем как знатному барину. На пороге входной двери стояла старая, весьма безобразная женщина; на ней была черная безрукавка и юбка, белый передник и черный чепец, ленты которого свешивались до самого носа. На поясе у нее висела большая связка ключей, а в руке она держала старомодный канделябр с двумя

зажженными восковыми свечами. Увидев меня, она принялась низко приседать и стала много говорить и расспрашивать. Я ничего не понял из того, что она говорила, и все только расшаркивался, но должен сознаться, что мне стало жутко.

Старик тем временем осветил фонарем карету со всех сторон и все ворчал и покачивал головой, не найдя ни сундуков, ни другой поклажи. Кучер, не потребовав с меня ничего на водку, отвез экипаж в старый сарай с распахнутыми воротами, который находился тут же в стороне. Старуха же знаками весьма учтиво пригласила меня последовать за ней. Освещая дорогу канделябром, она повела меня сперва длинным узким переходом, а затем по крутой каменной лесенке. Когда мы проходили мимо кухни, две-три девушки с любопытством взглянули в полураскрытую дверь и принялись смотреть на меня во все глаза, перемигиваясь и перешептываясь между собой, как если бы они в жизни своей не видали мужчины. Наконец старуха отперла наверху какую-то дверь; я остановился пораженный: это была громадная, пышная комната с прекрасными, золотыми украшениями на потолке, на стенах висели роскошные гобелены со всевозможными фигурами и цветами. Посреди комнаты был накрыт стол с обильными яствами — тут стояло жаркое, пироги, салат, фрукты, вино и конфеты, так что любо было глядеть на все это. Между окон от потолка до пола висело зеркало небывалых размеров.

Должен сознаться, все это мне пришлось чрезвычайно по вкусу. Я потянулся раза два и принялся медленно и важно прохаживаться по комнате. Я не мог устоять, и мне захотелось посмотретья в такое громадное зеркало. По правде сказать, новое платье, подаренное господином Леонгардом, было мне очень к лицу, в Италии у меня появился этакий огонь в глазах, а во всем прочем я был еще порядочный молокосос, таков, каким был дома, только разве на верхней губе показался пушок.

Старуха все продолжала шамкать беззубым ртом, как если бы она пожевывала собственный свисший нос. Затем она усадила меня, погладила меня костлявыми пальцами по подбородку, назвала *roverino*¹, так плутовато взглянув на меня своими красными глазами, что у нее перекосило все лицо, и наконец удалилась, сделав в дверях глубокий книксен.

¹ Бедняжка (ит.).

Я сел за накрытый стол, и вскоре появилась молодая красивая девушка — прислуживать мне за ужином. Я завел с ней любезный разговор, но она не понимала и все поглядывала на меня искоса, дивясь, что я ем с таким аппетитом; кушанья, надо сказать, были очень вкусны. Когда я насытился, служанка взяла со стола свечу и проводила меня в соседнюю комнату. Там находилась софа, небольшое зеркало и роскошная кровать под зеленым шелковым балдахином. Я знаками спросил девушку, могу ли я здесь лечь? Она кивнула: «Да», — однако это было невозможно, так как служанка стояла возле меня, как пригвожденная к месту. Кончилось тем, что я принес из соседней комнаты еще стакан вина и крикнул: «Felicissima notte!»¹ — настолько я уже знал по-итальянски. Но, увидев, как я залпом опрокинул стакан, она вдруг начала тихонько хихикать, густо покраснела, вышла в столовую и заперла за собой дверь. «Ну, что тут смешного? — подумал я с изумлением. — Мне сдается, в Италии все люди с ума спятили».

Я все еще побаивался кучера — вот-вот он начнет трубить. Я постоял у окна, но на дворе все было тихо. «Пусть себе трубит», — подумал я, разделся и улегся в роскошную постель. Мне казалось будто я поплыл по молочной реке с кисельными берегами.

Под окнами, на дворе, шумела старая липа, порою галка взлетала над крышей, и наконец я погрузился в блаженный сон.

Глава ШЕСТАЯ

Когда я проснулся, первые утренние лучи уже играли на зеленых занавесях. Я хорошенько не понимал, где я, собственно, нахожусь. Мне казалось, будто я все еще еду в карете и мне снится сон про замок, озаренный луной, про старую ведьму и про ее бледную дочку.

Наконец я проворно вскочил с постели и оделся, продолжая оглядывать комнату. Тут только увидел я потайную дверцу, которой совсем не заметил накануне. Она была слегка притворена, я открыл ее, и взорам моим предстала опрятная горенка, в которой на рассвете казалось весьма уютно. На стуле кое-как было брошено женское платье, а рядом, на постели, лежала девушка, прислуживавшая мне вчера вечером. Она мирно

¹ Спокойной ночи! (ит.)

почивала, положив голову на обнаженную белую руку, на которую свешивались черные кудри. «Если бы она знала, что дверь отперта»,— сказал я про себя и ворочился в спальню, не забыв тщательно запереть за собой, дабы девушка, проснувшись, не испугалась бы и не стыдилась.

На дворе все было тихо. Ни звука. Лишь ранняя лесная птичка сидела у моего окна на кусте, росшем в расселине стены, и распевала утреннюю песенку. «Нет,—сказал я,— не воображай, пожалуйста, будто ты одна в такой ранний час славишь Бога». Я живо достал скрипку, которую накануне оставил на столике, и вышел из комнаты. В замке царила мертвая тишина, и прошло немало времени, пока я выбрался из темных переходов на волю.

Выйдя из замка, я очутился в большом саду, спустившемся террасами до половины горы. Но что это был за сад! Аллеи поросли высокой травой, затейливые фигуры из букса не были подстрижены, и длинные носы или остроконечные шапки, в аршин величиной, торчали, словно привидения, так что в сумерках их можно было просто испугаться. На поломанных статуях, склоненных над высохшим водоемом, было даже развешано белье, местами в саду виднелись капустные гряды, кое-где в беспорядке были посажены простые цветы, которые заглушал высокий дикий бурьян, а в нем извивались пестрые ящерицы. Сквозь старые могучие деревья просвечивала даль — пустынный ландшафт, необозримая, непрерывная цепь гор.

Погуляв на рассвете в этой дикой местности, я вдруг заметил на нижней террасе высокого бледнолицего юношу: он был очень худ и одет в длинный коричневый плащ с капюшоном; скрестив на груди руки, он расхаживал большими шагами взад и вперед. Он притворился, будто не видит меня, вскоре уселся на каменную скамью, достал из кармана книгу и принялся громко читать вслух, словно произнося проповедь; при этом он возводил очи к небу и затем меланхолически склонял голову на правую руку. Я долго наблюдал за ним, наконец меня взяло любопытство, к чему он, собственно, так чудно кривляется, и я решительным шагом приблизился к нему. Он только что глубоко вздохнул и испуганно вскочил, заметив меня. Он был очень смущен, я тоже, мы оба не знали, что сказать, и все раскланивались друг перед другом, пока он не удрал в кусты. Тем временем взошло солнце, я вскочил на скамью и от

удовольствия заиграл на скрипке, и песня моя далеко разносилась по тихим долинам. Старуха со связкой ключей, с тревогой разыскивавшая меня, чтобы позвать завтракать, показалась на верхней террасе и немало изумилась, услышав, как я славно играю на скрипке. Угрюмый старик из замка очутился тут же и точно так же был удивлен; под конец сбежались служанки, и все остановились наверху как вкопанные, а я перебирал и взмахивал смычком все искуснее и проворнее и разыгрывал каденции и вариации, пока наконец не устал.

А в замке было очень странно! Никто и не думал о том, что надо ехать дальше. Замок не был гостиницей, а принадлежал, как мне удалось выведать у служанки, богатому графу. Но лишь только я спрашивал у старухи имя графа, она усмехалась, как в первый вечер, что я прибыл сюда, и так лукаво шурила при этом глаза и подмигивала мне, что можно было подумать, будто она не в своем уме. Стоило мне в знойный день выпить целую бутылку вина — как девушки хихикали, принося другую, а когда меня разок потянуло выкурить трубку, и я знаками описал, чего я хочу, то они разразились неудержимым и безрассудным смехом. Но самым удивительным были серенады, которые часто раздавались под моими окнами, особенно же в самые темные ночи. Кто-то тихо наигрывал на гитаре нежную мелодию. Однажды мне послышался снизу шепот: «Пст, пст». Я соскочил с постели и высунулся в окно. «Эй, кто здесь, откликайся!» — крикнул я сверху. Но ответа не последовало, я только услышал шорох — кто-то поспешно скрывался в кустах. Большой дворовый пес раза два залаял на мой шум, потом все сразу стихло, а серенады с той поры не было слышно.

А вообще жилось мне так, что лучшего и не оставалось желать. Добрый швейцар! Он знал, что говорит, когда рассказывал, будто в Италии изюм сам лезет в рот. Я жил в пустынном замке, словно заколдованный принц. Куда бы я ни пришел, повсюду меня встречали с почетом, хотя все давно знали, что у меня нет ни гроша. Мне словно досталась скатерть-самобранка, и стоило мне сказать слово, как тотчас на столе появлялись роскошные блюда — рис, вино, дыни и пармезан. Я ел за обе щеки, спал в прекрасной постели под балдахинном, прогуливался в саду, играл на скрипке, а когда приходила охота — работал в саду. Нередко лежал я часами в высокой траве, а худой юноша в длинном плаще (то был ученик и родственник старухи, он нахо-

дился здесь на время вакаций) описывал большие круги и что-то шептал, как колдун, уткнувшись в книгу, и я всякий раз от этого задремывал. Так проходил день за днем, и наконец — верно, от сытной еды — я порядком загрустил. От вечного безделья я даже не мог всласть потянуться, и порой мне казалось, будто я от лени совсем развалюсь.

В ту пору я однажды, в знойный полдень, сидел на верхушке высокого дерева над обрывом и покачивался на ветвях, глядя вниз на тихую долину. Надо мной в листве гудели пчелы, кругом все словно вымерло, в горах не было ни души, внизу, в тишине лесных луговин, в высокой траве мирно паслись стада. Издалека доносился почтовый рожок, то еле слышно, то звонче и явственнее. Мне пришла на ум старая песня, которую я слышал от странствующего подмастерья, когда еще жил дома, на отцовской мельнице, и я запел:

Кто вдаль уходит из дому,
Тот должен с любимой идти
В стране чужой, незнакомой
Ему взгрустнется в пути.

Вершины в дубраве черной,
Что знаете вы о былом?
Ах, за дальнею цепью горной
Остался родимый дом!

Люблю я звездочек очи,
Меня провожающие к ней,
Соловушку в тихие ночи,
Что пел у се дверей.

Но радостней в летнюю пору
Встречать румяный рассвет.
Я всхожу на высокую гору,
Шлю Германии свой привет!

Казалось, будто почтовый рожок издали вторит моей песне. Пока я пел, звуки рожка все приближались со стороны гор, и наконец они раздались на замковом дворе. Я соскочил с дерева. Навстречу мне из замка шла старуха, держа раскрытый сверток. «Тут и вам кое-что прислали», — проговорила она и вынула из свертка изящное письмо. Надписи не было, я быстро распечатал его. Но тут я весь покраснел, словно пион, и сердце у меня забилося так сильно, что старуха это заметила, ибо письмо было — от моей прекрасной дамы, чьи записочки мне не раз доводилось видеть у господина управляющего. Она писала совсем кратко: «Все снова

хорошо, все препятствия устранены. Я тайно воспользовалась оказией и первая хотела сообщить вам эту радостную весть. Возвращайтесь, спешите. Здесь так пустынно, жизнь для меня невыносима, с тех пор как вы нас покинули. Аврелия».

От восторга, страха и несказанной радости на глазах у меня выступили слезы. Мне стало стыдно старухи, которая снова усмехнулась своей отвратительной усмешкой, и я стрелой пустился бежать в самую отдаленную часть сада. Здесь я бросился в траву под кустами орешника и перечитал письмецо еще раз, затвердил все слова наизусть и потом снова и снова принялся перечитывать, а солнечные лучи, падая сквозь листву, плясали на буквах, которые извивались перед моим взором, подобно золотым, светло-зеленым и алым цветам. «Да, может быть, она вовсе и не замужем? — думал я. — Быть может, чужой офицер, которого я видел, — ее брат, или же он умер, или я сошел с ума, или... Это все равно! — воскликнул я наконец и вскочил. — Ведь теперь все ясно, она меня любит, да, она меня любит!»

Когда я выбрался из кустарника, солнце уже склонялось к закату. Небо заалело, птицы весело распевали в дубравах, по долинам струился свет, но в сердце моем было еще во сто крат лучше и радостнее!

Я крикнул, чтобы мне сегодня накрыли ужинать в саду. Старуха, угрюмый старик, прислуга — все должны были сесть вместе со мной за стол под деревом. Я принес скрипку и в промежутках между едой и питьем играл на ней. Все повеселели, у старика разгладлись угрюмые морщины, и он залпом выпивал один стакан за другим; старуха без умолку несла Бог весть какую чепуху; служанки принялись танцевать друг с другом на газоне. Под конец явился и бледнолицый студент — посмотреть, что происходит; он окинул нас презрительным взглядом и хотел было с достоинством удалиться. Но я не поленился, живо вскочил, и не успел он оглянуться, как я поймал его за его длинные фалды и пустился с ним в пляс. Он силился танцевать изящно и по-новомодному и усердно и искусно семеня ногами, так что с него градом лил пот, а длинные полы его сюртука разлетались вокруг нас. При этом он взглядывал на меня, вращая глазами так чудно, что мне не на шутку стало страшно, и я вдруг отпустил его.

Старухе смерть как хотелось узнать, что, собственно, было в письме и почему я именно сегодня так весел. Но пришлось бы слишком много ей объяснять. Я только

указал ей на двух журавлей, паривших над нами в воздухе, и проговорил: «И мне бы так лететь и лететь, далеко-далеко!» Она широко раскрыла выцветшие глаза, посматривая, словно василиск, то на меня, то на старика. Потом я заметил, как оба, стояло мне только отвернуться, придвигались друг к другу и о чем-то оживленно шептались, косясь на меня.

Это показалось мне странным. Я все думал: что у них, собственно, может быть на уме? Я решил держать себя потише, а так как солнце давно закатилось, то я, пожелав всем доброй ночи, в раздумье направился в свою спальню.

На душе у меня было радостно и вместе с тем тревожно, и я долго еще расхаживал по комнате. На дворе поднялся ветер, тяжелые черные тучи неслись над башней, в густом мраке невозможно было различить ближайšie горные цепи. Вдруг мне послышались в саду голоса, я задул свечу и стал у окна. Голоса приближались, но беседа шла вполголоса. И тут небольшой фонарь, который один из идущих держал под плащом, отбросил узкую полосу света. Я узнал угрюмого управителя и старуху. Свет упал на ее лицо (никогда еще оно не казалось мне столь отвратительным), а в руке у нее блеснул длинный нож. При этом я заметил, что оба они смотрят на мое окошко. Затем управитель снова закутался в плащ, и вскоре опять все стало темно и тихо.

«Чего им надо в такой поздний час в саду?» — подумал я. Мне стало жутко, я припомнил всевозможные жуткие рассказы, какие мне доводилось когда-либо слышать, про ведьм и про разбойников, которые убивают людей, вынимают сердца и пожирают их. Пока я размышлял, послышались глухие шаги, сперва по лестнице, затем по длинной галерее, затем кто-то украдкой подошел к моей двери, порой слышался сдавленный шепот. Я быстро отскочил в другой конец комнаты, спрятался за большой стол и решил, чуть что зашевелится, поднять его и изо всех сил броситься с ним на дверь. Но в темноте я опрокинул со страшным грохотом стул. И тут все сразу стихло. Я продолжал стоять за столом, ежеминутно поглядывая на дверь, как если бы я хотел пронзить ее взором, так что глаза у меня на лоб лезли. Некоторое время я стоял притаившись — было так тихо, что я мог бы услышать, как муха ползет по стене; и вдруг снаружи тихонько всунули ключ в замочную скважину. Я только собрался ринуться вместе со сто-

лом, как кто-то медленно повернул ключ трижды, осторожно вынул его и еле слышно прокрался по галерее на лестницу.

Я глубоко вздохнул. «Вот как,— подумал я,— теперь они заперли молодца, чтобы действовать без помех, как только я крепко усну». Я поспешно осмотрел дверь. Истинная правда, она была заперта, равно как и другая дверь, за которой спала хорошенькая, бледнолицая служанка. За все мое пребывание в замке это случилось впервые.

Итак, я очутился в плену на чужбине! Прекрасная дама, верно, стоит теперь у окна и глядит сквозь ветви сада на большую дорогу, не появлюсь ли я со скрипкой у сторожки. Облака несутся по небу, время летит, а я не могу уйти отсюда! Ах, на душе у меня было так тяжело, я совсем не знал, что мне делать. Подчас, когда на дворе шумела листва или где-нибудь в углу скреблась крыса, мне чудилось, будто старуха незаметно вошла через потайную дверь и подстерегает меня, неслышно пробираясь по комнате с длинным ножом в руке.

Озабоченный сидел я на кровати; вдруг после долгого времени снова раздалась под моими окнами серенада. При первых звуках гитары показалось мне, будто луч солнца проник в мою душу. Я распахнул окно и тихо проговорил, что не сплю. «Тише, тише!» — послышалось в ответ. Не долго думая, перелез я через подоконник, захватив с собой письмено и скрипку, и спустился по старой, потрескавшейся стене, цепляясь руками за кусты, росшие в расселинах. Однако несколько ветхих кирпичей подались, я начал скользить все быстрее и быстрее и наконец плюхнулся обеими ногами на землю, так что в голове у меня затрещало.

Не успел я таким манером достигнуть сада, как кто-то заключил меня в объятия с такой силой, что я громко вскрикнул. Но добрый друг живо приложил мне палец к губам, взял за руку и вывел из заросли на простор. И тут я с удивлением узнал милого долговязого студента; на шее у него висела гитара на широкой шелковой ленте. Я рассказал ему, не теряя ни минуты, что хочу выбраться из сада. Казалось, он давно это сам знает, а потому он повел меня разными окольными путями к нижним воротам высокой садовой ограды. Но и те ворота были наглухо заперты. Однако студент предусмотрел и это, он вынул большой ключ и осторожно их отпер.

Едва мы вышли в лес, я спросил его, как добраться кратчайшим путем до соседнего города; тогда он внезапно опустился передо мной на одно колено и поднял руку, разражаясь возгласами отчаяния и любви. Слушать его было ужасно: я совсем не знал, чего он хочет, я только все слышал: Iddio, да сиюге, да атоге, да fuoghe!¹ Но когда он, стоя на коленях, начал быстро приближаться ко мне, я испугался не на шутку, ибо понял, что студент сошел с ума; я бросился бежать без оглядки в самую чашу леса.

Я слышал, как студент кинулся вслед за мной, крича словно одержимый. Через некоторое время, как бы вторя ему, со стороны замка послышался другой, грубый голос. «Наверное, они пустятся за мной в погоню», — подумал я. Дороги я не знал, ночь была темная, я легко мог снова попасться им в руки. Поэтому я взобрался на вершину высокой ели и решил там переждать.

Отсюда мне было слышно, как в замке люди пробуждались один за другим. Наверху замелькали огни, бросая зловещий красный отсвет на старые стены замка и с горы далеко в темную ночь. Я поручил судьбу Всевышнему, так как шум приближался и становился все явственнее. Наконец студент с факелом в руках промчался мимо моего дерева; полы его сюртука далеко развевались по ветру. Потом все, видимо, устремились по другому склону горы, голоса стихли, и ветер снова зашумел в пустынном лесу. Тогда я поспешно слез с дерева и, не переводя духа, побежал долиной во мрак ночи.

Глава СЕДЬМАЯ

Я шел без роздыха день и ночь. В ушах у меня звенело, мне все еще чудилась погоня из замка, с криками, факелами и длинными ножами. По дороге я узнал, что нахожусь всего в нескольких милях от Рима. Я даже испугался от радости. О прекрасном Риме слышал я еще дома в детстве много чудесного; часто, лежа в воскресный день в траве возле мельницы, когда вокруг было так тихо, воображал я себе Рим наподобие облаков, плывущих надо мной, с причудливыми горами и уступами у синего моря, с золотыми воротами и высокими сверкающими башнями, на которых пели ангелы в золотых одеяниях. Давно

¹ Бог... сердце... любовь... ярость! (ит.)

уже стемнело, месяц ярко светил, когда я наконец выбрался из леса на холм, с которого вдалеке увидел город. Где-то мерцало море, в необозримом небе блистали и переливались неисчислимые звезды, а внизу покоился священный город,— его можно было различить по узкой полосе тумана; он походил на спящего льва посреди безмолвной равнины, а кругом высились горы, подобно темным исполинам, охраняющим его.

Сперва я шел безлюдными обширными полями, где было мрачно и тихо, словно в гробнице. Лишь кое-где виднелись древние разрушенные стены или темнел высохший куст, ветви которого затейливо сплетались; временами надо мной проносились ночные птицы, и моя собственная тень, длинная и темная, одиноко сопутствовала мне. Говорят, будто и здесь был когда-то город, в нем погребена госпожа Венера, и язычники иногда в безмолвии ночи встают из могил, бродят по равнине и сбивают с пути странников. Но я все шел напрямик, не смущаясь этими рассказами.

Город все явственнее и чудеснее вставал передо мной, а высокие твердыни, и ворота, и золотые купола так дивно сверкали при свете луны, будто и вправду ангелы в золоченых одеяниях стояли наверху и голоса их сладостно пели в ночной тишине.

Так миновал я сперва лачуги предместья, затем, пройдя великолепные ворота, вошел в славный город Рим. Луна освещала дворцы, как будто на дворе стоял солнечный день, но на улицах было уже пустынно, и лишь кое-где на мраморных ступенях валялся оборванец, точно мертвый, и спал, овеянный теплым ночным воздухом. Фонтаны журчали на безлюдных площадях, им вторил шорох садов, наполнявших воздух живительным благоуханием.

В то время, как я шел, не помня себя от удовольствия, от луны и ароматов, не зная, куда мне глядеть, я вдруг услышал из глубины какого-то сада струны гитары. «Боже мой,— подумал я,— верно, меня настиг безумный студент в длиннополном сюртуке!» Но тут в саду послышалось пение — я услышал прелестный женский голос. Я остановился как вкопанный — то был голос моей прекрасной госпожи, и она пела ту самую итальянскую песенку, которую не раз певала у себя дома у раскрытого окна.

Я вспомнил добрые старые времена, и мне вдруг стало так больно, что я готов был заплакать горькими слезами; вспомнилось мне все: тихий сад перед замком

в час рассвета, и мое блаженство там, за кустами, и дурацкая муха, влетевшая мне прямо в нос. Я не в силах был удержаться. Я взобрался по золоченым украшениям, перекинулся через решетчатые ворота и прыгнул в сад, откуда доносилось пение. Тут я заметил в отдаленье за топодем стройную белую фигуру; она сначала смотрела с удивлением, как я карабкался по железной решетке, а затем опрометью кинулась по темному саду прямо к дому, так что в лунном свете только мелькали ее ноги. «Это она сама!» — воскликнул я, и сердце мое затрепетало от радости, ибо я сразу узнал ее по ее маленьким проворным ножкам. Одно было плохо: когда я перебирался через решетку, я оступился на правую ногу, и мне пришлось поразмяться, прежде чем броситься ей вдогонку. Тем временем в доме наглухо заперли все двери и окна. Я робко постучался, стал прислушиваться, потом постучал снова. Было ясно, в комнате тихонько шептались и хихикали, и мне даже показалось, как чьи-то светлые глаза сверкнули в лунном свете из-под спущенных ставень. Потом все смолкло.

«Она не знает, что это я», — подумал я, достал скрипку, с которой не расставался, и, расхаживая перед домом, принялся играть и петь песню о прекрасной госпоже; от радости я сыграл подряд все песни, какие я игрывал тогда дивными летними ночами в замковом саду или на скамье у сторожки, когда песня моя неслась к самым окнам замка. Но все было напрасно, в доме никто не шелохнулся. Тогда я печально убрал скрипку и прилег на пороге, потому что очень устал от долгой ходьбы. Ночь была теплая, шторы возле дома благоухали, поодаль, несколько ниже, слышался плеск водомета. Мне грезились небесно-голубые цветы, роскошные темно-зеленые одинокие долины, в которых бьют ключи и шумят ручейки и пестрые птицы так удивительно уют, и наконец я погрузился в глубокий сон.

Когда я проснулся, утренний холодок пронизывал меня. Птицы уже щебетали, сидя на деревьях, как будто поддразнивали меня. Я вскочил и стал осматриваться. Водомет в саду продолжал шуметь, однако в доме не было слышно ни звука. Я заглянул сквозь зеленые ставни в одну из комнат. Там находилась софа и большой круглый стол, накрытый серым полотном, стулья стояли вдоль стен в большом порядке; но на всех окнах снаружи были спущены ставни, и дом казался необитаемым уже много лет. Тут меня охватил страх перед пустынным домом и садом, а также перед вчерашним бе-

лым видением. Без оглядки побежал я мимо уединенных беседок, по аллеям и быстро взобрался на садовые ворота. Но наверху я застыл, словно очарованный, взглянув с высоты ограды на пышный город: утреннее солнце играло на крышах домов и пронизывало длинные тихие улицы,— я громко вскрикнул от восторга и соскочил на землю.

Но куда идти в большом, незнакомом городе? Кроме того, из головы не выходила странная ночь и итальянская песня прекрасной дамы. Наконец на одной пустынной площади я сел на каменные ступени фонтана, умылся студеной водой и запел:

Ах, быть бы птичкой мне —
Пропел бы я песенку много!
Ах, быть бы птичкой мне —
Нашел бы я к милой дорожку!

«Эй ты, веселый молодец, ведь ты поешь, словно жаворонок ранним утром!» — обратился вдруг ко мне молодой человек, подошедший к фонтану, пока я пел. Когда я услышал так неожиданно немецкую речь, мне почудилось, будто мой родной сельский колокол звонит к обедне в воскресный день. «Привет вам, любезнейший сударь земляк!» — воскликнул я радостно, соскочив с каменного водомета. Молодой человек улыбнулся и оглядел меня с головы до ног. «Однако что вы, собственно, подделываете здесь, в Риме?» — спросил он наконец. Я сразу не нашелся, как ответить, ибо мне совсем не хотелось говорить, что я повсюду разыскиваю прекрасную госпожу. «Что я здесь подделываю? — возразил я. — Так, скитаюсь по белу свету да разглядываю все кругом». — «Вот как! — молвил молодой человек и звонко засмеялся. — Значит, мы с вами товарищи, одним и тем же занимаемся. Я, знаете ли, тоже разглядываю все кругом, да вдобавок еще рисую, что вижу». — «Значит, вы художник?» — радостно воскликнул я и тут же припомнил господина Леонгарда и Гвидо. Однако господин не дал мне договорить. «Надеюсь, — сказал он, — ты отправишься ко мне, и мы вместе закусим, а там я тебя нарисую на славу!» Я охотно согласился, и мы вместе с художником пустились по безлюдным улицам, где только что открывались лавки, и в утренней свежести из окон то тут, то там просовывались белые руки или выглядывало заспанное личико.

Он долго вел меня по запутанным, узким и темным улочкам, пока мы наконец не юркнули в ворота старого,

закоптелого дома. Мы поднялись по темной лестнице, потом по другой, словно хотели взобраться на небо. Наконец мы остановились у двери под самой крышей, и художник начал с большой поспешностью выворачивать карманы. Но он сегодня утром позабыл запереть комнату, а ключ оставил в двери. По дороге он рассказал мне, что отправился за город еще до рассвета полюбоваться окрестностью на восходе солнца. Теперь он только покачал головой и ногой распахнул дверь.

Мы вошли в длинную-предлинную горницу, такую длинную, что в ней можно бы танцевать, если бы на полу не было навалено столько всякой всячины. Там лежали башмаки, бумага, платье, опрокинутые банки из-под красок, все вперемешку; посреди горницы высились большие подставки, такие, как употребляют у нас, когда надо снимать груши с деревьев; у стен повсюду стояли прислоненные большие картины. На длинном деревянном столе я увидел блюдо, на котором, рядом с мазком краски, лежали хлеб и масло. Тут же припасена была бутылка вина.

«А теперь первым делом ешьте и пейте, земляк!» — обратился ко мне художник. Я тотчас же хотел намазать себе два-три бутерброда, но поблизости не оказалось ножа; мы долго шарили на столе среди бумаг и наконец нашли ножик под большим свертком. Затем художник распахнул окно, и свежий утренний воздух радостно ворвался в комнату. Из окна открывался роскошный вид на весь город и на горы, где утреннее солнце весело освещало белые домики и виноградники. «Да здравствует наша прохладная, зеленая Германия там, за горами!» — воскликнул художник и отпил прямо из бутылки, передав ее потом мне. Я вежливо промолвил «За ваше здоровье», а в душе вновь и вновь посылая привет моей прекрасной далекой родине.

Тем временем художник придвинул деревянную подставку, на которой был натянут огромный лист бумаги, поближе к окну. На бумаге, одними черными крупными штрихами, весьма искусно была нарисована старая лачуга. В лачуге сидела Пресвятая Дева; лицо ее, красоты необычайной, было и радостным и вместе с тем печальным. У ног ее лежал, в яслях на соломе, младенец; он приветливо улыбался, но глаза были широко раскрыты и смотрели задумчиво. У распахнутых дверей стояли на коленях два пастушка, с посохом и сумой. «Видишь ли, — сказал художник, — вот тому пастушку мне хочется приставить твою голову, и тогда на лицо твое погля-

дят люди и, даст Бог, будут глядеть на него много лет спустя, когда нас с тобой давным-давно не будет на свете, и оба мы склонимся так же блаженно и радостно перед Богоматерью и ее сыном, как эти счастливые мальчишки здесь, на картине!» — С этими словами он взял старый стул, но, когда он его поднимал, часть спинки отвалилась и осталась у художника в руках. Он тотчас снова собрал его, поставил против себя, я сел и повернулся немного боком к художнику. Так я просидел, не двигаясь, несколько времени, но, не знаю отчего, я не мог долее выдержать — то тут, то там у меня начало чесаться. На грех, как раз против меня, висел осколок зеркала, и я беспрестанно смотрелся в него и от скуки, пока художник рисовал, строил рожи. Тот, заметив это, расхохотался и сделал знак рукой, чтобы я встал. К тому же рисунок был готов, и лицо пастушка было так хорошо, что я сам себе весьма понравился.

Художник продолжал усердно работать, напевая песенку и глядя порою на роскошный вид из раскрытого окна, в которое тянуло утренней прохладой. Я же тем временем отрезал себе еще кусок хлеба и, намазав его маслом, стал прохаживаться по комнате, рассматривая картины, прислоненные к стене. Из них особенно мне понравились две. «Это тоже вы написали?» — спросил я художника. «Как бы не так! — ответил он. — Они принадлежат кисти знаменитых мастеров Леонардо да Винчи и Гвидо Рени — но ведь ты об них все равно ничего не знаешь!» Мне стало досадно на такие слова. «О, — возразил я как нельзя спокойнее, — этих двух художников я знаю как свои пять пальцев». Он изумленно посмотрел на меня. «Как так?» — поспешно спросил он. «Ну да, — промолвил я, — ведь с ними же я путешествовал день и ночь напролет, и верхом, и пешком, и в карете, так что только ветер свистел в уши, а потом я их обоих потерял из виду в одной гостинице и поехал дальше в их карете на курьерских, и эта чертова карета летела во весь опор на двух колесах по отчаянным камням и...» — «Охо! охо! — прервал мой рассказ художник и уставился на меня так, как будто я сошел с ума. Вслед за тем он разразился громким смехом. — Ах, — воскликнул он, — теперь я понимаю, ты странствовал с двумя художниками, которых звали Гвидо и Леонардо?» Я подтвердил это, тогда он вскочил и снова оглядел меня с головы до пят еще пристальнее. «Уж не играешь ли ты на скрипке? — спросил он. Я хлопнул по камзолу, и послышался отзвук струн. — Ну, да, — про-

молвил художник,— тут была одна немецкая графиня, так она справлялась во всех закоулках Рима о двух художниках и молодом скрипаче». — «Молодая немецкая графиня? — в восторге вскрикнул я. — А швейцар тоже с ней?» — «Ну, этого я уже не могу знать, — отвечал художник, — я видел ее всего несколько раз у одной ее знакомой дамы, которая, впрочем, живет за городом. Узнаешь?» — сказал он, приподнимая внезапно уголок полотна, скрывавшего большую картину. При этом мне показалось, будто в темной комнате открыли ставни и лучи солнца ослепили меня, то была сама прекрасная госпожа! Она стояла в саду, одетая в черное бархатное платье; одной рукой она приподнимала вуаль и смотрела тихим и приветливым взором на живописную местность, далеко расстилающуюся перед ней. Чем больше я всматривался, тем яснее узнавал сад перед замком; ветер колыхал цветы и ветви, а там внизу мне мерещилась моя сторожка, и дальше в зелени большая дорога, Дунай и далекие синие горы.

«Она, она!» — воскликнул я наконец, схватил шляпу и, выбежав за дверь, сломя голову помчался по лестнице и только слышал, как изумленный художник кричал мне вдогонку, чтобы я приходил под вечер, к тому времени, быть может, удастся еще кое-что разузнать.

Глава ВОСЬМАЯ

Я пустился бежать через весь город, чтобы поскорее явиться перед прекрасной дамой в беседке, где она вчера вечером пела. Улицы стали оживленнее, кавалеры и дамы в пестрых нарядах прогуливались по солнечной стороне, раскланивались и кивали друг другу, по улицам катились великолепные кареты, а со всех колоколен гудел праздничный звон, радостно и чудесно разносясь над толпой в ясном воздухе. Я словно охмелел от счастья, а также от городской суетни; я бежал куда глаза глядят, совсем не помня себя, и под конец уже не знал, где нахожусь. Все было точно заколдовано, и мне казалось, будто тихая площадь с фонтаном, и сад, и дом были только сновидением и что при дневном свете они исчезли с лица земли.

Спросить я никого не мог, ибо не знал, как называется площадь. Кроме того, становилось очень жарко, солнечные лучи отвесно падали на мостовую, как палящие стрелы, люди попрятались по домам, повсюду опу-

стились деревянные ставни, и улицы сразу точно вымерли. Тогда я в полном отчаянии лег на крыльце большого богатого дома с балконом и колоннами, отбрасывающими широкую тень; я глядел то на вымерший безлюдный город, который теперь в знойный полуденный час показался мне довольно страшным, то на темно-лазурное небо без единого облачка и наконец от усталости даже задремал. И приснилось мне, будто я в своем родном селе лежу на укромной зеленой лужайке, идет теплый летний дождь, сверкая на солнце, которое вот-вот скроется за горами, капли падают на траву, и то уже не капли, а чудные пестрые цветы, и я весь осыпан ими.

Но каково было мое удивление, когда, проснувшись, я увидел, что в самом деле вокруг меня и на моей груди лежит множество прекрасных, свежих цветов. Я вскочил, но не заметил ничего особенного; только в доме наверху, прямо надо мной было распахнуто окно, а на окне стояли благоухающие растения и цветы, а за ними не переставая болтал и кричал попугай. Я собрал разбросанные цветы, связал их и засунул букет в петлицу. Потом я завел небольшую беседу с попугаем: мне нравилось, как он прыгает взад и вперед по своей золоченой клетке, проделывая всевозможные штуки и неуклюже приседая и топчась на одной лапе. Но не успел я опомниться, как он обозвал меня «*fig-fante*»¹. Хотя то и была неразумная птица, все же мне стало очень обидно. Я его обругал в свою очередь, оба мы разгорячились, чем больше я бранился по-немецки, тем шибче он лопотал по-итальянски, злясь на меня.

Вдруг я услышал, как позади меня кто-то хохочет. Я живо обернулся. То был мой сегодняшний художник. «Что ты опять дурака строишь? — проговорил он. — Я жду тебя добрых полчаса. Сейчас стало прохладнее, мы отправимся за город, в сад, там ты найдешь еще земляков и, быть может, узнаешь поболее о немецкой графине!»

Я несказанно обрадовался, и мы тотчас пустились в путь, а попугай еще долго продолжал выкрикивать мне вслед бранные слова.

Выйдя за город, мы сначала долгое время подымались по узким каменистым тропинкам между виллами и виноградниками, пока не пришли наконец в большой сад, расположенный на холме; там, под зеленой сенью, за круглым столом, сидело несколько молодых людей

¹ Мошешник (ит.).

и девиц. Как только мы вошли, нам подали знак, чтобы мы не шумели, указав при этом на другой угол сада, где в просторной, густо заросшей беседке, за столом, друг против друга сидели две прекрасные дамы. Одна из них пела, а другая сопровождала ее пение игрой на гитаре. Между ними у стола стоял человек с приветливым лицом; он иногда отбивал такт маленькой палочкой. Заходящее солнце поблескивало сквозь виноградные листья, бросая отсвет то на вина и фрукты, которыми был уставлен стол, то на полные, ослепительно-белые плечи дамы, игравшей на гитаре. Другая, словно иступленная, пела по-итальянски весьма искусно, и при этом жила у нее на шее так и вздувались.

Воздев очи к небу, она выдерживала длительную каденцию, а господин рядом с ней ожидал, подняв палочку, когда она начнет следующий куплет; все затанли дыхание; в это время садовая калитка широко распахнулась, и в сад вбежали, ссорясь и бранясь, разгоряченная девушка, а за ней бледный молодой человек с тонкими чертами лица. Испуганный маэстро застыл с поднятой палочкой, словно волшебник, сам превращенный в камень, а певица сразу оборвала длинную трель и гневно поднялась. Прочие яростно зашипели на вбежавших. «Варвар! — закричал один из сидевших за круглым столом. — Ты своим появлением только расстроил глубоко содержательную живую картину, которую покойный Гофман описал на странице триста сорок седьмой «Женского альманаха за тысяча восемьсот шестнадцатый год» на основании чудеснейшего полотна Гуммеля, выставленного на берлинской художественной выставке осенью тысяча восемьсот четырнадцатого года!» Но ничто не помогло. «Ну вас совсем, с вашими картинами картин! — проговорил юноша. — По мне, так: мое творение — для других, а моя девушка — для меня одного! На том стою. Ах ты, неверная, ах ты, изменница! — продолжал он, обрушиваясь на бедную девушку. — Ах ты, рассудочная душа, которая ищет в искусстве лишь блеск серебра, а в поэзии — одну золотую нить, для тебя нет ничего дорогого, а есть только одни драгоценности. Желаю тебе отныне вместо честного дураля-художника старого герцога; пусть у него на носу помещается целая алмазная россыпь, голая лысина отликает серебром, а последний пучок волос на макушке — самым что ни на есть золотом, как обрез у роскошного издания. Однако отдашь ли ты наконец эту треклятую записку, которую ты от меня спрятала? Че-

го ты там опять наплела? От кого эта писулька и кому она предназначена?»

Но девушка упорно сопротивлялась, и чем теснее гости обступали разгневанного юношу, шумно успокаивая и утешая его, тем больше он бесновался; надо сказать, что и девушка не умела держать язычок за зубами; под конец она, плача, вырвалась из круга и бросилась ко мне на грудь, словно прося у меня защиты. Я не замедлил стать в должную позу, но, так как все остальные в общей суматохе не обращали на нас внимания, девушка вдруг подняла головку и уже совсем спокойно скороговоркой прошептала мне на ухо: «Ах ты, противный смотритель! Через тебя я должна страдать. На, спрячь-ка поскорее злополучную записку, там сказано, где мы живем. Значит, в условленный час ты будешь у ворот? Помни, когда пойдешь по безлюдной улице, держись все время правой стороны».

От удивления я не мог вымолвить ни слова; я пристально посмотрел на девушку и сразу признал ее: это была бойкая горничная из замка, та, что мне в тот чудесный праздничный вечер принесла бутылку вина. Никогда еще не казалась она мне столь милостивой: лицо ее разгорелось, она прижалась ко мне, и черные кудри ее рассыпались по моим рукам. «Однако, многоуважаемая барышня,— промолвил я изумленно,— как вы сюда...» — «Ради бога, молчите, молчите хоть сейчас!» — ответила она, и не успел я опомниться, как она отпрыгнула от меня на другой край сада.

Тем временем остальные почти позабыли о первоначальном разговоре; они довольно весело продолжали перебраниваться, доказывая молодому человеку, что он, в сущности, пьян и что это совсем не годится для уважающего себя художника. Округлый проворный человек, тот, что дирижировал в беседке, оказавшийся, как я позже узнал, большим знатоком и покровителем искусств и любви к наукам, принимавший участие решительно во всем,— этот человек тоже забросил свою палочку и усердно расхаживал посреди спорящих; его жирное лицо лоснилось от удовольствия, ему хотелось все уладить и всех успокоить, а кроме того, он то и дело сожалел о длинной каденции и прекрасной живой картине, которую он с таким трудом наладил.

А у меня на душе звезды сияли, как тогда, в тот блаженный субботний вечер, когда я просидел до поздней ночи у открытого окошка за бутылкой вина, играя на скрипке. Суматоха все не кончалась, и я решил до-

стать свою скрипку и, не долго думая, принялся играть итальянский танец, который танцуют в горах и которому я научился, живя в старом пустынном замке.

Все прислушались «Браво, брависсимо, вот удачная мысль!» — воскликнул веселый ценитель искусств и стал подбегать то к одному, то к другому, желая, как он выразился, устроить сельское развлечение. Сам он положил начало, предложив руку даме, той, что играла в беседке на гитаре. Вслед за этим он начал необычайно искусно танцевать, выделявая на траве всевозможные фигуры, отменно семеня ногами, словно отбивая трель, а порой даже совсем недурно подпрыгивал. Однако скоро ему это надоело, он был малость тучен. Прыжки его становились все короче и нескладнее, наконец он вышел из круга, сильно закашлялся и принялся вытирать пот белоснежным платком. Тем временем молодой человек, кстати сказать, совсем остепенившийся, принес из соседней гостиницы кастаньеты, и не успел я оглянуться, как все заплясали под деревьями. Еще атели отблески заходящего солнца между тенями ветвей, на дряхлеющих стенах и на замшелых, обвитых плющом колоннах; по другую сторону, за склонами виноградников раскинулся Рим, утопавший в вечернем сиянии. Любо было смотреть, как они пляшут тихим, ясным вечером в густой зелени; сердце у меня ликовало при виде того, как стройные девушки, среди них горничная, кружатся на лужайке, подняв руки, словно языческие нимфы, всякий раз весело пощелкивая кастаньетами. Я не утерпел, кинулся к ним и, продолжая играть на скрипке, принялся отплясывать в лад со всеми.

Так я вертелся и прыгал довольно долго и совсем не заметил, что остальные, утомившись, мало-помалу исчезли с лужайки. Тут кто-то сильно дернул меня за фалды. Передо мной стояла горничная девушка. «Не валяй дурака! — прошептала она. — Что ты скачешь, словно козел! Прочитай-ка хорошенько записку да приходи вскоре — молодая прекрасная графиня ждет тебя». Сказав это, она украдкой проскользнула в садовую калитку и затем скрылась за виноградниками в дымке наступившего вечера.

Сердце у меня билось, я готов был тотчас же броситься за девушкой. К счастью, слуга зажег большой фонарь у калитки, так как стало совсем темно. Я подошел к свету и достал записку. В ней довольно неразборчиво описывались ворота и улица, о которых мне сообщила горничная. В конце я прочел слова: «В одиннадцать у маленькой калитки».

Оставалось ждать еще два-три долгих часа! Невзирая на это, я решил немедленно отправиться в путь, ибо дольше не знал покоя; но тут на меня напустился художник, приведший меня сюда. «Ты говорил с девушкой? — спросил он. — Я ее нигде не вижу; это камеристка немецкой графини». — «Тише, тише! — умолял я. — Графиня еще в Риме». — «Тем лучше, — возразил художник, — пойдем к нам и выпьем за ее здоровье!» И он потащил меня, несмотря на мое сопротивление, обратно в сад.

Кругом все опустело. Развеселившиеся гости разошлись по домам: каждый, взяв под руку свою милую, направился обратно в город; голоса их и смех еще долго раздавались в вечерней тишине среди виноградников и постепенно замерли в долине, теряясь в шуме деревьев и реки. Я остался один со своим художником и с господином Экбрехтом — так звали другого молодого художника, того, который давеча так бранился. Между высоких черных деревьев светил месяц, на столе, колеблемая ветром, горела свеча, бросая зыбкий отсвет на пролитое вино. Я присел, и художник стал спрашивать меня о том о сем, откуда я родом, о моем путешествии и намерениях. Господин Экбрехт посадил к себе на колени хорошенькую служанку, которая подавала вино, дал ей гитару и стал учить ее наигрывать какую-то песенку. Она довольно скоро освоилась и стала перебирать струны маленькими руками, и они вдвоем затянули итальянскую песню поочередно, один куплет — он, другой — девушка; все это было как нельзя более согласо с дивным, тихим вечером. Вскоре девушку кликнули, и господин Экбрехт, откинувшись на спинку скамьи и положив ноги на стул, стоявший перед ним, начал под аккомпанемент гитары петь уже для себя: он спел много прекрасных песен, итальянских и немецких, не обращая на нас уже ни малейшего внимания. В ясном небе сверкали звезды, вся окрестность казалась посеребренной от лунного света, я думал о своей прекрасной даме, далекой родине и совсем позабыл о художнике, сидевшем тут же подле. Господину Экбрехту приходилось то и дело настраивать гитару, это его очень сердило. Он вертел инструмент и так его дернул, что одна струна лопнула. Тогда он отшвырнул гитару и вскочил. Тут только он увидел, что мой художник крепко заснул, облокотясь на стол. Господин Экбрехт поспешно накинул на себя белый плащ, висевший на суку, недалеко от стола, затем как бы спохватился, зор-

ко поглядел сперва на художника, а потом на меня и, не долго думая, сел против меня за стол, откашлялся, поправил галстук и начал следующую речь: «Любезный слушатель и земляк! В бутылках почти ничего не осталось, а мораль, бесспорно, первейшая обязанность гражданина, когда добродетели идут на убыль, и потому чувства сородича побуждают меня дать тебе небольшой урок морали. Глядя на тебя,— продолжал он,— можно подумать, что ты всего лишь юнец; меж тем фрак твой порядком поизносился, верно, ты выделял преудивительные прыжки, не хуже сатира; иные могут сказать, что ты и вовсе бродяга, потому что скитаешься по чужой стране и играешь на скрипке; но я не обращаю внимания на такие скороспелые суждения и, судя по твоему прямому, тонкому носу, считаю тебя гением не у дел». Его заносчивые речи сильно меня раздосадовали, и я уже готовился дать ему должный отпор. Но он перебил меня: «Вот видишь, ты уже надулся и от такой малой лести. Образумься и поразмысли хорошенько о столь опасной профессии. Нам, гениям,— ибо я тоже гений,— наплевать на весь свет, равно как и ему на нас, мы, не стесняясь ничем, шагаем прямо в вечность в наших семимильных сапогах, в которых мы скоро будем прямо рождаться на свет. Надо признаться, в высшей степени жалкое, неудобное, растопыренное положение — одной ногой в будущем, где ничего нет, кроме утренней зари да младенческих лиц грядущих поколений, а другой ногой в самом сердце Рима на Пьяцца дель Пополо, где твои современники, пользуясь случаем, желают следовать за тобой и так виснут у тебя на сапоге, что готовы вывихнуть тебе ногу. Подумай только: и возня, и пьянство, и голодовка — все это лишь ради бессмертной вечности. Погляди-ка на моего почтенного коллегу, вон там на скамье, он ведь тоже гений; ему и свой век скучен, что же он станет делать в вечности? Да-с, досточтимый господин коллега, ты, да я, да солнце, все мы сегодня утром вместе встали и весь день прокорпели да прорисовали, и было как нельзя лучше,— ну а теперь сонная ночь как проведет меховым рукавом по вселенной, так и сотрет все краски!» Он говорил без умолку; волосы его от пляски и питья были совершенно спутаны, и при лунном свете он казался бледным, как мертвец.

Мне уже давно стало не по себе от его дикой болтовни; я воспользовался случаем, когда он торжественно обратился к спящему художнику, и, незаметно обой-

дя стол, ускользнул вон из сада; очутившись один, я с легким сердцем спустился по тропе вдоль вьющихся роз прямо в долину, озаренную луною.

В городе на башнях пробило десять. В тишине ночи издалека порой доносились звуки гитары да голоса обоних художников, также возвращавшихся домой. А потому я бежал как можно быстрее, боясь, что они меня настигнут и опять начнут выспрашивать.

Дойдя до ворот, я тотчас же свернул направо и поспешно зашагал по улице вдоль тихих домов, окруженных садами. Сердце у меня сильно билось. Однако как-то было мое изумление, когда я внезапно очутился на площади с фонтаном, которую я сегодня днем никак не мог отыскать. Вот опять стоит под луной та же одинокая беседка, а там, в саду, прекрасная дама поет ту же итальянскую песню, что и вчера вечером. Не помня себя от восторга, кинулся я сперва к маленькой калитке, затем к входной двери и наконец толкнул из всех сил большие садовые ворота; но все было наглухо заперто. «Еще не пробило одиннадцати», — подумал я, и мне стало досадно, что время идет так медленно. Но перелезть через садовую ограду, как вчера, не было охоты: для этого я был слишком хорошо воспитан. Некоторое время я ходил взад и вперед по безлюдной площади и наконец присел, в раздумье и ожидании, у каменного фонтана.

На небо сверкали звезды, на площади было пусто и безмолвно, и я с удовольствием внимал пению прекрасной госпожи, которое долетало из сада, сливаясь с журчанием фонтана. И вдруг я увидел белую фигуру, направляющуюся с другой стороны площади прямо к садовой калитке, всмотрелся и при свете луны узнал дикого художника в белом плаще. Он поспешно вытащил ключ, отомкнул калитку, и не успел я опомниться, как он уже был в саду. У меня с вечера еще был зуб на художника за его безрассудные речи. Но теперь я уже не помнил себя от гнева. «Беспутный гений, верно, опять пьян, — подумал я. — он получил ключ от горничной девушки и теперь намеревается обманом подкрасться и напасть на госпожу». Я бросился в сад через калитку, которая осталась открытой.

Когда я вошел, кругом все было тихо и безмолвно. Двустворчатая дверь беседки была распахнута настежь, изнутри струился молочно-белый свет, ложившийся полосой на траву и на цветы. Я издали заглянул в беседку. В роскошной зеленой комнате, слабо освещенной бе-

лой лампы, на шелковой кушетке полулежала прекрасная госпожа с гитарой в руках; ее невинное сердце и не чуяло, какая опасность ее подстерегает.

Мне недолго пришлось любоваться, ибо вскоре я заметил, как белая фигура, крадучись за кустами, приближалась уже с другой стороны к беседке. Оттуда слышалось пение госпожи, притом такое жалобное, что у меня мороз по коже пробежал. Не долго думая, сломал я здоровый сук и бросился прямо на белый плащ, крича во все горло: «Караул!», так что весь сад затрепетал.

От этой неожиданной встречи художник пустился бежать что есть духу, с отчаянным криком. Я ему не уступал по части крика, он помчался по направлению к беседке, я за ним — и вот-вот поймал бы его, но тут я роковым образом зацепился за высокий цветущий куст и растянулся во всю длину у самого порога.

«Так это ты, болван! — послышалось надо мной. — И напугал же ты меня!» Я живо поднялся и, протирая глаза от пыли и песку, увидел перед собой горничную девушку, у которой только что, видимо, от последнего прыжка, соскользнул с плеча белый плащ. Тут я уж совсем опешил. «Позвольте, — сказал я, — разве здесь не было художника?» — «Разумеется, — задорно ответила она, — по крайней мере, его плащ, который он на меня накинул, когда мы с ним давеча повстречались у ворот, а то я совсем замерзла». В это время в дверях показалась прекрасная госпожа, она вскочила со своей софы и подошла, заслышав наш разговор. Сердце у меня готово было разорваться. Но как описать мой испуг, когда я пристально всмотрелся и вместо моей прекрасной дамы увидел совсем чужую особу!

Передо мной стояла довольно высокая, полная дама пышного сложения: у нее был гордый орлиный нос, черные брови дугой, и вся она была страсть как хороша. Большие сверкающие глаза ее смотрели так величественно, что я не знал, куда деваться от почтения. Я совсем смешался, все время отпускал комплименты и под конец хотел поцеловать ей руку. Но она отдернула руку и что-то сказала камеристке по-итальянски, чего я не понял.

Тем временем от нашего крика проснулось всё по соседству. Всюду лаяли собаки, кричали дети, раздавались мужские голоса, которые все приближались. Дама еще раз взглянула на меня, как бы стрельнув двумя огненными пулями, затем повернулась ко мне спиной и направилась в комнату; при этом она надменно и при-

нужденно засмеялась, хлопнув дверью перед самым моим носом. Горничная же без дальних слов ухватила меня за фалды и потащила к калитке.

«Опять ты наделал глупостей»,— злобно говорила она по дороге. Тут и я не стерпел. «Черт побери! — выругался я,— ведь вы сами велели мне сюда явиться!» — «В том-то и дело,— воскликнула девушка.— Моя графиня так расположена к тебе, она тебя закидала цветами из окна, пела тебе арии— и вот что она получает за это! Но тебя, видно, не исправишь; ты сам попираешь ногами свое счастье». — «Но ведь я полагал, что это графиня из Германии, прекрасная госпожа!» — возразил я. «Ах,— прервала она меня,— та уже давным-давно вернулась обратно в Германию, а с ней и твоя безумная страсть. Беги за ней, беги! Она и без того по тебе томится, вот вы и будете вместе играть на скрипке да любоваться на луну, только смотри не попадайся мне больше на глаза!»

В это время позади нас послышался отчаянный шум и крик. Из соседнего сада показались люди с дубинами; одни быстро перелезали через забор, другие, ругаясь, уже рыскали по аллеям, в тихом лунном свете из-за изгороди выглядывали то тут, то там сердитые рожи в ночных колпаках. Казалось, это сам дьявол выпускает свою бесовскую ораву из чащи ветвей и кустарников. Горничная не растерялась. «Вон, вон бежит вор!» — закричала она, указывая в противоположную сторону сада. Затем она проворно вытолкнула меня за калитку и заперла ее за мной.

И вот я снова стоял, как вчера, под открытым небом на тихой площади, один как перст. Водомет, так весело сверкавший в лунном сиянии, как будто ангелы всходят и спускаются по его ступеням, шумел и сейчас; у меня же вся радость словно в воду канула. Я твердо решил навсегда покинуть вероломную Италию, ее безумных художников, померанцы и камеристок и в тот же час двинулся к городским воротам.

Глава ДЕВЯТАЯ

Стоят на страже выси гор,
Шепча: «Кто это в ранний час
Идет с чужбины мимо нас?»
Но вот завидел их мой взор,
И вновь привольно дышит грудь,
И, радостно кончая путь,
Кричу пароль и лозунг я:
Виват, Австрия!

И тут узнал меня весь край —
Ручьи, узоры нежных трав
И птичий хор в тени дубрав.
Среди долин блеснул Дунай,
Собор Стефана за холмом
Мелькает, словно отчий дом.
Места родные вижу я —
Виват, Австрия!

Я стоял на вершине горы, откуда впервые после границы открывается вид на Австрию, радостно размахивал шляпой в воздухе и пел последние слова песни; в этот миг позади меня, в лесу, вдруг заиграла чудесная духовая музыка. Быстро оборачиваюсь и вижу трех молодых в длинных синих плащах; один играет на гобое, другой — на кларнете, а третий, в старой треуголке, трубит на валторне; они так звучно аккомпанировали мне, что эхо прокатилось по всему лесу. Я немедля достаю скрипку, вступаю с ними в лад и снова начинаю распевать. Музыканты переглянулись, как бы смутившись, валторнист втянул щеки и опустил валторну, остальные тоже смолкли и стали меня рассматривать. Я перестал играть и с удивлением поглядел на них. Тогда валторнист заговорил: «А мы, сударь, глядя на ваш длинный фрак, подумали, что вы путешествующий англичанин и любуетесь красотами природы, совершая прогулку пешком; вот мы и хотели малость подработать и поправить свои финансовые дела. Но вы, как видно, сами из музыкантов будете». — «Я, собственно, зритель при шлагбауме, — возразил я, — и держу путь прямо из Рима, но так как я довольно давно ничего не взимал, а одним смотрением сыт не будешь, то и промышляю пока что скрипкой». — «Нехлебное занятие по нынешним временам!» — сказал валторнист и снова отошел к лесной опушке; там он принялся раздувать своей треуголкой небольшой костер, который был у них разведен. «С духовыми инструментами куда выгоднее, — продолжал он, — бывало, господа спокойно сидят за обедом; мы невзначай появляемся под сводами сеней, и все трое принимаемся трубить изо всех сил — тотчас выбегает слуга и несет нам денег или какую еду — только бы поскорее избавиться от шума. Однако не желаете ли вы, сударь, закусить с нами?»

Костер в лесу весело потрескивал, веяло утренней прохладой, все мы уселись в кружок на траве, и двое музыкантов сняли с огня горшочек, в котором варилось кофе с молоком, достали из карманов хлеб и стали по очереди пить из горшка, обмакивая в него свои ломти-

ки; любо было глядеть, с каким аппетитом они ели. Валторнист молвил: «Я не выношу черного пойла,— подал мне половину толстого бутерброда и вынул бутылку вина.— Не хотите ли отведать, сударь?» Я сделал порядочный глоток, но тотчас отдал бутылку: мне перекосило все лицо, до того было кисло. «Местного происхождения,— пояснил музыкант,— верно, сударь испортил себе в Италии отечественный вкус».

Он что-то поискал в своей котомке и достал оттуда, среди прочего хлама, старую, разодранную географическую карту, на которой еще был изображен император в полном облачении, со скипетром и державой. Он бережно разложил карту на земле, остальные подсади к нему, и все трое стали совещаться, какой дорогой им лучше идти.

«Вакации подходят к концу,— сказал один,— дойдя до Линца, мы должны сейчас же свернуть влево, тогда мы вовремя будем в Праге». — «Как бы не так! — вскричал валторнист.— Кому ты очки втираешь? Сплошные леса да одни угольщики, никакого художественного вкуса, даже нет приличного дарового ночлега!» — «Вздор! — ответил другой.— По-моему, крестьяне-то лучше всех, они хорошо знают, у кого что болит, а кроме того, они не всегда заметят, если и сфальшивишь». — «Видать сразу, у тебя нет ни малейшего самолюбия», — ответил валторнист.— *Odi profanum vulgus et arceo*¹, — сказал один римлянин». — «Но церкви-то, полагаю я, по пути встретятся,— заметил третий,— мы тогда завернем к господам священникам». — «Слуга покорный! — сказал валторнист.— Те дают малую толику денег, но зато читают пространные наставления, чтобы мы не рыскали без толку по свету, а лучше приналегали на науки; особенно, когда отцы духовные учуют во мне будущего собрата. Нет, нет, *clericus clericum non decimat*². Но я вообще не вижу большой беды! Господа профессора сидят себе еще спокойно в Карлсбаде и не начинают курс день в день». — «*No distinguendum est inter et inter*³, — возразил второй,— *quod licet Jovi, non licet bovi!*»⁴

Теперь я понял, что это пражские студенты, и сразу проникся к ним большим почтением, особенно за то,

¹ Ненавижу невежественную чернь и сторонюсь ее (лат.).

² Следует проводить различие (лат.).

³ Клирик клирику десятины не платит (лат.).

⁴ Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (лат.).

что латынь так и лилась у них из уст. «Сударь тоже изучает науки?» — спросил меня вслед за тем валторнист. Я скромно ответил, что всегда пылал любовью к наукам, но не имел денег на учение. «Это ровно ничего не значит, — воскликнул валторнист, — у нас тоже нет ни денег, ни богатых друзей. Умная голова всегда найдет выход. *Augoга musis amica*¹, а иначе говоря: сытое брюхо к учению глухо. А когда со всех городских колоколен льется звон с горы на гору, когда студенты гурьбой с громким криком высыпают из старой, мрачной Коллегии и разбредаются по солнечным улицам — тогда мы идем к капуцинам, к отцу эконому: у него нас ждет накрытый стол, а если он даже не накрыт скатертью, все же на нем стоит полная миска; ну, а мы не очень-то прихотливы и принимаемся за еду, а попутно совершенствуемся в латинской речи. Видите, сударь, так мы и учимся изо дня в день. Когда же наступает пора вакансий и другие студенты уезжают в колясках или верхом к своим родителям, — мы берем свои инструменты под мышку и шагаем по улицам к городским воротам — и вот перед нами открыт весь широкий мир».

Пока он говорил, мне стало, сам не знаю почему, как-то горько и больно, что о таких ученых людях никто на свете не позаботится. При этом я подумал о себе самом — что со мной ведь тоже дело обстоит не лучше, и слезы готовы были выступить у меня из глаз. Валторнист взглянул на меня с большим удивлением. «Это ровно ничего не значит, — продолжал он, — мне даже и не хочется так путешествовать: лошади и кофе, свежеспеланные постели и ночные колпаки — всё предусмотрено, вплоть до колодки для сапог. Самая прелесть в том и состоит, чтобы выйти в дорогу ранним утром и чтобы высоко над тобой летели перелетные птицы; чтобы не знать вовсе, в каком окошке для тебя нынче засветит свет, и не предвидеть, какое счастье выпадет тебе на долю сегодня». — «Да, — отозвался другой, — куда бы мы ни пришли с нашими инструментами, повсюду нас встречают радостно; придешь, бывало, в полдень на барскую усадьбу, войдешь в сени и станешь трубить — служанки пустанутся в пляс друг с дружкой тут же на крыльце; а господа велят приотворить дверь в залу — послушать музыку, стук тарелок и запах жаркого сливается с веселыми звуками; ну, а барышни за столом так и вертят головой, чтобы увидеть странствующих музыкантов».

¹ Утренняя заря — подруга муз (лат.).

«Правда,— воскликнул валторнист, и глаза у него за- сверкали,— пусть другие на здоровье зубрят свои ком- пендии, а мы тем временем изучаем большую книгу с картинками, которую нам на просторе раскрывает Гос- подь Бог! Верьте нам, сударь, из нас-то и выйдут те на- стоящие люди, которые смогут чему-нибудь да научить крестьян, а при случае в назидание так треснут кулаком по кафедре, что у мужика от умиления и сокрушения душа в пятки уйдет».

Внимая их рассказам, я и сам повеселел, и мне то- же захотелось заняться науками. Я все слушал и слу- шал — люблю беседовать с людьми образованными, у которых можно чему-нибудь поучиться. Но до серьез- ной беседы дело не доходило. Одному из студентов вдруг стало страшно, что вакации так скоро кончатся. Он живо собрал свой кларнет, положил ноты на согну- тое колено и стал разучивать труднейший пассаж из мессы, в которой намерен был участвовать по возвраще- нии в Прагу. Он сидел, перебирая пальцами, и насви- стывал, да порой так фальшиво, что уши раздирало и нельзя было разобрать собственных слов.

Вдруг раздался бас валторниста: «Вот оно, нашел,— при этом он радостно ткнул пальцем в карту, разло- женную возле него. Другой на минуту перестал играть и с удивлением посмотрел на него.— Послушай-ка,— начал валторнист,— неподалеку от Вены есть замок, а в замке том есть швейцар, и швейцар этот мой кум! Дражайшие коллеги, туда мы и должны держать путь, засвидетельствовать почтение господину куму, а он уже позаботится, как нас спровадить дальше!» Услыхав это, я вострепнулся. «А не играет ли он на фаготе? — вос- кликнул я.— И каков он собой — длинный, прямой и с большим носом, как у знатных господ?» Валторнист кивнул головой. От радости я бросился обнимать его и сбросил с него треуголку. Мы тотчас порешили сесть на почтовый корабль и поехать вниз по Дунаю в замок прекрасной графини.

Когда мы достигли берега, все уже было готово к отплытию. Хозяин гостиницы, где пристало на ночь наше судно, добродушный толстяк, стоял в дверях свое- го дома, занимая весь проход; на прощание он шутил и балагурил; из окон высовывались девичьи головы и приветливо кивали корабельщикам, переносившим по- клажу на судно. Пожилой господин в сером плаще и черном галстуке, ехавший вместе с нами, стоял на бе- регу и о чем-то оживленно толковал с молодым строй-

ным пареньком, который был одет в длинные кожаные панталоны и узкую алую куртку и сидел верхом на великолепной английской лошади. К моему немалому удивлению, мне казалось, что они изредка на меня поглядывают и говорят обо мне. Под конец старый господин засмеялся, а стройный паренек щелкнул хлыстом и поскакал, с жаворонками наперегонки, прямо по равнине, залитой утренним солнцем.

Тем временем мы со студентами сложили все наши капиталы. Корабельщик засмеялся и только головой покачал, когда валторнист уплатил ему за провоз одними медяками, которые нам и так-то еле удалось собрать — мы обшарили все свои карманы. Я же вскрикнул от радости, увидав снова Дунай; мы проворно вскочили на судно, корабельщик подал знак, и мы понеслись по реке мимо гор и лугов, красовавшихся в блеске утра.

В лесу щебетали птицы, из далеких селений неся колокольный звон, высоко в небе пел свои песни жаворонок. А на судне ему вторила канарейка, ликуя и заливаясь на славу.

Канарейка принадлежала миловидной девушке, которая тоже ехала с нами. Клетка стояла возле нее, а под мышкой она держала небольшой узелочек с бельем; девушка сидела молча, бросая довольный взгляд то на новые сапожки, видневшиеся из-под ее юбки, то на реку; утреннее солнце играло на ее белом лбу; волосы ее были гладко причесаны и разделены на пробор. Я сразу заметил, что студенты охотно завели бы с ней приятный разговор; они все прохаживались вокруг нее, а валторнист при этом откашливался и поправлял то галстук, то треуголку. Но у них не хватало храбрости, да и девушка потупляла взор всякий раз, как они к ней приближались.

Особенно же они стеснялись пожилого господина в сером плаще, который сидел по ту сторону палубы и которого они приняли за духовное лицо. Он читал требник, поднимая по временам глаза и любуясь прекрасной местностью; золотой обрез книги и многочисленные пестрые закладки с изображением святых поблескивали на солнце. При этом он отлично видел все, что делалось на судне, и очень скоро узнал птиц по полету; прошло немного времени, и он заговорил с одним из студентов по-латыни, после чего все трое к нему подошли, сняли шляпы и точно так же ответили ему по-латыни.

Я же расположился на носу и весело болтал ногами над водой; судно несло, подо мной шумели и пенились волны, а я все смотрел в синюю даль; постепенно вырастая, перед нами показывались то башни, то замки в кудрявой зелени берегов и, уходя назад, наконец скрывались из виду. «Ах, если бы у меня хоть на один день были крылья!» — думал я; наконец от нетерпения я достал свою милую скрипку и принялся играть все свои старые вещи, те, что разучивал еще дома и в замке прекрасной госпожи.

Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Это был священник; он отложил в сторону книгу и некоторое время слушал, как я играю. «Ай, ай, ай — промолвил он и засмеялся.— Господин *Iudi magister*¹, ведь ты забываешь есть и пить». Он сказал мне, чтобы я убрал скрипку, и пригласил закусить; мы направились с ним к небольшой веселой беседке из молодой березки и ельника, которую корабельщики соорудили посредине судна. Он приказал накрыть на стол, и я, студенты и даже девушки, все мы расселись на бочках и на тюках.

Священник достал большой кусок жаркого и бутерброды, тщательно завернутые в бумагу; из короба он вынул несколько бутылок с вином и серебряный, изнутри позолоченный кубок; наполнив его, старик сперва пригубил сам, понюхал и снова пригубил, затем по очереди подал его каждому из нас. Студенты сидели на бочках, словно аршин проглотили, и почти ничего не ели и не пили, верно, от большого почтения. Девушка тоже больше для виду отпивала глоточек из кубка, робко поглядывая при этом то на меня, то на студентов; однако чем чаще наши взгляды встречались, тем смелее она становилась.

Под конец она рассказала священнику, что впервые едет из родительского дома по контракту и направляется в замок, к своим новым господам. Я весь покраснел, так как она назвала замок прекрасной госпожи. «Значит, она — будущая моя прислужница», — подумал я, глядя на нее во все глаза, так что у меня чуть не закружилась голова. «В замке скоро будут справлять веселую свадьбу», — молвил священник. «Да, — отвечала девушка, которой, верно, хотелось побольше разузнать обо всем.— Говорят, это давняя тайная любовь, но графиня ни за что не хотела дать свое согласие». Священник произнес только «гм, гм», наполнив до краев охотничий кубок, и задумчиво отпивал небольшими глотка-

¹ Маэстро (лат.).

ми. Я же обеими руками облокотился на стол, чтобы лучше слышать разговор. Священник это заметил. «Могу вам сказать точно,— начал он снова,— обе графини послали меня на разведку, узнать, не находится ли жених уже здесь, в окрестностях. Одна дама из Рима написала, что он уже давно как оттуда уехал». Как только он заговорил о даме из Рима, я снова густо покраснел. «А разве вы, ваше преподобие, знаете жениха?» — спросил я, страшно смутившись. «Нет,— ответил старик,— говорят, он живет, как птица небесная, не жнет и не сеет». — «О да,— поспешил я вставить,— птица, которая улетает из клетки всякий раз, как только может, и весело поет, когда попадает на свободу». — «И скитается по белу свету,— спокойно продолжал старик,— по ночам слонов гоняет, а днем засыпает где-нибудь у чужих дверей». Мне стало досадно на такие слова. «Высокоуважаемый господин,— воскликнул я сгоряча,— вам рассказали сущую неправду. Жених весьма нравственный, стройный молодой человек, подающий большие надежды; он жил в Италии в одном старом замке, на весьма широкую ногу, бывал в обществе одних графинь, знаменитых художников и камеристок, он превосходно вел бы счет деньгам, если бы они у него были, он...» — «Ну, ну, я ведь не знал, что вы с ним коротко знакомы», — прервал меня священник и при этом так искренне залился смехом, что на глазах у него выступили слезы, и он даже посинел. «Но я как будто слышала,— снова раздался голос девушки,— что жених важный и страх какой богатый барин». — «А боже мой, ну да! Путаница, все путаница, ничего более! — вскричал священник и продолжал смеяться до тех пор, пока не раскашлялся. Немного успокоившись, он поднял свой кубок и воскликнул: — За здоровье жениха и невесты!» — Я не знал, что подумать о священнике и всех его речах, но, ввиду римских походов, мне было немного стыдно признаться во всеуслышание, что я-то и есть тот самый пропавший счастливый жених.

Кубок снова пошел вкруговую, священник так ласково со всеми обрашался, что на него трудно было сердиться, и скоро опять полилась оживленная беседа. Студенты, и те становились все разговорчивее, принялись рассказывать о своих странствованиях по горам и наконец достали инструменты и весело заиграли. Сквозь листву беседки веяло речной прохладой, заходящее солнце уже золотило леса и долины, пролетавшие мимо нас; звуки валторны оглашали берега. Музыка со-

всем развеселила священника; он стал рассказывать различные забавные истории из своей юности: как он и сам отправлялся на вакации бродить по лесам и горам, частенько недоедал и недопивал, но всегда был радостен; вся студенческая жизнь, говорил он, в сущности, не что иное, как одни долгие каникулы между сумрачной, тесной школой и серьезной работой; студенты снова пили вкруговую и затянули стройную песню, которой вторило эхо в горах.

Уж снова птицы в южный
Заморский край летят,
И вдаль гурьбою дружной
Вновь странники спешат,
То господа студенты,
Они уже в пути —
И с ними инструменты,
Трубят они: «Прости!
Счастливо оставаться!
Пришла пора вакаций,
Et habet bonam pacem
Qui sedet post fornacem¹.

Когда ночной порою
Мы городом идем
И видим пир горою
За чьим-нибудь окном —
Мы у дверей играем,
Проснулся городок,
От жажды умираем,
Хозяин, дай глоток!
И мы недолго ждали:
Неся вино в бокале,
Venit ex sua domo
Beatus ille homo².

Уж веет над лесами,
Студеный, Злой Борей,
А мы бредем полями,
Промокши до костей.
Плащи взлетают наши
Под ветром и дождем,
И обувь просит каши,
А мы себе поем:
Beatus ille homo,
Qui sedet in sua domo,
Et sedet nostr fornacem
Et habet bonam pacem³!

¹ И добрый мир вкушает,
Кто дома пребывает (лат.).

² Идет сей муж достойный
Из дома своего (лат.).

³ Блажен тот муж достойный,
Кто в горнице спокойной
У печи пребывает
И добрый мир вкушает! (лат.)

Я, корабельщики и девушка всякий раз звонко подхватывали последний стих, хотя и не понимали по-латыни; я же пел особенно громко и радостно; вдаль я завидел мою сторожку, а вскоре за деревьями показался и замок в сиянии заходящего солнца.

Глава ДЕСЯТАЯ

Судно причалило к берегу, мы выскочили на сушу и разлетелись во все стороны, словно птицы, когда внезапно открывают клетку. Священник поспешно распрощался со всеми и большими шагами пошел к замку. Студенты направились неподалеку в кустарник — стряхнуть плащи, умыться в ручейке да побрить друг друга. Новая горничная, захватив канарейку и узелок, пошла в гостиницу под горой к хозяйке, которую я ей отрекомендовал; девушка хотела переменить платье, прежде чем предстать в замке перед новыми господами. Я от души радовался ясному вечеру и, как только все разбрелось, не стал долго раздумывать, а прямо пустился бежать по направлению к господскому саду.

Сторожка, мимо которой я шел, стояла на старом месте, высокие деревья парка по-прежнему шумели над ней, овсянка, певшая всегда на закате вечернюю песенку под окном в ветвях каштана, пела и сейчас, как будто с тех пор ничто не изменилось. Окно сторожки было растворено, я радостно бросился туда и заглянул в комнату. Там никого не было, но стенные часы продолжали тикать, письменный стол стоял у окна, а чубук в углу — как в те дни. Я не утерпел, влез в окно и уселся за письменный стол, на котором лежала большая счетная книга. Солнечный луч сквозь листву каштана снова упал на цифры зеленовато-золотистым светом, пчелы по-старому жужжали за окном, овсянка на дереве весело распевала. Но вдруг дверь распахнулась, и показался старый, долговязый смотритель. На нем был мой шлафрок с крапинами. Увидав меня, он остановился на пороге, быстро снял очки и устремил на меня свирепый взор. Я порядком испугался, вскочил и, не говоря ни слова, кинулся из дому в садик, где чуть было не запутался ногами в ботве картофеля, который старый смотритель, видимо, разводил по совету швейцара вместо моих цветов. Я слышал, как он выбежал за дверь и стал браниться мне вслед, но я уже си-

дел на высокой садовой стене и с бьющимся сердцем смотрел на замковый сад.

Оттуда несся аромат цветов; порхали и чирикали разноцветные птички; на лужайках и в аллеях не было никого, но вечерний ветер качал золотистые верхушки деревьев, и они склонялись передо мной, как бы приветствуя меня, а сбоку, из темных глубин катил свои волны Дунай, поблескивая сквозь листву.

Вдруг я услышал, как в отдалении, в саду, кто-то запел:

Смолкли голоса людей.
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу внятной,
Шепчет шорохом ветвей.
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

И голос и песня звучали так странно, и в то же время они казались мне давно знакомыми, будто я когда-то слышал их во сне. Долго-долго старался я вспомнить. «Да это господин Гвидо!» — радостно воскликнул я и поскорее спустился в сад — это была та самая песня, которую он пел на балконе итальянской гостиницы, в летний вечер, когда мы с ним виделись в последний раз.

Он продолжал петь, а я, перебираясь через изгороди, спешил по куртинам в ту сторону, откуда доносилось пение. Когда я наконец выбрался из розовых кустов, я остановился словно замороженный. У лебединого пруда, на зеленой поляне, озаренная лучами заката, на каменной скамье сидела прекрасная дама; на ней было роскошное платье, веночек из белых и алых роз украшал черные волосы; она опустила глаза, играя хлыстиком и внимая пению, точь-в-точь как тогда в лодке, когда я ей спел песню о прекрасной госпоже. Против нее, спиной ко мне, сидела другая молодая дама; над белой полной шеей ее курчавились завитки каштановых волос; она играла на гитаре, пела и смотрела, как лебеди, плавно скользя, описывают круги на тихом зеркале воды. В это мгновение прекрасная госпожа подняла глаза и, увидав меня, громко вскрикнула. Другая дама быстро обернулась, причем кудри ее рассыпались по лицу; посмотрев на меня в упор, она громко расхохоталась, вскочила со скамьи и трижды хлопнула в ладоши. Тотчас же из-за розовых кустов появилась целая толпа девочек в белоснежных коротких платьицах с зе-

леными и красными бантами, и я все никак не мог понять, где же они были спрятаны. В руках они держали длинную цветочную гирлянду, быстро обступили меня в кружок и, танцуя, принялись петь:

Мы свадебный венок несем
И ленту голубую,
Тебя на шумный пир ведем,
Где с нами все ликуют.
Мы венок тебе несем,
Ленту голубую.

Это было из «Вольного стрелка». Среди маленьких певиц я некоторых признал — то были девочки из соседнего селения. Я потрепал их по щекам, хотел было убежать от них, но маленькие плутовки не выпускали меня. Я совсем не понимал, что все это означает, и совершенно оторопел.

Тут из-за кустов выступил молодой человек в охотничьем наряде. Я не верил своим глазам — это был веселый господин Леонгард! Девочки разомкнули круг и остановились как зачарованные, неподвижно застыв на одной ноге, вытянув другую и занеся гирлянды высоко над головой. Господин Леонгард приблизился к прекрасной даме, которая стояла все так же безмолвно, изредка взглядывая на меня, взял ее за руку, подвел ко мне и произнес:

— Любовь — и в этом согласны все ученые — окрыляет человеческое сердце наибольшей отвагой; одним пламенным взглядом разрушает она сословные преграды, мир ей тесен и вечность для нее коротка. Она и есть тот волшебный плащ, который всякий фантаст должен накинуть хоть раз в этой хладной жизни, чтобы в нем отправиться в Аркадию. И чем дальше друг от друга блуждают двое влюбленных, тем наряднее развеивает ветер их многоцветный плащ, тем пышнее ложится у них за плечами мантия любовников, так что человек посторонний, повстречавшись на дороге с таким путником, не может разминуться с ним, не наступив негаданно на влачащийся шлейф. О дражайший господин смотритель и жених! Хотя вы в вашем плаще унеслись на берега Тибра, нежная ручка вашей невесты, здесь присутствующей, держала вас за край вашей мантии, и, как вы ни брыкались, ни играли на скрипке и ни шумели, вам пришлось снова вернуться в тихий плен ее прекрасных очей. А теперь, милые, милые безумцы раз уж так случилось, на-

киньте на себя ваш блаженный плащ, и весь мир утонет для вас,—любитеесь, как кролики, и будьте счастливы!»

Не успел господин Леонгард окончить свою речь, как ко мне подошла другая дама, та, что пела знакомую песенку; она мигом надела мне на голову свежий миртовый венок; укрепляя его в волосах, она приблизила свое личико совсем к моему и при этом шаловливо запела:

Я за то тебе в награду
На главу сплела венок,
Что не раз давал усладу
Мне певучий твой смычок.

Затем она отступила на несколько шагов. «Помнишь разбойников в лесу, которые стряхнули тебя с дерева?» — спросила она, приседая передо мною и глядя на меня так мило и весело, что у меня заиграло сердце в груди. Не дожидаясь моего ответа, она обошла вокруг меня. «Поистине все тот же, безо всякого итальянского привкуса! Нет, ты только посмотри, как у него набита котомка! — воскликнула она вдруг, обернувшись к прекрасной госпоже.— Скрипка, белье, бритва, дорожная сумка — все вперемешку!» Она вертела меня во все стороны и смеялась до упаду. А прекрасная дама продолжала безмолвствовать и все еще не могла поднять глаз от застенчивости и смущения. Мне даже пришло на ум, что она втайне сердится на всю эту болтовню и шутки. Но вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она спрятала лицо на груди другой дамы. Та сперва удивленно на нее посмотрела, а потом нежно прижала к себе.

Я стоял тут же и ничего не понимал. Ибо чем пристальнее вглядывался я в незнакомую даму, тем яснее становилось для меня, что она — не кто иной, как молодой художник господин Гвидо!

Я не знал, что и сказать, и уж собирался было толком расспросить; но в эту минуту к ней подошел господин Леонгард, и они о чем-то тихо заговорили. «Нет, нет,— молвил он,— ему надо поскорее все рассказать, иначе снова произойдет неразбериха».

«Господин смотритель,— проговорил он, обращаясь ко мне,— у нас сейчас, правда, немного времени, однако, сделай милость, дай волю своему удивлению теперь же, дабы после, на людях, не спрашивать, не изумляться и не покачивать головой, не ворошить того, что было, и не пускаться в новые догадки и вымыслы». Сказав это, он отвел меня в кустарник, а барышня приня-

лась помахивать хлыстиком, оброненным прекрасной госпожой; кудри падали ей на лицо, но и сквозь них я видел, как она покраснела до корней волос. «Итак,— молвил господин Леонгард,— мадемуазель Флора, которая сейчас делает вид, будто ничего не знает обо всей истории,—впопыхах отдала свое сердечко некоему человеку. Тут выступает на сцену другой и с барабанным боем, фанфарами и пышными монологами кладет к ее ногам свое сердце, требуя от нее взамен того же. Однако сердце ее уже находится у некоего человека, и этот некто не желает получать обратно свое сердце и вместе с тем не желает возвращать и сердца Флоры. Подымается всеобщий шум — но ты, верно, никогда не читал романов?» Я должен был сказать, что нет. «Ну, зато ты сам был действующим лицом в настоящем романе. Коротче говоря: с сердцами произошла такая путаница, что тот некто, то есть я — должен был самолично вмешаться в это дело. И вот, в одну теплую летнюю ночь сел я на коня, посадил барышню под видом юного итальянского художника Гвидо на другого, и мы помчались на юг, дабы укрыть ее в Италии, в одном из моих уединенных замков, покуда не стихнет шум из-за сердец. Однако за нами следили и в пути напали на наш след; с балкона в итальянской гостинице, перед которым ты так бесподобно спал на часах, Флора вдруг увидела наших преследователей». «Стало быть, горбатый синьор?..» — «Оказался шпионом. Поэтому мы решили укрыться в лесу, предоставив тебе продолжать путь одному. Это ввело в заблуждение наших преследователей, а вдобавок и моих слуг в горном замке, которые с часу на час поджидали переодетую Флору; они-то и приняли тебя за нее, проявив больше усердия, нежели проницательности. Даже и здесь, в замке, считали, что Флора живет на том утесе. Об ней справлялись, ей писали — кстати, ты не получал письмаца?» При этих словах я мгновенно вынул из кармана записку. «Значит, это письмо?..» — «Предназначалось мне», — ответила мадемуазель Флора, которая до сих пор, казалось, не обращала ни малейшего внимания на весь разговор; она выхватила записку у меня из рук, пробежала ее и сунула за корсаж. «А теперь,— продолжал господин Леонгард,— нам пора в замок, там все нас ждут. Итак, в заключение, как оно само собой разумеется и подобает чинному роману: беглецы настигнуты, происходит раскаяние и примирение, все мы веселы, снова вместе, и послезавтра свадьба!»

Не успел он кончить свой рассказ, как из-за кустов

раздался страшный шум — били в литавры, слышались трубы, рожки и тромбоны, стреляли из мортир, кричали «виват», девочки снова начали танцевать; отовсюду меж ветвей одна за другой стали высовываться разные головы, будто вырастая из-под земли. Среди этой суматохи и толкотни я скакал от радости выше всех; так как тем временем уже стемнело, я постепенно, но не сразу, узнавал всех прежних знакомых. Старый садовник бил в литавры, тут же играли пражские студенты в плащах, рядом с ними швейцар как сумасшедший перебирал пальцами на фаготе. Увидав его так неожиданно, я бросился к нему и что было сил обнял его. Он совсем сбился с такту. «Что я говорил,— этот, хоть он объездил весь мир, а все-таки как был дурак дураком, так и останется!» — воскликнул он, обращаясь к студентам, и яростно затрубил снова.

Тем временем прекрасная госпожа скрылась от шума и гама и, как вспугнутая лань, умчалась по лужайкам в глубь сада. Я вовремя это увидел и побежал за ней. Музыканты так увлеклись игрой, что ничего не заметили; как оказалось потом, они думали, что мы уже отправились в замок. Туда с музыкой и радостными кликами двинулась вся ватага.

А мы почти в то же самое время дошли до конца сада, где стоял павильон; открытые окна его выходили на просторную глубокую долину. Солнце давно зашло за горы, теплый, затихающий вечер тонул в алой дымке, и чем безмолвнее становилось кругом, тем явственнее шумел внизу Дунай. Не отводя взора, смотрел я на прекрасную графиню; она стояла рядом со мной, раскрасневшись от быстрой ходьбы, и мне было слышно, как бьется ее сердце. Я же, оставшись с ней наедине, не находил слов — до того я был полон почтения к ней. Наконец я набрался храбрости и взял ее белую маленькую ручку; тут она привлекла меня к себе и бросилась мне на шею, а я крепко обнял ее обеими руками. Но она тотчас высвободилась от моих объятий и в смущении облокотилась у окна — остудить разгоревшиеся щеки в вечерней прохладе. «Ах,— воскликнул я,— у меня сердце готово разорваться, я себе не верю, мне и сейчас кажется, будто все это сон!» — «Мне тоже,— ответила прекрасная госпожа.— Когда мы с графиней летом,— продолжала она, помолчав немного,— вернулись из Рима, благополучно найдя там мадемуазель Флору, и привезли ее с собой, а о тебе не было и не было вестей,— право, я не думала тогда, что все так окончится. И толь-

ко сегодня в полдень к нам на двор прискакал жокей, весь запыхавшись, такой славный, проворный малый, и привез известие, что ты едешь на почтовом корабле». Потом она тихонько засмеялась. «Помнишь,— сказала она,— как ты меня видел в последний раз на балконе? Это было совсем как сегодня, такой же тихий вечер и музыка в саду». «Кто же, собственно, умер?» — спросил я поспешно. «Как кто?» — молвила прекрасная дама и удивленно посмотрела на меня. «Супруг вашей милости,— возразил я,— тот, что стоял тогда на балконе». Она густо покраснела. «И что только приходит тебе в голову! — воскликнула она.— Ведь это сын нашей графини, в тот день он вернулся из путешествия, тут как раз было мое рождение, вот он и вывел меня на балкон, чтобы и мне прокричали «виват». Уж не из-за него ли ты и убежал тогда?» — «Ах, боже мой, ну конечно!» — воскликнул я, ударив себя по лбу. А она только головкой покачала и рассмеялась от всего сердца.

Она весело и доверчиво болтала, сидя рядом со мной, мне было так хорошо, что я мог бы слушать ее до утра. На радостях я вынул из кармана горсть миндаля, который привез еще из Италии. Она тоже отведала, и вот мы сидели вдвоем, щелкая орешки и глядя в безмолвную даль. «Видишь там,— сказала она через некоторое время,— в лунном сиянии поблескивает белый домик; это нам подарил граф вместе с садом и виноградником, там мы с тобою и будем жить. Он ведь давно знает про нашу любовь, да и к тебе он очень благоволит, потому что, не будь тебя в то время, когда он увез барышню из пансиона, их бы непременно накрыли, еще до того, как они помирились с графиней, и тогда все было бы по-другому». — «Боже мой, прекрасная, всемилостивейшая графиня,— вскричал я,— у меня просто голова кругом идет от стольких неожиданных новостей; значит, господин Леонгард...» — «Да, да,— прервала она меня,— он так называл себя в Италии; его владения начинаются вот там, видишь? — и он теперь женится на дочери нашей графини, на красавице Флоре. Однако почему ты меня все зовешь графиней? — Я посмотрел на нее с изумлением.— Я ведь вовсе не графиня,— продолжала она,— наша графиня просто взяла меня в замок, так как я сирота и мой дядя, швейцар, привез меня с собой сюда, когда я была еще ребенком».

Тут, могу сказать, у меня словно камень с сердца свалился. «Да благословит бог швейцара, раз он наш дядюшка,— в восторге промолвил я,— недаром я всегда

так высоко ценил его». — «И он тоже тебя любит, — отвечала она. — Дядя говорит лишь: если бы он хоть немножко посolidнее держал себя. Теперь ты должен одеваться поизящнее». — «О, — радостно воскликнул я, — английский фрак, соломенную шляпу, рейтузы и шпоры, и тотчас после венчания мы уезжаем в Италию, в Рим, там так славно бьют фонтаны, и возьмем с собой швейцара и пражских студентов». Она тихо улыбнулась, взглянув на меня ласково и нежно; а издали все еще слышалась музыка, над парком в ночной тишине взвивались ракеты, снизу доносился рокот Дуная — и все-все было так хорошо!

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

Хариебня в Шнессарте

Сказание о шльдене
с оленем

Холодное сердце

Приключения Сауда

Стинфольская пещера



Харчевня в Шпессарте

Много лет тому назад, когда дороги в Шпессартском лесу были еще плохи и малоезжены, шли по лесу два молодых ремесленника. Одному было лет восемнадцать, и был он машинный мастер, другому, обученному ювелирному делу, с виду никак нельзя было дать больше шестнадцати, и, надо думать, он впервые пустился в странствие.

Уже за вечерело, и от исполинских елей и буков на узкую дорогу, по которой они шли, легла густая тень. Машинный мастер шагал браво, насвистывал песенку, разговаривал с Резвым, своей собакой, и как будто не очень-то беспокоился, что скоро уже совсем стемнеет, а до ближней харчевни дойдешь не так-то скоро. А Феликс, золотых дел мастер, часто боязливо оглядывался. Когда ветер шелестел в листве, ему слышались шаги у него за спиной. А когда от ветра колыхались придорожные кусты, ему чудилось, будто за ветками кто-то притаился и следит за ними.

Вообще-то юный ювелир был не суеверен и не труслив. В Вюрцбурге, где прошли годы его ученичества, он слыл в среде учеников безбоязненным, храбрым малым, но сегодня он что-то трусил. Про Шпессартский лес он всего наслышался. Говорили, будто там хозяйничает большая разбойничья шайка, будто за последнее время ограблено много путешественников, рассказывали даже о зверских убийствах, не так давно имевших там место. Вот он и робел, ему было страшно за свою жизнь — ведь их-то всего двое, против вооруженных разбойников они бессильны. Он уже раскаивался, что послушался своего спутника и не заночевал на опушке.

— Это ты, мастер, будешь виноват, если сегодня ночью меня убьют и я лишусь жизни и всего, что у меня с собой, ведь это ты своими уговорами заманил меня в этот страшный лес.

— Нечего труса праздновать, — возразил мастер, — чего, собственно, бояться ремесленнику? Ты что думаешь? Думаешь, господа разбойники нападут на нас и убьют, окажут нам эту честь? Чего ради им утруждать

себя? Может, ради воскресной одежды, что у меня в ранце, или ради тех грошей на харчи, что остались у меня от талера? Нет, надо ехать в карете четверней, быть в шелках да кружевах, вот тогда им, разбойникам, есть ради чего убивать.

— Подожди! Слышишь, в лесу кто-то свистит? — боязливо шепнул Феликс.

— Это ветер свистит в листве, прибавь шагу, теперь уже недалеко.

— Да, тебе хорошо,— опять заговорил юный ювелир.— Они спросят, что у тебя с собой, обыщут и заберут воскресную одежду, гульден и тридцать крейцеров. А меня — меня они сразу убьют, и только потому, что у меня с собой всякие золотые вещицы и ожерелье.

— А чего ради им тебя убивать? Вот, представь себе, выходят сейчас из-за тех вон кустов четверо или пятеро с заряженными ружьями, наводят дуло на нас и вежливо спрашивают: «Господа, что у вас есть? Не стесняйтесь, мы поможем вам донести ваши вещи», и так далее, все в том же приятном тоне. Ну, ты, конечно, не станешь дурака валять, откроешь свой ранец, любезно выложишь на землю желтый камзол, синий кафтан, ожерелье, браслеты, гребенки и все прочее да еще поблагодаришь за то, что они не покусились на твою жизнь.

— Да? Так, по-твоему, я должен отдать украшения, что изготовил для моей крестной матери, любезной моему сердцу графини? — горячо возразил Феликс.— Нет, я лучше расстанусь с жизнью, лучше дам изрубить себя на кусочки. Ведь она заменила мне мать, а когда мне пошел десятый год, позаботилась о моем воспитании! Все то время, что я жил в учениках, она платила и за учение, и за мою одежду, и за все прочее. А теперь, когда я имею возможность навестить ее и когда при мне драгоценные украшения, которые она заказала золотых дел мастеру, а изготовил я, теперь, когда она могла бы на деле убедиться, чему я выучился, теперь я должен все это отдать, да в придачу еще и желтый камзол, подаренный ею? Нет, лучше умереть, чем отдать дурным людям драгоценности моей крестной матери.

— Не глупи! — крикнул мастер.— Если тебя убьют, графиня все равно не получит своих драгоценностей. Значит, лучше отдать украшения и сохранить жизнь.

Феликс ничего не ответил. Теперь уже совсем стемнело, и при слабом свете молодого месяца в пяти шагах почти ничего не было видно. Феликс все больше и больше трусил, он ни на шаг не отходил от товарища и ни-

как не мог решить, соглашаться или нет с его словами и доводами. Так шли они около часа, и наконец вдали блеснул огонек. Но Феликс боялся идти на свет; а ну как это вертеп разбойников, думал он, однако мастер разъяснил ему, что разбойники живут в пещерах или землянках, а это, конечно, харчевня, о которой говорил им на опушке какой-то встречный.

Харчевня оказалась длинным, низким строением, перед ней стояла повозка, а рядом в конюшне ржали лошади. Мастер поманил Феликса к окну, не закрытому ставнями. Став на цыпочки, можно было заглянуть внутрь. У печки спал в кресле мужчина, судя по одежде возчик, он же, вероятно, и хозяин повозки, что стояла во дворе. По другую сторону печки пряли женщина и девушка. За столом у стены сидел человек, перед которым стоял стакан вина, он сидел, подперев голову руками, так что лица его не было видно. Однако мастер решил, что, судя по одежде, он должен быть из благородных.

Они все еще подглядывали в окно, но тут в доме залаяла собака. Резвый, собака мастера, отозвалась, и в дверях появилась служанка посмотреть, что за люди пришли.

Их обещали покормить ужином и устроить на ночлег. Они вошли, сложили в угол тяжелые узлы, шляпы и палки и подсели за стол к господину.

Они поздоровались с ним, он поднял голову, перед ними был изящный молодой человек; с приветливой улыбкой выразил он им признательность за их учтивый поклон и сказал:

— Ишь до какого позднего часа вы в дороге. И не побоялись в такую темь идти по Шпессартскому лесу? — сказал он. — А вот я предпочел поставить лошадь в конюшне и переночевать на заезжем дворе, только бы лишней час не быть в пути.

— И вы были правы, сударь, — ответил мастер. — Топот копыт хорошего коня — желанная музыка для этой разбойничьей сволочи, они слышат ее на расстоянии доброго часа пути. Но когда лесом шагают два бедных малых, вроде нас, с которых и взять-то нечего, так ради них разбойники и пальцем не пошевелят.

— Так-то оно так, с бедного человека не много возьмешь, — согласился возчик, разбуженный приходом новых постояльцев и тоже подошедший к столу. — Но бывали случаи, что они убивали бедных просто из жажды крови, а не то принуждали их вступить в свою шайку и тоже заниматься разбоем.

— Ну, если эти люди так хозяйничают в лесу,— заметил золотых дел мастер,— то, по правде говоря, и здешний дом плохая для нас защита. Нас всего четверо да работник — пятый; а вдруг им вздумается напасть на нас вдсятером, что нам тогда делать? Да и кто поручится, что здешние хозяева — честные люди? — шепотом прибавил он.

— Этого бояться нечего,— возразил возчик.— Я здешний заезжий двор больше десяти лет знаю и ни разу не приметил ничего подозрительного. Хозяин редко бывает дома, говорят, он торгует вином; хозяйка женщина тихая и безобидная, нет, вы, юноша, зря ее опасаетесь.

— И все же,— вступил в разговор молодой человек аристократического вида,— все же я не отмахнулся бы просто-напросто от его слов. Вспомните слухи о людях, что вдруг бесследно пропали в этом лесу. Многие из них перед тем говорили, что переночуют тут в харчевне, а когда две-три недели спустя о них ничего не было слышно и их начинали разыскивать, то наводили справки и в харчевне, и выходило, что никого из них здесь не видели, согласитесь: это как-никак внушает подозрение.

— Бог его знает,— воскликнул мастер,— может, оно и вправду разумнее переночевать в лесу, под первым попавшимся деревом, а не здесь в четырех стенах; ведь убежать отсюда и думать нечего, ежели они будут сторожить у дверей, на окнах-то решетки.

Эти разговоры навели всех на размышления. Теперь уже не казалось невероятным, что хозяева лесной харчевни, то ли по принуждению, то ли по доброй воле, стакнулись с разбойниками. Ночь внушала опасение, ведь не раз доводилось им слышать о путниках, застигнутых во время сна и убитых; некоторые из остановившихся сейчас на ночлег в лесной харчевне были очень ограничены в средствах и, даже если бы дело не шло о жизни, потерять хоть часть добра было бы для них весьма чувствительно. Помрачнев, расстроившись, установились они в свои стаканы. Молодой человек думал: вот хорошо было бы скакать теперь на коне по спокойной, открытой долине; мастер думал о десятке своих подмастерьев, дюжих малых: было бы хорошо, если бы они, вооружившись дубинками, охраняли его; Феликс, золотых дел мастер, больше опасался за украшения своей благодетельницы, чем за свою жизнь; возчик, задумчиво попыхивая трубкой, сказал вполголоса:

— Господа, знаете, нельзя, чтобы они напали на нас

спящих. Что до меня, я готов всю ночь не смыкать глаз, если только кто-нибудь составит мне компанию.

— И я, и я готов! — отозвались остальные.

— Заснуть я бы все равно не заснул, — добавил молодой человек.

— Ну, тогда, чтобы не заснуть, давайте чем-нибудь займемся, — предложил возчик. — Я думаю, раз нас четверо, мы могли бы сыграть в карты, за картами не заснешь, и время пройдет незаметно.

— Я в карты не играю, — сказал молодой человек, — так что составить вам компанию не могу.

— А я и вовсе не умею играть, — прибавил Феликс.

— А если мы не будем играть, чем же нам тогда заняться? — раздумывал мастер. — Петь? Нет, не годится, пением можно привлечь эту сволочь. Забавляться поговорками? Задавать и отгадывать загадки? Этого надолго не хватит. Знаете что? Не заняться ли нам рассказами? Веселыми или серьезными, правдой или вымыслом, не все ли равно, мы и не заснем, и время скоротаем не хуже, чем за игрой в карты.

— Я согласен, только начинайте вы, — с улыбкой заметил молодой человек. — Вы, господа ремесленники, бродите по всему свету, вам есть о чем рассказать, ведь что ни город, то свои предания, свои истории.

— Как же, как же, чего только не наслышишься, — заметил мастер. — Зато такие господа, как вы, усердно читают ученые книжки, где много всего интересного написано, и поумнее и позанимательнее того, что может рассказать наш брат, простой ремесленник. Если я не ошибаюсь, вы студент, ученый?

— Ученый не ученый, — улыбнулся молодой человек, — но все же студент и еду на вакации домой. Но то, что написано в наших книгах, не очень-то перескажешь; и порой приходится слышать куда более любопытные истории. Так что начинайте вы свой рассказ, если остальные не возражают.

— По мне, слушать интересную историю куда занимательнее, чем играть в карты, — отозвался возчик. — Часто я еле-еле тащусь проселочной дорогой, только бы послушать человека, который шагает рядом и рассказывает что-нибудь интересное. Бывает, в дурную погоду я подсажу к себе в повозку того или иного прохожего, а он за это, глядишь, что-нибудь и расскажет. А одного своего приятеля я, верно, только потому так люблю, что он может рассказывать битых семь часов, а историй — все еще конца не видно.

— Вот так же и я,— добавил юный ювелир,— до смерти люблю слушать, когда рассказывают. Мой хозяин в Вюрцбурге строго-настрога запретил мне заглядывать в книжки, чтобы я не зачитывался и не забывал о работе. Ну, так расскажи нам что-нибудь хорошенькое, мастер, я знаю, ты можешь всю ночь до утра рассказывать, у тебя запаса хватит.

Мастер выпил для смелости и начал так:

Сказание о гильдене с оленем

В Верхней Швабии и по сей день еще высится остов старинного замка, когда-то не знавшего себе равных в целом крае — это Вышний Цоллерн. Он стоит на вершине круглой крутой горы, и с его дерзкой высоты открываются взору окрестные дали. И повсюду, откуда виден был замок, и еще намного дальше, люди в старину побаивались воинственных рыцарей фон Цоллерн, имя это знали и почитали во всех немецких землях. Так вот: много сотен лет тому назад — сдается мне, что тогда еще только-только изобрели порох,— жил в этой твердыне один из Цоллернов, человек по натуре весьма странный. Нельзя сказать, чтобы он жестоко притеснял своих подданных или враждовал с соседями, однако никто не хотел с ним знаться из-за его мрачного взгляда, нахмуренного лба и бранчливой, отрывистой речи. Немногие, кроме слуг в его замке, сподобились слышать, чтобы он говорил связно, как все прочие люди. Когда он скакал верхом по долине и какой-нибудь простолудин, встретясь с ним, срывал с головы шапку, кланялся и говорил: «Добрый вечер, ваше сиятельство, хороша нынче погодка!», то граф отвечал: «Вздор!» или «Сам знаю!» А если кто, бывало, не угодит ему самому, или не так обиходит его лошадей, или он встретит в ущелье крестьянина с возом, и тот не сразу уступит дорогу его коню,— граф давал выход своему гневу, разражаясь громом проклятий, однако никому не случалось видеть, чтобы он когда-нибудь при подобной оказии ударил крестьянина. В округе его прозвали

«Цоллерн-Грозовая Туча». Цоллерн-Грозовая Туча был женат, и жена его являла собой полную противоположность супругу,—она была кротка и приветлива, как майский день. Не раз приходилось ей добрым словом и ласковым обхождением примирять с графом людей, которых он обидел своей грубостью. Она, где только могла, помогала бедным, и не считала за труд в летний зной или в злейшую стужу спуститься с крутой горы в долину, чтобы навестить бедняков или больных детей. Когда ей доводилось встречать на пути графа, он бурчал: «Вздор! Сам знаю!» — и скакал дальше.

Всякую другую женщину столь угрюмый нрав мужа остановил бы или запугал. Одна подумала бы: «Что мне за дело до бедных, ежели мой муж их ни во что не ставит!» У другой оскорбленная гордость и досада, пожалуй, вытеснили бы всякую любовь к гневливому супругу; но не такова была Гедвига фон Цоллерн. Она продолжала по-прежнему любить мужа, старалась своей прекрасной белой рукой разгладить морщины на его смуглом челе; да, она любила и почитала его. Когда же со временем небо даровало этой чете юного графа фон Цоллерн, графиня и тогда не перестала любить супруга, хотя и посвящала свои заботы маленькому сыну, как истинно любящая мать. Минуло три года; все это время граф фон Цоллерн видел мальчика только по воскресеньям после обеда, когда кормилица приносила ему ребенка. Он угрюмо смотрел на сына, бормотал что-то себе под нос и отдавал ей ребенка обратно. Однако, когда мальчик впервые произнес слово «отец», граф подарил кормилице гульден, но ребенку даже не улыбнулся.

Когда же малышу исполнилось три года, граф велел в первый раз надеть на него штанишки, нарядить в бархат и шелк, затем приказал вывести во двор своего коня и еще одну красивую лошадь, взял сына на руки и, звеня шпорами, стал спускаться с ним по винтовой лестнице. Графиня Гедвига немало удивилась, увидев это; не в обычае у нее было спрашивать графа, куда и зачем он едет, но на сей раз страх за ребенка заставил ее разомкнуть уста.

— Вы намерены проехать верхом, граф? — спросила она.— Зачем вам брать с собой дитя? — продолжала она.— Куно погуляет со мной.

— Сам знаю! — отвечал, не останавливаясь, Цоллерн-Грозовая Туча.

Спустившись во двор, он быстро, за ножку, посадил мальчика в седло, крепко привязал его шалью, вскочил

сам на своего коня и пустил обеих лошадей шагом к воротам, при этом он крепко держал поводья второй лошади.

Сперва ребенку как будто очень нравилось скакать вместе с отцом вниз по склону. Он хлопал в ладоши, смеялся и трепал гриву лошади, чтобы она бежала быстрее, так что граф не мог на него нарадоваться и даже несколько раз воскликнул:

— Удалой будет малый!

Но как только они выехали на равнину и граф, до сего времени ехавший шагом, перевел лошадей на рысь, у малыша занялся дух; сначала он робко попросил отца ехать потише, но когда лошади пустились вскачь и у маленького Куно перехватило дыхание от встречного ветра, он сперва тихо заплакал, потом стал нетерпеливо хныкать и наконец заревел во всю мочь.

— Вздор, сам знаю! — вскричал граф. — Экий мальчонка — чуть сел на коня и уже ревет! Замолчи, не то...

Однако в тот миг, когда он собирался подбодрить сына крепким ругательством, конь его взвился на дыбы, и, пытаясь укротить непокорное животное, он выпустил из рук поводья второй лошади. Когда же он наконец утихомирил своего скакуна и боязливо оглянулся в поисках сына, то увидел одну только лошадь, которая бежала к замку без своего маленького всадника. Как ни суров и сумрачен был граф фон Цоллерн, но и его сердце дрогнуло при этом зрелище; решив, что его мальчик лежит на дороге с разможженными костями, он застал и принял рвать на себе бороду. Но, проскакав довольно большое расстояние обратно, он нигде не обнаружил следов сына и уже вообразил себе, что лошадь, испугавшись, сбросила его в наполненный водой ров, тянувшийся вдоль дороги. Вдруг он услышал позади себя детский голосок, звавший его по имени, — он мигом обернулся и — гляди-ка! — невдалеке от дороги сидела под деревом старая женщина и держала на коленях его ребенка.

— Как очутился у тебя мальчик, старая ведьма? — закричал граф в неистовом гневе. — Сию же минуту отдай его мне!

— Потише, потише, ваша милость, — засмеялась безобразная старуха. — Не ровен час, вы и сами слетите с этого гордого коня. Как очутился у меня маленький юнкер, спрашиваете вы? Ну так вот: его лошадь понесла, он повис, привязанный только за ножку, почти касаясь волосиками земли, — я и подхватила его в свой передник.

— Сам знаю! — рявкнул фон Цоллерн. — Сейчас же давай его сюда, — я не могу слезть с коня, он у меня по-ровистый, как бы не зашиб дитя!

— Подарите мне гульден с изображением оленя! — смиренно попросила старуха.

— Вздор! — вскричал граф, швыряя ей под дерево несколько пфеннигов.

— А мне бы очень пригодился гульден с оленем, — твердила старуха.

— Ишь чего захотела! Гульден с оленем! Ты и сама его не стоишь! Сейчас же подай ребенка, не то я спущу на тебя собак!

— Ах, вот как? Я, значит, не стою гульдена с оленем? — ответила старуха с насмешливой улыбкой. — Ну что же, посмотрим, что из вашего наследства будет *стать гульдена с оленем!* А эти пфенниги оставьте себе! — Сказав это, она бросила графу обратно три медных монетки, да так метко, что все они угодили как раз в кожаный кошелек, который он все еще держал в руке.

Подобная ловкость так изумила графа, что несколько минут он не мог слова вымолвить, но потом его удивление сменилось яростью. Он схватил ружье, взвел курок и прицелился в старуху. Та продолжала как ни в чем не бывало ласкать и миловать маленького графа, но держала его перед собой так, что пуля первым делом попала бы в него.

— Ты добрый, смиренный мальчик, — говорила она. — Оставайся таким всегда, и счастье не обойдет тебя! — С этими словами она отпустила мальчика, а графу погрозила пальцем. — Цоллерн, Цоллерн, гульден с оленем — за вами! — воскликнула она и побрела, опираясь на буковую палку, в глубь леса, не обращая ни малейшего внимания на брань графа.

Оруженосец Конрад, дрожа от страха, спрыгнул с лошади, посадил на нее своего маленького господина, вскочил в седло позади него и поскакал следом за графом.

То был первый и последний раз, когда Цоллерн-Грозовая Туча брал с собой маленького сына на прогулку верхом, ибо из-за того, что он кричал и плакал, когда лошади перешли на рысь, граф стал считать его изнеженным мальчиком, из которого уже ничего путного не выйдет, взирал на него с неудовольствием, а если мальчик, искренне любивший отца, радостно подбегал к нему и ласково обхватывал его колени, граф гнал его прочь и восклицал:

— Сам знаю! Вздор!

Графиня Гедвига готова была терпеть все дикие выходы своего супруга, но такое неласковое обхождение с ни в чем не повинным ребенком глубоко ранило ее, и не раз случилось ей тяжело занемочь от страха, когда граф-нелюдим за малую провинность жестоко наказывал ребенка, и в конце концов она умерла, в расцвете лет, оплакиваемая слугами и всеми окрестными жителями, а горше всех — ее собственным сыном.

С той поры сердце графа окончательно отворотилось от мальчика; он отдал его на воспитание кормилице и замковому капеллану и редко о нем вспоминал, тем более что вскорости снова женился на богатой барышне, которая спустя год подарила ему двух мальчиков-близнецов.

Куно с большой охотой навещал добрую старушку, когда-то спасшую ему жизнь. Она всякий раз подолгу рассказывала ему о его покойной матери и о том, сколько добра сделала графиня ей самой. Слуги и служанки не раз предостерегали Куно, чтобы не ходил он часто к Фельдгеймерше — так звали старуху, ибо она не кто иная, как ведьма, но мальчика это не испугало: капеллан внушил ему, что никаких ведьм на свете нет, а предания о том, что некоторые женщины умеют колдовать, летают по воздуху верхом на ухватах и скачут на Брокен, не что иное, как досужие выдумки. Правда, в доме у старой Фельдгеймерши он видел всевозможные вещи, назначение которых было ему непонятно, а фокус с тремя пфеннигами, которые она некогда столь ловко метнула прямо в кошелек его отца, был ему еще хорошо памятен; кроме того, старуха искусно приготавливала всякие целебные мази и настойки, которыми она пользовала людей и скот, но в рассказни о том, что у нее-де есть волшебная сковорода, — стоит подвесить ее над огнем, как начинается страшная гроза, — он не верил. Она научила юного графа многому, что могло ему пригодиться; например, объяснила, что давать больным лошадям, как варить питье, излечивающее собак от бешенства, или готовить приманку для рыб и прочие полезные вещи. Вскоре Фельдгеймерша и вовсе стала единственной его собеседницей, ибо кормилица его умерла, а мачеха не обращала на него внимания.

По мере того, как подрастали его братья, жизнь Куно становилась все несносней: им посчастливилось при первом выезде верхом не свалиться с лошади, по этой причине Цоллерн-Грозовая Туча считал их толковыми и стоящими парнями, всю свою любовь отдал им, ежд-

невно выезжал с ними верхом и учил всему, что знал сам. Но ничему доброму они при этом не научились; читать и писать он не умел и сам, да и незачем было его дельным сыновьям тратить время на такое пустое занятие; зато к десяти годам они уже умели так же страшно ругаться, как их отец; с каждым встречным затевали ссору, друг с другом ладили как кошка с собакой, а объединялись и становились друзьями, лишь когда намеревались сыграть какую-нибудь злую шутку с Куно. Их мать это нисколько не тревожило, в том, что мальчишки дерутся, она видела признак здоровья и силы, но один старый слуга однажды сказал об этом графу; и хотя тот, по обыкновению, ответил: «Сам знаю, вздор!», он все же решил измыслить средство, чтобы помешать сыновьям перебить друг друга. Угроза Фельдгеймерши, которую он в душе считал настоящей ведьмой: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоять гульдена с оленем!» — все еще звучала у него в ушах.

В один прекрасный день, когда он охотился в окрестностях своего замка, на глаза ему попались две горы, которые словно бы самой природой предназначены были служить подножием для замков, и он немедленно решил их построить. На одной он выстроил замок Шальксберг, названный так в честь младшего из близнецов, ибо за свои злые шутки тот давно получил от отца прозвание «Маленький Шальк», то есть плутишка, что касается второго замка, то поначалу он собирался назвать его Хиршгульденберг¹, по имени гульдена с оленем, в насмешку над ведьмой, которая предрекла ему, что все его наследство не будет стоять и гульдена с оленем, — но удовольствовался более простым названием — Хиршберг; так обе эти горы называются и по сей день, и кому случится ехать по Альбу, пусть попросит, чтобы ему их показали.

Поначалу граф намеревался отказать по завещанию старшему сыну Цоллерн, Маленькому Шальку — Шальксберг, а третьему — Хиршберг; но жена до тех пор не давала ему покоя, пока он не изменил своего решения. «Глупый Куно, — так называла она бедного мальчика за то лишь, что он не был таким грубым и необузданным, как ее сыновья, — глупый Куно и без того богат, ибо немало унаследовал от матери, и ему же еще достанется прекрасный, богатый Цоллерн? А мои сыновья получат только замки безо всяких угодий, кроме леса?»

¹ От нем.: Hirsch — олень.

Напрасно граф толковал ей, что по справедливости нельзя лишать Куно права первородства; она плакала и бранилась до тех пор, пока Цоллерн-Грозовая Туча, не склонявшийся обыкновенно ни перед кем, не уступил ей ради мира в доме и не отписал в завещании Маленькому Шальку — Шальксберг, Вольфу — старшему из близнецов, — Цоллерн, а Куно — Хиршберг вместе с городком Балингеном. Вскоре после того, как граф распорядился таким образом, он тяжело захворал. Врачу, который сказал, что смерть его близка, он ответил: «Я сам знаю», а замковому капеллану, призывавшему его подготовиться к кончине, как подобает христианину, крикнул: «Вздор!», после чего продолжал бесноваться и сквернословить и умер, как и жил, грубияном и нераскаянным грешником.

Но не успели еще предать его тело земле, как явилась графиня с завещанием и насмешливо сказала Куно, своему пасынку, ему-де представляется случай показать свою ученость и собственными глазами убедиться, что написано в завещании, а именно: что в Цоллерне ему больше делать нечего. Она и ее сыновья несказанно радовались своему богатству и двум замкам, отнятым у него, у первенца.

Куно безропотно подчинился воле усопшего; однако со слезами покидал он замок, где родился, где похоронена была его дорогая матушка, где жил добрый капеллан, а поблизости — единственная его старая приятельница Фельдгеймерша. Замок Хиршберг, хотя он и был красив и внушителен с виду, казался ему пустынным и диким, и он едва не захворал с тоски по родному Цоллерну.

Однажды вечером графиня и ее сыновья-близнецы, которым было уже по восемнадцати лет, сидели на балконе и глядели вниз; вдруг они заметили стройного всадника, скакавшего вверх к замку, а за ним следовали носилки на двух мулах и множество слуг. Долго они гадали, кто бы это мог быть; вдруг Маленький Шальк воскликнул:

— Э! Да ведь это не кто иной, как наш братец из Хиршберга!

— Глупый Куно? — с удивлением спросила графиня. — Ах, он желает оказать нам честь и пригласить к себе в гости, эти красивые носилки он захватил с собой, чтобы доставить меня в Хиршберг; нет, право же, я не ожидала от моего сына, глупого Куно, такой доброты и учтивости: но любезность — за любезность: давайте

спустимся вниз к воротам, чтобы его встретить, будьте с ним поласковей, может быть, он что-нибудь подарит нам в Хиршберге, тебе — лошадь, а тебе — панцирь, а что до меня, то мне давно уж хотелось заполучить драгоценности его матери.

— Никаких подарков от глупого Куно мне не надо,— отвечал Вольф,— и ласково встречать его я тоже не желаю. По мне, так всего лучше бы ему вскорости последовать за нашим покойным батюшкой, тогда мы унаследуем Хиршберг и все остальное, а вам, матушка, за сходную цену уступим драгоценности.

— Ах ты, негодник! — вскипела мать. — Мне покупать у вас драгоценности? Вот ваша благодарность за то, что я выхлопотала вам Цоллерн? Маленький Шальк, скажи хоть ты, ведь я получу драгоценности даром?

— Даром дается только смерть, дорогая матушка,— смеясь ответил ей сын. — Ежели правда, что эти драгоценности стоят не меньше иного замка, то мы ведь не такие дураки, чтобы просто навесить их вам на шею. Как только Куно закроет глаза, мы поскачем вниз, поделим его добро, и свою часть драгоценностей я продам. Коли вы дадите больше, чем жид-скупщик, дорогая матушка, то они ваши.

Разговаривая таким образом, они достигли ворот замка, и графиня не без усилий поборола свою досаду касательно драгоценностей, ибо в это время граф Куно как раз въезжал на подъемный мост. Когда он заметил мачеху и братьев, он придержал лошадь, спешился и вежливо приветствовал их. Ибо хотя они и причинили ему много зла, он все же помнил, что они его братья, а эту злую женщину любил его отец.

— Ах, как это мило, что наш сын приехал к нам в гости,— сказала графиня нежным голосом, с благосклонной улыбкой. — Как нам живется в Хиршберге? Привыкаем ли понемножку? Мы даже завели себе носилки? И какие роскошные! Императрица и та бы не отказалась в них сесть. Должно быть, теперь уж недолго ждать, что в Хиршберге появится хозяйка и станет разъезжать в этих носилках по всей округе.

— Об этом я еще даже не думал, достопочтенная матушка,— отвечивал Куно,— а потому и решил покамест, чтобы скрасить свое одиночество, пригласить к себе гостей, для них-то я и захватил с собой эти носилки.

— О, вы очень добры и заботливы,— перебила его мачеха и поклонилась ему с улыбкой.

— Ведь ему уже трудно сидеть в седле,— спокойно продолжал Куно.— Я говорю о патере Йозефе, замковом капеллане. Я намерен взять его к себе, это мой старый учитель, мы с ним так уговорились, когда я покидал Цоллерн. А внизу, у подножия горы, я прихвачу с собой и госпожу Фельдгеймер. Боже праведный! Старушка стала совсем дряхлой, а ведь она однажды спасла мне жизнь, когда я впервые выехал верхом вместе с покойным моим батюшкой. В Хиршберге у меня довольно комнат, пусть там и окончит свои дни.— Сказав это, он направился в глубь двора, туда, где жил капеллан.

Юнкер Вольф от гнева закусил губу, графиня пожелтела с досады, а Маленький Шальк громко расхохотался.

— Сколько вы мне дадите за коня, которого мне подарит Куно? — спросил он.— Братец Вольф, отдай мне за него свой панцирь, который ты получил от Куно! Ха-ха-ха! Попа и старую ведьму — вот кого он собирается взять к себе! Хорошенькая парочка, ничего не скажешь! Теперь он сможет по утрам брать уроки греческого у капеллана, а вечерами учиться колдовать у Фельдгеймерши. Ну и шутки выкидывает глупый Куно!

— Он низкий человек,— отвечала графиня,— и тут не над чем смеяться, Маленький Шальк; это позор для семьи, мы будем краснеть перед всей округой, когда станет известно, что граф фон Цоллерн приказал посадить старую ведьму Фельдгеймершу в роскошные носилки, да еще на мулах, и поместил ее у себя в замке. Это у него от матери, она тоже вечно якшалась с больными и всякой швалью. Ах, узнай об этом его отец, он перевернулся бы в гробу!

— Да уж,— добавил Маленький Шальк.— Отец и в могиле сказал бы: «Вздор! Сам знаю!»

— Поглядите, вон он ведет старика и не стыдится поддерживать его под руку! — в ужасе воскликнула графиня.— Пойдемте, я не желаю больше его видеть!

Они удалились, а Куно проводил своего старого учителя до моста и помог ему сесть в носилки; у подножия горы процессия остановилась перед домом госпожи Фельдгеймер, которая уже собралась в дорогу и ждала их с корзиной горшочков, банок, склянок и прочей утвари, включая неизменную буковую палку.

Случилось совсем не так, как предсказывала злая графиня фон Цоллерн — в округе ничуть не удивились поступку рыцаря Куно. Напротив того — все находили благородным и достохвальным, что он пожелал скрасить

последние дни старой Фельдгеймерши, и превозносили его как человека набожного, ибо он взял к себе старого патера Йозефа. Только его братья и графиня держали на него зло и всячески охаивали. Но это лишь служило во вред им самим; столь противное природе отношение к брату возбуждало всюду неприязнь, и, словно в противовес их наговорам, разнеслась молва, что они плохо обращаются с матерью и непрестанно с ней ссорятся, да и друг другу чинят всевозможные обиды. Граф фон Цоллерн-Хиршберг не раз делал попытки помириться с братьями, для него было нестерпимо, что они часто ездят мимо его крепости, а встречаясь с ним в лесу или в поле, не хотят разговаривать и здороваются холоднее, чем с каким-нибудь чужаком. Но все его попытки были напрасны, мало того — братья еще над ним издевались. В один прекрасный день ему вдруг пришло в голову, каким способом он мог бы завоевать их сердца, ибо ему известна была их жадность и алчность.

Между тремя замками, почти на равном расстоянии от них, был пруд, относившийся все же к владениям Куно. В этом пруду водились превосходнейшие щуки и карпы, которым не было равных в округе, но к великой досаде близнецов, любивших рыбачить, отец позабыл отписать этот пруд им. Гордость не позволяла им удить рыбу в пруду тайком от брата, а по-хорошему попросить у него разрешения они не желали. Но поскольку он прекрасно знал, что пруд не идет у них из ума, то и пригласил их однажды там с ним встретиться.

Было ясное весеннее утро, когда три брата, почти минута в минуту, подъехали к пруду, каждый из своего замка.

— Гляди-ка! — воскликнул Маленький Шальк. — Какое совпадение! Я выехал из Шальксберга ровно в семь часов.

«Я тоже.— И я», — ответили его братья — владельцы Хиршберга и Цоллерна.

— А это значит, что пруд лежит как раз посередине, — продолжал Шальк. — Прекрасный водоем.

— Да, поэтому я и позвал вас сюда. Я знаю, что вы большие любители рыбной ловли, и хоть я и сам не прочь иногда забросить удочку, рыбы здесь столько, что ее хватит на все три замка, а на берегу довольно места для троих, если бы даже нам вздумалось прийти сюда всем сразу. Поэтому я желаю, чтобы отныне сей водоем был нашим общим достоянием, и каждый из вас будет иметь на него такое же право, как я.

— О, сколь неслыханно милостив наш досточтимый братец,— с насмешливой улыбкой произнес Маленький Шальк,— он не шутя дарует нам шесть моргенов воды и несколько сотен рыбок! Ну, а что он возьмет за это с нас? Ибо даром дается только смерть!

— Вы будете владеть им даром,— ответил Куно.— Ах, я только хотел бы время от времени видаться и говорить с вами возле этого пруда. Мы ведь сыновья *одного* отца.

— Нет! — возразил владелец Шальксберга.— Так не годится: нет ничего глупее, чем удить рыбу в компании; один непременно распугает рыбу у другого. Давайте лучше удить по очереди: скажем, в понедельник и четверг — ты, Куно, во вторник и в пятницу — Вольф, а в среду и в субботу — я; по мне это будет самое лучшее.

— А по мне — вовсе нет,— воскликнул угрюмец Вольф.— Я не намерен принимать что-либо в подарок, не намерен я также и с кем-либо делиться. Ты поступаешь справедливо, Куно, предлагая нам этот пруд, ибо все мы имеем в нем равную долю; но давайте бросим кости, кому владеть им впредь, если я окажусь счастливей вас, то вы всегда сможете попросить у меня разрешения поудить здесь.

— Я не играю в кости,— возразил Куно, опечаленный черствостью братьев.

— Уж конечно,— рассмеялся Маленький Шальк.— Братец у нас ведь такой богобоязненный и скромный, игра в кости для него — смертный грех. Но я предложу вам кое-что другое, чего не устыдился бы и самый набожный отшельник. Давайте принесем лески и крючки, и кто за сегодняшнее утро, покуда часы в Цоллерне не пробьют двенадцать, наловит больше рыбы, тому и владеть прудом.

— Безумец я, да и только,— сказал Куно,— коли собираюсь разыгрывать то, что принадлежит мне по праву. Но дабы вы убедились, что я всерьез намеревался разделить с вами пруд, я схожу за своей рыболовной снастью.

И они разъехались по домам, каждый в свой замок. Близнецы поспешно разослали слуг — выворачивать старые камни и собирать червей для наживки, а Куно взял свою обычную снасть и ту приманку, которую его когда-то научила готовить Фельдгеймерша, и первым снова очутился у пруда. Когда туда прибыли оба брата-близнеца, он позволил им выбрать наиболее удобные и выгодные места и сам тоже закинул удочку.

И что же? Можно было подумать, что рыбы признали в нем хозяина. Целые стаи карпов и шук подплывали к его леске и прямо кишели вокруг нее; те, что постарше и покрупней, оттесняли молодежь, и Куно ежеминутно вытаскивал из воды рыбину, а стоило ему снова забросить удочку, как уже два-три десятка рыб разевали пасть, чтобы заглотнуть острый крючок. Не прошло и двух часов, как вся трава вокруг него была завалена прекраснейшей рыбой. Тогда он перестал удить и пошел к братьям поглядеть, как идут дела у них. Маленький Шальк поймал одного небольшого карпа и две жалких уклеи, Вольф — трех усачей и двух маленьких пескарей, братья мрачно глядели в воду, — с их мест им хорошо видна была огромная куча рыбы возле Куно. Когда Куно подошел к своему брату Вольфу, тот в ярости вскричал, порвал леску, изломал удилище и побросал все в воду.

— Хотел бы я забросить тысячу крючков вместо одного и пусть бы на каждом билась одна из этих тварей, — вскричал он. — Но здесь дело нечисто, это все волшебство. Как бы иначе тебе, глупый Куно, удалось за один час поймать больше рыбы, чем удается мне за целый год?

— Да, да, теперь я вспомнил, — подхватил Маленький Шальк. — Ведь это старуха Фельдгеймерша, гадкая ведьма, научила его ловить рыбу, а мы-то, болваны, вздумали с ним состязаться! Он скоро и сам заделается колдуном.

— Ну и негодяи же вы! — гневно вскричал Куно. — За сегодняшнее утро я довольно нагляделся на вашу жадность, грубость и бесстыдство. Ступайте прочь, и чтобы ноги вашей отныне здесь не было. И поверьте, для спасения ваших душ было бы лучше, если бы вы оказались хоть вполовину так добры и благочестивы, как та женщина, которую вы ославили ведьмой.

— Ну, до настоящей ведьмы ей далеко, — насмешливо улыбаясь, заявил Шальк. — Ведьмы умеют предсказывать, а твою Фельдгеймершу столь же мало можно назвать предсказательницей, как гуся — лебедем. Вот же предсказывала она отцу, что добрую часть его наследства можно будет купить за гульден с оленем, — то есть, что он совсем обнищает, а ведь перед его кончиной ему принадлежало все, что открывается взору с башен замка Цоллерн! Нет, твоя Фельдгеймерша — просто выжившая из ума старуха, а сам ты — глупый Куно.

Сказав это, Шальк поспешно ускакал: он побаивался тяжелой руки брата, а Вольф последовал за ним, изрыгая все проклятья, которым он выучился у своего отца.

С печалью в душе отправился Куно домой. Теперь он ясно видел, что братья никогда не пойдут с ним на мировую. А их жестокие слова он принял так близко к сердцу, что на следующий день тяжело захворал и только утешительные речи патера Йозефа и целебное питье госпожи Фельдгеймер спасли его от смерти.

Однако как только его братья прослышали, что Куно при смерти, они закатили веселую пирушку и, будучи под хмельком, сговорились: когда глупый Куно умрет, тот, кто первым узнает о его смерти, даст залп из всех своих пушек, дабы известить другого, а выстреливший первым получит право выкатить у Куно из погреба бочку самого лучшего вина. С того дня Вольф приказал, чтобы кто-нибудь из его слуг неизменно стоял в дозоре неподалеку от Хиршберга, а Маленький Шальк даже подкупил изрядной суммой денег одного из слуг Куно, чтобы тот сразу дал ему знать, когда его господин будет при последнем издыхании.

Но этот слуга был более предан своему доброму и благочестивому господину, нежели злому графу Шальксбергу. И вот однажды вечером он с участием осведомился у Фельдгеймерши, как себя чувствует его господин, и, узнав от нее, что граф уже почти поправился, поведал ей о сговоре братьев и о том, что они намереваются встретить кончину графа Куно пушечным салютом. Услыхав это, старуха пришла в ярость. Она тут же все пересказала графу, а поскольку тот ни за что не хотел поверить в такое бессердечие братьев, она посоветовала ему испытать их: распустить слух, будто он умер, вот тогда он и услышит, будут они стрелять или нет.

Граф призвал к себе слугу, подкупленного его братом, расспросил его еще раз и приказал скакать в Шальксберг с известием о близкой своей кончине.

Когда оруженосец мчался вниз по склону Хиршберга, его увидел слуга графа Вольфа фон Цоллерн, остановил и спросил, куда это он так спешит.

— Ах,— отвечивал тот,— мой бедный господин не доживет, видать, до полуночи, ни у кого уже не осталось ни малейшей надежды.

— Вот как, значит, пришло время! — воскликнул слуга, подбежал к своей лошади, вскочил в седло и с такой быстротой понесся в гору к замку Цоллерн, что у ворот лошадь его пала, а сам он только и успел крик-

нуть: «Граф Куно умирает!» — и свалился замертво. Тут с Вышнего Цоллерна прогремел пушечный залп. Граф Вольф с матерью ликовали: их радовала и бочка доброго вина, и остальное наследство — пруд, драгоценности и громкое эхо пушечных выстрелов. Однако то, что они поначалу приняли за эхо, были пушки Шальксберга, и Вольф с улыбкой сказал матери:

— Стало быть, у Шалька тоже имелся шпион — придется нам поделить с ним также и вино, как и все прочее наследство.

Тут он поспешил сесть на коня, ибо подозревал, что Маленький Шальк постарается его опередить, дабы присвоить кое-какие ценности усопшего, прежде чем успеет приехать его брат.

Однако у пруда братья встретились, и оба покраснели от того, что каждый из них стремился первым попасть в Хиршберг. Продолжая свой путь вместе, они о Куно даже не вспоминали, а обсуждали по-братски, как им устроить свои дела и к кому из них должен отойти Хиршберг. Когда же они въезжали по мосту во двор замка, то увидели у окна своего брата, — он был живехонек и сверху глядел на них, но глаза его пылали гневом и негодованием. Увидав Куно, братья ужасно перепугались; сперва они подумали, что это привидение, и начали истово креститься; но когда убедились, что это их брат — человек из плоти и крови, — Вольф воскликнул:

— Вот те на! Экий вздор, я думал, ты умер!

— Ну, отложить — не значит отменить, — сказал Шальк, метавший на Куно злобные взгляды.

Куно же произнес грозным голосом:

— С этого часа все узы родства между нами порваны и расторгнуты. Я прекрасно слышал ваш пушечный салют; но взгляните-ка сюда — у меня во дворе тоже стоят пять кулеврин, и я приказал хорошенько зарядить их в вашу честь. Убирайтесь-ка отсюда подальше, — туда, где вас не достанут ядра моих пушек, не то узнаете, как умеют стрелять в Хиршберге.

Они не заставили просить себя дважды, так как поняли, что он не шутит, дали шпоры лошадям и наперегонки помчались вниз с горы, а Куно выпустил им вслед заряд, который просвистел у них над головой, вынудив отвесить низкий учтивый поклон, — но он хотел только пугнуть их, не причинив вреда.

— Зачем же ты стрелял? — с досадой спросил Маленький Шальк. — Болван! Ведь я стрелял только потому, что услышал твои пушки!

— Совсем напротив, можешь спросить у матушки,— возразил Вольф.— Первым стрелял ты, это из-за тебя мы претерпели такой позор, молокосос ты этакий!

Младший не остался в долгу и в свою очередь награждал брата всевозможными почетными титулами, а когда они подъехали к пруду, то еще пуще осыпали друг друга ругательствами, которые оставил им в наследство Цоллерн-Грозовая Туча, и расстались, пылая ненавистью и злобой.

День спустя Куно составил завещание, и госпожа Фельдгеймер сказала патеру:

— Бьюсь об заклад, не очень-то приятный подарок приготовил он этим пушкарям.

Но сколь ни была она любопытна и как ни выспрашивала у своего любимца, он не открыл ей, что написано в завещании; так она этого и не узнала, ибо год спустя добрая женщина скончалась, и не помогли ей ее бальзамы и отвары, потому что умерла она не от болезни, а от своих девяноста восьми лет, а годы в конце концов сведут в могилу и самого здорового человека. Граф Куно устроил ей такие похороны, словно она была его матерью, а не простой, бедной женщиной, и он почувствовал себя еще более одиноко в своем замке, тем более что и патер Йозеф вскоре последовал за госпожой Фельдгеймер.

Но недолго пришлось ему страдать от одиночества: добрый Куно умер на двадцать восьмом году, и злые языки утверждали, что причиной тому был яд, который подослал ему Маленький Шальк.

Как бы то ни было, через несколько часов после его смерти снова загремели пушки: в Цоллерне и Шальксберге дали по двадцать пять выстрелов.

— На сей раз он и вправду отдал богу душу,— сказал Шальк, когда оба брата встретились на дороге в Хиршберг.

— Да,— ответил Вольф.— А если он гаче чаяния воскреснет и примется ругаться из окна, как в тот раз, то у меня при себе ружье, уж оно-то заставит его стать повежливее и умолкнуть.

Когда они ехали вверх по склону Хиршберга, к ним присоединился какой-то незнакомый всадник со свитой. Они подумали, что это, наверное, друг их покойного брата, и едет он на похороны. Поэтому они притворились опечаленными, восхваляли перед ним покойного, скорбели о его преждевременной кончине, а Маленький Шальк даже пролил несколько крокодиловых слези-

нок. Однако рыцарь не отвечал им, а только молча скакал с ними рядом.

— Так, а теперь погуляем вволю, подавай-ка нам, кравчий, вина, да самого лучшего! — воскликнул, спешиваясь, Вольф.

Они поднялись по винтовой лестнице и вошли в зал, но молчаливый рыцарь последовал за ними и туда, а когда близнецы по-хозяйски расселись за столом, вытащил из кармана серебряную монету, швырнул ее на каменную столешницу, так что она покатилась со звоном, и сказал:

— Вот, получайте ваше наследство, гульден с оленем, и это вполне законно.

Тут братья удивленно переглянулись, засмеялись и спросили рыцаря, что он хочет этим сказать.

Но рыцарь достал пергамент с должным количеством печатей, в котором глупый Куно перечислял обиды, причиненные ему братьями за всю его жизнь, и в конце изъявлял свою волю, чтобы в случае его смерти все его наследие, все достояние, кроме драгоценностей его покойной матери, было продано Вюртембергу, и ни более ни менее как за один жалкий гульден с оленем! А на драгоценности он завещал построить в городе Балингене приют для бедных.

Вот уж когда братья удивились так удивились, но теперь им было не до смеха, они только стиснули зубы от злости, — где им было тягаться с Вюртембергом. Так они потеряли прекраснейшее имение, лес и поле, и город Балинген, и даже обильный рыбой пруд, а унаследовали всего-навсего жалкий гульден с оленем. Вольф с надменным видом засунул его в карман камзола, и не проронив ни слова, нахлобучил на голову берет, надменно, не прощаясь, прошествовал мимо вюртембергского комиссара, вскочил на коня и поскакал в Цоллерн. Когда же на другое утро мать принялась бранить его за то, что они с братом проворонили имение и драгоценности, он поскакал в Шальксберг.

— Что мы сделаем с наследством, — пропьем или проиграем? — спросил он брата.

— Давай лучше пропьем, — сказал Шальк. — Тогда мы оба им попользуемся. Поедем-ка в Балинген, покажемся там всем назло, хоть и лишились мы этого городка так глупо.

— А в «Ягненке» отменное красное вино — лучшего не пивал и сам император! — добавил Вольф.

Итак, они вдвоем отправились в Балинген, к «Ягненку», спросили, сколько стоит штоф красного, и пили до тех пор, пока не пропили весь гульден. Тогда Вольф поднялся, вытащил серебряную монету с вычеканенным на ней скачущим оленем и бросил ее на стол со словами:

— Вот вам гульден, и мы в расчете!

Но хозяин взял гульден, оглядел его сначала с одной, потом с другой стороны и, улыбаясь, сказал:

— Да, были бы в расчете, ежели бы на этом гульдене не было оленя, но вчера к нам прибыл гонец из Штутгарта, а сегодня глашатаи с барабанным боем возвестили именем герцога Вюртембергского, — к нему ведь теперь отошел городок, — что деньги эти вышли из обращения, так что уж давайте другие!

Братья побледнели и переглянулись.

— Плати-ка ты! — сказал один.

— А у тебя разве нет других денег? — спросил второй.

Короче говоря, они задолжали этот гульден «Ягненку» в Балингене. Молча ехали они своей дорогой, погруженные в задумчивость, а когда достигли развилки, где путь направо вел в Цоллерн, а налево — в Шальксберг, Шальк сказал:

— Как же быть? Выходит, мы унаследовали меньше, чем ничего? Да и вино было дрянное.

— Верно, — ответил Вольф. — Вот и исполнилось то, что предсказала Фельдгеймерша: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем!» А теперь нам не дали за него и штофа вина!

— Сам знаю! — отвечал владелец Шальксберга.

— Вздор! — сказал тот, что владел Цоллерном, и, озлившись на себя и на весь мир, поскакал в свой замок.

— Вот вам сказание о гульдене с изображением оленя, — закончил мастер, — и, говорят, это не вымысел. Хозяин заезжего двора в Дюрвангене, что недалеко от трех замков, рассказал его моему приятелю, который часто ходит проводником через Швабский Альб и всегда заворачивает в его харчевню.

Собравшиеся похвалили рассказчика.

— Чего только не наслушаешься на свете! — воскликнул возчик. — Вот теперь я рад, что мы не потратили времени зря на игру в карты, так, право же, лучше; я запомнил это предание и могу завтра пересказать его моим товарищам, не пропустив ни единого слова.

— Пока вы рассказывали, я тоже припомнил одну легенду, — сказал студент.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста,— принялись просить его мастер и Феликс.

— Хорошо,— согласился он,— сейчас ли мой черед или после, не важно: должен же я расплатиться за то, что слышал. То, что я хочу рассказать, говорят, действительно было.

Он сел поудобнее и хотел уже начать свой рассказ, но тут хозяйка отставила прялку и подошла к столу, где сидели гости.

— А теперь, господа, пора и на покой,— сказала она.— Пробыло девять, а завтра опять день будет.

— Ну и ступай себе спать! — сказал студент.— Принеси нам бутылку вина, а потом ты нам уже ни к чему.

— Нет, так не водится,— недовольно буркнула она.— Пока в зале гости, ни хозяйке, ни прислуге уйти нельзя. Коротко и ясно: отправляйтесь по своим комнатам, господа, я устала, а после девяти у меня в доме бражничать не полагается.

— Да что это вы, хозяйка? — удивился мастер.— Чем мы вам помешаем, ежели засидимся здесь, а вы уже ляжете спать? Мы люди честные, ничего не унесем и не уйдем, не расплатившись. А так понукать меня я не позволю ни в какой гостинице.

Хозяйка бросила на него гневный взгляд.

— Так, по-вашему, я из-за всякого жалкого подмастерья, из-за всякого побродяжки, с которого и заработаю-то всего каких-нибудь двенадцать крейцеров, стану менять весь распорядок в доме? В последний раз говорю: своевольничать я не позволю!

Мастер хотел было возразить, но студент многозначительно посмотрел на него, а остальным подмигнул.

— Хорошо,— сказал он,— раз хозяйка того хочет, то пойдем к себе в комнаты. Только можно попросить у вас свечи, чтобы нам не блуждать?

— Этим служить не могу,— нахмурясь, ответила она.— Вот огарочек, вам его хватит, а остальные и впотьмах не заблудятся. Свечами я не богата.

Студент молча взял огарок и встал из-за стола. Остальные тоже поднялись, ремесленники захватили свои пожитки, и все последовали за студентом, который светил им на лестнице.

Когда они были наверху, студент попросил их ступать потише, отпер свою комнату и поманил всех к себе.

— Теперь сомнения быть не может,— сказал он.— Она заодно с разбойниками. Вы заметили, как она боялась, что мы не ляжем, не заснем, что будем долго си-

деть и разговаривать? Она, верно, думает, что теперь мы заснем, а тогда уж нетрудно будет с нами справиться.

— А что, если нам убежать? — спросил Феликс. — В лесу легче рассчитывать на спасение, чем здесь, в четырех стенах.

— Здесь на окнах тоже решетки, — грустно сказал студент, тщетно пытаясь вырвать один из железных прутьев оконной решетки. — Если мы вздумаем спастись бегством, у нас остается только дверь, *другого* выхода у нас нет, но не думаю, что они дадут нам уйти.

— Надо попытаться, — решил возчик, — я сейчас посмотрю, можно ли пройти во двор. Если можно, я вернусь за вами.

Все одобрили его предложение, возчик разулся и на цыпочках прокрался к лестнице. Остальные со страхом прислушивались. Благополучно, никем не замеченный, спустился он уже до половины лестницы, обогнул столб на повороте, и вдруг перед ним вырос огромный дог, положил передние лапы ему на плечи, и возчик у самого своего лица увидел оскаленную пасть с двумя рядами длинных и острых зубов. Он не смел пошевелиться, ведь при малейшем движении страшная собака вцепилась бы ему в горло. Собака подняла лай, стала выть, и тут же появились работник и хозяйка со свечами в руках.

— Куда вы? Что вам надо? — крикнула женщина.

— Мне надо еще кое-что принести из повозки, — ответил возчик, дрожа всем телом, потому что, когда открылась дверь, он заметил в трактире каких-то подозрительных мужчин, вооруженных и загорелых.

— О чем вы раньше думали! — недовольно проворчала хозяйка. — Хватай, на место! Запри ворота, Якоб, и посвети ему до повозки.

Собака отодвинула свою страшную морду от лица возчика, сняла с его плеч лапы и опять улеглась поперек лестницы, работник запер ворота и теперь светил возчику. О бегстве нечего было и думать. Тем временем он стал размышлять, что бы такое взять из повозки, и тут ему вдруг вспомнилось, что у него там фунт восковых свечей, который он должен был отвезти в соседний город. «Огарка, что у нас есть, на четверть часа и то вряд ли достанет, — подумал он, — а свет нам необходим!» Итак, он взял две свечи, сунул их в рукав, а для вида прихватил еще плащ, чтобы укрыться ночью, как он сказал работнику.

Благополучно вернулся он обратно в комнату. Рассказал об огромной собаке, сторожащей лестницу, о людях, которых видел мельком, о мерах, принятых хозяйской против постояльцев, и со вздохом прибавил:

— Нет, сегодняшней ночи нам не пережить.

— Я этого не думаю,— возразил студент,— не так уж они глупы, чтобы, польстившись на столь малый прибыток, который они получают с нас, убить четырех человек. Но сопротивляться не следует. Что до меня, то я, должно быть, потеряю больше всех: моя лошадь уже в их руках, всего месяц тому назад я уплатил за нее пятьдесят дукатов. Кошелек и одежду я добровольно им отдам, ведь в конце концов жизнь мне дороже.

— Хорошо вам говорить,— возразил возчик,— то, что вы, возможно, потеряете, вам легко восстановить, а вот я посыльный, еду из Ашафенбурга, и в повозке у меня всякая всячина, а в здешней конюшне единственное мое достояние — два добрых коня.

— Представить себе не могу, чтобы они причинили вам зло,— заметил Феликс.— Ограбление посыльного вызовет слишком много толков и шума. А с тем, что сказали вы, господин студент, я вполне согласен: я лучше все сразу отдам и клятвенно пообещаю ничего никому не говорить, никогда даже не пожаловаться, и ради того немногого, что имею, не буду сопротивляться людям, вооруженным нарезными ружьями и пистолетами.

Возчик тем временем вытащил свои восковые свечи, прилепил их к столу и зажег.

— Ну что же, посмотрим, что с нами будет,— сказал он,— усядемся опять рядком и постараемся за разговорами позабыть о сне.

— Да, так и сделаем,— поддержал его студент,— а так как очередь теперь за мной, то я и расскажу вам одну историю.

Холодное сердце

Часть ПЕРВАЯ

Кому доведется побывать в Швабии, пусть непременно заглянет и в Шварцвальд,— но не ради леса, хотя такого несметного числа рослых могучих елей в других местах, верно, и не сы-

щешь, а ради тамошних жителей, которые удивительно не похожи на всех прочих людей в округе. Они выше обычного роста, широки в плечах и обладают недюжинной силой, как будто живительный аромат, по утрам источаемый елями, с юных лет наделил их более свободным дыханием, более зорким взглядом и более твердым, хотя и суровым, духом, нежели обитателей речных долин и равнины. Не только ростом и сложением, но также обычаями своими и одеждой отличаются они от тех, кто живет за пределами этого горного края. Особенно нарядны жители баденского Шварцвальда: мужчины носят окладистую бороду, какую их наградила природа, а их черные куртки, широченные сборчатые шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими плоскими полями придают им вид слегка причудливый, зато внушительный и достойный. В тех местах большинство людей занимается стекольным промыслом, делают они также часы, которые расходятся по всему свету.

В другой части Шварцвальда живут люди того же племени, однако иное занятие породило у них иные нравы и привычки, чем у стекловаров. Они промышленляют лесом: валят и обтесывают ели, сплавляют их по Нагольду в верховья Неккара, а из Неккара — вниз по Рейну, до самой Голландии; и тем, кто живет у моря, примелькались шварцвальдцы с их длинными плотами; они останавливаются на всех речных пристанях и с важностью ожидают, не купят ли у них бревна и доски; но самые толстые и длинные бревна они продают за хорошие деньги «мингерам», которые строят из них корабли. Люди эти привыкли к суровой кочевой жизни. Спускаться на плотах по течению рек для них истинная радость, возвращаться по берегу пешком — истинная мука. Потому-то их праздничный наряд так отличен от наряда стекловаров из другой части Шварцвальда. Они носят куртки из темной парусины; на широкой груди — зеленые помочи шириной в ладонь, штаны черной кожи, из кармана которых, как знак отличия, торчит латунный складной метр; однако их красу и гордость составляют сапоги, — должно быть, больше нигде на свете не носят таких огромных сапог, их можно натянуть на две пяди выше колена, и плотовщики свободно шагают в этих сапогах по воде глубиной в три фута, не промочивши ног.

Еще совсем недавно жители здешних мест верили в лесных духов, и только в последние годы удалось отвлечь их от этого глупого суеверия. Но любопытно, что и лесные духи, согласно легенде обитавшие в Шварц-

вальде, тоже разнились между собой в одежде. Так, например, уверяли, что Стекланный Человечек, добрый дух ростом в три с половиной фута, всегда является людям в островерхой шляпе с большими плоскими полями, в курточке и шароварах и в красных чулочках. А вот Голландец Михель, который бродит в другой части леса, сказывают, огромный широкоплечий детина в одежде плотовщика, и многие люди, якобы видевшие его, твердят, что не хотели бы из своего кармана платить за телят, чья кожа пошла ему на сапоги. «Уж такие высокие, что обыкновенный человек уйдет в них по горло», — уверяли они и божились, что нисколько не преувеличивают.

Вот с этими-то лесными духами, говорят, и приключилась у одного парня из Шварцвальда история, которую я хочу вам рассказать.

Жила некогда в Шварцвальде вдова — Барбара Мункиха; муж ее был угольщик, и после его смерти она исподволь готовила их шестнадцатилетнего сына к тому же ремеслу. Юный Петер Мунк, рослый статный малый, безропотно просиживал всю неделю у дымящейся угольной ямы, потому что видел, что и отец его делал то же самое; затем, прямо как был, чумазый и закопченный, сущее пугало, спускался вниз, в ближний город, чтобы продать свой уголь. Но занятие угольщика таково, что у него остается много свободного времени для размышлений о себе и о других; и когда Петер Мунк сидел у своего костра, мрачные деревья вокруг и глубокая лесная тишина наполняли его сердце смутной тоской, вызывавшая слезы. Что-то печалило, что-то злило его, а вот что, он и сам толком не понимал. Наконец он смекнул, что его злит — его ремесло. «Одинокий, чумазый угольщик! — сетовал он. — Что это за жизнь! Каким уважением пользуются стекловары, часовые мастера, даже музыканты, по праздникам! А вот появится Петер Мунк, добела отмытый, нарядный, в отцовской праздничной куртке с серебряными пуговицами и в новехоньких красных чулках, — и что же? Пойдет кто-нибудь за мною следом, подумает сперва: «Что за ладный парень!», похвалит про себя и чулки, и молодецкую статью, но едва лишь обгонит меня и заглянет в лицо, сразу и скажет: «Ах, да это всего-навсего Петер Мунк, угольщик!»

И плотовщики из другой части леса тоже возбуждали в нем зависть. Когда эти лесные великаны приходили к ним в гости, богато разодетые, навесив на себя добрых

полцентнера серебра в виде пуговиц, пряжек и цепочек; когда они, широко расставив ноги, с важным видом глядели на танцоров, ругались по-голландски и, подобно знатным мингерам, курили аршинные кельнские трубки,— Петер смотрел на них с восторгом; такой вот плотовщик представлялся ему образцом счастливого человека. А когда эти счастливыцы, запустив руку в карман, пригоршнями вытаскивали оттуда полновесные талеры и, поставив какой-нибудь грош, проигрывали в кости по пять, а то и по десять гульденов,— у него мутилось в голове, и он в глубоком унынии брел в свою хижину; в иной воскресный вечер ему случалось наблюдать, как тот или другой из этих «лесных торгашей» проигрывал больше, нежели бедный папаша Мунк зарабатывал за целый год. Среди этих людей особенно выделялись трое, и Петер не знал, которым из них восхищаться больше. Первый был краснолицый рослый толстяк, он слыл богатейшим человеком в округе. Его прозвали Толстяк Эзехиль. Два раза в год он возил в Амстердам строевой лес и был так удачлив, что продавал его намного дороже, чем остальные, оттого и мог позволить себе возвращаться домой не пешком, как все, а плыть на корабле, словно важный барин. Второй был самый высокий и худой человек во всем Шварцвальде, его прозвали Долговязый Шлуркер. Мунк особенно завидовал его необыкновенной смелости: он перечил самым почтенным людям, и будь трактир даже битком набит, Шлуркер занимал в нем больше места, нежели четыре толстяка,— он либо облокачивался на стол, либо клал на скамью одну из своих длинных ног,— но никто не смел ему и слова поперек сказать, потому что у него было неслыханно много денег. Третий был красивый молодой человек, который танцевал лучше всех во всем крае, за что и получил прозвище Короля Танцев. Он был когда-то бедным парнем и служил работником у одного из «лесных торгашей», но вдруг и сам стал несметно богат; одни говорили, будто он нашел под старой елью горшок денег, другие утверждали, будто острой, которой плотовщики ловят рыбу, он выудил из Рейна, невдалеке от Белингена, мешок золота, а мешок этот-те был частью схороненного там сокровища Нибелунгов; короче говоря, он в одночасье разбогател, за что и стар и млад теперь почитали его, словно принца.

Вот об этих-то людях и думал без конца Петер Мунк, когда в одиночестве сидел в еловом лесу. Правда, им был свойствен один порок, за который их все ненавиде-

ли,— то была их нечеловеческая алчность, их бессердечное отношение к должникам и к бедным; надо вам сказать, что шварцвальдцы — народ добродушнейший. Но известно, как оно бывает на свете: хотя их и ненавидели за алчность, все же весьма почитали за богатство, ведь кто еще, кроме них, так сорил талерами, словно деньги можно просто натрясти с елок?

«Так дальше продолжаться не может,— решил однажды Петер, охваченный печалью: накануне был праздник и весь народ собрался в трактире,— если мне вскорости не повезет, я наложу на себя руки. Эх, был бы я так же уважаем и богат, как Толстяк Эзехиль, или так же смел и силен, как Долговязый Шлуркер, или так же знаменит, как Король Танцев, и мог бы, как он, бросать музыкантам талеры, а не крейцеры! Откуда только взялись у него деньги?» Петер перебрал в уме все способы добывания денег, но ни один не пришелся ему по душе, наконец ему вспомнились предания о людях, которые в стародавние времена разбогатели с помощью Голландца Михеля или Стеклянного Человечка. Пока еще был жив его отец, к ним часто заходили другие бедняки, и они, бывало, подолгу судили и рядили о богатых и о том, как к ним привалило богатство, нередко поминали они Стеклянного Человечка; да, хорошенько подумав, Петер смог восстановить в памяти почти весь стишок, который надо было произнести на Еловом Бугре, в самом сердце леса, чтобы Человечек появился. Стишок этот начинался словами:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал...

Но сколько он ни напрягал память, последняя строка никак не шла ему на ум. Он уже подумывал, не спросить ли кого-нибудь из стариков, какими словами кончается заклинание, но его всегда удерживала боязнь выдать свои мысли; к тому же — так он считал — предание о Стеклянном Человечке знают немногие, стало быть, и заклинание мало кто помнит; у них в лесу богатые люди наперечет, да и отчего тогда его отец и другие бедняки не попытались счастья? Однажды он навел на разговор о Человечке свою мать, и она рассказала ему то, что он уже знал сам, она тоже помнила только первые строки заклинания, но под конец все же поведала сыну, что старичок-лесовичок показывается лишь тем, кто родился в воскресенье между одиннадцатью и двумя

часами. Сам Петер, зная он заклинание, как раз и мог быть таким человеком, ибо он родился в воскресенье в половине двенадцатого.

Как только Петер услышал это, он чуть не спятил от радости и нетерпения поскорее осуществить свой замысел. Хватит и того, думал Петер, что он родился в воскресенье и знает часть заклинания. Стеклоанный Человек непременно ему явится. И вот однажды, продав свой уголь, он нового костра разжигать не стал, а надел отцовскую праздничную куртку, новые красные чулки и воскресную шляпу, взял можжевеловый посох длиной в пять футов и сказал на прощанье: «Матушка, мне надо сходить в город, в окружную канцелярию, подходит срок тянуть жребий, кому из нас идти в солдаты, вот я и хочу напомнить начальнику, что вы вдова и я у вас единственный сын». Мать похвалила его за такое намерение, да только Петер отправился прямехонько на Еловый Бугор. Место это находится на высочайшей из Шварцвальдских гор, на самой ее вершине, и в те времена на два часа пути вокруг не было не то что селения — ни одной хижины, ибо суеверные люди считали, что там нечисто. Да и лес, хоть и рос на Бугре прямо-таки исполинские ели, в тех местах валили неохотно: у дровосеков, когда они там работали, топор иной раз соскакивал с топорща и вонзался в ногу или деревья падали так быстро, что увлекали за собой людей и калечили их, а то и вовсе убивали, к тому же и самые прекрасные деревья из тех, что росли на Еловом Бугре, можно было пустить только на дрова, — плотовщики ни за что не взяли бы ни одного бревна оттуда в свой плот, ибо существовало поверье, что и люди и плоты гибнут, если с ними плывет хоть одно бревно с Елового Бугра. Вот почему на этом заклятом месте деревья росли так густо и так высоко, что там и днем было темно, как ночью, и Петера Мунка стала пробирать дрожь, — он не слышал здесь ни человеческого голоса, ни чьих-либо шагов, кроме своих собственных, ни стука топора; казалось, птицы и те не отваживаются залетать в густой мрак этой чащи.

Но вот Петер-угольщик взобрался на самый верх бугра и стоял теперь перед елью чудовищной толшины, за которую любой голландский корабельщик, не моргнув глазом, выложил бы сотню гульденов. «Здесь-то, наверное, и живет Хранитель Клада», — подумал Петер, снял свою воскресную шляпу, отвесил ели низкий поклон, откашлялся и дрожащим голосом проговорил:

— Добрый вечер, господин стекольный мастер!

Но ответа не последовало, вокруг царила такая же тишина, что и раньше. «Может быть, я все же должен сказать стишок?» — подумал Петер и пробормотал:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал...

Когда он говорил эти слова, то, к великому своему ужасу, заметил, что из-за толстой ели выглядывает какая-то странная крохотная фигурка; ему показалось, что это и был Стеклянный Человечек, как его описывали: черная курточка, красные чулочки и шляпа, все было в точности так, Петеру почудилось даже, что он видит тонкое и умное личико, о котором ему случалось слышать. Но увы! Стеклянный Человечек исчез столь же мгновенно, как появился.

— Господин стекольный мастер! — немного помедлив, позвал Петер Мунк. — Будьте так добры, не дурачьте меня!.. Господин стекольный мастер, если вы думаете, что я вас не видел, то изволите очень ошибаться, я заметил, как вы выглядывали из-за дерева.

Но ответа все не было, лишь иногда из-за ели Петеру слышался легкий хриплый смешок. Наконец нетерпение пересилило страх, который до сих пор еще удерживал его. «Погоди, малыш, — крикнул он, — я тебя мигом сцапаю!» Одним прыжком достиг он толстой ели, но никакого Хранителя Клада там не было и в помине, только крохотная пригожая белочка взбегала вверх по стволу.

Петер Мунк покачал головой: он понял, что дело ему почти удалось, вспомнить бы только еще одну-единственную строчку заклинания, и Стеклянный Человечек предстанет перед ним, но, сколько он ни думал, сколько ни старался, все было тщетно. На нижних ветвях ели снова появилась белочка, казалось, она подзадоривает его или смеется над ним. Она умывалась, помахивала своим роскошным хвостом и глядела на него умными глазками; но под конец ему даже стало страшно наедине с этим зверьком, ибо у белки то вдруг оказывалась человеческая голова в треугольной шляпе, то она была совсем как обыкновенная белка, только на задних лапках у нее виднелись красные чулки и черные башмаки. Короче говоря, забавный это был зверек, однако у Петера-угольщика душа теперь совсем ушла в пятки, — он понял, что *дело тут нечисто*.

Обратно Петер мчался еще быстрее, чем шел сюда. Тьма в лесу, казалось, делалась все непроглядней, де-

ревья — все гуще, и страх охватил Петера с такой силой, что он пустился бежать со всех ног. И только заслышав вдали лай собак и вскоре после того завидев меж деревьев дымок первого дома, он немного успокоился. Но когда он подошел поближе, то понял, что с перепугу побежал не в ту сторону и вместо того, чтобы прийти к стекловарам, пришел к плотовщикам. В том доме жили дровосеки: старик, его сын — глава семьи, и несколько взрослых внуков. Петера-угольщика, попросившегося к ним на ночлег, они приняли радушно, не любопытствуя ни как его звать, ни где он живет; угостили яблочным вином, а вечером поставили на стол жареного глухаря, любимое кушанье шварцвальдцев.

После ужина хозяйка и ее дочери уселись за прялки вокруг большой лучины, которую сыновья разожгли с помощью превосходной еловой смолы; дед, гость и хозяин дома курили и смотрели на работающих женщин, парни же занялись вырезыванием из дерева ложек и вилок. В лесу тем временем разыгралась буря, ветер выл и свистел среди елей, то тут, то там слышались сильные удары, порой казалось, будто с треском валятся целые деревья. Бесстрашные юноши хотели выбежать, чтобы понаблюдать вблизи это грозно-прекрасное зрелище, но дед остановил их строгим взглядом и окриком.

— Никому бы я не посоветовал выходить сейчас за дверь, — сказал он, — как Бог свят, кто б ни вышел, назад не вернется, ведь нынешней ночью Голландец Михель рубит себе деревья для нового плота.

Младшие внуки вытаращили глазенки: они и раньше слышали о Голландце Михеле, но теперь попросили дедушку рассказать о нем поподробнее; да и Петер Мунк присоединил к ним свой голос, — в его краях о Голландце Михеле рассказывали очень туманно, — и спросил у старика, кто такой этот Михель и где обитает.

— Он хозяин здешнего леса, и ежели вы в ваши годы еще об этом не слыхивали, значит, живете вы за Еловым Бугром, а то и дальше. Так уж и быть, расскажу я вам о Голландце Михеле, что знаю сам и что гласит предание. Тому назад лет сто, — так по крайней мере рассказывал мой дед, — на всем свете не было народа честнее шварцвальдцев. Теперь, когда в нашем краю завелось столько денег, люди стали дурными и бессовестными. Молодые парни по воскресеньям пляшут, горланят песни и сквернословят, да так, что оторопь берет; но в те времена все было по-иному, и пусть бы он сам заглянул сейчас вон в то окно, я все равно скажу, как говорил

уже не раз: во всей этой порче виноват Голландец Михель. Так вот, сто лет тому назад, а быть может и раньше, жил-был богатый лесоторговец, державший у себя много работников; он сплавлял лес до самых низовьев Рейна, и Господь помогал ему, потому что был он набожным человеком. Однажды вечером постучался к нему какой-то детина — таких он сроду не видывал. Одет, как все шварцвальдские парни, только ростом на голову выше их,— даже трудно было поверить, что живет на свете такой великан. Значит, просит он лесоторговца взять его на работу, а тот, приметив, что малый на редкость сильный и может таскать тяжести, тут же уговорился с ним о плате, и они ударили по рукам. Михель оказался таким работником, какие лесоторговцу и не снились. Когда рубили деревья, он управлялся за троих, а если ношу с одного конца поднимали шестеро, за другой брался он один. Прошло с полгода, как он рубил лес, и вот в один прекрасный день является он к хозяину и говорит: «Хватит уж мне рубить лес, хочу я наконец поглядеть, куда уплывают мои бревна,— что, коли вы и меня разокопустите с плотами?»

Лесоторговец отвечал: «Я не стану тебе препятствовать, Михель, если тебе захотелось повидать свет. Хоть и нужны мне на рубке леса сильные люди, а на плотях важнее ловкость, нежели сила, на сей раз пусть будет по-твоему».

На том и порешили; плот, с которым предстояло ему плыть, составлен был из восьми вязок, а последняя — из огромных строевых балок. И что же дальше? Накануне вечером приносит Михель к реке еще восемь бревен — таких толстых и длинных, каких свет не видывал, а он их несет играючи, словно это всего-навсего шесты — тут всех прямо в дрожь бросило. Где он их срубил — так до сих пор никто и не знает. Увидал это лесоторговец, и сердце у него взыграло: он быстро прикинул в уме, сколько можно выручить за эти бревна, а Михель и говорит: «Ну вот, на этих-то я и отправлюсь, не на тех же щепочках мне плыть!» Хозяин хотел было дать ему в награду пару сапог, какие носят плотовщики, да Михель отшвырнул их и принес невесть откуда другие, невиданные; дед мой уверял, что весили они добрых сто фунтов и были в пять футов длиной.

Плот спустили на воду, и ежели раньше Михель удивлял дровосеков, то теперь пришел черед удивлять плотовщиков: они-то думали, что плот их из-за тяжелых бревен пойдет медленно, а он, как только попал в Нек-

кар, понесся стрелой; там же, где Неккар делал излучину и плотовщики обыкновенно с превеликим трудом удерживали гонку на быстрине, не давая ей врезаться в прибрежный песок или гальку, Михель всякий раз соскакивал в воду, одним толчком вправо или влево направлял плот, так что он без помех скользил дальше; а где река текла прямо, перебежал вперед на первую вязку, приказывал всем положить весла, втыкал в дно реки свой огромный шест, и плот с маху летел вперед, — казалось, будто деревья и села на берегу стремительно проносятся мимо. Таким-то манером они вдвое быстрее обычного достигли города Кёльна на Рейне, где всегда сбывали свой груз, но теперь Михель им сказал: «Ну и купцы! Хорошо же вы понимаете свою выгоду! Неужто вы думаете, что кёльнцы сами потребляют весь лес, который им пригоняют из Шварцвальда? Нет, они скупают его у вас за полцены, а потом перепродают подороже в Голландию. Давайте мелкие бревна продадим здесь, а большие отвезем в Голландию; все, что мы выручим сверх обычной цены, пойдет в наш карман».

Так говорил злокозненный Михель, и остальным это пришлось по душе: кому хотелось повидать Голландию, кому взять побольше денег. Нашелся среди них один честный малый, который отговаривал их рисковать хозяйским добром или обманывать хозяина в цене, да они его и слушать не стали и сразу позабыли его слова, только Голландец Михель не позабыл. Вот и поплыли они со своим лесом дальше, вниз по Рейну, Михель управлял плотом и быстро доставил их в Роттердам. Там предложили им цену, вчетверо больше прежней, а за огромные Михелевы балки отвалили целую кучу денег. Когда шварцвальдцы увидели такую уйму золота, они прямо с ума посходили от радости. Михель поделил выручку — одну четверть лесоторговцу, три четверти — плотовщикам. И тут пошла у них гульба; с матросами и со всякой прочей швалью шатались они денно и нощно по кабакам, пропивали да проигрывали свои денежки, а того честно-го парня, который их удерживал, Голландец Михель продал торговцу живым товаром, и никто больше о нем не слышал. С той поры и стала Голландия раем шварцвальдских парней, а Голландец Михель — их повелителем; лесоторговцы долгое время ничего не знали об этой тайной торговле, и мало-помалу сюда, в верховья Рейна, стали притекать из Голландии деньги, а с ними сквернословие, дурные нравы, игра и пьянство.

Когда правда наконец вышла наружу, Голландец Михель как в воду канул; однако он жив и поныне. Вот уже сто лет творит он бесчинства в здешнем лесу и, скажут, многим помог разбогатеть, да только ценою их грешной души — больше я ничего не скажу. Одно верно: и по сию пору в такие вот бурные ночи выискивает он на Еловом Бугре, где никто леса не рубит, самые отменные ели, и мой отец своими глазами видел, как ствол толщиной в четыре фута переломил он, словно тростинку. Эти бревна он дарит тем, кто сошел с пути истинного и стакнулся с ним: в полночь они спускают плоты на воду, и он плывет с ними в Голландию. Только будь я государем в Голландии, я бы приказал разнести его в куски картечью, — ведь все корабли, где есть хоть одна доска из тех, что поставил Голландец Михель, неминуемо идут ко дну. Потому и приходится слышать о стольких кораблекрушениях: отчего бы иначе вдруг затонул красивый крепкий корабль высотой с церковь? Но всякий раз, когда Голландец Михель в такую бурную ночь рубит ель в Шварцвальде, одна из прежних его досок выскакивает из пазов корабля, в щель затекает вода, и судно с людьми и товаром идет ко дну. Вот вам предание о Голландце Михеле, и то истинная правда — вся порча в Шварцвальде пошла от него. Да, он может дать человеку богатство, но я бы не стал у него что-нибудь брать, ни за что на свете не хотел бы я быть на месте Толстяка Эзехила или Долговязого Шлуркера, говорят, что и Король Танцев проданся ему!

Пока старик рассказывал, буря улеглась; напуганные девушки засветили лампы и ушли к себе, а мужчины положили на лавку у печки мешок, набитый листьями, вместо подушки для Петера Мунка, и пожелали ему спокойной ночи.

Никогда еще Петеру не снились такие страшные сны, как в эту ночь: то ему чудилось, будто огромный, страшный Голландец Михель распахивает окна в горнице и своей длинной ручищей сует ему под нос мешок с деньгами, легонько встряхивая его, так что монеты бренчат ласково и звонко; то ему снилось, будто добрый Стекланный Человечек скачет по комнате верхом на громадной зеленой бутылке, и опять слышалось хриповатое хихиканье, как давеча на Еловом Бугре; кто-то прожужжал ему в левое ухо:

За золотом, за золотом
В Голландию плыви,
Золото, золото
Смело бери!

Тут в правое ухо ему полилась знакомая песенка про Хранителя Клада в еловом лесу, и нежный голосок прошептал: «Глупый Петер-угольщик, глупый Петер Мунк, не можешь найти рифму на «взывал», а еще родился в воскресенье, ровно в полдень. Ищи, глупый Петер, ищи рифму!»

Он кряхтел и стонал во сне, силясь найти рифму, но так как он еще сроду не сочинял стихов, все его усилия были напрасны. Когда же с первыми лучами зари он проснулся, сон этот показался ему очень странным; он сел за стол и, скрестив на груди руки, стал размышлять о словах, которые слышались ему во сне,— они все еще звучали у него в ушах. «Ищи, глупый Петер, ищи рифму!» — повторил он про себя и постучал себе пальцем по лбу, но рифма упорно не шла. Когда он по-прежнему сидел в той же позе и мрачно глядел перед собой, неотступно думая о рифме на «взывал», мимо дома в глубь леса прошли трое парней, и один из них на ходу распевал:

С горы в долину я взывал,
Искал тебя, мой свет.
Платочек белый увидал —
Прощальный твой привет.

Тут Петера словно молнией пронзило, он вскочил и выбежал на улицу,— ему показалось, что он недослышал. Нагнав парней, он быстро и цепко схватил певца за руку.

— Стой, приятель! — крикнул он. — Какая у вас там рифма на «взывал»? Сделайте милость, скажите мне слова той песни!

— Еще чего вздумал! — возразил шварцвальдец. — Я волен петь, что хочу! Ну-ка, отпусти мою руку, не то...

— Нет, ты мне скажешь, что пел! — в ярости кричал Петер, еще крепче сжимая парню руку.

Увидев это, двое других немедля кинулись на Петера с кулаками и дубасили до тех пор, пока он от боли не выпустил рукав третьего и, обессилев, не рухнул на колени.

— Ну и поделом тебе! — смеясь, сказали парни. — А наперед запомни — с такими, как мы, шутки плохи!

— Запомнить-то я, конечно, запомню, — вздыхая, ответил Петер-угольщик. — Но теперь, когда вы все равно меня отдубасили, будьте так добры, скажите, что он пел!..

Они снова расхохотались и стали над ним издеваться; но парень, который пел песню, сказал ему слова, после чего они, смеясь и распевая, двинулись дальше.

— Значит, увидал,— пробормотал бедняга; весь избитый, он с трудом поднялся на ноги.— «Взывал» рифмуется с «увидал». Теперь, Стекланный Человечек, давай с тобой еще разок перемолвимся словом!

Он возвратился в дом, взял шляпу и посох, попрощался с хозяевами и отправился опять на Еловый Бугор. Медленно и задумчиво шел он своей дорогой,— ведь ему непременно надо было вспомнить стишок; наконец, когда он уже всходил на бугор, где ели обступали его все теснее и становились все выше, стишок вдруг вспомнился сам собой, и он от радости даже подпрыгнул.

Тут из-за деревьев выступил огромный детина в одежде плотовщика, держа в руке багор длинной с корабельную мачту. У Петра Мунка подкосились ноги, когда он увидел, что великан медленно зашагал рядом с ним, ибо он понял, что это не кто иной, как Голландец Михель. Страшный призрак шел молча, и Петер, в страхе, украдкой поглядывал на него. Он был, пожалуй, на голову выше самого высокого человека, которого Петер когда-либо видел, лицо его, хоть и сплошь изрытое морщинами, казалось не молодым и не старым; одет он был в парусиновую куртку, а огромные сапоги, натянутые поверх кожаных штанов, были знакомы Петеру из предания.

— Петер Мунк, зачем пришел ты сюда, на Еловый Бугор? — спросил наконец лесовик низким глухим голосом.

— Доброе утро, земляк,— отвечал Петер, делая вид, что ничуть не испугался, хотя на самом деле дрожал всем телом,— я иду через Еловый Бугор к себе домой.

— Петер Мунк,— возразил великан, метнув на юношу страшный, пронзительный взгляд,— через эту рощицу твой путь не лежит.

— Ну да, это не совсем прямой путь,— заметил тот,— но сегодня жарко, вот я и подумал, что здесь мне будет попрохладней.

— Не лги, Петер-угольщик! — громовым голосом вскричал Голландец Михель.— Не то я уложу тебя на месте во этом багром. Думаешь, я не видел, как ты кланчил деньги у гнома? — добавил он чуть мягче.— Положим, то была глупая затея, и хорошо, что ты позабыл стишок, ведь коротышка-то скупердяй, много он не даст, а если кому и даст, тот не возрадуется. Ты, Петер, горемыка, и мне от души тебя жаль. Такой славный,

красивый малый мог бы заняться чем получше, а не сидеть день-деньской возле угольной ямы! Другие так и сыплют талерами или дукатами, а ты едва можешь наскрести несколько грошей. Что это за жизнь!

— Ваша правда, жизнь незавидная, ничего тут не скажешь!

— Ну, для меня это сущий пустяк,— я уже не одного такого молодца вызволил из нужды,— не ты первый. Скажи-ка, сколько сотен талеров понадобится тебе для начала?

Тут он потряс деньгами в своем огромном кармане, и они зазвенели как нынешней ночью в Петеровом сне. Но сердце Петера при этих словах тревожно и болезненно сжалось; его бросало то в жар, то в холод, не похоже было, что Голландец Михель способен дать деньги из жалости, ничего не требуя взамен. Петеру вспомнились таинственные слова старого дровосека о богатых людях, и, полный неизъяснимого страха, он крикнул:

— Большое спасибо, сударь, только с вами я не хочу иметь дело — ведь я вас узнал! — и побежал, что было прыти. Но лесной дух огромными шагами следовал за ним, глухо и грозно ворча:

— Ты пожалеешь об этом, Петер, на лбу у тебя написано и по глазам видно — меня тебе не миновать. Да не беги ты так быстро, послушай разумное слово, вот уже и граница моих владений!

Но как только Петер это услышал и заметил впереди неширкую канаву, он помчался еще быстрее, чтобы поскорее пересечь границу, так что Михелю под конец пришлось тоже прибавить шагу, и он гнался за Петером с бранью и угрозами. Отчаянным прыжком юноша перемахнул через канаву,— он увидел, как лесовик занес свой багор, готовясь обрушить его на голову Петера; однако он благополучно прыгнул на ту сторону, и багор разлетелся в щепы, словно ударясь о невидимую стену, только один длинный обломок долетел до Петера.

Торжествуя, подобрал он обломок, чтобы швырнуть его назад грубияну Михелю, но вдруг почувствовал, что кусок дерева ожил в его руке, и, к ужасу своему, увидел, что держит чудовищную змею, которая тянется к нему, сверкая глазами и алчно высовывая язык. Он выпустил ее, но она успела плотно обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь, понемногу приближалась к его лицу. Вдруг раздался шум крыльев, и откуда-то слетел огромный глухарь, он ухватил змею за голову своим клювом и взмыл с нею в воздух, а Голландец Михель, видевший

с другой стороны канавы, как змею унес некто посильнее его, завыл и затопал от ярости.

Едва отдышавшись и еще весь дрожа, Петер продолжал свой путь; тропа делалась все круче, а местность все пустыннее, и вскоре он снова очутился возле громадной ели. Он принялся, как вчера, отвешивать поклоны Стеклянному Человечку, а потом произнес:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых гаится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал.
Кто в воскресенье свет увидал.

— Хоть ты и не совсем угадал, Петер-угольщик, но тебе я покажусь, так уж и быть,— проговорил тонкий, нежный голосок поблизости от него.

Петер в изумлении оглянулся: под красивой елью сидел маленький старичок в черной курточке, красных чулочках и огромной шляпе. У него было тонкое приветливое личико, а борода нежная, словно из паутины, он курил — чудеса, да и только! — синюю стеклянную трубку, а когда Петер подошел поближе, то еще большую удивился: вся одежда, башмаки и шляпа Человечка были тоже из стекла, но оно было мягкое, словно еще не успело остыть, ибо следовало за каждым движением Человечка и облегало его, как материя.

— Тебе, значит, повстречался этот разбойник, Голландец Михель? — сказал Человечек, странно покашливая после каждого слова.— Он хотел тебя хорошенько напугать, да только я отобрал у злыдня его хитрую дубинку, больше он ее не получит.

— Да, господин Хранитель Клада,— ответил Петер с глубоким поклоном,— я было здорво испугался. А вы, значит, и были тот глухарь, что заклевал змею,— низжайшее вам спасибо. Я пришел сюда, чтобы просить у вас совета и помощи, уж больно мне худо живется, угольщик, он угольщиком и останется, а ведь я еще молод, вот я и подумал, что из меня могло бы выйти кое-что получше. Как посмотрю на других, сколько они нажили за короткое время,— взять хотя бы Эзехилия или Короля Танцев — у них денег куры не клюют!

— Петер,— с величайшей серьезностью сказал Человечек, выпустив длинную струю дыма из своей трубки.— Петер, об этих двоих я и слышать не хочу. Какая им польза от того, что они несколько лет будут здесь слыть счастливыми, зато потом станут тем несчастнее? Не презирай свое ремесло, твой отец и твой дед были достойные люди, а ведь они занимались тем же делом, что и

ты, Петер Мунк! Не хотел бы я думать, что тебя привела сюда любовь к праздности.

Серьезный тон Человечка испугал Петера, и он покраснел.

— Нет, господин Хранитель Клада,— возразил он,— я знаю, что праздность — мать всех пороков, но ведь вы не станете на меня обижаться за то, что другое занятие мне больше по душе, нежели мое собственное. Угольщик — ничтожнейший человек на земле, вот стекловары, плотовщики, часовых дел мастера — те будут попочтенней.

— Надменность нередко предшествует падению,— ответил Человечек уже немного приветливой.— Что вы, люди, за странное племя! Редко кто из вас бывает доволен тем положением, которое занимает по рождению и воспитанию. Ну, станешь ты стекловаром, так тебе непременно захочется стать лесоторговцем, а станешь лесоторговцем, тебе и этого будет мало, и ты пожелаешь себе место лесничего или окружного начальника. Но будь потвоему! Если ты мне обещаешь прилежно трудиться, я помогу тебе, Петер, зажить получше. Я имею обыкновение каждому, кто родился в воскресенье и сумел найти путь ко мне, исполнять три его желания. В первых двух он волен, а в третьем я могу ему и отказать, если желание его безрасудно. Пожелай и ты себе что-нибудь, Петер, но смотри не ошибись, пусть это будет что-нибудь хорошее и полезное!

— Ура! Вы замечательный Стекланный Человечек, и не зря вас зовут Хранителем Клада, вы и сами сущий клад! Ну, раз уж я могу пожелать, чего душа моя просит, то я хочу, во-первых, уметь танцевать еще лучше Короля Танцев и всякий раз приносить с собой в трактир вдвое больше денег, чем тот!

— Глупец! — гневно вскричал Человечек.— Что за пустое желание — хорошо танцевать и выбрасывать как можно больше денег на игру! Не стыдно ли тебе, безмозглый Петер, так прозевать свое счастье! Что пользы тебе и твоей бедной матери от того, что ты будешь хорошо танцевать? Что пользы вам от денег, раз ты пожелал их себе только для трактира и все они будут там оставаться, как деньги ничтожного Короля Танцев? Всю остальную неделю ты опять будешь сидеть без гроша и по-прежнему терпеть нужду. Еще *одно* твое желание будет исполнено — но подумай как следует и пожелай себе что-нибудь дельное!

Петер почесал в затылке и, немного помедлив, сказал:

— Ну тогда я желаю себе самый большой и самый прекрасный стекольный завод во всем Шварцвальде, со всем, что положено, а также деньги, чтобы им управлять!

— И больше ничего? — озабоченно спросил Человечек.— Ничего больше, Петер?

— Ну, можете добавить еще лошадь и повозочку...

— О, безмозглый Петер-угольщик! — вскричал Человечек и с досады швырнул свою стеклянную трубку в ствол толстой ели так, что она разлетелась вдребезги.— Лошадь! Повозочку! Ума, ума — вот чего следовало тебе пожелать, простого человеческого разума, а не лошадь и повозочку! Ну, да не печалься, постарайся сделать так, чтобы это не пошло тебе во вред,— второе твое желание в общем не так уж глупо. Хороший стекольный завод прокормит своего владельца-умельца, тебе бы еще только прихватить ума-разума, а уж лошадь и повозочка появились бы сами собой!

— Но, господин Хранитель Клада, у меня ведь остается еще одно желание. Вот я и мог бы пожелать себе ума, коль мне его так недостает, как вы говорите.

— Нет уж! Тебе еще не раз придется туго, и ты будешь рад-радехонек, что у тебя есть в запасе еще одно желание. А теперь отправляйся-ка домой! Вот, возьми,— сказал маленький владыка елей, вытаскивая из кармана мешочек,— здесь две тысячи гульденов, это все, и не вздумай еще раз являться ко мне за деньгами, не то я повешу тебя на самой высокой ели. Так уж у меня заведено с тех пор, как я живу в этом лесу. Три дня тому назад умер старый Винкфриц, которому принадлежал большой стекольный завод в нижнем лесу. Сходи туда завтра утром и предложи наследникам свою цену, честь по чести. Будь молодцом, прилежно трудись, а я время от времени стану навещать тебя и помогать тебе советом и делом, раз уж ты ума себе так и не выпросил. Но говорю тебе не шутя — твое первое желание было дурно. Смотри, Петер, не вздумай зачастить в трактир, это еще никого не доводило до добра.

Сказав это, Человечек достал новую трубку из прекраснейшего прозрачного стекла, набил ее сухими еловыми шишками и сунул в свой беззубый рот. Потом он вытащил огромное зажигательное стекло, вышел на солнце и зажег трубку. Управившись с этим, он ласково протянул руку Петеру, напутствовал его еще несколькими добрыми советами, а затем принялся все сильнее пыхать своей трубкой и пускать дым все чаще, пока и сам

не скрылся в облаке дыма, который пах настоящим голландским табаком и понемногу рассеивался, клубясь меж верхушек елей.

Когда Петер пришел домой, он застал мать в большой тревоге, — добрая женщина думала, что ее сына не иначе как забрали в солдаты. Но он вернулся в самом лучшем расположении духа и рассказал, что повстречал в лесу доброго друга, который ссудил его деньгами, чтобы он, Петер, сменил ремесло угольщика на другое, по-лучше. Хотя мать Петера уже тридцать лет жила в хижине угольщика и привыкла к черным от сажи лицам, как жена мельника привыкает к белому от муки лицу своего мужа, все-таки она была достаточно тщеславна, чтобы сразу, как только Петер расписал ей блестящее будущее, исполниться презрения к своему сословию. «Да, — сказала она, — мать владельца стекольного завода — это не какая-нибудь кумушка Грета или Бета, теперь я в церкви буду садиться на передние скамьи, где сидят порядочные люди».

Сын ее быстро поладил с наследниками стекольного завода. Он оставил всех прежних рабочих, но теперь они должны были денно и нощно выдувать для него стекло. Поначалу новое дело ему нравилось. Он взял за привычку неторопливо спускаться вниз на завод и важно расхаживать там, заложив руки в карманы, заглядывая то туда, то сюда и отпуская замечания, над которыми рабочие иной раз немало потешались; но самым большим удовольствием для него было смотреть, как выдувают стекло. Нередко он тоже брался за работу и выдывал из мягкой стекольной массы диковиннейшие фигуры. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он стал заходить на завод сперва только на часок, потом через день, а там — и раз в неделю, и его подмастерья делали все, что им вздумается. А причиной этому было то, что Петер зачастил в трактир. В первое же воскресенье после того, как он побывал на Еловом Бугре, Петер отправился в трактир и увидел там своих старых закомцев — и Короля Танцев, который лихо отплясывал посреди зала, и Толстяка Эзехиля — этот сидел за пивной кружкой и играл в кости, то и дело бросая на стол звонкие талеры. Петер поспешно сунул руку в карман, проверить, не обманул ли его Стекланный Человечек, — и гляди-ка! — карман его оказался битком набит золотыми и серебряными монетами. Да и ноги у него так и чесались, будто сами просились в пляс, и вот, как только кончился первый танец, Петер со своей парой стал впе-

реди, рядом с Королем Танцев, и когда тот подпрыгивал на три фута кверху, Петер взлетал на четыре, когда тот выкидывал самые замысловатые и невиданные колнца, Петер выписывал ногами такие вензеля, что зрители были вне себя от изумления и восторга. Когда же в трактире прослышали, что Петер купил стекольный завод, и увидали, что, поравнявшись во время танца с музыкантами, он всякий раз бросает им по несколько крейцеров, удивлению не было границ. Одни думали, что он нашел в лесу клад, другие — что получил наследство, но и те и эти отныне смотрели на него как на человека, который чего-то добился в жизни, и оказывали ему всяческое уважение — а все оттого только, что у него завелись деньги. И хотя в тот вечер Петер проиграл целых двадцать гульденов, в кармане у него по-прежнему звенело, словно там оставалась добрая сотня талеров.

Когда Петер заметил, сколь почтительно с ним обходятся, он от радости и гордости совсем потерял голову. Он бросал теперь деньги целыми пригоршнями и щедро раздавал их бедным, ибо еще не забыл, как его самого прежде угнетала бедность. Искусство Короля Танцев было посрамлено сверхъестественной ловкостью нового танцора, и этот высокий титул перешел отныне к Петеру.

Самые завзятые воскресные игроки не делали таких дерзких ставок, как он, но зато и проигрывали они куда меньше. Однако чем больше Петер проигрывал, тем больше у него появлялось денег. Все происходило в точности так, как он того требовал от Стеклянного Человечка. Он желал всегда иметь в кармане ровно столько денег, сколько было их у Толстяка Эзекиля, а ему-то он и проигрывал. И когда ему случалось проиграть двадцать — тридцать гульденов зараз, они тотчас же вновь оказывались у него в кармане, стоило только Эзекилю спрятать свой выигрыш. Мало-помалу он перещеголял в игре и разгуле самых отпетых парней во всем Шварцвальде, и его чаще называли Петер-игрок, чем Король Танцев, потому что теперь он играл и в будни. Зато его стекольный завод постепенно пришел в упадок, и виной тому было неразумие Петера. Стекла по его приказанию делали все больше, да только Петер не сумел вместе с заводом купить и секрет, куда это стекло повыгодней сбывать. Под конец он не знал, что ему делать со всем этим товаром, и за полцены продал его бродячим торговцам, чтобы выплатить жалованье рабочим.

Однажды вечером он плелся домой из трактира и, хотя немало выпил, чтобы развеять печаль, все же с тоской и страхом думал о предстоящем ему разорении. Вдруг он заметил, что рядом с ним кто-то идет, оглянулся — вот тебе на! То был Стеклянный Человечек. Злоба и ярость обуяли Петера, он стал запальчиво и дерзко бранить маленького лесовика — он-де виноват во всех его, Петера, несчастьях.

— На что мне теперь лошадь и повозочка? — кричал он. — Какой мне толк от завода и от всего моего стекла? Когда я был простым чумазым угольщиком, мне и то веселее жилось, и я не знал забот. А теперь я со дня на день жду, что придет окружной начальник, опишет мое добро за долги и продаст с торгов.

— Вот, значит, как? Выходит, я повинен в том, что ты несчастлив? Такова твоя благодарность за все мои милости? Кто тебе велел загадывать такие дурацкие желания? Ты захотел стать стеклоделом, а куда продавать стекло, и понятия не имел. Разве я тебя не предупредил, чтобы ты был осмотрителен в своих желаниях? Ума, смекалки — вот чего тебе не хватает, Петер.

— При чем тут ум и смекалка! — вскричал тот. — Я ничуть не глупее других, ты еще в этом убедишься, Стеклянный Человечек. — С этими словами он грубо схватил лесовичка за шиворот и закричал: — Попался, господин Хранитель Клада! Я нынче же назову свое третье желание, а ты изволь мне его исполнить. Так вот, я желаю тут же на месте получить дважды по сто тысяч талеров и дом, а сверх того... ой-ой-ой! — завопил он и задержал рукой: Стеклянный Человечек превратился в расплавленное стекло и огнем жег ему руку. А сам Человечек бесследно исчез.

Еще много дней спустя распухшая рука напоминала Петеру о его неблагодарности и безрассудстве. Но потом он заглушил в себе голос совести и подумал: «Ну и пусть они продают мой завод и все остальное, у меня ведь еще остается Толстяк Эзехиль. Пока у него по воскресеньям водятся в кармане денюжки, они будут и у меня».

Верно, Петер. Ну, а как их у него не станет? Так в конце концов и случилось, и то был удивительный арифметический казус. Однажды в воскресенье подъехал он к трактиру, все любопытные повысовывались из окон, и вот один говорит: «Петер-игрок прикатил», другой ему вторит: «Да, Король Танцев, богатый стеклодел», а третий покачал головой и сказал: «Было богатство, да

сплыло; поговаривают, что у него куча долгов, а в городе один человек сказывал, будто окружной начальник вот-вот назначит торги».

Петер-богач важно и церемонно раскланялся с гостями, слез с повозки и крикнул:

— Добрый вечер, хозяин! Что, Толстяк Эзехиль уже пришел?

Ему ответил низкий голос из дома:

— Заходи, заходи, Петер! Твое место свободно, а мы уж засели за карты.

Петер Мунк вошел в трактир и сразу полез в карман: должно быть, Эзехиль имел при себе изрядный куш, потому что Петеров карман был набит доверху. Он подсел за стол к остальным и начал играть; то проигрывал, то выигрывал, так и сидели они за карточным столом до вечера, покуда весь честный люд не стал расходиться по домам, а они все продолжали играть при свечах; тут двое других игроков сказали:

— На сегодня хватит, нам пора домой, к жене и детям.

Однако Петер-игрок стал уговаривать Толстяка Эзехиля остаться. Тот долго не соглашался, но под конец воскликнул:

— Ну ладно, сейчас я сосчитаю свои деньги, а потом мы бросим кости; ставка — пять гульденов; меньше — не игра.

Он вытащил кошелек и сосчитал деньги — набралось ровнехонько сто гульденов, так Петер-игрок узнал, сколько есть у него — ему и считать не надо было. Однако если раньше Эзехиль выигрывал, то теперь он терял ставку за ставкой и при этом сыпал страшнейшими ругательствами. Стоило ему бросить кость, как следом за ним бросал и Петер, и всякий раз у него оказывалось на два очка больше. Наконец Эзехиль выложил на стол последние пять гульденов и воскликнул:

— Попробую еще разок, но коли опять проиграю — все равно не брошу; тогда ты, Петер, дашь мне взаймы из своего выигрыша! Честный человек всегда помогает ближнему.

— Изволь, хоть сто гульденов, — отвечал Король Танцев, который не мог нарадоваться своему везению.

Толстяк Эзехиль встряхнул кости и бросил: пятнадцать. «Так! — крикнул он. — Поглядим теперь, что у тебя!» Но Петер выкинул восемнадцать, и тут у него за спиной раздался знакомый хриплый голос: «Все! Это была последняя ставка».

Он оглянулся — позади него во весь свой огромный рост стоял Голландец Михель. От испуга Петер выронил деньги, которые только что сгреб со стола. Но Толстяк Эзехиль не видел Михеля и требовал у Петера-игрока десять гульденов, чтобы отыграть. Словно в забытьи полез он в карман, но денег там не оказалось; он стал трясти свой кафтан, да только оттуда не выпало ни единого геллера, и лишь теперь Петер вспомнил первое свое желание — всегда иметь столько денег, сколько их у Толстяка Эзехиля. Богатство развеялось как дым. Эзехиль и трактирщик с удивлением глядели, как он роется в карманах и не находит денег, — им не верилось, что у него их больше нет; но когда они сами обшарили его карманы и ничего не нашли, то впали в бешенство и стали кричать, что Петер — колдун, что весь выигрыш и остаток своих денег он колдовским способом переправил домой. Петер стойко защищался, но все было против него; Эзехиль объявил, что разнесет эту ужасную историю по всему Шварцвальду, а трактирщик пригрозил завтра с рассветом отправиться в город и заявить на Петера Мунка, как на колдуна; он надеется еще увидеть, добавил трактирщик, как Петера будут сжигать. Тут они, озверев, набросились на Петера, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь.

Ни одной звездочки не горело на небе, когда Петер, в полном унынии, брел домой; однако он все же различил рядом с собой угрюмого великана, который не отставал от него ни на шаг и наконец заговорил:

— Доигрался ты, Петер Мунк. Конец твоему барскому житью, я бы мог предсказать это еще тогда, когда ты не желал со мной знаться и побежал к глупому стеклянному гному. Теперь ты и сам видишь, что бывает с теми, кто не слушает моего совета. Что ж, попытай теперь счастья со мной — мне тебя жаль. Никто еще не раскаивался в том, что обратился ко мне. Так вот, ежели дорога тебя не пугает, завтра я целый день буду на Еловом Бугре — стоит тебе только позвать.

Петер прекрасно понял, кто с ним говорит, но его охватил ужас. Ничего не ответив, он бросился бежать к дому.

На этих словах речь рассказчика была прервана какой-то суетой внизу. Слышно было, как подъехал экипаж, как несколько человек требовали принести фонарь, как громко стучали в ворота, как лаяли собаки. Комната, отведенная возчику и ремесленникам, выходила на

дорогу, все четверо постояльцев побежали туда посмотреть, что случилось. Насколько позволял свет фонаря, они разглядели перед заезжим двором большой дормез; рослый мужчина как раз помогал выйти из экипажа двум дамам в вуалях; кучер в ливрее выпрягал лошадей, а лакей отстегивал кофр.

— Да поможет им Бог,— вздохнул возчик.— Если эти господа выберутся из харчевни целы и невредимы, тогда и мне нечего бояться за мою повозку.

— Тсс! — прошептал студент.— Мне сдается, что подстерегают не нас, а этих дам. Должно быть, тем, что внизу, уже заранее было известно об их приезде. Ах, если бы только можно было их предупредить! А, знаю! Тут во всем доме, кроме моей, только одна комната, приличествующая этим дамам, и как раз рядом с моей. Туда их и проводят. Сидите в этой комнате и не шумите, а я постараюсь предупредить их слуг.

Молодой человек тихонько пробрался к себе в комнату, погасил свечи, оставив гореть только тот огарок, что дала хозяйка. Затем стал подслушивать у дверей.

Вскоре хозяйка проводила дам наверх, указала отведенную им комнату, приветливо и ласково уговаривая их поскорее лечь спать после столь утомительной дороги. Затем она сошла вниз. Скоро студент услышал тяжелые мужские шаги. Он осторожно приоткрыл дверь и увидел в щелочку того рослого мужчину, что помогал дамам выйти из дормеза. Он был в охотничьем костюме, с охотничьим ножом за поясом, и, как видно, был шталмейстером или егерем, выездным лакеем двух неизвестных дам. Увидев, что он один поднимается по лестнице, студент быстро открыл дверь и поманил его к себе. Тот в недоумении подошел ближе, но не успел спросить, в чем дело, как студент сказал ему шепотом:

— Милостивый государь, вы попали в разбойничий притон.

Незнакомец испугался. Студент потянул его за собой в комнату и рассказал, какой это подозрительный дом.

Егерь был очень обеспокоен его словами. Студент услышал от него, что дамы — графиня и ее камеристка — сначала хотели ехать всю ночь, но приблизительно за полчаса отсюда им повстречался всадник, он окликнул их и спросил, куда они держат путь. Узнав, что они намерены всю ночь ехать Шпессартским лесом, он им это отсоветовал, потому что сейчас здесь пошаливают. «Если вы хотите послушаться доброго совета,— прибавил он,— то откажитесь от этой мысли: отсюда недалеко до

харчевни, как бы плоха и неудобна она ни была, все же переночуйте лучше там, не следует без нужды подвергать себя темной ночью опасности». Человек, что дал такой совет, казался, по словам егеря, очень честным и благородным, и графиня, боясь нападения разбойников, приказала заночевать в этой харчевне.

Егерь счел своей обязанностью предупредить дам о грозящей опасности. Он прошел в смежную комнату и через некоторое время отворил дверь, которая вела из комнаты графини в комнату студента. Графиня, дама лет сорока, бледная от страха, вышла к студенту и попросила его повторить ей все сказанное егерю. Затем они посоветовались, что делать в их рискованном положении, и решили как можно осторожнее позвать двух графининых слуг, возчика и обоих ремесленников, чтобы в случае нападения держаться всем вместе.

Когда все были в сборе, ту дверь, что из комнаты графини вела в коридор, заперли и заставили комодами и стульями. Графиня с камеристкой уселись на кровать, а двое их слуг стали на страже. А егерь и те, что остановились на заезжем дворе раньше, в ожидании нападения разместились за столом в комнате студента. Было около десяти вечера, в доме все затихло, и казалось, никто не собирается нарушать покой постояльцев.

— Чтобы не заснуть, давайте делать то же, что и перед этим,— предложил мастер.— Мы рассказывали разные истории, и, если вы, сударь, не возражаете, мы и сейчас займемся тем же.

Но егерь не только не возражал, а даже, чтобы доказать свою готовность, предложил сам что-нибудь рассказать. Он начал так:

Приключения

Саида

Во времена Гаруна аль-Рашида, повелителя Багдада, жил в Бальсоре человек по имени Бенезар. У него хватало достатка, чтобы жить спокойно и в довольстве, не занимаясь торговлей или каким другим делом. И когда у него родился сын, он тоже не изменил своего образа жизни. «Зачем мне в моем-то возрасте торговать и наживаться,— говорил он сосе-

дям,—уж не для того ли, чтобы оставить моему сыну Саиду на тысячу золотых больше, ежели мне повезет, а ежели не повезет, на тысячу меньше? Где двое сыты, там и третий голодным не будет, говорится в поговорке, только бы сын вырос добрым юношей, а все остальное приложится». Так сказал Бенезар и сдержал свое слово. Он и сына не обучил торговле или какому-нибудь ремеслу. Но он не забывал читать с ним книги мудрости, и, памятуя, что кроме учености и уважения к старости ничто так не украшает юношу, как меткая рука и мужество, он рано обучил его владеть оружием, и Саид скоро прослыл среди своих сверстников и даже среди юношей старше его годами смелым воином, а в верховой езде и плавании ему не было равных.

Когда Саиду минуло восемнадцать лет, отец послал его в Мекку, поклониться гробу пророка и, как то повелевают обычай и завет Магомета, совершить молитву и положенные обряды. Перед отъездом отец призвал его к себе, похвалил за благонравье, еще раз напутствовал добрым словом, снабдил деньгами, а затем сказал:

— И вот еще что я скажу тебе, сын мой Саид! Я не придерживаюсь предрассудков темного люда. Правда, я охотно слушаю рассказы про фей и волшебников, это очень красит досуги, но я далек от того, чтобы, как многие невежественные люди, верить, будто гении или какие другие сверхъестественные силы оказывают воздействие на жизнь людей. Но твоя мать,—уже двенадцать лет, как она умерла,—твоя мать верила в них столь же свято, как в Коран. Скажу больше, однажды она, взяв с меня суровую клятву, никому, кроме ее дитяти, не открывать этой тайны, призналась мне, что со дня своего рождения общается с феей. Я высмеял ее, но все же, должен признаться, что твое рождение, Саид, ознаменовалось поразившими меня явлениями. Весь день лил дождь и гремел гром, небо заволокли черные тучи, и читать, не зажегши света, было невозможно. В четыре часа дня мне сообщили, что родился мальчик. Я поспешил в покои твоей матери, чтобы увидеть и благословить моего первенца, но все ее прислужницы стояли перед дверью и на мои вопросы ответили, что никому не позволено входить в комнату роженицы; Земира, твоя мать, приказала всем выйти, ибо хотела остаться одна. Напрасно стучал я в дверь — дверь не открылась.

Недовольный, остался я ждать вместе с прислужницами, но тут тучи рассеялись так внезапно, как мне еще ни разу не доводилось видеть, а всего удивительнее бы-

ло то, что только над любезной нашему сердцу Бальсорой сияла небесная лазурь, а вокруг все заволочли черные тучи, прорезанные зигзагами сверкающих молний. В то время как я с любопытством наблюдал это явление, распахнулись двери в покои моей жены. Я оставил служанок ждать за дверью и вошел один к твоей матери, чтобы спросить, почему она заперлась в своей опочивальне. Когда я вошел, на меня повеяло таким одуряющим ароматом роз, гвоздик и гиацинтов, что я словно опьянел. Твоя мать поднесла мне тебя и показала серебряную дудочку на тонкой, как шелковинка, золотой цепочке, висевшую у тебя на шее. «Добрая женщина, о которой я тебе уже говорила, была здесь,— сказала твоя мать,— вот что она подарила твоему сыночку». «А, так, значит, эта самая ведьма и разогнала непогоду и напоила твою опочивальню благоуханием роз и гвоздик,— сказал я, недоверчиво усмехнувшись.— Могла бы поднести мальчику что-нибудь поценней дудочки,— хотя бы мешок с золотом, коня или еще что в том же роде!» Твоя мать заклинала меня не издеваться над феями, ведь они вспыльчивы, и в их власти сделать так, что подарок на счастье принесет несчастье.

Она была больна, поэтому я не стал перечить и умолк. Больше про это удивительное происшествие мы ни разу не поминали, только шесть лет спустя, когда твоя мать почувствовала, что, несмотря на свою молодость, скоро умрет, она дала мне ту дудочку и поручила в день, когда тебе исполнится двадцать лет, отдать ее тебе, и ни в коем случае не отпускать тебя из дому хотя бы на час раньше этого дня. Она умерла. Вот этот подарок,— продолжал Бенезар, достав из ларчика серебряную дудочку на длинной золотой цепочке,— тебе сейчас только восемнадцать, не двадцать лет, но я даю ее тебе, потому что ты уезжаешь, а я могу отойти к праотцам еще до твоего возвращения. Я не вижу разумного основания два лишних года удерживать тебя здесь, как того хотела заботливая твоя мать. Ты добрый, рассудительный юноша, оружием владеешь не хуже двадцатичетырехлетнего, и я уже сейчас могу считать тебя совершеннолетним, все равно, как если бы тебе уже минуло двадцать. А теперь, поезжай с миром и в счастье и в несчастье, от которого да хранит тебя небо, помни о своем отце!

Так сказал Бенезар из Бальсоры, отпуская сына в путь. Саид растрогался, прощаясь с отцом, надел цепочку на шею, засунул дудочку за кушак, сел на коня

и поскакал туда, откуда отправлялся караван в Мекку. Вскороности караван в восемьдесят верблюдов и несколько сот всадников тронулся в путь, и Саид выехал из ворот Бальсоры, своего родного города, который ему не скоро суждено было снова увидеть.

Вначале его развлекала новизна путешествия и разные разности дотоле им невиданные, но по мере приближения каравана к пустыне местность становилась все более голой и безлюдной, и Саидом овладели разные мысли, между прочим задумался он и над прощальными словами Бенезара, своего отца.

Он вытащил из-за кушака дудочку, осмотрел ее со всех сторон и под конец приложил к губам, ожидая, что она издаст громкий красивый звук, но — вот так штука! — она не зазвучала; он надул щеки и стал дуть что было мочи, но звука так и не извлек; недовольный ненужным подарком, сунул он дудочку опять за кушак. Однако вскоре снова задумался над таинственными словами матери. Ему доводилось слышать о феях, но ни разу не слышал он, чтобы тот или иной из его соседей вступал в общение с сверхъестественными силами; сказания о духах обычно относили к далеким странам и давно минувшим временам, вот он и полагал, что в наши дни фей не бывает, или же они перестали являться людям и принимать участие в их судьбе. Но хотя он так думал, все же им снова и снова овладевало желание поверить в то таинственное и сверхъестественное, что могло произойти с его матерью, вот потому-то он почти целый день ехал словно во сне, не принимая участия в беседе спутников, и не обращал внимания на их пение и смех.

Саид отличался редкой красотой; взгляд его был смел и отважен, рот приятно очерчен, и, несмотря на молодость, во всем его облике было такое достоинство, какое не часто встретишь в столь юные годы, а та осанка, та легкость, та уверенность, с которой он в полном воинском снаряжении сидел на коне, привлекали к нему взоры многих путников.

Старику, ехавшему с ним рядом, он очень понравился, и тот решил расспросить его и узнать его мысли. Саид, которому отец с детства внушил почтительность к старости, отвечал скромно, но умно и обдуманно, чем весьма порадовал старика. Поскольку Саид целый день размышлял все об одном и том же, разговор вскоре перешел на таинственное царство фей, и Саид задал старцу откровенный вопрос, верит ли тот в существова-

ние фей и добрых и злых духов, которые охраняют или преследуют человека.

Старик погладил бороду, покачал головой и затем ответил:

— Начисто отрицать, что такое возможно, нельзя, хотя мне до сего дня не довелось еще видеть духов ни в образе гнома, ни в образе великана, а также не встречал я волшебников и фей.

Потом старик принялся рассказывать Саиду столько разных историй о чудесах, что вскружил юноше голову, и тот теперь уже думал, будто все, что творилось при его рождении — перемена погоды, сладостный аромат роз и гиацинтов — великое и счастливое предзнаменование; верно, его охраняет могучая, добрая фея, и дудочка подарена ему именно для того, чтобы оповестить фею, ежели он попадет в беду. Всю ночь ему снились дворцы, волшебные кони, духи и все такое, он поистине жил в волшебном царстве.

Но, к сожалению, уже на следующий день ему пришлось убедиться, сколь тщетны все его грезы и во сне, и наяву. Караван, медленно выступая, шел уже больше чем полдня по пустыне, Саид все так же ехал рядом со стариком, своим спутником, как вдруг далеко на горизонте показались какие-то темные тени; одни сочли их за песчаные холмы, другие — за облака, а кое-кто за встречный караван, но старик, которому уже не раз приходилось пересекать пустыню, громко крикнул, что надо принять меры: приближается разбойничья орда арабов-кочевников. Мужчины взялись за оружие и кольцом окружили женщин и товары, все приготовились отразить нападение. Темная масса медленно подвигалась к ним и напоминала огромную стаю аистов, собравшуюся для отлета в дальние края. Затем орда стала приближаться быстрее и быстрее, и не успели путники различить всадников, вооруженных копьями, как арабы с быстротой ветра налетели на караван.

Мужчины храбро оборонялись, но разбойников было больше четырех сотен, они окружили караван со всех сторон, многих еще издали застрелили из луков, а потом пустили в ход копьей. В эту страшную минуту Саид, все время отважно сражавшийся в первых рядах, вспомнил о своей дудочке, он быстро вытащил ее, приложил к губам, дунул и... и грустно опустил, — она не издала ни звука. Разъяренный, жестоко разочарованный он прицелился и пустил стрелу в грудь арабу, выделявшемуся среди прочих богатой одеждой: тот закачался и упал с лошади.

— Аллах! Что вы наделали, юноша! — воскликнул старик, ехавший рядом. — Теперь всем нам конец!

И так оно и случилось. Как только разбойники увидели, что тот человек упал, они озверели, с неистовыми криками набросились на караван и быстро справились с немногими еще не ранеными мужчинами. Саида в мгновение ока окружили пять-шесть арабов. Он так ловко владел копьем, что никто не смел к нему подступиться; наконец один араб натянул лук, прицелился и уже хотел спустить тетиву, но тут другой подал ему знак. Саид приготовился к новому натиску, но не успел он опомниться, а уж другой разбойник набросил ему на шею петлю, и, как Саид ни старался разорвать веревку, все усилия его были тщетны, петля затягивалась все туже и туже, — Саид оказался пленником.

Караван был частью уничтожен, частью взят в плен. Арабы, принадлежавшие к разным племенам, поделили между собой пленников и добычу, а затем ускакали одни на юг, другие на восток. Саида сопровождали четыре вооруженных всадника, они часто окидывали его злобными взглядами и осыпали проклятиями. Он понял, что убил знатного человека, может, даже сына вождя. Рабство, которое предстояло ему, было горше смерти. Поэтому он втайне радовался, что навлек на себя гнев всего племени, ведь он был уверен, что, вернувшись на становище, арабы его убьют. Вооруженные всадники следили за каждым его движением и, как только он оглядывался, грозили ему копьями; но раз, когда лошадь одного из них споткнулась, Саид быстро оглянулся и с радостью увидел старика, своего спутника, которого считал убитым.

Наконец вдали показались деревья и палатки, а когда подъехали ближе, навстречу прибывшим хлынула целая толпа женщин и детей; но при первых же словах разбойников они, громко плача, злобно глядели на Саида, выкрикивали проклятия и угрожающе размахивали руками. «Так это он убил великого Альмансора, храбреца из храбрецов! — кричали они. — Он повинен смерти, мы бросим его тело на съедение шакалам». Потом, озверев, схватив все, что попало под руки, — обломки дерева, камни, — кинулись они к Саиду с таким остервенением, что разбойникам пришлось вмешаться. «Прочь, молокососы! Женщины, куда вы лезете? — кричали они, копьями разгоняя толпу. — Он сразил великого Альмансора в бою, он повинен смерти, но не от руки женщины, а от меча храбрых».

Выбравшись на свободное от палаток место, они остановились; пленных связали по двое, добычу внесли в палатки, а Саида связанным отвели в большую палатку. Там сидел старик в роскошном одеянии, серьезная, гордая осанка которого говорила, что он возглавляет эту орду. Те арабы, что привели Саида, предстали перед ним, печально склонив головы.

— Громкий плач женщин оповестил меня о случившемся, — промолвил величественный муж, окинув взглядом одного за другим всех разбойников, — по вашим лицам я вижу, что догадка моя подтвердилась — Альмансор пал в бою.

— Да, Альмансор пал в бою. — ответили разбойники, — но тут, о Селим, владыка пустыни, пред тобой тот, кто его убил, вот он, суди его. Какой смертью должен он умереть? Пронзить ли его стрелами, прогнать ли сквозь строй копий, а, может, ты пожелаешь его повесить или привязать к лошадям, чтоб они разорвали его?

— Кто ты? — спросил Селим, бросив мрачный взгляд на пленного, мужественно стоявшего перед ним в ожидании смерти.

Саид кратко и без утайки ответил на его вопрос. — Как ты убил моего сына — нанес ему удар в спину, предательски пронзив стрелой или копьем?

— Нет, господин, — ответил Саид, — я убил его в честном бою, когда кочевники напали на наш караван, я пустил стрелу ему в грудь, потому что у меня на глазах от его руки пали восемь моих спутников.

— Все так, как он говорит? — спросил Селим тех, кто привел Саида.

— Да, повелитель, он убил Альмансора в честном бою, — ответил один из них.

— Значит, он поступил так, как поступил бы каждый из нас, — возразил Селим, — он сразился с врагом, который хотел отнять у него свободу и жизнь, и убил его; поэтому немедля развяжите его!

Разбойники с удивлением взглянули на своего вождя и нехотя, нерешительно исполнили приказание.

— Значит, убийца твоего сына, храброго Альмансора, не повинен смерти? — спросил один из них, бросив гневный взгляд на Саида. — Лучше бы мы его сразу убили!

— Он не повинен смерти! — изрек Селим. — Больше того, я беру его к себе в палатку как по закону положенную мне долю добычи, пусть будет при мне слугой!

Саид не находил слов благодарности, но его провожатые роптали, покидая палатку, а когда женщины и дети, не уходившие в ожидании казни Саида, услышали решение Селима, они подняли плач и вопли, кричали, что отомстят убийце за смерть Альмансора, раз родной отец не желает соблюсти обычай кровной мести.

Остальных пленных войны поделили между собой; одних отпустили, чтобы получить выкуп за более богатых, других послали пасти стада, а некоторых, коим до сего дня служили не меньше десяти рабов, назначили на самую черную работу. Не так обстояло дело с Саидом. То ли помог его мужественный, героический облик, то ли таинственное волшебство доброй феи, сказать трудно, но, так или иначе, Саид завоевал расположение старика Селима. Он жил в его палатке скорее как сын, нежели как слуга, но непонятная привязанность старика-вождя возбудила неприязнь остальных слуг. Всюду Саид встречал враждебные взгляды, а когда шел один по лагерю, слышал брань и проклятия, несколько раз даже пролетала у самой его груди стрела, несомненно предназначенная ему, и то, что смерть миновала его, он приписывал таинственной дудочке, которую все еще носил на груди, веря, что это она охраняет его. Часто жаловался он Селиму на нападки, но тщетно пытался тот найти коварных арабов, покушавшихся на жизнь Саида; казалось, все племя объединяла вражда к чужеземцу, вызванному милостью вождя. И вот однажды Селим сказал:

— Саид, я надеялся, что ты, быть может, заменишь мне сына, погибшего от твоей руки; не твоя и не моя вина, что надежды мои не оправдались; все озлоблены против тебя, и даже я уже не смогу охранить тебя. Что пользы тебе или мне, если я осужу виновного, тайно тебя убившего? Поэтому, когда мои люди вернутся с набега, я скажу, что отец твой прислал за тебя выкуп, и повелю верным мне людям проводить тебя через пустыню.

— Но кому, кроме тебя, могу я верить? — спросил в смущении Саид. — Не убьют они меня дорогой?

— От этого охранит тебя клятва, которую я с них возьму, никто никогда еще не нарушал данной мне клятвы, — успокоил его Селим.

Спустя несколько дней в становище воротились те арабы, что ходили в набег, и Селим сдержал свое слово. Он подарил Саиду оружие, одежду и коня, созвал

воинственных мужей, выбрал пятерых ему в провожа-
тые, взял с них страшную клятву, что они не убьют Саи-
да, и со слезами отпустил его.

Дорогой все пятеро хранили мрачное молчание. Саид видел, сколь неохотно выполняют они данное им поручение, немало заботило его и то, что двое из них участвовали в схватке, во время которой он убил Альмансора. Когда они были в пути уже почти восемь часов, Саид заметил, что они еще больше помрачнели и о чем-то перешептываются. Он напряг слух и уловил, что шепчутся они на тайном языке, который в ходу только в этом племени, да и то только при обсуждении особо опасных дел. Селим, лелея мечту навсегда удержать юношу у себя в палатке, не один час посвятил обучению его этому языку. Ничего отрадного Саид не услышал.

— Вот здесь, здесь, мы напали на караван,— сказал один из провожатых,— и здесь отважнейший из мужей пал от руки юнца.

— Ветер развеял следы его коня, но я не забыл их,— заметил другой.

— И к нашему позору тот, от чьей руки пал Альмансор, жив и отпущен на свободу. Слыханное ли это дело, чтобы отец не отомстил за смерть единственного сына? Но Селим постарел и впадает в детство.

— Ежели отец не выполняет своего долга, то друг обязан отомстить за смерть убитого друга. Здесь, на этом самом месте мы должны были бы его зарубить. Так с незапамятных времен велят закон и обычай.

— Но мы же поклялись старику Селиму,— возразил пятый,— мы не можем его убить, клятву нарушить нельзя.

— Это правда, мы поклялись,— отозвались остальные,— и убийца должен уйти невредимым из рук своих врагов.

— Стойте! — воскликнул один, самый мрачный из всех.— Старик Селим умен, но все же не так умен, как полагают. Разве мы поклялись ему доставить юношу в то или другое место? Нет, он взял с нас клятву, что мы не лишим его жизни, и жизни мы у него не отнимем. Но палящее солнце и острые зубы шакалов отомстят за нас. Мы свяжем его и оставим здесь, на этом самом месте.

Так сказал разбойник, но Саид уже решил на крайнее средство, и не успел тот разбойник договорить, как Саид рванул своего коня в сторону, со всей мочи хлестнул его и птицей понесся по ровной пустыне. Все

пятеро на минуту остолбенели от удивления, но преследовать беглеца было для них делом привычным, они разделились на две группы, одни стали обходить его справа, другие слева, и, будучи опытнее его в верховой езде в условиях пустыни, двое из них быстро обогнали Саида и поскакали ему наперерез. Он метнулся в сторону, но там его тоже ждали двое, а пятый преградил ему дорогу назад. Памятуя о данной клятве не убивать Саида, они не прибегли к оружию, и на этот раз ему опять набросили сзади петлю на шею, стащили с коня, безжалостно избили и, связав по рукам и ногам, оставили на раскаленном песке.

Саид умолял пощадить его, кричал, обещал большой выкуп, но они, громко смеясь, вскочили в седла и ускакали. Саид напряженно прислушивался, некоторое время до него еще долетал легкий бег их коней, но потом он понял, что обречен на гибель. Он думал об отце, думал, как будет горевать старик, когда поймет, что сын не вернется. Думал о беде, постигшей его самого, о своем раннем уходе из жизни, ведь он был уверен, что или его ждет мучительная смерть от голода и жажды на раскаленном песке пустыни, или его растерзают шакалы. Солнце поднималось все выше и немилосердно жгло ему лоб. С неимоверным трудом удалось ему повернуться на бок, но это не принесло облегчения. При этих усилиях из-за его кушака выпала дудочка, висевшая на цепочке. Он долго мучительно старался дотянуться до нее ртом. наконец коснулся ее губами, попробовал подуть, но и сейчас, в его крайней беде, она отказалась ему помочь. В отчаянии повалился он навзничь; пролежав сколько-то времени под палящими лучами солнца, он потерял сознание и впал в глубокое забытие.

Прошло несколько часов. Наконец Саида пробудил шорох у самого его уха, и тут же он почувствовал, что кто-то схватил его за плечо. Саид в ужасе завопил, думая, что это шакал и сейчас он его растерзает. Теперь кто-то тронул его за ноги, но он чувствовал, что не дикий зверь впился когтями ему в ногу, ее осторожно ощупывает рука человека, и человек этот говорит с другими. «Он жив,— шепчутся они,— да, но он принимает нас за врагов».

Наконец Саид открыл глаза и увидел, что над ним склонился низкорослый, пузатый человек, длиннорослый, с заплывшими глазками. Человек этот ласково с ним заговорил, помог ему приподняться, накормил и наполнил и, пока Саид подкреплялся, рассказал, что он

багдадский купец, что зовут его Калум-бек и торгует он шалями и тонкими женскими чадрами. Он ездил по торговым делам, сейчас возвращается домой. Он увидел лежащего на песке изнемогшего, полумертвого человека, чье роскошное одеяние и сверкающий драгоценными камнями ятаган привлекли его внимание. Он сделал все, чтобы оживить его, и это ему удалось. Юноша поблагодарил вернувшего его к жизни купца, ибо отлично понимал, что без его помощи был обречен на мучительное умирание.

Не видя возможности самостоятельно двинуться в путь, да и не имея охоты в одиночку, пешком блуждать по безлюдной пустыне, он с благодарностью принял предложение купца сесть на одного из его тяжело нагруженных верблюдов и вместе со всем караваном отправиться в Багдад, а там ему, может, удастся с одним или другим караваном добраться до Бальсоры.

По дороге купец занимал своего спутника рассказами о Гаруне аль-Рашиде, славном повелителе правоверных. Рассказывал о его любви к справедливости, о его светлом уме, об умении удивительно просто разрешать самые запутанные и спорные дела. Упомянул историю о канатном мастере и другую — о горшке с оливками, истории, известные каждому ребенку, но поразившие Саида.

— Наш властелин, повелитель правоверных, — продолжал купец, — наш властелин — человек, достойный удивления. Ежели вы думаете, что он спит по ночам, как прочие люди, вы жестоко ошибаетесь. Два-три часа на рассвете — и это все. Я-то не могу не знать, ведь Месур, старший хранитель его казны, мне родня, и хотя, когда дело касается тайн его повелителя, он нем как мгила, все же в угоду близким родственникам он, видя, что кто-нибудь из них просто сгорает от любопытства, нет-нет да что-нибудь и расскажет. Так вот, вместо того чтобы спать, как все люди, калиф ночью бродит по улицам Багдада, и редкая неделя обходится без приключения. Вы должны знать, — кстати это явствует и из истории про горшок с оливками, столь же истинной, сколь и слово пророка, — вы должны знать, что он не объезжает улицы верхом на коне, в полном параде, окруженный телохранителями и сотней факельщиков, а ведь, если бы он пожелал, он мог бы это сделать, нет, он ходит пешком, переодетый то купцом, то мореплавателем, то простым воином, то муфтием, и глядит, все ли спокойно и мирно.

Поэтому-то в Багдаде, как ни в одном другом городе, ночью с любым встречным болваном отменно вежливо в обхождении. Ведь столь же легко можно натолкнуться на калифа, как на грязного араба-кочевника, а батов у нас хватит, чтобы надавать по пяткам всем багдадским и окрестным жителям.

Так говорил купец, и Саид, хотя его и не оставляла тоска по отцу, все же радовался, что увидит Багдад и прославленного Гаруна аль-Рашида.

После десятидневного пути они прибыли в Багдад. Саид, пораженный великолепием города, в те дни как раз расцветшего во всей своей красе, не переставал им любоваться. Купец пригласил его к себе, Саид охотно принял его приглашение, ибо только сейчас в городской суете он понял, что, кроме воздуха, воды из Тигра и ночлега на ступенях мечети, здесь ничего даром не получишь.

Наутро, когда Саид только-только оделся и, оглядев себя, решил, что в таком богатом одеянии и при доспехах не худо покрасоваться на улицах Багдада и, пожалуй, можно даже обратить на себя внимание, к нему вошел купец. Лукаво усмехаясь и поглаживая бороду, оглядел он молодого красавца и сказал:

— Все это прекрасно, молодой человек! Но что вы собираетесь делать дальше? Мне сдается, что вы большой мечтатель и не думаете о завтрашнем дне; или у вас хватит денег, чтобы жить под стать тому наряду, что на вас?

— Почтеннейший Калум-бек,— сказал юноша, краснея от смущения,— денег-то у меня как раз нет, но, может быть, вы мне сколько-нибудь одолжите, чтобы я мог вернуться домой. Мой отец, конечно, с вами честно расплатится.

— Твой отец, голубчик? — громко смеясь, воскликнул купец. — Не иначе, как солнце растопило тебе мозги. Так я и поверил тебе на слово, поверил тем сказкам, что ты плел мне дорогой: у тебя-де в Бальсоре богатый отец, а ты единственный сын, и про нападение арабов, и про твою жизнь в их становище, и пятое-десятое. Уже тогда возмущала меня твоя наглая ложь и нахальство. Я знаю, что в Бальсоре все богатые люди — купцы, сам со всеми дела веду и, конечно, слышал бы о некоем Бенезаре, даже если бы всего имущества у него было только на шесть тысяч туманов. Значит, или ты выдумал, что ты из Бальсоры, или твой отец бедняк и его беглому сыну я и медяка в долг не поверю. А нападение в пусты-

не! Да слыханное ли это дело, чтобы с тех пор, как мудрый калиф Гарун обезопасил торговые пути через пустыню, разбойники осмелились ограбить караван да еще увести пленных? Да слух об этом распространился бы сразу; а за весь мой путь, да и здесь, в Багдаде, куда отовсюду стекается народ, об этом никто не говорит. Это вторая бессовестная ложь, молодой человек!

Побледнев от гнева и негодования, Саид хотел прервать речь злобного старика, но тот перекрикивал его, да к тому же еще размахивал руками.

— А третья ложь, дерзкий лгунишка, это рассказ о твоей жизни в становище Селима. Имя Селима хорошо известно всем, кто когда-либо имел дело с арабами. Селим известен как самый страшный и жестокий разбойник, а ты смеешь утверждать, что убил его сына; да тебя зарубили бы тут же на месте; ты так обнаглел, что рассказываешь всякие небылицы: Селим, видите ли, охранял тебя от своих же арабов, взял к себе в палатку и отпустил без выкупа, это он-то! Да он вздернул бы тебя на первом попавшемся дереве; он часто вешал путников только ради удовольствия посмотреть на страшное лицо висельника. Ах ты, мерзкий лжец!

— Я могу сказать только одно,— крикнул юноша,— все это правда, клянусь моей душой и бородою пророка!

— Ах, так, ты клянешься твоей душой? — воскликнул купец.— Твоей черной, лживой душой? Да кто тебе поверит? И бородою пророка, когда у самого и борода-то еще не отросла! Да кто даст твоим словам веру?

— Свидетелей у меня правда нет,— продолжал Саид.— Но ведь вы же нашли меня связанным и полумертвым.

— Это еще ничего не доказывает,— возразил тот,— ты одет как знатный разбойник, и легко могло случиться, что ты напал на более сильного, он тебя одолел и связал.

— Хотел бы я посмотреть на человека, который одолел бы меня в одиночку и, связав, бросил наземь, меня и двоим-то не одолеть, ведь они накиннули мне сзади петлю на шею,— возмутился Саид.— Вы у себя на базаре не знаете, как силен умело владеющий оружием человек, даже когда он один. Но вы спасли мне жизнь, и я вам благодарен. Что же вы теперь собираетесь со мной делать? Если вы мне не поможете, придется мне просить милостыню, а я не хочу просить у тех, кто мне равен. Я обращаюсь к калифу.

— Вот как?— сказал купец, насмешливо улыбаясь.— Только к нашему всемилостивейшему повелителю и ни к кому больше? Это я называю просить милостыню по-благородному! Да, да! Только не забывайте, благородный молодой человек, что по пути к калифу вам не миновать моего родственника Месура, хранителя казны, а мне довольно шепнуть ему слово и обратить его внимание на то, что ты умелый лгун. Но ты так молод, Саид, мне жаль тебя. Ты можешь исправиться, из тебя еще может выйти толк. Я возьму тебя на базар к себе в лавку, прослужишь там год, а пройдет год и ты не захочешь остаться, я заплачу тебе, что причитается, и отпущу на все четыре стороны, хочешь в Алеппо или в Медину, в Стамбул или в Бальсору, по мне, хоть к неверным. Даю тебе срок для размышления до полудня, согласишься — отлично; не согласишься — я подсчитаю по сходной цене, во что ты мне стал в пути, да прибавлю еще стоимость за место на верблюде, в уплату возьму твою одежду и все, что у тебя есть, и выгоню на улицу, тогда ступай просить милостыню, где тебе угодно; хочешь — у калифа или муфтия, хочешь — на ступенях мечети или на базаре.

С этими словами жестокосердый купец вышел. Саид с презрением посмотрел ему вслед. Он был так возмущен низостью купца, который подобрал его и заманил к себе в дом намеренно, чтобы заполучить в свои руки. Он огляделся, нельзя ли сбежать, но окна были за решетками, а двери на запоре. Наконец, после долгого раздумья и колебаний, решил он на первое время согласиться на предложение купца и послужить у него в лавке. Он понял, что другого выхода нет, ведь даже если бы ему удалось сбежать, без денег до Бальсоры все равно не добраться. Но он вознамерился при первой возможности попросить самого калифа взять его под защиту.

На следующий день Калум-бек повел своего нового слугу на базар к себе в лавку. Он показал ему шали, чадры и прочий товар и объяснил, в чем состоят его обязанности. С этого дня Саид в одежде приказчика, без всяких воинских доспехов, с роскошной чадрой в одной руке и шалью в другой, стоял в дверях лавки и зазывал проходящих мужчин и женщин, расхваливал товар, говорил его цену и предлагал купить. Скоро Саиду стало ясно, почему Калум-бек взял его в зазывалы. Сам Калум-бек был низкорослый, уродливый старик, и когда он стоял в дверях лавки и зазывал покупателя,

то соседи, а то и прохожие, отпускали в его адрес насмешливое словцо, мальчишки дразнили его, женщины обзывали пугалом, а на молодого, статного Саида, который был вежлив в обхождении и умел показать товар лицом, было приятно смотреть.

Когда Калум-бек увидел, что с тех пор, как у входа в лавку стоит Саид, у него прибавилось покупателей, он помягчел в обращении с ним, стал лучше кормить и одевать наряднее и к лицу. Но Саида мало трогали эти доказательства благосклонности хозяина, и днем и ночью, даже во сне, он и так и сяк прикидывал, как бы ему вернуться на родину.

Однажды, когда торговля в лавочке Калум-бека шла особенно бойко и все упаковщики, в обязанности которых входило доставлять покупателям товар на дом, были разосланы, в лавку вошла старая женщина и тоже что-то купила. Выбирала она недолго и, пообещав на чай, потребовала, чтобы ей донесли покупку до дому.

— Будьте любезны, потерпите с полчаса, и все вам будет доставлено, — сказал Калум-бек, — или наймите другого носильщика.

— Вы же купец и хотите, чтобы ваши покупатели пользовались услугами случайных носильщиков? — возразила женщина. — А что, если такой малый скроется в толпе с моей покупкой? Где мне тогда искать на него управу? По рыночному закону вы обязаны доставить покупку мне на дом, и я буду этого требовать.

— Только полчаса подождите, уважаемая, — просил купец, боязливо глядя вокруг. — Все мои люди разосланы.

— Лишь в жалких лавчонках не хватает людей для услуг, — возразила сердитая покупательница. — А вот там в дверях что за бездельник стоит? Иди сюда, малый, бери сверток и ступай за мной!

— Стойте, стойте! — закричал Калум-бек. — Да это мой зазывала, моя вывеска, мой магнит! Ему нельзя отходить от порога!

— Подумаешь! — возразила женщина и без долгих слов сунула свой сверток Саиду под мышку. — Плох тот купец и плохи его товары, раз они сами за себя не говорят и нуждаются в вывеске — в бездельнике зазывале, идем, идем, малый, заработаешь на чай!

— Ну тебя к Ариману и всем духам тьмы! Беги! — проворчал Калум-бек вслед своему магниту. — Да смот-

ри скорей возвращайся. Старая ведьма чуть не вывела меня из себя, еще немного — и я поднял бы крик на весь базар!

Саид поспешил за женщиной, которая не по возрасту легко побежала по базару, а на улице еще прибавила шагу. Она остановилась у великолепного дома, постучала, двери распахнулись, женщина поднялась по мраморной лестнице и поманила за собой Саида. Они пришли в высокий просторный покой. Саиду еще не доводилось видеть столько богатства и роскоши. Там старая дама опустила в изнеможении на подушки, указала ему, куда положить сверток, дала мелкую серебряную монету и отпустила.

Он был уже в дверях, когда кто-то звонким нежным голосом окликнул его: «Саид!» Удивившись, что его здесь знают, он оглянулся — на подушке вместо старой дамы сидела окруженная рабами и прислужницами писаная красавица. Саид, онемев от восхищения, скрестил на груди руки и низко ей поклонился.

— Саид, милый мой юноша,— обратилась к нему красавица.— Я очень сожалею, что на пути в Багдад тебя постигло столько злоключений, но именно здесь, только здесь предначертано было судьбой развеяться тем чарам, под власть которых ты подпал, покинув родительский кров до того, как тебе исполнилось двадцать лет. Саид, дудочка еще у тебя?

— Да, у меня,— радостно воскликнул он и вытащил золотую цепочку,— уж не вы ли та добрая фея, что при моем рождении сделала мне этот подарок?

— Я была другом твоей матери, останусь и твоим другом, если ты сам будешь добрым и хорошим. Ах, зачем твой отец столь легкомысленно не послушался моего совета! Ты избежал бы многих бед.

— Значит, так было суждено! — ответил Саид.— Но, милостивая фея, прикажите, чтобы сильный норд-ост впрягся в вашу облачную колесницу, подхватите меня и за две минуты домчите в Бальсору к отцу, и я терпеливо доживу там те полгода, что остались до моего двадцатилетия.

Фея улыбнулась.

— Ты умеешь разговаривать с нами,— сказала она.— Но, бедняжка Саид, это невозможно. Сейчас, когда ты не в родительском доме, помочь тебе я бессильна. Бессильна даже освободить тебя из-под власти презренного Калум-бека. Ему покровительствует враждебная тебе могущественная фея.

— Так, стало быть, у меня есть не только добрый друг, но и злой недруг? — спросил Саид. — Сдается мне, я уже не раз испытал на себе воздействие злых чар. Но помогите мне советом, ежели это в вашей власти! Пойти ли мне к калифу и попросить у него защиты? Он мудр, он защитит меня от Калум-бека.

— Да, Гарун мудр, но, к сожалению, он всего только человек. Он, как самому себе, доверяет главному хранителю казны Месуру, и он прав, ибо испытал Месура и убедился, что это человек верный, а Месур, в свою очередь, как самому себе, верит твоему другу Калум-беку, и в этом он не прав, потому что Калум человек плохой, хоть он и родня Месуру. Калум хитер и, как только вернулся сюда, наговорил о тебе всякие были и небылицы Месуру, а тот пересказал его басни калифу, и ты будешь плохо принят, если явишься во дворец. Но есть другие возможности и пути к нему приблизиться, а тебе звездами предначертано завоевать его расположение.

— Да, что и говорить, дела мои плохи, — печально промолвил Саид. — Придется мне еще какое-то время стоять у лавки презренного Калум-бека. Но одну мою просьбу, глубокочтимая фея, вы, может быть, все же могли бы уважить. Я обучен ратному искусству, и для меня наибольшая радость — ристалище, где состязаются в метании копья, стрельбе из лука, сражениях тупыми мечами. Самые знатные багдадские юноши каждую неделю участвуют в подобных состязаниях. Но на ристалище могут выступать только свободные люди в богатых доспехах и одежде, и, уж конечно, не слуга базарного лавочника. Если бы только вы могли сделать так, чтобы раз в неделю я имел коня, богатое одеяние и доспехи и чтобы узнать меня было не так-то легко...

— Благородный юноша вправе высказать такое желание, — сказала фея. — Твой дед по матери был самым отважным мужем в Сирии, и его дух, видно, унаследовал и ты. Запомни этот дом; здесь каждую неделю будут ждать тебя два оруженосца верхами, с конем для тебя, здесь же найдешь ты одежду, доспехи и воду, умыв ею лицо, ты станешь ни для кого неузнаваем. А теперь, Саид, прощай! Запасись терпением, будь разумен и добродетелен! Через полгода твоя дудочка издаст звук, и голос ее дойдет до слуха Зулимы.

С чувством благодарности и благоговения расстался юноша со своей чудесной покровительницей. Он запомнил дом и улицу и пошел обратно.

Саид вернулся на базар как раз вовремя и успел в последнюю минуту защитить своего хозяина Калум-бека и спасти ему жизнь. Перед лавкой толпился народ, мальчишки плясали и дразнили купца, старики покатывались со смеху. А он, дрожа от ярости, не зная, куда ему деться, стоял перед лавкой с чадрой в одной руке и шалью в другой. Эта неожиданная сцена была вызвана происшествием, случившимся после ухода Саида. Калум сам стал в дверях вместо своего красавца слуги и зазывал покупателей, но народ не шел в лавку к уродливому старику. По базару бродили двое мужчин, желавших купить подарки для своих жен. Они уже несколько раз обошли базар, высматривая, на чем бы остановиться, и как раз сейчас опять проходили мимо лавки Калум-бека, разглядывая товары.

Калум-бек, приметивший их, подумал, что не худо бы извлечь из их нерешительности выгоду.

— Сюда, сюда, государи мои! — крикнул он. — Что вам надобно? Вот отличные шали, отличный товар!

— Товар у тебя, почтеннейший, возможно, хороший, — ответил один из них, — но жены у нас привередницы, а в Багдаде все теперь покупают чадры только у красавца зазывалы, у Саида. Мы уже исходили весь базар, разыскивая его, и никак его не найдем. Скажи, где он может быть, и в другой раз мы у тебя что-нибудь купим.

— Аллах, Аллах! — воскликнул Калум-бек, любезно осклабившись. — Пророк привел вас, куда вам требуется. Вы ищете красавца зазывалу, чтобы купить чадры? Входите, входите — вот его лавка.

Подумав, что неказистый, пузатый Калум выдает себя за красавца зазывалу, один из мужчин окинул его насмешливым взглядом и громко расхохотался. А другой счел, что Калум над ним издевается и, не желая оставаться в долгу, крепко выругался. Это вывело Калум-бека из себя; он призвал в свидетели соседей, что именно его лавку, а не какую другую называют лавкой красавца зазывалы, но соседи, с завистью видевшие, как с некоторых пор успешно идет его торговля, отнекивались и отговаривались незнанием, тогда оба человека накинулись на старого вруна, как они его называли. Калум защищался скорее не кулаками, а криком и руганью, и этим привлек к своей лавке кучу народа; полгорода знали его как жадного, подлого скареда, и окружающие радовались сыпавшимся на него тумакам; один из обидчиков уже вцепился ему в бороду, но тут кто-то схватил его самого за руку и рывком бросил на землю

с такой силой, что с головы у него свалился тюрбан, а туфли отлетели далеко в сторону.

Толпа, которая охотно смотрела на расправу с Калум-беком, громко выразила свое недовольство, приятель поваленного оглянулся на того, кто посмел отшвырнуть его друга, но, увидя высокого сильного юношу с отважно сверкающим взором, побоялся схватиться с ним, да к тому же Калум, которому спасение показалось поистине чудесным, громко крикнул, указывая на юношу:

— Ну, чего вам еще нужно? Вот он перед вами, это и есть Саид, красавец зазывала.

В толпе засмеялись, ведь все знали, что Калум-бек пострадал незаслуженно. А тот человек, которого отшвырнул Саид, чувствуя себя посрамленным, хромая, заковылял прочь вместе со своим приятелем, так и не купив ни чадры, ни шали.

— О звезда всех зазывал, краса базара! — воскликнул Калум, войдя с Саидом в лавку.— Поистине, это называется поспеть вовремя, протянуть человеку руку помощи, иначе не скажешь. Ведь он лежал, как подкошенный, словно и на ногах-то никогда не стоял! А я, я — да опоздай ты хоть на минуту, мне и брадобрей больше не понадобился бы, нечего было бы расчесывать и умащивать. Скажи, как мне тебя вознаградить?

Рукою и сердцем Саида руководило чувство минутной жалости. Теперь, успокоившись, он почти раскаивался, что помешал проучить зловердного старика. «Будь у него вырван десяток волос, он бы десять дней был шелковым и покладистым», — подумал Саид; все же он решил воспользоваться благосклонным настроением Калум-бека и испросить в награду дозволить ему раз в неделю проводить вечер по собственному усмотрению — то ли на прогулке, то ли еще как-нибудь.

Калум дал свое согласие, он ведь знал, что его подневольный слуга слишком рассудителен и не сбежит без денег и хорошей одежды.

Так Саид вскоре получил желаемое. В ближайшую среду — день, когда самые родовитые юноши собирались на одной из городских площадей для ратного состязания, Саид сказал Калуму, что этот вечер он хотел бы провести по собственному желанию, и с соизволения купца пошел на ту улицу, где жила фея, постучался, и ворота в тот же миг распахнулись. Слуги, казалось, были предупреждены о его приходе, не спросив, что ему угодно, поднялись они с ним по лестнице в красивый покой; там ему подали воду для умывания, которая должна бы-

ла сделать его неузнаваемым. Он омочил в ней лицо, затем погляделся в металлическое зеркало и сам себя не узнал: на загорелом лице росла красивая черная борода, он выглядел по крайней мере на десять лет старше.

Затем они повели его в другой покой, где для него было приготовлено великолепное одеяние, которое не посрамило бы самого багдадского калифа в день, когда он во всем блеске своего величия делает смотр войскам. Кроме тюрбана тончайшей ткани с алмазным аграфом и длинными перьями цапли и кафтана из тяжелой алой парчи, затканной серебряными цветами, там была еще серебряная кольчуга столь тонкой работы, что она повторяла все движения тела, и в то же время столь крепкая, что ей не были страшны удары копий и мечей. Дамасский клинок в богато украшенных ножнах, с бесценными, как показалось Саиду, самоцветными камнями на рукоятке, завершал его наряд. Когда он в доспехах покинул покой, один из слуг подал ему шелковый платок и сказал, что платок посылает ему повелительница этого дома: стоит утереть им лицо, борода и загар исчезнут.

Во дворе стояли три породистых коня, на самого красивого сел Саид, на двух других — его оруженосцы, и он весело поскакал на площадь, отведенную под ристалище. Пышность его наряда и великолепие доспехов привлекали к нему взоры всех, а когда он появился на площади, по толпе, обступившей ристалище, пробежал шепот восхищения. Здесь собирался весь цвет багдадской молодежи, самые отважные и знатные юноши; даже братья калифа гарцевали на конях и потрясали копьями. Когда появился никому не известный Саид, сын великого визиря с несколькими приятелями поехал ему навстречу, почтительно поклонился, пригласил принять участие в состязании и спросил, как его зовут и откуда он родом. Саид назвался Альмансором, сказал, что родом он из Каира, а сейчас путешествует и, наслышавшись об отваге и доблестях благородных багдадских юношей, не преминул воспользоваться возможностью увидеть их и познакомиться с ними. Юношам понравились обходительность и храбрая осанка Саида — Альмансора; они велели подать ему копье и предложили выбрать себе соратников, потому что они уже разделились на две группы и будут состязаться и один на один, и всем отрядом.

Если внешность Саида уже привлекла к нему внимание, то теперь все еще больше дивились его необычай-

ной ловкости и быстроте. Конь его носился птицей, а свистящий меч мелькал и того быстрее. Копье он бросал с такой легкостью, так далеко и так метко, словно это не копье, а стрела, пущенная из лука. Он победил самых отважных смельчаков, состязавшихся с ним, и по окончании ристания был единодушно признан победителем; один из братьев калифа и сын великого визиря, сражавшиеся на стороне Саида, попросили его помериться силами и с ними. Али, брата калифа, Саид победил, но сын великого визиря не уступал ему в доблести и после длительной борьбы они сочли за лучшее отложить решение до будущей встречи.

На следующий день в Багдаде только и речи было что о богатом и доблестном красавце чужеземце. Все, кто его видел, даже те, кого он победил, были в восторге от его благородного обхождения; Саид собственными ушами слышал разговоры о себе в лавке Калумбека. Все сожалели только об одном: никто не знает, где он живет. В доме феи к следующему состязанию ему был приготовлен еще более роскошный наряд и еще более дорогие доспехи. На сей раз собралось пол-Багдада, сам калиф любовался с балкона этим зрелищем. Он тоже дивился на чужеземца Альмансора и, дабы выразить свое восхищение, когда игры закончились, повесил ему на шею большую золотую медаль на золотой цепи. Эта вторая блестящая победа не могла не возбудить зависти багдадских юношей. «Какой-то чужеземец приезжает к нам в Багдад, — говорили они, — и вырывает у нас из рук славу, почести и победу? И теперь пойдет похваляться по другим городам, что среди цвета багдадской молодежи нет никого, кто хоть в какой-то мере может помериться с ним силою». Так говорили они и порешили на следующем ристании, будто случайно, налететь на него впятером или вшестером.

От острого взгляда Саида не ускользнуло их недовольство; он видел, что они шушукаются по углам и с неприязнью посматривают на него. Он догадывался, что все, не считая брата калифа и сына великого визиря, не очень-то дружелюбно к нему относятся, да и те двое своими расспросами: где можно с ним встретиться, чем он занимается, что ему, собственно, понравилось в Багдаде и другими подобными же — начинали его тяготить.

По странной случайности, молодой человек, особенно злым оком взиравший на Саида — Альмансора — и как будто особенно враждебно против него настроенный,

оказался тем самым человеком, которого Саид незадолго перед тем свалил с ног у лавки Калум-бека как раз в ту минуту, когда тот вцепился в бороду злосчастному купцу. Этот человек все время внимательно, с завистью приглядывался к нему, правда, Саид уже несколько раз его побеждал, но это еще не было основанием для такой враждебности, и Саид опасался, не признал ли в нем тот по голосу или по росту зазывалу Калум-бека, а такое открытие сделало бы его мишенью для насмешек и мести. Злой умысел завистников потерпел неудачу как благодаря осторожности и отваге Саида, так и благодаря дружбе к нему брата калифа и сына великого визиря. Увидав, что его окружили не менее шести всадников и пытаются либо сбросить его с коня, либо обезоружить, они поскакали ему на помощь, разогнали нападающих и пригрозили за такой вероломный поступок удалить их с ристалища. Больше четырех месяцев Саид, на удивление всего Багдада, проявлял чудеса храбрости, и вот, как-то вечером, возвращаясь домой, он услышал, как говорили несколько человек, чьи голоса показались ему знакомыми. Впереди него медленно шли четверо и как будто о чем-то совещались. Саид осторожно подошел ближе и, прислушавшись, разобрал, что говорят они на тайном языке арабов из племени Селима; он догадался, что эти четыре араба замышляют какое-то разбойное нападение. Первым его побуждением было уйти, но, подумав, что ему, может, удастся предотвратить злодеяние, он решил подслушать их разговор и подкрался еще поближе.

— Привратник ясно сказал: по той улице, что справа от базара, по ней и ни по какой другой он пройдет с великим визирем этой ночью,— заметил один.

— Все это прекрасно,— отозвался другой.— Великий визирь мне не страшен, он стар, да и не герой, но калиф, говорят, хорошо владеет мечом, и я не очень-то ему доверяю, уж конечно, за ним следом крадется с десятков, а то и больше телохранителей.

— За ним нет ни души,— возразил третий.— Если кто и узнавал его, встретив ночью, то видел его только с великим визирем или с хранителем казны. Сегодня ночью мы захватим его, но зла ему причинить нельзя.

— Я думаю, лучше всего набросить ему петлю на шею,— сказал первый.— Убивать его ни в коем случае нельзя, за его труп большого выкупа не дадут, да могут и никакого не дать.

— Значит, за час до полуночи! — уговорились они и разошлись, кто куда.

Саида немало встревожило готовящееся покушение. Он решил тут же поспешить во дворец и предупредить калифа о грозящей ему опасности. Но, уже пробежав по нескольким улицам, он вдруг вспомнил слова феи — ведь она сказала, что калифу его оговорили. Он подумал, что его могут высмеять или, еще того хуже, обвинить в желании вкрасься в доверие к повелителю Багдада, поэтому он замедлил шаг и счел за лучшее положить на свой верный меч и самому спасти калифа от руки разбойников.

Поэтому он не вернулся домой к Калум-беку, а сел на ступени мечети и стал дожидаться наступления ночи. Когда окончательно стемнело, он прошел мимо базара на улицу, указанную разбойниками, и спрятался за выступом дома. Там он простоял, должно быть, около часа и вдруг услышал шаги двух людей, медленно идущих по улице; вначале он подумал, что это калиф с великим визирем, но один из мужчин хлопнул в ладоши, и сейчас же со стороны базара к ним бесшумно присоединились еще двое. Они пошептались, затем трое спрятались недалеко от Саида, а один принялся ходить взад и вперед по улице. Ночь была очень темная, но тихая, и Саиду пришлось положиться только на свой острый слух.

Прошло еще с полчаса, и опять со стороны базара слышались шаги. Разбойник, должно быть, их тоже услышал; он прошмыгнул мимо Саида к базару. Шаги приближались, и Саид уже мог различить в темноте двух людей; тут разбойник хлопнул в ладоши, и в то же мгновение из засады выскочили те трое, что спрятались там. Те, на кого они напали, были, по всей вероятности, вооружены, ибо Саид услышал звон скрестившихся мечей. Он не мешкая выхватил свой дамаский клинок и с криком: «Смерть врагам великого Гаруна!» — бросился на разбойников; первым ударом он сразил одного, затем налетел на двух других, которые набросили веревку на шею второму прохожему и пытались его обезоружить. Саид наугад ударил по веревке, но при этом так сильно хватил по руке разбойника, что отрубил ему кисть. Тот громко завопил и упал на колени. Теперь четвертый разбойник, который вел бой с другим человеком, бросился к Саиду, еще сражавшемуся с третьим разбойником. Но тот человек, что освободился от веревки, выхватил ятаган и вонзил его сбоку в грудь напа-

дающему. Увидев это, еще оставшийся в живых разбойник бросил саблю и обратился в бегство.

Саид недолго оставался в неведении, кому он спас жизнь, потому что к нему подошел более рослый из двух и сказал:

— И покушение на мою жизнь или на мою свободу, равно как и неожиданная помощь и спасение, одинаково удивительны. Как вы узнали, кто я? Вы знали о покушении?

— Повелитель правоверных, ибо я не сомневаюсь, что это ты,— ответил Саид,— сегодня вечером я шел по улице Эльмалек позади нескольких человек, чуждое и тайное наречие которых я в свое время научился понимать. Они говорили, что хотят тебя взять в плен, а твоего визиря, мужа достойного, убить. Предостеречь тебя было уж не успеть, и я решил оказать тебе помощь и пойти туда, где они хотели тебя подкараулить.

— Спасибо тебе,— сказал Гарун,— но лучше нам здесь не задерживаться. Вот тебе кольцо, и приходи с ним завтра ко мне во дворец, там мы потолкуем о тебе и оказанной мне помощи и обсудим, как мне вознаградить тебя. Идем, визирь, здесь оставаться опасно — как бы они не вернулись.

Так сказал Гарун, и, надев на палец юноше кольцо, хотел увести визиря; но тот попросил подождать минутку, обернулся и протянул изумленному Саиду туго набитый кошель.

— Молодой человек,— сказал он,— мой повелитель калиф властен многое для тебя сделать, властен даже, если пожелает, назначить тебя моим преемником, я же мало что могу, и потому предпочитаю сделать то, что могу, не завтра, а сегодня, вот возьми кошель! Этим, конечно, не оплатить моей благодарности. Всякий раз, как ты чего пожелаешь, смело иди ко мне!

Опьянев от счастья, поспешил Саид домой. Но там ему был оказан плохой прием. Калум-бек сначала был недоволен, а затем озабочен его долгим отсутствием, потому что боялся лишиться красивой вывески для своей лавки. Он встретил Саида руганью и шумел и орал, как одержимый. Но Саид, заглянув в кошель и увидев, сколько там золота, решил, что теперь может вернуться на родину, даже не прибегая к милостям калифа, уж конечно, не менее щедрым, чем благодарность визиря, поэтому он не полез за словом в карман и коротко и яс-

но сказал купцу, что ни часу больше не пробудет в его доме. Вначале Калум-бек опешил, но потом стал насмехаться и сказал с издевкой:

— Ах ты, пройдоха, бродяга, жалкий оборвыш! Куда ты денешься без меня? Кто тебя накормит-напоит, кто приютит на ночь?

— Пусть это вас не заботит, хозяин,— упрямо возразил Саид.— Будьте здоровы, меня вам больше не видеть!

Так сказал Саид и выбежал на улицу, а Калум-бек, онемев от удивления, смотрел ему вслед. Но наутро, хорошо поразмыслив о том, что случилось, он послал своих упаковщиков выследить, где скрывается беглец. Долго и тщетно искали они, наконец один вернулся и сказал, что видел, как Саид вышел из мечети и направился в караван-сарай. Но его не узнаешь, он прекрасно одет, в роскошном тюрбане, при ятагане и сабле.

Услышав такое, Калум-бек разразился бранью.

— Он обобрал меня и на мои деньги оделся! — воскликнул он.— Несчастный я человек!

Калум побежал к начальнику стражи, а тому было известно, что он родня Месуру, хранителю казны калифа, поэтому купцу не стоило большого труда добиться, чтоб начальник отрядил нескольких стражников для ареста Саида. Саид сидел у караван-сарая и спокойно договаривался со встреченным там купцом о путешествии в Бальсору, родной его город. Неожиданно на него набросилось несколько человек, и, как он ни сопротивлялся, ему связали за спиной руки. Он спросил, что дает им право на такое насилие, они ответили, что действуют по приказу как своего начальника, так и его, Саида, законного хозяина и господина Калум-бека. Тут подошел и сам противный и злой купец, издеваясь и глумясь над Саидом, сунул он руку ему в карман и к удивлению окружающих с торжествующим видом вытащил кошель, набитый золотом.

— Смотрите! Вот сколько понемногу наворовал у меня этот мерзавец! — воскликнул он, и люди с презрением смотрели на пойманного вора и возмущались:

— Такой молодой, такой красивый и уже такой испорченный! На суд его, на суд, пусть проучат его батогами по пяткам!

Саида потащили к начальнику стражи, а следом за ними потянулась толпа людей всякого звания и состояния.

— Смотрите, это красавец зазывала с базара. Он обокрал своего хозяина и скрылся: он украл двести золотых! — кричали в толпе.

Начальник стражи встретил пойманного мрачным взглядом. Саид хотел было сказать несколько слов в свое оправдание, но судья приказал ему замолчать и выслушал только пузатого купца. Он предъявил тому кошель и спросил — эти ли деньги украдены у него?

Калум-бек поклялся, что это так, и хотя с помощью ложной клятвы он и присвоил чужое золото, но красавца зазывалу, которого ценил в тысячу золотых, ему не вернули, ибо судья сказал:

— Согласно закону, который всего несколько дней тому назад по воле калифа, моего полновластного повелителя, стал еще строже, каждая кража, превышающая сумму в сто золотых и совершенная на базаре, наказуется пожизненным изгнанием на пустынный остров. Этот вор попался очень кстати, он как раз дополнит до двадцати число таких же молодцов, как он сам. Завтра мы погрузим их на баржу и повезем в море.

Саид был в отчаянии, он умолял выслушать его, разрешить ему сказать хоть слово калифу, но такая милость не была ему оказана. Калум-бек, уже сожалевший о данной клятве, теперь заступался за Саида, но судья остановил его.

— Ты получил свое золото и будь доволен, ступай домой и веди себя смирно, не то я возьму с тебя штраф по десять золотых за каждое слово, сказанное мне наперекор.

Озадаченный Калум замолчал, судья подал знак и злосчастного Саида увели.

Его заключили в мрачную сырую тюрьму, где валялись на соломе девятнадцать горемык, они встретили своего товарища по несчастью грубыми насмешками и бранью в адрес судьи и калифа. Как ни страшила Саида судьба, как ни ужасала мысль о ссылке на пустынный остров, он все же находил утешение в том, что уже завтра выйдет из этой проклятой тюрьмы. Но он очень ошибся, думая, что в море будет лучше. Всех двадцать преступников бросили в трюм, где нельзя было стоять во весь рост, они теснились и дрались за лучшее место.

Подняли якорь, и Саид горько заплакал, когда баржа, увозившая его от родины, закачалась на волнах. Только раз в день им давали кусок хлеба, немного овощей и глоток пресной воды. В трюме было так темно, что всякий раз, когда заключенных кормили, приходи-

лось приносить свечи. Почти каждые два-три дня кто-нибудь умирал. такой спертый, нездоровый воздух был в этой морской темнице; Саида спасала только молодость и крепкое здоровье.

Две недели были они уже в море, и вот в один прекрасный день волны заходили сильнее, и на корабле поднялась необычная беготня и суматоха.

Саид догадался, что начинается буря; он даже был этому рад, надеясь, что теперь расстанется с жизнью.

Баржу все сильнее и сильнее качало на волнах, и наконец она с ужасным треском села на мель. В трюм доносился рев бури, с палубы долетали крики и вопли. Наконец все затихло, но тут кто-то из заключенных обнаружил течь, вода через пробойну проникала внутрь баржи. Узники принялись стучать в люк, но никто не отзывался. Когда воды заметно прибывало, они налегли на люк и общими усилиями высадили его.

Они поднялись на палубу, но там не было ни души. Весь экипаж спасся на шлюпках. Многие узники впали в отчаяние; буря свирепствовала все сильнее, баржа трещала и погружалась в воду. Несколько часов провели они еще на палубе и, найдя съестные припасы, посидели за последней трапезой; потом буря усилилась, баржу снесло со скалы, на которой она сидела, и разбило.

Саид ухватился за мачту и все еще держался за нее, когда баржу уже разнесло в щепы. Его швыряло из стороны в сторону, но он греб ногами и удерживался на волнах. Так плыл он уже с полчаса, все время подвергаясь смертельной опасности; тут у него из-за кушака выпала дудочка на золотой цепочке, он захотел еще раз испробовать: вдруг она издаст звук. Одной рукой он крепче уцепился за мачту, другой поднес дудочку к губам, подул, и тут раздался ясный звонкий звук. Буря сразу утихла, волны улеглись, словно политые маслом. Не успел он вздохнуть с облегчением и оглядеться, не покажется ли где-нибудь земля, как мачта под ним странным образом раздулась и зашевелилась, и, к немалому своему испугу, он почувствовал, что сидит верхом не на бревне, а на огромном дельфине; несколько мгновений спустя он совладал с охватившим его страхом и, убедившись, что дельфин хоть и быстро, но спокойно и уверенно продолжает плыть, приписал свое чудесное спасение серебряной дудочке и доброй фее и громко выразил свою горячую благодарность.

С быстротой стрелы неся он по волнам на своем чудесном коне, и еще не успело заветереть, как он увидел

землю и широкую реку, в которую тут же устремился дельфин. Вверх по течению дело пошло медленнее, и, чтобы не отоцать, Саид, припомнив, как в таких случаях поступают в старых волшебных сказках, вытащил дудочку, громко и весело свистнул и пожелал вкусно покусать. Рыба тотчас остановилась, и из воды вынырнул стол, такой сухой, словно он неделю простоял на солнце, и весь уставленный вкусными яствами. Саид накинудся на еду, ведь пока он сидел под арестом, кормили его мало и скверно. Насытившись, он громко поблагодарил, стол нырнул в воду, а Саид ударил дельфина по боку, и тот сейчас же опять поплыл вверх по течению.

Солнце уже садилось, когда Саид различил в туманной дали большой город, минареты которого, как ему показалось, походили на багдадские. Мысль о Багдаде не очень его обрадовала, но он твердо верил в добрую фею и был убежден, что она и впредь уберет его от козней гнусного Калум-бека. В стороне, приблизительно за версту от города, у самой реки он заметил великолепный загородный дворец, и к его большому удивлению рыба поплыла к этому дворцу.

На крыше стояли несколько нарядно одетых мужчин, а на берегу множество прислужников, все смотрели в его сторону и всплескивали руками от изумления. Дельфин остановился у мраморной лестницы, которая вела от загородного дворца к реке; и не успел Саид ступить на берег, как дельфин бесследно исчез. Несколько прислужников с сухой одеждой поспешили вниз и от имени их господина пригласили Саида подняться к нему. Он быстро переоделся и последовал за прислужниками на крышу, где его встретили трое, один из них, самый рослый и красивый, приветливо и благосклонно улыбаясь, обратился к нему.

— Откуда ты, чудесный незнакомец? — спросил он. — Ты укрощаешь рыб морских и правишь ими не хуже, чем умелый седок боевым конем. Кто ты — волшебник или такой же человек, как и мы?

— Господин мой, — отвечивал Саид, — последние дни мне туго пришлось, но ежели вам любопытно, я все расскажу.

Он начал свой рассказ и поведал трем слушателям свои злоключения с того дня, как оставил отцовский дом и до дня своего чудесного спасения. Часто они прерывали его изумленными возгласами, дивясь его приключениям, когда же он кончил, хозяин дворца, так приветливо его встретивший, сказал:

— Я верю твоим словам, Саид! Но ты говорил, что за победу в ратных состязаниях получил цепь и что калиф подарил тебе кольцо. Можешь ты показать нам то и другое?

— Оба подарка я храню здесь, на сердце,— сказал юноша,— я отдал бы их тебе только вместе с жизнью, ибо славным и прекрасным деянием считаю то, что я спас калифа от рук разбойников.— С этими словами он вытащил из-за пазухи цепь и кольцо и подал хозяину дома.

— Клянусь бородою пророка, это он, это мое кольцо! — воскликнул высокий красавец.— Великий визирь, пред нами стоит наш спаситель, обнимем его.

Саиду казалось, что он видит сон, когда они заключили его в свои объятия, но, придя в себя, он пал ниц и сказал:

— Прости, повелитель правоверных, что пред твоим лицом я так свободно говорил, ведь ты Гарун аль-Рашид, славный багдадский калиф.

— Да, я калиф и твой друг! — отвечивал Гарун,— и с нынешнего дня твоя горестная судьба изменится. Ты поедешь со мной в Багдад, останешься в моей свите и будешь одним из самых моих верных советчиков,— в ту ночь ты доказал, что Гарун тебе не безразличен, а я не каждого из преданных мне слуг решил бы подвергнуть такому испытанию.

Саид поблагодарил калифа; он обещал остаться у него навсегда, но раньше просил позволения поехать домой, к отцу, который, верно, очень о нем печалится, и калиф нашел это желание законным и разумным. Вскоре они сели на коней и еще до захода солнца приехали в Багдад. Калиф повелел отвести Саиду во дворец целую анфиладу роскошных покоев и сверх того обещал дать приказ, чтобы для него был возведен прекрасный дом.

При первой вести о происшедшем к Саиду поспешили его бывшие братья по оружию — брат калифа и сын великого визиря. Они обняли его — спасителя дорогих им людей — и просили стать их другом. Но они онемели от изумления, когда он сказал: «Я уже давно ваш друг», — и с этими словами достал цепь — приз за победу на состязании — и напомнил о разных случаях на ристалище. Тогда они видели его загорелым и длиннородым, и только, когда он рассказал, как и почему он изменил свой облик, когда в подтверждение своих слов велел принести свои доспехи и сразился с ними тупым оружи-

ем, чем доказал, что он и есть тот самый Альмансор Отважный, только тогда они снова радостно обняли его и сочли за счастье иметь такого друга.

На следующий день, когда Саид и великий визирь сидели в покоях Гаруна, туда вошел Месур, старший хранитель казны калифа.

— Повелитель правоверных,— сказал он,— я хотел бы испросить у тебя одну милость, потому что не знаю, как ты на это посмотришь.

— Я желаю сперва выслушать, о чем ты просишь,— ответил Гарун.

— У ворот дожидается мой кровный родственник, очень мною любимый Калум-бек, купец, известный всею базару,— сказал Месур,— у него произошла странная ссора с человеком из Бальсоры, чей сын служил у Калум-бека, обворовал его и сбежал неизвестно куда. Теперь отец требует от Калума своего сына, а у Калума его нет. Поэтому ему хотелось бы, и он просит тебя об этом, чтобы ты оказал ему милость и с присущими тебе проникательностью и мудростью рассудил спор между ним и человеком из Бальсоры.

— Хорошо, я рассужу их,— сказал калиф.— Пусть через полчаса твой почтенный родственник и тот, на кого он приносит жалобу, явятся в судебный покой на заседание дивана.

— Это не кто иной, как твой отец, Саид,— сказал Гарун, когда Месур, рассыпаясь в благодарностях, покинул покой,— по счастью, мне теперь все известно, поэтому судить я буду, как Соломон. Ты спрячешься за занавесом трона и не выходи, пока я не позову тебя, а ты, великий визирь, сейчас же вели привести нерадивого и опрометчивого судью! Он будет мне нужен во время допроса.

Как Гарун повелел, так оба и сделали. У Саида сильно забилось сердце, когда он увидел, как его отец, бледный и изнуренный печалью, неверной походкой вошел в судебный покой, а хитрая самоуверенная усмешка, с какой Калум шептал что-то на ухо своему родственнику, старшему хранителю калифовой казны, возмутила Саида, его так и подмывало выскочить из-за занавеса и накинуться на Калума, ведь ему, этому подлому человеку, он был обязан самыми тяжкими своими страданиями и огорчениями.

В покое собралось много людей, всем хотелось услышать, как будет творить суд калиф. Когда повелитель Багдада занял свое место на троне, великий визирь при-

звал всех к тишине, спросил, который из двух жалобщик и кто обращается за правосудием к своему повелителю.

Калум-бек самоуверенно выступил вперед и сказал:

— Несколько дней тому назад стоял я на базаре у дверей своей лавки, когда глашатай, держа в руке кошель, ходил вместе с этим человеком от лавки к лавке и выкрикивал: «Кошель золота тому, кто укажет, где Саид из Бальсоры». Этот Саид был у меня зазывалой, вот я и крикнул: «Сюда, друг! Я заслужил твой кошель!» Этот человек, который сейчас таким врагом смотрит на меня, тогда подошел ко мне как друг и спросил, что мне известно. Я ответил: «Вы, верно, Бенезар, его отец?» — и когда он с радостью это подтвердил, я рассказал, как нашел его сына в пустыне, спас ему жизнь, выходя из него и привез в Багдад. С радостью сердца подарил он мне свой кошель. Но послушайте, что было дальше, когда я рассказал этому вздорному человеку, что его сын служил у меня, потом занялся темными делишками, обокрал меня и сбежал, он не поверил и вот уже несколько дней пристаёт ко мне, требует вернуть ему сына и золото, но я не могу вернуть ни того, ни другого, деньги принадлежат мне по праву за сообщенную весть, а его дурного сына я никак не могу ему предоставить.

Теперь заговорил Бенезар. Назвал сына благородным и добродетельным юношей, сказал, что Саид никогда не замарал бы рук воровством. Он взывал к калифу, прося строго расследовать дело.

— Надеюсь, ты исполнил свой долг и заявил о краже? — спросил Калум-бека калиф.

— Ну, разумеется, — усмехнулся тот. — Я отвел его к судье.

— Привести сюда судью! — повелел калиф.

Ко всеобщему удивлению, судья, как по мановению волшебной палочки, тут же предстал перед ним.

Калиф спросил его, помнит ли он о таком судебном деле, и тот ответил утвердительно.

— Ты допросил юношу, он в воровстве признался? — спросил Гарун.

— Нет, он был так упрям, что хотел повиниться только перед вами! — возразил судья.

— Но я не припомню, чтобы я его видел, — сказал калиф.

— А зачем? Тогда мне пришлось бы что ни день приводить к вам целую ораву всякого сброда, все желали бы, чтобы вы их выслушали.

— Ты же знаешь, я преклоняю ухо к словам любого,— возразил Гарун,— но, должно быть, улики были так очевидны, что юноше предстать пред моими очами было излишне. У тебя, Калум, верно, были свидетели, что украденные деньги принадлежат тебе?

— Свидетели? — переспросил Калум, бледнея.— Нет, свидетелей у меня не было, и вы, повелитель правоверных, сами знаете, что все золотые монеты похожи одна на другую. Откуда же было мне взять свидетелей, что именно этих сто золотых недостает у меня в кассе?

— А как же ты узнал, что эти золотые принадлежат тебе?

— По кошелью, в котором они лежали,— ответил Калум.

— Кошель при тебе? — не прекращал допытываться калиф.

— Вот он,— ответил купец, достал кошель и вручил его великому визирю, чтобы тот подал его калифу.

Но великий визирь с притворным изумлением воскликнул:

— Клянусь бородою пророка! Так ты, паршивый пес, утверждаешь, что кошель твой? Кошель принадлежал мне, и я подарил его храброму юноше за то, что он спас меня от страшной опасности.

— Ты можешь в этом поклясться? — спросил калиф.

— Это так же верно, как то, что я надеюсь попасть в рай,— ответил визирь,— кошель сделан руками моей дочери.

— Ай-ай-ай! — воскликнул Гарун.— Выходит, судья, показания-то были ложными. Почему же ты поверил, что кошель принадлежит купцу?

— Он поклялся,— ответил судья, оробев.

— Так, значит, ты дал *ложную* клятву! — с гневом обрушился калиф на дрожащего и побледневшего купца.

— Аллах, Аллах! — воскликнул тот.— Я, конечно, ничего не хочу сказать против великого визиря, он человек достойный доверия, но ведь кошель-то все-таки мой, и негодник Саид украл его. Я бы заплатил тысячу туманов, только бы Саид был сейчас тут.

— Скажи, куда ты упрятал Саида? — спросил калиф судью.— Скажи, куда надо за ним послать, чтобы он мог дать мне свои показания?

— Я отослал его на пустынный остров,— ответил судья.

— О Саид! Мой сын, мой сын! — обливаясь слезами, приговаривал несчастный отец.

— Так, значит, он сознался в краже? — допрашивал Гарун.

Судья побледнел, он не знал, куда деть глаза, наконец он сказал:

— Если я не ошибаюсь, то — да.

— Значит, ты в этом не уверен? — грозно спросил калиф. — В таком случае спросим его самого. Выходи, Саид, а ты, Калум-бек, раз он здесь, заплати сейчас же тысячу золотых!

Калум и судья думали, что перед ними привидение. Они упали на колени и молили: «Смилуйся! Смилуйся!» Бенезар, обессилев от радости, поспешил в объятия вновь обретенного сына. Калиф с непреклонной строгостью спросил:

— Судья, Саид тут, он признал себя виновным?

— Нет, нет, — слезно вопил судья, — я выслушал только показания Калума, ведь он именитый купец.

— Разве для того я поставил тебя судьей надо всеми, чтобы ты выслушивал только знатных? — в порыве благородного гнева воскликнул Гарун аль-Рашид. — Я ссылаю тебя сроком на десять лет на пустынный остров в открытом море. Там у тебя будет время поразмыслить о справедливости; а ты, жалкий человек, ты возвращаешь к жизни умирающих не для того, чтобы их спасти, а для того, чтобы сделать их твоими рабами, ты, как уже было сказано, заплатишь тысячу туманов, ведь ты обещал их, если явится Саид и даст свои показания.

Калум обрадовался, что так дешево отделался, и уже собрался поблагодарить доброго калифа, но тот еще не кончил свою речь:

— За ложную клятву о ста золотых туманах получишь сто ударов по пяткам. А затем предоставляю Саиду на выбор — или забрать твою лавку, а тебя сделать упаковщиком и носильщиком, или же получить с тебя десять золотых за каждый день, что он прослужил у тебя.

— Отпустите негодяя, калиф! — воскликнул юноша. — Мне не надо ничего, что принадлежит ему.

— Нет, — возразил Гарун. — Я хочу, чтобы ты был вознагражден. Я выбираю вместо тебя: десять золотых за каждый день, а ты уж сам подсчитай, сколько дней был у него в лапах. А теперь уведите этих негодяев!

Их увели, а калиф пошел с Бенезаром и Саидом в другой покой; там он рассказал счастливому отцу о своем чудесном спасении, и только время от времени

его прерывали вопли Калум-бека, которому во дворе как раз отсчитывали сто полновесных золотых по пяткам.

Калиф пригласил Бенезара на житье в Багдад. Тот согласился и только ненадолго съездил на родину за своим немалым добром. Саид зажил, как принц, во дворце, который ему построил благодарный калиф. С братом калифа и сыном великого визиря он был в большой дружбе, и в Багдаде вошло в поговорку: «Быть бы мне таким добрым и счастливым, как Саид, сын Бенезара».

— При таком занимательном времяпрепровождении я не то что одну, а две, три ночи, а придется, так и больше, глаз не сомкну,— сказал мастер, когда егерь окончил,— и не раз уже я в этом убеждался. Работал я одно время подмастерьем у литейщика колоколов. Литейщик был человек богатый и не скряга. Но вот как-то, когда он получил крупный заказ, нас очень удивила совсем непривычная для него скупость. Отливали мы колокол для новой церкви, и мы, ученики и подмастерья, всю ночь должны были сидеть у горна и поддерживать огонь. Мы, конечно, ожидали, что мастер почнет свой заветный бочонок и поставит нам свое лучшее вино. Но не тут-то было. Он каждый час подносил нам круговую чарку, и только, а сам все рассказывал и о годах своих странствий, и всякие истории из своей жизни; его примеру последовал старший подмастерье, а потом по череду и все остальные. Мы и не заметили, как настал день. Тут-то мы поняли хитрость мастера: он хотел, чтобы за разговорами мы позабыли о сне. А когда колокол был готов, он не пожалел вина и с лихвой возместил то, что недодал той ночью.

— Ваш мастер был человек разумный,— заметил студент.— Против сна нет средства лучше, чем разговор. Мне потому не хотелось оставаться этой ночью в одиночестве, что к одиннадцати часам меня уже одолевает сон.

— И крестьяне тоже это смекнули,— сказал егерь.— Длинными зимними вечерами, когда прясть уже приходится при свете, женщины и девушки не сидят по домам, потому что там они заснули бы за прялкой; нет, они собираются у кого-нибудь на посиделки и там за работой рассказывают друг другу всякую всячину.

— Да,— вступил в разговор возчик,— порой просто жуть берет, такие страхи они рассказывают об огненных духах, что бродят по свету, о домовых, что по ночам поднимают возню в кладовой, о привидениях, что пугают людей и скотину.

— Ну, это, конечно, не слишком приятное развлечение,— возразил студент.— Мне, должен признаться, ничто так не противно, как рассказы о привидениях.

— А по мне как раз наоборот,— сказал мастер.— Мне особенно приятно слушать страшные рассказы. Вроде как спать при дожде под крышей. Слышишь, как дождь стучит по черепицам: кап-кап... кап-кап, а ты лежишь в сухости и тепле. Когда при свете и в компании слушаешь рассказы о привидениях, тебе приятно и совсем не страшно.

— Ну, а потом как? — спросил студент.— Разве тот, кто питает нелепую веру в привидения, не будет дрожать от страха, ежели останется один впотьмах? Разве не будет он вспоминать всю ту жуть, что слышал? Когда я вспоминаю свое детство, рассказы о привидениях и по сей день еще вызывают во мне неприязнь. Я был веселым, живым ребенком и, вероятно, не таким спокойным, как то хотелось бы моей кормилице. А она не придумала ничего лучше, как пугать меня, чтобы утихомирить. Она рассказывала страшные сказки про всякую нечисть, про ведьм, которые, как она говорила, водятся в доме, и, когда кошки подымали возню на чердаке, она боязливо шептала: «Слышишь, сынок? Вот он, мертвец-то, опять вверх и вниз по лестнице ходит. Голову свою он несет под мышкой, а глаза все равно горят не хуже фонарей, вместо пальцев у него когти, кого он поймает в темной комнате, тому свернет голову».

Собеседников его рассказ насмешил, а студент продолжал:

— Я был еще слишком мал и не мог понять, что все это не правда, а выдумки. Я не боялся самой большой охотничьей собаки, любого товарища моих детских игр мог повалить на песок, но в темной комнате зажмуривал глаза, думая, что сейчас подкрадется мертвец. Дошло до того, что, когда стемнеет, я уже не соглашался один без свечи выйти за дверь. И как бывало отец меня наказывал за такое непослушание! Я долго не мог отделаться от этого детского страха, а виновата была только моя глупая кормилица.

— Да, это большая ошибка — забивать ребенку голову таким суемудрием,— заметил егерь.— Могу вас

уверить, что знавал смелых, решительных людей, охотников, которые не побоялись бы и трех врагов, а в ночную пору, когда они подкарауливали в лесу дичь или браконьеров, на них, случалось, вдруг напал страх; дерево представлялось им страшным привидением, куст — ведьмой, а два светлячка — глазами подстерегающего их в темноте чудовища.

— Я считаю подобные рассказы чрезвычайно вредными и глупыми для всякого, не только для детей, — сказал студент. — Ну станет ли здравомыслящий человек рассуждать о повадках и сущности тех, что живут лишь в воображении глупца? Привидения являются ему одному и никому больше. Но всего вреднее такие рассказы для сельского люда. В деревнях упорно живет твердая вера в подобные глупости, и поддерживается она за прялкой на посиделках и в трактирах, где подвигаются поближе друг к дружке и прерывающимся от страха голосом рассказывают всякие жуткие истории.

— Да, сударь, может, вы и правы, — согласился возчик. — Такие рассказы принесли не одну беду, моя родная сестра по их милости лишилась жизни.

— Да ну? Из-за таких рассказней? — удивились остальные собеседники.

— Да, из-за таких рассказней, — подтвердил возчик. — В той деревне, где жил наш отец, женщины и девушки зимними вечерами прядут на посиделках, так уж там повелось. И молодые парни тоже приходят и болтают всякие небылицы. Вот как-то вечером зашел разговор о привидениях и выходцах с того света, и парни рассказали о старом лавочнике, который уже десять лет как умер, но все еще никак не найдет покоя в могиле. Каждую ночь сбрасывает он с гроба землю, встает из могилы, медленно крадется, покашливая, как и при жизни к себе в лавку, кладет на весы сахар и кофе и при этом бормочет:

Три четверти фунта в полночный час
К полудню потянут фунт как раз.

Многие уверяли, будто видели его собственными глазами, и девушки и женщины были очень напуганы. Но моя сестра, ей тогда было шестнадцать, захотела показать, что она умнее других, и заявила: «Ни во что такое я не верю, кто умер, тот уже не встанет из гроба!» Заявить-то она заявила, но убеждена в этом, к сожалению, не была. Тогда один из парней сказал: «Если ты

так думаешь, ты его не испугаешься; его могила в двух шагах от могилы недавно умершей Кетхен. Докажи свою храбрость, пойди на кладбище, сорви цветок с могилы Кетхен и принеси нам, тогда мы поверим, что ты не испугалась лавочника!»

Моя сестра побоялась, что ее засмеют, и сказала: «Для меня это пустяки, какой цветок принести?»

«Во всей деревне нет белых роз, только на кладбище, вот и принеси нам оттуда букет белых роз»,— ответила ей одна из ее подруг. Сестра встала и вышла на улицу, и все мужчины хвалили ее за храбрость, но женщины качали головой и говорили: «Только бы все хорошо кончилось!» Сестра пошла к кладбищу. Было полнолуние. Когда она отворяла кладбищенскую калитку, на часах как раз пробило двенадцать, ей стало страшно.

Она прошла мимо ряда знакомых могил, и чем ближе подходила она к белым розам Кетхен и к могиле лавочника, встающего по ночам из гроба, тем сильнее и сильнее замирало у нее от страха сердце.

Ее била дрожь, когда она, дойдя до могилы Кетхен, опустилась на колени и стала рвать цветы. Вдруг ей послышался где-то совсем рядом шорох. Она оглянулась: в двух шагах от нее из могилы вылетели комья земли, и вслед за землей появилась голова человека, бледного старика в белом ночном колпаке. Сестра страшно перепугалась; еще раз поглядела она в ту сторону, желая убедиться, что ее не обманывает зрение; когда же тот, что глядел из могилы, гнусавым голосом сказал: «Добрый вечер, девушка, откуда вы в такой поздний час?»—ее охватил смертельный страх, она вскочила и, перепрыгивая через могилы, побежала обратно; задыхаясь от ужаса, рассказала она о том, что видела; она так ослабела, что домой ее отнесли на руках. На следующий день мы узнали, что это был могильщик, он рыл там могилу и заговорил с моей сестрой, но нам от этого не стало легче. Еще до того, как она могла это узнать, у нее началась горячка, и на третий день она умерла. Цветы для венка на свою могилу она нарвала сама.

Возчик замолчал, и слезы выступили у него на глазах; все присутствующие с участием глядели на него.

— Итак, бедную девочку погубило суеверие,— сказал золотых дел мастер.— Мне вспомнилось в связи с этим предание, которое я охотно расскажу вам, к сожалению, и оно тоже грустно кончается.

Стинфольская

пещера

(Шотландская легенда)

Много лет тому назад на одном из скалистых шотландских островов жили в мире и согласии два рыбака. Оба они были холостые, родни у них тоже не было, а общая, хотя и не одинаковая, работа кормила обоих. По возрасту они были близки друг к другу, зато по облику и характеру столь же далеки, как орел от тюленя.

Каспар был толстенький коротышка с круглым, как луна, широким и жирным лицом, с добродушным веселым взглядом, казалось, далеким от печали и забот. Он любил поспать, был не только жирен, но и ленив, поэтому на его долю приходилась домашняя работа: он варил и пек, плел сети, как для собственного употребления, так и на продажу, обрабатывал большую часть их маленького поля. Его товарищ был полной его противоположностью; высокий и тощий, с ястребиным носом и смелым острым взглядом, на окрестных островах он прослыл самым деятельным и удачливым рыбаком, самым предприимчивым охотником за морскими птицами и их пухом, самым трудолюбивым земледельцем, а на рынке в Кирхуэле к тому же еще и самым жадным до денег торговцем, но товар у него был хороший, и торговал он без обмана, поэтому все охотно у него покупали. И Вильм Коршун и Каспар Колпак (так прозвали их в округе), с которым первый, при всей своей жадности, охотно делил тяжелым трудом заработанные деньги, не только были сыты, но находились на верном пути к известному достатку. Но Коршуну при его корыстолюбии просто достатка было мало. Он хотел разбогатеть, разбогатеть по-настоящему, и, когда он понял, что трудолюбием богатства не так-то легко нажить, он вбил себе в голову, что ему поможет какой-нибудь необычайный счастливый случай, и поскольку теперь эта мысль завладела его беспокойным умом, он уже не мог думать ни о чем другом и уже как о решенном говорил об этом с Каспаром Колпаком. А для Каспара то, что говорил Вильм Коршун, было непререкаемой истиной, вот он и пересказал все соседям, и вскорости пошел слух, буд-

то Вильм Коршун не то уже продал душу дьяволу, не то получил такое предложение от князя тьмы.

Сперва Коршун смеялся над подобными слухами, но мало-помалу сжился с мыслью, что тот или иной дух откроет ему, где спрятан клад, и он уже не возражал, когда соседи над ним подшучивали. Он, правда, все еще занимался прежними своими делами, но уже не с прежним рвением и часто зря терял время, которое раньше потратил бы на рыбную ловлю или на какую другую полезную работу, в бесплодных поисках удачного случая, который поможет ему сразу разбогатеть. К несчастью, однажды, когда он стоял на безлюдном берегу и с твердой надеждой взирал на волны морские, словно оттуда ему должно привалить огромное счастье, большая волна, отхлынув обратно, оставила на берегу у его ног среди смытого мха и камешков желтый шарик — шарик золота.

Вильм стоял как замороженный; так, значит, его надежды не пустые мечтания, море подарило ему золото, прекрасное чистое золото, вероятно, остаток большого слитка, на дне морском обточенного волнами до величины ружейной пули. И теперь ему стало ясно, что некогда где-то здесь, у этого берега, затонул корабль с богатым грузом и что ему, именно *ему*, предназначено судьбой поднять с морского дна похороненное там сокровище. С этого дня это стало его единственной думой. Он тщательно скрывал свою находку даже от друга; опасаясь, как бы кто другой не напал на след его открытия, он забросил все свои дела и проводил и дни и ночи на том берегу, где не рыбу ловил сетью, а собственноручно для этого изготовленной им лопатой пытался выудить клад. Но привело это только к бедности, ведь сам он теперь ничего не зарабатывал, а сонный и медлительный Каспар Колпак, при всем старании, не мог своим трудом прокормить обоих. В погоне за сокровищем исчез не только найденный им кусочек золота, но постепенно все добро обоих холостяков. Как прежде Каспар молча предоставлял Вильму зарабатывать на сытую жизнь, так и теперь молча и безропотно сносил он то, что из-за бесцельных трудов своего друга терпит нужду, и такое кроткое долготерпение Каспара только хуже подстегивало Вильма не прекращать неустанных поисков богатства, но еще больше не давало ему утомиться то, что, как только он ложился спать и глаза его смыкались в дремоте, на ухо ему будто кто-то шептал, казалось ему, всегда одно и то же, явственно слыш-

ное слово, но, проснувшись, он так и не мог его припомнить. Он, правда, не знал, как это странное обстоятельство связано с одолевающими его теперь заботами, но при его умонастроении все оказывало на него свое действие, и это таинственное нашептывание укрепило его веру в то, что ему предопределено судьбой великое счастье, а он надеялся обрести его только в куче золота.

Однажды на берегу, где он нашел золотой шарик, его застала такая сильная буря, что он укрылся в ближайшей пещере. Эта пещера, которую местные жители называют Стинфольской, образует длинную подземную галерею, открытую в двух местах свободному доступу морских волн, и они непрерывно с громким ревом, пенясь, врываются в пещеру. Проникнуть в эту пещеру можно только в *одном* месте и только через расселину сверху, которой, кроме отчаянных мальчишек, редко кто пользовался, всех отпугивали не только опасности, связанные с самим местоположением, но и слава о том, что в пещере нечисто. С трудом протиснулся Вильм через расселину, спустился приблизительно на двенадцать футов и устроился на выступающем камне под нависшей скалой. Под ногами у него с ревом перекатывались волны, над головой шумела буря, а он опять предался обычным своим размышлениям о затонувшем корабле и что за корабль это мог быть, ведь, несмотря на все расспросы, он ни от кого из местных жителей, даже от старожил, не мог получить сведений о корабле, когда-либо затонувшем на этом месте. Сколько времени он так просидел, он и сам не знал; когда же очнулся от своих грез, он увидел, что буря прошла, и хотел подняться наверх, но тут из глубины до него долетел чей-то голос и совершенно явственно прозвучало слово «Кар-мил-хан». В испуге вскочил он и посмотрел в пучину, где не было никого. «Господи Боже! — воскликнул он. — Это же то слово, что преследует меня во сне! Ради всего святого, что оно значит?» «Кармилхан», — еще раз вздохнула бездна морская, когда он уже вытащил одну ногу из расселины; и, как испуганная лань, помчался он к своей хижине.

Но Вильм не был трусом, — просто все произошло слишком неожиданно, да и очень уж корыстолюбив он был, и никакая опасность не могла отпугнуть его и принудить сойти с избранного им опасного пути. Однажды, когда он поздней ночью при лунном свете, причалив лодку как раз против пещеры, пытался своей самодельной лопатой выудить сокровище, лопата вдруг в чем-то

застряла. Он потянул со всей мочи, но все его усилия были тщетны. Тем временем подул сильный ветер, темные тучи обложили небо; лодку сильно качало, и в любую минуту она могла перевернуться; но Вильма Коршуна это не смутило, он тянул и тянул, наконец ему удалось одолеть сопротивление, и, не ощущая никакой тяжести, он подумал, что оборвался канат на лопате. Но как раз в ту минуту, когда тучи заволакивали луну, на поверхности воды появилась круглая черная масса и прозвучало давно уже преследовавшее его слово: «Кармильхан»! Он поспешил схватить эту темную массу и уже протянул руку, но ночная тьма тут же поглотила ее, а Вильму от вдруг разразившейся бури пришлось укрыться под ближайшей скалой. От усталости он там заснул, но и во сне, терзаемый неудержной силой воображения, он снова переживал те же муки, что терпел днем из-за не покидавшей его алчности.

Когда Коршун проснулся, первые лучи восходящего солнца падали на уже успокоившуюся водную гладь. Он хотел опять приняться за привычную работу, как вдруг увидел, что издали приближается какой-то предмет. Вскоре он разглядел лодку, а в ней человека. Но что его удивило,— лодка шла вперед без ветрила и весел, и притом носом к берегу, а сидевший в ней человек как будто и не думал о руле, да и был ли там вообще руль. Лодка подходила все ближе и наконец остановилась у лодки Вильма. Там с закрытыми глазами, недвижимо, как покойник, сидел высохший сморщенный старичок в желтой холщовой одежде и в красном торчащем вверх ночном колпаке.

Напрасно Вильм кричал, напрасно расталкивал его, и тогда он решил привязать к лодке канат и отвезти ее, но тут старичок открыл глаза и зашевелился, да так, что даже храброго рыбака объяла жуть.

— Где я? — глубоко вздохнув, спросил старичок по-голландски.

Вильм Коршун, научившийся от голландских ловцов сельдей понимать их язык, назвал остров и спросил, кто он и что привело его сюда.

— Я приехал взглянуть на «Кармильхана».

— На «Кармильхана»? Ради Бога, скажите, что это? — воскликнул алчный рыбак.

— Я не отвечаю на вопросы, когда мне их так задают,— явно испугавшись, возразил старичок.

— Ну, так что же такое «Кармильхан»? — крикнул Коршун.

— «Кармильхан» теперь уже ничто, но в свое время это был красивый корабль, с таким огромным грузом золота, какой едва ли был на каком-либо другом корабле.

— Где и когда он затонул?

— Сто лет тому назад, а где — я точно не знаю. Я здесь, чтобы отыскать это место и выудить со дна золото; помоги мне, и мы разделим находку, хочешь?

— Всей душой хочу, скажи только, что я должен делать?

— То, что ты должен делать, требует мужества; ты должен незадолго до полуночи пойти в самую дикую и пустынную часть острова, взяв с собой корову, там ты ее зарежешь, но предварительно договорись с кем-нибудь, чтобы он завернул тебя в содранную коровью шкуру, а затем ушел, оставив тебя одного, и не пройдет и часа, как ты узнаешь, где лежат сокровища «Кармильхана».

— Таким же путем сын старого Энгроля погубил тело и душу! — в ужасе воскликнул Вильм. — Ты нечистый! — крикнул он, быстро гребя прочь. — Ступай к себе в преисподнюю! Я не хочу иметь с тобой дела!

Старичок, заскрежетав от злости зубами, посылал ему вслед ругательства и проклятия, но до слуха рыбака, взявшегося за весла, его голос уже не долетал, а когда Вильм обогнул скалу, старичок исчез и из его поля зрения.

Однако открытие, что злой дух хотел использовать его жажду стяжательства и, обещав золото, заманить в свои сети, не излечило ослепленного рыбака, наоборот, он подумал, что теперь он сам воспользуется сообщением желтого старичка, не отдаваясь в руки дьяволу; итак, он продолжал поиски золота у пустынного берега, пренебрегая сулящими достаток богатыми уловами у других морских берегов, да и вообще всякой работой, хотя прежде отличался трудолюбием. Теперь они с другом день ото дня терпели все большую и большую нужду, так что под конец им уже не хватало самого насущного. И хотя это надо было приписать исключительно упрямству и алчности Вильма Коршуна, хотя пропитание обоих целиком лежало теперь на Каспаре Колпаке, тот никогда ни в чем не упрекал Коршуна; больше того, он все так же выказывал ему покорность, все так же верил в превосходство его ума, как и прежде, когда Вильму Коршуну давалось все, за что бы он ни взялся. Это обстоятельство сильно усугубляло страдание Вильма, но

оно же побуждало его к еще более упорным поискам золота, он надеялся, что в дальнейшем сможет вознаградить друга за теперешние лишения. К тому же во сне его все еще преследовало дьявольское нашептывание слова «Кармильхан». Коротко говоря, нужда, обманутое ожидание и жадность довели его до своего рода безумия, и в конце концов он решил сделать то, к чему склонял его старичок, хотя из давнего предания и знал, что это значит самому отдать себя во власть князю тьмы.

Все уговоры Каспара были напрасны. Чем больше он упрямился, тем больше друг отступился от его отчаянного замысла, тем горячее настаивал тот на своем. И добрый слабыхарактерный Каспар Колпак в конце концов сдался и согласился пойти с ним и помочь ему выполнить задуманное. У обоих холостяков больно сжалось сердце, когда они обмотали веревкой рога красивой коровы, их последнего достояния, которую они вырастили из теленка и никак не решались продать, потому что не могли примириться с мыслью отдать ее в чужие руки. Но дьявол, взявший власть над Вильмом, задушил в его сердце все добрые чувства, а Каспар своему другу ни в чем не перечил. Шел сентябрь, начались уже долгие ночи шотландской зимы. Облака, гонимые резким вечерним ветром, тяжело катились по потемневшему небу, громоздясь, как айсберги в стрёме, густые тени залегли в ущельях между горным хребтом и сырыми торфяными болотами, смутно видные русла рек устрашали, как черная тьма адских бездн. Коршун шел впереди, а Каспар Колпак, содрогавшийся при мысли о собственной смелости, следом, и слезы навертывались ему на глаза всякий раз, как он взглядывал на бедную корову, которая доверчиво шла за ними, не ведая, что идет навстречу близкой смерти от руки человека, до тех пор кормившего ее. С трудом добрались они до узкой болотистой горной долины, кое-где поросшей мхом и вереском, усеянной большими камнями и опоясанной недосыгаемыми горами, терявшимися в клубах тумана и почти недоступными для человека. По болотистой, уходящей изпод ног почве подошли они к большому камню посреди долины, с которого с громким клетотом взлетел вспугнутый орел. Бедная корова глухо замычала, словно почувяв, какое это страшное место и какая ее ждет участь. Каспар отвернулся и утер ручьем бегущие слезы. Он глянул вниз, в скалистое ущелье, откуда они поднялись, оттуда долетал далекий шум прибоя, а потом глянул

вверх, на горные вершины, на которые спустились черные тучи, оттуда временами доносились глухие раскаты. Когда он посмотрел на Вильма, тот уже привязал корову к камню и занес над бедняжкой топор.

Этого Каспар не выдержал, подчиниться воле друга казалось ему невыносимым. Ломая руки, с отчаянным воплем упал он на колени.

— Ради бога, Вильм Коршун! Пожалей себя, пожалей корову! Пожалей себя и меня! Пожалей свою душу! Пожалей свою жизнь! А если уж ты не боишься искушать Бога, то подожди до завтра и лучше принеси в жертву другое животное, а не нашу ласковую коровушку!

— Каспар, да ты с ума сошел! — как обезумевший завопил Вильм, все еще не опуская топора.— Прикажешь мне пожалеть корову, а самому помереть с голоду?

— Ты не помрешь с голоду,— решительно ответил Каспар.— Покуда у меня есть руки, ты не помрешь с голоду. С утра до ночи буду я для тебя трудиться. Только не лишай свою душу вечного блаженства и не убивай нашу бедную корову!

— Тогда возьми топор и размозжи голову мне! — с отчаянием в голосе крикнул Вильм Коршун.— Я не сойду с этого места, пока не получу того, что мне надо. Ты можешь добыть для меня сокровища «Кармильхана»? Можешь своими руками заработать больше, чем на самую скудную жизнь? Но ты можешь своими руками положить конец и моим терзаниям. Вот топор, принеси в жертву меня!

— Вильм, убей корову, убей меня! Мне ничего не жаль, мне жаль только твою бессмертную душу. Ведь Это же алтарь пиктов, и жертву ты принесешь князю тьмы.

— А что мне до того! — закричал Коршун, хохоча, как безумный, и твердо решив не слушать никаких доводов, никого, кто может отговорить его от раз им задуманного.— Каспар, ты помешался, с тобой помешаюсь и я. Но вот,— продолжал он отбросив топор и взяв с камня нож с таким видом, будто собирается воткнуть его себе в грудь,— пусть вместо меня у тебя останется корова!

Во мгновение ока Каспар подскочил к нему, вырвал у него из рук смертоносное оружие, схватил топор, замахнулся и с такой силой опустил его на голову люби-

мой им коровы, что она, даже не вздрогнув, мертвой упала к ногам хозяина.

Тут же сверкнула молния, загредел гром, а Вильм Коршун в недоумении уставился на своего друга, так взрослый глядит на ребенка, который решился на то, на что сам взрослый не отважился бы. Но Каспар Колпак, казалось, не испугался грома и молнии, не растерялся при виде недоуменно взирающего на него друга, не говоря ни слова, он стал сдирать шкуру с коровы. Вильм, опомнившись, стал ему подсоблять, но с отвращением, столь же явным, как перед тем было явно, что при его корыстолюбии ему не терпится закончить жертвоприношение. Тем временем разразилась гроза, в горах грохотал гром, над камнем и мхом ущелья сверкали зигзаги молний, а ветер, еще не добравшийся до этих высот, дико завывал в нижних долинах и на морском берегу. Оба рыбака, пока сдирали шкуру, промокли до костей. Они расстелили шкуру на земле, Каспар завернул в нее своего друга и связал его, как тот ему повелел. Только когда это было сделано, он, бедняга, грустно глядя на своего ослепленного алчностью друга, прервал долгое молчание и спросил дрожащим голосом:

— Что еще могу я для тебя сделать?

— Ничего,— ответил тот,— прощай!

— Прощай!— сказал и Каспар.— Да хранит тебя Господь и да простит тебе, как прощаю я!

Это были последние слова, которые Вильм услышал,— Каспар исчез в сгущавшейся темноте. И сразу разразилась ужаснейшая гроза, Вильм никогда еще не слышал такой. Началась она с молнии, при свете которой Вильм увидел не только ближние горы и скалы, но даже, как ему показалось, долину далеко внизу, и вспененное море, и скалистые острова, усеявшие бухту, и среди них ему почудился большой необычного вида корабль без мачт, который быстро скрыла мгновенно наступившая кромешная тьма. Гром гремел оглушительно. С гор срывались огромные, грозящие смертью камни. Дождь лил как из ведра и в одну минуту затопил узкую болотистую долину, вода доходила Вильму до плеч; по счастью, Каспар приподнял его и в полусидячем положении прислонил к кочке, не то он бы сразу захлебнулся. Вода подымалась все выше, и чем сильнее напрягался Вильм, чтобы освободиться от опасных пут, тем плотней облегал его коровья шкура. Напрасно звал он Каспара, Каспар был далеко. Взывать о спасении

к Богу он не смел. Мысль молить о помощи те силы, во власть которых он отдался, приводила его в ужас.

Вода уже заливала ему уши, уже доходила до рта. «Боже, я погиб!» — крикнул он, когда вода залила ему уже все лицо, но в то же мгновение до слуха его долетел шум, как от близкого водопада, и вода сразу схлынула с его лица. Поток проложил себе дорогу между камнями, дождь стал утихать, темное небо чуть посветлело, у Вильма несколько отлегло от сердца, и в душе его снова зародилась надежда. Но хотя он чувствовал себя обессиленным, как после смертного боя, и страстно желал освободиться от пут, все же цель его отчаянного стремления не была достигнута, и, когда исчезла прямая угроза жизни, его душой вновь овладела яростная алчность. Он был убежден, что добиться своего он может только запасшись терпением и потому лежал смиренно, наконец холод и утомление сморили его, и он заснул крепким сном.

Проспал он часа два, из блаженного забытья пробудил его холодный ветер, дувший в лицо, и шум, как от набегающих волн. Небо опять затянулось тучами. Молния, как и при первой грозе, осветила все вокруг, и ему снова почудился чужеземный корабль, на этот раз у самой Стинфольской пещеры, казалось, он повис на гребне высокой волны и вдруг стремительно низвергся в пучину. Непрестанные молнии озаряли море, и Вильм все еще глядел вслед исчезнувшему призраку, как вдруг в долине возник гигантский смерч и с такой силой отшвырнул его к скале, что он потерял сознание. Когда он пришел в себя, непогода уже улеглась, небо прояснилось, но зарницы все еще вспыхивали. Он лежал у подножия гор, обступавших долину, и не мог пошевелиться от слабости. Он слышал затихающий шум прибоя, перемежавшийся с торжественным, похожим на церковное, пением, сначала очень тихим, и Вильм счел, что его обманывает слух. Но пение звучало все снова и снова, оно приближалось, с каждым разом становясь все внятнее. Наконец ему показалось, будто он уловил напев псалма, который прошлым летом слышал на борту голландского рыболовного судна.

Теперь он уже различал отдельные голоса, ему казалось, что он улавливает даже слова именно того песнопения. Голоса раздавались уже в долине, и, когда он с большим трудом подполз к камню и положил на него голову, он действительно увидел процессию поющих лю-

дей, надвигавшуюся прямо на него. Горе и ужас запечатлелись на лицах этих людей, с одежды которых, как ему показалось, струилась вода. Теперь они подошли совсем близко, пение прекратилось. Процессию возглавляли поющие, потом шли моряки, а за ними — рослый, величественный мужчина в старомодном, шитом золотом одеянии, он был опоясан мечом, в руке держал длинную крепкую бамбуковую трость с золотым набалдашником. Слева от него шел негритенок и время от времени подавал своему господину длинную трубку, тот с важным видом делал несколько затяжек и шествовал дальше. Выпрямившись во весь рост, остановился он перед Вильмом, а по обе стороны от него стали другие, менее роскошно одетые мужчины, все держали в руках трубки, но не столь богато украшенные, как та, что негритенок нес за своим хозяином. Дальше разместились остальные, среди них несколько дам — все в дорогих, необычных нарядах; одни держали на руках младенцев, другие вели за ручки детей постарше, шествие замыкала кучка голландских матросов, у каждого рот был полон табака, а в зубах была зажата коричневая трубка, они курили в угрюмом молчании.

Рыбак с содроганием смотрел на это своеобразное сборище, однако в ожидании того, что должно воспоследовать, бодрился. Долго стояли они, обступив Вильма Коршуна, дым из их трубок собирался над ними в плотное облако, сквозь него мерцали звезды. Кольцо вокруг Вильма все суживалось и суживалось, матросы курили все яростнее и яростнее, от дыма из трубок облако над толпой все сгущалось, становилось все плотней и плотней. Коршун был смелым, бесстрашным человеком, он был готов ко всяким неожиданностям, но когда он увидел, что толпа все ближе надвигается на него, словно собираясь подмять под себя, мужество оставило его, на лбу выступили крупные капли пота, он думал, что умрет от страха. Но можно представить себе, как он перепугался, когда, случайно посмотрев в сторону, увидел у самой своей головы желтого старичка, застывшего в неподвижности, как и в тот раз, когда Вильм увидел его впервые, только теперь, словно насмехаясь над всем сборищем, он тоже держал во рту трубку. На рыбака напал смертельный страх, и он крикнул, обращаясь к главной персоне шествия:

— Именем того, кому вы служите, заклинаю вас, скажите, кто вы? И что вам от меня нужно?

Величественный мужчина с еще более важным видом, чем до того, сделал три затяжки, отдал трубку своему прислужнику и отвечал до жути невозмутимо:

— Я Альфред Франц ван дер Свельдер, командир амстердамского корабля «Кармильхан», на обратном пути из Батавии затонувшего со всем экипажем и грузом у этого скалистого берега; вот мои офицеры, вот мои пассажиры, а вот мои храбрые матросы, все потонули вместе со мной. Зачем вызвал ты нас наверх из нашего обиталища на дне морском? Зачем нарушил наш покой?

— Я хочу знать, где лежат сокровища «Кармильхана».

— На дне морском.

— Но где?

— В Стинфольской пещере.

— Как мне их добыть?

— Гусь ныряет за сельдью в морскую пучину, — разве сокровища «Кармильхана» не стоят того же?

— Сколько достанется на мою долю?

— Больше, чем ты сможешь истратить за всю твою жизнь. — Желтый старичок издевательски осклабился, а все сборище громко расхохоталось. — Ты кончил? — спросил командир.

— Да. Будь здоров!

— Всего хорошего, до нового свидания, — отвечивал голландец и двинулся обратно, хор снова занял место во главе процессии, и все удалились в том же порядке, в котором пришли, под то же торжественное песнопение, которое по мере их удаления звучало все тише и все невнятнее, и наконец его заглушил шум прибоя.

Теперь Вильм Коршун напряг последние силы, чтобы освободиться от пут, и в конце концов он выпростал одну руку, а с ее помощью развязал стягивающие его веревки, и тогда ему удалось окончательно вылезть из шкуры. Без оглядки поспешил он в свою лачугу и увидел бедного Каспара, без сознания лежащего на полу. С трудом привел он его в чувство, и добряк Каспар расплакался от радости, когда увидел своего друга молодости, которого считал навеки потерянным. Но этот луч радости сразу погас, едва он услышал, какое опасное дело задумал Вильм Коршун.

— Лучше мне попасть в ад, чем и впредь видеть эти голые стены и жить в нищете. Я ухожу, все равно, пойдешь ты со мной или нет.

С этими словами Вильм взял факел, огниво и канат и убежал. Каспар со всех ног бросился за ним вдогонку

и настиг его на выступе скалы, под которой Вильм в прошлый раз укрывался от бури. Тот уже собрался спуститься на канате в ревущую морскую пучину. Поняв, что уговаривать этого одержимого бесполезно, Каспар Колпак решил последовать за ним, но Вильм приказал ему остаться на скале и держать канат. Побуждаемый слепой алчностью, Вильм напряг все силы, призвал все свое мужество и спустился в пещеру, где встал на выступ скалы, под которым бушевали черные волны с белой пеной на гребнях. Он озирался, жадно всматриваясь в волны, и наконец узрел как раз под собою что-то блеснувшее в воде. Он положил факел, спрыгнул со скалы, ухватил что-то тяжелое и вместе со своей находкой опять поднялся на выступ скалы. В руках у него был железный ларчик с золотом. Он сообщил Каспару, что он нашел, но не внял мольбам друга удовольствоваться этой находкой и подняться наверх. Он считал, что это первый плод его долгих усилий. Он снова бросился в воду — из морской пучины донесся громкий хохот, и Вильма Коршуна никто больше не увидел. Каспар один вернулся домой, но вернулся туда совсем другим человеком. Его слабая голова и чувствительное сердце не выдержали такого страшного потрясения, он помешался. Все и в доме и в огороде пришло в запустение, днем и ночью бродил он, бессмысленно глядя в землю и вызывая жалость тех, что водили с ним раньше знакомство, а теперь сторонились его. Один рыбак уверял, будто раз бурной ночью видел на берегу среди экипажа «Кармильхана» Вильма Коршуна, и той же ночью исчез Каспар Колпак.

Его тщетно искали повсюду. Он бесследно пропал. Но, по словам предания, его вместе с Коршуном не раз видели среди экипажа волшебного корабля, который с тех пор в определенные дни появляется возле Стинфольской пещеры.

— Полночь давно уже прошла,— сказал студент, когда молодой золотых дел мастер закончил свой рассказ,— теперь, я полагаю, опасность уже миновала, а что до меня, я так хочу спать, что посоветовал бы всем лечь в постель и спокойно уснуть.

— До двух часов утра я бы все-таки подождал,— возразил егерь.

— Недаром говорится: «С одиннадцати до двух — самое воровское время».

— И я так думаю,— заметил мастер,— если они что-то замышляют, то самое разлюбозное время после полуночи. Вот мне и кажется, что господин студиозус мог бы продолжить свой рассказ, еще далеко не законченный.

— Я не отказываюсь,— согласился студент,— хотя наш сосед, господин егерь, не слышал начала.

— Рассказывайте, рассказывайте, а начало я примыслию! — отозвался егерь.

— Итак,— начал было студент, но его прервал лай собаки.

Все затаили дыхание, прислушались, и тут же из комнаты графини вбежал лакей, он сообщил, что со стороны леса к харчевне подходят десять — двенадцать вооруженных людей.

Егерь схватил ружье, студент пистолет, ремесленники — палки, а возчик вытащил из кармана длинный нож. В нерешительности глядели они друг на друга, не зная, что предпринять.

— Выйдемте на лестницу! — предложил студент. — Мы убьем двух-трех этих мерзавцев, прежде чем они нас одолеют.

Он тут же дал мастеру свой второй пистолет и предложил не стрелять одновременно. Они подошли к лестнице. Студент и егерь как раз заняли всю ее ширину; около егеря, несколько сбоку, стал храбрый мастер и, перегнувшись через перила, направил дуло пистолета на середину лестницы. Феликс и возчик поместились позади них, приготовившись, если придется сражаться один на один, не спасовать. Так в немом ожидании простояли они несколько минут. Затем услышали, что открылась входная дверь, и уловили, как им показалось, людской шепот.

Теперь стали слышны шаги, к лестнице подошли несколько человек, они уже поднимались наверх, вот на повороте появились трое, надо думать, не ожидавшие встретить такой прием, потому что, как только они обогнули столб, егерь громко крикнул:

— Стой! Ни шагу дальше, если вы дорожите жизнью! Взведите курки, друзья, и цельтесь как следует!

Разбойники испугались, быстро спустились с лестницы и стали совсщаться. Через некоторое время один из них вернулся.

— Господа,— сказал он,— неразумно с вашей стороны жертвовать жизнью, ведь нас достаточно, чтобы всех вас уничтожить; отойдите от лестницы; ни одному из

вас мы не причиним никакого зла; мы не возьмем у вас ни пфеннига.

— Так чего же вы хотите? — крикнул студент. — Думаете, мы так и поверили всякому сброду? Нет! Если вам что-нибудь надо, милости просим, но первому, кто покажется на повороте, я всажу пулю в лоб и навсегда излечу его от головной боли!

— Выдайте нам добровольно даму! — ответил разбойник. — Ничего плохого мы ей не сделаем, увезем в надежное и удобное место, людей ее отпустим, пусть едут домой и попросят его сиятельство графа прислать за нее двадцать тысяч гульденов выкупа.

— И мы должны терпеливо выслушивать такие предложения? — скрежеща зубами от гнева, крикнул егерь и взвел курок. — Считаю до трех, и, если ты при слове «три» не уберешься, я нажму на курок, раз, два...

— Стой! — крикнул разбойник громовым голосом. — Разве это дело — стрелять в безоружного человека, который мирно с вами договаривается? И дурак же ты, как я посмотрю, пристрелишь ты меня, подумает, какой геройский поступок! Ведь тут двадцать моих сотоварищей, они отомстят за меня. Что пользы твоей графине от того, что вы будете валяться убитые или раненые? Верь мне, если она добровольно пойдет с нами, мы окажем ей должное уважение, но, если ты, пока я досчитаю до трех, не оставишь в покое курок, то ей придется плохо. Оставь в покое курок, раз, два, три!

— С этими собаками шулки плохи! — прошептал егерь, послушавшись приказа разбойника. — Жизнью своей я не дорожу, но если я убью одного из них, они, пожалуй, выместят это на графине. Я пойду, посоветуюсь с ее сиятельством. Объявим на полчаса перемирие, — громко крикнул он разбойнику, — я подготовлю графиню. Она может умереть от столь неожиданного сообщения.

— Согласен, — ответил разбойник и сейчас же велел шестерым разбойникам сторожить внизу, у лестницы.

Мрачно, в полном замешательстве последовали подавленные путешественники за егерем к графине; ее комната была почти у самой лестницы, а переговоры велись так громко, что графиня слышала все до единого слова. Она была бледна и сильно дрожала, и все же она твердо решила покориться судьбе.

— Зачем буду я напрасно рисковать жизнью стольких славных людей? — сказала она. — Зачем буду просить вас о тщетной защите, когда вы меня совсем не

знаете? Нет, я вижу только один выход: согласиться на требование этих презренных негодяев.

Всех глубоко тронули мужество и несчастная судьба графини; егерь со слезами клялся, что не переживет такого позора. Студент негодовал на себя, на то, что он в шесть футов ростом.

— Будь я без бороды и хоть на полголовы ниже,— сетовал он,— я бы знал, что делать, я попросил бы у вашего сиятельства платье, и эти презренные негодяи не скоро бы обнаружили свой промах.

И на Феликса несчастье графини произвело сильное впечатление. И внешним и внутренним своим обликом она так трогала, была так близка ему, что он невольно представлял себе, будто перед ним его рано умершая мать и будто это она попала в беду. Он чувствовал такой душевный подъем, такой прилив сил, что охотно бы отдал за нее жизнь. А когда он услышал слова студента, в мозгу у него блеснула мысль; он забыл страх, забыл все опасения и думал лишь о том, как бы спасти графиню.

— Если все дело только в этом,— сказал он, краснея и смущаясь,— если для спасения вашего сиятельства нужны только невысокий рост, безусое лицо и отважное сердце, то, может, пригожусь я? Переоденьтесь в мой кафтан, спрячьте под моей шляпой ваши прекрасные волосы, возьмите на спину мой узел и под видом Феликса, золотых дел мастера, с Богом в дорогу.

Все были поражены мужеством юноши, а егерь крепко обнял его.

— Золотой ты мой,— радостно воскликнул он,— так ты правда этого хочешь, хочешь переодеться в платье графини и спасти ее сиятельство? Сам Бог внушил тебе эту мысль, но одного тебя я не отпущу, я тоже отдамся разбойникам, останусь с тобой, буду твоим преданным другом, и, пока я жив, они не посмеют обидеть тебя.

— Клянусь жизнью, я тоже не оставлю тебя! — воскликнул студент и заключил юношу в свои объятия.

Графиню пришлось долго уговаривать. Она не могла примириться с мыслью, что посторонний человек ради нее идет на такую жертву; ведь в случае, если в дальнейшем обман обнаружится, разбойники не пощадят несчастного юношу. Но в конце концов она уступила просьбам Феликса и твердо решила, что, уйдя от разбойников, приложит все старания вызволить своего спа-

сителя. Она согласилась. Егерь и все остальные проводили Феликса в комнату, отведенную студенту, там он быстро переоделся в платье графини, а егерь, в довершение всего, надел ему на голову дамскую шляпу, приколол к ней несколько фальшивых локонов камеристки, и все уверяли, что его не узнать. Даже мастер клялся, что, встретив его на улице, он поспешил бы снять шляпу, так и не догадавшись, что отвесил поклон своему храброму приятелю.

Тем временем графиня с помощью камеристки переоделась в одежду Феликса, лежавшую в ранце. Теперь ее нельзя было узнать, так изменили ее шляпа, надвинутая на самые брови, дорожная палка в руке, ставший несколько менее тяжелым узел за спиной. В другое время все бы от души посмеялись над таким забавным маскарадом. Новоиспеченный ремесленник со слезами на глазах поблагодарил Феликса и обещал приложить все старание, чтобы как можно скорее выручить его из беды.

— У меня еще только одна просьба,— сказал Феликс,— в ранце, что у вас за спиной, лежит футляр, спрячьте его получше, если он потеряется, я всю жизнь буду безутешен; я должен отдать его моей приемной матери и...

— Готфриду, егерю, мой замок известен,— ответила она.— Вы получите все в целости и сохранности, ибо я надеюсь, благородный юноша, что вы сами приедете к нам, в таком случае мой супруг и я могли бы лично выразить вам свою признательность.

Не успел Феликс ответить, как со стороны лестницы послышались грубые голоса разбойников; они кричали, что срок истек и все готово к отъезду графини. Егерь спустился к ним и заявил, что он не покинет ее сиятельства и лучше куда угодно поедет вслед за графиней, нежели без нее предстанет пред очи ее супруга. Студент тоже заявил о своем намерении сопровождать даму. Разбойники посоветовались и в конце концов согласились под тем условием, что егерь сейчас же отдаст свое оружие. Всем остальным было приказано держаться спокойно и тихо, когда будут увозить графиню.

Феликс опустил на лицо вуаль, сел в уголок, склонил голову на руку и в позе глубоко опечаленного человека ждал разбойников. Остальные ушли в соседнюю комнату, но разместились так, чтобы видеть все происходящее. В другом углу той комнаты, где ночевала графиня, си-

дел егерь, с виду очень грустный, на самом же деле он ничего не упускал из виду. Так просидели они несколько минут, затем отворилась дверь, и вошел красивый прекрасно одетый мужчина, лет тридцати пяти — тридцати шести на вид. Он был в мундире военного покроя, с орденом на груди и длинной саблей на боку, а в руке держал шляпу, с которой свешивались пышные перья. Сейчас же вслед за его приходом двое подчиненных ему разбойников стали на страже в дверях.

С низким поклоном приблизился он к Феликсу; казалось, его смущал предстоящий разговор со столь знатной дамой. Он несколько раз начинал, прежде чем ему удалось складно выразить свою мысль.

— Милостивая государыня, — сказал он, — бывают положения, когда надлежит терпеливо покориться судьбе. Так в данном случае обстоит дело с вами. Не подумайте, что я хоть на минуту позабуду уважение, коим обязан столь достойной особе. Вам будут предоставлены все удобства, вам ни на что не придется жаловаться, разве только на страх, пережитый этой ночью. — Тут он умолк, словно в ожидании ответа, но Феликс упорно молчал, и тогда разбойник опять заговорил: — Не считите меня просто вором и душегубцем. Я несчастный человек, вести такой образ жизни меня вынудили превратности судьбы. Мы решили навсегда покинуть здешние края, но на дорогу нужны деньги. Проще всего было бы напасть на купца или на почтовую карету, но тогда мы, возможно, навсегда повергли бы в горе не одного человека. Его сиятельство граф, ваш супруг, полтора месяца тому назад получил наследство в пятьсот тысяч талеров. Мы просим уделить нам двадцать тысяч гульденов, при таком огромном богатстве требование, несомненно, справедливое и скромное. Поэтому будьте так любезны и безотлагательно отправьте незапечатанное письмо вашему супругу, оповещающая его, что мы захватили вас и что ему следует возможно скорее прислать нам выкуп, в противном случае... вы меня понимаете, в противном случае мы будем вынуждены к несколько более суровому обхождению с вами. Выкуп будет принят только при условии строжайшей тайны и если он будет доставлен нам одним-единственным человеком.

Все гости лесной харчевни с напряженным вниманием, а графиня со страхом, следили за этой сценой. Графине все время казалось, что юноша, который пожертвовал собой ради нее, вот-вот себя выдаст. Она

твердо решила дать за него большой выкуп, но так же твердо было ее решение не сделать ни единого шага вместе с разбойниками. У Феликса, в кармане его кафтана, она нашла нож. Она судорожно сжимала его в руке, готовая скорее лишиться себя жизни, нежели претерпеть такой позор. Сам Феликс боялся не меньше, чем она. Правда, мысль, что, жертвуя собой ради помощи поставленной в безвыходное положение женщине, он совершает благородный, достойный мужчины, поступок, подкрепляла и утешала его, но он боялся выдать себя походкой или голосом. Страх его еще возрос, когда разбойник потребовал, чтобы он написал письмо.

Как, не выдавая себя, написать письмо, как, в какой форме обратиться к графу?

Но страх его достиг высшей точки, когда атаман разбойников, положив перед ним лист бумаги и перо, попросил его откинуть вуаль и приняться за письмо.

Феликс не знал, сколь к лицу ему наряд, который был на нем, знай он это, он ничуть не боялся бы, что обман будет обнаружен. Ведь когда он откинул вуаль, человек в мундире, пораженный красотой дамы и ее несколько мужественными для женщины чертами, стал глядеть на нее с еще большей почтительностью. От зорких глаз юноши это не скрылось. Успокоившись, что хотя бы в эту минуту не грозит опасность быть признанным, он взял перо и стал писать своему мнимому супругу по образцу письма, которое как-то прочитал в одной старинной книге. Он писал:

«Мой господин и супруг!

Меня, несчастную женщину, похитили ночью в пути люди, в добрые намерения которых я не верю. Они не отпустят меня, пока Вы, мой супруг, не внесете за меня выкуп в двадцать тысяч гульденов.

Их условия следующие: Вы ни в коем случае не должны подавать жалобы властям и не искать их помощи; деньги надлежит послать через одного-единственного человека в лесную харчевню в Шпессарте, в противном случае мне грозит более длительный срок пребывания в их руках и более суровое обхождение.

Вас умоляет о наискорейшей помощи.

Ваша несчастная
супруга».

Феликс протянул это письмо атаману разбойников, тот прочитал его и одобрил.

— Теперь зависит всецело от вас, кого вы пожелаете оставить при своей особе — камеристку или егеря. Другого я пошлю с письмом к его сиятельству графу, вашему супругу.

— При мне останутся егерь и этот господин,— ответил Феликс.

— Хорошо,— согласился разбойник, он подошел к двери и позвал камеристку.— Так, а теперь разъясните этой женщине, что ей следует делать.

Дрожащая от страха камеристка вошла в комнату. И Феликс побледнел при мысли, как легко он может сейчас себя выдать. Но в такие опасные минуты ему придавало силы непонятно откуда бравшееся мужество, и сейчас оно тоже подсказало ему, что говорить:

— Я поручаю тебе только одно — попросить графа как можно скорей выручить меня из этого ужасного положения,— сказал он.

— Кроме того,— прибавил разбойник,— как можно настоятельнее и определеннее порекомендуйте его сиятельству молчать и не предпринимать никаких шагов против нас, пока его супруга не вернется к нему. Наши лазутчики безотлагательно обо всем сообщат нам, и тогда я ни за что не ручаюсь.

Перепуганная камеристка обещала, что выполнит все в точности. Ей было еще приказано атаманом достать и связать в узел несколько платьев и кое-какое белье для графини, взять с собой много багажа они не могут. Когда это было сделано, атаман, с низким поклоном, пригласил даму следовать за ним. Феликс встал, егерь и студент тоже поднялись и в сопровождении атамана разбойников все трое сошли вниз.

Перед заезжим домом стояло много лошадей; одна предназначалась для егеря, другая, красивая лошадка под дамским седлом, была приготовлена для графини, третью дали студенту. Атаман поднял юного мастера в седло, крепко подтянул подпругу, затем сам сел на коня. Он занял место по правую руку от графини, по левую — другой разбойник. И к егерю и к студенту был приставлен такой же конвой. Затем остальные разбойники вскочили в седла, и атаман резким свистом дал сигнал к отправке.

Вскоре шайка исчезла в лесу.

Оставшиеся после их отъезда в комнате наверху понемногу оправились от страха. Возможно, они бы даже повеселели, как это обычно бывает по миновании большого несчастья или внезапной опасности, если бы не ду-

мы о трех их товарищах, которых увезли у них на глазах. Они не могли надивиться на Феликса, растроганная графиня пролиwała слезы умиления при мысли, сколь многим она обязана этому до сего дня незнакомому ей человеку, которому она не сделала ничего хорошего. Утешало всех то, что с Феликсом отважный егерь и храбрый студент, что есть кому его поддержать, когда его одолеет тоска. Им даже приходило в голову, что егерь, человек изобретательный, может, придумает, как устроить побег. Они посоветались, что делать дальше. Графиня, не связанная честным словом с разбойниками, решила незамедлительно ехать домой, к супругу и приложить все усилия, чтобы отыскать местопребывание увезенных разбойниками и вызволить их; возчик обещал сейчас же, как приедет в Ашафенбург, обратиться в суд с просьбой о преследовании разбойников, а мастер хотел продолжать свое странствие.

Остаток ночи их никто больше не беспокоил. В харчевне, где только что разыгрались столь страшные события, царил мертвая тишина. А утром слуги графини, спустившиеся к хозяйке, чтобы приготовить все к отъезду, тут же вернулись назад и сказали, что хозяйка и челядь лежат на полу связанными и молят о помощи.

Это известие всех удивило.

— Как? — воскликнул мастер. — Выходит, что эти люди ни в чем не повинны? Выходит, мы возвели на них напраслину, они не заодно с разбойниками?

— А я говорю, пусть меня вместо них вздернут на виселицу, если мы были неправы, — возразил возчик. — Все это один обман, чтобы их нельзя было уличить. Вы что, позабыли, как подозрительно вела себя хозяйка? Позабыли, как я хотел сойти вниз, а меня не выпустила вышколенная собака и тут же явилась хозяйка с работником и сердито спросила, чего мне надо? Но должен сказать, это еще оказалось для нас счастьем, особенно для ее сиятельства графини! Не будь харчевня так подозрительна, не внуши нам хозяйка такого недоверия, мы бы разошлись по комнатам и легли спать. Разбойники напали бы на нас спящих, во всяком случае, сторожили бы у наших дверей, и славному нашему юноше невозможно было бы превратиться в графиню!

Все согласились с мнением возчика и решили донести властям на хозяйку и работников. Но, чтобы те ничего не заподозрили, договорились не подавать виду, будто они о чем-то догадываются. Возчик с лакеями сошли в трактир, развязали укрывателей разбойников

и постарались выказать им возможно больше сочувствия и сожаления. Чтобы гости остались довольны, хозяйка взяла с них очень дешево и пригласила почаще заезжать к ней.

Возчик оплатил свой счет, распрощался с товарищами по несчастью и уехал. Затем пустились в путь оба ремесленника. Как ни легок был узелок золотых дел мастера, все же для изнеженной хрупкой дамы он был обременителен. Но еще тяжелей стало у нее на душе, когда преступная хозяйка заезжего двора протянула ей на прощание руку.

— Ах, до чего вы еще молоды,— воскликнула она, взглянув на хрупкого юношу,— так молоды и уже странствуете по свету! Видно, вы зелье порядочное, и мастер прогнал вас. Ну, да какое мне дело, на обратном пути милости просим ко мне в харчевню!

Графиня дрожала от страха и не решалась ответить, боясь, как бы ее не выдал нежный голос. Мастер это заметил, взял под руку своего товарища, попрощался с хозяйкой и, весело напевая, зашагал к лесу.

— Только теперь миновала опасность!— с облегчением вздохнула графиня; когда они отошли шагов на сто.— Я все время боялась, что трактирщица меня узнает и велит своим работникам задержать. О, как мне хочется всех вас отблагодарить! Приходите и вы тоже ко мне в замок, там и дожидайтесь своего попутчика.

Мастер согласился, и, пока они разговаривали, их догнал графинин дормез; дверцу быстро открыли, графиня впорхнула в карету, еще раз кивнула ремесленнику, и карета укатила.

А разбойники вместе с пленниками тем временем достигли своего притона. Они быстрой рысью проехали по непроторенным лесным тропам, с пленниками они не разговаривали, да и между собой только изредка, на каких-то поворотах тропы, перешептывались. Наконец они остановились у глубокого оврага. Разбойники спешились, атаман поднял из седла золотых дел мастера, извинился за быструю и трудную езду и спросил, не очень ли она утомила ее сиятельство.

Феликс ответил как мог жеманнее, что ему хотелось бы отдохнуть, и атаман предложил ему руку и помог сойти в овраг. Спускаться надо было по обрывистому склону, тропа была узкая и крутая, и атаману не раз приходилось поддерживать свою даму, чтобы не дать ей

упасть. Наконец они дошли до низу. При чуть брезжущем свете наступающего утра Феликс увидел узкое и недлинное ущелье, не больше сотни шагов в окружности, зажатое между высоко вздымающимися отвесными скалами. Шесть — восемь жалких хижин, сколоченных из досок из неотесанных бревен, жались одна к другой на дне обрыва. Из этих нор с любопытством выглянули несколько женщин; свора больших собак и их многочисленное потомство с лаем и визгом окружила пришедших. Атаман проводил мнимую графиню в лучшую из хижин и сказал, что хижина предоставлена исключительно в ее распоряжение; по просьбе Феликса он разрешил, чтобы к графине были допущены егерь и студент.

Хижина была устлана оленьими шкурами и циновками, которые одновременно служили и для покрытия пола, и для сидения. Несколько кружек и мисок, выточенных из дерева, старое охотничье ружье и в самом дальнем углу сколоченный из досок и прикрытый шерстяными одеялами одр, который и кроватью-то не назовешь, — вот все убранство этого графского дворца. Только теперь, оставшись одни в этой жалкой хижине, трое пленников могли поразмыслить о том необычном положении, в которое попали. Феликс, хотя он ни на минуту не раскаивался в своем благородном поступке, все же со страхом думал об ожидающей его участи, буде обман обнаружится, и хотел уже облегчить душу громкими жалобами. Но егерь шепнул ему на ухо:

— Бога ради, потише, милый, неужели ты думаешь, что нас не подслушивают?

— Каждое твое слово, каждая фраза могут вызвать у них подозрение, — прибавил студент.

Бедному Феликсу оставалось одно — молча поплакать.

— Верьте мне, сударь, — сказал он, — я плачу не потому, что боюсь разбойников, не потому, что меня страшит жизнь в этой жалкой лачуге; нет, меня гнетет совсем другая печаль. Ведь графиня так легко может позабыть то, что я только мимоходом успел ей сказать, и меня, чего доброго, сочтут вором, тогда я до конца дней своих буду несчастен.

— Но что тебя так пугает? — спросил егерь, которого удивило поведение юноши, до того державшегося так храбро и стойко.

— Выслушайте меня, и тогда вы скажете, что я прав, — ответил Феликс. — Мой отец был искусным

ювелиром, а мать до замужества служила в камеристках у одной знатной особы, и когда она выходила за моего отца, графиня, у которой она была в услужении, дала ей отличное приданое. Графиня всегда очень благоволила к моим родителям и, когда я появился на свет, стала моей крестной и щедро одарила меня. А когда вскоре мои родители один за другим умерли от повальной болезни и я остался как перст один, меня уже собирались отправить в сиротский приют; моя крестная мать, узнав о постигшем нас горе, приняла во мне участие и поместила в закрытую школу, а когда я подрос, она написала мне и спросила, не хочу ли я изучить отцовское ремесло. Я с радостью согласился, вот она и отправила меня в Вюрцбург на выучку к золотых дел мастеру. Учение пошло мне впрок, и скоро я получил от мастера аттестат и уже мог снаряжаться в странствие. Я написал моей крестной, она тут же ответила, что даст мне деньги на странствие. Вместе с письмом она прислала драгоценные камни и пожелала, чтобы я сделал ей ожерелье, вставив камни в красивую оправу, и в доказательство своего искусства самолично доставил ей ожерелье и получил из ее рук дорожные деньги. Свою крестную я никогда не видел, вы понимаете, как я был счастлив. Я работал не покладая рук над оправой, и ожерелье вышло такое изящное и красивое, что сам мастер ему дивился. Я аккуратно спрятал его на самое дно ранца, попрощался с мастером и пошел той дорогой, что вела в замок моей крестной матери. И вдруг,— продолжал он, заливаясь слезами,— пришли эти гадкие люди и разбили мои надежды. Ведь если ее сиятельство графиня потеряет ожерелье или позабудет то, что я ей сказал, и выбросит мой плохонький ранец, как я тогда предстану пред глубоко мной чтимой крестной? Чем докажу свое уменье? Как возьму камни? И дорожные деньги тогда тоже потеряны, а я окажусь неблагодарным, раз я так легкомысленно отдал доверенное мне добро. Да и кто поверит моему рассказу о таком необычном происшествии?

— Ну, об этом не беспокойтесь! — возразил егерь.— Не думаю, чтобы графиня потеряла ожерелье, а ежели и потеряет, то, конечно, возместит его стоимость своему спасителю и подтвердит, что так действительно было. Теперь мы на некоторое время покинем вас, ведь нам действительно надо поспать, а после волнений этой ночи и вы тоже нуждаетесь в отдыхе. А потом постараемся хоть ненадолго позабыть за разговорами о приключив-

шейся с нами беде или, что еще того лучше, подумаем о бегстве.

Они ушли. Феликс остался один и попробовал последовать совету егеря.

Когда, несколько часов спустя, егерь со студентом вернулись, их юный друг, казалось, приободрился и повеселел. Атаман, по словам егеря, поручил ему всячески заботиться о даме и обещал прислать одну из тех женщин, что они видели у хижин, она принесет ее сиятельству кофе и спросит, чем может ей служить. Боясь, что женщина будет для них помехой, они предпочли отказаться от этого любезного предложения, и когда старая безобразная цыганка подала завтрак и, ухмыляясь, спросила, не нужны ли еще какие услуги, Феликс махнул рукой, чтоб она уходила, но она все еще мешкала, и егерь выпроводил ее за дверь. Затем студент рассказал, что еще они видели в разбойничьем овраге.

— Лачуга, которую отвели вам, очаровательная графиня,— сказал он,— первоначально предназначалась для атамана. Она не так велика, но зато лучше остальных; не считая вашей, здесь их еще шесть. В них живут женщины и дети. Разбойников дома редко бывает больше шести человек зараз. Один стоит на страже недалеко отсюда, другой у тропы, что ведет наверх, а третий караулит у спуска в ущелье. Каждые два часа их сменяют трое других. При каждом из них еще две большие собаки, такие чуткие, что нельзя и шагу ступить из лачуги, они тут же поднимут лай. У меня нет надежды, что нам удастся сбежать.

— Не нагоняйте на меня тоску, поспав, я приободрился,— сказал Феликс.— Не теряйте надежды, а если вы боитесь, что нас подслушивают, то поговорим лучше о чем-нибудь другом и не будем огорчаться заранее. Господин студент, вы не дорассказали той истории, что начали на заезжем дворе, так доскажите ее до конца тут, благо времени у нас хватит.

— Что-то я не припомню, о чем шла речь,— заметил студент.

— Вы рассказывали предание о холодном сердце и остановились на том, что хозяин и другой игрок вытолкали Петера-угольщика за дверь.

— Так, теперь я вспомнил,— сказал студент.— Ну, если вам охота услышать, что было дальше, я готов досказать.

Холодное сердце

Часть ВТОРАЯ

Когда в понедельник утром Петер пришел к себе на завод, он застал там не только рабочих, но и других людей, чье появление никого бы не обрадовало. Это были окружной начальник и три судебных пристава. Начальник пожелал Петеру доброго утра, осведомился, как он почивал, а затем развернул длинный список, где были перечислены заимодавцы Петера.

— Можете вы заплатить или нет? — строго спросил он. — И, будьте добры, поживей, мне с вами канителиться некогда, — до тюрьмы добрых три часа ходу.

Тут Петер совсем пал духом: он признался, что денег у него нет, и позволил начальнику и его людям описать дом и усадьбу, завод и конюшню, повозку и лошадей, а пока окружной начальник и его помощники расхаживали вокруг, осматривая и оценивая его имущество, он подумал: «До Елового Бугра недалеко, если маленький лесовик не помог мне, попытаю-ка я счастья у большого». И он помчался к Еловому Бугру, да с такой быстротой, словно судебные приставы гнались за ним по пятам.

Когда он пробежал мимо того места, где в первый раз говорил со Стеклянным Человечком, ему показалось, будто его удерживает чья-то невидимая рука, но он вырвался и понесся дальше, до самой границы, которую хорошо заприметил, и не успел он, запыхавшись, позвать: «Голландец Михель! Господин Голландец Михель!», — как перед ним вырос великан-плотовщик со своим багром.

— Явился, — сказал он, смеясь. — А не то содрали бы шкуру и продали кредиторам! Ну, да не тревожься, все твои беды, как я уже говорил, пошли от Стеклянного Человечка, этого гордеца и ханжи. Уж если дарить, то щедрой рукой, а не как этот сквалыга. Пойдем, — сказал он и двинулся в глубь леса. — Пойдем ко мне домой, там и поглядим, столкнемся мы с тобой или нет.

«Как это «столкнемся»? — в тревоге думал Петер. — Что же он может с меня потребовать, разве у меня есть

для него товар? Служить он себе заставит или что другое?»

Они шли вверх по крутой тропе и вскоре очутились возле мрачного глубокого ущелья с отвесными стенами. Голландец Михель легко сбежал вниз по скале, словно то была гладкая мраморная лестница; но тут Петер едва не лишился чувств: он увидел, как Михель, ступив на дно ущелья, сделался ростом с колокольню; великан протянул ему руку, длиной с весло, раскрыл ладонь, шириною с трактирный стол, и воскликнул:

— Садись ко мне на ладонь да ухватись покрепче за пальцы — не бойся — не упадешь!

Дрожа от страха, Петер сделал, как ему было велено,—сел к Михелю на ладонь и ухватился за большой палец.

Они спускались все глубже и глубже, но, к великому удивлению Петера, темнее не становилось,—напротив того, дневной свет в ущелье стал словно бы еще ярче, так что было больно глазам. Чем ниже они спускались, тем меньше делался Михель, и теперь он стоял в прежнем своем облике перед домом — самым что ни на есть обыкновенным домом зажиточного шварцвальдского крестьянина. Горница, куда Михель ввел Петера, тоже во всем походила на горницы у других хозяев, разве что казалась какой-то неудобной. Деревянные часы с кукушкой, громадная кафельная печь, широкие лавки по стенам и утварь на полках были здесь такие же, как повсюду. Михель указал гостю место за большим столом, а сам вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и стаканами. Он налил вина себе и Петеру, и они разговорились; Голландец Михель стал расписывать Петеру радости жизни, чужедальные страны, города и реки, так что тому под конец страстно захотелось все это повидать, в чем он и признался честно Голландцу.

— Будь ты даже смел духом и крепок телом, чтобы затеять большие дела, но ведь стоит твоему глупому сердцу забиться чаще обыкновенного, и ты дрогнешь; ну, а оскорбления чести, несчастья — зачем смышленому парню беспокоиться из-за таких пустяков? Разве у тебя голова болела от обиды, когда тебя на днях обозвали мошонником и негодяем? Разве у тебя были рези в животе, когда явился окружной начальник, чтобы выкинуть тебя из дому? Ну-ка скажи, что у тебя болело?

— Сердце,—отвечал Петер, прижав руку к взволнованной груди: в этот миг ему почудилось, будто сердце его как-то пугливо заметалось.

— Не обижайся, но ведь ты не одну сотню гульденов швырнул паршивым нищим и прочему сброду, а что толку? Они призывали на тебя благословение божье, желали здоровья,— ну и что? Стал ты от этого здоровее? Половины этих денег хватило бы на то, чтобы держать при себе врача. Благословение божье — да уж нечего сказать, благословение, когда у тебя описывают имущество, а самого выгоняют на улицу! А что заставляло тебя лезть в карман, как только нищий протягивал к тебе свою драную шапку? Сердце, опять-таки сердце,— не глаза и не язык, не руки и не ноги, а только сердце,— ты, как верно говорится, принимал все слишком близко к сердцу.

— Но разве можно от этого отвыкнуть? Вот и сейчас — как я ни стараюсь заглушить в себе сердце, оно у меня колотится и болит.

— Да уж где тебе, бедолаге, с ним сладить! — со смехом вскричал Голландец Михель. — А ты отдай мне эту бесполезную вещицу, увидишь, как тебе сразу станет легко.

— Отдать вам — мое сердце? — в ужасе воскликнул Петер. — Но ведь я тогда сразу умру! Ни за что!

— Да, конечно, если бы кто-нибудь из ваших господ хирургов вздумал вырезать у тебя сердце, ты бы умер на месте, но я это делаю совсем по-другому — зайди сюда, убедись сам.

С этими словами он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил Петера войти. Сердце юноши судорожно сжалось, едва он переступил порог, но он не обратил на это внимания, столь необычайно и поразительно было то, что открылось его глазам. На деревянных полках рядами стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью, и в каждой заключено было чье-нибудь сердце; ко всем склянкам были приклеены ярлыки с именами, и Петер их с любопытством прочел. Он нашел там сердце окружного начальника из Ф., сердце Толстяка Эзегиля, сердце Короля Танцев, сердце старшего лесничего; были там и шесть сердец хлебных скупщиков; восемь сердец офицеров-вербовщиков, три сердца ростовщиков, — короче говоря, это было собрание наиболее почтенных сердец из всех городов и селений на двадцать часов пути окрест.

— Смотри! Все эти люди покончили с житейскими заботами и треволениями, ни одно из этих сердец больше не бьется озабоченно и тревожно, а их бывшие об-

ладатели чувствуют себя превосходно, выставив за дверь беспокойного жильца.

— Но что же у них теперь вместо сердца? — спросил Петер, у которого от всего увиденного голова пошла кругом.

— А вот это,— ответил Голландец Михель; он полез в ящик и протянул Петеру *каменное сердце*.

— Вот оно что! — изумился тот, не в силах противиться дрожи, пронизавшей все его тело.— Сердце из мрамора? Но послушай, господин Михель, ведь от такого сердца в груди должно быть ой-ой как холодно?

— Разумеется, но этот холод приятный. А на что человеку горячее сердце? Зимой оно тебя не согреет — хорошая вишневая наливка горячит вернее, чем самое горячее сердце, а летом, когда все изнывает от жары, ты и не поверишь, какую прохладу дарует такое сердце. И, как я уже говорил, ни тревога, ни страх, ни дурацкое сострадание, ни какие-либо иные горести не достучатся до этого сердца.

— И это все, что вы можете мне дать? — с досадой спросил Петер.— Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень.

— Ну, я думаю, ста тысяч гульденов на первых порах тебе хватит. Если ты дашь им разумное употребление, то вскорости станешь миллионером.

— Сто тысяч? — в восторге вскричал бедный угольщик.— Да перестань же ты, сердце, так бешено колотиться в моей груди! Скоро мы с тобой простимся. Ладно, Михель! Давайте мне камень и деньги и, так и быть, вынимайте из клетки этого колотилу!

— Я знал, что ты парень с головой,— отвечал Голландец, ласково улыбаясь,— пойдем выпьем еще по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги.

Они опять уселись за стол в горнице и пили, пили до тех пор, пока Петер не погрузился в глубокий сон.

Петер-угольщик проснулся от веселой трели почтового рожка, и — гляди-ка! — он сидел в роскошной карете и катил по широкой дороге, а когда высунулся из окна, то увидел позади, в голубой дымке, очертания Шварцвальда. Поначалу ему не верилось, что это он, а не кто другой сидит в карете. Ибо и платье на нем тоже было совсем не то, что вчера; однако он так отчетливо помнил все происшедшее с ним, что в конце концов перестал ломать голову и воскликнул: «И думать нечего — это я, Петер-угольщик, и никто другой!»

Он сам себе удивлялся, что нисколько не грустит, впервые покидая родимый тихий край, леса, где он так долго жил, и что, даже вспоминая о матери, которая осталась теперь сирая, без куска хлеба, не может выжать из глаз ни единой слезинки, ни единого вздоха из груди; ибо все теперь стало ему в равной степени безразлично. «Ах да,—вспомнил он,—ведь слезы и вздохи, тоска по родине и грусть исходят от сердца, а у меня теперь — спасибо Голландцу Михелю — сердце холодное, из камня».

Он приложил руку к груди, но там все было тихо, ничто не шевелилось. «Я буду рад, если он и насчет ста тысяч гульденов сдержал свое слово так же, как насчет сердца»,—подумал он и принялся обшаривать карету. Он нашел много всякого платья, о каком только мог мечтать, но денег нигде не было. Наконец он наткнулся на какой-то саквояж, и в нем оказалось много тысяч талеров золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Вот и сбылись мои желания»,—подумал Петер, уселся поудобнее в угол кареты и помчал в далекие края.

Два года колесил он по свету, глядел из окна кареты направо и налево, скользил взглядом по домам, мимо которых проезжал, а когда делал остановку, замечал лишь вывеску своей гостиницы, потом бегал по городу, где ему показывали разные достопримечательности. Но ничто его не радовало — ни картины, ни здания, ни музыка, ни танцы; у него было каменное сердце, безучастное ко всему, а его глаза и уши разучились воспринимать прекрасное. Только и осталось у него радости, что есть и пить, да спать; так он и жил, без цели рыская по свету, для развлечения ел, от скуки спал. Время от времени он, правда, вспоминал, что был, пожалуй, веселей и счастливей, когда жил бедно и принужден был работать, чтобы кормиться. Тогда ему доставляли удовольствия вид красивой долины, музыка и танцы, и он мог часами радоваться в ожидании немудрящей еды, которую мать приносила ему к угольной яме. И когда он вот так задумывался о прошлом, ему казалось невероятным, что теперь он не способен даже смеяться, а ведь раньше он хохотал над самой пустячной шуткой. Теперь же, когда другие смеялись, он лишь из вежливости кривил рот, но сердце его нисколько не веселилось. Он чувствовал, как спокойно у него на душе, но доволен все-таки не был. Но не тоска по родине и не грусть, а скука, опустошенность, безрадостная жизнь в конце концов погнала его домой.

Когда он выехал из Страсбурга и увидел родной лес, темневший вдаль, когда ему снова стали попадаться на встречу рослые шварцвальдцы с приветливыми открытыми лицами, когда до его слуха донеслась громкая, гортанная, но благозвучная родная речь, то он невольно схватился за сердце; ибо кровь в его жилах побежала быстрее и он готов был и радоваться и плакать в одно и то же время, — но вот глупец! — сердце-то у него было из камня. А камни мертвы, они не смеются и не плачут.

Первым делом он отправился к Голландцу Михелю, который принял его с прежним радушием.

— Михель, — сказал ему Петер, — я поездил по свету, многое повидал, но все это вздор и только нагнало на меня скуку. Правда, ваша каменная штучка, которую я ношу в груди, от многого меня оберегает. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато и живу как бы наполовину. Не могли бы вы чуть-чуть оживить это каменное сердце? А еще лучше — верните мне мое прежнее! За свои двадцать пять лет я с ним свыкся, и ежели оно когда и выкидывало глупые штуки, все же то было честное и веселое сердце.

Лесной дух горько и зло рассмеялся.

— Когда в свой час ты умрешь, Петер Мунк, — ответил он, — оно непременно к тебе вернется; тогда ты вновь обретешь свое мягкое, отзывчивое сердце и почувствуешь, что тебя ожидает — радость или мука! Но здесь, на земле, оно больше твоим не станет. Да, Петер, поездил-то ты вволю, но жизнь, которую ты вел, не могла пойти тебе на пользу. Осядь где-нибудь в здешних лесах, построй себе дом, женись, пусти в оборот свои деньги, — тебе не хватает настоящего дела, от безделья ведь ты и скучал, а все сваливаешь на безвинное сердце.

Петер понял, что Михель прав, говоря о безделье, и вознамерился умножить свое богатство. Михель подарил ему еще сто тысяч гульденов и расстался с ним, как с добрым другом.

Вскоре в Шварцвальде разнеслась молва, что Петер-угольщик, или Петер-игрок, возвратился из дальних стран, и теперь-де он много богаче прежнего. И на сей раз все шло так, как издавна ведется: стоило Петеру остаться без гроша, как его вытолкали из «Солнца», а теперь, едва он в первый же воскресный вечер явился туда снова, все стали наперебой жать ему руку, расхваливать его лошадь, расспрашивать о путешествиях, и когда он сел играть на звонкие талеры с Толстяком

Эзехилем, на него взирали с еще большим почтением, чем раньше.

Однако теперь он стал заниматься не стекольным делом, а лесоторговлей, правда, только для виду. Главным его занятием сделалась скупка и перепродажа хлеба и ростовщичество. Мало-помалу пол-Шварцвальда оказалось у него в долгу, но он ссужал деньги только из десяти процентов или вынуждал бедняков втридорога покупать у него зерно, ежели они не могли расплатиться сразу. С окружным начальником он был теперь в тесной дружбе, и ежели кто не мог точно в срок уплатить долг господину Петеру Мунку, начальник со своими подручными скакал к должнику, оценивал дом и хозяйство, мигом все продавал, а отца, мать и детей выгонял на все четыре стороны. Поначалу Петеру-богачу это доставляло некоторое неудовольствие, потому что несчастные бедняки, лишившись крова, осаждали его дом: мужчины молили о снисхождении, женщины пытались смягчить каменное сердце, а дети плакали, выпрашивая кусочек хлеба. Но когда он завел себе свирепых овчарок, «кошачьи концерты», как он их называл, сразу прекратились. Он науськивал псов на нищих, и те с криками разбегались. Больше всех досаждала ему «старуха». А это была не кто иная, как старая Мункиха, мать Петера. Она впала в нищету, когда ее дом и двор были проданы с молотка, а ее сынок, вернувшись домой богачом, о ней даже не вспомнил. Вот она время от времени и захаживала к нему на двор, старая, немощная, с клюкой. Войти в дом она не смела, ибо однажды он ее выгнал, но тяжко страдала оттого, что вынуждена жить подавняниями чужих людей, в то время как ее родной сын мог бы уготовить ей безбедную старость. Однако холодное сердце оставалось безучастным при виде знакомого увядшего лица, молящих глаз, протянутой иссохшей руки, согбенной фигуры. По субботам, когда она стучалась к нему в дверь, он ворча доставал мелкую монету, заворачивал в бумажку и высылал ей со слугой. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему благоденствия, как, кряхтя, брела прочь, но в эту минуту его занимало только одно: что он истратил попусту еще шесть батценов.

Наконец Петеру пришла мысль жениться. Он знал, что любой отец в Шварцвальде охотно отдаст за него свою дочь, и был разборчив: ему хотелось, чтобы и в этом случае люди подивились его уму и счастью. Вот почему он разъезжал по всему краю, заглядывая

во все уголки, но ни одна из его прекрасных землячек не была для него достаточно хороша. Наконец, после того как Петер обошел все танцевальные залы в тщетных поисках наипервейшей красавицы, он услышал однажды, что самая красивая и добродетельная девушка во всем Шварцвальде — дочь бедного дровосека. Живет-де она тихо и уединенно, рачительно и толково ведет хозяйство в отцовском доме, а на танцы никогда не ходит, даже в троицын день или в храмовый праздник. Как только Петер прослышал об этом шварцвальдском чуде, он решил просить руки девушки и поехал к ее отцу, чей дом ему указали. Отец красавицы Лизбет немало удивился, что к нему пожаловал такой важный барин, еще больше удивился он, услышав, что это не кто иной, как Петер-богач, желающий ныне стать его зятем. Долго раздумывать он не стал, ведь теперь, полагал он, бедности и заботам — конец, и, не спрашиваясь у Лизбет, дал свое согласие, а добрая девушка была столь послушна, что, не прекословя, стала госпожой Мунк.

Но жизнь у бедняжки пошла совсем не так, как она мечтала и надеялась. Ей казалось, что она хорошо управляет с хозяйством, но господину Петеру ничем нельзя было угодить. Она жалела бедных, и поскольку супруг ее был богат, не видела греха в том, чтобы подать пфенниг бедной нищенке или поднести рюмочку старому человеку. Однако, когда господин Петер это заметил, он устремил на нее гневный взгляд и грозным голосом сказал:

— Зачем ты раздаешь мое добро бродягам и оборванцам? Разве ты принесла с собой приданое, которое можешь раздаривать? Нищенским посохом твоего отца и печки не истопишь, а ты бросаешься деньгами, словно принцесса. Смотри, поймаю тебя еще раз, хорошенько попотчую плеткой!

Красавица Лизбет плакала тайком у себя в комнате, страдая от жестокосердия мужа, и частенько подумывала она о том, что лучше бы ей снова очутиться дома, в убогом жилище отца, нежели жить в хоромаш у богатого, но жестокосердного Петера. Ах, знай, она что сердце у него из мрамора и он не может любить никого — ни ее, ни другого человека на земле, — она бы, верно, не удивлялась! Но она этого не знала. И вот, бывало, сидит она у себя на крыльчке, а мимо идет нищий, снимает шляпу и заводит свою песню, — так она зажмуривала глаза, чтобы не разжалобиться его горестным ви-

дом, и сжимала руку в кулак, чтобы нечаянно не сунуть ее в карман и не вытащить оттуда монетку. Оттого и пошла о ней худая слава по всему Шварцвальду: красавица Лизбет-де еще жаднее, чем ее муж.

В один прекрасный день сидела Лизбет во дворе за прялкой и напевала песенку; у нее было отраднo на душе, потому что денек выдался погожий и Петер ускал на охоту. И тут она видит, что бредет по дороге дряхлый старичок, сгибаясь под тяжестью большого мешка — ей даже издали было слышно, как он кряхтит. С участием смотрит на него Лизбет и думает про себя, что негоже на такого маленького старого человека взваливать такую поклажу. Тем временем старичок, кряхтя, подходит все ближе и, поравнявшись с Лизбет, едва не валится с ног от изнеможения.

— Ах, жальтесь, хозяйюшка, дайте напиться,— говорил старичок,— мочи моей больше нет!

— В ваши годы нельзя уж таскать такие тяжести,— сказала Лизбет.

— Да вот нужда заставляет спину гнуть, кормиться-то надо,— ответил старичок.— Ах, да разве богатая женщина вроде вас может знать, как горька бедность и как освежает в такую жару глоток воды!

Услыхав это, Лизбет побежала на кухню, схватила с полки кувшин и налила в него воды, но когда она понесла его старичку и, не дойдя до него нескольких шагов, увидела, как он сидит на мешке, изможденный, несчастный, жалость пронзила ее, она смекнула, что мужа нет дома, а потому отставила кувшин, взяла бокал, наполнила его вином, положила сверху изрядный кусок ржаного хлеба и подала старику со словами:

— Глоток вина придаст вам больше сил, чем вода,— вы ведь уже такой старенький. Только пейте, не торопясь, и поешьте хлеба.

Человек в удивлении воззрился на Лизбет, старческие глаза наполнились слезами; он выпил вина и сказал:

— Я уже стар, но мало встречал на своем веку людей, что были бы так добры и так щедро и от души творили милостыню, как вы, госпожа Лизбет. Но за это вам будет даровано благоденствие — такое сердце не останется без награды.

— Не останется, и награду она получит на месте,— раздался вдруг страшный голос; когда они обернулись, то увидели у себя за спиной Петера с пылавшим от гнева лицом.— Так ты мое лучшее вино расточаешь нищим,

а из моего бокала даешь пить бродягам? Что ж, вот тебе награда!

Лизбет упала к его ногам и стала просить прощения, но каменное сердце не знало жалости. Петер перекинул в руке хлыст и рукоятью черного дерева с такой силой хватил красавицу жену по голове, что она бездыханная упала на руки старику. Когда Петер это увидел, он словно бы сразу раскаялся в содеянном и наклонился посмотреть, жива ли еще Лизбет, но тут человек заговорил хорошо знакомым Петеру голосом:

— Не трудись, Петер-угольщик, это был прекраснейший, нежнейший цветок Шварцвальда, но ты растоптал его, и уж больше ему не зацвести.

Тут вся кровь отхлынула у Петера от лица.

— Ах, это вы, господин Хранитель Клада? — сказал он. — Ну, сделанного не воротишь, значит, так было ей на роду написано. Надеюсь только, вы не донесете на меня в суд, как на убийцу?

— Несчастный! — отвечал ему Стекланный Человек. — Какая польза будет мне от того, что я отправлю на виселицу твою смертную оболочку! Не земного суда должно тебе бояться, а иного и более строгого, ибо ты продал душу злой силе!

— Если я и продал свое сердце, — закричал Петер, — то кто же виноват в этом, как не ты с твоими обманчивыми сокровищами! Это ты, злобный дух, привел меня к гибели, ты вынудил искать помощи у того, другого, — ты и в ответе за все!

Но не успел он произнести эти слова, как Стекланный Человек начал расти и раздуваться — глаза у него стали будто суповые миски, а рот — будто жерло печи, откуда вырывалось пламя.

Петер бросился на колени и, хоть и было у него каменное сердце, задрожал, как былинка. Ястребиными когтями впился лесовик ему в затылок, поднял и завертел в воздухе, как кружит вихрь сухой лист, и швырнул оземь так, что у него затрещали кости.

— Червяк! — крикнул он громовым голосом. — Я мог бы раздавить тебя, если бы захотел, ибо ты оскорбил Владыку леса. Но ради покойницы, которая накормила и напоила меня, я даю тебе неделю сроку. Ежели ты не обратишься к добру, я приду и сотру тебя в порошок, и ты умрешь без покаяния!

Был уже поздний вечер, когда несколько человек, проходя мимо, увидели Петера-богача, распростертого

на земле без памяти. Они стали его вертеть и переворачивать, пытаясь пробудить к жизни, но долгое время все их старания были тщетны. Наконец один из них пошел в дом, принес воды и брызнул ему в лицо. Тут Петер глубоко вздохнул, застонал и раскрыл глаза; он долго озирался, а потом спросил, где его жена, Лизбет, но никто ее не видел. Он поблагодарил людей за помощь, побрел к себе в дом и стал всюду искать ее, но Лизбет нигде не было — ни в погребке, ни на чердаке: то, что он считал страшным сном, оказалось горестной явью. Теперь, когда он остался один, его стали посещать странные мысли: бояться он ничего не боялся, ибо сердце у него было холодное, но стоило ему подумать о смерти жены, как он начинал размышлять и о собственной кончине, — о том, сколь обремененный покинет он этот мир — обремененный слезами бедняков, тысячекратными их проклятиями, которые не могли смягчить его сердца; плачем несчастных, которых он травил собаками; обремененный безмолвным отчаянием своей матери, кровью красивой и доброй Лизбет; что ответит он ее старику отцу, когда тот придет к нему и спросит: «Где моя дочь, твоя жена?» А как будет он держать ответ перед другим, перед тем, кому принадлежат все леса, все моря, все горы и жизни людские?

Это мучило его, и ночью во сне поминутно просыпался он от нежного голоса, который зывал к нему: «Петер, добудь себе живое сердце!» А проснувшись, спешил снова закрыть глаза, ибо узнал голос, предостерегавший его во сне — то был голос Лизбет. На другой день он пошел в трактир, чтобы развеять мрачные мысли, и застал там Толстяка Эзехилья. Петер подсел к нему, они заговорили о том о сем: о хорошей погоде, о войне, о налогах и, наконец, о смерти, о том, как где-то кто-то внезапно умер. Тут Петер спросил Толстяка, что он вообще думает о смерти и что, по его мнению, за ней последует. Эзехилья ответил ему, что тело похоронят, а душа либо вознесется на небо, либо низринется в ад.

— Значит, сердце тоже похоронят? — с тревогой спросил Петер.

— Конечно, его тоже похоронят.

— Ну, а если у человека больше нет сердца? — продолжал Петер.

Услышав это, Эзехилья испуганно уставился на него.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты что, насмехаешься надо мной? По-твоему, у меня нет сердца?

— О, сердце у тебя есть, и презрядное, твердое, как камень,— отвечал Петер.

Эзехиль вытаращил на него глаза, оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал:

— Откуда ты знаешь? Может быть, и твое сердце больше уже не бьется?

— Нет, не бьется, во всяком случае, не у меня в груди,— ответил Петер Мунк.— Но скажи мне,— теперь ты знаешь, о чем я говорю,— что станется с нашими сердцами?

— Да тебе-то что за печаль, приятель? — смеясь, спросил Эзехиль.— На этом свете ты живешь припеваючи, ну и будет с тебя. Тем-то и хороши наши холодные сердца, что от таких мыслей нам ни чуточки не страшно.

— Что верно, то верно, но мысли-то в голову лезут. И ежели я теперь не знаю страха, то хорошо помню, как ужасно боялся адских мучений, когда был еще маленьким наивным мальчиком.

— Ну, хорошего нам ждать не приходится,— заметил Эзехиль.— Как-то раз я спросил об этом у одного учителя, он сказал, что после нашей смерти сердца будут взвешены — велика ли тяжесть грехов. Легкие сердца взлетят вверх, тяжелые падут вниз; я думаю, наши камни потянут немало.

— Да уж конечно,— ответил Петер.— Но мне и самому часто не по себе оттого, что мое сердце остается таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о podobных вещах.

Так они говорили; однако в ту же ночь Петер пять или шесть раз слышал, как знакомый голос шептал ему в ухо: «Петер, добудь себе живое сердце!» Он не испытывал раскаяния в том, что убил жену, но когда говорил челяди, что она уехала, то сам при этом всякий раз думал: «Куда же она могла уехать?» Так прошло шесть дней; по ночам он неизменно слышал тот же голос и все думал о маленьком лесовике и его страшной угрозе; но на седьмое утро он вскочил с постели и воскликнул: «Ну ладно, пойду попытаюсь добыть себе живое сердце, мертвый камень в моей груди делает мою жизнь скучной и бессмысленной». Он поспешно надел воскресное платье, сел на лошадь и поскакал к Еловому Бугру. Достигнув того места на Еловом Бугре, где ели стояли особенно густо, он спешился, привязал лошадь, торопли-

вым шагом направился к толстой ели и, став перед ней, произнес заклинание:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал,
Кто в воскресенье свет увидал.

И Стекланный Человечек явился, но не такой приветливый и ласковый, как прежде, а хмурый и печальный; на нем был сюртучок из черного стекла, а со шляпы спускалась длинная траурная вуаль, и Петер сразу понял, по ком он надел траур.

— Что хочешь ты от меня, Петер Мунк? — спросил он глухим голосом.

— У меня осталось еще одно желание, господин Хранитель Клада, — ответил Петер, не поднимая глаз.

— Разве каменные сердца могут желать? — спросил Человечек. — У тебя есть все, чего требовал твой дурной нрав, и я вряд ли смогу исполнить твоё желание.

— Но ведь вы подарили мне три желания; одно-то у меня еще осталось.

— И все же я могу тебе в нем отказать, если оно глупое, — продолжал лесовик, — но говори, послушаем, чего ты желаешь.

— Тогда выньте у меня из груди мертвый камень и отдайте мне мое живое сердце! — сказал Петер.

— Разве я заключил с тобой эту сделку? — спросил Стекланный Человечек. — И разве я Голландец Михель, который дарит богатство вместе с каменным сердцем? Там, у него, ищи свое сердце.

— Ах, он никогда мне его не вернет! — ответил Петер.

— Жаль мне тебя, хоть ты и негодяй, — произнес Человечек после некоторого раздумья. — Но поскольку твоё желание не глупо, то я не могу вовсе отказать тебе и оставить без всякой помощи. Итак, слушай: силой ты сердце себе не вернешь, а вот хитростью — пожалуй, и, может быть, даже без особого труда, ведь Михель был и остался глупым Михелем, хоть он и почитает себя великим умником. Ступай прямо к нему и сделай все, как я тебе скажу.

Он научил Петера, как себя вести, и дал ему крестик из прозрачнейшего стекла.

— Жизни тебя лишить он не сможет и отпустит на волю, если ты сунешь ему под нос этот крестик и при этом будешь молиться. А как только получишь от него то, чего добивался, приходи опять ко мне, на это же место.

Петер Мунк взял крестик, постарался хорошенько запомнить все наставления Человечка и отправился дальше, во владения Голландца Михеля. Он трижды позвал его по имени, и великан мгновенно явился.

— Ты убил жену? — с ужасным смехом спросил он. — Я бы поступил так же, она раздаривала твое имущество нищим. Но тебе придется на время уехать — ее будут искать, не найдут, и поднимется шум; так что тебе, верно, нужны деньги, за этим ты и пришел?

— Ты угадал, — ответил Петер. — Только на этот раз денег надо побольше — до Америки-то далеко.

Михель пошел вперед и привел его к себе в дом; там он открыл сундук, полный денег, и стал доставать оттуда целые столбики золотых монет. Пока он отсчитывал Петеру деньги, тот сказал:

— А ты, Михель, пустобрех! Ловко ты меня провел — сказал, что у меня в груди камень, а мое сердце, мол, у тебя!

— Разве это не так? — удивился Михель. — Неужели ты слышишь свое сердце? Разве оно у тебя не холодное, как лед? Разве ты чувствуешь страх или горе или способен в чем-то раскаиваться?

— Ты просто остановил мое сердце, но оно по-прежнему у меня в груди, и у Эзекиля тоже, он мне и сказал, что ты нас надул, где уж тебе вынуть у человека сердце из груди, да еще так, чтобы он ничего не почувствовал, для этого надо быть волшебником.

— Уверяю тебя, — раздраженно воскликнул Михель, — у Эзекиля и у всех, кто получил от меня богатство, такие же каменные сердца, как у тебя, а ваши настоящие хранятся у меня здесь, в комнате.

— Ну и горазд ты врать! — засмеялся Петер. — Это ты рассказывай кому-нибудь другому! Думаешь, я не навидался, когда путешествовал, всяких диковинных штук? Сердца, что у тебя в комнате, искусственные, из воска. Ты богат, спору нет, но колдовать ты не умеешь.

Тут великан рассердился и распахнул дверь в комнату.

— Ну-ка, войди и прочитай ярлыки; вон в той склянке — сердце Петера Мунка, гляди, как оно трепещет. Может ли воск шевелиться?

— И все-таки оно из воска, — отвечал Петер. — Настоящее сердце бьется совсем не так, мое-то все еще у меня в груди. Нет, колдовать ты не умеешь.

— Ладно, я тебе сейчас докажу! — сердито крикнул Михель. — Ты сам почувствуешь, что это сердце твое.

Он взял сердце Петера, распахнул на нем куртку, вынул из его груди камень и показал ему. Потом подышал на сердце и осторожно вставил его на место. Петер сразу почувствовал, как оно забилося, и обрадовался — он снова мог радоваться!

— Ну как, убедился? — улыбаясь, спросил его Михель.

— Да, твоя правда, — ответствовал Петер, осторожно доставая из кармана крестик. — Никогда бы не поверил, что можно делать такие чудеса!

— Верно? Как видишь, колдовать я умею. Ну, а теперь давай я вставлю тебе твой камень обратно.

— Тихонечко, господин Михель! — крикнул Петер, сделав шаг назад и держа перед собой крестик. — Попалась рыбка на крючок. На сей раз в дураках остался ты! — И он принялся читать молитвы, какие только мог вспомнить.

Тут Михель стал уменьшаться — он делался все ниже и ниже, потом пополз по полу, извиваясь, словно червь, стена и охая, а сердца вокруг забились и застучали, как часы в мастерской часовщика. Петер испугался, его охватил ужас, и он бросился прочь из комнаты, прочь из дома; не помня себя от страха, вскарабкался он по скале, ибо слышал, как Михель отскочил, стал топтать ногами, бесноваться и слать ему вслед ужасные проклятья. Выбравшись наверх, Петер поспешил на Еловый Бугор. Тут разразилась страшная гроза; слева и справа от него сверкали молнии, раскалывая деревья, но он целым и невредимым достиг владений Стеклянного Человечка.

Сердце его радостно билось, уже потому только, что оно билось. Но вот Петер с ужасом оглянулся на свою жизнь, — она была подобна грозе, которая за минуту перед тем расщепляла вокруг него прекраснейшие деревья. Петер подумал о Лизбет, своей красивой и доброй жене, которую он убил из жадности, и показался себе настоящим извергом; прибежав к обиталищу Стеклянного Человечка, он горько разрыдался.

Хранитель Клада сидел под елью и курил маленькую трубку, но смотрел он куда веселее, чем давеча.

— Что ты плачешь, Петер-угольщик? — спросил он. — Может быть, тебе не удалось получить обратно твое сердце и ты так и остался с каменным?

— Ах, сударь! — вздохнул Петер.— Пока у меня было холодное сердце, я никогда не плакал, глаза у меня были сухими, как земля в июльский зной, но теперь мое собственное сердце рвется на части, лишь подумаю, что я натворил: должников своих я довел до суммы, больных и нищих травил собаками; да вы сами видели, как мой хлыст обрушился на ее прекрасное чело!

— Петер! Ты был великим грешником! — сказал Человечек.— Деньги и праздность развратили тебя, и твое сердце окаменело, перестало чувствовать радость и горе, раскаяние и жалость. Но раскаяние смягчает вину, и, знай я, что ты искренне сожалеешь о своей жизни, я бы мог еще кое-что для тебя сделать.

— Ничего я больше не хочу,— отвечал Петер, горестно повесив голову.— Моя жизнь кончена, мне уж радости не видать; что стану я делать один на всем свете? Матушка никогда не простит мне того, как я над ней издевался, быть может, я, чудовище, свел ее в могилу! А Лизбет, жена моя! Лучше убейте меня, господин Хранитель Клада, тогда уж разом кончится моя злосчастная жизнь!

— Хорошо,— отвечал Человечек,— если такова твоя воля,— топор у меня под рукой.

Он спокойно вынул трубочку изо рта, выбил ее и сунул в карман. Потом неторопливо встал и скрылся в ельнике. А Петер, плача, сел на траву; жизнь для него теперь ничего не значила, и он покорно ждал рокового удара. Немного погодя он услышал у себя за спиной легкие шаги и подумал: «Вот и конец!»

— Оглянись еще разок, Петер Мунк! — воскликнул Человечек.

Петер вытер слезы, оглянулся и увидел свою мать и жену Лизбет, которые ласково глядели на него. Он радостно вскочил на ноги.

— Так ты жива, Лизбет! И вы здесь, матушка,— вы простили меня?

— Они простят тебя,— произнес Стекланный Человечек,— ибо ты искренне раскаялся, и все будет забыто. Возвращайся теперь домой, в отцовскую хижину, и стань угольщиком, как прежде; если ты будешь трудолюбив и честен, то научишься уважать свое ремесло, а твои соседи будут любить и почитать тебя больше, чем если бы ты имел десять бочек золота.

Вот что сказал Стекланный Человечек, и на этом он с ними простился.

Все трое не знали, как им хвалить и благословлять его, и счастливые отправились домой.

Великолепного дома Петера-богача больше не существовало; в него ударила молния, и он сгорел вместе со всем богатством; но до отцовской хижины было недалеко, туда и вел теперь их путь, а о потере имущества они нисколько не сокрушались.

Но каково было их удивление, когда они подошли к хижине! Она превратилась в добротный крестьянский дом, убранство его было просто, но удобно и опрятно.

— Это сделал добрый Стекланный Человечек! — воскликнул Петер.

— Какой прекрасный дом! — сказала Лизбет. — Мне здесь гораздо уютнее, чем в большом доме со множеством слуг.

С тех пор Петер Мунк стал трудолюбивым и добросовестным человеком. Он довольствовался тем, что имел, не утомимо занимался своим ремеслом, а со временем без посторонней помощи нажил состояние и снискал уважение и любовь во всем крае. Он никогда больше не ссорился с Лизбет, чтит свою мать и подавал бедным, которые стучались к нему в дверь. Когда через несколько лет Лизбет произвела на свет хорошенького мальчика, Петер отправился на Еловый Бугор и произнес заклинание. Но Стекланный Человечек не показывался.

— Господин Хранитель Клада! — громко позвал Петер. — Послушайте, мне ничего не надо, я только хочу просить вас быть крестным отцом моему сыночку!

Но никто не отозвался, только налетевший вдруг ветер прошумел в елях и сбросил в траву несколько шишек.

— Ну что ж, раз вы не хотите показаться, возьму-ка я на память эти шишки! — воскликнул Петер, сунул в карман шишки и пошел домой. Когда же дома он снял праздничную куртку и его мать, перед тем как уложить ее в сундук, вывернула карманы, оттуда выпали четыре тяжелых свертка, а когда их развернули, там оказались сплошь новенькие баденские талеры, и среди них ни одного фальшивого. Это был подарок Человечка из елового леса своему крестнику, маленькому Петеру.

С тех пор и жили они мирно и безбедно, и еще много лет спустя, когда у Петера Мунка уже волосы поседели, он не уставал повторять: «Да, уж лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и всякие другие богатства и при этом — холодное сердце»

Шел уже пятый день, а Феликс, егерь и студент все еще были в руках у разбойников. Они очень тосковали и жаждали освобождения, хотя атаман и его подчиненные обходились с ними не плохо. Чем дольше тянулось время, тем сильнее возрастал их страх, что обман будет обнаружен. На пятый день вечером егерь сообщил товарищам по несчастью, что твердо решил этой ночью бежать, пусть даже он поплатится за это жизнью. Он всячески склонял их тоже к побегу и объяснил, как собирается его осуществить.

— Того, что стоит всего ближе к нам, я беру на себя: ничего не поделаешь, ведь дело идет о самозащите, а самозащита законом не воспрещается. Его придется убить.

— Убить? — ужаснулся Феликс. — Вы хотите его убить?

— Да, это твердо решено, раз его смерть спасет жизнь двум людям. Должен вам сказать, что собственными ушами слышал, как разбойники с озабоченным видом шептались, что их ищут по лесу, а старухи, озлобившись, проговорились о недобрых намерениях разбойничьей шайки; они всячески нас ругали и дали понять, что, если на разбойников нападут, нам нечего ждать пощады.

— Господи Боже! — в ужасе воскликнул юноша и закрыл лицо руками.

— Я предлагаю, пока они еще не приставили нам пюжа к горлу, опередить их. Когда стемнеет, я подкрадусь к ближайшему караульному, он окликнет меня, я шепну, что графине внезапно стало дурно, и когда он обернется, покончу с ним. Затем приду за вами, молодой человек, и второй тоже не уйдет от нас, а с третьим мы и подавно справимся.

И сам егерь в эту минуту и слова его ужаснули Феликса. Он уже собрался отговорить его от такого кровавого замысла, но тут дверь тихонько отворилась и кто-то крадучись вошел к ним. Это был атаман. Он сразу осторожно затворил за собой дверь, а пленникам сделал знак не шуметь. Сев рядом с Феликсом, он сказал:

— Ваше сиятельство, вы в безвыходном положении. Граф, ваш супруг, не сдержал слова, он не только не прислал выкупа, но заявил местному начальству. Солдаты рыскают по лесу, чтобы арестовать меня и моих людей. Я угрожал вашему супругу покончить с вами, если он попытается нас схватить. Но то ли ему не дорога ваша жизнь, то ли он не верит моему слову. Ваша жизнь в наших руках, по нашему закону вы обречены на смерть. Что вы можете мне возразить?

Пленники были подавлены, они сидели, не поднимая глаз, не знали, что сказать, ведь Феликс отлично понимал: признавшись в переодевании, он только усугубит опасность.

— Сверх моих сил подвергать такой опасности даму, к которой я отношусь с великим почтением,— продолжал атаман,— для вашего спасения возможно только одно, вот я и хочу предложить вам этот единственный выход: *я предлагаю бежать всем нам вместе.*

Измученные неожиданностью, они молча смотрели на него.

— Большинство моих людей,— продолжал он,— решило податься в Италию и примкнуть к одной очень крупной шайке. Что до меня, то служить под началом другого мне не улыбается, поэтому я не заодно с ними. Если бы вы, ваше сиятельство, взяли меня под свою защиту и обещали, прибегнув к вашим сильным связям, замолвить за меня слово, то, пока еще не поздно, я мог бы вас спасти.

Феликс в смущении молчал. Он был слишком честен, все существо его возмущалось при мысли сначала преднамеренно подвергнуть опасности человека, который хочет спасти ему жизнь, а потом оказаться бессильным защитить его. Он все еще молчал, и тогда атаман заговорил снова.

— В настоящее время всюду вербуют людей в войска, я удовольствуюсь самой скромной должностью. Я знаю, вы многое можете, но ведь я не требую ничего, мне достаточно вашего обещания, что вы постараетесь хоть немного помочь мне в этом деле.

— Хорошо, обещаю оказать вам содействие, сделать все, что могу, все, что в *моих* силах,— ответил Феликс, не подымая глаз.— Чем бы все это для вас ни кончилось, для меня утешительно уже то, что вы добровольно порываете с разбойничьей жизнью.

Растроганный атаман поцеловал руку доброй даме и шепнул, чтобы через два часа, после того как стемнеет, она была готова, а потом вышел из хижины столь же осторожно, как перед тем вошел. После его ухода все трое с облегчением вздохнули.

— Поистине, сам Господь Бог вложил это ему в сердце! — воскликнул егерь.— Какое неожиданное спасение! Мне и во сне не снилось, что на свете еще бывает такое.

— Вот уж правда неожиданное! — согласился с ним Феликс.— Но честно ли я поступил, обманув его? Что

пользы ему в моем заступничестве? Я же не признался, кто я, а ведь это все равно что заманить его на виселицу, разве не так, господин егерь?

— Ну к чему такая совестливость, милый юноша! — возразил студент. — И это после того, как вы так мастерски сыграли свою роль! Нет, пусть это вас не мучает, это вполне законная самозащита. Ведь не постыдился же он дерзко похитить во время пути почтенную даму, и не будь вас, как знать, чем бы все это кончилось для графини! Нет, вы поступили вполне честно. Впрочем, я полагаю, тот факт, что он, атаман шайки, сам отдаст-ся в руки правосудия, послужит ему на пользу.

Этот последний довод утешил юношу. В радостном возбуждении и все же тревожась и замирая от страха, что их план может потерпеть неудачу, провели они ближай-шие часы. Уже стемнело, когда атаман снова загля-нул к ним, положил узел с одеждой и сказал:

— Ваше сиятельство, чтобы облегчить нам бегство, вам необходимо переодеться мужчиной. Будьте готовы. Через час мы отправимся в путь.

С этими словами он вышел, и егерь едва удержался, чтобы не расхохотаться.

— Вот вам и второе переодевание, — сказал он, — и, честное слово, оно пристало вам куда больше первого!

Они развязали узел, достали отличный охотничий костюм и все, что к нему полагается, костюм пришлось Феликсу впору и очень к лицу. Когда он был готов, егерь хотел было бросить платье графини в угол, но Феликс не позволил, он связал ее вещи в узелок и сказал, что попросит графиню подарить их ему, и он сохранит их до конца жизни на память об этих удивительных днях.

Наконец атаман вернулся. Он был вооружен до зубов, егерю он возвратил отобранное у того ружье и пороховницу. Студенту он тоже вручил ружье, а Феликсу подал охотничий нож и попросил на всякий случай повесить его на пояс. К счастью, было уже очень темно, не то по сияющему виду Феликса, когда он вооружился ножом, атаман мог бы легко догадаться, кто он на самом деле. Когда они осторожно вышли за дверь, егерь обнаружил, что на ближнем сторожевом посту никого нет. Это дало им возможность незаметно проскользнуть мимо хижины, но атаман не повел их обычной тропой, из глубины ущелья подымавшейся в лес, он направился к отвесной скале, на первый взгляд неприступной. Однако, когда они были уже у ее подножия, атаман обратил их внимание на веревочную лестницу, висевшую на скале.

Он перекинул ружье за спину и стал подниматься первым, затем протянул руку графине и пригласил следовать за ним, егерь замыкал шествие. За скалой оказалась тропинка, и они быстро пошли по ней.

— Эта тропинка выведет нас на дорогу в Ашафенбург,— сказал атаман.— По ней мы и пойдем, у меня точные сведения, что граф, ваш супруг, в данное время там.

Молча продолжали они свой путь, атаман впереди, остальные трое гуськом за ним. Через три часа они остановились. Атаман попросил Феликса сесть отдохнуть на пенёк. Он достал хлеб и походную флягу со старым вином и предложил усталым путникам подкрепиться.

— Я думаю, мы не позже чем через час наткнемся на военный кордон, расставленный по всему лесу. В таком случае будьте столь добры, поговорите с офицером и попросите его прилично обращаться со мной.

Феликс согласился и на это, хотя мало надеялся на успех своего заступничества. Они отдыхали с полчаса, затем двинулись дальше. Они шли еще около часа и теперь приближались к проселочной дороге; уже забрезжило утро, в лесу чуть посветлело, тут вдруг раздался громкий окрик: «Стой! Ни шагу дальше!» Они остановились как вкопанные, им преградили дорогу пятеро солдат и приказали следовать за ними к майору, их командиру, и дать ему объяснение, куда и зачем они идут. Пройдя шагов пятьдесят, они заметили, что в кустах и слева и справа поблескивают штыки,— видимо, лес был оцеплен. Под дубом сидел майор в окружении офицеров и нескольких штатских. Задержанных привели к майору, и он уже собирался допросить их, кто они и откуда, но тут вдруг вскочил со своего места один из присутствующих и воскликнул:

— Боже мой! Кого я вижу, ведь это же Готфрид, наш егерь!

— Так точно, господин управляющий! — радостно ответил егерь.— Я самый, чудом спасенный из рук шайки разбойников.

Офицеры очень удивились, увидав его тут. А егерь попросил майора и управляющего отойти с ним в сторонку и в кратких словах рассказал, как они были спасены и кто тот четвертый, что сопровождал их.

Обрадованный его сообщением, майор тут же принял нужные меры и отдал распоряжение препроводить важного арестованного дальше, а золотых дел мастера подвел к своим офицерам и представил им доблестного юно-

шу, смелость и присутствие духа которого спасли графиню, и все радостно жали ему руку, расточали похвалы и никак не могли наслушаться рассказов его и егеря о том, что они пережили.

Меж тем совсем рассвело. Майор решил лично проводить освобожденных в город. Он вместе с ними и графским управляющим отправился в ближайшую деревню, где стоял его экипаж, там он усадил Феликса рядом с собой в экипаж; егерь, студент, управляющий и много других людей ехали верхами впереди и позади них, и так это поистине триумфальное шествие двинулось по дороге в город. С быстротой молнии разнесся слух о разбойничьем нападении в шпессартской харчевне и о самоотверженном юноше, и не менее быстро передавалась из уст в уста весть о его освобождении. Поэтому и нет ничего удивительного, что в городе, куда они ехали, улицы были запружены народом: всем хотелось увидеть молодого героя. Навстречу медленно подъезжавшему экипажу хлынула толпа народа. «Вот он,— раздались крики.— Видите, это он сидит рядом с офицером! Да здравствует смелый золотых дел мастер!» И тысячеголосое «ура!» огласило воздух.

Феликс был смущен, растроган кликами толпы. Но еще более трогательное зрелище ожидало его в ратуше. Богато одетый мужчина средних лет встретил его у лестницы и обнял со слезами в глазах.

— Как мне отблагодарить тебя, сын мой! — воскликнул он.— Ты вернул мне счастье, то счастье, коего я чуть не лишился навсегда! Ты спас мне жену, моим детям спас мать! При ее хрупком здоровье она не выдержала бы тягостной жизни в плену у разбойников.

Так говорил супруг графини. Чем решительнее отказывался Феликс сказать, какую награду желал бы получить за свой самоотверженный поступок, тем непреклоннее настаивал граф. Тут юноша вспомнил о тяжелой участи атамана разбойников; он рассказал, что тот его спас и что спасал он, собственно, не его, а графиню. Граф, тронутый не столько поступком атамана, сколько новым доказательством благородства и бескорыстия, кои проявил Феликс своей просьбой, обещал сделать все, что в его силах, чтобы спасти разбойника.

Еще в тот же день граф в сопровождении храброго егеря повез Феликса в замок, где графиня, озабоченная судьбой самоотверженного юноши, с нетерпением ждала вестей. Как описать ее радость, когда супруг ввел к ней ее спасителя? Она не уставала его спрашивать и бла-

годарить, она велела привести детей, чтобы они посмотрели на доблестного юношу, которому их мать столь многим обязана. Малыши протянули ему ручки, и ласковые слова их детской признательности, их уверения, что после отца с матерью для них нет никого на свете дороже его, были для Феликса лучшей наградой за те бессонные ночи, за все то, что ему пришлось претерпеть у разбойников.

Когда прошли первые минуты радостной встречи, лакей по знаку графини принес одежду и хорошо знакомый ранец, отданные Феликсом графине в лесной харчевне.

— Здесь все, что вы дали мне в ту страшную минуту,— с ласковой улыбкой сказала она,— в этих вещах тайные чары, облачив меня в них, вы поразили моих преследователей слепотой. Теперь они снова в вашем распоряжении, но я хочу предложить вам оставить эту одежду мне на память о вас, а взамен принять ту сумму, что разбойники назначили как выкуп за меня.

Феликса испугал столь щедрый подарок; благородство не позволило ему принять вознаграждение за то, что он сделал по доброй воле.

— Ваше сиятельство,— сказал он в волнении,— я не могу согласиться на это. Одежда, как вы того пожелали, пусть остается у вас, но сумму, которую вы назвали, я принять не могу. Но я знаю, что вам угодно меня вознаградить, поэтому я прошу не лишать меня вашего благоволения, иной награды мне не надо, и, в случае если мне понадобится ваша помощь, позволить мне обратиться к вам.

Долго еще уговаривали они юношу, но ничто не могло изменить его решения. Графиня и ее супруг наконец уступили, и лакей хотел уже унести одежду и ранец, но тут Феликс вспомнил об ожерелье, о котором за столь радостными событиями совсем было забыл.

— Постойте! — остановил он лакея.— Ваше сиятельство, разрешите мне взять всего одну вещь из ранца, остальное полностью и навсегда принадлежит вам.

— Все в вашем распоряжении,— сказала она,— хотя я охотно сохранила бы все на память о вас, берите, берите то, чего не хотите лишиться. Однако позвольте спросить, чем вы так дорожите, что не хотите оставить мне?

Юноша тем временем открыл ранец и достал футляр красного сафьяна.

— Берите все, что принадлежит мне,— с улыбкой ответил он.— Но это принадлежит моей дорогой крестной матери. Это, ваше сиятельство, ожерелье моей работы, и его я должен отдать ей,— прибавил он, открыв и подавая ей футляр из красного сафьяна.— Ожерелье, на котором я пробовал свои силы.

Она взяла футляр, но, мельком взглянув на него, смутилась и протянула его Феликсу.

— Как?! Эти камни! — воскликнула она.— И они, вы говорите, предназначены вашей крестной?

— Ну, да,— ответил Феликс,— моя крестная прислала их мне, я вставил их в оправу и шел к ней, чтобы лично отдать ей ожерелье.

До слез растроганная графиня смотрела на него.

— Так, значит, ты Феликс Пернер из Нюрнберга? — воскликнула она.

— Ну да! Но откуда вы вдруг узнали, как меня зовут? — спросил он, с изумлением глядя на нее.

— О чудесный перст Провидения! — обратилась умиленная графиня к ничего не понимающему супругу.— Это же Феликс, наш крестник, сын нашей камеристки Сабины! Феликс! Ведь это ко мне, ко мне ты шел. Так ты, сам того не зная, спас свою крестную!

— Как? Значит, вы графиня Зандау, так много сделавшая для нас с матерью? А это замок Майенбург, тот самый, куда я держал путь? Как благодарен я счастливой судьбе, которая столь неожиданно свела меня с вами; значит, своим поступком мне хоть в малой доле удалось выразить вам свою великую признательность!

— Ты сделал для меня больше, чем я когда-либо смогу сделать для тебя,— возразила она.— Но пока я жива, я постараюсь доказать тебе, сколь бесконечно многим все мы тебе обязаны. Ты будешь сыном моему супругу, братом моим детям, а я буду тебе любящей матерью; ожерелье, которое привело тебя ко мне в час величайшей опасности, отныне для меня самое приятное украшение: оно постоянно будет напоминать мне о тебе и твоём благородстве.

Так сказала графиня и сдержала слово. Она щедро помогала Феликсу в годы странствий. Когда он вернулся уже сведущим в своем деле мастером, она купила ему в Нюрнберге дом, полностью обставила его, парадную комнату в доме украшали хорошо выполненные картины, на которых были изображены сцены из жизни Феликса в лесной харчевне и в разбойничьем ущелье.

Так и зажил в Нюрнберге Феликс, умелый золотых дел мастер. Слава о его искусстве, а также молва о его удивительной доблести привлекали к нему заказчиков со всей страны. Многие приезжие, попав в чудесный город Нюрнберг, приходили в мастерскую к знаменитому мастеру Феликсу, чтобы поглядеть на него, подивиться его геройству и мастерству, а то и заказать ему красивое украшение. Однако самыми желанными для него гостями были егерь, машинный мастер, студент и возчик. Всякий раз по дороге из Вюрцбурга в Фюрт возчик заезжал к Феликсу, егерь чуть не каждый год привозил ему подарки от графини, мастер, исходив многие немецкие земли, под конец устроился на жительство у Феликса. Как-то навестил их и студент. Он за это время стал важным государственным мужем, но не стеснялся отужинать в обществе мастера Феликса и его приятеля. Они вспоминали все пережитое на заездем дворе и шпессартском лесу, и бывший студент рассказал, что видел в Италии атамана разбойников; он вполне исправился, стал военным и служит верой и правдой неаполитанскому королю.

Феликса эта весть обрадовала. Не будь атамана, он, надо думать, вряд ли попал бы в тогдашнее опасное положение, но, не будь этого человека, он бы не смог уйти от разбойников. Вот и выходит, что в душе у честного золотых дел мастера жили только добрые и дружественные мысли, когда ему вспоминалась *харчевня в Шпессарте*.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНРИХ ВАКЕНРОДЕР

В истории немецкого романтизма судьба Вакенродера (1773—1798) стоит несколько особняком: этот талантливый писатель умер очень молодым, расцвета иенского кружка не застал, с большинством его участников знаком не был. В творчестве его, весьма непродолжительном, многое представляется неожиданным: в чем-то Вакенродер предвосхитил самые смелые фантазии таких неумных искателей раннего романтизма, как Фридрих Шлегель или Новалис, в чем-то оказался трезвее и дальновиднее их, так что иные его идеи и образы заставляют вспоминать о романтизме позднем, например, гофмановском. При этом, однако, он как художник и мыслитель порой безнадежно связан правоверной религиозностью и косным провинциализмом — наизлейшими путями тогдашней немецкой действительности.

Жизнь Вакенродера была отмечена неудачливостью и духовной неустроенностью — типичный пример угасания духа в тесноте и застойное пресловутое немецких обстоятельств. Он рос в семье крупного берлинского чиновника, и практически настроенные родители не поощряли пристрастия мальчика к стихам, живописи и музыке. Любовь ко всему, что связано с искусством, очень скоро обрела для него силу запретной страсти. Уступая родительской воле, он изучал право в Эрлангене и Гёттингене, хотя его влекло на философский факультет (где в ту пору читались лекции по искусствоведческим дисциплинам). После университета Вакенродер служил чиновником в берлинском суде. Настоящая жизнь, однако, началась вечерами, когда он трудился над своей книгой и обсуждал с другом Людвигом Тиком завершённые и еще не написанные главы. Эта напряженная «двойная жизнь» оказалась губительной для его слабого здоровья (у него была чахотка), и в 1798 году он скончался.

При жизни Вакенродеру с помощью Л. Тика, в ту пору уже довольно известного писателя, удалось издать в 1796 году сборник своих заметок об искусстве «Сердечные излияния одного монаха, любителя искусств». Он вышел анонимно, поскольку Вакенродер страшился родительского гнева. Лишь после смерти друга Тик раскрыл читающей публике имя автора (присовокупив к нему, без достаточных оснований, и свое) и издал в 1799 году со своими незначительными добавлениями оставшиеся сочинения Вакенродера под названием «Фантазии об искусстве для друзей искусства». В 1813 году он объединил обе книги в одном томе, но и тогда — такова уж печальная судьба Вакенродера — подлинным и единственным автором считался Тик (так, молодой Шопенгауэр, на ко-

того влияла проза Вакенродера, цитируя «Сердечные излияния», был убежден, что цитирует Тика). Справедливость была восстановлена лишь в начале нашего столетия, когда была опубликована переписка Вакенродера и Тика.

Жанр, в котором писал Вакенродер, определить затруднительно, поскольку в своих заметках об искусстве он намеренно стремился отойти от наукообразного, тяжелого слога и склонялся к прозе по сути художественной, к речи выразительной и поэтичной. Заметки Вакенродера — как бы маленькие эссе, объединенные между собой элементами беллетристики: вымышленными персонажами, о которых идет речь или к которым обращается автор (один из них — композитор Иозеф Берлингер, герой представленной здесь новеллы), определенной сюжетикой в движении мысли, в ее переходах от одного предмета к другому и, наконец, тщательно организованной образностью. Когда Вакенродер писал свои книги, теоретик раннего романтизма Фридрих Шлегель еще только мечтал о смешениях жанров, о литературе, которая «стремится то смешивать, то растворять друг в друге поэзию и прозу, гениальность и критику», — у Вакенродера многие из этих теоретических постулатов уже реализованы.

Главная мысль всех сочинений Вакенродера, — что истинное произведение искусства невозможно понять разумом, что прекрасное постигается только чувством, — тоже одно из ключевых положений романтической эстетики. Правда, у Вакенродера эта мысль, равно как и другие, теоретически никак не обоснована, дана на уровне ощущений, как предписание читателю, как пожелание. Полемика с рационализмом просветительского искусствоведения ведется здесь без точного адреса. Вакенродер никогда не становится в позу критика-педанта, он видит в искусстве результат деятельности таинственных духовных сил, а не свод неукоснительных предписаний и догм. Творения живописцев и скульпторов, поэтов и музыкантов он воспринимает с благоговейным, молитвенным трепетом, как бы приобщаясь к сокровеннейшим таинствам бытия.

Однако в своем педагогическом пафосе Вакенродер еще верный последователь просветителей, да и многие из его идей имеют прямую связь с иррационалистической, сентименталистской традицией просветительской эстетики, с трудами Гердера и особенно Гамана, которого он в юности изучал. На это важно указать, поскольку отношения романтизма с Просвещением никогда не исчерпывались отталкиванием, но включали в себя и творческую преемственность.

Большая часть обеих книг Вакенродера навеяна впечатлениями от путешествия по Средней и Южной Германии, которое он совершил совместно с Тиком в 1793 году. Они побывали во многих городах, осмотрели памятники древнего зодчества, несколько дней провели в залах Дрезденской галереи. Если для Ф. Шлегеля в ту пору непрерываемым образцом еще остается античное искусство, то

для Вакенродера (и надолго еще для Тика) представления о совершенстве все более связываются с искусством Возрождения. Вакенродер первым из романтиков заговорил о величии и притягательной силе ренессансного искусства, положив начало тому процессу переоценки культурно-исторических ценностей, которую проводил романтизм в сознании современников.

Два вида искусств занимали Вакенродера особенно: живопись и музыка. В его рассуждениях об этих предметах, о сходстве и различии между ними распознаются, хотя еще только в догадках, идеи романтической эстетики о родственности всех видов художественной деятельности, о том, как и почему они дополняют друг друга. Вакенродера можно смело считать родоначальником того культа музыки, который устанавливался в эстетике немецких романтиков от Шеллинга до Гофмана.

«Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иозефа Берлингера» — безусловно, лучшее творение Вакенродера и один из хрестоматийных образцов немецкой романтической прозы. Задумана она не как самостоятельное произведение, а как составной элемент, в своем роде заключительный аккорд книги «Сердечные излияния одного монаха, любителя искусств», — ключевые идеи книги должны были предстать здесь в сконцентрированном виде. Однако и в книге Вакенродера новелла стоит особняком, и в восприятии современников она очень скоро отделилась от других его сочинений; с середины прошлого века эта новелла неизменно входит во все антологии романтической прозы.

Новелла во многом автобиографична, в ней с прозорливостью и отчетливостью поставлена проблема, к которой другие романтики обратятся лишь позже: проблема несовместимости искусства и жизни. Исторический оптимизм, с которым почти все ранние романтики смотрели в будущее, Вакенродеру несвойствен: он остро чувствовал социальные неурядица, слишком страдал от провинциализма и духовного застоя немецкой действительности, чтобы верить в возможность скорого и безболезненного ее усовершенствования. Критические мотивы, чувство неудовлетворенности существующим укладом, неприятие филистерской бездуховности очень сильны в его книге, новелле же они придают порой черты поистине гротескные: эпизод, когда Иозеф Берлингер, влекомый своим призванием, решается на отчаянный шаг и бежит из дома, но по дороге старая родственница останавливает его вопросом, не на рынок ли за овощами он направляется, — лаконизмом и точностью своей предвосхищает позднего Гофмана.

В «Достопримечательной музыкальной жизни композитора Иозефа Берлингера» берет свое начало особый жанр — «новелла о художниках», который в своем развитии выходит далеко за пре-

дела романтизма: один из классических его образов в прозе XX века — «Тонно Крёгер» Томаса Манна.

С. 26. *...будто он видит царя Давида...*— Библейское предание приписывает царю Давиду создание многочисленных духовных гимнов — псалмов, что и имеет в виду Вакенродер.

С. 31. *«О Цецилия святая!..»* — Цецилия, католическая святая, считалась покровительницей музыки, это один из любимых образов в живописи Ренессанса (см. Рафаэль, Карло Дольчи и др.).

С. 38. *...музыку к «Страстям»...*— «Страсти» — музыкальное произведение на евангельский текст о предательстве Иуды и пленении и казни Христа; исполнение «Страстей» первоначально приурочивалось к предпасхальной, «страстной», неделе, позднее они исполнялись и просто в концертах.

С. 39. *Гвидо Рени (1575—1642)* — итальянский живописец позднего Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471—1528) — знаменитый немецкий художник и график эпохи Возрождения.

Среди ранних романтиков Людвиг Тик (1773—1853) — наиболее профессиональный писатель, чуть ли не с детства приучивший кормить себя литературным трудом. Сын берлинского ремесленника, он шестнадцати лет уже подвизался в качестве сочинителя-подмастерья у скромного литератора и издателя Рамбаха, выпустив совместно с ним несколько книг, неприятных, но раскупленных нарасхват. Гонорары обеспечили Тику образование: он изучал теологию, философию и историю в Галле, Гёттингене и Эрлангене.

Первое крупное произведение Тика — трехтомный роман в письмах «История Вильяма Ловелля» (1793—1796). В традиционную для XVIII века форму Тик сумел вложить нетрадиционное содержание: критику своекорыстных, предпринимательских интересов, правящих в жизни с демонической непостижимостью и обрекающих главного героя (личность незаурядную и смятенную) на духовную гибель. Начиная с «Вильяма Ловелля» Тик вступает в пору творческого расцвета, сближается с другими романтиками (сначала с Вакенродером, позже — в 1797—1798 гг. — с Шлегелями, Шлейсмахером, Новалисом) и — вплоть до путешествия в Италию (1805 г.) — неутомимо экспериментирует в прозе и драматургии. Продуктивность его в эти годы поразительна: к 1799 году уже выходит двадцатитомное собрание его сочинений.

Примечательны прежде всего его драматические опыты — комедии «Кот в сапогах» (1797), «Принц Цербино» (1798) и «Мир наизнанку» (1797) — в них Тик проявляет себя озорным и метким сатириком, обличителем немецкого филистерства. Вслед за Вакенродером он осуждает потребительское отношение бюргера к искусству и разворачивает на сцене вакханалию абсолютного художественного произвола, разрушая любую претензию на иллюзию достоверности, пресекая всякую попытку приноровиться к классицистским канонам либо приблизиться к тяжеловесному жизнеподобию так называемой «мещанской драмы». Драматические произведения Тика — достояние литературы, а не театра, на сцене их ни разу не удавалось поставить с успехом, иные же для сцены и не предназначались; тем не менее свою роль в развитии театра эти эксперименты сыграли.

Наибольшую славу синскал роман Тика «Странствия Франца Штернбалда» (1798) — до «Офтердингена» Новалиса это была самая интересная попытка романтиков в этом жанре. Путешествие главного героя, живописца школы Дюрера, по Европе времен Возрождения превращается под пером Тика в лирическую исповедь: пафос бескорыстного служения искусству, молитвенного поклонения природе сочетается с неприязнью к миру практических отношений. Роман, однако, страдает композиционной рыхлостью, перегружен ландшафтными зарисовками, а иногда бытописанием; книге недостает подлинной философской глубины и энергии.

Очень рано появляются в творчестве Тика демократические мотивы, симпатия к простому человеку из народа, лишенная прекраснородушного сострадания, как то бывало у просветителей, особенно у сентименталистов. По пронизательному наблюдению Н. Я. Берковского («Романтизм в Германии». Л., 1973) здесь берет начало важная тема европейской литературы, тема «маленького человека», продолженная А. Шамиссо и Э. Т. А. Гофманом. Демократизм, свойственный мироощущению Тика, выражен в его творчестве и тягой к народным истокам, заинтересованностью фольклором, что, впрочем, у Тика часто продиктовано поисками сюжета. Его подражания народным сказкам и переложения народных книг в большинстве случаев отмечены литературностью, стремлением актуализировать материал и внести в него злободневное содержание, против чего романтики второго поколения — братья Гримм, Арним, Брентано — впоследствии категорически возражали.

Однако в лучших своих заимствованиях из народного творчества (например, переложении народной книги «Прекрасная Магелона», 1796) Тик предпочитает злободневности и сатире поэтику наивного, внешне безыскусного, но очень тонко организованного повествования. Такова знаменитая новелла «Белокурый Экберт» (опубликована в 1796 г., затем вошла в трехтомник «Народных сказок Петера Леберехта», выпущенный Тиком в 1797 г.), выдержанная в духе народной сказки и использующая некоторые типичные мотивы сказочной поэтики. И все же новелла — не просто умелая стилизация, в ней в ореоле сказочности выведены тревоги вполне конкретные: размышления о пагубной силе богатства, добытого преступными средствами, о злом роке, тяготеющем над таким обогащением. В более поздней новелле «Рунеберг» (1802) эти темы звучат уже неприкрыто, предвосхищая «Майорат» Э. Т. А. Гофмана, здесь же они растворены в общем, весьма мрачном колорите новеллы, в главной ее идее о непостижимости зла, об иррациональной его природе и неисповедимости путей, которыми оно осуществляется. Из «Белокурого Экберта» можно выводить всю демократическую тему романтизма.

Велики были заслуги Тика в том процессе посредничества с другими эпохами культуры, которое осуществлял романтизм: он популяризовал поэзию миннезингеров, его перу принадлежит несколько переводов Шекспира, повесть о нем («Жизнь поэта», 1826—1831), замечательный перевод «Дон Кихота» (1799—1801). В начале XIX века творческая активность Тика идет на убыль, он, хотя и остается вполне успешным беллетристом, все больше занимается делами околотитулярными: издает (вместе со Шлегелями) наследие Новалиса (1802 г.) и Клейста (1821 г.), руководит театром в Дрездене; с 1842 года доживает свой век в покое и благополучии при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма IV в должности придворного чтеца и куратора королевского театра.

Новелла «Жизнь льется через край» (1839) — один из наиболее удачных образцов позднего творчества Тика. На примере ее видно, как угасала энергия романтизма; она еще теплится в рассуждениях героев, все отринувших во имя любви, она еще дает о себе знать в неожиданных эскападах гротеска — чего стоит приснившаяся Генриху распродажа людей с молотка, человек «овеществлен» буквально, приравнен к вещам, рассматривается как материальная ценность наравне со шкафом или канделябром. Озорная сатира молодого Тика угадывается и в язвительности, с какой изображаются служители государственной машины (но рангом не выше полицейского пристава). «Мораль» этой новеллы, однако, сугубо антиромантическая: идеалы, порывы, энтузиазм — все безнадежно задавлено прозой обстоятельств, освободиться от этого гнета можно лишь с помощью чуда (невероятного стечения обстоятельств), и бывший романтик Людвиг Тик не очень уверен в необходимости такого освобождения.

С. 46. ...она пела...— Далее следует одно из известнейших стихотворений романтической лирики. Символ «уединенье» (букв. «Waldeinsamkeit» — «лесное одиночество»), введенный Тиком, надолго входит в немецкую литературу как символ загадочных тревожных ощущений человека наедине с природой.

С. 59. *Зибенкез* — герой одноименного романа немецкого писателя Жан-Поля (псевдоним Иоганна Фридриха Рихтера, 1763—1825).

Ленетта — жена Зибенкеза, героиня того же романа Жан-Поля (см. выше), написанного в 1796—1797 гг. Полное его название — «Цветы, плоды и шипы, или Свадьба и брачная жизнь адвоката для бедных Зибенкеза».

С. 61. ...по образцу Диогена в бочке...— Диоген (412—324 гг. до н. э.) — греческий философ школы киников, жил, согласно легенде, подаянием, домом ему служила бочка, а имущество состояло из мешка для хлеба, плаща, палки и ковша, от которого он отказался, увидев однажды мальчика, пьющего воду из ладоней.

Вальтер Ралей (ок. 1552—1618) — английский мореплаватель, в 1584 г. вывез картофель из Северной Америки и положил начало его культивированию в Европе.

С. 62. ...как в том доме в Петербурге.— В 1740 г. на Неве был выстроен «ледяной дом» для забавы умирающей императрицы Анны Иоанновны.

С. 64. *Чосер Джеффри* (1340—1400) — великий английский поэт раннего Возрождения. Оба *кекстоновских* издания (1475 и 1480) — первые издания произведений Чосера — входят в число ценных библиографических редкостей.

С. 70. *Калиф Омар* (ибн-аль Хаттаб) — по преданию, сжег при завоевании Египта знаменитую Александрийскую библиотеку.

С. 72. *Отречься! Лир — от Корделии...* — Лир и Корделия — персонажи трагедии Шекспира «Король Лир».

Калибан, удивляющийся пьяному Стефану... — Калибан и Стефан — персонажи драмы Шекспира «Буря» (II, 2). Тику принадлежит немецкий перевод этой драмы.

С. 73. *...ведь пришел же к Макбету Бирнамский лес...* — Шекспир, «Макбет» (V, 3—5).

С. 76. *Сарданапалов пир.* — Сарданапал — легендарный царь ассирийцев, славившийся своей расточительностью и любовью к наслаждениям.

С. 77. *Миф об Орфее.* — Орфей — в древнегреческой мифологии поэт и певец, искусство которого обладало волшебной силой: ему подчинялись звери, птицы, растения, явления природы.

С. 78. *«Лови мгновенье!»* — Цитата из оды римского поэта Горация (I, II, 8).

С. 81. *Кариатида* — скульптурное изображение женской фигуры, служащее опорой.

С. 87. *«Как может человек сказать: «Я здесь»...* — Гете, «Торкватто Тассо» (I, 3).

С. 91. *Грабштихель* — резец для тонкой гравировальной работы. *«Где нам смеется сад Семирамиды...»* — Цитата из трагедии Фридриха фон Юхтрица (1800—1875) «Александр и Дарий» (1827, III, I).

С. 99. *...как в былое время наш Гёц...* — Гёц фон Берлихинген — исторический персонаж, один из вождей рыцарского восстания во время Великой Крестьянской войны 1525 г., герой драмы Гете «Гёц фон Берлихинген с железной рукой» (1773). *Якстхаузен* — поместье Гёца.

Абеллино — известный разбойник, имя которого в XIX в. было нарицательным.

С. 101. *Сен-Симон* Анри Клод (1760—1825) — выдающийся французский социалист-утопист.

Наш Зикинген в самом деле подоспел! — Зикинген — герой драмы Гете «Гёц фон Берлихинген», исторический персонаж. Друг и соратник Гёца.

С. 102. *Фиваидский пустынный.* — Неподалеку от древнеегипетского города Фивы в пустыне, в III—IV вв. жили христианские отшельники — предшественники монашества.

Симеон Столпник (356—459) — христианский подвижник; согласно легенде, жил на высоком столбе, чтобы быть ближе к небу.

Ахим фон Арним (1781—1831) — идейный вдохновитель гейдельбергского кружка, культивировавшего возврат к народным истокам как альтернативу нарождающейся в Германии буржуазности. Учился естествознанию в Галле, Иене и Гёттингене, в качестве прусского офицера участвовал в освободительной войне против Наполеона, с 1815 г. до конца дней жил почти безвыездно в своем имении, постепенно отвыкая от литературных занятий и находя удовольствие в управлении деревнями и тысячей крепостных.

Заслуга Арнима в истории немецкой культуры — тщательные фольклорные разыскания: изданный им совместно с Клеменсом Брентано сборник народных песен «Волшебный рог мальчика» (1805—1808, в трех томах) сыграл не менее важную роль, чем знаменитые сказки братьев Гримм, и на протяжении более полувека оказывал воздействие на развитие немецкой лирики. В оригинальном творчестве Арним сильнее всего как прозаик, поэзия и драматургия его менее выразительны. Самобытность национальной культуры, за возрождение которой ратовал Арним, он понимал лишь в неразрывной связи с феодальным порядком, с «честностью» и «простотой» патриархальных нравов, с поэзией дворянской усадебной жизни и лицемерной «идиллией» крепостного крестьянского труда. Об упадке всех этих ценностей — два наиболее известных романа Арнима: «Бедность, богатство, преступление и искупление графини Долорес» (1810) и отмеченный влиянием Вальтера Скотта исторический роман из XVI столетия — «Хранители короны» (1817, вторая часть — посмертно — 1854).

С утопизмом ранних романтиков Арним сознательно полемизировал, их исторический оптимизм был ему непонятен, на современность он смотрел неприязненным и скептическим взглядом, почти злорадно подмечая в ней несообразности и уродства, живописаниями которых увлекался. Гармонические идеалы Ренессанса были ему чужды, он чтит барокко с его поэтикой контрастов и принципиальных диспропорций, по-своему тяготел и к бытовому реализму, к точности локального и национального колорита. Лучшее произведение Арнима — повесть «Изабелла Египетская, первая любовь императора Карла V» (1812) — поражает именно сочетанием точных исторических деталей и жутковатой загробной фантастики. Как художнику Арниму вредит внутренний догматизм, нежелание исследовать современную жизнь: он довольствуется констатацией ее несовершенств и мрачным намеком, откуда эти несовершенства пошли, — повесть учит, что все зло в золоте, в продажности, но сама же мрачно указывает на бесполезность поучения. Пессимизм Арнима находит выражение прежде всего в своеобразии его юмора: это «черный юмор» («как будто смерть щечочет нас своей косой», Гейне), черпающий комизм в столкновении мирного быта с неестественными ужасами.

Новелла «Одержимый инвалид в форте Ратоно» (1818) тоже ориентирована на описание странностей, тема исцеления в финале механически, почти насильственно прицеплена к калейдоскопу событий, анекдотических по своей природе, причинно-следственные связи в движении сюжета намеренно ослаблены, повествование распадается на причудливые эпизоды. Как и Клейст, Арним тоже «поэт анекдота», но у него нет клейстовской увлеченности исследователя и моралиста: курьез не становится поводом и средством художественного анализа, оставаясь именно и только курьезом.

С. 106. *Семилетняя война* (1756—1763) — одна из войн между Пруссией Фридриха II и Австрией, союзниками которой выступали Россия, Франция и Швеция.

С. 108. *...нечего было бы бояться второго Росбаха.*— Росбах — местечко неподалеку от Иены, в 1757 г. французская армия потерпела здесь сокрушительное поражение от Пруссии.

Плейсенбург — военный форт в Лейпциге, построен в XVI в., в XVIII в. служил армейской казармой.

С. 112. *Ты пахнешь пожаром Трои...*— Описанная в «Илиаде» Гомера десятилетняя осада Трои греками завершилась взятием города и его сожжением. Троянская война, по преданию, началась из-за похищения прекрасной женщины — Елены, жены спартанского царя Менелая.

С. 114. *Над садиком развевался флаг с лилиями...*— Три лилии — герб Бурбонов — украшали государственный флаг Франции.

С. 117. *Агарь, ты страдала меньше моего...*— По ветхозаветному преданию, Агарь — служанка жены Авраама Сарры, родила Аврааму сына, но была изгнана вместе с ним после того, как родила сама Сарра.

Биография Клеменса Brentано (1778—1842) едва ли не самая грустная в истории немецкого романтизма: уникальное поэтическое дарование растратило и в конце концов погубило себя, реализовав лишь немного из того, что было ему посылно. Brentано рос в богатой купеческой семье и чуть ли не с детства тяготился предстоящим выбором профессии; с шестнадцати лет стремительно менял учебные заведения и университеты Кобленца (родного своего города), Бонна, Галле, Иены, пытаясь освоить поочередно торговое и горное дело, экономику, медицину. В Иене короткое время водил знакомство с братьями Шлегелями, был в курсе дел иенского романтического кружка, возможно, именно тогда решил посвятить себя литературе; с 1801 года обучался философии в Гейдельберге, где подружился с Ахимом фон Арнимом и вместе с ним в 1802—1803 годах совершил путешествие по Рейну, записывая немецкие народные песни для знаменитого впоследствии сборника «Волшебный рог мальчика». В годы наполеоновской оккупации и освободительных войн (1806—1814 гг.) Brentано менее других романтиков второго поколения увлечен патриотическим энтузиазмом; к этому времени он богатый наследник без определенных занятий, охота к перемене мест бросает его в Южную Германию, в Берлин, в Чехию, где он пытается вести оседлую жизнь в приобретенном родителями поместье под Прагой, в Вену, снова в Берлин. В 1818 году эти метания заканчиваются истерическим духовным кризисом: Brentано поселяется под Франкфуртом в католическом монастыре, где проводит оставшиеся ему 25 лет жизни в фанатичном служении церкви и религиозному мистицизму.

Традиционная для романтиков тема несовместимости искусства и действительности нашла в жизни Brentано печальное доказательство. Brentано одним из первых во всей ее полноте пережил трагедию эстетизма: невозможность подчинить свое искусство сколько-нибудь достойной жизненной цели, замкнутость искусства на самом себе. Юношеская переписка Brentано с его сестрой Беттиной, тоже незаурядной писательницей, показывает, что в ранние свои годы Brentано был не чужд «энтузиазма», веры в благотворность грядущих жизненных перемен. Роман «Годви» (1803) обнаруживает болезненную утрату этой веры, на смену которой приходит иронический артистизм, отмеченный внутренней надломленностью. Многочисленные вставные стихи в романе выявили выдающийся талант Brentано-лирика. Хотя при жизни Brentано не издал ни одного поэтического сборника, его стихи, вкрапленные в новеллы, сказки и драмы, выделялись в них как нечто самоценное. Выдержанные в стилистике народной песни, чрезвычайно музыкальные по всей своей внутренней организации, они были явлением новаторским и существенно предопределили сдвиг всей немецкой лирики к эмо-

циональной непосредственности. Как и другие младшие романтики, Brentano пытался противопоставить ценностям буржуазной жизни поэзию народных истоков,— но делал это без настойчивости и убежденности, какие отличали Арнима и особенно братьев Гримм. В трехтомном собрании народных сказок, обработанных Brentano (изданы посмертно в 1846—1847 гг.), фольклорная основа, как правило, почти до неразличимости растворена в безудержной, своевольной и озорной игре поэтической фантазии; жанр «художественной сказки», начало которому положили у романтиков Тик и Новалис, у Brentano находит завершение.

«Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» (1818) — по существу последнее произведение Brentano-художника (две книги, написанные им после ухода в монастырь, к литературе имеют весьма отдаленное отношение). Два безыскусных народных рассказа изыщно объединены между собой; большая часть повествования доверена одной из его героинь, простой деревенской старухе, устами которой глаголет и неутоленная тоска Brentano по нравственному здоровью народной жизни, и возрастающее в его творчестве тяготение к религии. Brentano — прямая противоположность Арниму, который был поэтом некрасивостей и дисгармонии; то, что для Арнима послужило бы поводом для макабрической усмешки, у Brentano становится патетическим гимном красоте на пороге смерти. Алая роза в руках у пепельно-серой старухи, алые розы в белой фате, та же белая фата на копье у всадника, летящего к месту казни с запоздалой вестью о помиловании, шпага, возложенная на гроб, памятник, аллегорически истолковывающий суть рассказа,— все эти эффекты играют в произведении первостепенную роль. Эта болезненная, упоенная умиранием красота, к которой тянулось искусство Brentano,— горькое обвинение пошлостей и уродств современной поэту действительности.

С. 130. *...враг-то не дремлет, ходит да выискивает...*— Перифраза известного евангельского изречения: «Бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (I посл. Петра, 5, 8).

С. 131. *«Когда настанет Страшный суд...»*— Страшный суд — по христианскому вероучению, день конца света, когда Бог будет судить всех людей по их делам.

С. 143. *О христианской могиле для Каспера и пригожей Аннерль...*— По установлениям христианской церкви, самоубийц и казненных не разрешали хоронить на освященной церковью территории кладбища.

Прусский барон, выходец из семьи французских эмигрантов, Фридрих де ла Мотт Фуке (1777—1843) пришел к писательству не сразу. По внешним обстоятельствам молодость его напоминает молодость Клейста: такая же офицерская карьера, затем добровольная отставка и первые шаги на литературном поприще под опекой А.-В. Шлегеля. В отличие от Клейста, Фуке довелось узнать и шумную прижизненную славу, впрочем, недолгую. К 1813 году, когда он идет в ополчение и участвует в победоносных сражениях с Наполеоном, все лучшие произведения Фуке уже написаны, и ему остается еще три десятилетия интенсивного, но бесплодного сочинительства, которое сделает его одним из первых представителей «массовой литературы», предшественником Карла Мая. Романы (более двадцати), драмы (примерно в том же количестве), стихи (уже к 1827 г. пять томов) Фуке читали все — «от герцогини до прачки» (Гейне), но уже к концу жизни он был основательно забыт, почти разорен и существовал на императорское жалованье за руководство претенциозной и пустой «Газетой немецкого дворянства».

Среди произведений Фуке в историю литературы вошли: драма «Герой севера» (1810) на сюжет древнегерманского эпоса о Нибелунгах (пробудившая интерес к «Песни о Нибелунгах» у Рихарда Вагнера); роман «Волшебное кольцо» (1813) — полуфантастическое повествование о доблестях немецкого средневекового рыцарства. Успех «рыцарских» романов Фуке в значительной мере объяснялся не художественной реставрацией средневековья, а мерцавшим сквозь древности вполне современным военно-патриотическим контекстом.

Но высшие художественные достижения Фуке — это выдержанная в духе народных легенд поэтическая сказка «Ундина» (1811), отмеченная одобрением самого Гете, и маленькая повесть «Адский житель» (1810), высоко оцененная Э. Т. А. Гофманом. Образ Galgenmännlein (букв. — «человек из-под виселицы», гнусное существо, рождаемое в земле из семени повешенного и дарующее своему хозяину возмозание безграничного обогащения) встречается уже у Гриммельсгаузена (1621—1676), а в литературе позднего романтизма становится благодаря Фуке весьма популярным (поэма Аннеты Дросте-Гюльсгоф, «Изабелла Египетская» Арнима, «Крошка Цахес» Гофмана). Сознательная перекличка с мотивами «Адского жителя» ведется в повести Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля».

С. 158. ...шла Тридцатилетняя война...— Тридцатилетняя война (1618—1648), шедшая на территории Германии, сопровождалась мародерством, эпидемиями, голодом и уничтожила три четверти тогдашнего немецкого населения.

С. 162. ...Лукреция — этим именем, словно в насмешку, звали обольстительную куртизанку...— В римской мифологии Лукреция — домашняя богиня благонравия, хранительница покоя и порядка.

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО

Адельберт фон Шамиссо (1781—1838), французский дворянин, еще мальчиком расстался с родиной: спасаясь от революции, родители эмигрируют в Германию. В юности Шамиссо, отказавшись последовать за родителями во Францию, начал офицерскую карьеру в прусской армии. Недоброжелательство прусского офицерства и сомнительная перспектива воевать против бывших соотечественников вынуждают его в 1807 году выйти в отставку: он едет во Францию, заводит там знакомство с некоторыми видными немецкими литераторами, примыкает к близкому окружению французской писательницы г-жи де Сталь (1766—1817). В 1812 году возвращается в Берлин, где поступает в университет и изучает ботанику, в которой делает стремительные успехи. В 1815 году принимает участие в трехлетней кругосветной научной экспедиции на русском корабле «Рюрик», пишет об этом путешествии увлекательную и серьезную книгу (1821), одну из лучших в этом жанре. В 20-е и 30-е годы успешно сочетает деятельность ученого с литературной работой, в частности, с 1832 года руководит журналом «Немецкий альманах муз», публикуя произведения наиболее значительных писателей той поры: Гете, Уланда, Эйхендорфа, Иммермана, Гейне и Фрейлиграта.

Первые литературные опыты Шамиссо относятся к 1804—1807 годам, когда он вместе с группой друзей (среди них — известный в будущем филолог Варнгаген фон Энзе и молодой Фуке) выпускает «Альманах муз», замеченный еще Фихте. Писательская слава пришла к Шамиссо внезапно: написанная осенью 1813 года «Удивительная история Петера Шлемиля» была издана хлопотами Фуке без ведома автора и имела успех. В 20-е годы становится известной и лирика Шамиссо, где уже намечается переход немецкой поэзии к политической злободневности и публицистичности, энергично осуществлявшийся на рубеже 30-х и 40-х годов. Пафос активного социального сострадания, острое ощущение общественного неравенства сочетаются в поэзии Шамиссо с глубокой народностью и страстным художественным воплощением героики освободительной борьбы: многие его стихи посвящены, например, событиям войны Греции против турецкого ига.

Безусловно, лучшее произведение Шамиссо — его повесть о Петере Шлемиле, уже при жизни автора четырежды переизданная и переведенная на многие европейские языки. Свообразие произведения — в тонком сочетании сказочных и реалистических элементов. Как и у Гофмана, достоверность описания вступает здесь в кричащее противоречие с заведомой невероятностью описываемого; характернейшие черты и черточки немецкой действительности начала XIX века «отстранены» наивным взглядом простоватого героя, почти персонажа народной сказки, и чрезвычайностью злоключений, с ним происходящих. История утраты тени — абсолютной ненужности —

с наивной наглядностью мифа напоминает читателю, что при разумных обстоятельствах нет нужды в очень многих вещах: в деньгах, в титулах, в сословном и имущественном неравенстве, в бюрократической власти. Современная Шамиссо общественная жизнь при таком на нее взгляде оказывается сплошным неразумием, где подлинные ценности забыты и только мнимые существенны: отсутствие тени ужасает всех, торговля невестой не смущает никого. Народность повести — прежде всего в мастерском использовании фольклорного наследия; Шамиссо как бы синтезирует мотивы многочисленных сказок, легенд и народных книг (не в последнюю очередь — о докторе Фаустусе) о безнравственности и пагубных последствиях обогащения нечестным путем: продажа души нечистой силе — по сути своей миф о буржуазном «первоначальном накоплении». «Я просто богатый и бесконечно несчастный человек», — это ключевая мысль повести, герой которой обретает самого себя лишь ценой отказа от злополучного богатства.

С. 186. *Удивительная история Петра Шлемия.* — Имя «Шлемия» происходит от Schelumiel (еврейск.) — «любящий бога». В жаргоне начала XIX в. означало примерно: растяпа, бедолага и т. д.

Гитциг Юлнус Эдуард (1780—1849) — близкий друг Шамиссо, издатель.

...в наш «зеленый период»... — Издававшийся Шамиссо «Альманах муз» выходил в зеленой обложке.

Что бы сделал из нее Жан-Поль! — Жан-Поль — псевдоним известного немецкого писателя Иоганна Пауля Рихтера (1763—1825).

С. 187. *Леопольд Франц* — литограф и гравер, современник Шамиссо.

С. 190. *Доллонд* — подозрительная труба, названная в честь ее изобретателя, английского оптика XVIII в. Джона Доллонда.

С. 193. *Фортунат* — герой одноименной немецкой народной книги XVI в.

С. 195. *Галлер Альбрехт* (1708—1777) — швейцарский ученый-естествоиспытатель; *Гумбольдт Александр* (1769—1859) — немецкий путешественник и естествоиспытатель; *Линней Карл* (1707—1778) — шведский ботаник и зоолог.

«Волшебное кольцо» — роман Фуке.

С. 198. *Подобно Фафнеру, стерегущему клад...* — В древнегерманской мифологии Фафнер — великан в обличье дракона, стерегущий клад Нибелунгов.

С. 202. *...продувного малого по имени Раскал...* — (англ.) — мошенник.

С. 206. *Мир никогда не имел оснований жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни особенно...* — Намек на ситуацию 1813—1814 гг., вызванную политикой Наполеона, который намерен-

но дробил европейские государства, в особенности Германию, на мелкие монархии, чтобы ослабить своих противников.

С. 212. *Артеуза* — в греческой мифологии нимфа, была спасена от преследований речного бога Алфея богиней охоты Артемидой, которая превратила Артеузу в ручей.

С. 233. *Стовратные Фивы*.— Древний египетский город Фивы «стовратными» называл Гомер («Илиада»). В первые века нашей эры в окрестностях Фив, так называемой Фиванде, жили многочисленные христианские отшельники.

Геркулесовы столпы.— Так называются две скалы по берегам Гибралтарского пролива, по преданию, воздвигнутые Гераклом.

Гора Св. Ильи — одна из самых высоких гор Аляски. *Бали, Ломбок* — острова Малого Зондского архипелага. *Новая Голландия* — в прошлом название Австралии.

С. 234. *Никотиана* — табак.

С. 237. *...труд знаменитого Тикиуса...*— Имеется в виду повесть Тика «Жизнь и деяния маленького Томаса, по прозвищу Мальчик с пальчик» (1811). Герой повести тоже носит семимильные сапоги, но с каждой починкой они теряют быстроту хода.

С. 238. «*Systema naturae*» — название знаменитого труда К. Линнея (см. прим. к с. 195).

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

Отпрыск старинного прусского дворянского рода Генрих фон Клейст (1777—1811) прожил недолгую и мучительную жизнь. Традиции семьи жестко предписывали ему офицерскую карьеру, с мальчишества его приучали к солдатчине, шестнадцати лет, в чине ефрейтора, он уже воевал, участвуя в осаде революционного Майнца, и только в 1799 году с величайшим трудом вышел в отставку, ибо видел свое призвание сперва в занятиях науками, потом — в писательстве. Судьба Клейста отмечена фатальной неудачливостью. Прусская фамильная гордыня снесла его, требуя непременно безоговорочных успехов и всемирной славы, жизнь ушла на тщетные попытки доказать себе и клану чванливых родственников правоту в отступлении от семейных традиций. Занятия физикой, математикой и философией в университете Клейст прервал, едва начав их; совершил в 1801—1802 годах бесцельную поездку в Париж, а потом в Швейцарию, где он намеревался жить наедине с природой в духе Руссо. Он пробовал служить, но безуспешно, в прусских канцеляриях Берлина и Кенигсберга, горько страдал от бедности и стыдился ее. В годы наполеоновского нашествия мечтал стать духовным вождем нации, основывал газеты и журналы (недолго просуществовавшие), патриотизм его принимал подчас формы экзальтированные и уродливо националистические (особенно в трагедии «Битва Арминия», 1808), но его выступления почти не были замечены. Острее всего, однако, переживал Клейст непризнание его как писателя: из современников только молодой Гофман ценил его по достоинству, Тик, Арним и Брентано откосились к нему снисходительно, Гете, читавший многие его вещи, — почти с брезгливостью. Правда, именно Гете санкционировал одну из трех прижизненных постановок драм Клейста на сцене (комедия «Разбитый кувшин», сыгранная в Веймаре в 1808 г.), но сам же провалил ее режиссурой, чуждой характеру драматургии Клейста. Никем не понятый, удрученный личными невзгодами и безнадежными, как ему казалось, поражениями Германии от Наполеона, Клейст несколько раз перенес тяжелейшие душевные потрясения на грани психического заболевания; в 1811 году он застрелился.

Клейст прежде всего величайший мастер немецкой драмы. Уже первые его произведения опрокидывают каноны просветительской (прежде всего шиллеровской) драмы с ее уверенностью в непогрешимости и неизбежном торжестве разума. У Клейста почти аскетическая, классически ясная, «разумная» форма противопоставлена «неразумному», полному трагических нелепостей и ошибок содержанию: в мире его драм действительны не одни только убеждения и идеи, в нем властвуют и страсти, и инстинкты, закономерное соседствует со случайным, упорядоченное — с хаотическим. Известные сюжеты («Семейство Шроффенштейн» повторяет сюжетную

схему «Ромео и Джульетты», «Амфитрион» — античное сказание, комедии Плавта и Мольера) не только перенесены на немецкую почву, но и переосмыслены с характерными романтическими коррективами: в «Семействе...» чрезвычайно важен мотив ослепления человека имущественными интересами, инстинктами собственничества, в «Амфитрионе» — тема двойничества.

Клейст дал как худшие, так и лучшие образцы понимания романтиками народности. В трагедии «Битва Арминия» он пытается подкрепить идею национальной исключительности апелляцией к первобытному укладу и мифологии древних германцев, вызывая к иррациональному. Образцы подлинной народности — в комедии Клейста «Разбитый кувшин» (1806—1808) и повести «Михаэль Кольхаас» (1808); в этих произведениях Клейст обнаруживает редкостное знание народного быта, точность языковых характеристик и социального типажа, резкое неприятие общественных отношений, основных на лжи и угнетении. В своих произведениях Клейст отчетливее других романтиков приближается к реалистической манере письма.

К новеллистике Клейст обратился в последние годы жизни, но и в этом, второстепенном для самого писателя жанре опыт его замечателен. В основе новелл Клейста — прием анекдота, допущения в реальную жизнь чрезвычайного события или обстоятельства: так построены, по сути, все известные его новеллы: «Землетрясение в Чили» (1807), «Маркиза д'О.» (1808), «Локарнская нищенка» (1810), «Найденыш» (1811), «Поединок» (1811), «Обручение на Сан-Доминго» (1811). Невероятный факт высвечивает своей невероятностью нормальную жизнь, описанную у Клейста всегда с максимальной достоверностью, с отсылкой к историческим реалиям и точно отобранным бытовым деталям, и позволяет увидеть эту жизнь как бы с изнанки, заглянуть в бездны, сокрытые за ее благополучной поверхностью. Противоречия между необычностью описываемого и достоверностью описания — движущая пружина всех новелл писателя, для которых характерны удивительная целеустремленность развития фабулы, прозрачная ясность и лаконизм слога, тонкий психологизм. Как и в драмах Клейста, где классическая строгость ямба вступала в конфликт с необузданностью изображаемых событий, в его новеллистике аскетизм формы оттеняет глубину и концентрированность содержания.

Издавая свои новеллы, Клейст намеревался назвать их «моральными историями», что не случайно: все они так или иначе посвящены проблемам складывающейся буржуазной морали и ее критике. В «Маркизе д'О.» Клейст показывает вопиющую беззащитность добродетели перед обществeнным мнением, если добродетель не располагает неопровержимыми доказательствами своей безупречности. Ренессансный сюжет, в основе своей скорее комический, Клейст освобождает от малейшего налета комизма, сообщая ему накал высокой патетики. Чрезвычайно характерно для Клейста

в этой новелле тщательное исследование психологических метаморфоз, происходящих с персонажами. В новелле «Найденыш» необычайное обстоятельство (разительное сходство двух людей) тоже играет важную роль, позволяя Клейсту вплотную подойти к теме губительной одержимости человека порочными страстями. Существенна и проявляющаяся в финале новеллы полемика Клейста с моральными догматами католицизма.

Сюжет новеллы «Михаэль Кольхаас» взят из «старой хроники», из рассказа школьного учителя второй половины XVI века Петера Гафтица, об исторически реальной личности, Гансе Кольхазе (Hans Kollhase). Это был зажиточный купец из Бранденбурга, у которого по приказу саксонского юнкера Гюнтера фон Цашвица увели двух лошадей. Ганс Кольхазе пытался возместить убыток через суд, но потерпел неудачу. Тогда, собрав вокруг себя других недовольных, он объявил войну своему притеснителю, а заодно и всей Саксонии с ее несправедливой юстицией. Ему удалось поджечь город Виттенберг и причинить немалое беспокойство саксонскому курфюрсту, но в конечном итоге курфюрст Бранденбургский заманил его в Берлин, предал суду и казнил.

М. Рудницкий

С. 240. ...в середине шестнадцатого столетия...— Исторические события, легшие в основу новеллы, происходили в период с 1 октября 1532 г. (увод коней) до 22 марта 1540 г., когда казнили Ганса Кольхазе.

Близ деревни, и поныне носящей его имя...— Такой деревни не существует. Название «Кольхаасенбрюкке» взято Клейстом по имени моста близ Потсдама («Кольхазенбрюкке»), где, согласно народной легенде, Ганс Кольхазе затопил ценный клад.

Саксонское курфюршество — в период, о котором повествует Клейст, одно из богатейших и могущественнейших княжеств империи. Во главе его тогда стоял курфюрст Иоганн Фридрих I (1503—1554).

Юнкер — здесь: владелец крупного феодального поместья, осуществлявший в его пределах и административную власть.

С. 241. Кастелян — смотритель замка, наблюдавший за хозяйством.

С. 242. Король Артур — легендарный правитель древних бриттов, герой средневековых кельтских народных сказаний, а также рыцарских романов «Круглого стола».

С. 243. Дрезден — в то время резиденция одного из правителей Саксонии.

С. 252. Кравчий, камергер — высшие придворные должности. Бранденбург — здесь: город на реке Хафель близ Потсдама, входивший в состав Бранденбургского курфюршества.

Курфюрст Бранденбургский.— Действие новеллы начинается при курфюрсте Иоахиме I, который поддерживал справедливые претензии Ганса Кольхаза. С 1535 г., после его смерти, новый курфюрст, Иоахим II, уступил настояниям Саксонии и жестоко расправился с мятежным барышником.

С. 254. *Амтман* — местный чиновник.

С. 257. *Шверин* — город на севере, в герцогстве Мекленбургском. Кольхаас хочет отправить жену за границу, чтобы ее не могли преследовать ни саксонские, ни бранденбургские власти.

С. 259. *...к этой только что возникшей религии...*— Лютеранство возникло в 1517 г. В Саксонии оно было введено с 1525 г., а в Бранденбурге лишь при Иоахиме II. Следовательно, Кольхаас и его жена стали лютеранами даже раньше, чем эта религия распространилась в их княжестве. Отсюда и преклонение новообращенного Кольхааса перед Мартином Лютером.

С. 262. *«Кольхаасов мандат».*— Такой мандат действительно был издан Гансом Кольхаза в феврале 1534 г.

С. 264. *...поджег Виттенберг одновременно с разных сторон.*— Виттенберг был подожжен Гансом Кольхаза 9 и 10 апреля 1534 г.

С. 264—265. *Ландфогт* — градоправитель и главный судья.

С. 265. *День святого Гервасия* — 19 июня.

С. 267. *Рейтары* — регулярная тяжелая кавалерия.

С. 268. *...именовал себя наместником архангела Михаила...*— Стиль воззваний Кольхааса выдержан в духе сектантских манифестов лишь недавно закончившейся Крестьянской войны (1525 г.).

С. 269. *Ввиду всех этих обстоятельств доктор Мартин Лютер...*— Подлинный Ганс Кольхаза также находился в переписке с Лютером, и последний даже ходатайствовал в его защиту перед курфюрстом Саксонии, но это ходатайство не увенчалось успехом.

С. 275. *Фамулус* — помощник, ассистент.

С. 276. *Гроссканцлер трибунала* — высшая судебная должность.

С. 297. *Левант* — страны Ближнего Востока (главным образом Сирия и Ливан).

С. 300. *Ландрат* — лицо, осуществляющее высшую власть в округе.

С. 307. *...написал письмо императору...*— С императором Карлом V у Саксонского курфюрста были весьма плохие отношения, ибо Саксония возглавляла Шмалькальденский союз протестантских князей, а Карл V мечтал реставрировать в Германии католическую религию.

С. 309. *Сивилла* — прорицательница у древних римлян. Сборник пророчеств «Сивиллины книги», приписываемый Сивилле Кумской, использовался в Риме для официальных гаданий.

Твоя милость долго будет править, и долго будет властвовать дом, из коего ты приходишь, и потомки твои будут жить во славе и великолешии и станут могущественнее всех царей земных! —

Это пророчество относится к дому Гогенцоллернов, из которого происходил курфюрст Бранденбургский. Впоследствии Гогенцоллерны стали прусскими королями, а затем (правда, уже спустя много лет после смерти Клейста, в 1871 г.) и императорами Германии.

С. 310. *...три тайны я открою тебе: имя последнего правителя из твоего дома, год, когда он лишится престола, и имя того, кто с оружием в руках твоим царством завладеет.*— Курфюрст Саксонский Иоганн Фридрих I в 1547 г. потерпел поражение при Мюльберге и был взят в плен. Император отнял у него владения; курфюршеское право было передано Морицу Саксонскому, а пленный курфюрст был брошен в тюрьму, где ему был вынесен смертный приговор, хотя и не приведенный в исполнение. Он был освобожден лишь в 1552 г., за два года до смерти (1554 г.).

С. 312. *Кольхаасу был вынесен приговор — смерть через обезглавливание мечом... несмотря на его мягкость...*— Этот приговор считался мягким по сравнению с колесованием или виселицей.

С. 319. *Локарно* — город на юге Швейцарии.

А. Левинтон

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕИ ГОФМАН

Великий немецкий сатирик, один из непримиримых и зорких критиков немецкой действительности, Гофман (1776—1822) в своем творчестве наиболее полно выразил идейную проблематику позднего романтизма. Сын кенигсбергского адвоката, Гофман воспитанием и образованием был подготовлен к карьере прусского чиновника, служил по судейской части с 1796 по 1807 г. в Глогау, Берлине, Позене, Плоцке и, наконец, в Варшаве. Оккупация Варшавы войсками Наполеона вынудила его оставить государственную службу, что он сделал без сожаления, ибо с юных лет мечтал посвятить себя искусствам, прежде всего музыке и живописи (Гофман был отличным музыкантом, рисовальщиком и очень метким карикатуристом). О писательстве он тогда еще не помышлял. В годы войны с Наполеоном Гофман ведет трудную жизнь свободного художника, особенно плодотворную в Бамберге (1808—1813 гг.), где он одно время руководит местным театром, затем занят в нем же в качестве дирижера и театрального художника. Зарабатывает и уроками музыки. Здесь же начинается его литературная деятельность в качестве музыкального критика, вскоре переходящая в самостоятельное творчество. После непродолжительного пребывания в Лейпциге и Дрездене, где он дирижировал театральными оркестрами, Гофман по окончании войны снова поступает на государственную службу (советник суда), которую исполняет с брезгливой безупречностью, а свободное время целиком отдает писательству. Его музыкальную деятельность после успешной берлинской премьеры его оперы «Ундина» (1816, по роману Фуке) можно считать завершенной. Все зрелые произведения Гофмана написаны в последнее десятилетие его жизни и пользовались огромной читательской популярностью, которую иные видные современники (Гете, Гегель, Вальтер Скотт) бесосновательно считали незаслуженной и «дешевой», упрекая писателя в «опасной болезненности» его фантазии. Подлинное значение творчества Гофмана осознавалось в Германии лишь постепенно и медленнее, чем за ее пределами — во Франции и особенно в России, где Гофман очень скоро нашел авторитетных и вдумчивых ценителей (Белинский, Герцен, Гоголь, позже — Достоевский). Последние годы жизни писателя были отягощены болезнью и полицейскими гонениями: Гофман вышел из состава судебной комиссии по расследованию студенческих волнений, возмущенный творимым на его глазах судейским произволом, и написал злую сатирическую повесть «Повелитель блох» (1822), в которой весьма прозрачно вывел директора прусской полиции. Повесть была изуродована цензурой, автора ждали неизбежные репрессии, осуществлению которых помешала смерть его от паралича.

В искусстве Гофмана сохранены многие идеалы раннего романтизма, прежде всего эстетические: он так же высоко чтит Шекспи-

ра, Сервантеса, Гоцци, так же стремился синтезировать в словесном искусстве лирическое и эпическое, музыкальное и живописное, так же боготворил саму идею творчества, — однако идеалы эти у Гофмана осмыслены и соотнесены с жизнью без каких-либо утопических иллюзий. Как художник и мыслитель он умел чувствовать и с горькой иронией показывать всю уязвимость идеальных устремлений, ищущих опоры в прогнивших немецких жизненных устоях. Несовместимость идеала и действительности, искусства и филистерской повседневности — основная тема гофмановского творчества, однако решается она принципиально по-новому: действительность беспощадно проверяется идеалом, жизнь держит ответ перед искусством, становясь объектом тщательного критического исследования.

Новелла и повесть — излюбленный жанр Гофмана. Уже в первом сборнике «Фантазии в манере Калло» (1814—1815), прежде всего в новелле «Золотой горшок» (1814) с отчетливостью выражены особенности гофмановского письма: повествовательное напряжение держится на гротескном сопоставлении обыденного и сказочного, заурядного и фантастического, механизированные, упорядоченные филистерский быт и филистерское мышление сотрясаются внезапными вторжениями сверхъестественных сил и волшебных превращений. Характеристики большинства персонажей с намеренной наивностью обеднены, сведены к марионеточным театральным маскам, в поступках и рассуждениях героев преобладает социальный и умственный автоматизм, приучающий видеть в человеке не индивидуальность, но отчужденную функцию — сословную принадлежность, профессиональную уместность и т. п. Гофманом глубоко прочувствованы обесценивание личности в буржуазном обществе, возможность ее «подмены» с точки зрения своекорыстных социальных и производственных потребностей. В этом смысле характерно его обращение к теме двойника, с особой выразительностью развиваемой им в традиции «романа ужасов» («Эликсиры дьявола», 1815—1816) и так называемой «ночной повести» («Ночные рассказы», 1817) и значительная часть собрания новелл «Серрапионовы братья» (1819—1821). Фетишизирование социальных связей — предмет и знаменитой новеллы «Крошка Цахес» (1819). Если у Клейста гротеск строится на ощущении полного правдоподобия невероятного, то у Гофмана, напротив, фантастика служит изобличению мертвенности и безнадежной убогости окружающей его действительности. Мир сказочного и чудесного обладает в противовес миру реальному куда большим правом на существование, нравственным здоровьем и внутренней логикой. В некоторых поздних новеллах Гофмана заметно стремление к большей пластической насыщенности письма, не подрывающее, однако, основ гротескной повествовательной манеры.

Две ранние новеллы Гофмана, «Кавалер Глюк» (1809) и «Дон Жуан» (1813), открывают важнейшую в его творчестве тему искус-

ства и бедственного положения художника в обществе. Писателя оскорбляло буржуазное, потребительское отношение к искусству, зачастую требующему от художника всей его жизни: так, в новелле «Дон Жуан» актриса, вживаясь в роль, умирает взаправду. Сокровеннейшие мысли Гофмана об искусстве и самые гневные инвективы против его бездуховных потребителей передоверены в его творчестве Иоганнесу Крейслеру, главному герою нескольких произведений писателя. Важнейшее из них — неоконченный роман «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822). В романе удивительны виртуозные описания музыкальных произведений, дающие представления о мастерстве Гофмана-музыковеда, по достоинству оцененного самим Бетховеном. Новелла «Кавалер Глюк» (1809) предваряет эту линию в творчестве Гофмана, находясь где-то на границе между музыкальной критикой и новеллой.

С. 325. *Альраун* — корень растения мандрагоры, своей причудливой формой напоминающий человеческую фигуру. С представлением об альрауне связано много легенд и поверий.

С. 332. *Государь, введите просвещение!* — иронический намек на слова героя драмы Шиллера «Дон Карлос» маркиза Позы, обращенные к королю Филиппу: «Введите, государь, свободу мысли!» (III, 10).

С. 337. ...*сопричисление к народу, который... был побит ослиной челюстью.* — В немецком языке слово «филистер» (Philister), означающее обывателя, мешанина, значит в то же время и «филистимлянин». По библейскому преданию, Самсон побил филистимлян ослиной челюстью (Библия, Книга судей израилевых, гл. 15, ст. 15—16).

С. 339. *Компендиум* — сокращенное изложение основных положений какой-либо науки.

С. 340. ...*пытался исцелить достойного принца Гамлета...* — Имеется в виду разговор Гамлета с Гильденстерном (Шекспир, «Гамлет», III, 2).

С. 351. *Пумперникель* — медовый пряник.

Кранах Лукас (1472—1553) — немецкий живописец и гравер.

С. 359. *Виотти* Джованни Батиста (1753—1824) — итальянский скрипач и композитор.

С. 364. *Стеклянная гармоника* — музыкальный инструмент XVIII в.

С. 386. *Зороастр* (Заратустра) — мифический основатель древней религии ряда восточных народов (зороастризма), положения которой изложены в собрании священных книг — «Авеста».

С. 388. *Пол-оксгофта.* — Оксгофт — старинная мера жидкостей, примерно 200—235 литров.

С. 417. *Монгольфьер* — название первого воздушного шара, запущенного в 1783 г. французами, братьями Монгольфье.

С. 418. *Мадлен де Скюдери* (1607—1701) — французская писательница, автор модных в то время галантно-героических романов; самым популярным из них был десяти томный роман «Клелия», законченный в 1660 г.

Ментенон Франсуаза д'Обинье маркиза де (1635—1719) — жена писателя Скаррона (1610—1660), затем любовница Людовика XIV, а с 1684 г. его супруга.

С. 441. *Лашапель* Жан де (1655—1723) — французский драматург, последователь Расина.

Перро Клод (1613—1688) — врач и архитектор. Вместе со своим братом Шарлем Перро выступал против Буало в споре о древних и новых авторах, доказывая, что новое искусство не уступает античному и примером тому может служить хотя бы созданная им Луврская колоннада.

С. 474. *Лува* Франсуа Мишель, маркиз де (1641—1691) — военный министр Людовика XIV.

С. 475. *Ла-Вальер* Луиза (1644—1710) — одна из первых любовниц Людовика XIV; в 1675 г. удалилась в монастырь.

М. Рудницкий и И. Миримский

ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ

Иозеф фон Эйхендорф (1788—1857) родился и вырос в постепенно бедневшей дворянской семье в Силезии. Учился в Галле и Гейдельберге, был знаком с Арнимом, Brentано и особенно близко с Гёрресом (1776—1848), философом и историком, воплощавшим наиболее отсталые политические идеи романтиков. Материальное положение семьи заставило его искать государственную службу. Сначала он живет в Вене; во время войны с Наполеоном участвует в прусском дворянском ополчении, с которым в 1815 году входит в Париж. С 1816 года Эйхендорф исправно служит в прусском министерстве по делам религии, сначала в Берлине, потом в Данциге и Кёнигсберге, снова в Берлине. В 1844 году, будучи уже известным писателем, выходит в отставку, литературную работу не оставляет до последних дней жизни. Публицистические выступления Эйхендорфа свидетельствуют о его верноподданнических взглядах и о растущей склонности к политической и религиозной ортодоксальности: отсюда его неприязнь к демократической поэзии 30—40-х годов, к европейской революции 1848 года. Однако внутренняя биография Эйхендорфа-художника значительно сложнее.

Творческий путь Эйхендорфа продолжался почти столетия: в молодости он знаком был с Фридрихом Шлегелем и Шлейермахером — вдохновителями романтизма в Германии, в старости читал Фрейлиграта, Гейне и Веерта, умерших раньше него. Наследие Эйхендорфа обширно: помимо романов, новелл, драм и стихов, в нем еще и публицистические статьи, и книга воспоминаний («Пережитое», 1857), и историко-литературные работы (среди них интересна полемически направленная против «Романтической школы» Гейне «История поэтической литературы Германии», 1857), и выступления в качестве критика и рецензента, и двухтомник переводов Кальдерона. Характерная закономерность: среди произведений Эйхендорфа ушли в забвение те, в которых больше злости дня, сильнее выражены его ретроградные идейные убеждения. Однако параллельно с этими, сегодня справедливо забытыми произведениями создается любовная и ландшафтная лирика, которой суждена долгая жизнь. Новаторские завоевания Brentано находят в лирике Эйхендорфа дальнейшее развитие: музыкальность, народная напевность подкрепляются органичным и многокрасочным ощущением природы, расширением поэтического словаря, обогащением стиха реалиями народного быта. Свойственная его лирике романтическая идея полноты жизни оказывалась достаточно действенной, чтобы преодолеть консервативные убеждения художника.

Самое знаменитое произведение Эйхендорфа в прозе, повесть «Из жизни одного бездельника» (1823—1824), — наглядный пример

внутренней противоречивости его творчества. Фабула повести вроде бы учит охранительности и социальной лояльности: не надо простолюдину посягать на устои и ломать сословные перегородки, мечтая о любви графини, когда рядом хорошенькая служанка. Однако всем художественным строем, интонациями, музыкой фразы повесть смеется над убожеством этой «морали» и утверждает другое: мир огромен, в нем бескрайние возможности, сословные ограничения — нелепость, и служанка может оказаться прекрасней графини, а подмастерье счастливей дворянина. Мотив народной сказки сплетается у Эйхендорфа с типично романтической темой бескорыстной преданности искусству и красоте, которые предпочитают всем благам практичной филистерской жизни.

По внутренней художественной организации повесть Эйхендорфа, как это часто бывает с «прозой поэта», подчиняется скорее законам лирики, нежели эпоса: щедрость образных уподоблений, их избыточная необязательность и ассоциативность, неравномерное движение сюжета, управляемое не логикой повествования, а прихотью фантазии, стремительность сменяющих друг друга картин. Отсюда та естественная непринужденность, с которой прозаическая речь переходит у Эйхендорфа в стихи. Те же художественные особенности, но в меньшей концентрации, присущи и другим повестям и новеллам Эйхендорфа: «Мраморная статуя» (1819), «Замок Дюран» (1837), «Рыцарь счастья» (1841).

С. 486. ...а всякие сборники народных песен — лишь гербарии.— В оригинале еще более явственный намек на сборник «Волшебный рог мальчика» Арнима и Brentано.

С. 488. В доме нашел я немало всякой утвари...— Далее приводится перечень предметов, считавшийся у романтиков, начиная с сатирического рассказа Brentано «Филистер до, после и в гуще истории» (1811), реквизитом филистерства.

С. 489. Повесть о прекрасной Магелоне.— Может иметься в виду как немецкая народная книга XVI в., так и переложение ее Л. Тиком (1796).

С. 497. В Италию, где растут померанцы.— Озорное пародирование начальной строки песни Миньоны об Италии из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» — «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету...» (Перевод Б. Пастернака).

С. 524. «Ах, быть бы птичкой мне...» — Вариация известной народной песни из «Волшебного рога мальчика».

С. 526. Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянский художник и ученый эпохи Возрождения; Гвидо Рени — см. прим. к стр. 39.

С. 529. *...картину, которую покойный Гофман описал...*— В «Женском альманахе на 1816 год» действительно был опубликован рассказ Гофмана «Фермата», который начинался описанием картины немецкого художника И.-Е. Гуммеля; Эйхендорф почти дословно повторяет это описание.

С. 538. *«Ненавижу невежественную чернь и сторонюсь ее».*— Цитата из оды римского поэта Горация (III, 1).

С. 547. *«Мы свадебный венок несем...»* — Вольная цитата из оперы К.-М. Вебера (1786—1826) на либретто Ф. Кинда (1768—1843) «Вольный стрелок» (1812).

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

Вильгельм Гауф (1802—1827) вырос в культурной семье довольно видного штутгартского чиновника. Обучался теологии в Тюбингенском университете, однако церковной карьере предпочел писательское призвание, довольствуясь поначалу скромным жалованьем домашнего учителя. Он вскоре приобрел широкую литературную известность, хотя не всегда шел к ней вполне прямыми путями. Нашумевший его роман «Человек с Луны» был опубликован под именем Г. Клаурена — псевдоним низкопробного, но преуспевающего сочинителя пошлых романов К. Хойна — и представлял собой злую пародию; разгорелся скандальный судебный процесс, в результате которого пострадал первый издатель Гауфа. В 1826 году Гауф совершил поездку в Париж, затем путешествовал по Северной Германии. Вернувшись из странствий, принял предложение известного издателя Котта и стал редактором литературного отдела популярной газеты «Утренний листок для образованных сословий». Жизнь Гауфа оборвалась внезапно: осенью 1827 года он умер от воспаления мозга.

По складу таланта Гауф был предрасположен к сатире. Уже первое, изданное анонимно произведение — «Выдержки из мемуаров Сатаны» (первый том — 1826, второй — 1827) — привлекало юмором, озорными и находчивыми сатирическими выпадами: это была серия очерков, направленных против филистерства, разоблачавших безнадежную провинциальность немецкой общественной жизни во всех ее проявлениях. Не в последнюю очередь критикуется и суэта литературной жизни, нелепый и чванливый культ Гете, низкопробное чтение, наводняющее книжный рынок, нелестно упоминается даже Гофман, у которого Гауф, несомненно, многому сознательно учился. В то же время этой сатире не хватает зоркости, она ограничивается констатацией зла, не затрагивая его причин, не умея проникнуть за поверхность очевидностей. Сатирические элементы более органичны в сказках Гауфа, выходявших тремя собраниями в 1826—1828 годах, — тут, в атмосфере намеренной художественной наивности, критика общеизвестных социальных изъянов оказалась вполне уместной. Сказки Гауфа — лучшее из всего им созданного, и не случайно многие из них пользуются и поныне всемирной популярностью.

М. Рудницкий

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Раггауз. Художественное наследие романтической прозы . . . 5

ЖИЗНЬ ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Сказки и истории немецких романтиков

Вильгельм Генрих Вакенродер

Достопримечательная музыкальная жизнь композитора
Иозефа Берглингера. *Перевод А. Алявиной* 24

Людвиг Тик

Белокурый Экберт. *Перевод А. Шишкова* 42
Жизнь льется через край. *Перевод Н. Славягинского . . .* 57

Ахим фон Арним

Одержимый инвалид в форте Ратоно. *Перевод И. Та-
тариновой* 106

Клеменс Brentано

Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль. *Пере-
вод И. Татариновой* 128

Фридрих де ла Мотт Фуке

Адский житель. *Перевод Л. Лунгиной* 158

Адельберт Шамиссо

Удивительная история Петера Шлемиля. *Перевод И. Та-
тариновой* 186

Генрих фон Клейст

Михаэль Кольхаас. *Перевод Н. Ман* 240
Локарнская нищенка. *Перевод Г. Рачинского* 319

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Крошка Цахес, по прозванию Циннобер. *Перевод А. Мо-
розова* 324
Мадемуазель де Скюдери. *Перевод А. Федорова* 418

Иозеф Эйхендорф

Из жизни одного бездельника. *Перевод Д. Усова* . . . 480

Вильгельм Гауф

Харчевня в Шпессарте. *Перевод И. Татариновой* . . . 554

Сказание о гульдене с оленем. *Перевод С. Шлапоберской* 559

Холодное сердце. Часть первая. *Перевод С. Шлапоберской* 578

Приключения Саида. *Перевод И. Татариновой* 601

Стинфольская пещера. *Перевод И. Татариновой* . . . 638

Холодное сердце. Часть вторая. *Перевод С. Шлапоберской* 662

Комментарии 687

Ж 71 **Жизнь** льется через край. Сказки и истории немецких романтиков: Пер. с нем. / Сост. И. Солодуниной; Вступ. ст. Г. Ратгауза; Коммент. М. Рудницкого, А. Левинтона, И. Миримского.— М.: Правда, 1991. 720 с., ил.

ISBN 5—253—00379—7

Романтизм как идейно-художественное направление отразил разлад мечты и действительности, порожденный совокупностью социально-политических причин, характерных для рубежа XVIII—XIX вв.

Романтическая культура с ее специфическими принципами получила развитие в творчестве немецких писателей Л. Тика, К. Brentано, Э. Т. А. Гофмана, В. Гауфа, произведения которых представлены в настоящем сборнике.

Ж ~~4703090000—2151~~ 2151—91
080(02)—91

84.4 Г

Литературно-художественное издание
ЖИЗНЬ ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАИ
Сказки и истории немецких романтиков

Составитель
Солодунина Ирина Михайловна

Редактор
Е. А. Дмитриева

Оформление художника
Т. В. Евсеевой

Художественный редактор
И. С. Захаров

Технический редактор
В. С. Пашкова



ИБ 2151

Сдано в набор 12.03.90. Подписано к печати 07.08.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 37,80. Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 42,18.
Тираж 100000 экз. Заказ 143. Цена 4 р.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина,
издательства ЦК КПСС «Правда».

125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии изд-ва «Советское Зауралье»,
640627, г. Курган, ул. Карла Маркса, 106.